This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Saltykov, M. E.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

БИБЛІОТЕКА
№
ЖУКОВСКАГО

М. Е. САЛТЫКОВА

[Н. ЩЕДРИНА].

ИЗДАНІЕ ПЯТОЕ.

Съ «Матеріалами для біографіи М. Е. Салтыкова», К. К. Арсеньева, и съ двумя портретами М. Е. Салтыкова.

ТОМЪ СЕДЬМОЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1906 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1906.

Saltykov, M. E.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

БИБЛІОТЕКА
№
Б. ЖУКОВСКАГО

М. Е. САЛТЫКОВА

[Н. ЩЕДРИНА].

ИЗДАНІЕ ПЯТОЕ.

Съ «Матеріалами для біографіи М. Е. Салтыкова», К. К. Арсеньева, и съ двумя портретами М. Е. Салтыкова.

ТОМЪ СЕДЬМОЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1906 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1906.

891.73
S171
ed.5
v.7

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ.

(1866—1869 гг.).

I.—Завѣщаніе моимъ дѣтямъ.

Не вдругъ.

Бабушка Татьяна Юрьевна не даромъ говаривала: «другъ ты мой сердешный, свѣтъ-Николашенька (говорила покойница все слогомъ госпожи Кохановской, почему даже лейбъ-компанцы, и тѣ ее какъ огня боялись), помни ты, свѣтъ, рѣчь мою великую: не молви ты слова, языка твоего напередъ не прикусивши».

Съ этой поговоркой я весь вѣкъ изжилъ и не только ни въ чемъ не проштрафился, но даже пришелъ къ уразумѣнію многихъ другихъ прекраснѣйшихъ поговорокъ. Бывали случаи: смерть хочется нагрубить, такъ бы, кажется, и отрапортовалъ, да вспомнишь Татьяну Юрьевну, укусишь языкъ и смолчишь. Много-много, что заплачешь. Начальники знали это и всегда меня жалѣли. Нѣтъ-нѣтъ, да что-нибудь и простятъ. Въ тридцатыхъ годахъ строгій всѣмъ приказъ былъ: картофель, вмѣсто хлѣба, на поляхъ сѣять—я не сѣялъ; простили. Въ 1849 году велѣно было бочки съ водой на домахъ держать—я не держалъ; простили. Сосѣдъ у меня былъ, капитанъ Пафнутьевъ, такъ тотъ, бывало, такъ и вскипитъ. Полѣзетъ это къ самому начальнику: «мое ли, говоритъ, или ваше дѣло знать, какой хлѣбъ на поляхъ мнѣ сѣять?» А я, напротивъ того, приду, тихимъ манеромъ доложу, и если начальство сердито—замолчу. Потомъ опять приду, опять тихимъ манеромъ доложу, и ежели опять начальство сердито—заплачу. И что же вышло? Пафнутьевъ-капитанъ и картофель сѣялъ, и бочку съ водой на домѣ держалъ, а я сѣялъ хлѣбъ, заправскій, государи мои, хлѣбъ, а бочки съ водой и въ глаза не видалъ.

Слабомысловъ исправникъ у насъ былъ. «Проси, говоритъ, у меня милости,—отца родного съѣмъ, а будешь, го-

воритъ, по закону требовать, а тѣмъ паче по естеству—шабашъ. Потому естество—оно глупо. По естеству тебѣ ѣсть хочется, а въ регламентахъ того не написано,—ну и шабашъ. А ты проси милости,—и дастся».

Говорилъ я тоже, и не разъ, этому капитану Пафнутьеву: «Пафнутій Пафнутьичъ! говорю: а вы бы простить попросили!» Такъ онъ даже зашипѣлъ на меня... За что же этакихъ-то и любить?

Бабушка Татьяна Юрьевна такъ въ этихъ случаяхъ поступала. Придетъ, бывало, къ ней мужикъ хлѣба или лѣсу просить—она на него: «да ты, свѣтъ, бѣлены никакъ объѣлся, что меня, государыню, въ боярскомъ моемъ дѣлѣ нудить изволишь?» И не только прогонитъ ни съ чѣмъ, а временемъ даже высѣчь изволитъ. Напротивъ того, который мужикъ молчитъ—тому дастъ. И хлѣба, и лошадь, и лѣсу на избу—всего; даже чего не нужно, и того дастъ. Почему?—а потому, что боярское сердце ея этимъ веселится, а веселится оно, когда ей, государынѣ, самой того хочется!

И такъ она этой своей политикой всю вотчину устроила, что когда вступилъ въ управленіе имѣніемъ папенька Иванъ Матвѣичъ и, по обычаю, спросилъ мужичковъ, довольны ли они и не нужно ли чего, то они не отвѣчали, а только лапу сосали.

Я знаю, что нынѣшніе капитаны Пафнутьевы (много ихъ нынче развелось, да вѣдь и бабушка Татьяна Юрьевна не-промахъ была, тоже не малое потомство послѣ себя оставила) скажутъ: «бабушка-то ваша, видно, набитая дура была, да и грозы надъ собой не видала, а потому подурьи надъ всѣмъ и чудила». Однако не будетъ ли, господа Пафнутьевы, такое сужденіе ваше слишкомъ рѣзко!? Побесѣдуемъ, господа, побесѣдуемъ.

Начнемъ съ того, что сужденіе это основано на какихъ-то якобы правахъ. Всякій человѣкъ—утверждаютъ Пафнутьевы—имѣетъ нѣкоторыя права, удовлетвореніе которыхъ есть каждаго священный долгъ и обязанность. На семъ основаніи—продолжаютъ они—будто бы такъ должно быть: ежели я чего хочу, то черезъ минуту чтобъ было исполнено; а ежели исполненія нѣтъ—сейчасъ бунтъ!!! И вотъ такой премудрый ихній кодексъ называютъ они свободой.

Полно, такъ ли, господа Пафнутьевы, такъ ли?

Скажи мнѣ, во-первыхъ, высокоумный господинъ Пафнутьевъ, въ какомъ ты видѣ отъ утробы матерней на свѣтъ произошелъ?—Ты произошелъ нагъ и безпомощенъ! Какія

имѣлъ ты при этомъ права?—Никакихъ, кромѣ тѣхъ, чтобы заявлять слезами о твоей наготѣ и безпомощности! Согласись, что права не великія, но и сіи кто тебѣ далъ?

Ихъ дала тебѣ почтеннѣйшая твоя родительница, которая, по добротѣ своего сердца, не всегда для усмиренія твоего къ помощи розги прибѣгала, но по временамъ простирала тебѣ и руку помощи... тебѣ, нагому и безпомощному! Могъ ли ты вынудить къ тому твою родительницу?—Нѣтъ, не могъ, ибо, какъ сказано выше, былъ нагъ и безпомощенъ. Вынудило же ее къ тому собственное ея материнское благоизволеніе!

Итакъ, вотъ твои «якобы права» при рожденіи... поистинѣ *якобы* права!

Пойдемъ далѣе. Ты взросъ, Пафнутьевъ, достигъ тѣхъ лѣтъ, когда подобныхъ тебѣ отдаютъ въ кадетскіе корпуса и гимназіи. Спрашиваю я тебя: имѣлъ ли ты *право* требовать, чтобы тебя приняли въ одно изъ сихъ заведеній?—Нѣтъ, не имѣлъ, да и на умъ бы тебѣ такое право никогда не взошло, ибо ты тѣмъ временемъ въ бабки на улицѣ съ мальчишками игралъ, а не объ образованіи ума и сердца думалъ! Однако ты отданъ былъ въ заведеніе... почему? не по праву ли?—Нѣтъ, не по праву, а потому, что заведенія тѣ, по благоизволенію начальства, въ потребномъ количествѣ устроены, и по благоизволенію же начальства Пафнутьевыхъ принимать въ нихъ велѣно. Не будь сихъ заведеній... скажи, не остался ли бы ты свинопасомъ? И кичился ли бы ты тогда симъ завиднымъ твоимъ *правомъ?*

Итакъ, вотъ твои «якобы права» по воспитанію и образованію. Тверже ли они тѣхъ, которыя якобы пріобрѣтены тобой при рожденіи?

Пойдемъ еще далѣе. Ты вышелъ изъ заведенія и поступилъ на службу. Ты скажешь, что имѣлъ на то право, ибо получилъ при окончаніи наукъ чинъ? Но этотъ чинъ... кто наградилъ имъ тебя? Настоятельно спрашиваю: кто тебя наградилъ? Не знаешь?—ну, такъ я тебѣ скажу: тебя наградило имъ начальство! Самъ посуди: развѣ можетъ существовать естественное отношеніе между твоимъ чиномъ и науками?—Нѣтъ! не можетъ! А такъ какъ, тѣмъ не менѣе, нѣкоторое отношеніе (хотя и неестественное) тутъ существуетъ, то спрашивается: кто, кромѣ начальства, установить его могъ?

Итакъ, вотъ твои «якобы права» при вступленіи на

поприще государственной дѣятельности... Тверже ли они тѣхъ, которыя приведены въ двухъ первыхъ примѣрахъ?

Пойдемъ ли еще далѣе? Поведемъ ли бесѣду о твоихъ взрослыхъ лѣтахъ, о старости?.. О, Пафнутьевъ! проживи съ-мое и увидишь, что знаменитыя твои права подлинно столь уже знамениты, что стòитъ человѣку, даже не одаренному сверхъестественною физическою силою, ткнуть въ нихъ пальцемъ, и образуется тутъ—не права, а простая дыра!

Знаю я: положеніе твое не легкое. Съ одной стороны, смущаемый врагами внѣшними—другими подобными тебѣ Пафнутьевыми, съ другой стороны, нося въ самомъ себѣ врага внутренняго—высокоумный твой разумъ,—ты ежечасно волнуешься призраками, ежечасно мечтаешь: «а чтò, ежели я попробую?»

Не пробуй.

Пробы твои приведутъ лишь къ тому, что прочіе Пафнутьевы надъ тобою же насмѣются; что они же, предварительно смутивши тебя, будутъ, при видѣ твоего пораженія, восклицать: «фигу съѣлъ! фигу съѣлъ!» А высокоумный твой разумъ... куда дѣнется онъ тогда съ своими мечтами? какія новыя выдумки предложитъ къ твоему утѣшенію?

Но чтò же мнѣ дѣлать? спрашиваешь ты: куда дѣваться отъ враговъ и недруговъ? какъ устроить колеблющуюся судьбу свою? На это отвѣчаю тебѣ: умудрись.

Изъ предыдущаго ты убѣдился, что правъ никакихъ нѣтъ, а существуютъ лишь «якобы права» (вижу, что на устахъ твоихъ блуждаетъ недовѣрчивая улыбка, но нимало не боюсь ея); это самое должно указать тебѣ путь.

Правъ нѣтъ; тѣмъ не менѣе не могу отказать тебѣ въ томъ, что въ сердцѣ твоемъ по временамъ совершаются нѣкоторыя движенія, что движенія сіи заставляютъ тебя устремляться, простирать руки и т. д. Движенія сіи, другъ мой, на языкѣ психологовъ называются желаніями, или иначе: желанія суть такія предъявленія твоего естества, которыя, образуя совокупность личныхъ твоихъ вожделѣній, при осуществленіи ихъ въ натурѣ, необходимо должны быть приведены въ надлежащее соотвѣтствіе. Или еще иначе: желанія суть натуральныя вожделѣнія, представляемыя на благоусмотрѣніе. Посмотримъ, Пафнутьевъ, каковы-го твои желанія?

Если бы ты, напримѣръ, пожелалъ слона проглотить, то

какъ думаешь: могло ли бы такое твое желаніе быть приведено въ соотвѣтствіе? или если бы ты, будучи младенцемъ, пожелалъ натянуть на себя панталоны твоего родителя, то и этому твоему желанію, по-твоему, преградъ ставить не слѣдуетъ? или, если-бъ, будучи отъ рожденія слабоумнымъ, пожелалъ бы имѣть разсужденіе о предметахъ возвышенныхъ... и тутъ, стало-быть, остановить тебя нельзя?

Но нѣтъ, ты не настолько неразуменъ, чтобъ утверждать что-нибудь подобное. Ты соглашаешься со мной, что ни слона проглотить, ни малолѣтнему сыну въ родительскія панталоны облекаться, ни слабоумному о возвышенныхъ предметахъ разсуждать — невозможно. Дитя прикасается ручкой къ раскаленному металлу и обжигается—что̀ было бы, если-бъ надъ нимъ не бодрствовала тайно другая рука, которая отъ обжиганій его оберегаетъ и предохраняетъ? Была бы погибель, была бы смерть... ты это понимаешь.

Но ежели ты это понимаешь, то долженъ понимать и то, что желанія у тебя могутъ быть всякія: такія, которыя приносятъ честь твоему уму и сердцу, и такія, которыя не только чести тебѣ не приносятъ, но которыхъ исполненіе можетъ быть сопряжено для тебя даже съ опасностью жизни; такія, коихъ осуществленіе благовременно, и такія, которыя могутъ быть удовлетворены лишь завтра или черезъ мѣсяцъ, или черезъ годъ, или даже черезъ сто и тысячу лѣтъ. Кто судья въ этомъ дѣлѣ? Кто можетъ раздѣлить твои желанія на категоріи, а сіи послѣднія—на роды и виды? Не ты ли? Но вѣдь ты только можешь желать, а не анализировать... Кто же? Отвѣтъ на этотъ вопросъ заключается въ томъ опредѣленіи, которое дано мною желаніямъ вообще. *Желанія*, сказалъ я выше, *суть натуральныя вожделѣнія, представляемыя на благоусмотрѣніе*... Ужели этого недостаточно, чтобъ вразумить тебя?

Не думай однако же, чтобы я предлагалъ устройство особенной какой-либо канцеляріи для разбора твоихъ желаній—нѣтъ, я далекъ отъ такой мысли, хотя, сама по себѣ взятая, она весьма почтенна. Я далекъ отъ этой мысли лишь потому, что канцелярія въ семъ разѣ навѣрное превратится въ цѣлое министерство; министерство же образуетъ изъ себя пять отдѣльныхъ главноуправленій, что̀, по нынѣшнему состоянію финансовъ, едва ли не будетъ для государства отяготительно. Итакъ, пускай канцелярія на этотъ случай замѣнится однимъ общимъ представленіемъ о начальствѣ.

Ежели нѣтъ у тебя правъ, а есть одни желанія, ежели сіи послѣднія разнообразны, и ежели притомъ канцелярія учредить невозможно, то ясно, что разборъ твоихъ вожделѣній можетъ принадлежать лишь начальству. Во-первыхъ, оно стоитъ на высотѣ; во-вторыхъ, — одарено мудростію; въ-третьихъ, наконецъ, можетъ дать и не дать. Скажи: обладаешь ли ты хотя однимъ изъ сихъ качествъ?

Такимъ образомъ, въ концѣ концовъ предъ умственнымъ нашимъ окомъ образуются два предмета: съ одной стороны — ты, Пафнутьевъ, предъявляющій желаніе, съ другой стороны — начальство, могущее дать или не дать. Въ сихъ тѣсныхъ обстоятельствахъ какъ долженъ ты поступить?

Долженъ ли ты послѣдовать примѣру столько разъ упомянутаго мною капитана Пафнутьева, который, бывало, какъ дорвется до начальства, такъ сейчасъ: фф!.. жж!.. з!..? или же обязываешься докладывать начальству тихо и просить себѣ милости?

Предлагаю тебѣ эти вопросы и внутренно самому себѣ удивляюсь. Ужели, говорю я себѣ, можетъ найтись въ мірѣ человѣкъ, который бы давно сихъ истинъ для себя не рѣшилъ? Или тебя въ школахъ ничему не учили? или ты позабылъ все выученное, и надо тебѣ оное повторить?.. Не долгіе же плоды твоего ученія!!

Займемся повтореніемъ.

Вначалѣ земля наша была пуста — кто ее заселилъ? Звѣри свободно ходили изъ края въ край—кто имъ надлежащія мѣста опредѣлилъ? Приходили печенѣги, приходили татары, мужей побивали, а женъ уводили въ плѣнъ — кто ихъ побѣдилъ? Фабрикъ и заводовъ не было — кто ихъ основалъ? Просвѣщенія не было—кто его учредилъ? Люди питались злаками, самые цари изволили лакомиться уткой съ шафраномъ—кто надлежащія къ питанію средства преподалъ и указалъ? Не было ни земскихъ, ни уѣздныхъ судовъ, а тѣмъ паче магистратовъ и ратушъ—откуда воспріяли они начало? Не было ни общественнаго здравія, ни общественнаго благоустройства, ни общественнаго спокойствія, не было ни мостовыхъ, ни паспортовъ, ни таксъ на хлѣбъ печеный и въ мукѣ, ни раздѣленія говядины на сорта—откуда все это явилось?

Откуда? Кто?

Вотъ то-то, мой другъ! Когда тебѣ разсуждать не слѣдуетъ—ты разсуждаешь: когда же, напротивъ того, остротѣ

твоего ума ничто не мѣшаетъ — ты оставляешь оную втуне! Не означаетъ ли это, что умъ твой развращенъ и пресыщенъ, что онъ, подобно желудку гастронома, требуетъ не здоровой пищи, а пораженной тлѣніемъ и разлагающейся?

Мало тебѣ напоминаній древне-историческихъ — укажу нѣчто изъ недавней, хотя и минувшей, практической твоей жизни.

Когда служитель твой оказывалъ тебѣ неповиновеніе и грубость—не на съѣзжую ли ты его отсылалъ? Когда крестьянинъ твой не платилъ даней—съ чьею помощью ты его къ исполненію обязанностей обращалъ? Когда тебѣ нужно было что-либо утаить, кого-либо обидѣть и притѣснить—къ кому ты прибѣгалъ?

«А кто тебѣ помогъ сплутовать, когда ты строилъ мостъ и написалъ дерева на сто тысячъ, тогда какъ его и на сто рублей не было?»—спрашивалъ нѣкто Сквозникъ-Дмухановскій одного провинившагося купца и тутъ же совершенно резонно отвѣчалъ: «я помогъ тебѣ, козлиная борода!»

Вотъ о чемъ всечасно надлежитъ тебѣ вспоминать, Пафнутьевъ, а не смущать себя указаніями, которыя предлагаетъ высокоумный твой разумъ! Подумай: вѣдь разумъ твой глупъ: онъ разсуждаетъ помимо практики, помимо исторіи; а куда же ты дѣнешься съ практикой? куда спрячешь исторію?

Ты говоришь: сова усматриваетъ лежащаго въ кустахъ зайца, мгновенно налетаетъ и, впиваясь въ него одной лапой, другую держитъ наотмашь. Она напередъ знаетъ, что испуганный заяцъ понесется съ быстротой молніи, и разсчитываетъ, что не можетъ остановить его неистовый скокъ иначе, какъ ухватившись простертою лапой за какой-либо встрѣченный предметъ (для того-то она и простираетъ ее). Но увы! (это все ты говоришь) разсчетъ ея не всегда вѣренъ. Случается часто, что, ухватившись за древесный сукъ, она не только не удерживаетъ разскакавшагося зайца, но оставляетъ на сукѣ свою лапу и впослѣдствіи истекаетъ кровью. Тѣмъ не менѣе (ты же продолжаешь), несмотря на подобныя гибельныя послѣдствія и несомнѣнныя свидѣтельства о томъ исторіи, ни одна сова въ мірѣ до сихъ поръ не останавливается подобными соображеніями, но всѣ онѣ продолжаютъ производить нападенія

на зайцевъ тѣмъ самымъ порядкомъ, какой указываетъ инстинктъ.

Другой примѣръ: волкъ забирается ночью въ овчарню. Производя это въ ночное время и потаеннымъ образомъ, онъ тѣмъ самымъ явно доказываетъ, что предвидитъ въ будущемъ нѣчто не вполнѣ для себя благопріятное. А предвидитъ онъ вотъ что: проснется овчаръ и не только помѣшаетъ волку исполнить задуманное, но еще намнетъ бока, а быть-можетъ, лишитъ и жизни. Такъ оно и бываетъ. Тѣмъ не менѣе, говоришь ты, ни предвидѣніе, ни даже увѣренность не могутъ удержать волка въ его стремленіи; несмотря на очевидную опасность, онъ лѣзетъ въ овчарню... и погибаетъ!

Подобно сему, продолжаешь ты, и я, Пафнутьевъ, не знаю, что ждетъ меня впереди, но правъ своихъ не отстаивать не могу...

Прекрасно.

Стало-быть, ты волкъ? стало-быть, ты хищная сова? Ты самъ сознаешь, стало-быть, что идешь въ овчарню не открыто и при свѣтѣ дня, но прокрадываешься ночью и потаеннымъ манеромъ? Въ такомъ случаѣ напрасно же оговариваешься невѣдѣніемъ объ ожидающей тебя участи: я могу предсказать ее тебѣ. Ты оставишь свою руку на томъ самомъ сукѣ, который думаешь ухватить, и получишь казнь въ той самой овчарнѣ, въ которой мечтаешь быть властелиномъ!

Того ли ты хочешь?

Любя размышленіе, я иногда думаю: Господи, что дѣлается, что дѣлается на бѣломъ свѣтѣ! кто скажетъ навѣрное, съ кѣмъ идти, куда стремиться, кого слушаться? Не слушаться—не могу (привыкъ сызмалѣтства); но кого, Господи! кого? Кто разберетъ, гдѣ похвальное, гдѣ непохвальное, что на пользу, что во вредъ, чему радоваться и чѣмъ печалиться? И долженъ сознаться, что результатъ моихъ размышленій таковъ: ничего не понимаю.

Оглядываясь кругомъ себя, что вижу? Статскіе и дѣйствительные статскіе совѣтники громко проповѣдуютъ, что все сіе надо уничтожить и сдать въ архивъ; а тайные совѣтники, внимая имъ, улыбаются! Почтеннѣйшіе генералы съ ужасомъ восклицаютъ: «какъ мы могли жить! какъ мы не задохлись!» И, сказавши это, начинаютъ въ смѣшномъ и невѣроятномъ видѣ представлять, какая маршировка

была! Пафнутьевъ прямо говоритъ, что онъ не Пафнутьевъ (кто же ты? ужъ не потомокъ ли того поджараго француза, котораго въ 1812 году спасъ отъ голодной и холодной смерти почтеннѣйшій твой родитель и который впослѣдствіи столь постыдно отплатилъ ему за гостепріимство?) и что ему надобно съ кѣмъ-то покумиться! Въ одномъ журналѣ нѣкоторый птенецъ (сказываютъ, даже дворянскій сынъ) печатно высказался: никогда не прощу моей родительницѣ, ибо она уже тѣмъ меня унизила, что заставляла ребенкомъ сосать грудь свою! На кого надѣяться? Въ комъ видѣть оплотъ?

Заговорилъ ты, Пафнутьевъ, о правахъ — это такъ! Но подумалъ ли ты о томъ, какую матерію шевелишь? о томъ, напримѣръ, что матерія эта подобна навозной кучѣ, которую чѣмъ болѣе разрываешь, тѣмъ болѣе отъ нея пахнетъ? Или ты мнишь найти въ ней жемчужное зерно? Или ты обольщаешь себя мыслію: только бы мнѣ свое получить, а насчетъ прочихъ поревную особо... Легковѣрный!

Бабушка Татьяна Юрьевна такъ на этотъ счетъ выражалась: «положи ты мнѣ, свѣтъ-Николашенька, только одинъ пальчикъ въ ротъ, а тамъ ужъ я сама всю твою ручку скушаю!» Незабвенная бабушка! сколько разъ на дню я тебя вспоминаю, глядя на нынѣшнихъ Пафнутьевыхъ! Несчастные, они полагаютъ, что какъ они легко покумились, такъ же легко впослѣдствіи и раскумиться могутъ... Какая самонадѣянность!

И вѣдь если-бъ доподлинно жить тебѣ худо было — ну, тогда, съ Богомъ! груби! а то вспомни, какъ ты проводилъ время, какими пользовался пріятностями? Встанешь ты утромъ—умываться тебѣ подаетъ меньшій братъ твой! захотѣлъ чаю — чай подаетъ меньшій братъ твой! пожелалъ кушать—завтракъ, обѣдъ и ужинъ готовитъ меньшій братъ твой! пришло время спать— постелю стелетъ меньшій братъ твой! одѣваетъ и раздѣваетъ—все тотъ же меньшій братъ твой! Твоего собственнаго труда было только — ѣсть, пить, спать да протягивать руки и ноги. Какихъ же еще тебѣ якобы правъ нужно? или ты подлинно захотѣлъ тѣхъ, которыми пользовался меньшій твой братъ? Такъ ли? точно ли ты ихъ захотѣлъ?

Дѣти! нѣтъ гнуснѣе поступка, какъ отрекаться отъ самого себя. Одинъ Пафнутьевъ говоритъ: «я лыкомъ шитъ»; но ежели это и подлинно такъ, то слѣдуетъ ли объявлять о томъ всенародно? Не лучше ли было бы, если бы ты это

скрылъ? а если скрыть нельзя, то не умнѣе ли, если бы ты, не выставляя себя срамцомъ, напротивъ того, всѣмъ и каждому говорилъ: «блаженно и лыко, которымъ я сшитъ... твори, Господи, волю твою!» Другой Пафнутьевъ повѣствуетъ: «предки мои въ крестовыхъ походахъ не были, а все тарелки подавали!» Но что же дѣлать, мой другъ, ежели крестовыхъ походовъ не было, а были тарелки? и слѣдуетъ ли изъ того, чтобъ ставить тарелки въ укоръ? — Отнюдь. Предки твои дѣйствительно подавали тарелки, но они дѣлали это любя и нерѣдко получали за то лакомые куски. Зачѣмъ же ты забываешь о лакомыхъ кускахъ и помнишь лишь о тарелкахъ? Наконецъ третій Пафнутьевъ продолжаетъ: «чортъ ли въ томъ, что я Пафнутьевъ, коль скоро никакихъ дѣлъ мнѣ рѣшать не предоставлено!» Такъ, мой другъ, такъ! А проэкзаменовать тебя, такъ вѣдь ты и дѣлъ-то никакихъ, пожалуй, назвать не умѣешь... рѣшитель! И куда тебя, подъ стекло, что ли, посадить дѣла-то рѣшать! вотъ удивленіе-то будетъ! вотъ утѣха! Рѣшитель!

И вѣдь всякій секретно про себя думаетъ: «семъ-ка отрекусь я отъ самого себя, можетъ, никто не замѣтитъ!» Вотъ такъ права!

Горько. Была одна доблесть: смиреніе, но и та досталась какъ бы исключительно въ предѣлъ господину Аксакову, который хотя и старается, но успѣетъ... врядъ ли!

И еще говаривала бабушка: «Обманывать, свѣтъ-Николашенька, точно что грѣхъ, а потихоньку можно. Я отъ покойницы-маменьки сколько разъ потихоньку дѣлывала— ничего, сходило! Конечно, не безъ того, чтобы изрѣдка и не потрепать, да вѣдь въ нашемъ дѣлѣ, свѣтъ-Николашенька, за тычкомъ и не угоняешься!»

Часто задумываюсь я надъ этими словами незабвенной бабушки и спрашиваю себя: ужели сія добрая хранительница моей юности, весь вѣкъ свой бывшая образцомъ добродѣтелей, не только оправдывала, но и внушала ложь?.. Не можетъ этого быть!

Такъ оно и выходитъ.

Если я захочу съ чѣмъ-нибудь сравнить человѣческую жизнь, то, конечно, лучшаго примѣра не найду, какъ домашнее наше хозяйство. И та, и другое до крайности разнообразны; и та, и другое поглощаютъ множество предметовъ самаго противоположнаго свойства. Предметы эти, скучиваясь въ одну массу, ограничиваются другими сосѣд-

ними предметами, утрачиваютъ часть своихъ первоначальныхъ свойствъ, занимаютъ каждый свое мѣсто и въ концѣ концовъ образуютъ такъ-называемую гармонію. Валяется, напримѣръ, на полу негодный лоскутокъ бумажки—добрая хозяйка поднимаетъ его и мыслитъ: «въ хозяйствѣ онъ пригодится». И дѣйствительно, не проходитъ минуты, какъ бѣжитъ старшій сынъ и спрашиваетъ: «мамаса! бумазки!» Попадается подъ руки дрянная тряпица, сальный огарокъ, обрывокъ стараго мужнина носка—добрая хозяйка ничѣмъ не пренебрегаетъ, все прибираетъ въ особое мѣсто, ибо все это въ хозяйствѣ можетъ понадобиться. Маленькой Лелѣ захотѣлось устроить куклу — старую тряпку и обрывокъ носка можно употребить на набивку ея; у маленькаго Пети насморкъ сдѣлался—сальнымъ огаркомъ можно носикъ ему помазать! И вотъ такимъ образомъ въ старыя времена составлялись значительныя состоянія! Не то же ли самое замѣчаемъ мы и въ жизни?—рѣшительно то же. Есть средства, которыя строгими моралистами хотя и осуждаются, но которыя въ жизненной экономіи бываютъ не только пригодны, но даже необходимы. Почему? а потому просто, что средства эти, будучи употреблены во благовременіи и обставлены цѣлою совокупностію другихъ соотвѣтствующихъ условій, не только утрачиваютъ свой огорчительный для моралиста характеръ, но даже дѣлаются какъ бы вовсе непредосудительны. Такъ, напримѣръ, обманъ превращается въ «потихоньку», присвоеніе чужой собственности — въ «благопріобрѣтеніе», обольщеніе чужой жены или дочери— въ модное занятіе ферлакурствомъ! Кто и когда возставалъ противъ «потихоньку», противъ «благопріобрѣтенія», противъ «ферлакурства»? Никто и никогда!

Вотъ первое основаніе неизбѣжности того, что̀ добрая моя бабушка разумѣла подъ словомъ «потихоньку». Но есть еще второе и третье основаніе.

Одинъ штабъ-офицеръ въ минуту откровенности говорилъ мнѣ:

— Въ 18** году, когда я командовалъ драгунскимъ полкомъ, то изрядно мошну свою поправилъ!

— Стало-быть, вашество, это изъ казеннаго ящика-съ?— спросилъ я его.

— А ты, можетъ-быть, думалъ, изъ носу? — отвѣчалъ штабъ-офицеръ и, оставивъ вопросъ безъ дальнѣйшаго разъясненія, разразился веселымъ громкимъ смѣхомъ.

— Стало-быть, вашество, секретно изволили? — продолжалъ я, все еще не понимая причины его смѣха.

Но на это штабъ-офицеръ даже и не отвѣтилъ, а только тоненькимъ голоскомъ передразнилъ: «стало-быть, вашество, секретно изволили?»

Въ то время я не понялъ этого изреченія и долго, по простотѣ своей, думалъ: если штабъ-офицеръ секретно лазилъ въ казенный ящикъ, то, стало-быть, онъ дѣлалъ недозволенное; а ежели дѣлалъ недозволенное, то, стало-быть, обманывалъ! Теперь я все это понимаю; онъ просто дѣйствовалъ «потихоньку» — и больше ничего. Ибо что̀ такое обманывать? Обманывать, значитъ отрицать, говорить: «не знаю», когда знаешь, утверждать, что ты видѣлъ человѣка съ двумя головами, когда такового отнюдь не видывалъ, и вообще вводить въ заблужденіе. Спрашиваю: вводилъ ли кого-нибудь въ заблужденіе штабъ-офицеръ? — формально никого не вводилъ. Отрицалъ ли что̀? — ничего не отрицалъ, ибо никто у него ничего не спрашивалъ! Онъ просто говорилъ себѣ: «я теперь въ такомъ положеніи, что могу соблюдать права; но такъ какъ меня могутъ изловить, то буду соблюдать ихъ потихоньку!» Вотъ и все.

Одинъ извѣстнѣйшій либералъ, когда я отправлялся въ губернскій городъ Семиозерскъ по дѣлу о пререканіяхъ, далъ мнѣ такого рода инструкцію:

— Вы, mon cher,—сказалъ онъ мнѣ:—дѣйствуйте больше посредствомъ обѣщаній! Promettez-leur ceci, promettez-leur cela, и когда приведете ихъ къ одному знаменателю, тогда....

— Стало-быть, вашество, обмануть приказывать изволите?—спросилъ я, совершенно позабывъ о штабъ-офицерѣ.

Такъ либералъ мой даже побагровѣлъ весь отъ негодованія.

— Кто вамъ приказываетъ обманывать? Кто вамъ рекомендуетъ «обманывать»?—наскочилъ онъ на меня:—ему говорятъ: дѣйствуйте потихоньку, а онъ — «обманывать»! Обманывать? а? обманывать! Извольте, сударь, отправляться и дѣйствовать, какъ вамъ приказано!! Обманывать!?

Это второе основаніе.

А вотъ и третье. Почему обманъ вреденъ? потому что онъ производитъ соблазнъ. Я отрицаю, изобрѣтаю вымышленныя повѣствованія, словомъ сказать, ввожу ближняго въ заблужденіе; лакей мой слышитъ это и разсуждаетъ: «ежели баринъ такъ вретъ, то почему же не начать врать и мнѣ?» И начинаетъ. Съ этой минуты жизнь моя окон-

чательно отравлена. Онъ будетъ утверждать, что я обѣдалъ, тогда какъ я не обѣдалъ; будетъ съ испуганнымъ видомъ восклицать, что въ домѣ пожаръ, тогда какъ пожара никакого нѣтъ; наконецъ прибѣжитъ и скажетъ, что барыня разрѣшилась отъ бремени мальчикомъ, тогда какъ никакого разрѣшенія совсѣмъ не послѣдовало. Кончится это, разумѣется, тѣмъ, что я сокрушу ему зубы или переломлю ребро, и за это, по строгимъ нынѣшнимъ порядкамъ, попаду подъ судъ. Судъ, съ своей стороны, приговоритъ меня на поселеніе... Вотъ плоды!! Но этого мало: глядя на меня и на моего лакея, и другіе примутся за то же ремесло, и произойдетъ тогда нѣчто необыкновенное: всѣ мы, сколько насъ ни есть, будемъ другъ друга обманывать. «Ты, братъ, солгалъ!» буду говорить я своему сосѣду. «Да вѣдь и ты, братъ, солгалъ!» будетъ отвѣчать онъ мнѣ... Какая же польза отъ этого? Какое поученіе? Напротивъ того, ежели я дѣлаю «потихоньку», то никто ничего не знаетъ, а всякій думаетъ, что я ничего не дѣлаю. Между тѣмъ я своего-таки добиваюсь и соблазна никакого не произвожу. Вижу я, напримѣръ, что нѣкто за мной примѣчаетъ—я погожу; вижу, что онъ отвернулся — я опять за свое дѣло. И ежели тогда мой лакей вздумаетъ облыжно обрадовать меня рожденіемъ неродившагося сына, то я съ полнымъ достоинствомъ ему возражу: «опомнись, мой другъ! развѣ ты слышалъ, чтобы я кого обманулъ? бери, братецъ, примѣръ съ меня!»

Пафнутьевъ! ты, который мнишь себя высокоумнымъ— размысли объ этомъ!

Сего числа пришелъ ко мнѣ старшій сынъ мой, Петенька, съ обыкновенною своею просьбой: «пàпа, дай ляльки!» Я, съ своей стороны, по обыкновенію началъ доказывать маленькому шалуну, что отъ ляльки у него животикъ заболитъ и зубки испортятся. Но неопытный младенецъ на сей разъ перехитрилъ опытнаго старца.

«Мнѣ бы, папаса, эту ляльку только въ ручкахъ подержать!» сказалъ онъ мнѣ, и едва лишь я успѣлъ удовлетворить его невинному желанію, какъ маленькій хитрецъ эту самую «ляльку» мгновенно въ моихъ глазахъ проглотилъ!..

Подивись, о, Пафнутьевъ, практической мудрости невиннаго младенца!

Въ прежнія времена жили мы между собой очень дружно. Никакихъ этихъ «якобы правъ» не знали, а знали только, кому что̀ принадлежитъ. И сообразно съ этимъ обставали.

Въ то время всѣ бѣды отъ нашей неукротимости на насъ посылались. Виноваты мы были. Не то чтобы словомъ или ласкою, а больше все кулачищемъ этимъ да арапникомъ... Однако и за всѣмъ тѣмъ средства изыскивали.

Начать съ того, что всѣ мы другъ дружкѣ либо родня, либо кумовья были. Хлобыстовскіе родня Дракинымъ, Дракины въ свойствѣ съ Расплюевыми, а Расплюевы чуть ли не приходятся внучатными самому Гвоздилову. Вотъ они стѣна-стѣной и стоятъ. Проштрафится, бывало, Дракинъ—сейчасъ къ Расплюеву.

— Такъ и такъ—бѣда.

— Опять изувѣчилъ?

— И всего-то одну плюху... не понимаю даже, что̀ съ нимъ случилось: какъ закатился!

— Ладно.

Ѣдетъ Расплюевъ къ Хлобыстовскому, отъ Хлобыстовскаго къ другому Дракину, отъ другого Дракина къ Гвоздилову; всѣмъ говоритъ: такъ и такъ. Посудятъ, порядятъ между собой и опредѣлятъ: стоять.

Сейчасъ наведутъ это на нихъ пушку—стоятъ. Пустятъ вразсыпную картечью — стоятъ. Науськаютъ шавокъ такихъ, что̀ и въ уши, и въ носъ, и въ глаза вцѣпятся—стоятъ. На все про все одинъ отвѣтъ: знать не знаемъ, вѣдать не вѣдаемъ, а, должно полагать, случилось съ нимъ это отъ нетрезвой жизни. (Ты скажешь, Пафнутьевъ: «вѣдь вотъ же, обманываютъ!» а я тебѣ отвѣчу: нѣтъ, не обманываютъ, а оказываютъ лишь временное укрывательство проштрафившемуся сочлену). Что-жъ бомбардиры-то наши? А вотъ что̀: попалятъ, попалятъ, увидятъ, что втуне, и разойдутся!

А правъ не было

Вторымъ обстоятельствомъ, скрѣплявшимъ насъ, было родство, такъ сказать, духовное. Всѣ мы были люди, всѣ человѣки, всѣ чувствовали свои слабости. Если виноватъ Хлобыстовскій, виноватъ Расплюевъ, виноватъ Гвоздиловъ—могутъ ли они другъ передъ другомъ носъ задирать? Ну, и выходила у насъ тутъ дисциплина, не та дисциплина, которая нынче: слушай, дескать, меня не потому, чтобъ резонъ тебѣ слушать, а потому что я такъ вздумалъ,—а настоящая, естественная, такъ сказать, дисциплина. Потому какъ мы всѣ

во грѣсѣхъ равны, то если бы кто и пикнулъ — сейчасъ ему зеркало: смотрись! А такъ какъ смотрѣть нечего, то бо́льшею частью тѣмъ и оканчивалось, что пошумятъ - пошумятъ между собой, а потомъ и опредѣлятъ: стоять! А почему стоять? а потому, государи мои, что тронь изъ насъ одного—куда-жъ бы дѣвались всѣ прочіе?

Ну, и опять наводятъ пушки, опять напускаютъ шавокъ— не шелохнемся, всѣ какъ одинъ! Что-жъ бомбардиры-то наши? а вотъ что̀: попалятъ, попалятъ, увидятъ, что втуне— и разойдутся.

А правъ не было.

Третье: не было въ насъ строптивости никакой. Какъ чувствовали мы себя во всемъ виноватыми, то моды-то эти надобно было бросить. Ну, и начальство тоже видѣло: люди, деска́ть, грѣшные, виноватые, что̀ съ нихъ возьмешь! А мы между тѣмъ кто съ барашкомъ въ бумажкѣ, кто съ поклонцемъ, кто со слевами... И такъ, государи мои, наплачемъ да наслюнявимъ, что не бывало, кажется, дѣла такого, котораго бы мы на свой ладъ во всѣхъ статьяхъ не обдѣлали.

А правъ не было!.

Такъ бывало въ старое время. Посмотримъ, каковы-то порядки завелись нынче.

Для сего сто̀итъ только оглянуться кругомъ. Оглядываюсь и что̀ же вижу? вижу раздоръ, вижу распри, вижу рознь!

На-дняхъ иду по улицѣ, встрѣчаю Пафнутьеву дочь. Идетъ это стриженая, словно въ старину наказанныя дѣвки хаживали, идетъ и подъ мышкой книгу-Бокль держитъ. Досадно мнѣ, знаете, сдѣлалось, потому что все-таки своя... Пафнутьева!!

— Ну-съ, говорю, сударыня—гуляете-съ?

— Гуляю-съ, говоритъ.

— Мамашенька съ папашенькой какъ-съ? либеральничаютъ-съ?

— Да что̀, говоритъ, мамаша съ папашей! Вотъ крѣпостное право ужъ упразднили—можетъ-быть, и ихъ скоро упразднятъ!

Какова-съ?!

Иду далѣе, встрѣчаю Пафнутьева сына; этотъ, напротивъ того, совсѣмъ какъ козелъ лохматый. Еще досаднѣе стало.

— Ну-съ, говорю, гуляете-съ?

— Гуляю-съ, говоритъ, а самъ дерзко-предерзко въ глаза мнѣ смотритъ.

— Какъ, говорю, папаша въ своемъ здоровьѣ? либеральничаетъ?

— Нынче, говоритъ, этакими-то либералами заборы подпираютъ, а не то чтобы что̀....

Каково-съ?

Это по части родственныхъ узъ.

А вотъ и по части сословной.

Завелась у насъ эта эмансипація. Начальство ее придумало, оно же и приказать изволило—не спорю! Надо, сталобыть, исполнять. Кто исполнители?—Пафнутьевы. Каковы исполнители???

Не могу продолжать.

И послѣ такихъ-то поступковъ поднимать рѣчь о какихъ-то якобы правахъ?!

Сего числа былъ у меня братъ отца Порфирія, прихода нашего іерея. Разговорились о нынѣшнихъ обстоятельствахъ.

— Доложу вамъ, сударь, вотъ хоть бы насчетъ этихъ самыхъ правъ,—сказалъ мнѣ почтенный братъ іерея.— Сидѣли мы однажды у господина Дракина за столомъ, и какъ была у насъ тутъ изрядная топка, то я, признаться, за этимъ самымъ столомъ и уснулъ. И что̀-жъ бы, вы думали, г. Дракинъ надо мной сдѣлали? Припечатали это къ столу мою бороду и въ ту-жъ минуту надъ самой моей головой изъ пистолета выстрѣлили... Такъ, я, сударь, двѣ недѣли послѣ того собственныя своея слюны не могъ глотать!

А правъ не было!!

Изъ-за чего ты бьешься, Пафнутьевъ? изъ-за чего цѣловаться лѣзешь?—Поистинѣ это сюжетъ для меня отмѣнно любопытный!

Поди сюда и давай бесѣдовать.

Станешь ли ты служительскія должности исполнять?— нѣтъ, не станешь. Для чего же ты утверждаешь и всенародно говоришь, что служительскія должности не суть постыдны?—ты молчишь!

Станешь ли ты съ служителями обѣдать, будешь ли служительскими лакомствами лакомиться, примешь ли участіе въ служительскихъ удовольствіяхъ, посадишь ли служителя съ собой рядомъ въ карету?—нѣтъ, не станешь, не будешь, не примешь и не посадишь. Для чего же ты го-

воришь, что общество служительское не есть гнусно?—ты молчишь!

Согласишься ли ты охотой идти въ солдаты, чинить мосты и дороги, исправлять подводы?—нѣтъ, не согласишься. Для чего же ты твердишь, что это есть всякаго прямой долгъ и обязанность?—ты молчишь!!

Отъ дальнѣйшихъ вопросовъ воздержусь.

Но, быть-можетъ, ты скажешь: «все сіе будутъ исполнять другіе, а я только буду направлять»?.. Такъ тебя и пустили!!

Да, дѣти! вы не знаете, какое время, какое ужасное время переживаютъ ваши отцы! Вы даже не повѣрите, чтобы могло когда-нибудь такое время существовать:

Чтобы дѣти не уважали своихъ родителей.

Чтобы служители не слушались господъ, а, напротивъ того, грубили имъ и даже дразнились.

Чтобы члены одной и той же семьи, вмѣсто того, чтобы подать руку помощи, высовывали другъ другу языки.

Чтобъ мелкихъ денегъ не было.

Чтобъ крупныхъ денегъ не было.

Чтобы вдругъ цѣлая масса людей оказалась ни на что негодною, кромѣ раскладыванья гранъ-пасьянса.

Спите, милыя! И пусть ангелъ-хранитель оградитъ даже сны ваши отъ представленія тѣхъ горестей, которыя, подобно ядовитѣйшимъ насѣкомымъ, изъязвляютъ и поѣдаютъ отцовъ вашихъ.

А все ты, Пафнутьевъ! ты, ты, ты!

Ты началъ съ того, что не хотѣлъ бочки съ водой на домѣ твоемъ поставить—смотри же теперь, любуйся на дѣла рукъ твоихъ! И если бы ты еще доподлинно эту бочку не поставилъ, а то вѣдь только накричалъ, нашумѣлъ!.. Что-жъ вышло? А вотъ что. Первое, служители твои слышали, какъ ты кричалъ и шумѣлъ, и заключили, что, стало-быть, шумѣть и кричать можно. Второе, слышавши твои крики, они въ то же время видѣли, что на тебя все-таки никто не посмотрѣлъ, а изъ этого заключили, что ты сѣчешь и рубишь, и въ полонъ берешь, а впередъ, братъ, не подвигаешься! Что малый-то ты, стало-быть, дрянь! И первое взяли себѣ къ руководству, а второе къ соображенію.

Другіе-то, другіе-то, покорные-то, за что тутъ страдаютъ?

Вѣрь, Пафнутьевъ, мнѣ самому тяжело обращаться къ тебѣ съ упрекомъ. Я знаю, что ты все-таки Пафнутьевъ, и что твоя бабушка моему дѣдушкѣ кумой была. Но я вынужденъ къ тому и вынужденъ слѣдующимъ, совершенно несноснымъ обстоятельствомъ.

На-дняхъ мы съ женой обѣдаемъ. Подаютъ супъ (стерляжьей ухи, братъ, мы нынче ужъ не ѣдимъ: достатки не тѣ), въ супѣ волосъ.—Это что?—спрашиваю я своего Личарду.—Волосъ-съ,—отвѣчаетъ Личарда, да такъ вѣдь, каналья, любезно, какъ будто бы этому дѣлу такъ и быть надлежитъ. Стерпѣлъ.

Подаютъ жаркое, къ жаркому салатъ (только сію роскошь себѣ и позволяемъ, да и то потому, что свои оранжереи есть), въ салатѣ червякъ ползетъ.

— Это что?—спрашиваю я опять.

— Червякъ-съ,—отвѣчаетъ Личарда.

— Червякъ-то червякъ, да зачѣмъ онъ сюда попалъ?

— Попалъ-съ,—отвѣчаетъ Личарда. Опять стерпѣлъ.

Подаютъ пирожное, въ пирожномъ мочалка.—Это что?—Мочалка-съ.—Зачѣмъ мочалка?—Да что вы ко мнѣ пристали!..—Не стерпѣлъ...

На другой день слѣдствіе.

И такимъ образомъ каждый день. Скажи, Пафнутьевъ, статочное ли дѣло такъ жить?

Я добръ; но ежели мнѣ съ намѣреніемъ не даютъ ѣсть—я свирѣпѣю.

Я добръ; но ежели встрѣчаю въ своей постели битое стекло—я свирѣпѣю.

Я добръ; но ежели на мое приказаніе истопить печку отвѣчаютъ: «поспѣешь!»—я свирѣпѣю.

Статочное ли дѣло такъ жить? — вновь спрашиваю я тебя.

А мы живемъ. Мы всѣ, потомки бабушки Татьяны Юрьевны, такъ живемъ!

И не ропщемъ, а ждемъ помилованья.

Не далѣе, какъ вчера, читалъ я повѣсть о многострадальномъ Іовѣ... Ахъ, какая это книга! прочти ты ее, Пафнутьевъ!

Былъ вечеръ, на дворѣ гудѣла вьюга; сторожа разбѣжались (да врядъ ли, впрочемъ, и приходили). Я крикнулъ: «чаю!»—но отвѣта не получилъ, ибо лакейская была пуста. Мы ходили съ женой по опустѣлымъ комнатамъ нашего

стараго дома и разсуждали о томъ, сколько нужно имѣть въ наше время терпѣнія, снисхожденія и кротости; вдали раздавались голоса дѣтей, укладывавшихся спать, и между ними голосъ старухи-няньки, которая, безъ всякой робости, кричала: «цыцьте вы, пострѣлята! и то ужъ изъ милости паскудникамъ вашимъ служу!» Въ это время взоры наши упали на книгу объ Іовѣ.

Результатомъ этого чтенія было то, что мы вдругъ какъ бы помолодѣли. Откуда взялась бодрость, надежда, увѣренность... даже о чаѣ забыли!

— Ты видишь, мой другъ,—говорила жена:—если стада отнимаются, то они же и опять посылаются; если рабы разбѣгаются, то они же и опять возвращаются! Стòить только подождать...

— Стòитъ только подождать,—повторилъ я въ сладкой задумчивости.

И затѣмъ весь остальной вечеръ мы были веселы, а за ужиномъ даже вспомнили одного веселаго сосѣда, который всякій разъ, какъ что-нибудь ѣстъ, предлагаетъ себѣ вопросъ: «а ну, Петръ Петровъ, отвѣчай, подлинно ли ты галантиръ или битое мясо ѣшь?» И самъ же себѣ отвѣчаетъ: «нѣтъ, не галантиръ и не битое мясо ты ѣшь, а ѣшь ты, Петръ Петровъ, послѣднее свое выкупное свидѣтельство!»

И еще утѣшило насъ съ женой вотъ что̀: Пафнутьевъ нашъ хоть о правахъ и толкуетъ, однако коли есть въ надеждѣ рубль серебра стибрить, такъ онъ тоже малый не промахъ. Вотъ хоть бы онамеднись: собрались милые люди вкупѣ (все для тѣхъ же «якобы правъ» своихъ), а о чемъ же сперва-на̀перво рѣчь повели? А вотъ о чемъ! «Ты, говоритъ, получи жалованья тысячу рублевъ, и мнѣ предоставь тысячу рублевъ, и ему тысячу рублевъ...» И такъ это занятно у нихъ вышло, что даже прохожіе, и тѣ удивлялись: какіе такіе земскіе дѣятели собрались? Сказываютъ, инымъ по пятнадцати цѣлковенькихъ отсчитали—и тѣми не погнушались, взяли... Хвалю!

За что̀ хвалю? за то и хвалю, что, значитъ, молодцы—значитъ, не все еще пропало... Не смотри, дескать, милый человѣкъ, что я о правахъ болтаю, а покажи мнѣ десятирублевенькую...

Хвалю!

Но и за всѣмъ тѣмъ, все-таки грустно. Поймутъ ли

Пафнутьевы, или не поймутъ, а время не ждетъ. Оно неумолимо посѣкаетъ и виноватаго, и праваго, и строптиваго, и покорнаго.

Дѣти, ужели оно не пощадитъ и васъ?

II.—Новый Нарцизъ

или

ВЛЮБЛЕННЫЙ ВЪ СЕБЯ.

Цѣлый мѣсяцъ городъ въ волненіи, цѣлый мѣсяцъ нельзя съѣсть куска, чтобы кусокъ этотъ не былъ отравленъ—или «рутинными путями, проложенными самолюбивою и всесосущею бюрократіей», или «великимъ будущимъ, которое готовятъ Россіи новыя учрежденія». Кажется, будто у всякаго человѣка вбитъ въ голову гвоздь. Люди скромные и, повидимому, порядочные—и у тѣхъ глаза горятъ дикимъ огнемъ, и тѣ ходятъ въ изступленіи. Одинъ говоритъ о попахъ, другой—о мостахъ, третій—о «всеобщемъ и неслыханномъ распространеніи пьянства», четвертый—о наидешевѣйшемъ способѣ изготовленія нижняго бѣлья для лицъ гражданскаго вѣдомства, пользующихся въ мѣстной больницѣ; всякій за что-нибудь ухватился, всякій убѣждаетъ, угрожаетъ, и такъ какъ всѣ говорятъ вдругъ, то никто ничего не понимаетъ, никто никому не внимаетъ и никто никому не отвѣчаетъ.

Даже лица такъ-называемаго «посторонняго вѣдомства» увлекаются общей тревогой и тоже начинаютъ говорить о мостахъ, о попахъ и объ изготовленіи нижняго бѣлья. Редакторъ мѣстныхъ вѣдомостей выскребъ цѣлую статью подъ названіемъ «Сѣятели и Дѣятели», въ которой выразилъ твердую увѣренность, что вопросъ о снабженіи мѣстной больницы новыми и хорошо вылуженными мѣстными рукомойниками получитъ наконецъ надлежащее разрѣшеніе. Полицеймейстеръ, который сначала ожидалъ невѣсть какого волненія и даже мечталъ о томъ, какъ онъ, во главѣ пожарныхъ, ворвется, разсѣетъ и расточитъ, теперь этотъ самый полицеймейстеръ, узнавши, что дѣло идетъ о рукомойникахъ, охотно пристаетъ къ диспутирующимъ и говоритъ: «гм!.. да... рукомойники... хвалю!» Предсѣдатели, засѣдатели, завѣдующіе отдѣльными частями, управляющіе—всѣ открыто выражаютъ удивленіе: какъ это имъ никогда

даже въ голову не зашло разсмотрѣть вопросъ о нижнемъ бѣльѣ, какъ въ его сущности, такъ и въ отношеніи къ тѣмъ послѣдствіямъ, которыя изъ сего проистечь должны. Словомъ, нѣтъ того живого дыханія, которое не принимало бы живѣйшаго участія, не оказывало бы содѣйствія, не удивлялось, не хвалило...

Представьте себѣ, что вы приглашены на раутъ, на одинъ изъ тѣхъ раутовъ, гдѣ еще вчера вы были увѣрены встрѣтить столь извѣстную картину нашего провинціальнаго гостепріимства: столы, покрытые зеленымъ сукномъ, и тѣ интимнаго свойства разговоры, которые въ особенности веселятъ сердца дамъ. Что̀ сдѣлалось съ этимъ раутомъ? Гдѣ глубокомысленные споры о королѣ самъ-другъ и о королѣ самъ-третей, гдѣ веселый смѣхъ, раздававшійся во всѣхъ углахъ, гдѣ интимные разговоры?

— А у насъ сегодня «комиссію» выбрали!—говоритъ полицеймейстеру молоденькая дамочка и вдругъ задумывается, какъ будто нѣчто ущемило ея ничѣмъ дотолѣ не тревожившееся сердечко.

Полицеймейстеръ вздрагиваетъ, ибо все еще опасается волненія.

— Комиссію-съ? какую же это комиссію-съ?—ловко выпытываетъ онъ, стараясь скрыть подозрительное выраженіе своихъ глазъ.

— Мы еще сами... то-есть, конечно, мы знаемъ, но наши messieurs не условились еще, какъ ее звать... Нѣкоторые изъ нашихъ messieurs предлагали назвать ее иностраннымъ словомъ «ревизіонная», но мой Alexandre положительно сказалъ имъ:—messieurs, вы забываете 1864 годъ!—вмѣшивается другая дамочка, которой очень хочется показать, что она не чужда «Московскихъ Вѣдомостей».

Полицеймейстеръ окончательно убѣждается, что тревожить пожарныхъ надобности не предстоитъ.

— Господа! да скажите же, чѣмъ замѣнить это поганое французское слово «матеріалъ»?—мучительно вопіетъ кто-то изъ «сѣятелей», обращаясь къ окружающимъ.

Въ отвѣтъ вдругъ налетаетъ заблудившееся гдѣ-то облако исконно-русской веселости и разражается ливнемъ.

— Сапожный товаръ!—предлагаетъ одинъ.

— Мусоръ!—остроумничаетъ другой.

— Съ позволенія сказать!—совѣтуетъ третій.

— Никакъ не называть, а дѣйствовать обинякомъ,—рѣшаетъ четвертый.

— Позвольте, господа, разсказать вамъ одинъ анекдотъ насчетъ этого самаго «обинякa»...

Начинается неудобный для печати разсказъ, который на минуту успокоиваетъ взволнованные умы. Но это спокойствіе кратковременное; чрезъ мгновенье вновь начинается рознь, раздоръ и галдѣнье.

— Нѣтъ, вы не можете себѣ представить, что̀ такое эти попы!—говоритъ одинъ собесѣдникъ другому.

— Позвольте!—отвѣчаетъ другой собесѣдникъ:—итакъ, я имъ говорю: господа, говорю я, вы не имѣете никакой идеи о томъ, что̀ происходило въ нашей больницѣ, пока мы не приняли ее въ свое завѣдыванье! Это, говорю я...

— Я представляю факты; попы, говорю я...

— Вотъ простой фактъ, говорю я:—однажды вечеромъ я прихожу въ больницу, разумѣется, секретно, и вижу рукомойники...

— Одинъ попъ дошелъ до такой дерзости...

— Гдѣ же вода?—спрашиваю я:—отчего нѣтъ воды?

Сѣятели крѣпко держатъ другъ друга за пуговицы, взаимно обдаютъ себя брызгами, негодуютъ, волнуются, иронизируютъ, хохочутъ и никакъ не понимаютъ, что каждый изъ нихъ ораторствуетъ, негодуетъ, иронизируетъ единственно для самого себя.

— Давеча зашелъ у насъ разговоръ о мостахъ,—ораторствуетъ между тѣмъ другой сѣятель: — предлагаю я, знаете, этотъ сборъ, чтобы съ каждаго, значитъ, воза по силѣ возможности... и вдругъ это Петръ Иванычъ: «позвольте, говоритъ, приняли ли вы во вниманіе, что въ семъ разѣ расходы взиманія могутъ превысить доходы поступленія?» Я, знаете, туда-сюда—куда тебѣ, такъ и сыплетъ словами!—«Вы приняли ли, милостивый государь, во вниманіе, что при каждомъ мостѣ необходимо будетъ поставить сторожа, что для каждаго сторожа необходимо будетъ выстроить хижину, ибо въ нашемъ климатѣ...»—И пошелъ, и пошелъ! И такъ онъ меня, старика, обидѣлъ, что я слова не придумалъ ему въ отвѣтъ...

— Хорошо-съ,—вступается третій сѣятель:—сборъ съ мостовъ—это можно. Но приняли ли вы, почтеннѣйшій Николай Степанычъ, въ соображеніе вотъ какую штуку. Теперича, вы ѣдете...

— Ѣду-съ.

— Позвольте, не въ томъ штука, что вы ѣдете, а въ

томъ, что у васъ въ карманѣ нѣтъ денежнаго знака менѣе... ну, положимъ, хоть двугривеннаго...

Присутствующіе начинаютъ смекать, въ чемъ дѣло, и лица ихъ нѣсколько проясняются.

— Ну-съ, пріѣхали вы къ мосту, подходитъ къ вамъ сторожъ и требуетъ двѣ копейки. Хорошо-съ. Вы вынимаете двугривенный; онъ отвѣчаетъ, что у него сдачи всего три копейки! Спрашивается: какъ поступить въ этомъ разѣ: пропустить ли васъ безъ платежа денегъ или же заставить возвратиться до ближайшаго селенія, чтобъ размѣнять вашъ двугривенный на менѣе цѣнные денежные знаки? А если въ ближайшемъ селеніи всѣхъ капиталовъ въ совокупности три копейки съ половиной? а если у васъ не двугривенный, а цѣлый рубль?

Сѣятель постепенно поднимается, поднимается съ мѣста и наконецъ взвивается во весь ростъ.

— Заставить ли васъ,—уже не говоритъ, а гремитъ онъ:—заставить ли васъ совершить вашъ путь обратно? А если и на обратномъ пути такой же мостъ? Заставить ли васъ жить между двумя мостами неопредѣленное время?!

Въ виду такого множества вопросовъ, присутствующихъ прошибаетъ потъ.

— Нѣтъ, вы выслушайте меня, да ради же Христа выслушайте меня!—раздается среди всеобщаго хаоса голосъ еще одного сѣятеля, который, повидимому, до того ужъ надоѣлъ, что всѣ отъ него убѣжали.

— Только ужъ эти мнѣ попы—вотъ они у меня гдѣ сидятъ!

Хозяинъ дома только ходитъ и отдувается. Ему смерть хочется помѣстить и свою лепточку въ общую сокровищницу вопроса о рукомойникахъ, но онъ видитъ, что тутъ ужъ не до него, и потому слоняется изъ угла въ уголъ, какъ оглашенный, и самымъ любезнымъ образомъ всѣмъ улыбается. Подойдетъ къ одному—одинъ обрызжетъ, подойдетъ къ другому—другой обрызжетъ. «Видно, только въ этомъ и раутъ весь состоять будетъ!»—восклицаетъ онъ мысленно и клянетъ ту минуту, когда посѣтила его голову ужасная мысль о созваніи сѣятелей.

Вотъ правдивая, хотя и довольно грустная картина нашего современнаго провинціальнаго существованія. Конечно, сѣятелямъ хорошо; они, какъ молодыя рыбки, рѣзво плещутся въ безбрежномъ океанѣ словоизверженій; но каково другимъ? каково тѣмъ, во-первыхъ, кои, за недостаткомъ сѣмянъ, къ сѣянію не призываются, и, во-вторыхъ,

тѣмъ, коимъ угрожаетъ въ ближайшемъ будущемъ быстрое обсѣмененіе? Какую роль должны играть эти люди въ происходящихъ передъ ихъ глазами словесныхъ турнирахъ? Должны ли они ожидать предстоящаго оплодотворенія съ смиреніемъ и кротостью, или обязаны озаботиться пріисканіемъ мѣръ, чтобы сдѣлать это оплодотвореніе взаимнымъ, то-есть со временемъ, въ свою очередь, обсѣменить самихъ сѣятелей?

Но пуще всего достается тутъ бюрократамъ. Съ ними обходятся или совсѣмъ безцеремонно, т.-е. напрямки объявляютъ, что часъ ликвидаціи для бюрократіи насталъ, или же пренебрежительно-снисходительно, какъ будто говорятъ: «Э, любезные! куда ужъ вамъ рѣшать вопросы о рукомойникахъ!» И никто, положительно-таки никто не хочетъ признать за бюрократіей никакихъ заслугъ... даже въ прошедшемъ; никто не хочетъ сообразить, что не съ неба же свалились всѣ эти вопросы о рукомойникахъ, а были вызваны на свѣтъ, поставлены и разработаны все тою же бюрократіей...

И что̀ всего замѣчательнѣе, бюрократы не только не протестуютъ, но, напротивъ того, понуриваютъ головы и поджимаютъ хвосты, какъ бы говоря: «Что̀ съ насъ взять! извѣстно, мы народъ отпѣтый!» удостовѣряются ли они, что время постепенно ощипываетъ ихъ, провидятъ ли, что исторія, въ дѣлѣ ощипыванья, никогда не останавливается на половинѣ пути, но всегда покажетъ сначала цвѣточки, а потомъ уже ягоды и плоды?

Вообще вопросовъ возникаетъ множество. Признаюсь однако, что я отнюдь не встрѣчаю затрудненій въ разрѣшеніи ихъ. Я твердо убѣжденъ, что въ концѣ концовъ теорія взаимнаго оплодотворенія восторжествуетъ, и тогда сразу и сами собой прекратятся всѣ недоумѣнія. Образуются одни обширныя объятія, которыя заключатъ въ себѣ и сѣятелей, и сѣемыхъ, да кстати прихватятъ и бюрократовъ. И будетъ тогда радость великая; бюрократъ укажетъ на сѣятеля и скажетъ: «весь въ меня!»; сѣятель укажетъ на бюрократа и скажетъ: «вотъ моя опора!»; сѣемые, съ своей стороны, будутъ въ умиленіи приплясывать и приговаривать: «Concordia res parvae crescunt», что̀ въ русскомъ переводѣ означаетъ: «вотъ они! вотъ наши благодѣтели!» И тогда-то воистину разрѣшится вопросъ о нижнемъ бѣльѣ, который нынѣ лишь безплодно волнуетъ умы и поселяетъ въ обществѣ раздоръ, анархію и чуть не братоубійство.

Не могу сказать, чтобъ съ моей стороны были какія-нибудь препятствія къ появленію сѣятелей. Напротивъ того, я очень радъ. Я знаю, что для многихъ сѣятели хуже ножа востраго, но убѣжденъ, что мнѣніе это совершенно ошибочно и имѣетъ источникомъ кажущуюся заносчивость нѣкоторыхъ изъ нихъ. Какой-нибудь алармистъ, взирая, какъ у иного сѣятеля пѣна изъ устъ клубится, готовъ воскликнуть: «пожаръ!» Я же, напротивъ, при этомъ видѣ восклицаю: «плоть отъ плоти! кость отъ костей!» и затѣмъ только утѣшаюсь и окрыляюсь. Я знаю, что пѣна въ этомъ случаѣ служитъ сама себѣ и поводомъ, и содержаніемъ, и цѣлью, что стòитъ только обтереть губы сѣятеля платкомъ, чтобъ увидѣть, что съ исчезновеніемъ пѣны болѣе ничего не осталось. Никакихъ этакихъ порывовъ или поползновеній... ей-Богу, никакихъ! Изъ-за чего же тутъ волноваться? Изъ-за чего трепетать? Изъ-за какихъ-нибудь «рутинныхъ путей»? Изъ-за какой-нибудь якобы предстоящей «ликвидаціи»! Да Боже меня упаси!

Надо же наконецъ понять, что никакая цѣна въ мірѣ не можетъ обойтись безъ такъ-называемыхъ ораторскихъ движеній, и что всѣ эти «рутинные пути» и «ликвидаціи»—не больше, какъ удобная формула, къ которой прибѣгаетъ ораторъ, дабы выразить въ самомъ лучшемъ видѣ пареніе своей души. Душа паритъ—кому и когда бывалъ отъ того вредъ? Рѣшительно никому и никогда, а польза, напротивъ того, большая. Душа паритъ — слѣдовательно ораторское искусство неуклонно идетъ впередъ; душа паритъ—слѣдовательно отечественная литература ежедневно обогащается новыми терминами; душа паритъ — слѣдовательно отечественная исторія украшается новыми подвигами, отнюдь не уступающими таковымъ же старымъ...

Надо смотрѣть вглубь, милостивые государи! надобно смотрѣть вглубь!

Смотрю вглубь, и что̀ вижу?

Какой вопросъ прежде всего занялъ умы сѣятелей?—Вопросъ о снабженіи другъ друга фондами. Мнѣ тысячу, тебѣ тысячу—вотъ первый вопль, первое движеніе. Спрашивается: когда и какой бюрократъ имѣлъ что-нибудь сказать противъ этого? Когда и какой бюрократъ не изнывалъ при мысли о лишней тысячѣ? Когда и какой бюрократъ не былъ убѣжденъ, что Россія есть пирогъ, къ которому можно свободно подходить и закусывать?—Никакой и никогда.

Какимъ образомъ достать эти тысячи? Какъ устроить, чтобъ бумажный дождь падалъ въ изобиліи и безпрепятственно? Отвѣтъ: сходить въ карманъ своего ближняго. И практично, и просто. Но спрашивается: когда и какой бюрократъ предлагалъ что-либо иное?—Никакой и никогда. Напротивъ того, не были ли они всѣ и всегда на сей счетъ единодушны?

Чѣмъ заявить міру о своемъ существованіи? Чѣмъ ознаменовать свой въѣздъ въ дебри отечественной цивилизаціи? Отвѣтъ: пререканіями по дѣлу о выѣденномъ яйцѣ. Спрашивается: когда и какой бюрократъ не облизывалъ себѣ губы при словѣ «пререканія»? Когда и какой заскорузлый повытчикъ не сгоралъ жаждой уязвить другого, не менѣе заскорузлаго повытчика?—Никакой и никогда. Помилуйте! да въ пререканіяхъ-то именно и таится самая настоящая бюрократическая сласть!

И затѣмъ миріадами, какъ тучи комаровъ, выступаютъ впередъ вопросы о рукомойникахъ, вопросы о нижнемъ бѣльѣ, вопросы о становомъ приставѣ, дозволяющемъ себѣ ѣздить на трехъ лошадяхъ, вмѣсто двухъ... Спрашивается: когда и какой бюрократъ не скорбѣлъ этими вопросами? Когда и какой не чувствовалъ священнаго ужаса при мысли о невычищенной плевательницѣ, о ненатертыхъ, какъ зеркало, полахъ?—Никакой и никогда.

А потому я не только не озлобляюсь и не огорчаюсь, но радуюсь...

Я радуюсь, потому что ничто окрестъ меня не измѣнилось, что хотя изъ всѣхъ щелей вылѣзаютъ запросы, но запросы эти мнѣ словно родные, да и отвѣты на нихъ тоже словно родные. Выходя изъ дома, я, какъ рыбакъ рыбака, издалека усматриваю моего милаго сѣятеля и кричу ему: «ау!» И хотя онъ ни подъ какимъ видомъ не хочетъ отвѣтить на мой окликъ, но я нимало не обижаюсь этимъ, ибо знаю, что онъ, какъ малый конфузливый, еще не пріобыкъ.

Я радуюсь, потому что сѣятель не перевернулъ вверхъ дномъ моего отечества, что онъ сразу понялъ, что возмущать воду, коей поверхность гладка, не слѣдуетъ, что вызывать наружу раны, кои скрыты, не полезно; что вообще соображать, испытывать, изслѣдовать—голова заболитъ. Онъ принялъ то самое наслѣдство, которое я ему оставилъ, и лѣзетъ изъ кожи, чтобъ сохранить его неприкосновеннымъ и неизмѣннымъ.

Если онъ поднялъ (и именно въ укоръ мнѣ поднялъ) вопросы о рукомойникахъ и нижнемъ бѣльѣ, и если онъ пользуется этими вопросами, чтобы наглядно показать мою неспособность и поразить меня—я прощаю ему. Отъ него я охотно снесу всевозможныя укоризны и пораженія, и положительно ни однимъ словомъ не отвѣчу на нихъ. «Виноватъ! не досмотрѣлъ!»—вотъ единственное оправданіе, которое я могу допустить въ свою пользу на скользкомъ поприщѣ рукомойниковъ. И твердо вѣрю, что сѣятель, въ свою очередь (хоть и не скоро!), проститъ меня.

Ты мнѣ милъ, сѣятель! ты мнѣ родственъ, а потому я радуюсь, утѣшаюсь и надѣюсь. Всюду, куда ни обращу свои взоры, я вижу свое собственное отраженіе, и такъ какъ я очень высокаго понятія о моей дѣятельности, то весьма естественно, что мнѣ приходитъ на мысль: если я одинъ столько дѣлъ надѣлалъ, то чего не предприму, чего не совершу въ согласіи съ такими ребятами!

И тѣмъ не менѣе, о, сѣятель, я примѣчаю въ тебѣ нѣкоторый порокъ, который можетъ со временемъ погубить тебя. Въ чемъ заключается этотъ порокъ — ты увидишь изъ слѣдующаго за симъ разсказа.

Вотъ наконецъ и послѣдній актъ драмы. Въ городѣ предсказываютъ нѣчто необыкновенное. Выжившая изъ ума, но все еще принимающая дѣятельное участіе въ политическихъ раздорахъ, бабушка Татьяна Юрьевна (она же въ просторѣчіи именуется Наиной) торжественно увѣряетъ, что готовится «лекведація». Рѣзвыя дѣвицы-внучки подхватываютъ это выраженіе и трунятъ надъ бабушкой.

— Ка̀къ, бабушка? ка̀къ? «лекведація»?—пристаютъ онѣ и, обращаясь къ одному изъ вѣчно-слоняющихся франтовъ-сѣятелей, продолжаютъ:—слышите, мсьё? бабушка увѣряетъ, что сегодня будетъ «лекведація»!

— «Лекведація»! charmant!

— «Лекведація»! impayable!

— Да, мои миленькія, «лекведація»! — шамкаетъ бабушка:—сегодня братецъ Сила Терентьичъ побѣдитъ братца Терентья Силыча!

(Несмотря на то, что первый оберъ-сѣятель, а послѣдній—оберъ-бюрократъ, прозорливая бабушка продолжаетъ называть ихъ «братцами»).

Съ почтительною осторожностью вхожу я на хоры той самой залы, въ которой, по словамъ сѣятелей, изготовляется

великое будущее Россіи. Тихо. И публика, и сѣятели— все смолкло подъ гнетомъ впечатлѣнія, произведеннаго заключительною рѣчью одного изъ ораторовъ, смѣлая мысль котораго, по поводу вопроса о возобновленіи верстовыхъ столбовъ, успѣла, въ какую-нибудь четверть часа, облетѣть всѣ страны Европы, сходить въ Америку, окунуться въ мракъ прошедшаго и приподнять таинственную завѣсу будущаго. Въ воздухѣ коломъ стоятъ и «рутинные пути», и «великое будущее», и «твердыя упованія», и «свѣтлыя надежды», словомъ, все, чѣмъ красна рѣчь всякаго благонадежнаго сѣятеля. Сидящія на хорахъ дамы обмахиваются вѣерами и встрѣчаютъ мое появленіе съ видимою недовѣрчивостью, какъ будто подозрѣваютъ, что я хочу «смутить веселость ихъ». Но такъ какъ я ни на чью веселость не посягаю, а хочу только поучиться, то и пробираюсь себѣ полегоньку впередъ, въ тотъ укромный уголокъ, гдѣ привитаетъ добрая бабушка Татьяна Юрьевна, окруженная рѣзвушками-внучками.

— Что, родной, много ли сегодня душъ по-міру пустилъ? — спрашиваетъ меня бабушка, какъ только замѣчаетъ, что я стремлюсь пристроиться поближе къ ней.

Въ сущности, она любитъ меня (я знаю довольно много скандалезныхъ анекдотовъ, которые по временамъ сообщаю ей и до которыхъ она страстная охотница); но съ тѣхъ поръ, какъ случилась извѣстная «катастрофа», милая бабушка глубоко убѣждена, что каждый бюрократъ поставилъ себѣ за правило ежедневно «пускать по-міру» по нѣскольку душъ «неповинныхъ», и потому, при всякой встрѣчѣ, считаетъ полезнымъ напомнить мнѣ объ этомъ.

— Да человѣка съ четыре!—скромно отвѣчаю я и съ удовольствіемъ вижу, что отвѣтъ мой производитъ весьма пріятное дѣйствіе на внучекъ-вострушекъ.

Однако внизу что-то позамялось. Слышится шопотъ, образуются кружки; нѣкоторые изъ сѣятелей спѣшатъ сходить въ буфетъ и возвращаются оттуда значительно пріободренными. Бабушка впадаетъ въ забытье и, словно въ бреду, спрашиваетъ, скоро ли будутъ палить?

— Слышите, мсьё? слышите?—подхватываютъ внучки:— бабушка спрашиваетъ: скоро ли будутъ палить?

Я начинаю доказывать, что бабушка не совсѣмъ неправа, и что ежели взглянуть на предметъ съ точки зрѣнія переносной, то, пожалуй, окажется...

— Шт!..—внезапно раздается по залѣ. Я умолкаю, ба-

бушка просыпается, внучки превращаются въ слухъ. Сѣятели скучиваются въ одну группу.

Сила Терентьичъ требуетъ слова. Но, съ непривычки, онъ такъ сильно сконфуженъ, что нѣкоторое время только шевелитъ усами. Онъ сознаетъ, что ему, какъ сѣятелю изъ сѣятелей, предлежитъ сказать комплиментъ, но въ сѣдой его головѣ, кромѣ «милости просимъ откушать», ничего не слагается. Наконецъ чувство долга оказываетъ свое дѣйствіе, изъ устъ почтеннаго старца вылетаетъ ожидаемый комплиментъ.

— Итакъ, господа, — говоритъ онъ: — слава Богу, все кончилось. Съ Божьей помощью, мы наше дѣло сдѣлали. Во-первыхъ, назначили нашимъ будущимъ дѣятелямъ приличное содержаніе; во-вторыхъ, кого слѣдуетъ обложили соотвѣтствующими сборами. Въ эту минуту нѣтъ почти ни одного благороднаго дворянина, который бы не получалъ содержанія, и намъ остается только разойтись и принести домой пріятныя впечатлѣнія. Себя не хвалю. Если и есть у меня заслуги, то онѣ не мои, а моихъ благородныхъ господъ сослуживцевъ. Мнѣ оставалось смотрѣть и радоваться... и въ особенности благодарить. Да-съ, благодарить-съ (Сила Терентьичъ низко кланяется, касаясь рукой земли). Я очень понимаю, господа, что труда было довольно, что на насъ были обращены взоры цѣлой губерніи, и что, несмотря на это, мы превозмогли. То-есть превозмогли мои благородные сослуживцы; я же, съ своей стороны, могу только радоваться и благодарить. Да-съ, благодарить-съ. Можетъ-быть, я не литераторъ и не все выразилъ, но скажу: губернія видѣла, и часъ этотъ пробьетъ въ потомствѣ. Милости прошу откушать!

Сила Терентьичъ обходитъ сѣятелей и поочередно со всѣми цѣлуется. «Благодарю!»—«Милости просимъ откушать!» — вотъ лестные звуки, которые льются изъ устъ его и которые, казалось, должны бы тронуть даже каменныя сердца. Но—увы!—мельница спущена, затворъ потерянъ, вода бѣжитъ, и жерновъ мотается, какъ угорѣлый, на своей оси, изумляя и огорчая вселенную безпутнымъ досужествомъ.

На этотъ разъ роль жернова берется выполнить Woldemar Кочкарниковъ. Онъ лихо выступаетъ на середину, вставляетъ въ глазъ стеклышко, выворачиваетъ голову назадъ и вообще старается придать своему туловищу тотъ самый видъ, который, во дни юности, составилъ ему ре-

цутацію на балахъ у Кессенихъ. Между сѣятелями Кочкарниковъ слыветъ умникомъ. Онъ считается спеціалистомъ по части желѣзныхъ дорогъ, потому что ѣзжалъ по Николаевской желѣзной дорогѣ; спеціалистомъ по части кредита, потому что закладывалъ свои имѣнія въ опекунскомъ совѣтѣ; спеціалистомъ по части народной нравственности, потому что держитъ около десятка кабаковъ; спеціалистомъ по части мостовъ и перевозовъ, потому что не далѣе, какъ прошлой весной, единолично и собственноручно разбилъ на голову цѣлую армію перевозчиковъ за то, что они замѣшкались подать ему паромъ, и наконецъ спеціалистомъ по части больницъ, потому что видѣлъ-таки на своемъ вѣку виды. Поэтому, когда, при обсужденіи какого-нибудь дѣла, сѣятели становятся втупикъ, то обыкновенно кладется резолюція такого рода: «сѣятелю Кочкарникову, какъ спеціалисту по части такой-то, поручить озаботиться о безотлагательномъ устройствѣ въ нашей губерніи желѣзныхъ дорогъ и о неотложномъ усовершенствованіи народной нравственности». И затѣмъ сѣятели успокоиваются, въ твердой увѣренности, что желѣзные пути будутъ безотлагательно устроены, а народная нравственность неотложно усовершенствована.

Понятно, что появленіе такого человѣка должно произвести нѣкоторый трепетъ въ публикѣ. Дамочки колышутся; демуазельки мечутся и безъ толку лепечутъ на всѣ стороны: «ахъ, ma chère! ахъ, ma chère!» Одна барыня на сносяхъ втихомолку молится Богу, чтобъ будущій плодъ ея былъ похожъ на Кочкарникова; бабушка просыпается и думаетъ, что вокругъ нея происходитъ «воспоминаніе баталіи при Гангеудѣ»!

— Въ мое время тоже въ колокола звонили... да! а лгали какъ... ужасти!—обращается она ко мнѣ и тутъ же опять засыпаетъ...

— Позвольте мнѣ, господа, сдѣлать небольшую поправку къ привѣтствію нашего почтеннаго представителя!—начинаетъ Кочкарниковъ среди общаго молчанія.—Съ свойственною ему скромностью, онъ умолчалъ о тѣхъ трудахъ, которые подняты имъ лично на пользу общественнаго благоустройства, развитія и процвѣтанія...

Но такъ какъ ораторъ съ утра ничего не ѣлъ, то въ эту минуту передъ глазами его внезапно проносятся: майонезы изъ дичи, майонезы изъ рыбы, уха изъ стерлядей, отпоенная добѣла телятина, однимъ словомъ, вся

сласть, которую, черезъ какой-нибудь часъ, ему, вмѣстѣ съ прочими, предстоитъ обонять, ощущать и смаковать. На душѣ его становится горько. Зачѣмъ онъ началъ болтать? Къ чему онъ добровольно отдаляетъ отъ себя мигъ блаженства? На секунду онъ даже останавливается въ нерѣшимости и думаетъ, не наплевать ли. Прозорливѣйшіе изъ зрителей начинаютъ безпокоиться, ибо провидятъ борьбу, которая происходитъ въ ораторѣ. Но ораторъ уже сбросилъ съ себя иго кухоннаго матеріализма: онъ вздрагиваетъ и полегоньку трясетъ головой, какъ бы освобождая свою мысль отъ ненужныхъ примѣсей. Черезъ минуту онъ попрежнему свѣжъ и бодръ и, какъ ни въ чемъ не бывало, продолжаетъ выбрасывать изъ себя потоки.

— Да, господа,—говоритъ онъ: — это было отрадное и отчасти грустное время. Это было время борьбы съ бюрократіей и всею ея темною свитой. Окрылялись молодыя надежды, развивались молодыя упованія, росли и крѣпли въ тиши молодыя силы. Кровавое знамя соціализма пряталось. Чувствовалось жутко и, вмѣстѣ съ тѣмъ, легко и отрадно. Какъ путникъ, застигнутый въ степи бураномъ, прислушивается, не донесется ли до него звукъ колокола родной колокольни, такъ и мы, въ нашемъ святомъ дѣлѣ, среди тѣхъ великихъ задачъ молодого возрожденія, которыя намъ предстояли, прислушивались... чутко прислушивались...

Опять проносятся майонезы и сюпремы, а бѣлоснѣжная телятина, словно живая, такъ и глядитъ въ глаза. Ораторъ съ трудомъ, но превозмогаетъ.

— И вотъ,—продолжаетъ онъ:—среди этихъ надеждъ, среди этихъ молодыхъ усилій и молодыхъ упованій, въ самомъ жару битвы, наша алчущая мысль, наше жаждущее чувство были внезапно удовлетворены самымъ блистательнымъ, даже, можно сказать, самымъ неожиданнымъ образомъ. Да, «неожиданнымъ», смѣло повторяю это слово, — ибо никто не могъ и не имѣлъ права ожидать ни той полноты, ни той беззавѣтности! («Майонезы! майонезы!» словно злой двухъ какой шепчетъ на ухо). Среди этихъ трудовъ, видовъ и предположеній, въ виду открывавшихся кругозоровъ, мы встрѣтили, милостивые государи, руководителя! («Майонезы!») Мы были путниками—и перестали быть ими; мы были отданы на жертву стихіямъ — и пріобрѣли надежный кровъ, подъ сѣнію котораго наши молодыя упованія могли окрыляться, наши молодыя силы—

укрѣпляться и развиваться. Наша мысль не блуждала, ибо нашла для себя надлежащую руководящую нить; наша рука била прямо, цѣлила вѣрно, ибо опорой ей былъ твердый оплотъ. Если мы, на первыхъ порахъ, могли еще на минуту усомниться насчетъ размѣра слѣдующаго намъ содержанія, то сомнѣнія эти, милостивые государи, разсѣялись, подобно туману, удручающему въ осенніе дни поля земледѣльца...

«Майонезы! майонезы!...» Ораторъ изнемогаетъ.

— Сила Терентьичъ!—съ трудомъ дотаскиваетъ онъ свой грузъ: — съ свойственною вамъ скромностью, вы хотѣли умолчать о трудахъ своихъ! Вы хотѣли всю честь нашего молодого возрожденія приписать намъ, вашимъ слабымъ сотрудникамъ...

— Прихлебателямъ!—вдругъ совершенно явственно раздается по залѣ. Всѣ глаза ищутъ дерзкаго нарушителя общественнаго порядка, но виновницею оказывается старая бабушка, которая и въ забытьѣ не утратила своей прозорливости. Чтобъ избѣжать повторенія подобныхъ сценъ, ее увѣряютъ, что давно ужъ отужинали, и увозятъ домой.

— Прихлеба... то бишь, сотрудникамъ. Но мы этого не допустимъ («нѣтъ! нѣтъ! не допустимъ!» гудитъ кругомъ сѣятельскій рой). Мы скажемъ вамъ: въ первый разъ въ жизни вы сказали слово, не согласное съ истиной! Нѣтъ, не тотъ дѣйствительный сѣятель, который исполняетъ предначертанія и приводитъ къ осуществленію преднамѣренія! Не тотъ. Тотъ дѣйствительный труженикъ и сѣятель, достойнѣйшій нашъ Сила Терентьичъ (произнося эти слова, ораторъ снисходительно улыбается, какъ будто говоритъ: а дай-ко, я тебя пощекочу!), который эти предначертанія умѣетъ внушить, который, расширяя горизонты, изыскиваетъ пути, тотъ, наконецъ, который, на самыхъ этихъ путяхъ, умѣетъ найти дѣятелей, бодрыхъ не дерзостью или самонадѣянностью, но твердою и неуклонною готовностью слѣдовать по указанной разъ стезѣ. Нашъ трудъ скроменъ, Сила Терентьичъ! нашъ трудъ невеликъ! Не на насъ были обращены взоры цѣлой губерніи, Сила Терентьичъ! нѣтъ, не на насъ! Они были обращены на нашего руководителя... они были обращены на васъ.

— Милости просимъ откушать!—начинаетъ Сила Терентьичъ, но тутъ поднимается такая суматоха, что голосъ достойнаго представителя совершенно теряется. Его окру-

жаютъ; кричатъ: «на васъ! на васъ!» — такъ что онъ видитъ себя въ необходимости опять со всѣми цѣловаться. Пользуясь этимъ случаемъ, благоразумнѣйшіе изъ сѣятелей успѣваютъ сбѣгать въ буфетъ и подкрѣпиться.

«А сѐмка, и я что-нибудь хлопну!»—думаетъ между тѣмъ Сеня Накатниковъ и, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, тутъ же приводитъ намѣреніе свое въ исполненіе.

— Господа, мы забываемъ достойныхъ членовъ нашей комиссіи!—взываетъ онъ. — Нѣтъ слова, что мы потрудились, да и достойнѣйшій представитель нашъ тоже потрудился, но спрашиваю я васъ: что̀ бы это такое было, если бы у насъ не было комиссіи? Не забудьте, господа, что прежде всего намъ надо было собрать факты, а гдѣ ихъ взять? Гдѣ, спрашиваю я васъ, отыскать факты? и какъ ихъ взять? Факты, говорю я, бываютъ разные. Есть факты подходящіе, есть факты неподходящіе, есть даже факты, которые совсѣмъ, такъ сказать, не факты... Вотъ это я называю: трудъ! Однажды я возвращаюсь въ четвертомъ часу ночи изъ клуба («было мало-мало выпито!» вдругъ шепчетъ воскресшее воспоминаніе) и замѣчаю въ домѣ одного изъ членовъ комиссіи огонь. Слѣзаю, стучусь, вхожу — и что̀ же вижу? Сидитъ почтенный нашъ сотоварищъ съ перомъ въ зубахъ... по правую руку — счеты... по лѣвую — кипы исписанной цифрами бумаги... вдали—потухшая сигара! Вотъ это я называю: трудъ, потому что это фактъ. Что̀ сдѣлали бы мы безъ факта? что̀ сталось бы съ нашими трудами, если бы они не были основаны на фактахъ? Эти факты кто намъ далъ? Спрашиваю: кто, такъ сказать, возродилъ факты изъ пепла? Чѣмъ мы сильны передъ бюрократіей, какъ не тѣмъ, что у насъ фактъ, а у ней одни рутинные пути? Спрашиваю: кто далъ намъ этотъ фактъ?—и отвѣчаю: намъ дала его комиссія. Надъ чѣмъ трудился почтенный нашъ сотоварищъ въ тиши уединенія? — Надъ фактомъ. Что̀ озабочивало мысль этого истиннаго пустынника въ столь неурочное время?—Фактъ... Послѣ этого что-жъ еще говорить? Что̀ еще говорить? спрашиваю я васъ. Нужно ли прибавлять, какого рода фактомъ приличествуетъ ознаменовать заключеніе нашей дѣятельности? Если древніе римляне даже гусямъ...

Оратору не даютъ кончить. Клики: «благодаримъ! благодаримъ!» прерываютъ его рѣчь на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ онъ намѣревался сдѣлать краткую экскурсію въ исторію гусей. Члены комиссіи: два брата Зуботыкины, одинъ

Недотыкинъ и одинъ Перетыкинъ, выступаютъ впередъ. Ихъ поочередно цѣлуютъ, но самые сладкіе безѐ, конечно, достаются на долю Недотыкина, въ которомъ всѣ сразу узнали «истиннаго пустынника», отыскивавшаго въ четвертомъ часу ночи фактъ съ перомъ въ зубахъ.

Недотыкинъ — человѣкъ не безъ дарованій. Онъ одинъ изъ всѣхъ «сѣятелей» знаетъ табличку умноженія до такой степени твердо, что можетъ во всякое время съ увѣренностью отвѣтить, что $8 \times 9 = 72$. Сверхъ того, онъ скроменъ и трудолюбивъ. Какой-нибудь сѣятель возьмется счетъ провѣрить, возится съ нимъ, пока совсѣмъ не измаслитъ, и все-то у него неудача: либо приложитъ копейку, либо не доложитъ двѣ. Сейчасъ къ Недотыкину. Недотыкинъ взглянетъ, сообразитъ, поколдуетъ («шестью-шесть», «семью-семь», «восемью-девять» и т. д.), и смотришь—недоложенная копейка найдена, и отечество нѣкоторымъ образомъ спасено. На этомъ основаніи сѣятели прочатъ Недотыкина въ мѣстные финансисты и опасаются только одного: что, по врожденной скромности, у него не хватитъ смѣлости, чтобъ вольнымъ духомъ заключать займы, черезъ что, конечно, финансовое положеніе страны утратитъ много блеска. Что̀ касается до меня, то я, съ своей стороны, никакихъ препятствій къ совершенію Недотыкинымъ блестящей карьеры не встрѣчаю, ибо нахожу равно сроднымъ истинному финансисту: и скромность фіалки, въ тиши уединенія протверживающей табличку умноженія, и дерзновеніе орла, съ высотъ заоблачныхъ испытующаго, не выглядываетъ ли изъ чьего-либо кармана кредитный рубль, могущій послужить на пользу.

Недотыкинъ смущенъ; похвалы застали его врасплохъ въ то самое время, когда въ головѣ его почти совершенно удовлетворительно разрѣшалась задача: «летѣло стадо гусей», въ примѣненіи къ общесѣятельскому дѣлу. Тѣмъ не менѣе онъ понимаетъ, что его цѣловали не даромъ, что самый воздухъ, которымъ онъ дышитъ, зараженъ жаждой комплимента. Скрѣпя сердце, онъ начинаетъ:

— Право, господа, я не знаю... какъ членъ комиссіи, я даже просто не вижу... Семенъ Семенычъ говоритъ: «не будь комиссіи», а я, напротивъ того, говорю: «не будь васъ». Это глубокое мое убѣжденіе; это убѣжденіе и всѣхъ моихъ товарищей. Вы насъ просвѣтили, насъ направили и наставили—что̀ же намъ оставалось дѣлать? Оставалось покориться волѣ Провидѣнія и благодарить. Мы и благода-

римъ, и не только благодаримъ, но и присовокупляемъ: во всякое время общество найдетъ насъ готовыми. Позвольте же, господа, отъ полноты души возвратить вамъ тотъ братскій поцѣлуй, которымъ вы почтили меня и моихъ товарищей.

Недотыкинъ лѣзетъ цѣловаться. Раздаются сочныя чмоканья; на хорахъ слышится движеніе стульевъ. Сила Терентьичъ разѣваетъ ротъ, чтобы въ сотый разъ вымолвить: «милости просимъ откушать!»

— Позвольте, господа! — вдругъ вопіетъ кто-то изъ толпы. — Я нахожу, что наше торжество будетъ неполно, если мы не сдѣлаемъ участникомъ его нашего уважаемаго товарища, Владиміра Тимоѳеича Кочкарникова. Владиміръ Тимоѳеичъ! положа руку на сердце, вы можете сказать себѣ и вашему уважаемому семейству: да, я жилъ не даромъ! я сдѣлалъ все для родной земли, что̀ было въ моихъ силахъ! Съ вашей просвѣщенной помощью мы пришли къ разрѣшенію вопроса о проведеніи путей въ нашемъ краѣ! Благодаря вашимъ неутомимымъ изысканіямъ, вопросъ объ усовершенствованіи народной нравственности для насъ окончательно уяснился! Вы первый открыли ту тѣсную, неразрывную связь, которая существуетъ между общественнымъ призрѣніемъ и хозяйственнымъ способомъ заготовленія больничнаго бѣлья и вещей! По вашей плодотворной инициативѣ состоялась у насъ вѣчно памятная резолюція: немедленно принять мѣры къ искорененію пьянства! Вы указали на опасность, которою угрожаютъ странѣ безпрерывные захваты алчной и безпочвенной бюрократіи! Вы наконецъ подняли нашъ духъ, подвергнувъ тщательной критикѣ вопросъ о взаимномъ самовознагражденіи! Хвала вамъ, Владиміръ Тимоѳеичъ! Хвала и вѣчное, неугасимо-благодарное пламя сердецъ нашихъ! Думаю, милостивые государи, что выражаю нашу общую мысль, говоря: Владиміръ Тимоѳеичъ! передайте всему вашему многоуважаемому семейству, что вы много потрудились, много поревновали для родной земли, и что родная земля благодаритъ васъ!

Кочкарниковъ блѣденъ, какъ полотно; у него, что называется, дыханіе въ зобу сперло. Но на этотъ разъ представленіе о майонезахъ и сюпремахъ дѣйствуетъ такъ побѣдительно, что онъ даже не поддается искушенію болтовни и рѣшается покончить какъ можно скорѣе.

— Господа,—говоритъ онъ: — вмѣсто отвѣта, позвольте припомнить вамъ одно обстоятельство. Когда ваше высо-

кое довѣріе налагало на меня новыя обязанности, я сказалъ: господа! я силенъ только вами! Отъ души повторяю это теперь, въ эту торжественную минуту, и клянусь...

Кочкарниковъ закусилъ нижнюю губу и умолкаетъ, ибо желудокъ его окончательно отощалъ. Всѣ бросаются на него и съ остервенѣніемъ мнутъ въ объятіяхъ. Стулья на хорахъ вновь начинаютъ двигаться.

— А старичка! старичка-то и позабыли!—укоряетъ чей-то голосъ съ хоръ.

Выводятъ подъ-руки «старичка», отставного инженеръ-прапорщика Дѣдушкина, такого дряхлаго, что онъ и самъ сомнѣвается, точно ли онъ живъ. Про «старичка» разсказываютъ, что онъ получилъ свой чинъ еще при Петрѣ I за то, что построилъ въ селѣ Преображенскомъ первую фортецію, которую великій отрокъ изволилъ потомъ самолично взять приступомъ съ своими потѣшными.

Но инженеръ-прапорщику уже не до хвастовства. Онъ кланяется и издаетъ слабый пискъ.

Въ залѣ пусто; изъ норъ выходятъ крысы. Онѣ степенно ползутъ одна за другой и скучиваются на серединѣ. Поднимается пискъ. Повидимому, онѣ подражаютъ. Одна, совсѣмъ сѣдая, съ оттопыривающимися во всѣ стороны усами, кажется, говоритъ: «милости просимъ ко мнѣ на сало!» Другія, по очереди, хвастаютъ.

Сторожъ, свидѣтель этого противоестественнаго сходбища, убѣгаетъ въ смятеніи...

III.—Легковѣсные.

Чѣмъ больше ветшаетъ міръ, тѣмъ бо̀льшая накопляется въ немъ сумма опытности. Отношенія упрощаются: сомнѣнія уступаютъ мѣсто увѣренности; истины, до познанія которыхъ человѣкъ въ былое время доходилъ путемъ нелегкой борьбы, становятся простыми аксіомами, никакой борьбы не требующими. Простодушный славянинъ, который нѣкогда училъ нашихъ предковъ почаще повторять изреченіе: «да будетъ намъ стыдно», конечно, первый устыдился бы своей наивности, если-бъ всталъ изъ гроба и взглянулъ на успѣхи своихъ потомковъ.

Во всемъ мы успѣли, во всемъ отрезвились. Чѣмъ дальше мы идемъ, тѣмъ болѣе и болѣе убѣжденія наши теряютъ

свою призрачность и, взамѣнъ того, пріобрѣтаютъ драгоцѣнныя качества осязательности и плотности. Громъ гремитъ, собака лаетъ, мѣдные лбы торжествуютъ — вотъ тѣ простыя истины, до которыхъ мы додумались и на которыхъ зиждится наше будущее благополучіе. Мы признаемъ за истину только ту истину, которая бьетъ насъ по лбу и механически поражаетъ наши чувственные органы; мы заносимъ въ наши лѣтописи только тотъ фактъ, который имѣетъ за собой привилегію факта совершившагося. Все прочее пріурочивается нами къ области мечтаній; а такъ какъ мечтанія безплодны (аксіома), то мы и относимся къ этому «прочему» ежели не съ ненавистью, то съ ироническимъ сожалѣніемъ. Откуда пришли къ намъ наши непреложныя истины, что̀ производитъ громъ, почему лаетъ собака, почему торжествуютъ лбы мѣдные, а не простые — мы надъ этимъ не задумываемся и не желаемъ себѣ объяснить: мы просто принимаемъ это, какъ фактъ глухой и неотразимый. Заслышавъ громъ, мы говоримъ: вотъ громъ; заслышавъ лающую собаку, мы говоримъ: вотъ лающая собака.

Цѣль всѣхъ нашихъ стремленій и заботъ заключается въ томъ, что̀бы навсегда освободиться отъ какихъ бы то ни было сомнѣній и создать для себя то положеніе счастливой увѣренности, въ которомъ можно было бы жить, не задумываясь и не размышляя. Каждый изъ насъ облюбовываетъ себѣ извѣстныя рамки, прилаживается къ нимъ и затѣмъ уже заботится только о томъ, какъ бы не переступить границы и не очутиться невзначай въ области неизвѣстнаго. Впереди — мотается кусокъ, на который устремлены всѣ взоры и который служитъ путеводною звѣздой въ нашемъ странствіи...

Нельзя однако-жъ сказать, чтобъ эти прилаживанія доставались намъ безъ усилій — совсѣмъ напротивъ! Нѣтъ ничего болѣе хрупкаго, какъ тѣ рамки, къ которымъ мы такъ старательно прилаживаемся, и нѣтъ ничего болѣе цѣпкаго, какъ то *неизвѣстное*, отъ котораго мы такъ упорно отворачиваемся. Поэтому, чтобы удержаться въ рамкахъ и защитить ихъ отъ наплыва неизвѣстнаго, отъ насъ требуется довольно подвиговъ и даже не мало насилій... Но положимъ, что мы не постоимъ за подвигами; положимъ, что наши понятія о нравственномъ содержаніи поступковъ, о чести и правдѣ настолько упростились, чтобы не допустить насъ споткнуться въ нашемъ рьяномъ стремленіи къ

куску, — какой же собственно получится результатъ этихъ подвиговъ и насилій?—А вотъ какой: въ ту минуту, когда мы уже достигаемъ *куска*, когда мы осязаемъ руками цѣль нашихъ вожделѣній — оказывается, что питательность его болѣе нежели сомнительна, что онъ и самъ уже подвергся нѣкоторымъ органическимъ измѣненіямъ, вслѣдствіе напора того же «неизвѣстнаго», съ которымъ мы вели такую неутомимую борьбу!

Такимъ образомъ, преслѣдуя мечтателей, мы сами оказываемся мечтателями сугубыми и, къ тому же, мечтателями недальновидными, грубыми и нелѣпыми!

Спрашивается: для чего мы трудились, подвижничали и насильствовали?

Было время, когда въ нашемъ обществѣ большую роль играли такъ-называемые каплуны мысли. Эти люди, разъ ухватившись за идейку, усаживались на ней вплотную, переворачивали на всѣ стороны, жевали, разжевывали и пережевывали, дѣлались рьяными защитниками ея внѣшней и внутренней неприкосновенности и, обезпечивши ее разъ навсегда отъ всякаго дальнѣйшаго развитія, тихо и мелодично курлыкали. Я до сихъ поръ не могу забыть тѣхъ томныхъ, разслабляющихъ звуковъ, которыми ознаменовалась эпоха нашего возрожденія. Были въ то время такіе сладкіе катышки, которые какъ только попадутъ въ ротъ— такъ съ ними и не разстанешься. Каплуны же народъ добродушный, къ ѣдѣ ласковый и къ утучнѣнію своихъ тѣлъ весьма склонный. Они не только съ жадностью ловили тѣ катышки, которые бросались имъ чьею-то щедрою рукою, но даже охотно разрывали вольный навозъ и отыскивали въ немъ катышки совершенно мнимые. И поднималось у нихъ тутъ-то равномѣрное самодовольное курлыканье, которое многихъ, даже проницательныхъ людей ввело въ обманъ, дало поводъ думать, что навѣрное въ Россіи наступилъ золотой вѣкъ, коль скоро въ ней такъ изобильно развелась птица-каплунъ, и притомъ такая гладкая и такъ самодовольно курлыкающая.

Но само собою разумѣется, что птицѣ, обладающей такимъ важнымъ изъяномъ, не суждено быть ни законодательницей міра, ни властительницей думъ. Оказалось, что одни изъ катышковъ, которые такъ жадно проглатывались глупою птицей, заключали въ себѣ отраву, другіе же не могли быть переварены по неумѣлости или глупости. Сверхъ

того, однообразное и притворное курлыканье каплунов до того опротивѣло, до того раздражило всѣмъ нервы, что птицу наконецъ перестали кормить. Однимъ словомъ, птица задумалась и черезъ короткое время вся безъ остатка подохла.

Гдѣ вы, воспѣтые нѣкогда мною литераторы-обыватели? Гдѣ вы, непреклонные обличители исправниковой неосновательности и городническаго заблужденія? Гдѣ раздается ваше томное курлыканье, и раздается ли оно? Или, быть-можетъ, оно облеклось въ иныя, болѣе соотвѣтствующія требованіямъ времени формы и изрыгается по безчисленнымъ закоулкамъ любезнаго нашего отечества въ видѣ истерическаго ругательства, съ пѣною у рта, съ устремленіемъ дланей и судорогою въ искаженныхъ чертахъ лица?

Какъ бы то ни было, но курлыканье безвозвратно смолкло, и взамѣнъ его общественная наша арена огласилась ржаніемъ рѣзвящихся жеребятъ.

Нѣтъ ничего пріятнѣе, какъ это веселое ржаніе, особливо въ полѣ и въ лѣтнее время на зарѣ. Въ общемъ говорѣ просыпающейся природы оно выдѣляется какою-то особенно свѣжею мелодіей. Да и сама по себѣ картина рѣзвящагося жеребенка дѣйствуетъ на душу освѣжительно. Стрѣлою несется молодой сосунокъ по необозримому полю — и вдругъ онъ остановился, какъ вкопанный, потомъ раза два-три взлягнулъ задними ногами и опять заржалъ, и опять понесся. Эти лансады и курбеты, этотъ внезапный рѣзвый бѣгъ куда-то впередъ, это словно струей пронизывающее воздухъ ржаніе — все это, вмѣстѣ взятое, представляетъ такое прелестное зрѣлище невинной необдуманности, что сердце самое огорченное невольно заражается безотчетной веселостью, и человѣкъ самый суровый, самый преисполненный гражданскихъ доблестей, нѣтъ-нѣтъ, да вдругъ и вскинетъ ногами въ воздухѣ.

Почему намъ нравится такая картина? Не потому ли, что она воскрешаетъ передъ нами идиллическій и всегда любезный намъ образъ невинности? Что хочетъ выразить жеребенокъ своими порывистыми скачками и курбетами, своимъ несущимся по вѣтру хвостомъ, своимъ мелодическимъ ржаніемъ? Очевидно, онъ хочетъ только сказать: «посмотрите, какъ мои прыжки безотчетны, какъ я воленъ скакать и прямо, и вкось, и на гору, и въ оврагъ—всюду, куда несутъ меня мои быстрыя ноги!» И вотъ наше сердце невольно влечется къ этому маленькому красивому со-

зданьицу; насъ трогаетъ и его молодая, безпечная удаль, и ничѣмъ необъяснимая внезапность движеній, и даже самая непредусмотрительность въ различеніи опасностей. Сравнивая эту картину безотчетно рѣзвящейся невинности съ картиною мрачнаго коварства людей, мы невольно восклицаемъ: «Ахъ! если бы и люди могли такъ носиться по полямъ любезнаго намъ отечества, злоумышляли не коварствуя, но наполняя воздухъ веселымъ и мелодичнымъ ржаніемъ!»

Представьте же себѣ, что ваше мимолетное мечтаніе внезапно осуществляется; представьте себѣ, что идиллія, которою вы только-что насладились, происходитъ не въ необозримости полей, а на тѣсномъ пространствѣ Невскаго проспекта, Кузнецкаго Моста, либо какой-нибудь Московской или Дворянской улицы губернскаго города. Представьте себѣ цѣлые табуны молодыхъ жеребятъ, оторванныхъ отъ родныхъ степей и рѣзвящихся въ окрестностяхъ Казанскаго моста или Тверского бульвара! Какъ сладко должно встрепенуться ваше сердце при звукахъ веселаго ржанія! какимъ умильнымъ огнемъ должны загорѣться ваши глаза при видѣ безпримѣрныхъ по своей бойкости прыжковъ! Еще такъ недавно вы видѣли въ этомъ самомъ мѣстѣ нелѣпо переваливавшихся съ боку на бокъ каплуновъ, которые топтали какія-то идейки, подобно тому какъ топчетъ безсмысленный индюкъ бросаемую ему рукавицу, — и вдругъ какая счастливая перемѣна!

Бѣдные, ожирѣвшіе каплуны! вы ли не старались? вы ли, съ неслыханнымъ трудолюбіемъ, не копались на всѣхъ заднихъ дворахъ нашего отечества, отыскивая всевозможныя нечистоты и полегоньку заглаживая и засыпая ихъ песочкомъ? И что-жъ! вы забыты! вы презрѣны! Вы отданы на поруганіе какимъ-то красивымъ, но легкимъ звѣрькамъ, которые плѣняютъ одною безотчетностью прыжковъ и мелодичностью ржанія!

Нѣтъ спора: маленькій жеребчикъ — прелестное, превеселое и преграціозное животное; но представьте себѣ (въ скотскомъ быту это вѣдь очень возможно), что этотъ милый, рѣзвый жеребчикъ вдругъ взбѣсился! Что̀ можетъ тогда произойти? Какими горькими и неисчислимыми послѣдствіями можетъ отозваться это несчастіе на тѣхъ, которые слишкомъ довѣрчиво любовались его рѣзвыми движеніями? Я былъ однажды свидѣтелемъ рѣдкаго и потря-

сающаго зрѣлища: я видѣлъ взбѣсившагося клопа. Въ ряду вонючихъ насѣкомыхъ клопъ почему-то пользуется у насъ репутаціей испытанной и никѣмъ не оспариваемой благонамѣренности. Оттого ли, что нравы этого слѣпорожденнаго паразита недостаточно изслѣдованы и, вслѣдствіе того, онъ живетъ окруженный ореоломъ таинственности, мѣшающей подступиться къ нему, или оттого, что мы видимъ въ немъ нѣчто въ родѣ олицетворенія судьбы, обрекшей русскаго человѣка на покусыванье—какъ бы то ни было, но клопъ взбѣсился, и никто изъ обывателей не только не обратилъ должнаго вниманія на это обстоятельство, но, напротивъ того, всякій продолжалъ считать клопа другомъ дома. Можете себѣ представить, какую тьму народа перепортилъ этотъ негодный паразитъ, какъ широко онъ воспользовался тѣмъ ореоломъ благонамѣренности, которымъ мы окружили его! Одѣвшись личиною смиренія, онъ запалзывалъ въ тюфяки и перины безпечно спящихъ людей и нерѣдко въ теченіе одной ночи поражалъ ядомъ цѣлыя семейства. Десятки и сотни людей пропадали безслѣдно, а клопъ все не унимался, все жалилъ и жалилъ. Онъ и о-сю пору продолжалъ бы жалить, если-бъ, съ одной стороны, не истощился запасъ тѣлъ, а съ другой стороны не обмануло его пораженное бѣшенствомъ собственное обоняніе, наткнувшее его на рожонъ. Но онъ и теперь еще живъ въ своей стѣнной скважинѣ, онъ и теперь по временамъ набѣгаетъ на безпечныхъ, когда благопріятствуетъ темнота ночи...

Повидимому, стóитъ только протянуть руку, чтобъ сдѣлать клопа навсегда безвреднымъ, но оказывается, что это совсѣмъ не такъ легко, какъ можно предположить съ перваго взгляда. Есть какая-то темная сила, которая бдитъ надъ клопомъ и препятствуетъ протянуть руку именно въ ту самую минуту, когда онъ наиболѣе вреденъ. И вотъ вонючій, слѣпорожденный паразитъ становится дѣйствующимъ лицомъ, и никто противъ этого не протестуетъ! Мало того: онъ впадаетъ въ неистовство, онъ безъ разбору впивается во всякое тѣло, лежащее поперекъ его тѣсной дороги,—и ему рукоплещутъ! Находятся, конечно, люди, которые взираютъ на это съ прискорбіемъ, но фактъ уже совершился, клопъ забралъ силу, и только случайность, такая же бѣшеная случайность, какъ и та, которая породила самое бѣшенство, можетъ положить предѣлъ его слѣпому неистовству.

Немного нужно сообразительности, чтобы оцѣнить поло-

женіе, которое поставлено въ зависимость отъ необузданности дрянного клопа!

Но отъ клоповной необузданности нѣтъ надобности дѣлать salto mortale, чтобы дойти до необузданности жеребячьей. Покуда жеребята рѣзвятся, носятся по полямъ и играютъ — они забавны; но когда глаза ихъ наливаются кровью, когда они начинаютъ безъ резона брыкаться, когда ржаніе ихъ принимаетъ зловѣщій тонъ—тогда берегитесь ихъ! Нѣтъ злобы болѣе неотразимой, какъ злоба жеребячья, ибо она встаетъ передъ вами нежданно-негаданно и всегда изъ-за пустяковъ; нѣтъ злобы болѣе неутомимой, ибо она рветъ и грызетъ, не различая предметовъ и не сознавая сама, что̀ попадаетъ ей на зубы.

Я знаю, размышленія мои могутъ показаться читателю навѣянными минутнымъ мизантропическимъ настроеніемъ и, слѣдовательно, односторонними и исключительными. Но попытайтесь же поискать ту границу, гдѣ оканчиваются мизантропическія и могутъ начаться довѣрчивыя отношенія, и вы, конечно, не найдете ея. Бываютъ минуты въ жизни обществъ, когда всякая возможность подобной границы устраняется сама собою; бываютъ положенія, къ которымъ нельзя относиться по произволу, такъ или иначе, но въ виду которыхъ дѣлается обязательнымъ именно то, а не иное отношеніе. Горечь недовѣрія отнюдь не принадлежитъ къ тѣмъ праздничнымъ и нарядным одеждамъ, рядиться въ которыя составляетъ удовольствіе; напротивъ того, это костюмъ очень стѣснительный и даже невыгодный. Но что̀ же вы будете дѣлать, если въ данную минуту это единственная одежда, которая приходится впору?

Въ самомъ дѣлѣ, взгляните на предметъ хладнокровно и найдите хотя малѣйшее разумное основаніе, которое объяснило бы это странное присутствіе жеребятъ на аренѣ человѣческихъ дѣйствій. Допустите шансы самые выгодные: предположите, что жеребята заранѣе застрахованы отъ припадковъ бѣшенства и навсегда останутся тѣми рѣзвыми, веселыми жеребятами, какими они представляются вашимъ предубѣжденнымъ взорамъ. Но вѣдь все-таки это не люди, все-таки это не болѣе какъ звѣрьки!

Да и нужна ли намъ рѣзвость? необходимо ли топтать отечественныя поля? Право, это еще вопросъ, и притомъ вопросъ очень серьезный и очень сомнительный. Рѣзвость, употребляемая на то, чтобы, распустивъ по вѣтру гриву, безотчетно носиться по полямъ и оврагамъ, на то, чтобы

безцѣльно рыть копытами землю и оглашать природу ржаніемъ,—ужели можно изобрѣсти такую гнетущую необходимость, при помощи которой представлялась бы возможность осмыслить подобную безпутную картину?

Легковѣсные люди — вотъ дѣйствительные, несомнѣнные герои современнаго общества. Чѣмъ легковѣснѣе человѣкъ, тѣмъ болѣе онъ можетъ претендовать на успѣхъ, тѣмъ болѣе можетъ дерзать; а ежели онъ вѣсомъ менѣе золотника, то это такой завидный удѣлъ, при которомъ никакихъ препонъ въ жизни для человѣка существовать не можетъ. Законы физики торжествуютъ: легкія тѣла поднимаются вверхъ; тѣла плотныя и вѣскія остаются въ низменностяхъ. Золотники стоятъ тріумфаторами по всей линіи и во всѣхъ профессіяхъ; они цѣпляются другъ за друга, подталкиваютъ и выводятъ другъ друга и въ концѣ концовъ образуютъ такую плотную массу, сквозь которую нельзя пробиться даже при помощи осадныхъ орудій.

Еще очень недавно вы видѣли этихъ безконечно-малыхъ, еще недавно вы думали, что они не больше, какъ жужжащіе комары, которые потому только и обращали на себя ваше вниманіе, что отъ нихъ нужно было отмахиваться... Увы! теперь это не просто комары, а цѣлая масса комаровъ, претендующая затмить собой солнечный свѣтъ. Ихъ жужжаніе—не просто жужжаніе, а совокупность милліоновъ жужжаній, имѣющая всѣ признаки трубнаго гласа. И—ужасъ!—за этими золотниками уже виднѣются десятыя и сотыя доли золотниковъ, которыя тоже цѣпляются въ гору и, конечно, не заставятъ себя долго ждать, дабы своимъ безконечнѣйшимъ ничтожествомъ побѣдить безконечное ничтожество золотниковъ.

Было время, когда властителемъ моихъ думъ былъ знаменитый витій и философъ Ѳеденька Кротиковъ. Назойливый болтунъ, бездонный носитель либеральной галиматьи—онъ, повидимому, соединялъ въ себѣ всѣ данныя, чтобъ сдѣлаться героемъ и львомъ своего времени. Признаюсь, я думалъ, что нельзя изобрѣсти героя болѣе легковѣснаго; я даже упрекалъ себя въ преувеличеніи. И что же — ничуть не бывало! Ѳеденька оказался слишкомъ увѣсистъ, слишкомъ глубокомысленъ и дальновиденъ. Онъ подавилъ золотниковъ основательностью, бойкостью и прозорливостью своихъ сужденій; онъ возбудилъ въ нихъ опасенія шириною и солидностью своихъ взглядовъ—и вотъ безконечно-

малые скучились, составили комплотъ, сговорились и свергнули-таки Ѳеденьку съ пьедестала!

Ѳеденька пріунылъ и поникъ головою. Попрежнему въ немъ безпрепятственно совершается процессъ болтанія, но онъ уже сознаетъ, что болтовня не къ мѣсту, когда все въ природѣ вѣщаетъ о подтягиваніяхъ, подбираніяхъ и энергическихъ поступаніяхъ; попрежнему онъ смотритъ фофаномъ, но—увы!—фофаномъ не торжествующимъ, а грустнымъ и словно приниженнымъ.

— Ты видишь! — сказалъ мнѣ этотъ проштрафившійся гигантъ, встрѣтившись на-дняхъ со мною на улицѣ и указывая на рой безконечно-малыхъ, суетившихся тутъ же, у нашихъ ногъ:—ты видишь ли малыхъ сихъ? Но подожди! тò ли еще будетъ! Эти неизмѣримо-малые — великаны въ сравненіи съ тѣми неизмѣримо-малѣйшими, которые придутъ на ихъ мѣсто!

Затѣмъ Ѳеденька съ головой окунулся въ бездну умѣреннаго либерализма и болѣе уже не вылѣзалъ оттуда. Онъ разсказывалъ мнѣ о своихъ подвигахъ на поприщѣ постепеннаго преуспѣянія, о томъ, сколько требовалось осторожности, осмотрительности и даже самоотверженія, чтобы не погубить молодые, нѣжные всходы общественной самодѣятельности, и проч., и проч. Внимая рѣчамъ его, я очень мало понялъ, но въ то же время, въ первый разъ въ жизни, удивился ихъ мудрости. Меня какъ-то непривычно поразили звуки человѣческаго голоса. Я сравнивалъ эту ровную, гладкую, словно канитель тянущуюся рѣчь съ утробнымъ стенаніемъ золотниковъ, и вздыхалъ... почти плакалъ! И если-бъ у меня нашелся подъ руками лавровый вѣнокъ, я непремѣнно возложилъ бы его на чело этого пустопорожняго мудреца.

Все проходитъ, все измѣняется. Были идеи—онѣ переродились въ слова; были слова — они смѣнились безсвязнымъ, любострастнымъ стенаніемъ. Увы! намъ ужъ не до идей! Теперь мы съ сожалѣніемъ вспоминаемъ даже о словахъ, даже о тѣхъ скудно надѣленныхъ внутреннимъ содержаніемъ рѣчахъ, которыми отягощали намъ слухъ пустопорожніе мудрецы! Мы жалѣемъ объ нихъ, потому что въ нихъ все-таки слышались знакомые человѣческіе звуки. Представители бездоннаго краснорѣчія становятся въ нашихъ глазахъ любезными, даже великими; ибо если они не обладали идеями въ дѣйствительномъ значеніи этого слова, то несомнѣнно, что у нихъ существовали нѣкоторые

обрывки идей. Цѣпляясь за эти обрывки, можно было докопаться до исходнаго пункта, можно было хотя на время установить бродячую мысль оратора.

Увы! драгоцѣнные обрывки мысли исчезаютъ безслѣдно, исчезаютъ въ виду всѣхъ! Безсвязный гулъ, который издаетъ толпа «легковѣсныхъ», не только не имѣетъ ничего общаго съ мыслью, но даже находится въ явно враждебныхъ къ ней отношеніяхъ. Коли хотите, анализируя этотъ гулъ пристальнѣе, вы, конечно, рискуете отыскать въ немъ нѣчто похожее на внутреннее содержаніе, но это внутреннее содержаніе тѣмъ только и отличается отъ наглой безсмыслицы, что въ основѣ его лежитъ доходящая до остервенѣнія ненависть къ мысли. И тутъ уже нечего ждать ни суда, ни разбирательства: всякая мысль, каково бы ни было ея содержаніе, одинаково противна золотнику уже по тому одному, что она мысль, а не похоть, не вожделѣніе. Убѣжденія самыя разнообразныя, самыя противорѣчивыя уравниваются передъ безграничною злобой похотливой легковѣсности; всѣ они подлежатъ преслѣдованію и казни потому только, что напоминаютъ о существованіи ненавистной мысли.

Въ противность указаніямъ теоріи постепеннаго совершенствованія родовъ и видовъ, «легковѣсный» побѣдоносно доказываетъ, что существуетъ на свѣтѣ такой видъ человѣка, который не только чуждъ закону совершенствованія, но даже способенъ возвратиться къ положенію первоначальной борьбы за существованіе. Трудно себѣ представить человѣка, который былъ бы вполнѣ свободенъ отъ мысли, который могъ бы чувствовать только голодъ, сгорать только отъ любострастныхъ желаній и ощущать только физическую боль; однако такой человѣкъ существуетъ. Это «легковѣсный», это герой современности. Онъ изгналъ мысль изъ домашняго употребленія, онъ свергнулъ съ себя ея тягостное иго и на этой побѣдѣ основалъ свое величіе. Посмотрите, какъ онъ волнуется; какъ онъ ловко по временамъ скользитъ, лавируетъ, а по временамъ и перескакиваетъ черезъ препятствія; какъ онъ подставляетъ ножку другимъ, подобно ему безконечно-малымъ, какъ онъ стремится, изгибается, цѣпляется... Взгляните впередъ, и вы навѣрное убѣдитесь, что тамъ, гдѣ-то вдали, мотается *кусокъ*... Вотъ единственный поводъ, который заставилъ вспыхнуть пожаромъ вожделѣніе въ этомъ легковѣсномъ ничтожествѣ, вотъ единственная приманка, которая могла

пробудить инстинкты его безконечно-малаго существа! Не подходите къ нему въ это время: онъ на охотѣ, онъ жируетъ и можетъ укусить.

Я встрѣтился недавно съ однимъ товарищемъ по школѣ. Ребенкомъ онъ былъ такъ-себѣ: не слишкомъ фискалилъ, подсказывалъ довольно удовлетворительно и даже по временамъ курилъ въ печку, хотя никогда не попадался. Идя разными дорогами, мы давно потеряли другъ друга изъ виду, какъ вдругъ я узрѣлъ его во всеоружіи! Оказалось, что онъ уже имѣетъ прочное общественное положеніе, что онъ заказываетъ платье у лучшихъ портныхъ, что кокотки въ его присутствіи пламенѣютъ, и что въ будущемъ его, несомнѣнно, ожидаетъ блестящая перспектива. Взглядъ у моего друга дѣтства былъ смѣлый, свѣтлый, но ничего не выражающій, кромѣ пронзительности; тонъ голоса твердый и увѣренный.

— Какія же однако твои цѣли, мой другъ?—спросилъ я его.

— А ближайшая моя цѣль — съѣсть вотъ этотъ кусокъ ростбифа (дѣло было въ ресторанѣ),—сказалъ онъ мнѣ и отъ предположенія тотчасъ же перешелъ къ исполненію.

— Но потомъ?

Онъ взглянулъ на меня, какъ будто изумился моему любопытству, однако-жъ отвѣтилъ:

— А потомъ — мы выпьемъ, если хочешь, по стакану добраго лафита!

— Да... но не вся же жизнь тутъ... Вѣроятно, есть цѣли, есть убѣжденія...

Онъ опять взглянулъ на меня, но на этотъ разъ уже не съ изумленіемъ, а съ строгостью.

— Убѣжденія, любезный другъ? — сказалъ онъ мнѣ: — ты говоришь объ убѣжденіяхъ? Такъ я отвѣчу тебѣ на это, что убѣжденія могутъ имѣть только люди безпокойные. Мы — люди спокойные и довольные, мы не страдаемъ такъ-называемыми убѣжденіями, а видимъ и признаемъ только долгъ... ты понимаешь—*долгъ!* Мы стремимся и достигаемъ!

Сказавши эти слова, онъ величественно всталъ съ дивана, кивнулъ головой буфетчику и вышелъ изъ ресторана, не доѣвши даже своего завтрака. Я устремился ему во слѣдъ, чтобы спросить, что же наконецъ гнуснаго заключается въ словѣ «убѣжденіе», но онъ былъ уже далеко! Я могъ любоваться только, какъ сверкала вдали его

круглая, гладкая шляпа и мелькали по тротуару проворныя его ноги.

Я увѣренъ, что съ той достопамятной минуты онъ питаетъ ко мнѣ злобу непримиримую и что, представься удобный случай — онъ позабудетъ всѣ связи прошлаго и отомститъ-таки мнѣ за свой неудавшійся завтракъ.

Но воспоминанія увлекаютъ меня. Былъ у меня и другой товарищъ, по фамиліи Швахкопфъ, по ремеслу баронъ. Спеціальность его состояла въ томъ, что онъ ни на одномъ языкѣ не имѣлъ таланта выражаться по-человѣчески и всѣмъ и каждому жаловался, что у него нѣтъ въ головѣ никакой «мизль» (мысль). Встрѣчаю на-дняхъ и его—тоже чуть не сплошь изукрашенъ алмазами общественнаго довѣрія; тоже — взглядъ, смѣлый, ничего не выражающій, кромѣ пронзительности; тоже—голосъ властный, увѣренный, способный выражать твердость и непреклонность.

— Ну что, какъ наша «мизль»?—спрашиваю я его по старой, закоренѣлой привычкѣ.

— Мой «мизль»—нѣтъ «мизль»!—отвѣтилъ онъ мнѣ съ такимъ уморительнымъ глубокомысліемъ, что я не вытерпѣлъ и бросился его цѣловать.

Передо мною воскресло далекое прошлое. Мнѣ вспомнилось, какъ этотъ добродушный Швахкопфъ натуживался и потѣлъ въ поискахъ за мыслью, какъ мы, его неразумные товарищи, издѣвались надъ этими потугами и наперерывъ другъ передъ другомъ предлагали къ его услугамъ самыя изумительныя, самыя безпримѣрныя мысли. Стало-быть, однако, этотъ человѣкъ чувствовалъ когда-то потребность мысли! стало-быть, онъ сознавалъ, что безъ мысли не жить ему на свѣтѣ! И вдругъ какой страшный переворотъ! «Моя мысль — нѣтъ мысли!» Сквозь какое горнило сугубыхъ гнусностей долженъ былъ пройти этотъ простодушный субъектъ, чтобы придти къ такому отчаянному афоризму!

Безстыдство, какъ замѣна руководящей мысли; сноровка и ловкость, какъ замѣна убѣжденія; успѣхъ, какъ оправданіе пошлости и ничтожества стремленій—вотъ тайна вѣка сего, вотъ девизъ современнаго тріумфатора! «Прочь мысль! прочь убѣжденія!» на всѣ лады вопіетъ побѣдоносное комариное воинство, и горе тому профану, который врѣжется въ этотъ сплошной рой съ своими такъ-называемыми idées de l'autre monde.

Таковы современные властители нашихъ думъ.

«Легковѣсный» встрѣчается всюду, во всѣхъ кружкахъ такъ-называемаго общества. Вы его можете узнать по наглости взгляда, по искусственной развязности поступи, по плотоядному выраженію улыбки, по растлѣнной беззастѣнчивости рѣчей. Жаргонъ этой современной jeunesse dorée не просто ничтоженъ, но посрамителенъ для человѣческаго слуха. Это какой-то каскадъ нескладныхъ словъ, не соединенныхъ между собою никакою внутреннею связью и возбуждающихъ въ собесѣдникѣ не отвѣтную работу мысли, а поползновенія похоти.

«Легковѣсный» лѣнивъ, несмотря на свою юркость; неспособенъ, несмотря на то, что за все берется; невѣжественъ, несмотря на то, что никогда не краснѣетъ. И за всѣмъ тѣмъ онъ успѣваетъ. Онъ наглъ и угодливъ въ одно и то же время, и своей открытой враждой къ мысли зарекомендовываетъ себя съ наилучшей стороны. Съ этимъ скуднымъ запасомъ онъ забираетъ все вверхъ и вверхъ, ничего не видя, ничего не понимая, не имѣя даже никакихъ цѣлей, кромѣ самаго процесса забиранія вверхъ. «Ты взялся за дѣло,—говорите вы ему:—но вѣдь ты понятія о немъ не имѣешь; ты даже въ первый разъ услышалъ о немъ въ ту минуту, какъ взялся за него!» Но онъ не удостоитъ васъ даже отвѣтомъ на такую рѣчь; онъ просто посмотритъ на васъ съ своимъ простодушнымъ безстыдствомъ, какъ бы говоря: «чудакъ! да развѣ нужно понимать дѣло, чтобы браться за него!»

Единственное ремесло, по части котораго «легковѣсный» искусенъ, — это ремесло подтягиванья, подбиранія вожжей и изготовленія ежовыхъ рукавицъ. Это ремесло простое, не требующее особенной расточительности умственныхъ богатствъ, но потому-то оно и оказывается по плечу «легковѣсному». «Подтягивай!» «поддавай!» «держи наготовѣ рукавицы!»—словно волнами несется изъ легковѣснаго лагеря, и дѣлается вчужѣ страшно за эту безграничную пустыню, которая такъ легко передаетъ изъ края въ край всякіе безсмысленные звуки!

— Mon cher! — говорилъ мнѣ на-дняхъ одинъ изъ самыхъ рѣшительныхъ подтягивателей: — mon cher! все это такъ расползлось, распустилось, что подтянуть слѣдуетъ непремѣнно.

Въ этой рѣчи нѣтъ ни одного слова, которое было бы не праздно, которое имѣло бы опредѣленный смыслъ, а между тѣмъ вы слышите ее чуть не на каждомъ шагу.

Она говорится одними, подхватывается другими, и вотъ въ воздухѣ образуется густой столбъ подтягивательнаго смрада, смысла котораго вы не можете объяснить, но который потому-то и страшенъ, что къ нему нельзя подойти ни съ какой стороны. «Ужели Россія—это и есть та самая скотина, которую слѣдуетъ подтянуть?» съ изумленіемъ спрашиваете вы себя.

Но это-то именно и несносно въ «легковѣсныхъ». Очень ужъ они невразумительны. Говорятъ все какія-то заштатныя, упраздненныя слова, а объясниться по поводу ихъ не могутъ. Не столько обидно самое предполагаемое подтягиванье, сколько неопредѣленность угрозъ и посуловъ. Неизвѣстно оружіе, неизвѣстно требованіе, неизвѣстно ни время, ни мѣсто—все это опутываетъ какимъ-то мракомъ, все поселяетъ безотчетное опасеніе. Пронесетъ или не пронесетъ? Помилуетъ ли Богъ или не помилуетъ?—вотъ трудные вопросы, надъ которыми мы ломаемъ многострадальныя наши головы и въ зависимость отъ которыхъ становится человѣческое спокойствіе.

Само собой разумѣется, что подобное положеніе не можетъ быть названо ни особенно блестящимъ, ни особенно твердымъ, ни особенно радостнымъ. Трудно себѣ представить что-нибудь болѣе уродливое, нежели жизнь, составленную изъ однихъ подтягиваній; трудно выдумать нигилизмъ болѣе безсодержательный, нежели этотъ диковинный подтягивательный нигилизмъ! Неужто не все уже достаточно подтянуто? Ужели подтягивательная практика не завершила своего цикла?

Нѣтъ зрѣлища болѣе уморительнаго и въ то же время болѣе жалкаго, какъ зрѣлище «легковѣсныхъ», когда они примутся разсуждать о принципахъ. Да, и у нихъ есть принципы, и даже «великіе принципы»—excusez du peu! Что̀ это за «принципы»?—это принципы! что̀ за «великіе принципы»?—это великіе принципы!—Вотъ все толкованіе, котораго вы добьетесь въ отвѣтъ на ваши запросы. Это просто заколдованный кругъ, въ которомъ подлежащее такъ же легко ставится на мѣсто сказуемаго, какъ и сказуемое на мѣсто подлежащаго. Это заштатныя, упраздненныя слова.

— Господа! принципы — прежде всего! — вопіетъ одинъ «легковѣсный».

— Господа! надо спасти принципы! — вторитъ ему другой «легковѣсный».

— Господа! надо ясно поставить принципы! — приглашаетъ третій.

«Принципъ, принципа, въ принципѣ, о принципѣ»—такъ и сыплется со всѣхъ сторонъ и изо всѣхъ устъ. О, тайна россійскаго празднословія! Кто разгадаетъ тебя?

Намъ не въ первый разъ встрѣчаться въ жизни съ упраздненными словами, не въ первый разъ томиться подъ игомъ ихъ. Не мало такихъ словъ произнесли въ свое время каплуны мысли; не мало произносится ихъ въ настоящую минуту; не мало предвидится этого добра и въ будущемъ. Но странно, что слова эти часъ отъ часу становятся глупѣе, неожиданнѣе и даже односложнѣе. Каплуны разматывали фразисто и угнетали съ помощью многоэтажныхъ періодовъ; теперь мы слышимъ легковѣсно-отрывистыя восклицанія: «поддавай! натягивай! подбирай!» и проч. Ужели въ будущемъ мы осуждены на односложные звуки?

Одна изъ самыхъ замѣчательнѣйшихъ способностей «легковѣснаго» — это способность проникновенія. Онъ не изобрѣтателенъ, не глубокомысленъ, не обладаетъ познаніями, и, при всемъ томъ, нѣтъ профессіи, въ которую не забрался бы этотъ духовный недоросль и въ которой не оставилъ бы онъ легкой погадки. Готовность и развязность замѣняютъ ему всевозможныя качества; онъ ни надъ чѣмъ не задумывается, ни передъ чѣмъ не останавливается и неуклонною стопой шествуетъ въ храмъ славы съ единственною цѣлью снѣвѣжничать въ немъ. Существуютъ легковѣсные публицисты, легковѣсные романисты, легковѣсные администраторы, легковѣсные экономисты, моралисты, финансисты и т. д. Сколь разнообразны вольныя художества въ Россійской имперіи ,столь же разнообразны и профессіи легковѣсныхъ.

Призовите «легковѣснаго» и велите ему написать романъ на тему: «Она приподняла подолъ»; онъ настрочитъ двадцать печатныхъ листовъ и ни разу, на всемъ пространствѣ этой трудной, многострадательной путины, не сойдетъ съ своей темы. Онъ не засмотрится въ сторону, не увлечется ни умомъ, ни добродѣтелями своихъ героевъ; онъ исполнитъ заказъ въ точности, и когда принесетъ свое произведеніе, то вы, не читавъ его, уже почувствуете, что отъ него пахнетъ подоломъ.

Призовите «легковѣснаго» и велите ему написать курсъ

астрономіи на тему: «Пускай астрономы доказываютъ» — онъ и это исполнитъ въ точности. Онъ докажетъ, что существуетъ на свѣтѣ даже астрономія легковѣсная, въ силу которой солнце восходитъ и заходитъ по усмотрѣнію околоточныхъ надзирателей, и когда принесетъ свое сочиненіе, то вы, не читавъ его, почувствуете, что отъ него пахнетъ будкою.

Онъ докажетъ, что можно быть администраторомъ, на тему: «По улицѣ мостовой», финансистомъ—на тему: «Нѣтъ денегъ—передъ деньгами», экономистомъ—на тему: «Бѣдность не порокъ», моралистомъ—на тему: «Избраннѣйшія мѣста изъ сочиненій Баркова». Нѣтъ для него недоступнаго, нѣтъ той трудной задачи, которую бы онъ не растлилъ легковѣсностью.

Это качество считается у насъ драгоцѣннымъ; на него указываютъ, какъ на вѣрнѣйшій залогъ того, что русская земля не оскудѣетъ дѣлателями. Безъ свѣдѣній, безъ приготовленія, съ одною развязностью, мы бросаемся въ пучину дѣятельности, тутъ тяпнемъ, тамъ ляпнемъ... И вотъ, при помощи этого безцѣннаго свойства, въ цѣлой природѣ нѣтъ мѣста, въ которомъ бы мы чего-нибудь не натяпали!

Полюбуйтесь, какъ играетъ на солнцѣ эта разноцвѣтная мошкара. Ни на мгновеніе она не останется спокойною, но все кружится, все жужжитъ. Если вы думаете, что это мошкара празднующая и бездѣльничествующая, то ошибаетесь; нѣтъ, это мошкара подвижничествующая и занятая, это мошкара безъ устали безлѣпствующая на тему: «По улицѣ мостовой» и неуклонно морализирующая на тему: «Она приподняла немного подолъ». Поймите, сколько должно быть у нея труда и заботъ! И какія потребны нечеловѣческія усилія, какой нуженъ кропотливый надзоръ за собою, чтобы ни разу въ продолженіе цѣлой жизни не промолвиться ни однимъ живымъ дѣломъ и не отступить ни на волосъ отъ заказной темы!

И послѣ этого выискиваются огорченные субъекты, которые позволяютъ себѣ увѣрять, что у насъ недостатокъ въ дѣятеляхъ! Помилуйте! да у насъ ихъ такое обиліе, что если всѣхъ спустить съ цѣпи, то они въ одну минуту готовы загадить все наше будущее!

Пойдите во всякое время на Невскій проспектъ—какъ они шаркаютъ и гремятъ, какъ пронзительно испытуютъ пространство, какъ гордо несутъ свои головы! Кто эти «они»? Это они, это строители нашего будущаго!

Загляните въ **Михайловскій** театръ во время представленія «La Belle Hélène»—какъ они стонутъ, какъ плещутъ руками, какъ визжатъ при малѣйшемъ неосторожномъ движеніи, обнажающемъ корпусъ г-жи Деверіа! Кто эти «они»? Это они, это строители нашего будущаго!

Прислушайтесь къ жужжанью нашихъ литературныхъ захолустьевъ—какъ они клевещутъ, какъ развязно формулируютъ всевозможныя обвиненія! Кто эти «они»? Это они, это строители нашего будущаго!

Вездѣ, гдѣ пахнетъ разложеніемъ, гдѣ слышится растлѣнное слово—вездѣ «легковѣсный» является безпримѣрнымъ трудолюбцемъ и неутомимымъ строителемъ будущаго.

Ужели и сего не довольно? Ужели мы имѣемъ поводъ опасаться, что Русь когда-нибудь оскудѣетъ дѣятелями?

Нѣтъ, этого не будетъ. Родникъ, который источаетъ намъ «легковѣсныхъ», такъ богатъ ключами и бьетъ такой сильной струей, что нѣтъ ни малѣйшаго повода ожидать, чтобъ онъ когда-нибудь истощился. Это правда, что «легковѣсные»—плотоядны и въ этомъ качествѣ охотно поѣдаютъ другъ друга, но, съ другой стороны, ихъ наготовлено такъ много и сами они такъ легко зарождаются, что возлагать какія-либо упованія даже на ихъ плотоядность было бы величайшею опрометчивостью.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что одинъ порядочный морозъ можетъ разомъ погубить безчисленное множество комаровъ; но это не даетъ права надѣяться, чтобы комариный родъ изгибъ на вѣки вѣковъ. Увы! достаточно одного пасмурнаго, влажнаго дня, чтобъ воинство возстановилось во всемъ своемъ составѣ, и даже болѣе полномъ и сильномъ, нежели когда-либо. Что̀ нужды, что это будутъ иные, новые комары—все-таки это будутъ не орлы, а комары, и интересоваться тѣмъ, какъ называются они по имени и отечеству, можетъ только праздное любопытство.

Такъ точно и «легковѣсные». Они могутъ временно пропасть, но изгибнуть не могутъ. Въ ту самую минуту, когда вы считаете воздухъ навсегда очищеннымъ отъ нихъ, они уже гдѣ-то зарождаются, гдѣ-то взыграли, гдѣ-то роятся. Еще мгновеніе—и они уже носятся по полямъ и оврагамъ, они брыкаются и кусаютъ, и побѣдоносно гремятъ неизмѣнную пѣснь о подтягиваньи, которую повторяетъ за ними тысячеустое эхо...

IV.—Литературное положеніе.

Одинъ изъ самыхъ характеристическихъ признаковъ современности—это совершенно особенное положеніе литературы въ русскомъ обществѣ. Съ нѣкоторыхъ поръ наше общество до того развилось и умудрилось, что уже не оно руководится литературою, но, наоборотъ, литература находится у него подъ надзоромъ. Завелись соглядатаи, наблюдатели, руководители и вдохновители, но болѣе всего развелось равнодушныхъ, которыхъ нельзя подкупить ни пріятнымъ словомъ, ни даже талантливостью, и въ глазахъ которыхъ литература есть одна изъ тѣхъ прискорбныхъ и жалкихъ потребностей, которыя, подобно домамъ терпимости, допускаются въ обществѣ, какъ необходимое зло.

Было время, когда литература заявляла претензію на монополію мысли—это, конечно, было съ ея стороны нѣсколько затѣйливо; но, по крайней мѣрѣ, затѣйливость эта ставила званіе литератора на извѣстную высоту. Нынче на литературномъ рынкѣ оказывается такъ много продающихъ и такъ мало купующихъ, что прежнія высоты у всѣхъ на глазахъ превращаются въ несомнѣннѣйшія низменности, а бывшій горделивый монополистъ мысли все больше и больше пріобрѣтаетъ отличительныя качества зайца.

Какихъ-нибудь четыре, пять лѣтъ времени — а какъ многое измѣнилось! Сколько умолкло, сколько поникло головами! Сколько, напротивъ того, выползло на Божій свѣтъ такихъ, которые и не надѣялись когда-либо покинуть тѣ темныя норы, въ которыхъ они безсильно злоумышляли!

Не подлежитъ никакому спору, что ремесло русскаго литератора вообще не можетъ похвалиться блестящимъ прошедшимъ. Мы всѣ еще помнимъ то время, когда мысль находилась подъ гнетомъ столь несомнѣнныхъ ограниченій, что читателю потребно было не мало усилій и изворотливости, чтобы побѣдить ту темноту и запутанность выраженія, на которую осуждено было слово. Это было, конечно, не поощрительно, но, по крайней мѣрѣ, писатель того времени зналъ, что у него есть публика, которая ищетъ его понять, зналъ, что нѣтъ въ Россіи того захолустья, въ которомъ бы не бились молодыя сердца, не пламенѣла молодая мысль подъ впечатлѣніемъ высказаннаго имъ слова.

Быть-можетъ, это была случайность, но случайность, во всякомъ случаѣ, благопріятная. Вспомнимъ Грановскаго, Бѣлинскаго и другихъ, которыхъ имена еще такъ недавно сошли со сцены; вспомнимъ то движеніе мыслей и чувствъ, которому было свидѣтелемъ современное имъ поколѣніе, вспомнимъ увлеченія, восторги, споры... Вспомнимъ все это и, взирая на современное умудрившееся общество, скажемъ: да! увлеченія безплодны, увлеченія легкомысленны, увлеченія больше всего преждевременны!

Современный литераторъ всего меньше «властитель думъ»; современный литераторъ—это парія, это почти прокаженный. Это существо забитое, вѣчно жмущееся къ сторонѣ; существо, коснѣющимъ языкомъ и съ безконечными оговорками сознающееся въ своемъ ремеслѣ. Его терпятъ, на него смотрятъ съ снисходительнымъ состраданіемъ потому единственно, что литература въ цѣломъ мірѣ признается, какъ одна изъ функцій общественнаго бытія. Извѣстно, что когда общество создается, то въ основаніе его, по заведенному порядку, полагается множество разнаго рода матеріаловъ, изъ коихъ одни должны служить краеугольными камнями, другіе—орнаментами. Предполагается, что общество не можетъ существовать безъ благоустройства и благочинія, безъ народнаго продовольствія и народной нравственности, безъ справочныхъ и сложныхъ цѣнъ (сіи суть краеугольные камни), но, съ другой стороны, невозможно также допустить, чтобъ общество могло обойтись безъ наукъ и искусствъ (сіи суть орнаменты). Планъ начертанъ и апробованъ, и не исполнить его нѣтъ никакой возможности. Этотъ планъ, раздѣленный на множество клѣтокъ, заключаетъ въ каждой изъ нихъ либо краеугольный камень, либо орнаментъ, при чемъ строжайше наблюдается, дабы камни не смѣшивались ни между собою, ни съ орнаментами, такъ какъ подобное смѣшеніе можетъ нанести ущербъ отдѣлкѣ плана. Заключенный въ свою клѣтку, со всѣхъ сторонъ окруженный краеугольными каменьями, что̀ можетъ совершить бѣдный, безпомощный литераторъ? на какіе подвиги онъ можетъ отважиться?

Очевидно, что подвиги эти не могутъ быть ни особенно интересны, ни особенно разнообразны. Какъ бы мы ни украшали клѣтку, все же изъ нея ни подъ какимъ видомъ не выйдетъ вселенной; какъ бы мы ни уподобляли поэта или публициста, сидящаго въ клѣткѣ, орлу парящему или соловью, въ треляхъ изнемогающему, все же это будетъ

только орелъ или соловей, то-есть, въ обоихъ случаяхъ, птица, которой и свойственны подвиги птичьи, а не человѣческіе.

Но это-то несомнѣнно и имѣлось въ виду при устроеніи общества по предначертанному плану. Предполагалось, что каждая клѣтка сохранитъ свою чистоту во всей ея первобытной безпримѣсности, что поэты, отнюдь не прикасаясь къ краеугольнымъ камнямъ, будутъ воспѣвать красоты природы, поздравлять съ именинами и писать мадригалы, акростихи, тріолеты и буриме; прозаики же, ораторы и публицисты предъявятъ образцы недерзостнаго краснорѣчія съ оттолчкой (одно изъ соловьиныхъ колѣнъ) и усугубленіемъ. Затѣмъ общество, съ своей стороны, за каждую удачную оттолчку, за каждый ловко скомпонованный тріолетъ будетъ жаловать по двугривенному. Понятно, что задуманная въ такомъ видѣ клѣтка литературы и искусствъ не могла изображать ничего иного, кромѣ клѣтки, изъ которой слышалась по временамъ трель соловья, а по временамъ свистъ скворца. Но, съ другой стороны, общество, платившее по двугривенному за мадригалъ, также не могло не замѣтить, что какъ ни пріятны для слуха оттолчки, усугубленія и трели, но во всякомъ случаѣ они далеко не столь увѣсисты, какъ тѣ булыжники, кои именуются краеугольными. Спора нѣтъ, хорошъ тріолетъ:

Лизета—чудо въ бѣломъ свѣтѣ...

но, въ сравненіи съ «учрежденіемъ губернскихъ правленій», онъ далеко не выдерживаетъ даже снисходительной критики. Смекнувъ это, общество естественно перешло къ заключенію, что ремесло поэта, оратора и публициста есть ремесло пустое и легкомысленное, необходимое лишь для наполненія праздной клѣтки, во всѣхъ же другихъ отношеніяхъ безполезное.

Этотъ взглядъ на литературу до такой степени укоренился въ обществѣ, что и до сихъ поръ большинство его очень неподатливо на уступки въ этомъ смыслѣ. Въ сущности, большинство цивилизованное и большинство нецивилизованное разнятся на этотъ счетъ очень немного. Если нецивилизованная толпа называетъ литератора «физикомъ голландскимъ», то толпа цивилизованная видитъ въ немъ нѣчто въ родѣ трактирной арфистки, вѣчно голодной и потому вѣчно и умиленно кривляющейся. Это его существенное назначеніе, это девизъ той клѣтки, въ которую

онъ посаженъ, и, покуда онъ не выходитъ за предѣлы этого девиза, покуда онъ поздравляетъ, акростишествуетъ и изнемогаетъ въ треляхъ, толпа терпитъ его и даже смотритъ на его эквилибристическія усилія съ сострадательною благосклонностью.

Но за предѣлами девиза начинается ненависть.

Бываютъ такія минуты въ жизни обществъ, когда краеугольные камни вдругъ приходятъ въ движеніе и перемѣшиваются, какъ бы подъ вліяніемъ волшебства. Для орнаментовъ это моменты самые опасные и соблазнительные, и благоразумнѣйшіе изъ нихъ именно такъ и взираютъ на это дѣло. Они еще глубже забиваются въ клѣтку и всѣ старанія свои употребляютъ на то, чтобы какъ-нибудь пропѣть совсѣмъ по-соловьиному. Не такъ бываетъ съ орнаментами юными и неопытными: они не понимаютъ опасности и прельщаются только соблазномъ. Видя, что большинство краеугольныхъ камней сдвинулось, они уже ни о чемъ больше не думаютъ, а открыто присоединяютъ свои голоса къ хору обывательскихъ голосовъ, празднующихъ побѣду. Странное зрѣлище являетъ тогда природа: птицы, простыя, ощипанныя птицы, начинаютъ изрекать человѣческіе глаголы, тыкаютъ носами въ кучу и извлекаютъ оттуда не червей навозныхъ и прочую благопотребную снѣдь, а какіе-то вопросы! Можно себѣ представить, какое дѣйствіе производитъ это зрѣлище на толпу, при укоренившемся въ ней убѣжденіи о безполезности и негодности птицъ ни къ какому разумному дѣлу!

Надо сказать правду: способность пѣть по-соловьиному и парить по-орлиному является здѣсь какъ нельзя болѣе кстати. Никогда никакой хоръ цивилизованныхъ подьячихъ не пропоетъ съ такою ясностью пѣсенки о значеніи того или другого краеугольнаго камня, съ какою сдѣлаетъ это любой птице-литературный хоръ. Тамъ, гдѣ подьячій недоумѣваетъ и путается въ прінсканіи надлежащихъ формулъ, птица-литераторъ не только отыскиваетъ самую суть булыжника, но тутъ же начертываетъ образъ, который наиболѣе для этой сути приличествуетъ. Это послѣднее качество, въ особенности, повергаетъ толпу въ безпредѣльное изумленіе. Толпа всегда и вездѣ лицемѣрна; она сидитъ, крѣпко уцѣпившись за свои булыжники, и, закрывшись ими, какъ щитомъ, думаетъ, что, исполнивъ этотъ обрядъ, она исполнила все, что̀ предписывается законами ходячей нравственности. Сверхъ того, она убѣждена, что

ее никто не видитъ. И вдругъ выискивается цѣлый хоръ лиходѣевъ, который безцеремонно проникаетъ въ самое капище нашего потаеннаго разврата, который дѣлаетъ подробный инвентарь нравственному хламу, накопившемуся на днѣ капища, и, совершивъ все это, начинаетъ беззастѣнчиво взирать на насъ тѣми самыми глазами, которыми мы, и только мы одни, взирали на себя въ тѣ рѣдкія минуты, когда въ насъ пробуждалась совѣсть. И кто же эти лиходѣи? Кто эти безстрашные изслѣдователи нашего домашняго хлама? Это птицы, простыя, ощипанныя птицы!

Толпа протираетъ глаза и не можетъ придти въ себя. Ей нѣкоторое время кажется, что она слышитъ все тѣ же поздравительные стихи, но только въ новой, не совсѣмъ привычной для нея формѣ. Это время для птицъ самое льготное. Онѣ щелкаютъ, заливаются и свистятъ на всѣ лады и на всей своей волѣ; онѣ оперяются-оперяются, вспархиваютъ, машутъ крыльями и вдругъ взмываютъ вверхъ, очаровывая зрителей смѣлостью полета и обширностью описываемыхъ въ воздухѣ круговъ. Ничто не удовлетворяетъ ихъ: ни конопляное сѣмя, ни манная каша, ни жеванный хлѣбъ; «мало! еще!» свистятъ онѣ, разыгравшись. О, незабвенное зрѣлище! о, сладкія минуты птичьихъ надеждъ!

Но вотъ въ толпѣ начинается говоръ и слышится сдержанный ропотъ. Ея будущее казалось такъ свѣтло — и вдругъ она усматриваетъ въ немъ только птицъ, безъ толку наполняющихъ воздухъ щебетаніемъ. Она начинаетъ совѣщаться, переговариваться и злоумышлять; она знаетъ, что птицы безхитростны и безпечны, что онѣ никогда не умѣли отличить кормъ вольный отъ корма, разсыпаннаго кругомъ силковъ. Въ надеждѣ на эти птичьи качества, она ждетъ...

И дѣйствительно, случайно напущенный птицами мракъ мало-по-малу разсѣвается, и свѣтъ снова и безвозбранно вступаетъ въ права свои. Случая, простого случая достаточно толпѣ, чтобы попрежнему занять тѣ позиціи, съ которыхъ она была временно сбита. И чѣмъ дряннѣе этотъ случай, тѣмъ радостнѣе хохочетъ толпа, тѣмъ неистовѣе плещетъ руками. «Птица-то! птица-то! смотри, какого напустила туману!» вопіютъ современные фарисеи, все еще ощупывая себя и не вѣря глазамъ своимъ, что бока у нихъ невредимы.

— Ату его! ату-у-у-у!—вдругъ раздается побѣдный гласъ по всей линіи.

Съ той минуты, какъ раздался этотъ зловѣщій кликъ, скоротечное торжество литературныхъ птицъ уже кончилось. Захваченныя врасплохъ, свѣтозарныя одежды падаютъ сами собою, и передъ изумленными взорами любопытствующихъ предстоитъ простая птица, въ томъ видѣ, въ какомъ она должна быть въ самый цвѣтущій періодъ линянія, съ слегка пораженной головой и съ надломанными крыльями. «Ты не оправдалъ моего довѣрія! ты злоупотребилъ моимъ добродушіемъ!» тычетъ въ укоръ толпа, и какъ ни темно подобное обвиненіе, но на сей разъ обыватели достаточно остроумны, чтобы не только постичь его, но и развить во всей ужасающей полнотѣ.

Нѣтъ ничего горчѣе и въ то же время нѣтъ ничего комичнѣе, какъ положеніе бѣдной, ощипанной птицы, которую упрекаютъ въ томъ, что она не оправдала довѣрія.

— Помилуйте! да я кружился, игралъ... я... — лепечетъ смущенный зябликъ-литераторъ.

— Врешь! ты не оправдалъ моего довѣрія! ты злоупотребилъ моимъ добродушіемъ!—продолжаетъ кричать толпа, не внемля никакимъ оправданіямъ.

И вотъ, на помощь этой толпѣ, изъ самой среды зябликовъ отдѣляются опытныя охочія птицы и помогаютъ управиться съ злополучнымъ пернатымъ воинствомъ. «Мы не литераторы,—кричатъ онѣ бойко и весело:—мы не имѣемъ съ литературой ничего общаго! Мы пѣли и свистали въ то время, когда литература сочиняла поздравительные стихи; теперь же мы просто благонамѣренные обыватели, пріобрѣвшіе нѣкоторую опытность въ формулированіи обвиненій!»

Для толпы подобныя охочія птицы — сущій кладъ. Въ самомъ дѣлѣ, возьмите любого изъ нашихъ обывателей; пойдите во всякое время на Невскій проспектъ и отдѣлите отъ этого праздношатающагося стада какого хотите субъекта—что̀ вы получите? — вы получите извозчика по убѣжденіямъ, извозчика по развитію, извозчика по надеждамъ и стремленіямъ! Какое дѣло извозчику до литературы, до умственнаго труда вообще? Можетъ ли интересовать его что-нибудь, находящееся внѣ самаго простого брюшного матеріализма? Могутъ ли эти первоначальные организмы, эти сектаторы брюхопоклонничества чѣмъ-нибудь тревожиться, особливо въ тѣ ликующія минуты, когда двери ресторановъ отворены настежъ, а камеліи и кокотки такъ и шмыгаютъ по торцовой мостовой? Ежели они и подозрѣваютъ, что въ движеніи мысли скрывается нѣчто для

нихъ зловредное, то подозрѣваютъ это смутно; формулировать же и даже излагать свои опасенія не могутъ. Понятно, какъ кстати являются тутъ на выручку охочія птицы. Иныя изъ нихъ за двугривенный, другія — просто за сладкій пирожокъ, однѣ—съ сугубымъ ехидствомъ, другія—просто по невѣдѣнію, но въ окончательномъ результатѣ каждая и во всякомъ случаѣ можетъ подать дѣловой совѣтъ, каждая укрѣпитъ и наставитъ, каждая сумѣетъ сформулировать противъ чего угодно и какое угодно обвиненіе.

И вотъ начинается спѣшная и дѣятельная работа: охочія птицы устраиваютъ гласныя и не гласныя гнѣзда и, засѣвши въ нихъ, съ прилежностью и азартомъ приступаютъ къ дѣлу обстрѣливанія литературы...

. . . . . .

Но отвратимъ взоры отъ этого плотояднаго зрѣлища и спросимъ себя: ужели, въ самомъ дѣлѣ, двугривенный или сладкій пирожокъ имѣютъ столь значительную внутреннюю цѣнность, чтобы за сію мзду стòило отдавать на поруганіе дѣло мысли?

И виновата ли мысль въ томъ, что она не останавливается, что она обладаетъ способностью проникновенія, что она ищетъ постичь и усвоить себѣ явленія жизни?

Или забыты всѣ преданія? или понятія о литературной честности и приличіяхъ до такой степени упростились, что нѣтъ болѣе ни препятствій, ни преградъ для подвиговъ благоустройства и благочинія?

Ужели и съ какихъ именно поръ мысль пріобрѣла свойства разрывной бомбы? Ужели, не шутя, отъ нея слѣдуетъ ожидать не обновленія, а обветшанія и смерти общества?

Ужели наконецъ охочіе люди не понимаютъ, что, ругаясь надъ мыслію, отдавая ее на пропятіе, они косвеннымъ образомъ ругаются надъ самими собою, ибо и они, хоть въ прошедшемъ, хоть въ дѣтски-поздравительныхъ формахъ, а все-таки были причастны дѣлу мысли?

Ужели все это не сказка, не безобразный сонъ, а горькое свидѣтельство голой дѣйствительности?

Но будемъ снисходительны къ двугривенному; эта монета, хотя и малая, все-таки доступна для пониманія, ибо представляетъ собою извѣстное число фунтовъ хлѣба. Для здоровеннаго соглядатая, котораго желудокъ снабженъ жерновами, требующими безпрерывной работы, и который,

сверхъ того, обязанъ моціономъ, это обстоятельство очень важное. Бѣдность и сила аппетита однѣ могутъ въ этомъ случаѣ опредѣлить мѣру человѣческихъ подвиговъ, однѣ могутъ провести ту черту, за которою начинается вмѣняемость. Но что̀ сказать о тѣхъ износившихся, но сытенькихъ старичкахъ, которые каверзничаютъ и предаютъ изъ-за сладенькаго пирожка? Ужели они не понимаютъ, что у нихъ даже зубовъ нѣтъ, чтобы съѣсть этотъ лакомый кусокъ?

Повторяемъ, толпа не имѣетъ надобности въ обвинительныхъ органахъ—ихъ въ достаточномъ количествѣ выдѣляетъ сама литература. Подвижники этой новаго рода благонамѣренности въ совершенствѣ понимаютъ свое ремесло и приступаютъ къ нему съ осмотрительностью и знаніемъ дѣла, заслуживающими лучшей участи. Съ одной стороны, они вполнѣ знаютъ, чего именно хочетъ толпа, и какого рода обвиненія соотвѣтствуютъ мѣрѣ ея роста; съ другой стороны, имъ небезызвѣстны и нѣкоторыя провинности литературы, которыя, будучи приведены въ соотвѣтствіе съ ростомъ толпы, могутъ дать пищу свойства несомнѣнно уголовнаго. И такъ это удобно устраивается, что толпѣ остается только изрекать приговоры и приводить ихъ въ исполненіе.

Насытившись зрѣлищемъ подниманія ногъ, посрамивши слухъ соотвѣтственною бесѣдою, толпа любитъ поговорить о нравственности, о томъ, какой она представляетъ важный рычагъ въ обществѣ, ка̀къ она въ особенности необходима... въ простомъ классѣ.

— Для нихъ вѣдь это одно утѣшеніе! — мудрствуетъ одинъ.

— Не столько утѣшеніе, сколько узда! — изрекаетъ другой.

— И утѣшеніе-съ, и узда-съ!—рѣшаетъ третій.

Что̀ нужды до того, что разсужденія эти своею азбучностью напоминаютъ знаменитое изреченіе Подколесина: «да, братъ, жениться — это не то, что: ей, Иванъ! сними сапоги!»—охочая птица очень хорошо понимаетъ, что̀ хочетъ толпа, и что она хлопочетъ, собственно, объ охраненіи нравовъ... въ простомъ классѣ! и, смѣтивъ это, спѣшитъ обвинить литературу въ безнравственности.

Наругавшись до-отвала надъ русскимъ именемъ и у себя, и за границей, наговорившись всласть о безнравственности, невѣжествѣ и грубости русскаго мужика, толпа

охотно предается на досугѣ словеснымъ изліяніямъ о сладостяхъ патріотизма, о томъ, какъ это чувство возвышаетъ душу и какъ, въ особенности, необходимо развивать его... въ простомъ классѣ.

— О, родина святая!
Тебя я вижу вновь!—

гремитъ цивилизованная толпа, кстати припомнивъ куплетъ изъ водевиля «Матросъ».

— A tous les coeurs bien nés que la patrie est chère!— вторитъ хоромъ другая, такая же цивилизованная толпа.

— Да-съ, для нихъ-съ, для этихъ sauvages—это единственная узда-съ!—рѣшаетъ какой-нибудь нищій духомъ, исправляющій на время должность мудреца.

Охочая птица слышитъ это и начинаетъ уразумѣвать, что толпѣ почему-то желательно распространеніе патріотическихъ чувствъ... въ простомъ классѣ. Не ясно ли, что тутъ какъ нельзя болѣе кстати обвинить литературу въ пропагандѣ космополитизма?

Изворовавшись въ конецъ, изнемогая подъ бременемъ неправыхъ стяжаній, толпа съ удвоеннымъ удовольствіемъ бесѣдуетъ о сладостномъ чувствѣ собственности, о томъ, что въ немъ заключается единственное твердое основаніе всякаго общества, о томъ, какъ грустно, какъ неутѣшительно, что такое высокое чувство такъ мало укоренилось... въ простомъ классѣ.

— А вѣдь это единственная узда!—вѣщаетъ общественный мудрецъ, въ арсеналѣ котораго, повидимому, накоплено столько уздъ, что ими легко можно взнуздать цѣлую вселенную.

Охочая птица, сейчасъ только получившая двугривенный, конечно, не можетъ не раздѣлять этихъ сожалѣній. Опасаясь за цѣлость своей подачки, она трепещетъ, волнуется, негодуетъ. Результатомъ этихъ волненій оказывается обвиненіе въ неуваженіи къ собственности и въ распространеніи пагубнаго коммунизма.

Нужно ли продолжать этотъ перечень плодовъ досуга толпы и тѣхъ напастей, поклеповъ и обвиненій, которыя возникаютъ изъ нихъ для литературы?

Каждая новая минута приноситъ новое обвиненіе, новую кляузу на голову бѣдной литературы! Устрашенные и убѣжденные, брюхопоклонники роютъ копытами землю, сверкаютъ глазами, скрежещутъ зубами и показываютъ кулаки.

— Га! — урчатъ они: — такъ вы вотъ какъ! такъ-то воспользовались вы нашимъ довѣріемъ! вы хотѣли посягнуть на священные принципы семейства и собственности! вы хотѣли отдать на поруганіе святое пламя любви къ отечеству! такъ мы же сумѣемъ поставить васъ въ надлежащія границы! сумѣемъ привести къ одному знаменателю.

И затѣмъ наступаетъ эпоха приведенія литературы къ одному знаменателю, которая собственно и составляетъ нашъ золотой вѣкъ наукъ и искусствъ.

Куда исчезли таланты? спрашиваютъ уцѣлѣвшіе тамъ и сямъ ревнители литературы. — Приведены къ одному знаменателю. — Куда дѣвалась бодрая и смѣлая русская мысль?—Приведена къ одному знаменателю.—Куда скрылось живое, образное русское слово?—Приведено къ одному знаменателю! И что̀ это за прелестное, для всѣхъ одинаково ясное выраженіе! Съ какою простотою оно устраняетъ всѣ возраженія, разъясняетъ всѣ сомнѣнія!

Журналы, бывшіе нѣкогда проводниками и возбудителями русской мысли, хирѣютъ и чахнутъ; тѣ рѣдкія книги, какія появляются, — свидѣтельствуютъ о полнѣйшей несамостоятельности русской мысли.

Пристыженный и сконфуженный, писатель самъ начинаетъ сомнѣваться: не обманулъ ли онъ и впрямь довѣрія публики? Дѣйствительно ли было дано ему это довѣріе и на что̀ уполномочивался онъ имъ? Оказывается, что довѣрія никакого и никогда не было, что ежели онъ одно время кружился и взмывалъ, то это было просто дѣло случая— и ничего больше. Откуда же эти упреки? откуда это злобное урчаніе? Въ виду всякаго рода западней и ловушекъ, писатель невольно стушовывается, измѣняетъ прежней искренности, дѣлается робокъ, не знаетъ, на какую ногу ступить. Что̀ ни шагъ, то улика; что̀ ни слово, то подвигъ благочинія. Поневолѣ мысль теряетъ всякую бодрость и, въ отчаяньи, даже пробуетъ стать на стезю рутины. Но здѣсь новая неудача: рутина поражена смертью, рутина противна; нѣтъ средствъ приступиться къ ней, не рискуя наложить руку на собственную свою дѣятельность. Что-жъ остается? остается проникнуться тѣми отличительными свойствами зайца, о которыхъ говорено выше.

Но чѣмъ смиреннѣе становится бѣдный писатель, чѣмъ запутаннѣе и робче выступаетъ его мысль, тѣмъ обширнѣйше представляется поле для подозрѣній и инсинуацій.

У брюхопоклонника, между множествомъ постыдныхъ слабостей, есть одна очень пагубная — это убѣжденіе, что онъ хитеръ, и что его не проведешь ни подъ какимъ видомъ. Это общая слабость людей недалекихъ и неразвитыхъ, которые весьма часто, задавшись подобною мыслью, поступаютъ наперекоръ не только здравому смыслу, но и собственнымъ своимъ выгодамъ. Одержимый опасеніемъ, что его хотятъ надуть, брюхопоклонникъ заранѣе видитъ во всякомъ писателѣ человѣка, начиненнаго разрывнымъ составомъ, и ежели ему доказываютъ, что писателей больше нѣтъ, а есть быстроногіе зайцы, то онъ совершенно основательно возражаетъ: «эге! меня, друзья, не проведешь! я-то вѣдь очень хорошо понимаю, что все это львы, инкогнито жуирующіе въ маскарадѣ подъ личиною зайцевъ!» Затѣмъ никакія дальнѣйшія увѣренія ни къ какому результату привести не могутъ.

И снова начинается поставленіе въ надлежащія границы, снова проповѣдуется теорія приведенія къ одному знаменателю, подкрѣпляемая, для бо̀льшей убѣдительности, теоріей ежовыхъ рукавицъ, теоріей макаровъ, гдѣ-то телятъ не гоняющихъ, и ворò̀нъ, куда-то костей не заносящихъ...

Казалось бы, при такой обстановкѣ давно бы сгинуть и пропасть слѣдовало — такъ нѣтъ! Есть какая-то нелѣпая живучесть въ этомъ постыломъ литературномъ ремеслѣ, есть въ немъ нѣчто такое, совершенно неуловимое и необъяснимое, что̀ такъ и манитъ впередъ, какъ манитъ какого-нибудь прохожаго праздная куча народа, собравшагося на мосту. Продирается бѣдняга сквозь толпу; мнутъ ему бока, обзываютъ нелегкими именами... и вотъ онъ наконецъ у цѣли! Смотритъ внизъ, а тамъ вода и на поверхности ея — пузыри!

Зачѣмъ онъ шелъ?

Да; никогда еще литература не была такъ принижена, такъ покинута, какъ въ настоящее безпутно-просвѣщенное и безцензурное время. «Довольно!» кричатъ со всѣхъ сторонъ общественные мудрецы, и такова рѣшительная сила этого оклика, что никому не приходитъ даже на мысль отнестись къ нему безъ вниманія.

— Да помилуйте же! — могутъ намъ возразить: — что̀ же читать? чѣмъ увлекаться? Старыя литературныя силы подорвались сами собою; новыхъ, свѣжихъ талантовъ не

нарождается—не поощрять же литературу изъ-за того только, что тутъ примѣшалось названіе литературы!

Совершенно справедливо; литература дѣйствительно обновляется слабо и медленно; она не представляетъ въ настоящую минуту ни особенно сильныхъ дѣятелей, ни увлекающихъ толпу талантовъ. Но не оттого ли происходитъ это, что въ публикѣ исчезъ даже самый вкусъ къ литературѣ? не оттого ли, что публика всѣ предпочтенія свои направила совсѣмъ въ другую сторону, едва ли не совершенно противоположную интересамъ и сущности литературнаго дѣла?

Вспомнимъ сороковые годы; вспомнимъ, что и тогда литература наша, съ формальной стороны, была далеко не въ бѣломъ тѣлѣ, что тогда даже существовали для нея такія ограниченія, которыхъ теперь и въ поминѣ нѣтъ,— и что̀ же? она все-таки дѣлала свое дѣло; не чувствовалось недостатка въ дѣятеляхъ, слово не было поражено безсиліемъ и вялостью, мысль работала и протѣснялась наружу, несмотря на непрерывную цѣпь силковъ. Отчего же въ то время могъ существовать подобный фактъ? А оттого, милостивые государи, что публика относилась къ литературѣ сочувственно, и, въ виду этого сочувствія, безсиліе поражало не литературную профессію, а тѣ ограниченія, которыя были противъ нея направлены. Нѣтъ сомнѣнія, что это же сочувственное отношеніе публики обусловливало и появленіе новыхъ литературныхъ дѣятелей, ибо дѣятели не нарождаются внезапно, но появляются или не появляются въ прямомъ соотвѣтствіи съ запросами публики.

Нынѣ ограниченіе, даже сравнительно слабое, падаетъ на писателя двойнымъ гнетомъ: во-первыхъ, какъ ограниченіе, а во-вторыхъ, какъ предметъ издѣвокъ и потѣхъ для разгулявшейся публики. Писатель въ бѣдѣ! да это такое лакомое увеселительное зрѣлище, съ которымъ можетъ развѣ сравняться зрѣлище канканирующей «Belle Hélène».

— А посмотримъ, какъ-то ты теперь запоешь!—урчатъ одни расходившіеся брюхопоклонники.

— Посмотримъ, какъ-то ты станцуешь!—вторятъ другіе.

— Поджаривай его! поджаривай!—вопіютъ третьи.

Согласитесь, милостивые государи, что, при подобныхъ поощреніяхъ, можетъ быть рѣчь только о самосохраненіи, а отнюдь не о новыхъ литературныхъ подвигахъ.

Нерѣдко случается слышать, что современному обществу не до литературы, что вниманіе его поглощено интересами иного, высшаго рода, что оно устраивается и собирается, что въ немъ безпрерывно становятся на очередь вопросы, разрѣшеніе которыхъ, по необходимости, стоитъ на первомъ планѣ, такъ какъ съ этимъ связано обезпеченіе будущей организаціи общества.

Похвально. Никто не будетъ спорить, что ежели общество занято устройствомъ своего будущаго, что ежели думы его направлены къ тому, чтобы начавшееся въ этомъ смыслѣ движеніе не осталось, по его безпечности, безплоднымъ, то само собой разумѣется, что интересы литературнаго дѣла должны... но нѣтъ! почему же однако они *должны* отойти на второй или, лучше сказать, на послѣдній планъ? Почему же литературѣ не сказать и свое слово объ этихъ *иныхъ, важныхъ* интересахъ, которые занимаютъ общество? Почему участіе ея въ этомъ дѣлѣ признается излишнимъ и чуть ли не вреднымъ? Почему уровень мысли литературной считается болѣе низменнымъ, нежели уровень мысли обывательской? Вотъ, милостивые государи, тѣ вопросы, на которые естественно наталкивается мысль, и которые мы охотно предлагаемъ вашему премудрому разрѣшенію.

Съ своей стороны, слѣдуя указаніямъ простого здраваго смысла, мы имѣемъ нѣкоторое основаніе думать, что участіе литературы не только не должно мѣшать обществу въ его заботахъ объ организаціи, но даже способно оказать ему существенную въ этомъ смыслѣ помощь. Обыватели вообще легко успокоиваются; нерѣдко случается даже, что они хватаются за свалившуюся къ нимъ съ неба манну для того единственно, чтобы пріобрѣсть въ ней приличный предлогъ для успокоенія. «Ахъ, какъ мы заняты! даже потъ градомъ льетъ!» охотно повѣствуетъ обыватель, изъискивая тысячу хитросплетенныхъ маневровъ, чтобы скрыть отъ слишкомъ любопытныхъ взоровъ, что онъ занятъ совсѣмъ не дѣломъ, а успокоеніемъ. И затѣмъ, выставивши однажды на показъ свои труды и заботы, утвердивши между всѣми брюхопоклонниками свою репутацію трудолюбца, онъ уже не стѣсняется постановкой дальнѣйшихъ вопросовъ, въ родѣ нижеслѣдующихъ: «да помилуйте, до того ли намъ!»—«да увольте! развѣ вы не видите?» и т. д.

Занятіе заключающееся единственно въ тревогѣ о за-

нятіи, трудъ, заключающійся въ заигрываніи съ трудомъ,— вотъ та сладкая, неоцѣненная штука, къ которой искони стремится обыватель всѣми силами души своей. Это счастливѣйшее изъ всѣхъ возможныхъ разрѣшеній той неразрѣшимой задачи о вѣчномъ, невозмутимомъ покоѣ, которая съ дѣтства составляла предметъ его пламеннѣйшихъ мечтаній. Если я сегодня, ложась на ночь, въ блаженномъ самодовольствѣ восклицаю: «Господи! что̀ за время! что̀ за тревожное время! и сколько предстоитъ впереди труда!»— то кто же можетъ воспретить мнѣ и завтра, ложась на ночь, предаться подобнымъ же блаженнымъ восклицаніямъ? Такимъ образомъ игра въ трудъ можетъ продлиться безконечное время, и труда все-таки не будетъ. «Устраиваемся! организуемся! хлопотъ полонъ ротъ! занятій по горло!»—вотъ твердо-каменная крѣпость, неприступнѣе которой даже генію Вобана изобрѣсти трудно. Подите, вытаскивайте оттуда обывателя, однажды какъ онъ забрался въ нее! Кто обладаетъ клещами, достаточно для того цѣпкими? Кто можетъ совершить такой подвигъ?

Этотъ подвигъ способна и можетъ совершить одна литература. Тамъ, гдѣ обыватель только тревожится и сомнѣвается одинъ-на-одинъ съ самимъ собою, литература формулируетъ свою мысль ясно и во всеуслышаніе; тамъ, гдѣ обыватель видитъ только предлогъ, чтобы поплотнѣе вылежаться, литература усматриваетъ возможность дальнѣйшаго движенія и развитія и указываетъ на нее. Что̀ въ силахъ совершить разрозненныя, полусонныя единицы, ежели у нихъ нѣтъ арены, на которой могла бы свободно вырабатываться общая руководящая мысль? Что̀ могутъ эти единицы даже въ томъ случаѣ, если у нихъ и есть такая арена, но арена односторонняя, зараженная ненавистью, нетерпимостью и исключительностью? Очевидно, что имъ будетъ предстоять только безъ конца восклицать: «Господи! сколько дѣла! сколько дѣла!» Но ежели между ними найдутся люди добросовѣстные, то они навѣрное къ этому восклицанію прибавятъ: «и ничего-то вѣдь я не дѣлаю, ни къ чему-то не приступаюсь, да и приступиться, признаться, не могу!»

Такимъ образомъ отсутствіе руководящей мысли, бѣдность и недостаточность разработки, боязнь анализа—вотъ совершенно достаточныя причины для объясненія того повальнаго равнодушія, которое точитъ наше общество даже относительно самыхъ близкихъ ему интересовъ. Да; не къ

одной литературѣ безучастно наше общество, но и къ тому дѣлу организаціи, о которомъ оно такъ безпрерывно и надоѣдливо толкуетъ. Скажемъ больше: очень можетъ статься, что и литературу постигло общественное равнодушіе именно потому, что область, которую постепенно захватываетъ послѣднее, сдѣлалась до того несоразмѣрно обширною, что въ нее неминуемо попадаетъ все, встрѣчающееся на дорогѣ. Говорятъ, что старые порядки слишкомъ туго поступаются, что горячая дѣятельность въ этомъ туго-уступленномъ была бы равносильна устраиванію бури въ стаканѣ воды, что самолюбію обывателя нелестно устраиваться тамъ, гдѣ уже все устроено безъ него, и т. д. Но гдѣ же однако видано, чтобы старые порядки поступались щедро и даже помимо заявленій обывателей? Гдѣ видано, чтобы прекрасная пословица «по Сенькѣ шапка» прилагалась наоборотъ? Гдѣ найдется примѣръ, чтобъ прежде устраивали шапку, а потомъ прилаживали къ ней Сеньку? Очевидно, что ничего подобнаго нигдѣ не видано и не слыхано, что оболванивать Сеньку по шапкѣ противно даже всѣмъ правиламъ человѣколюбія. Очевидно также, что всѣ эти объясненія причинъ общественнаго индифферентизма суть не что иное, какъ недобросовѣстные извороты, направленные къ защитѣ чего-то другого, въ чемъ намъ неудобно всенародно сознаться.

Въ сущности, мы защищаемъ одно—нашу исконную безпечность и праздность. Въ этомъ заключается вся загадка нашего безсознательнаго индифферентизма, все объясненіе, почему этотъ индифферентизмъ относительно литературы возвышается, по временамъ, до ненависти. Но даже и эта ненависть не можетъ претендовать на названіе силы, несмотря на то, что иногда она дѣйствуетъ безспорно язвительно. Это просто-на-просто сила безсилія.

Теперь понятно, почему намъ такъ противна литература. Она претитъ намъ потому, что ей самой, какъ представительницѣ мысли, противно наше умственное безсиліе, наша праздность, наши со-дня-на-день оттягаемые посулы дѣятельности. Мысль не можетъ имѣть въ глазахъ нашихъ особенной привлекательности уже по тому одному, что, забравшись однажды въ голову, она тревожитъ и понуждаетъ. «Буря въ стаканѣ воды!»—да ошибемся же хоть разъ правдою и отвѣтимъ искренно: сами-то видимъ ли мы что-нибудь далѣе этого стакана? И можемъ ли мы, по совѣсти,

отрицать, что этотъ стаканъ воды не есть единственное внутреннее море, которое доступно нашимъ силамъ и нашему кругозору?

Литературное ремесло окажется еще болѣе невыгоднымъ, ежели мы примемъ въ соображеніе, что въ понятіи толпы слово литераторъ есть не что иное, какъ глухой псевдонимъ. Толпа, вообще и вездѣ, не отличается прозорливостью, она съ трудомъ отличаетъ друзей отъ недруговъ и въ большинствѣ случаевъ даже не понимаетъ, какимъ образомъ между нею и литературой могутъ образоваться отношенія доброжелательныя или злокозненныя. У насъ это явленіе обнаруживается въ формахъ еще болѣе яркихъ и рѣшительныхъ. У насъ и такъ-называемая цивилизованная толпа не всегда умѣетъ опредѣлить физіономію писателя, даже если-бъ онъ пользовался и извѣстностью, и ея благоволеніемъ (конечно, мы говоримъ здѣсь о массѣ общества, а не о тѣхъ газетно-журнальныхъ ищейкахъ, которые вникаютъ въ дѣятельность писателя даже сверхъ необходимой пропорціи).

Но это было бы еще не важно, если-бъ недостатокъ проницательности касался исключительно личности того или другого писателя; это было бы только прискорбно для его самолюбія—не больше. Но очевидно, что тутъ идетъ рѣчь совсѣмъ не о личности писателя, а именно о мысли, которой эта личность служитъ представительницею. Очевидно, что тутъ прежде всего не понимается мысль, а затѣмъ ужъ утопаетъ въ туманѣ и физіономія писателя. Спрашивается: возможно ли, при такой туманности представленій, ожидать преданнаго отношенія къ мысли? возможно ли надѣяться, чтобъ общество когда-нибудь заявило о своей устойчивости въ интересахъ мысли?

Первое естественное послѣдствіе такой шаткости отношеній обнаруживается въ томъ, что писатель, не имѣя въ виду данныхъ для опредѣленія, къ кому именно обращается его слово, почти всегда дѣйствуетъ наудачу. Можетъ случиться, что слово это падетъ на почву добрую и возраститъ плодъ добрый, но можетъ случиться и такъ, что слово падетъ въ навозъ и возраститъ крапиву. Тутъ, стало-быть, ужъ не до прозелитизма, когда дѣло идетъ объ отсутствіи даже той простой понимающей среды, безъ которой дѣятельность писателя есть дѣятельность, вращающаяся въ пустотѣ. А второе естественное послѣдствіе вотъ какое:

когда писатель, случайно или неслучайно, подпадаетъ опалѣ общества, когда его настигаетъ невзгода, то тутъ ужъ не только нѣтъ рѣчи о друзьяхъ или недругахъ, но простонà-просто всѣ обыватели безразлично сливаются въ одинъ хоръ и всѣ едиными устами вопіютъ: «ату его! крѣпче! крѣпче! вотъ такъ!» И такимъ образомъ выходитъ, что человѣкъ сей, который наивно мнилъ, что защищаетъ чьи-то интересы, отстаиваетъ чье-то человѣческое достоинство, нерѣдко оказывается первѣе всего поруганнымъ отъ своихъ естественныхъ кліентовъ!

Результатъ нежеланный, но далеко не столь неожиданный, чтобъ его нельзя было предвидѣть заранѣе.

Торжество силы еще отнюдь не утратило, въ глазахъ толпы, рѣшительнаго своего вліянія. Въ сущности, ей очень мало дѣла до внутренняго содержанія торжества, ей нравятся его внѣшнія декораціи, ей нравится тотъ блескъ и шумъ, которыми, по принятому обычаю, сопровождаются всякія потоптанія, подавленія и поруганія. Труба трубитъ, штандартъ скачетъ, а затѣмъ Гарибальди или Францискъ въѣзжаетъ въ Неаполь—толпа одинаково зѣваетъ, одинаково плещетъ руками. Но ежели уже въ этихъ, такъ сказать, парадныхъ случаяхъ толпа безразлично относится къ предметамъ своихъ восторговъ (благо есть торжество), то понятно, каковы должны быть эти восторги при видѣ торжества всецѣлаго, торжества безъ промаху, торжества, не испытывающаго даже возраженія! И чтò намъ древній Римъ съ его Сципіонами, Цезарями, Катонами? Развѣ у насъ мало найдется своихъ Цезарей, своихъ Катоновъ... вскормленныхъ на лонѣ управы благочинія!

Этихъ безъ пороху палящихъ Цезарей, этихъ Катоновъ, клянущихся гибелью новому Карѳагену — литературѣ, развелось нынѣ болѣе, даже нежели указываетъ потребность самая прихотливая. Нѣтъ того ничтожнѣйшаго гранителя мостовыхъ, который бы не сверкалъ глазами, не чувствовалъ прилива негодованія, котораго уста не изрыгали бы хулу при одномъ упоминаніи о литературѣ. «Литература—это развратный домъ; литература—это систематическая пропаганда анархіи; литература—это организованное посягательство на жизнь и спокойствіе общества!» — вотъ чтò вѣщаютъ новые Катоны - чревовѣщатели, и толпа, внимающая этимъ мудрымъ вѣщаніямъ, не только не задается вопросомъ: какимъ же образомъ однако мы живы?—но любитъ подобныхъ глашатаевъ истины, благоговѣетъ передъ

ихъ безотпорнымъ мужествомъ и нанимаетъ охочаго зяблика-гимнослагателя, который, за умѣренную плату, готовъ пѣть и славу, и срамъ своего отечества.

Толпа не только раболѣпна, но и труслива. Писатель, который, по самому свойству своей дѣятельности, можетъ влiять на нее только нравственно, прежде нежели всякiй другой убѣждается въ этой истинѣ. Еще вчера онъ былъ чѣмъ-то въ родѣ баловня фортуны, еще вчера около него тѣснился кружокъ людей, громко заявлявшихъ о сочувствiи,— и вотъ достаточно одной минуты, чтобы поставить его въ то нормальное одиночество, изъ котораго, при извѣстныхъ условiяхъ жизни, ему не надлежало и выходить. Эту минуту — вы можете не только предугадать, но даже почти осязать. Она идетъ на васъ въ образѣ доносительно-прожорливой щуки, при видѣ которой, подобно брызгамъ, брызнутъ во всѣ стороны рѣзвящiеся вкупѣ пискари.

Мѣстность, надъ которою разразился подобный щучiй погромъ, дѣлается на долгое время неспособною для произрастанiя иныхъ злаковъ, кромѣ волчцовъ и крапивы. Обыватели злопамятны; они изъ поколѣнiя въ поколѣнiе передаютъ разсказы о мученической смерти, постигшей окуней, и остерегаютъ птенцовъ своихъ отъ общенiя съ литературой. Мыслебоязнь становится лозунгомъ не только настоящаго, но и будущаго, она всасывается съ материнскимъ молокомъ, она, подобно злокачественной сыпи, передается наслѣдственно.

А такъ какъ подобныхъ мѣстностей намъ не заниматьстать, то дѣлается отчасти даже холодно при мысли о той силѣ, которую, съ теченiемъ времени, должны забрать волчцы.

Итакъ, съ одной стороны, неустойчивость, какъ слѣдствiе непониманiя мысли и неимѣнiя поводовъ привязаться къ ней; съ другой стороны, та же неустойчивость, какъ слѣдствiе природной податливости и рыхлости обывательскихъ нравовъ... невольно спрашиваешь себя: какую же цѣль имѣетъ существованiе литературы? Кому она нужна? что она можетъ?

И между тѣмъ все-таки сдается, что литература нѣчто еще можетъ. Самая живучесть ея даетъ поводъ думать, что будущее принадлежитъ ей, а не брюхопоклонникамъ.

Что торжество брюхопоклонниковъ есть фактъ совершившiйся и неподлежащiй спору — это такъ, но прежде, не-

жели выводить какія-либо заключенія, вглядитесь ближе въ это явленіе, вслушайтесь пристальнѣе въ эти ликующіе клики, и вы убѣдитесь, что тутъ уже кроется какой-то изъянъ. Лица побѣдителей не поражаютъ тою полнотою самодовольства, какая приличествуетъ лицамъ дѣйствительныхъ тріумфаторовъ; торжественные ихъ гимны отличаются шумомъ и восторженностью, но истинной, проливающей въ душу безмятежіе, гармоніи все-таки не даютъ. Ясно, что современный тріумфаторъ еще не считаетъ своего дѣла завершеннымъ, что онъ еще чувствуетъ потребность кой-кого ущипнуть, кой-кого уязвить, кой-кого умертвить. Онъ мраченъ и даже, по временамъ, уподобляясь разъяренному самцу гориллы, плотоядно щелкаетъ зубами. Онъ боится, чтобъ у него какъ-нибудь не отняли то мясо, на которое онъ заглядывается; онъ боится, чтобы между нимъ и тою растлѣнною наготою, которая одна въ состояніи пробуждать его вожделѣнія, не опустился, сверхъ ожиданія, занавѣсъ. Все это заставляетъ заключать, что матеріалъ исчерпанъ еще не весь...

Если бы на сценѣ были одни тріумфаторы, тогда живописцу оставалось бы только бросить свои кисти, или же нарисовать на полотнѣ пятно и подписать подъ нимъ: «Мракъ временъ». Но оказывается, что дѣло совсѣмъ не такъ просто; что рядомъ съ тріумфаторами усматриваются и побѣжденные, и что шумные и восторженные клики первыхъ удачно оттѣняются голосами стенящихъ, алчущихъ и вопіющихъ. Такимъ образомъ общій голосъ торжества утрачиваетъ, до извѣстной степени, томительное свое однообразіе и является полною музыкальною пьесой. Побѣжденные еще налицо; они изранены, искалѣчены, но не изгибли.

Какъ хотите, а это все-таки признакъ. Ежели еще не вполнѣ устранилась потребность озираться, преслѣдовать и подозрѣвать, стало-быть, не все еще предано безпробудному сну, стало-быть, еще живо въ обществѣ нѣчто такое, что не допускаетъ его окончательно обрюзгнуть и умереть. Конечно, время, которое мы переживаемъ, и тревожно, и тяжело, но все же оно подчиняется извѣстнымъ опредѣленіямъ и слѣдовательно не можетъ быть названо мракомъ временъ въ полномъ значеніи этого слова. Осмотритесь кругомъ, и вы увидите, что уже найдены нѣкоторыя рамки для болѣе правильнаго теченія жизни, а этого одного достаточно, чтобъ освѣтить будущее лучомъ надежды. Положимъ, что рамки эти пришли къ намъ какъ будто со сто

роны, что общество тутъ ни при чемъ и даже нерѣдко высказываетъ, по поводу ихъ, чувство явно враждебное; но утѣшимся тѣмъ, что это рамки такого рода, которыя, будучи разъ поставлены, сдвигаются съ мѣста гораздо труднѣе, нежели даже прилаживаются къ нему. Говорятъ, что отыскать рамки для задуманнаго дѣла уже значитъ наполовину обезпечить успѣхъ его—и это вполнѣ справедливо. Важно уже то, что брюхопоклонникъ видитъ передъ собой эти рамки и привыкаетъ къ нимъ; привычка — великое дѣло; и если она однажды пріобрѣтена, то человѣкъ даже закоснѣлый начинаетъ мало-по-малу усматривать выгоды, которыя представляетъ для него лучшій порядокъ вещей. Необходимость ограничивать свои желанія желаніями другихъ, необходимость смягчать дикость инстинктовъ — вотъ та великая школа, которой суждено въ будущемъ покорить вредную секту брюхопоклонниковъ.

Если-бъ не было побѣжденныхъ, не было бы и тріумфаторовъ. Ежели мысль содрогается при видѣ ходячихъ крашеныхъ гробовъ, то та же самая мысль сумѣетъ, даже сквозь сплошную массу живыхъ могилъ, провидѣть иныя сферы, иные интересы и требованія, иную температуру, иную жизнь. Какъ ни обширно кладбище, но около него ютится жизнь. Исторія не останавливается отъ того, что ничтожество, невѣжество и индифферентизмъ дѣлаются на время какъ бы закономъ и обезпеченіемъ мирнаго человѣческаго существованія. Она знаетъ, что это явленіе переходящее, что и подъ нимъ, и рядомъ съ нимъ, не угасая, теплится правда и жизнь.

V.—Сеничкинъ ядъ.

Прежде, нежели приступить къ предмету настоящей статьи, я считаю нелишнимъ опредѣлить, что такое благонамѣренность.

Признаюсь откровенно, обязанность эта застаетъ меня нѣсколько врасплохъ, ибо слово «благонамѣренность» произошло на свѣтъ такъ недавно, что даже значеніе его не вполнѣ опредѣлилось въ сознаніи общества. Толкуютъ его больше фигурами и уподобленіями. Такъ, напримѣръ, если я вижу человѣка, участвующаго своими трудами въ «Сѣверной Пчелѣ», въ «Нашемъ Времени», въ «Сѣверной

Почтѣ» — я говорю себѣ: это человѣкъ благонамѣренный. Если я вижу человѣка, посѣщающаго балы гг. Марцинкевича, Заллера, Наумова и другихъ — я говорю себѣ: это человѣкъ благонамѣренный. Почему я такъ говорю — я не знаю, но чувствую, что говорю правду, и всякій, кто слышитъ меня, говорящаго такимъ образомъ, тоже чувствуетъ, что я говорю правду. Совсѣмъ другое дѣло, если я вижу человѣка, таинственно пробирающагося въ редакцію газеты «Голосъ»; тутъ я прямо говорю себѣ: нѣтъ, это человѣкъ неблагонамѣренный, ибо въ немъ засѣлъ Ледрю-Ролленъ. И напрасно Андрей Александрычъ Краевскій будетъ увѣрять меня, что Ледрю-Ролленъ былъ, да весь вышелъ — я не повѣрю ему ни за что, ибо знаю стойкость убѣжденій Андрея Александрыча и очень помню, какъ онъ, еще въ 1848 году, боролся съ Луи-Филиппомъ и радовался паденію царства буржуазіи.

Но отвратимъ наши взоры отъ этого печальнаго зрѣлища и будемъ продолжать фигуры и уподобленія. Прежде всего благонамѣренный человѣкъ долженъ обладать хорошимъ поведеніемъ. Хорошее это поведеніе состоитъ въ слѣдующемъ. Утромъ благонамѣренный человѣкъ встаетъ и читаетъ «Сѣверную Почту» и, узнавъ оттуда, въ чемъ должна заключаться сегодняшняя благонамѣренность, отправляется побесѣдовать съ г. Старчевскимъ, который сообщаетъ ему, что подписчики «Сына Отечества» будутъ уплачивать за пересылку этого журнала не по три рубля, какъ подписчики прочихъ газетъ, но по одному рублю въ годъ. Подъ вліяніемъ этой бесѣды, благонамѣренный заходитъ къ Доминику, гдѣ съѣдаетъ три пирожка, а буфетчику сказываетъ, что съѣлъ одинъ. Затѣмъ, до обѣда онъ гуляетъ по Невскому, потомъ обѣдаетъ въ долгъ у Дюссо, а вечеромъ отправляется въ Михайловскій театръ и день оканчиваетъ блистательнымъ образомъ на балѣ у гостепріимныхъ принцессъ вольнаго города Гамбурга.

Если вы спросите меня, какимъ образомъ я во всѣхъ описанныхъ выше дѣйствіяхъ нахожу благонамѣренность, я могу истолковать вамъ это. Сколько я могъ понять изъ объясненій людей свѣдущихъ, слово «благонамѣренность», въ современномъ его значеніи, имѣетъ смыслъ весьма ограниченный и притомъ совершенно спеціальный. Человѣку, который рѣшается стать въ ряды благонамѣренныхъ, стоитъ только сказать себѣ: «другъ мой! ты можешь, если хочешь, заимствовать платки изъ чужихъ кармановъ, ты можешь

читать «Сынъ Отечества»; но въ вознагражденіе за это ты обязанъ имѣть хорошій образъ мыслей». Отсюда другая черта благонамѣренности—хорошій образъ мыслей. Что такое этотъ «хорошій образъ мыслей»—этого я объяснить не умѣю, потому что это выраженіе скорѣе чувствуется, нежели понимается.

Тѣмъ не менѣе, если судьба заставитъ васъ потолкаться нѣкоторое время между людьми благонамѣренными, и если вы возьмете на себя трудъ вдуматься въ ихъ рѣчи и дѣйствія, вы поймете и это. Вы поймете, напримѣръ, что отличительный признакъ хорошаго образа мыслей есть невинность. Невинность же, съ своей стороны, есть отчасти отсутствіе всякаго образа мыслей, отчасти же отсутствіе того смысла, который даетъ возможность различить добро отъ зла. Не размышляйте и читайте романы Поль-де-Кока—вотъ краткій и незамысловатый кодексъ житейской мудрости, которымъ руководствуется современный благонамѣренный человѣкъ. И благо ему. Если онъ утаилъ о двухъ излишне съѣденныхъ пирожкахъ, то это простится ему, потому что отъ этого нѣтъ ущерба ни любви къ отечеству, ни общественному благоустройству. Одно только можетъ повлечь для него за собой непріятность: это — если фактъ утаенія вызоветъ за собой протестъ; но и тогда Доминикъ ему только замѣтитъ, что на будущее время онъ долженъ быть осмотрительнѣе, то-есть скрадывать пироги ловчѣе и глотать ихъ быстрѣе. И болѣе ничего. Потому главное все-таки въ томъ заключается, чтобы не размышлять. Танцуйте канканъ, развлекайтесь съ гамбургскими и отчасти ревельскими принцессами, но, Бога ради, не увлекайтесь. Посѣщайте Михайловскій театръ, наблюдайте за выраженіемъ лица г-жи Напталь-Арно въ знаменитой ночной сценѣ пьесы «Nos intimes», слѣдите за безпрерывнымъ развитіемъ бюста г-жи Мила, ѣшьте, пейте, размножайте человѣческій родъ, читайте «Наше Время», но, Бога ради, не увлекайтесь. Если же вамъ непремѣнно нужно мыслить, то бесѣдуйте съ «Сыномъ Отечества», ибо мысли, порождаемыя этими бесѣдами, не суть мысли, но тѣлесныя упражненія...

Такимъ образомъ, съ помощью фигуръ и уподобленій, мы догадываемся наконецъ, что такое этотъ «хорошій образъ мыслей», который, въ послѣднее время, пустилъ такіе сильные корни въ нашемъ обществѣ. Сидите ли вы въ театрѣ, идете ли вы по улицѣ — вы на каждомъ шагу

встрѣчаете людей, которыхъ наружность ничего иного не выражаетъ, кромѣ того, что ихъ отлично кормятъ. Тутъ не можетъ быть рѣчи объ убѣжденіяхъ, а тѣмъ менѣе о недовольствѣ кѣмъ и чѣмъ бы то ни было; въ этихъ ходячихъ могилахъ все покончено, все затихло. Самый добродушный изъ нихъ на ваши приставанья отвѣтитъ: «mon cher! qui est-ce qui en parle!», но менѣе добродушный фыркнетъ и огрызнется, какъ песъ, къ которому неосторожно подойдутъ въ то время, когда онъ ѣстъ. Слѣдовательно благонамѣренность не исключаетъ и нѣкотораго остервенѣнія, которое, такимъ образомъ, составляетъ третью характеристическую черту ея.

Какая причина этого остервенѣнія, гдѣ источникъ этой благонамѣренной плотоядности? Устали ли мы отъ политическихъ потрясеній? Испытали ли мы на себѣ безплодность и вредоносную силу утопій? Разочаровались ли мы? Очаровывались ли когда-нибудь? Гдѣ та сирена, которая насъ, гибнущихъ плавателей, соблазнила сладкогласнымъ своимъ пѣніемъ?

Странное дѣло! мы не можемъ указать на какія-либо политическія потрясенія (слава Богу!), мы не можемъ сослаться ни на какія утопіи (ухъ, слава Богу!), и въ то же время не можемъ скрыть, что сирена все-таки существуетъ. Многіе даже видѣли ее и увѣряютъ, что она ходитъ въ вицмундирѣ.

Увы! пѣніе сирены отразилось даже на литературѣ нашей. Изъ загнанной и трепещущей она превратилась въ торжествующую и ликующую, изъ скептической въ вѣрующую, изъ заподозрѣнной въ благонамѣренную и достойную довѣрія. Дѣятели, цѣлую жизнь дразнившіе и уськавшіе общественное мнѣніе, всенародно бьютъ себя въ грудь, всенародно раздираютъ на себѣ одежды и признаютъ себя удовлетворенными. «Мальчишки!» стонетъ на всѣ лады одинъ; «нигилисты!» подвизгиваетъ ему другой. И хотя это обвиненіе есть единственное, которое успѣла ясно сформулировать кающаяся русская литература, но, вѣроятно, оно признается достаточно капитальнымъ, если журналы серьезные и, повидимому, благонамѣренные рѣшаются настаивать на немъ.

Вновь спрашиваю я: что̀ за причина такого безпримѣрнаго наплыва благонамѣренности въ нашу литературу?

Увы! я просто думаю, что всему причиной четвертакъ, тотъ самый четвертакъ, объ отношеніяхъ котораго къ рус-

ской литературѣ и ея дѣятелямъ такъ остроумно выразился московскій публицистъ, М. Н. Катковъ: четвертака, дескать, при нихъ плохо не клади — стащатъ! Какъ! воскликнетъ читатель, эта самая русская литература, которая такъ много тщеславилась своею гордою неприступностью, которая такъ строго преслѣдовала Булгарина за его легкіе нравы,—вдругъ соблазнилась на четвертакъ! Да-съ, такъ именно разсказываютъ свѣдущіе люди, и, къ сожалѣнію, нѣкоторые признаки заставляютъ сознаться, что они не неправы.

Но положимъ, что свѣдущіе люди ошиблись; положимъ, что не буквально же четвертакъ соблазнилъ нашу литературу, что эта мелкая монета служитъ лишь фигурою уподобленія—тѣмъ не менѣе это обидно. Это обидно потому, что слово четвертакъ представляетъ здѣсь идею дешевизны; это обидно потому, что четвертачизмъ, претерпѣвавшій доселѣ въ русской литературѣ постыднѣйшее крушеніе, несмотря на гигантскія, въ своемъ родѣ, усилія Ѳ. В. Булгарина, начинаетъ приживаться въ ней именно въ такую минуту, когда всего менѣе можно было этого ожидать. Тутъ еще не было бы дива, если-бъ во времена Булгарина четвертакъ обладалъ обаятельною силой: тогда и провіантъ былъ дешевый, да и политическіе интересы сосредоточивались исключительно на разъясненіи вопроса, откуда произошла Русь. Ясно, что это были интересы четвертаковые, и что защищать за четвертакъ происхожденіе Руси отъ норманновъ было и непредосудительно, и необременительно. Но и за всѣмъ тѣмъ наша литература выказывала ироизмъ неслыханный: защищала норманнское происхожденіе Руси даромъ. Напротивъ того, теперь, когда, съ одной стороны, жизненные припасы поднялись въ цѣнѣ необычайно, когда, съ другой стороны, политическій горизонтъ съ каждымъ днемъ расширяется, литература, вмѣсто того, чтобы быть на стражѣ, оказываетъ малодушество безпримѣрное и выдѣляетъ изъ себя публицистовъ, которые за четвертакъ поютъ хвалебные гимны всему безъ различія и призываютъ кару небесъ на мальчишекъ и нигилистовъ!

Что̀ сей сонъ значитъ?

Или мы были героями во времена Булгарина потому только, что передъ глазами нашими не блисталъ заманчиво четвертакъ?—Можетъ быть.

Или мы были такъ слабы и ничтожны въ то время, что намъ и четвертака никто не считалъ за нужное посулить?—Можетъ быть.

Или наша изобрѣтательная способность до такой степени притупилась объ варяговъ, что, когда настало наконецъ время для вопросовъ болѣе серьезныхъ и жизненныхъ, мы не отыскали въ себѣ никакихъ отвѣтовъ на нихъ и потому нашли для себя болѣе покойнымъ и выгоднымъ дуть въ нашу маленькую дудочку на заданную тему?—Можетъ быть.

Или же наконецъ тутъ имѣется съ нашей стороны тонкій разсчетъ, и мы думаемъ, что со временемъ наши фонды поднимутся?—Можетъ быть.

Я не рѣшаю этихъ вопросовъ, а только излагаю ихъ. Я считаю себя лѣтописцемъ; я даже не группирую фактовъ и не выжимаю изъ нихъ нравоученія, но просто утверждаю, что въ нашу общественную жизнь, равно какъ и въ нашу литературу, проникла благонамѣренность. Съ одной стороны, общество убѣдилось окончательно, что оно такиподвигается; съ другой стороны, литература, удачно воспользовавшись этимъ настроеніемъ, начала сочувственно и весело строить цѣлыя системы на мотивъ: чего же тебѣ еще нужно?

Я увѣренъ, что извѣстіе это въ особенности порадуетъ провинціальнаго читателя. Въ самомъ дѣлѣ, видя, какой переполохъ царствовалъ въ нашихъ журналахъ до 1862 года, какими словесными подзатыльниками угощали въ нихъ другъ друга россіяне, бѣдный, удаленный отъ свѣта провинціалъ могъ и невѣсть что̀ подумать. Ему могло показаться, что старому веселью конецъ пришелъ, что хорошихъ людей моль поѣла, и что на мѣстѣ ихъ неистовствуютъ все мальчишки да нигилисты... Ничуть не бывало! утѣшаю я его; все это было до 1862 года, но въ этомъ году россіяне вступили въ новое тысячелѣтіе... Какъ же тутъ не созрѣть, какъ не пойти въ сѣмена!

Изъ всего сказаннаго выше явствуетъ, что одинъ изъ существенныхъ признаковъ нашей благонамѣренности заключается въ ненависти къ мальчишкамъ и нигилистамъ. Что̀ такое нигилисты? что такое мальчишки?

Слово «нигилисты» пущено въ ходъ И. С. Тургеневымъ и не обозначаетъ собственно ничего. Въ романѣ г. Тургенева, какъ и во всякомъ благоустроенномъ обществѣ, дѣйствуютъ отцы и дѣти. Если есть отцы, слѣдовательно должны быть и дѣти—это бы, пожалуй, не новость; новость заключается въ томъ, что дѣти не въ отцовъ вышли, и вслѣдствіе этого происходятъ между ними безпрестанные реприманды.

Отцы—народъ чувствительный и вѣруютъ во все. Они вѣруютъ и въ красоту, и въ истину, и въ справедливость, но больше прохаживаются по части красоты. Они проливаютъ слезы, читая Шиллерову «Resignation»; они играютъ на віолончели, а отчасти и на гитарѣ, но не остаются нечувствительными и къ четвертакамъ. Да, люди, о которыхъ я докладывалъ выше, какъ о поддавшихся обаянію четвертака,—это все отцы. Вообще это народъ легко очаровывающійся. Когда-то они были друзьями Бѣлинскаго и поклонниками Грановскаго, но, по смерти своихъ руководителей, остались, какъ овцы безъ пастыря. Очарованія ихъ приняли характеръ безпорядочный, почти растрепанный; съ одной стороны—Laura am Clavier, съ другой—тысяча рублей содержанія, даровая квартира и нѣсколько пудовъ сальныхъ свѣчей—вотъ двѣ мучительныя альтернативы, между которыми проходитъ ихъ жизнь. Тѣмъ не менѣе надо отдать имъ справедливость: Лаура съ каждымъ днемъ все дальше и дальше отодвигается на задній планъ, и все ближе и ближе придвигается тысяча рублей содержанія. Способность очаровываться осталась та же, но предметъ ея измѣнился и измѣнился потому, что нѣтъ въ живыхъ ни Бѣлинскаго, ни Грановскаго. Будь они живы, они, конечно, сказали бы «отцамъ»: цыцъ! и тогда—кто можетъ угадать, чѣмъ увлекались бы въ настоящую минуту эти юные старцы?

Въ противоположность отцамъ, дѣти представляютъ собой собраніе невѣрующихъ.

— Вы не вѣрите ни во что... даже?—вопрошаетъ Базарова одинъ изъ Кирсановыхъ.

— Даже,—отвѣчаетъ Базаровъ, вовсе не заботясь о томъ, что онъ дѣлаетъ этотъ отвѣтъ въ домѣ Кирсановыхъ и что, по всѣмъ правиламъ гостепріимства, гость обязанъ говорить хозяевамъ лишь пріятныя и угодныя вещи.

Не вѣритъ въ «даже», а вѣритъ въ лягушекъ! Соблазняется красивыми плечами женщины и при этомъ не содрогается при мысли, что красивыя плечи составляютъ лишь тлѣнную оболочку нетлѣнной души. Кромѣ того: а) на красоту вообще взираетъ съ той же точки зрѣнія, съ какой г. Семевскій взираетъ на русскую исторію; б) не тоскуетъ по истинѣ, ибо не признаетъ науки, скрывающейся, какъ извѣстно, въ стѣнахъ московскаго университета; в) эстетическими вопросами не волнуется, на віолончели не играетъ и романсовъ не поетъ, и г) обаятельную силу четвертака отвергаетъ положительно... Спрашиваю я

васъ: какъ назвать совокупность всѣхъ этихъ зловредныхъ качествъ? какъ назвать людей, совокупившихъ въ себѣ эти качества? Я знаю, госпожа Коробочка назвала бы ихъ фармазонами, полковникъ Скалозубъ назвалъ бы волтерьянцами; но Кирсановъ не захотѣлъ быть подражателемъ и назвалъ нигилистами...

Какъ бы то ни было, но «благонамѣренные» накинулись на слово «нигилистъ» съ ожесточеніемъ; точь-въ-точь какъ благонамѣренные прежнихъ временъ накидывались на слово «фармазонъ» и «волтерьянецъ». Слово «нигилистъ» вывело ихъ изъ величайшаго затрудненія. Были понятія, были явленія, которыя они до тѣхъ поръ затруднялись—какъ назвать; теперь этихъ затрудненій не существуетъ: все это нигилизмъ; были люди, которыхъ физіономіи имъ не нравились, которыхъ рѣчи производили въ нихъ нервное раздраженіе, но они не могли дать себѣ отчета, почему эти люди, эти рѣчи производятъ на нихъ именно такое дѣйствіе; теперь все сдѣлалось ясно: да потому просто, что эти люди—нигилисты! Такимъ образомъ нигилистъ, не обозначая собственно ничего, покрываетъ собой всякую обвинительную чепуху, какая взбредетъ въ голову благонамѣренному, и если-бъ Иванъ Никифоровичъ Довгочхунъ зналъ, что существуетъ на свѣтѣ такое слово, то онъ навѣрное назвалъ бы Ивана Иваныча Перерепенко не дурнемъ съ писанною торбою, а нигилистомъ. Человѣкъ, который ходитъ по улицѣ безъ перчатокъ—нигилистъ, и человѣкъ, который заявитъ сомнѣніе насчетъ либерализма Василія Александрыча Кокорева—тоже нигилистъ. Онъ нигилистъ! онъ не вѣритъ ни во что святое! вопятъ благонамѣренные, и само собой разумѣется, что Василію Александрычу это нравится. Однимъ словомъ, нигилистъ есть человѣкъ, безпрерывно испускающій изъ себя какой-то тонкій ядъ, отъ котораго мгновенно дурѣютъ слабыя головы мальчишекъ!

Это переноситъ меня къ далекимъ днямъ моей молодости. Зналъ я тогда одно семейство, жившее очень почтенно и патріархально и состоявшее изъ большого числа членовъ, между которыми были и старики, и взрослые, и подростки. Семейство наслаждалось тишиною и блаженствовало; оно имѣло тотъ форменный взглядъ на нравственность и человѣческія обязанности, который составляетъ счастіе людей, желающихъ прожить свой вѣкъ безъ тревогъ и волненій. Конечно, такъ и прожили бы эти

добрые люди, если бы, къ несчастью, не замѣшался тутъ Сеничка.

Сеничка былъ просто добрый малый, жившій большею частью въ отдаленіи отъ родныхъ и потому нѣсколько отвыкшій отъ этого безшумнаго, обряднаго жизненнаго строя, который царствовалъ въ его семействѣ. Нельзя сказать, чтобъ его не любили домашніе; напротивъ того, на него возлагались даже какія-то честолюбивыя родовыя надежды, такъ какъ онъ одинъ изъ всего семейства состоялъ на государственной службѣ и обѣщалъ когда-нибудь чего-нибудь достигнуть и тѣмъ прославить родъ Горбачевскихъ. Тѣмъ не менѣе обольщеніе было непродолжительно; за Сеничкой, во время побывокъ его въ родномъ домѣ, стали замѣчаться какія-то прорухи, какое-то не то чтобы озлобленіе, но полное равнодушіе къ роднымъ интересамъ.

Но это все бы еще ничего: оказалось, что Сеничка разливаетъ ядъ и дѣйствуетъ посредствомъ его на подростковъ.

Выходитъ изъ института невинная дѣвица, внучка и дочь семейства, и поселяется у родныхъ. Она уважаетъ дѣдушку, боготворитъ бабушку, цѣлуетъ ручки у папеньки и маменьки, бесѣдуетъ и споритъ по вечерамъ съ приходскимъ батюшкой насчетъ того, дѣйствительно ли существовали на свѣтѣ Лазарь богатый и Лазарь бѣдный, или это только такъ, притча? Однимъ словомъ, родные не налюбуются милымъ ребенкомъ и всѣ въ одинъ голосъ кричатъ: что̀ за милое, что̀ за невинное созданіе! Но вотъ пріѣзжаетъ въ побывку Сеничка... Онъ привозитъ съ собой нѣсколько французскихъ романовъ—наша институтка слышитъ это верхнимъ чутьемъ; она украдкой отъ родныхъ бѣгаетъ въ Сеничкину комнату и читаетъ... Сеничка разсказываетъ, на какихъ онъ балахъ въ Петербургѣ бываетъ (онъ бываетъ исключительно у Марцинкевича), какая въ Петербургѣ опера, и въ какія неслыханныя платья облекается г-жа Напталь-Арно, изображая маркизъ. Институтка слушаетъ это сначала однимъ ухомъ, потомъ обоими; потомъ она задумывается, потомъ ей плохо спится ночь... Въ одно прекрасное утро она начинаетъ плакать и не хочетъ диспутировать съ бабушкой; она не называетъ бабушку «божественной» и послѣ обѣда забываетъ поцѣловать руку у папеньки. Мало того: она вдругъ начинаетъ рѣзвиться и бѣгать по комнатѣ; она садится за фортепьяно и не то чтобы играетъ, но какъ-то безпорядочно стучитъ

по клавишамъ; наконецъ она открыто называетъ родныхъ тиранами, желающими заѣсть ея молодые годы.

— Это Сеничкинъ ядъ!—шепчутъ родственники: — это все Сеничкинъ ядъ дѣйствуетъ!

— Помилуйте, маменька! — оправдывается Сеничка: — какой тутъ ядъ! просто-нà-просто Катенькѣ повеселиться хочется! просто-нà-просто молодая кровь въ ней играетъ!

— Нѣтъ, это твой ядъ!—твердятъ хоромъ родственники и спѣшатъ удалить Сеничку.

Пріѣзжаютъ на каникулы дѣти-гимназисты; бабушка осматриваетъ ихъ и говоритъ: «молодцы!»; папенька спрашиваетъ, какія у нихъ отмѣтки, и получаетъ отвѣтъ, что все пять да четыре. Петровъ постъ; дѣти кушаютъ постное, вмѣстѣ съ Катенькою и прочими членами семейства; они дѣлаютъ это даже съ охотою... И вдругъ пріѣзжаетъ Сеничка.

— Дяденька! у насъ постное!—спѣшатъ сообщить ему гимназисты.

— Стану я постное ѣсть!—огрызается Сеничка и объясняетъ, что будетъ ѣсть скоромное.

Декорація мѣняется. На другой день, за обѣдомъ, всѣ ѣдятъ постное, одному Сеничкѣ подаютъ скоромное. Гимназисты ѣдятъ плохо.

— А что̀, друзья, вкусно?—подшучиваетъ Сеничка, видя, какъ они заглядываются на его котлетку.

Родитель гимназистовъ слегка блѣднѣетъ; бабушка строго посматриваетъ на Сеничку. Но дѣло уже сдѣлано; гимназисты плачутъ; Катенька вторитъ имъ; жареный въ постномъ маслѣ картофель такъ и уносятъ обратно нетронутый.

— Это Сеничкинъ ядъ!—шепчутъ родственники: — это все Сеничкинъ ядъ дѣйствуетъ.

— Помилуйте, маменька! — оправдывается Сеничка:— какой тутъ ядъ! просто-нà-просто дѣтямъ ѣсть хочется, потому что они растутъ.

— Нѣтъ, это твой ядъ!—рѣшаетъ семейный ареопагъ и спѣшитъ какъ-нибудь удалить Сеничку.

Всѣ, даже рабы и рабыни, находятся подъ вліяніемъ Сеничкина яда. Кормили ихъ прежде, напримѣръ, кислымъ молокомъ, и они не жаловались, и вдругъ дернула же нелегкая Сеничку спросить у Іонки-подлеца:

— А что̀, братъ, съ кислаго-то молока, чай, животъ подвело?

И вотъ на другой день исторія: кислое молоко рабы въ

помойную яму вылили, и хотя господа все-таки ничего другого не дали, однако сторчились.

— Это все Сеничкинъ ядъ!—шепчутъ родные.

— Да помилуйте, маменька! чѣмъ же я виноватъ, что у васъ люди голодны!—оправдывается Сеничка.

— Нѣтъ, это твой ядъ!—рѣшаетъ семейный ареопагъ и спѣшитъ какъ-нибудь освободиться отъ Сенички.

Подобно этому Сеничкѣ, нигилисты обязаны выносить на себѣ всѣ грѣхи міра сего. Тявкнетъ ли на улицѣ шавка—благонамѣренные кричатъ: «это нигилисты подучили ее»; пойдетъ ли безо времени дождь—благонамѣренные кричатъ: «это нигилисты заговариваютъ стихіи!» Этого мало: лѣтомъ 1862 г., по случаю частыхъ пожаровъ, въ Петербургѣ ходили слухи о поджогахъ—благонамѣренные воспользовались этимъ, чтобъ обвинить нигилистовъ; образовалась какая-то неслыханная потаенная литература—благонамѣренные возопили: «это они! это нигилисты!» Злорадство дошло до той степени безобразія и нелѣпости, что благонамѣренные готовы были, чтобъ у нихъ самихъ поснимали головы, лишь бы имѣть право сказать: «это они! это нигилисты!»

Я совершенно согласенъ, что люди, поджигавшіе Петербургъ, суть нигилисты, но въ такомъ случаѣ какой же резонъ слово «нигилистъ» смѣшивать съ словомъ «мальчишки»? Допустимъ, что слово «нигилистъ» выражаетъ собой совокупность всевозможныхъ позорныхъ понятій, начиная отъ неношенія перчатокъ и кончая отрицаніемъ кокоревскаго либерализма—чѣмъ же тутъ виноваты мальчишки? Посредствомъ какого адскаго сцѣпленія идей приплетаются они къ нигилизму? Умышленно ли это дѣлается, или неумышленно?

Прежде всего, примемъ въ соображеніе, что слово «мальчишки» имѣетъ смыслъ нарочито презрительный. И дѣйствительно, сила заключается не въ словѣ, а въ томъ понятіи, которое оно выражаетъ; «мальчишки» же выражаютъ собой еще болѣе, нежели «нигилисты». Нигилистомъ можетъ быть человѣкъ всякаго возраста; такъ, напримѣръ, Аркаша Кирсановъ покидаетъ ремесло нигилиста тотчасъ же, какъ только собственнымъ умомъ доходитъ до убѣжденія, что никакіе нигилизмы на свѣтѣ не стоятъ ничего передъ тѣми положительными утѣхами, которыя можетъ доставить ему соединеніе съ милой Катей (сестра г-жи Одинцовой). Стало-быть, по этой теоріи ничто не мѣшаетъ быть

нигилистомъ Н. Ф. Павлову, хотя, быть-можетъ, у него отъ преклонности ни одного волоса на головѣ нѣтъ, и благонамѣреннымъ—г. Чичерину, хотя онъ еще очень молодой человѣкъ. Напротивъ того, слово «мальчишки», такъ сказать, подрываетъ будущее Россіи, ибо обращается преимущественно къ молодому поколѣнію, на которомъ, какъ извѣстно, покоятся всѣ надежды любезнаго отечества. Подъ этимъ словомъ подразумѣвается все, что не перестало еще расти; М. Н. Катковъ взираетъ на П. М. Леонтьева и говоритъ: «вотъ мѣра человѣческаго роста!» и затѣмъ всякій индивидуумъ, который имѣлъ несчастіе родиться двумя минутами позднѣе г. Леонтьева, поступаетъ въ разрядъ мальчишекъ. Не хитро, но зато просто и удобно.

Таковы физическія условія мальчишества; въ чемъ же должны заключаться условія нравственныя? Очевидно, въ томъ же, въ чемъ и нравственныя условія нигилистовъ, то-есть въ отсутствіи всякихъ нравственныхъ условій. Мальчишки не вѣрятъ въ науку, ибо не читаютъ статей г. Молинари; мальчишки не вѣрятъ въ искусство жить на свѣтѣ, ибо не читаютъ статей г. Юркевича; мальчишки—это, по счастливому выраженію «Времени», «пустые и безмозглые крикуны, портящіе все, до чего они дотронутся, марающіе иную чистую, честную идею уже однимъ тѣмъ, что они въ ней участвуютъ; мальчишки—это свистуны, свистящіе изъ хлѣба и только для того, чтобы свистать, выѣзжающіе верхомъ на чужой, украденной фразѣ, какъ верхомъ на палочкѣ, и подхлестывающіе себя маленькимъ кнутикомъ рутиннаго либерализма...»

Однимъ словомъ, мальчишество есть нѣчто въ родѣ грѣха первороднаго; мальчишка уже тѣмъ виноватъ, что онъ мальчишка; мальчишка фаталистически обреченъ на нигилизмъ.

Онъ не можетъ ни серьезно мыслить, ни серьезно думать — потому что онъ мальчишка; онъ не смѣетъ ни о чемъ имѣть своего сужденія — потому что онъ мальчишка; его мысль, его тѣлодвиженія, все его существо, однимъ словомъ, необходимо должны заключать въ себѣ нѣчто озорное, имѣющее особый пасквильный смыслъ — потому что онъ мальчишка. «Угодно вамъ папиросу?» спрашиваетъ мальчишка у благонамѣреннаго, и благонамѣренный фыркаетъ и злится, потому что думаетъ: «га! это онъ неспросту мнѣ папироску предлагаетъ! онъ хочетъ этимъ показать, что я до такой степени ослабъ, что даже папироску выкурить не въ состояніи!» Каждое слово мальчишки под-

вергается толкованію самому инквизиторскому, въ каждомъ его дѣйствіи видится поползновеніе протанцовать карбонарскій канканъ.

Ожесточеніе благонамѣренной прессы, а за нею и благонамѣренной части общества доходитъ до того, что если мальчишка умираетъ, то никому не придетъ въ голову сказать: вотъ погибаетъ человѣкъ жертвою... ну, положимъ, хоть заблужденій! но всякъ говоритъ: «вотъ погибаетъ мальчишка», т.-е. негодяй, т.-е. нигилистъ, т.-е. человѣкъ, не различавшій своего отъ чужого! Откуда это проклятое «то-есть»? Отчего если оно не всегда выражается, то всегда подразумѣвается? А просто оттого, что дѣло идетъ о «мальчишкахъ»—и все тутъ!

Мальчишество—это преступленіе, за которое уличенный въ немъ лишается даже права апеллировать. Благонамѣренный не станетъ и разговаривать съ мальчишкой; «это мальчишка!»—скажетъ онъ и самодовольно пройдетъ себѣ мимо...

Да, горько родиться «мальчишкой», но какъ же, съ другой стороны, и не родиться-то имъ?

Всякій мужчина, какъ бы онъ рослъ ни былъ, имѣлъ свой періодъ мальчишества, только не всякій это помнитъ. Иной думаетъ, что онъ такъ-таки и вышелъ изъ головы Юпитера, какъ Минерва, во всеоружіи; иной забылъ, что онъ не далѣе, какъ въ 1861 году, былъ еще мальчишкой; иной и не забылъ, и даже не скрываетъ, что не забылъ: «ну, да, говоритъ, я былъ мальчишкой, покуда не коснулась меня благодать благонамѣренности... что̀-жъ изъ того? а если меня опять коснется благодать мальчишества, я опять буду мальчишкой... что̀-жъ изъ того?» Такимъ образомъ одни дѣйствуютъ по безпамятству, другіе—потому, что дѣло это торговое и завсегда въ нашихъ рукахъ состоитъ.

Къ послѣднему разряду дѣятелей я не обращаюсь; я знаю, что они еще не разъ въ своей жизни будутъ и мальчишками, и благонамѣренными, смотря по тому, гдѣ больше поживишки. Это паразиты, которые обращаютъ вниманіе исключительно на то, чье тѣло представляется болѣе пухлымъ и лоснящимся, чтобъ угнѣздиться именно тамъ, гдѣ болѣе обезпечено ѣды. Я обращаюсь къ людямъ просто забывчивымъ и спрашиваю: неужели вы въ самомъ дѣлѣ забыли? неужели вы дошли до состоянія опрѣсноковъ безъ всякихъ тревогъ, безъ всякой борьбы? неужели вы не ме-

тались и не кипѣли? неужели вы сошли на путь благонамѣренности такъ же случайно и безразлично, какъ заходятъ современные франты въ тотъ или другой танцклассъ? Нѣтъ, это невѣроятно. Это невѣроятно, потому что нѣтъ того человѣка, котораго заплѣсневѣлая душа не умилилась бы передъ воспоминаніемъ о давнопрошедшихъ, сладкихъ дняхъ молодости; нѣтъ того дряхлаго, тупого старика, котораго голова не затряслась бы сочувственно, котораго морщины не освѣтились бы лучомъ радости, когда на него хоть на мгновенье, хоть случайно пахнётъ свѣжимъ ароматомъ навсегда утраченной весны жизни. Ибо каково бы ни было содержаніе молодости (положимъ, что оно было безпутно, съ вашей *нынѣшней* точки зрѣнія), все же она говоритъ о силѣ, говоритъ о надеждахъ, о жаждѣ подвига, говоритъ о той книгѣ жизни, которая когда-то читалась легко и которая туго и тупо дается осторожно-каплуньему пониманію старчества.

Да не подумаетъ однако-жъ читатель, что я взываю о сожалѣніи къ мальчишкамъ, что я для того обращаюсь къ памяти благонамѣренныхъ, чтобы сказать имъ: и вы были молоды, и вы заблуждались, такъ имѣйте же снисхожденіе къ молодости и заблужденіямъ другихъ! Нѣтъ, я просто становлюсь на историческую почву и говорю благонамѣреннымъ: вспомните то время, когда вы были мальчишками, и поищите въ своей памяти, не было ли и тогда «благонамѣренныхъ»? Думаю, что этого вопроса достаточно, чтобы заставить ихъ покраснѣть.

Нѣтъ, я не прошу для мальчишекъ ни сожалѣнія, ни даже снисхожденія. Я нахожу, что мальчишество—сила, а сословіе мальчишекъ—очень почтенное сословіе. Самая остервенѣлость вражды противъ нихъ свидѣтельствуетъ, что къ мальчишкамъ слѣдуетъ относиться серьезно, и что слова: «мальчишки!», «нигилисты!», которыми благонамѣренные люди вѣнчаютъ всѣ свои диспуты по поводу почтительно дѣлаемыхъ мальчишками представленій и домогательствъ, въ сущности изображаютъ не что иное, какъ худо-скрытую досаду, нѣчто въ родѣ плача Адама объ утраченномъ раѣ.

Въ чемъ же собственно дѣло? Гдѣ побудительная причина тѣхъ ожесточенныхъ походовъ, которые поднимаются «благонамѣренными» противъ «мальчишекъ»? Какія наконецъ права «мальчишекъ» на общее вниманіе?

Отвѣтъ на эти вопросы не такъ затруднителенъ, какъ это кажется съ перваго взгляда. Нельзя не сознаться, что

общій уровень жизни измѣняется; многое, съ чѣмъ мы сжились, оказывается несостоятельнымъ; чувствуется тяжесть какая-то; видится и сознается, что нѣтъ существа живого, которое могло бы сказать, что ему живется хорошо. Мы, благонамѣренные, также это чувствуемъ и въ то же время не можемъ ничего выдумать къ облегченію нашихъ собственныхъ болей!

И вотъ, въ то самое время, когда мы вздыхаемъ и недоумѣваемъ, гдѣ-то вдали, въ какомъ-то непризнанномъ захолустьѣ зарождается нѣчто новое; міазмы мало-по-малу разрѣжаются, жизнь становится и привѣтливѣе, и свѣтлѣе. Откуда этотъ успѣхъ?

Увы! Какъ ни малъ успѣхъ, но источникъ его все-таки не столько въ насъ, благонамѣренныхъ, сколько въ мальчишествѣ, въ той освѣжающей силѣ, которую оно представляетъ. Изъ того, что практическое осуществленіе новыхъ жизненныхъ формъ большею частью зависитъ отъ насъ, благонамѣренныхъ, и производится нами, вовсе не слѣдуетъ, чтобы отъ насъ же исходила и иниціатива ихъ...

. . . . . .

Итакъ, если мы видимъ, что жизнь сдѣлала шагъ впередъ, если мы самихъ себя сознаемъ лучше и чище...

Мы клянемъ мальчишество, мы презираемъ его и въ то же время, неслышно для насъ самихъ, признаемъ его силу и подаемъ ему руку. Не будь мальчишества, не держи оно общество въ постоянной тревогѣ новыхъ запросовъ и требованій, общество замерло бы и уподобилось бы заброшенному полю, которое можетъ производить только репейникъ и куколь.

Я могъ бы привести тысячи примѣровъ изъ практики въ доказательство справедливости моего положенія, и если не дѣлаю этого, то единственно изъ опасенія, чтобъ изъ того не вышло какой-нибудь нелитературной полемики. Дозволю себѣ одинъ казенный вопросъ: давно ли называлось мальчишествомъ, карбонарствомъ, волтерьянствомъ все то добро, которое нынѣ воочію совершается? И нельзя ли отсюда придти къ заключенію, что и то, что̀ нынѣ называется мальчишествомъ, нигилизмомъ и другими, болѣе или менѣе поносительными, именами будетъ *когда-нибудь* называться добромъ?

VI.—Русскіе «гулящіе люди» за границей.

Сомнѣваюсь, чтобъ сатирическое перо могло сыскать для себя сюжетъ болѣе благодарный и болѣе неистощимый, какъ «Русскіе за границей». Тутъ все даетъ пищу и, съ какими бы намѣреніями вы ни приступили къ этому предмету, все будетъ хорошо. Не говоря уже о томъ энергическомъ, безпощадномъ остроуміи, которымъ обладали великіе юмористы, подобные Гоголю,—остроуміи, относящемся къ предмету во имя цѣлаго строя понятій и представленій, противоположныхъ описываемымъ, даже такой незлобивый, невинный старикъ, какимъ былъ, напримѣръ, Загоскинъ— и тотъ находилъ возможность относиться къ этому богатому сюжету если не глубоко, то, по крайней мѣрѣ, искренно и весело. Говорятъ, будто Гоголь имѣлъ намѣреніе изобразить впечатлѣнія русскаго воина старыхъ временъ, путешествующаго за границей. Дѣйствительно, трудно себѣ представить что-нибудь соблазнительнѣе, грандіознѣе подобной темы! Тутъ было цѣлое стройное міросозерцаніе, хотя не имѣвшее съ внутренней стороны строго-человѣческаго характера, но наружными своими признаками не дозволявшее сомнѣваться, что обладатель его принадлежитъ къ человѣческой семьѣ; однимъ словомъ, тутъ было нѣчто такое, что носило на себѣ человѣческій образъ, но мысль имѣло нечеловѣческую; тутъ воочію повторялся миѳъ сирены, только наоборотъ, т. е. брался человѣческій хвостъ и приставлялась къ нему рыбья голова. Задача величественная и для сатирическаго пера весьма лестная.

Я не бывалъ за границей, но легко могу вообразить себѣ положеніе россіянина, выползшаго изъ своей скорлупы, чтобы себя показать и людей посмотрѣть. Все-то ему ново, всего-то онъ боится, потому что изъ всѣхъ формъ европейской жизни онъ всецѣло воспринялъ только одну—искусство, не обдирая рта, ѣсть артишоки и глотать устрицы, не проглатывая, въ то же время, раковинъ. Всякій иностранецъ кажется ему высшимъ организмомъ, который можетъ и мыслить, и выражать свою мысль; передъ каждымъ онъ ёжится и труситъ, потому что—кто-жъ его знаетъ? а вдругъ не доглядишь за собой и сдѣлаешь невѣсть какое невѣжество! Въ Россіи онъ ѣхалъ на перекладныхъ и колотилъ по зубамъ ямщиковъ; за границей

добрые люди, если бы, къ несчастью, не замѣшался тутъ Сеничка.

Сеничка былъ просто добрый малый, жившій большею частью въ отдаленіи отъ родныхъ и потому нѣсколько отвыкшій отъ этого безшумнаго, обряднаго жизненнаго строя, который царствовалъ въ его семействѣ. Нельзя сказать, чтобъ его не любили домашніе; напротивъ того, на него возлагались даже какія-то честолюбивыя родовыя надежды, такъ какъ онъ одинъ изъ всего семейства состоялъ на государственной службѣ и обѣщалъ когда-нибудь чего-нибудь достигнуть и тѣмъ прославить родъ Горбачевскихъ. Тѣмъ не менѣе обольщеніе было непродолжительно; за Сеничкой, во время побывокъ его въ родномъ домѣ, стали замѣчаться какія-то прорухи, какое-то не то чтобы озлобленіе, но полное равнодушіе къ роднымъ интересамъ.

Но это все бы еще ничего: оказалось, что Сеничка разливаетъ ядъ и дѣйствуетъ посредствомъ его на подростковъ.

Выходитъ изъ института невинная дѣвица, внучка и дочь семейства, и поселяется у родныхъ. Она уважаетъ дѣдушку, боготворитъ бабушку, цѣлуетъ ручки у папеньки и маменьки, бесѣдуетъ и споритъ по вечерамъ съ приходскимъ батюшкой насчетъ того, дѣйствительно ли существовали на свѣтѣ Лазарь богатый и Лазарь бѣдный, или это только такъ, притча? Однимъ словомъ, родные не налюбуются милымъ ребенкомъ и всѣ въ одинъ голосъ кричатъ: что̀ за милое, что̀ за невинное созданіе! Но вотъ пріѣзжаетъ въ побывку Сеничка... Онъ привозитъ съ собой нѣсколько французскихъ романовъ—наша институтка слышитъ это верхнимъ чутьемъ; она украдкой отъ родныхъ бѣгаетъ въ Сеничкину комнату и читаетъ... Сеничка разсказываетъ, на какихъ онъ балахъ въ Петербургѣ бываетъ (онъ бываетъ исключительно у Марцинкевича), какая въ Петербургѣ опера, и въ какія неслыханныя платья облекается г-жа Напталь-Арно, изображая маркизъ. Институтка слушаетъ это сначала однимъ ухомъ, потомъ обоими; потомъ она задумывается, потомъ ей плохо спится ночь... Въ одно прекрасное утро она начинаетъ плакать и не хочетъ диспутировать съ бабушкой; она не называетъ бабушку «божественной» и послѣ обѣда забываетъ поцѣловать руку у папеньки. Мало того: она вдругъ начинаетъ рѣзвиться и бѣгать по комнатѣ; она садится за фортепьяно и не то чтобы играетъ, но какъ-то безпорядочно стучитъ

по клавишамъ; наконецъ она открыто называетъ родныхъ тиранами, желающими заѣсть ея молодые годы.

— Это Сеничкинъ ядъ!—шепчутъ родственники: — это все Сеничкинъ ядъ дѣйствуетъ!

— Помилуйте, маменька! — оправдывается Сеничка: — какой тутъ ядъ! просто-нà-просто Катенькѣ повеселиться хочется! просто-нà-просто молодая кровь въ ней играетъ!

— Нѣтъ, это твой ядъ!—твердятъ хоромъ родственники и спѣшатъ удалить Сеничку.

Пріѣзжаютъ на каникулы дѣти-гимназисты; бабушка осматриваетъ ихъ и говоритъ: «молодцы!»; папенька спрашиваетъ, какія у нихъ отмѣтки, и получаетъ отвѣтъ, что все пять да четыре. Петровъ постъ; дѣти кушаютъ постное, вмѣстѣ съ Катенькою и прочими членами семейства; они дѣлаютъ это даже съ охотою... И вдругъ пріѣзжаетъ Сеничка.

— Дяденька! у насъ постное!—спѣшатъ сообщить ему гимназисты.

— Стану я постное ѣсть!—огрызается Сеничка и объясняетъ, что будетъ ѣсть скоромное.

Декорація мѣняется. На другой день, за обѣдомъ, всѣ ѣдятъ постное, одному Сеничкѣ подаютъ скоромное. Гимназисты ѣдятъ плохо.

— А что̀, друзья, вкусно?—подшучиваетъ Сеничка, видя, какъ они заглядываются на его котлетку.

Родитель гимназистовъ слегка блѣднѣетъ; бабушка строго посматриваетъ на Сеничку. Но дѣло уже сдѣлано; гимназисты плачутъ; Катенька вторитъ имъ; жареный въ постномъ маслѣ картофель такъ и уносятъ обратно нетронутый.

— Это Сеничкинъ ядъ!—шепчутъ родственники: — это все Сеничкинъ ядъ дѣйствуетъ.

— Помилуйте, маменька! — оправдывается Сеничка:— какой тутъ ядъ! просто-нà-просто дѣтямъ ѣсть хочется, потому что они растутъ.

— Нѣтъ, это твой ядъ!—рѣшаетъ семейный ареопагъ и спѣшитъ какъ-нибудь удалить Сеничку.

Всѣ, даже рабы и рабыни, находятся подъ вліяніемъ Сеничкина яда. Кормили ихъ прежде, напримѣръ, кислымъ молокомъ, и они не жаловались, и вдругъ дернула же нелегкая Сеничку спросить у Іонки-подлеца:

— А что̀, братъ, съ кислаго-то молока, чай, животъ подвело?

И вотъ на другой день исторія: кислое молоко рабы въ

помойную яму вылили, и хотя господа все-таки ничего другого не дали, однако оторчились.

— Это все Сеничкинъ ядъ!—шепчутъ родные.

— Да помилуйте, маменька! чѣмъ же я виноватъ, что у васъ люди голодны!—оправдывается Сеничка.

— Нѣтъ, это твой ядъ!—рѣшаетъ семейный ареопагъ и спѣшитъ какъ-нибудь освободиться отъ Сенички.

Подобно этому Сеничкѣ, нигилисты обязаны выносить на себѣ всѣ грѣхи міра сего. Тявкнетъ ли на улицѣ шавка—благонамѣренные кричатъ: «это нигилисты подучили ее»; пойдетъ ли безо времени дождь—благонамѣренные кричатъ: «это нигилисты заговариваютъ стихіи!» Этого мало: лѣтомъ 1862 г., по случаю частыхъ пожаровъ, въ Петербургѣ ходили слухи о поджогахъ—благонамѣренные воспользовались этимъ, чтобъ обвинить нигилистовъ; образовалась какая-то неслыханная потаенная литература—благонамѣренные возопили: «это они! это нигилисты!» Злорадство дошло до той степени безобразія и нелѣпости, что благонамѣренные готовы были, чтобъ у нихъ самихъ поснимали головы, лишь бы имѣть право сказать: «это они! это нигилисты!»

Я совершенно согласенъ, что люди, поджигавшіе Петербургъ, суть нигилисты, но въ такомъ случаѣ какой же резонъ слово «нигилистъ» смѣшивать съ словомъ «мальчишки»? Допустимъ, что слово «нигилистъ» выражаетъ собой совокупность всевозможныхъ позорныхъ понятій, начиная отъ неношенія перчатокъ и кончая отрицаніемъ кокоревскаго либерализма—чѣмъ же тутъ виноваты мальчишки? Посредствомъ какого адскаго сцѣпленія идей приплетаются они къ нигилизму? Умышленно ли это дѣлается, или неумышленно?

Прежде всего, примемъ въ соображеніе, что слово «мальчишки» имѣетъ смыслъ нарочито презрительный. И дѣйствительно, сила заключается не въ словѣ, а въ томъ понятіи, которое оно выражаетъ; «мальчишки» же выражаютъ собой еще болѣе, нежели «нигилисты». Нигилистомъ можетъ быть человѣкъ всякаго возраста; такъ, напримѣръ, Аркаша Кирсановъ покидаетъ ремесло нигилиста тотчасъ же, какъ только собственнымъ умомъ доходитъ до убѣжденія, что никакіе нигилизмы на свѣтѣ не стоятъ ничего передъ тѣми положительными утѣхами, которыя можетъ доставить ему соединеніе съ милой Катей (сестра г-жи Одинцовой). Стало-быть, по этой теоріи ничто не мѣшаетъ быть

нигилистомъ Н. Ф. Павлову, хотя, быть-можетъ, у него отъ преклонности ни одного волоса на головѣ нѣтъ, и благонамѣреннымъ—г. Чичерину, хотя онъ еще очень молодой человѣкъ. Напротивъ того, слово «мальчишки», такъ сказать, подрываетъ будущее Россіи, ибо обращается преимущественно къ молодому поколѣнію, на которомъ, какъ извѣстно, покоятся всѣ надежды любезнаго отечества. Подъ этимъ словомъ подразумѣвается все, что не перестало еще расти; М. Н. Катковъ взираетъ на П. М. Леонтьева и говоритъ: «вотъ мѣра человѣческаго роста!» и затѣмъ всякій индивидуумъ, который имѣлъ несчастіе родиться двумя минутами позднѣе г. Леонтьева, поступаетъ въ разрядъ мальчишекъ. Не хитро, но зато просто и удобно.

Таковы физическія условія мальчишества; въ чемъ же должны заключаться условія нравственныя? Очевидно, въ томъ же, въ чемъ и нравственныя условія нигилистовъ, то-есть въ отсутствіи всякихъ нравственныхъ условій. Мальчишки не вѣрятъ въ науку, ибо не читаютъ статей г. Молинари; мальчишки не вѣрятъ въ искусство жить на свѣтѣ, ибо не читаютъ статей г. Юркевича; мальчишки—это, по счастливому выраженію «Времени», «пустые и безмозглые крикуны, портящіе все, до чего они дотронутся, марающіе иную чистую, честную идею уже однимъ тѣмъ, что они въ ней участвуютъ; мальчишки—это свистуны, свистящіе изъ хлѣба и только для того, чтобы свистать, выѣзжающіе верхомъ на чужой, украденной фразѣ, какъ верхомъ на палочкѣ, и подхлестывающіе себя маленькимъ кнутикомъ рутиннаго либерализма...»

Однимъ словомъ, мальчишество есть нѣчто въ родѣ грѣха первороднаго; мальчишка уже тѣмъ виноватъ, что онъ мальчишка; мальчишка фаталистически обреченъ на нигилизмъ.

Онъ не можетъ ни серьезно мыслить, ни серьезно думать — потому что онъ мальчишка; онъ не смѣетъ ни о чемъ имѣть своего сужденія — потому что онъ мальчишка; его мысль, его тѣлодвиженія, все его существо, однимъ словомъ, необходимо должны заключать въ себѣ нѣчто озорное, имѣющее особый пасквильный смыслъ — потому что онъ мальчишка. «Угодно вамъ папиросу?» спрашиваетъ мальчишка у благонамѣреннаго, и благонамѣренный фыркаетъ и злится, потому что думаетъ: «га! это онъ неспросту мнѣ папироску предлагаетъ! онъ хочетъ этимъ показать, что я до такой степени ослабъ, что даже папироску выкурить не въ состояніи!» Каждое слово мальчишки под-

вергается толкованію самому инквизиторскому, въ каждомъ его дѣйствіи видится поползновеніе протанцовать карбонарскій канканъ.

Ожесточеніе благонамѣренной прессы, а за нею и благонамѣренной части общества доходитъ до того, что если мальчишка умираетъ, то никому не придетъ въ голову сказать: вотъ погибаетъ человѣкъ жертвою... ну, положимъ, хоть заблужденій! но всякъ говоритъ: «вотъ погибаетъ мальчишка», т.-е. негодяй, т.-е. нигилистъ, т.-е. человѣкъ, не различавшій своего отъ чужого! Откуда это проклятое «то-есть»? Отчего если оно не всегда выражается, то всегда подразумѣвается? А просто оттого, что дѣло идетъ о «мальчишкахъ»—и все тутъ!

Мальчишество—это преступленіе, за которое уличенный въ немъ лишается даже права апеллировать. Благонамѣренный не станетъ и разговаривать съ мальчишкой; «это мальчишка!»—скажетъ онъ и самодовольно пройдетъ себѣ мимо...

Да, горько родиться «мальчишкой», но какъ же, съ другой стороны, и не родиться-то имъ?

Всякій мужчина, какъ бы онъ рослъ ни былъ, имѣлъ свой періодъ мальчишества, только не всякій это помнитъ. Иной думаетъ, что онъ такъ-таки и вышелъ изъ головы Юпитера, какъ Минерва, во всеоружіи; иной забылъ, что онъ не далѣе, какъ въ 1861 году, былъ еще мальчишкой; иной и не забылъ, и даже не скрываетъ, что не забылъ: «ну, да, говоритъ, я былъ мальчишкой, покуда не коснулась меня благодать благонамѣренности... что̀-жъ изъ того? а если меня опять коснется благодать мальчишества, я опять буду мальчишкой... что̀-жъ изъ того?» Такимъ образомъ одни дѣйствуютъ по безпамятству, другіе—потому, что дѣло это торговое и завсегда въ нашихъ рукахъ состоитъ.

Къ послѣднему разряду дѣятелей я не обращаюсь; я знаю, что они еще не разъ въ своей жизни будутъ и мальчишками, и благонамѣренными, смотря по тому, гдѣ больше поживишки. Это паразиты, которые обращаютъ вниманіе исключительно на то, чье тѣло представляется болѣе пухлымъ и лоснящимся, чтобъ угнѣздиться именно тамъ, гдѣ болѣе обезпечено ѣды. Я обращаюсь къ людямъ просто забывчивымъ и спрашиваю: неужели вы въ самомъ дѣлѣ забыли? неужели вы дошли до состоянія опрѣсноковъ безъ всякихъ тревогъ, безъ всякой борьбы? неужели вы не ме-

тались и не кипѣли? неужели вы сошли на путь благонамѣренности такъ же случайно и безразлично, какъ заходятъ современные франты въ тотъ или другой танцклассъ? Нѣтъ, это невѣроятно. Это невѣроятно, потому что нѣтъ того человѣка, котораго заплѣсневѣлая душа не умилилась бы передъ воспоминаніемъ о давнопрошедшихъ, сладкихъ дняхъ молодости; нѣтъ того дряхлаго, тупого старика, котораго голова не затряслась бы сочувственно, котораго морщины не освѣтились бы лучомъ радости, когда на него хоть на мгновенье, хоть случайно пахнётъ свѣжимъ ароматомъ навсегда утраченной весны жизни. Ибо каково бы ни было содержаніе молодости (положимъ, что оно было безпутно, съ вашей *нынѣшней* точки зрѣнія), все же она говоритъ о силѣ, говоритъ о надеждахъ, о жаждѣ подвига, говоритъ о той книгѣ жизни, которая когда-то читалась легко и которая туго и тупо дается осторожно-каплуньему пониманію старчества.

Да не подумаетъ однако-жъ читатель, что я взываю о сожалѣніи къ мальчишкамъ, что я для того обращаюсь къ памяти благонамѣренныхъ, чтобы сказать имъ: и вы были молоды, и вы заблуждались, такъ имѣйте же снисхожденіе къ молодости и заблужденіямъ другихъ! Нѣтъ, я просто становлюсь на историческую почву и говорю благонамѣреннымъ: вспомните то время, когда вы были мальчишками, и поищите въ своей памяти, не было ли и тогда «благонамѣренныхъ»? Думаю, что этого вопроса достаточно, чтобы заставить ихъ покраснѣть.

Нѣтъ, я не прошу для мальчишекъ ни сожалѣнія, ни даже снисхожденія. Я нахожу, что мальчишество—сила, а сословіе мальчишекъ—очень почтенное сословіе. Самая остервенѣлость вражды противъ нихъ свидѣтельствуетъ, что къ мальчишкамъ слѣдуетъ относиться серьезно, и что слова: «мальчишки!», «нигилисты!», которыми благонамѣренные люди вѣнчаютъ всѣ свои диспуты по поводу почтительно дѣлаемыхъ мальчишками представленій и домогательствъ, въ сущности изображаютъ не что иное, какъ худо-скрытую досаду, нѣчто въ родѣ плача Адама объ утраченномъ раѣ.

Въ чемъ же собственно дѣло? Гдѣ побудительная причина тѣхъ ожесточенныхъ походовъ, которые поднимаются «благонамѣренными» противъ «мальчишекъ»? Какія наконецъ права «мальчишекъ» на общее вниманіе?

Отвѣтъ на эти вопросы не такъ затруднителенъ, какъ это кажется съ перваго взгляда. Нельзя не сознаться, что

общій уровень жизни измѣняется; многое, съ чѣмъ мы сжились, оказывается несостоятельнымъ; чувствуется тяжесть какая-то; видится и сознается, что нѣтъ существа живого, которое могло бы сказать, что ему живется хорошо. Мы, благонамѣренные, также это чувствуемъ и въ то же время не можемъ ничего выдумать къ облегченію нашихъ собственныхъ болей!

И вотъ, въ то самое время, когда мы вздыхаемъ и недоумѣваемъ, гдѣ-то вдали, въ какомъ-то непризнанномъ захолустьѣ зарождается нѣчто новое; міазмы мало-по-малу разрѣжаются, жизнь становится и привѣтливѣе, и свѣтлѣе. Откуда этотъ успѣхъ?

Увы! Какъ ни малъ успѣхъ, но источникъ его все-таки не столько въ насъ, благонамѣренныхъ, сколько въ мальчишествѣ, въ той освѣжающей силѣ, которую оно представляетъ. Изъ того, что практическое осуществленіе новыхъ жизненныхъ формъ большею частью зависитъ отъ насъ, благонамѣренныхъ, и производится нами, вовсе не слѣдуетъ, чтобы отъ насъ же исходила и иниціатива ихъ...

. . . . . .

Итакъ, если мы видимъ, что жизнь сдѣлала шагъ впередъ, если мы самихъ себя сознаемъ лучше и чище...

Мы клянемъ мальчишество, мы презираемъ его и въ то же время, неслышно для насъ самихъ, признаемъ его силу и подаемъ ему руку. Не будь мальчишества, не держи оно общество въ постоянной тревогѣ новыхъ запросовъ и требованій, общество замерло бы и уподобилось бы заброшенному полю, которое можетъ производить только репейникъ и куколь.

Я могъ бы привести тысячи примѣровъ изъ практики въ доказательство справедливости моего положенія, и если не дѣлаю этого, то единственно изъ опасенія, чтобъ изъ того не вышло какой-нибудь нелитературной полемики. Дозволю себѣ одинъ казенный вопросъ: давно ли называлось мальчишествомъ, карбонарствомъ, волтерьянствомъ все то добро, которое нынѣ воочію совершается? И нельзя ли отсюда придти къ заключенію, что и то, что̀ нынѣ называется мальчишествомъ, нигилизмомъ и другими, болѣе или менѣе поносительными, именами будетъ *когда-нибудь* называться добромъ?

VI.—Русскіе «гулящіе люди» за границей.

Сомнѣваюсь, чтобъ сатирическое перо могло сыскать для себя сюжетъ болѣе благодарный и болѣе неистощимый, какъ «Русскіе за границей». Тутъ все даетъ пищу и, съ какими бы намѣреніями вы ни приступили къ этому предмету, все будетъ хорошо. Не говоря уже о томъ энергическомъ, безпощадномъ остроуміи, которымъ обладали великіе юмористы, подобные Гоголю,—остроуміи, относящемся къ предмету во имя цѣлаго строя понятій и представленій, противоположныхъ описываемымъ, даже такой незлобивый, невинный старикъ, какимъ былъ, напримѣръ, Загоскинъ— и тотъ находилъ возможность относиться къ этому богатому сюжету если не глубоко, то, по крайней мѣрѣ, искренно и весело. Говорятъ, будто Гоголь имѣлъ намѣреніе изобразить впечатлѣнія русскаго воина старыхъ временъ, путешествующаго за границей. Дѣйствительно, трудно себѣ представить что-нибудь соблазнительнѣе, грандіознѣе подобной темы! Тутъ было цѣлое стройное міросозерцаніе, хотя не имѣвшее съ внутренней стороны строго-человѣческаго характера, но наружными своими признаками не дозволявшее сомнѣваться, что обладатель его принадлежитъ къ человѣческой семьѣ; однимъ словомъ, тутъ было нѣчто такое, что̀ носило на себѣ человѣческій образъ, но мысль имѣло нечеловѣческую; тутъ воочію повторялся миѳъ сирены, только наоборотъ, т. е. брался человѣческій хвостъ и приставлялась къ нему рыбья голова. Задача величественная и для сатирическаго пера весьма лестная.

Я не бывалъ за границей, но легко могу вообразить себѣ положеніе россіянина, выползшаго изъ своей скорлупы, чтобы себя показать и людей посмотрѣть. Все-то ему ново, всего-то онъ боится, потому что изъ всѣхъ формъ европейской жизни онъ всецѣло воспринялъ только одну—искусство, не обдирая рта, ѣсть артишоки и глотать устрицы, не проглатывая, въ то же время, раковинъ. Всякій иностранецъ кажется ему высшимъ организмомъ, который можетъ и мыслить, и выражать свою мысль; передъ каждымъ онъ ёжится и труситъ, потому что—кто-жъ его знаетъ? а вдругъ не доглядишь за собой и сдѣлаешь нѐвѣсть какое невѣжество! Въ Россіи онъ ѣхалъ на перекладныхъ и колотилъ по зубамъ ямщиковъ; за границей

онъ пересѣлъ въ вагонъ и не знаетъ, какъ и передъ кѣмъ излить свою благодарную душу. Онъ заигрываетъ съ кондукторомъ и стремится поцѣловать его въ плечико (потому что вѣдь, извѣстно, у насъ нѣтъ средины: либо въ рыло, либо ручку пожалуйте!); онъ заговариваетъ со своимъ vis-à-vis и все-то удивляется, все-то удивляется, все-то ахаетъ! «Я россіянинъ, слѣдовательно я дуракъ, слѣдовательно отъ меня пахнетъ», говоритъ вся его съежившаяся фигура.

— Vous êtes russe, monsieur?—спрашиваютъ его.

— Oui-съ; да-съ!—бормочетъ сконфуженный россіянинъ.— Ne désirez-vous pas du champagne?

И радъ-радехонекъ, если предложеніе его принято, ибо тутъ представляется ему случай предпринять цѣлый рядъ растлѣнныхъ разсказовъ о томъ, что Россія—страна антропофаговъ, что въ Россіи нельзя жить, что въ Россіи не имѣется образованнаго общества, и проч., и проч. И откуда что̀ полѣзетъ! откуда явятся и юморъ, и игривость, и развязныя манеры! Да назовите самаго заклятаго врага, посулите ему какую-угодно награду за то, чтобъ изобразить гнусность,—никто, ей-Богу, никто не устроитъ этого такъ живо и осязательно, какъ путешествующій ради бездѣльничества россіянинъ. Эти господа изъ ерничества умѣютъ создавать художественную картину; они прилгутъ, прихвастнутъ даже, лишь бы краски ложились погуще, лишь бы никто и сомнѣваться не смѣлъ, что они дѣйствительно гнусны и растлѣнны. Послушать ихъ, такъ всѣ они сплошь курицыны дѣти, что на этомъ зиждятся ихъ политическіе принципы, и что это же служитъ краеугольнымъ камнемъ ихъ союза свойственнаго и гражданскаго.

«Я курицынъ сынъ—куда же мнѣ съ этакой рожей въ люди лѣзть!»—резонно размышляетъ вояжеръ-россіянинъ и, въ силу этого разсужденія, извиняется, лѣзетъ цѣловаться и потчуетъ шампанскимъ.

Многіе объясняютъ это явленіе отчасти легкостью и общительностью славянской природы, отчасти живою потребностью самооплеванія, которая будто бы составляетъ основную черту россіянъ; но я, съ своей стороны, думаю, что, помимо двухъ этихъ признаковъ, имѣется еще и другая, болѣе глубокая причина, заставляющая нашихъ путешествующихъ соотечественниковъ пребывать, такъ-сказать, въ непрерывномъ стыдѣ. Я согласенъ, что общительность *есть въ* своемъ родѣ похвальное качество, но не въ си-

лахъ себѣ представить, чтобъ она могла возвышаться до перенесенія побоевъ и пощечинъ, потому что тутъ даже и общительности-то никакой нѣтъ. Я согласенъ также, что и потребность самоплеванія есть очень живая и притомъ законная потребность, но не въ состояніи вообразить себѣ, чтобъ она могла доходить до наслажденія своимъ безобразіемъ и до привлеченія къ таковому же наслажденію лицъ совершенно постороннихъ. Не вѣрнѣе ли видѣть въ этомъ явленіи нѣкоторый протестующій пискъ, нѣкоторую самолюбивую, но застѣнчивую мысль, что «я-то, дескать, парень лихой, а вотъ соотечественники-то мои—куда плохой народъ!» Но объ этомъ я поговорю впослѣдствіи, а теперь разскажу тѣ факты, которые навели меня на изложенныя выше размышленія.

Меня навело на нихъ письмо г. Касьянова, напечатанное въ 16 № «Дня» и разсказывающее нѣсколько весьма характеристическихъ чертъ о способахъ времяпрепровожденія русскихъ *гулящихъ людей* за границей. Представьте себѣ, оказывается, что эти ребята ѣздятъ за границу совсѣмъ не за тѣмъ, чтобы людей посмотрѣть и ума-разума набраться, а за тѣмъ единственно, чтобъ стыдиться самихъ себя и своего отечества! Даже нѣмецъ, даже какой-нибудь гессенъ-филиппсталь-баркфельдецъ, говоритъ г. Касьяновъ, и тотъ скажетъ вамъ съ гордостью, ткнувъ себя пальцемъ въ грудь: hier pocht ein hessen-philippstahl-barkfeldsches Herz, а русскій *гулящій человѣкъ* не только не говоритъ этого, не только не тыкаетъ себя въ грудь, но даже не чувствуетъ въ этомъ ни малѣйшей потребности, ибо, повидимому, увѣренъ, что тамъ, въ этой груди, у него заключается не сердце, а что-то въ родѣ голубиной погадки. Скромность мрачная и даже не имѣющая въ себѣ ничего отрезвительнаго; но если подобная скромная увѣренность уже есть, если она однажды уже засѣла, то я не вижу ничего удивительнаго въ томъ, что *гулящій человѣкъ* не тыкаетъ себя пальцемъ въ грудь: во-первыхъ, незачѣмъ; во-вторыхъ, замараешь палецъ...

И представьте себѣ, за такую-то скромность *гулящіе люди* не только-что наградъ не получаютъ, а, напротивъ того, довольствуются оплеухами и подзатыльниками! И гдѣ же? въ столицѣ всемірнаго просвѣщенія, въ томъ самомъ Парижѣ, который русскіе *гулящіе люди* до сихъ поръ совершенно наивно принимали за второе и даже чуть ли не за первое свое отечество, ибо Россія... что̀ такое Россія?—

это не что иное, какъ несносная и прискорбная оболочка, горькимъ насильствомъ судебъ накинутая на просвѣщеннаго *гулящаго человѣка* тогда какъ Парижъ... Парижъ!

Русскихъ обвиняютъ въ космополитизмѣ; по крайней мѣрѣ, наши публицисты уже нѣсколько лѣтъ сряду убиваются, доказывая, какъ это вредно и какъ стыдно, но убиваются, какъ кажется, съ успѣхомъ довольно сомнительнымъ. Я не беру на себя права судить, въ какой степени справедливо это мнѣніе относительно большинства русскихъ,—я думаю даже, что оно совершенно голословно и безосновательно, однако относительно *гулящихъ* русскихъ людей въ немъ есть извѣстная доля правды. То-есть, не то чтобы люди эти были космополитами въ серьезномъ значеніи этого слова; гораздо будетъ правильнѣе, если мы скажемъ, что глаза у нихъ прожорливые и завистливые: гдѣ бы ни увидали хорошую ѣду или по части юбокъ угодья привольныя, такъ туда сейчасъ и прильнутъ. Прильнутъ туда такимъ образомъ, что никакъ ихъ оттоль и не отскоблишь: ни физическими репримандами, ни нравственными подзатыльниками. Это космополитизмъ желудочно-половой, имѣющій въ предметѣ кровавый ростбифъ Шеве, Вефура и всѣхъ странъ лоретокъ, и совершенно чуждый какого-либо политическаго оттѣнка. То-есть, коли хотите, онъ и есть, этотъ политическій оттѣнокъ, но исключительно направленный въ одну сторону: въ сторону цѣлованія плечиковъ. Былъ во Франціи Карлъ X,—русскій гулящій человѣкъ называлъ его королемъ-рыцаремъ и боготворилъ; былъ король Людовикъ-Филиппъ—гулящій человѣкъ называлъ его образцомъ семейныхъ добродѣтелей и боготворилъ; наконецъ теперь есть императоръ Наполеонъ III — гулящій человѣкъ называлъ его великимъ племянникомъ и боготворитъ. Тутъ идетъ рѣчь совсѣмъ не о политикѣ, а о томъ, чтобы около кого-нибудь потереться. Говорятъ, многіе изъ *гулящихъ* людей, цѣною неимовѣрныхъ усилій, проникали даже до Гарибальди, и я тому совсѣмъ не удивляюсь. Тутъ вся штука въ томъ, чтобы около кого-нибудь потереться—это ужъ такое особенное удовольствіе.

И послѣ такихъ-то сверхъестественныхъ доказательствъ сочувствія къ великимъ принципамъ цивилизаціи, вдругъ потерпѣть пораженіе самое постыдное, и потерпѣть его даже не въ Парижѣ, а въ самомъ Баль-Мабилѣ, этомъ *третьемъ* и едва ли не самомъ любезномъ отечествѣ рус-

скаго *гулящаго человѣка!* Вотъ что пишетъ объ этомъ предметѣ корреспондентъ газеты «День», г. Касьяновъ:

«Баль-Мабиль очень сочувствуетъ полякамъ—очень: всѣ гризетки преклоняются предъ общественнымъ мнѣніемъ, вся канканирующая и неканканирующая публика повторяетъ, какъ истину, о которой уже не спорятъ, что Франція, toujours si libérale, si généreuse, должна помочь «народному мученику» и освободить его отъ *варваровъ*... Варвары! Чего ни дѣлали мы, чтобъ попасть въ другой чинъ, сколько поклоновъ и милліоновъ потрачено, чтобы заслужить повышенія въ европейцы, чтобы *своими* сочла насъ Европа,—ничто не беретъ! Чуть что задѣнетъ ее за живое, все старое выплыветъ вновь, и опять «казакъ», «кнутъ», «варваръ» на языкѣ у каждаго француза, отъ пляшущаго на балахъ въ Тюильери до пляшущаго въ Баль-Мабилѣ. Недавно, говорятъ, на балѣ въ этомъ знаменитомъ заведеніи, толпа окружила одного господина, который почему-то подалъ ей поводъ думать, что онъ русскій. «Вонъ его, вонъ!» заревѣла публика: «мы не хотимъ видѣть русскихъ! пусть убирается онъ къ своимъ казакамъ, на родные снѣга!» и пр. и пр. Господину этому грозила серьезная опасность: шляпу съ него сбили, пинки посыпались въ него со всѣхъ сторонъ. «Я не русскій, я не русскій!» завопилъ онъ жалостнымъ голосомъ... «Не русскій, такъ кричите: да здравствуетъ Польша!» Господинъ прокричалъ, но какъ-то нерѣшительно. «Громче, громче!» повелѣла толпа. Господинъ повиновался. «Кто же вы?» продолжали подозрительно допрашивать его баль-мабильскіе гости. «Я... полякъ»... «Полякъ? Зачѣмъ же вы здѣсь, отчего вы не уѣхали драться съ русскими?»... «Я поѣду, непремѣнно поѣду». — «Вонъ его, вонъ поляка, который пляшетъ въ Парижѣ въ то время, какъ въ Польшѣ дерутся, вонъ!...» И господина выгнали.

«Послѣ этого изгнанія русскихъ изъ Баль-Мабиля, постигъ, какъ слышно, русскихъ таковой же остракизмъ и въ Прадо, и въ Шато-де-Флёръ, и въ нѣкоторыхъ театрахъ. Бѣдные! Пришлось-таки страдать за національность, отъ которой всю жизнь отрекались и которой пуще грѣха стыдились!.. Съ мальчишками, съ воспитанниками политехнической школы — не совѣтую теперь встрѣчаться на улицѣ ни одному русскому. И не только въ Парижѣ, даже въ Германіи нѣмцы, какъ картофель на сковородѣ, горячатся и шипятъ «симпатіями» къ Польшѣ; за табль-д'отами

онъ пересѣлъ въ вагонъ и не знаетъ, какъ и передъ кѣмъ излить свою благодарную душу. Онъ заигрываетъ съ кондукторомъ и стремится поцѣловать его въ плечико (потому что вѣдь, извѣстно, у насъ нѣтъ средины: либо въ рыло, либо ручку пожалуйте!); онъ заговариваетъ со своимъ vis-à-vis и все-то удивляется, все-то удивляется, все-то ахаетъ! «Я россіянинъ, слѣдовательно я дуракъ, слѣдовательно отъ меня пахнетъ», говоритъ вся его съежившаяся фигура.

— Vous êtes russe, monsieur?—спрашиваютъ его.

— Oui-съ; да-съ!—бормочетъ сконфуженный россіянинъ.— Ne désirez-vous pas du champagne?

И радъ-радехонекъ, если предложеніе его принято, ибо тутъ представляется ему случай предпринять цѣлый рядъ растлѣнныхъ разсказовъ о томъ, что Россія—страна антропофаговъ, что въ Россіи нельзя жить, что въ Россіи не имѣется образованнаго общества, и проч., и проч. И откуда что̀ полѣзетъ! откуда явятся и юморъ, и игривость, и развязныя манеры! Да назовите самаго заклятаго врага, посулите ему какую-угодно награду за то, чтобъ изобразить гнусность,—никто, ей-Богу, никто не устроитъ этого такъ живо и осязательно, какъ путешествующій ради бездѣльничества россіянинъ. Эти господа изъ ерничества умѣютъ создавать художественную картину; они прилгутъ, прихвастнутъ даже, лишь бы краски ложились погуще, лишь бы никто и сомнѣваться не смѣлъ, что они дѣйствительно гнусны и растлѣнны. Послушать ихъ, такъ всѣ они сплошь курицыны дѣти, что на этомъ зиждятся ихъ политическіе принципы, и что это же служитъ краеугольнымъ камнемъ ихъ союза свойственнаго и гражданскаго.

«Я курицынъ сынъ—куда же мнѣ съ этакой рожей въ люди лѣзть!»—резонно размышляетъ вояжеръ-россіянинъ и, въ силу этого разсужденія, извиняется, лѣзетъ цѣловаться и потчуетъ шампанскимъ.

Многіе объясняютъ это явленіе отчасти легкостью и общительностью славянской природы, отчасти живою потребностью самооплеванія, которая будто бы составляетъ основную черту россіянъ; но я, съ своей стороны, думаю, что, помимо двухъ этихъ признаковъ, имѣется еще и другая, болѣе глубокая причина, заставляющая нашихъ путешествующихъ соотечественниковъ пребывать, такъ-сказать, въ непрерывномъ стыдѣ. Я согласенъ, что общительность есть въ своемъ родѣ похвальное качество, но не въ си-

лахъ себѣ представить, чтобъ она могла возвышаться до перенесенія побоевъ и пощечинъ, потому что тутъ даже и общительности-то никакой нѣтъ. Я согласенъ также, что и потребность самооплеванія есть очень живая и притомъ законная потребность, но не въ состояніи вообразить себѣ, чтобъ она могла доходить до наслажденія своимъ безобразіемъ и до привлеченія къ таковому же наслажденію лицъ совершенно постороннихъ. Не вѣрнѣе ли видѣть въ этомъ явленіи нѣкоторый протестующій пискъ, нѣкоторую самолюбивую, но застѣнчивую мысль, что «я-то, дескать, парень лихой, а вотъ соотечественники-то мои—куда плохой народъ!» Но объ этомъ я поговорю впослѣдствіи, а теперь разскажу тѣ факты, которые навели меня на изложенныя выше размышленія.

Меня навело на нихъ письмо г. Касьянова, напечатанное въ 16 № «Дня» и разсказывающее нѣсколько весьма характеристическихъ чертъ о способахъ времяпрепровожденія русскихъ *гулящихъ людей* за границей. Представьте себѣ, оказывается, что эти ребята ѣздятъ за границу совсѣмъ не за тѣмъ, чтобы людей посмотрѣть и ума-разума набраться, а за тѣмъ единственно, чтобъ стыдиться самихъ себя и своего отечества! Даже нѣмецъ, даже какой-нибудь гессенъ-филиппсталь-баркфельдецъ, говоритъ г. Касьяновъ, и тотъ скажетъ вамъ съ гордостью, ткнувъ себя пальцемъ въ грудь: hier pocht ein hessen-philippstahl-barkfeldsches Herz, а русскій *гулящій человѣкъ* не только не говоритъ этого, не только не тыкаетъ себя въ грудь, но даже не чувствуетъ въ этомъ ни малѣйшей потребности, ибо, повидимому, увѣренъ, что тамъ, въ этой груди, у него заключается не сердце, а что-то въ родѣ голубиной погадки. Скромность мрачная и даже не имѣющая въ себѣ ничего отрезвительнаго; но если подобная скромная увѣренность уже есть, если она однажды уже засѣла, то я не вижу ничего удивительнаго въ томъ, что *гулящій человѣкъ* не тыкаетъ себя пальцемъ въ грудь: во-первыхъ, незачѣмъ; во-вторыхъ, замараешь палецъ...

И представьте себѣ, за такую-то скромность *гулящіе люди* не только-что наградъ не получаютъ, а, напротивъ того, довольствуются оплеухами и подзатыльниками! И гдѣ же? въ столицѣ всемірнаго просвѣщенія, въ томъ самомъ Парижѣ, который русскіе *гулящіе люди* до сихъ поръ совершенно наивно принимали за второе и даже чуть ли не за первое свое отечество, ибо Россія... что̀ такое Россія?—

это не что иное, какъ несносная и прискорбная оболочка, горькимъ насильствомъ судебъ накинутая на просвѣщеннаго *гулящаго человѣка* тогда какъ Парижъ... Парижъ!

Русскихъ обвиняютъ въ космополитизмѣ; по крайней мѣрѣ, наши публицисты уже нѣсколько лѣтъ сряду убиваются, доказывая, какъ это вредно и какъ стыдно, но убиваются, какъ кажется, съ успѣхомъ довольно сомнительнымъ. Я не беру на себя права судить, въ какой степени справедливо это мнѣніе относительно большинства русскихъ,—я думаю даже, что оно совершенно голословно и безосновательно, однако относительно *гулящихъ* русскихъ людей въ немъ есть извѣстная доля правды. То-есть, не то чтобы люди эти были космополитами въ серьезномъ значеніи этого слова; гораздо будетъ правильнѣе, если мы скажемъ, что глаза у нихъ прожорливые и завистливые: гдѣ бы ни увидали хорошую ѣду или по части юбокъ угодья привольныя, такъ туда сейчасъ и прильнутъ. Прильнутъ туда такимъ образомъ, что никакъ ихъ оттоль и не отскоблишь: ни физическими репримандами, ни нравственными подзатыльниками. Это космополитизмъ желудочно-половой, имѣющій въ предметѣ кровавый ростбифъ Шеве, Вефура и всѣхъ странъ лоретокъ, и совершенно чуждый какого-либо политическаго оттѣнка. То-есть, коли хотите, онъ и есть, этотъ политическій оттѣнокъ, но исключительно направленный въ одну сторону: въ сторону цѣлованія плечиковъ. Былъ во Франціи Карлъ X,—русскій гулящій человѣкъ называлъ его королемъ-рыцаремъ и боготворилъ; былъ король Людовикъ-Филиппъ—гулящій человѣкъ называлъ его образцомъ семейныхъ добродѣтелей и боготворилъ; наконецъ теперь есть императоръ Наполеонъ III — гулящій человѣкъ называлъ его великимъ племянникомъ и боготворитъ. Тутъ идетъ рѣчь совсѣмъ не о политикѣ, а о томъ, чтобы около кого-нибудь потереться. Говорятъ, многіе изъ *гулящихъ* людей, цѣною неимовѣрныхъ усилій, проникали даже до Гарибальди, и я тому совсѣмъ не удивляюсь. Тутъ вся штука въ томъ, чтобы около кого-нибудь потереться—это ужъ такое особенное удовольствіе.

И послѣ такихъ-то сверхъестественныхъ доказательствъ сочувствія къ великимъ принципамъ цивилизаціи, вдругъ потерпѣть пораженіе самое постыдное, и потерпѣть его даже не въ Парижѣ, а въ самомъ Баль-Мабилѣ, этомъ третьемъ и едва ли не самомъ любезномъ отечествѣ рус-

скаго *гулящаго человѣка!* Вотъ что пишетъ объ этомъ предметѣ корреспондентъ газеты «День», г. Касьяновъ:

«Баль-Мабиль очень сочувствуетъ полякамъ—очень: всѣ гризетки преклоняются предъ общественнымъ мнѣніемъ, вся канканирующая и неканканирующая публика повторяетъ, какъ истину, о которой уже не спорятъ, что Франція, toujours si libérale, si généreuse, должна помочь «народному мученику» и освободить его отъ *варваровъ*... Варвары! Чего ни дѣлали мы, чтобъ попасть въ другой чинъ, сколько поклоновъ и милліоновъ потрачено, чтобы заслужить повышенія въ европейцы, чтобы *своими* сочла насъ Европа,—ничто не беретъ! Чуть что задѣнетъ ее за живое, все старое выплыветъ вновь, и опять «казакъ», «кнутъ», «варваръ» на языкѣ у каждаго француза, отъ пляшущаго на балахъ въ Тюильери до пляшущаго въ Баль-Мабилѣ. Недавно, говорятъ, на балѣ въ этомъ знаменитомъ заведеніи, толпа окружила одного господина, который почему-то подалъ ей поводъ думать, что онъ русскій. «Вонъ его, вонъ!» заревѣла публика: «мы не хотимъ видѣть русскихъ! пусть убирается онъ къ своимъ казакамъ, на родные снѣга!» и пр. и пр. Господину этому грозила серьезная опасность: шляпу съ него сбили, пинки посыпались въ него со всѣхъ сторонъ. «Я не русскій, я не русскій!» завопилъ онъ жалостнымъ голосомъ... «Не русскій, такъ кричите: да здравствуетъ Польша!» Господинъ прокричалъ, но какъ-то нерѣшительно. «Громче, громче!» повелѣла толпа. Господинъ повиновался. «Кто же вы?» продолжали подозрительно допрашивать его баль-мабильскіе гости. «Я... полякъ»... «Полякъ? Зачѣмъ же вы здѣсь, отчего вы не уѣхали драться съ русскими?»... «Я поѣду, непремѣнно поѣду». — «Вонъ его, вонъ поляка, который пляшетъ въ Парижѣ въ то время, какъ въ Польшѣ дерутся, вонъ!...» И господина выгнали.

«Послѣ этого изгнанія русскихъ изъ Баль-Мабиля, постигъ, какъ слышно, русскихъ таковой же остракизмъ и въ Прадо, и въ Шато-де-Флёръ, и въ нѣкоторыхъ театрахъ. Бѣдные! Пришлось-таки страдать за національность, отъ которой всю жизнь отрекались и которой пуще грѣха стыдились!.. Съ мальчишками, съ воспитанниками политехнической школы — не совѣтую теперь встрѣчаться на улицѣ ни одному русскому. И не только въ Парижѣ, даже въ Германіи нѣмцы, какъ картофель на сковородѣ, горячатся и шипятъ «симпатіями» къ Польшѣ; за табль-д'отами

въ отеляхъ происходятъ иногда очень и очень непріятныя сцены. Разсказываютъ, что въ Дрезденѣ дѣти одного русскаго поселившагося тамъ помѣщика были вываляны въ грязи мальчишками по наущенію какой-то польской патріотки. Однимъ словомъ, дѣло дошло до того, что русскимъ, пребывающимъ за границею и вращающимся не въ самомъ высшемъ кругу, приходится на каждомъ шагу испытывать всевозможныя униженія и оскорбленія. Конечно, русскій человѣкъ на обиду сносливъ, да и брань на вороту не виснетъ—но всему есть предѣлы. Остается или бѣжать домой, въ Россію, или же отрекаться, стократъ отрекаться отъ своей народности—отъ всякой солидарности съ своимъ народомъ и своимъ отечествомъ!»

Г. Касьяновъ изъ всего этого выводитъ довольно меланхолическія заключенія; я же, напротивъ того, болѣе склоненъ выводить заключенія веселыя, потому что положительно-таки не понимаю, какое дѣло Россіи до русскихъ гулящихъ людей. Я представляю себѣ физіономію этого господина, который «жалостливымъ голосомъ вопилъ: я не русскій! я не русскій!»—и въ сердце мое закрадывается змій сомнѣнія: а что, если парень-то солгалъ! ахъ, срамъ какой! И не потому меня такъ ужасаетъ эта идея, чтобы я вообще не одобрялъ лганья—нѣтъ, я, на основаніи многихъ свидѣтельствъ исторіи, очень понимаю, что лганье, употребляемое въ приличномъ количествѣ, придастъ даже рѣчи особенный острый вкусъ,—а потому, что какъ же это человѣкъ до того растерялся, что и солгать-то какъ слѣдуетъ не сумѣлъ! «Я... полякъ...» пропищалъ этотъ странствующій рыцарь, когда за него принялись поплотнѣе, и, конечно, не только не оправдался въ глазахъ канканирующаго міра, но еще болѣе обвинилъ себя. «Ты полякъ... и танцуешь!» воскликнули негодующія гризетки и, само собой разумѣется, принялись за него еще плотнѣе. Сбили съ него шляпу и не забыли наградить пинками: «это за то, что ты варваръ и угнетатель русскій, а вотъ это за то, что ты—танцующій полякъ». Однимъ словомъ, человѣкъ, по милости своей опрометчивости, одновременно получилъ возмездіе за двѣ національности. То-то онъ изумился! А между тѣмъ дѣло могло бы кончиться весьма просто и даже не безвыгодно для него, если бы онъ не лгалъ, а просто-на-просто заявилъ канканирующему міру настоящую истину. Напримѣръ, если бы онъ сказалъ: «messieurs! я не русскій и не полякъ—я просто желудочно-половой кос-

мополитъ»; онъ сказалъ бы сущую правду и въ то же время обезоружилъ бы негодующихъ гризетокъ. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь это все равно, какъ бы онъ сказалъ: господа! вы ошибаетесь, я просто гороховый шутъ! Развѣ есть такая нація? развѣ есть такой народъ, который бы называлъ дѣтей своихъ гороховыми шутами? Увы! даже въ географіи Арсеньева такой націи не замѣчено, а потому никто о ней не знаетъ, никто по поводу ея не тревожится. Не потревожились бы и гризетки. Онѣ потолковали бы между собою, переглянулись бы, да и пошли бы себѣ канканировать, какъ ни въ чемъ не бывало. И бока были бы цѣлы, и отечество осталось бы въ сторонѣ.

Вотъ какъ вредно и невыгодно бываетъ лгать безъ размышленія, лгать, не взвѣсивши предварительно, какія можетъ имѣть для васъ послѣдствія ложь, повидимому, даже самая правдоподобная.

Воображаю я себѣ, какую ужасную ночь долженъ былъ провести этотъ русско-угнетающій-поляко-канканирующій космополитъ! Какъ онъ явился безъ шляпы въ свой отель? Что онъ долженъ былъ отвѣчать на вопросъ строгаго прислужника: «Каинъ! куда ты дѣвалъ свою шляпу?» Упорствовалъ ли онъ въ системѣ лганья, отвѣчалъ ли: «служитель! я потерялъ мою шляпу въ борьбѣ за отечество!» или же предпочелъ быть откровеннымъ: «такъ и такъ, братецъ, солгалъ — и за то пострадалъ!» и при этомъ подарилъ служителю сто франковъ, чтобъ только онъ молчалъ? Есть ли у этого гулящаго человѣка семейство? съ какими глазами явился онъ, безъ шляпы, къ женѣ и дѣтямъ послѣ такого неожиданнаго реприманда? Слегъ ли онъ горячкой въ постель, или на другой день, встрепенувшись какъ ни въ чемъ не бывало, отправился, взамѣнъ Мабиля, въ Шато-де-Флёръ или въ Прадо, и тамъ въ другой разъ получилъ потасовку?

Всѣ эти вопросы невольно толпятся въ моей головѣ, и если я не разрѣшаю ихъ, то вовсе не потому, чтобы они не были интересны съ психологической точки зрѣнія, и не потому, чтобы мнѣ было чего-то совѣстно, а просто потому, что такое разрѣшеніе увлекло бы меня слишкомъ далеко.

Но, независимо отъ изложенныхъ выше поучительныхъ выводовъ, разсказанный г. Касьяновымъ фактъ наводитъ еще и на другія мысли. Признаюсь откровенно, онъ даже оскорбляетъ меня. Я очень хорошо понимаю, что русскіе

гулящіе люди временъ Фонвизина и даже Гоголя имѣли какой-то поводъ стыдиться, млѣть и вообще относиться къ своему отечеству съ обиднымъ равнодушіемъ. У нихъ были на это свои резоны—положимъ, ложно понятые—но все-таки резоны. У нихъ не было гласности, а о самоуправленіи въ то время и понятія никто не имѣлъ. Самая устность была, такъ сказать, въ зародышѣ, по которому нельзя было даже судить, что̀ изъ нея выйдетъ: что-нибудь благопотребное, или же совсѣмъ непотребное. Лишенный всѣхъ этихъ благъ, оставленный на произволъ всѣмъ вѣтрамъ, человѣкъ чувствовалъ себя одинокимъ, оторваннымъ отъ своей родины. Онъ не имѣлъ сочувствія ни къ успѣхамъ, ни къ бѣдствіямъ ея, потому что и тѣ, и другія равно до него не касались. Онъ говорилъ себѣ: развѣ я тутъ при чемъ-нибудь состою? развѣ это *мое* дѣло, что я изъ-за него распинаться долженъ?—и этими размышленіями оправдывалъ себя. Положеніе жалкое, безнравственное, почти невѣроятное, но его можно было объяснить.

Возьмите, напримѣръ, путешествующаго англичанина: онъ вездѣ является гордо и самоувѣренно и вездѣ приноситъ съ собой свой родной типъ, со всѣми его сильными и слабыми сторонами. Вы чувствуете, что эти стороны—его собственныя, и что онъ правильно поступаетъ, не утаивая ихъ. Почему онъ такъ поступаетъ? а потому именно, что знаетъ, во-первыхъ, что типъ этотъ нѣчто выработалъ не только для своей родной страны, но и въ обще-человѣческомъ смыслѣ, и, во-вторыхъ, что онъ самъ лично въ этой общей работѣ совсѣмъ не пятая спица въ колесницѣ, а, напротивъ того, прямо ея участникъ и дѣлатель.

Подобное же явленіе, разумѣется, въ болѣе своеобразной сферѣ, повторяется и у насъ, а именно въ сферѣ мужицкой. Русскій мужикъ точно такъ же является самимъ собою, то-есть простымъ, непринужденнымъ, и точно такъ же не придетъ ему въ голову стыдиться того, что онъ русскій. Почему? А все потому же, что онъ занятъ дѣломъ, что онъ чувствуетъ себя не только не лишнимъ, а совершенно необходимымъ дѣятелемъ въ русской семьѣ.

Одинъ *гулящій* русскій человѣкъ шатается безъ дѣла и потому не можетъ ни къ чему себя пріурочить. Въ отношеніи къ иностранцамъ онъ чувствуетъ, что какъ-будто что-то укралъ; въ отношеніи къ своимъ чувствуетъ, что какъ-будто что-то продалъ. Одиноко и безучастно носится

онъ съ своимъ чревомъ по Европѣ, приводя въ изумленіе своей плотоядностью и веселой похотливостью своихъ нравовъ,..

Повторяю: все это было понятно во времена Фонвизина и даже не лишено смысла во времена Гоголя. Но теперь это просто даже оскорбительно. Теперь у насъ существуетъ гласность, существуетъ земство и судъ; у насъ совершилась, безъ разговоровъ, одна изъ величайшихъ реформъ, какія въ другихъ странахъ никогда безъ разговоровъ не совершались; чего еще надо? Какія можемъ мы принести оправданія? Можемъ ли сказать, что у насъ скучно?—нѣтъ, намъ укажутъ, что въ одномъ Петербургѣ развелось прошлой зимой до 60 танцклассовъ, и что никто не препятствуетъ завести таковые въ Корчевѣ и въ Арзамасѣ! Можемъ ли мы сказать, что стѣснены?—нѣтъ, мы имѣемъ право хоть цѣлый день проводить въ халатѣ! Можемъ ли сказать, что наше возрожденіе дѣло намъ чуждое, что насъ не привлекаютъ и т. д.?—нѣтъ, мы имѣемъ право и бесѣдовать, и даже излагать свои мысли письменно, хотя, конечно, не безъ осторожности.

Да-съ; однако и за всѣмъ тѣмъ, по свидѣтельству г. Касьянова, русскій гулящій человѣкъ продолжаетъ вести себя столь же неодобрительно, какъ бы ничего сего не произошло. Неужели же не проймешь его никакими гласностями, никакими реформами? Неужели никакія возрожденія, никакія усилія не прольютъ живительнаго луча въ его занѣмѣвшее сердце?

Что̀ бы такое сдѣлать, чтобы удовлетворить скучающихъ гулящихъ русскихъ людей — я, просто, недоумѣваю... Реформу, что ли, какую-нибудь новую сочинить, или какую-нибудь изъ старыхъ реформъ уничтожить—право, ужъ и не знаю. Но, принимая въ соображеніе, что здѣсь нужно имѣть въ виду преимущественно элементъ чревно-половой, я полагаю, что самымъ лучшимъ способомъ удовлетворенія представляется ѣда какая-нибудь необыкновенная, или же вотъ, если-бъ всю Россію можно было превратить въ сплошной танцклассъ. Тогда, надо думать, *гулящіе* русскіе люди сидѣли бы дома и не носились бы съ своимъ чревомъ по чужимъ странамъ, а ѣздили бы въ Калязинъ или въ Пошехонье.

Но фактъ этотъ до такой степени замѣчателенъ, что я рѣшительно не могу отстать отъ него, не разъяснивши его до конца. Извѣстно, что съ нѣкотораго времени современ-

ное русское общество распалось на двѣ половины: «отцовъ» и «дѣтей»; поэтому для меня очень любопытно знать, къ которой изъ этихъ двухъ враждующихъ сторонъ принадлежалъ тотъ русскій, который въ Баль-Мабилѣ понесъ наказаніе за грѣхъ двухъ національностей. Къ сожалѣнію, г. Касьяновъ ни слова не говоритъ объ этомъ, но, за всѣмъ тѣмъ, я все-таки надѣюсь, съ помощью нѣкоторыхъ наведеній, возстановить истину въ дѣйствительномъ ея видѣ.

Первый признакъ, который останавливаетъ мое вниманіе,—это мѣсто происшествія, Баль-Мабиль. Кто изъ русскихъ оказываетъ болѣе наклонности посѣщать подобныя увеселительныя собранія? Говоря по совѣсти, таковую наклонность преимущественно оказываютъ «отцы» или же такія «дѣти», которыя, такъ сказать, сдѣлались «отцами» въ самую минуту своего рожденія. Догадку эту я основываю на томъ общеизвѣстномъ фактѣ, что въ «отцахъ» въ особенности и во всѣ времена было развито чувство изящнаго, развито даже въ ущербъ другимъ дѣятелямъ человѣческаго организма. Рядомъ съ этою потребностью изящнаго и какъ бы послѣдствіемъ ея являлась чувствительность сердца, способность воспламеняться при малѣйшемъ намекѣ на существо другого пола. Само собой разумѣется, что такой воспламеняемости весьма много способствовало крѣпостное право, которое давало возможность удовлетворять ей почти безъ всякихъ препятствій. Постоянно питаемая и изощряемая, она наконецъ пріобрѣтала тотъ характеръ устойчивости и чуткости, который дѣлалъ «отцовъ» способными и достойными во всякое время и во всякомъ мѣстѣ. Теперь представьте себѣ такого способнаго человѣка, вдругъ очутившагося внѣ сферы крѣпостного права, гдѣ-нибудь за границей. Какъ долженъ онъ поступить, чтобы и туда перенести весь тотъ комфортъ, которымъ привыкъ наслаждаться у себя дома, гдѣ-нибудь въ сельцѣ Загибѣевкѣ? Краснорѣчіемъ онъ не обладаетъ, убѣждать не умѣетъ, шаркать ножкой не обученъ. Чтобъ выполнить все это, онъ долженъ дѣйствовать посредствомъ денегъ и обращаться съ своими предложеніями туда, гдѣ таковыя принимаются съ охотою. Болѣе злачнаго въ этомъ смыслѣ мѣста, какъ Баль-Мабиль, едва ли найдется что-либо въ цѣломъ мірѣ: это ужъ такой пріютъ, гдѣ изящное добывается во всякое время и безъ всякихъ затрудненій, съ помощью одного презрѣннаго металла. Поэтому-то рус-

скіе «отцы» издревле такъ и любили посѣщать это мѣсто; оно напоминало имъ родную Загибѣевку, съ тѣмъ только различіемъ, что въ Загибѣевкѣ для нихъ достаточно было манія руки, а въ Баль-Мабилѣ они обязаны предъявлять доказательства болѣе уважительныя. Во всякомъ случаѣ, «отцы» доказывали совершенно осязательно, что, съ помощью ли одного манія руки, или съ присовокупленіемъ денегъ, но устроить крѣпостное право, гдѣ бы то ни было, для нихъ ничего не значитъ.

Никакими подобными качествами «дѣти» не обладаютъ: ни сильно развитымъ чувствомъ изящнаго, ни чрезвычайными въ этомъ смыслѣ способностями. Крѣпостное право, котораго благами они не успѣли насладиться, подѣйствовало на нихъ отрицательно, т.-е. возбудило отвращеніе къ началу, питавшему его, въ какихъ бы формахъ оно ни высказывалось. Это народъ не только не посѣщающій танцклассовъ, въ родѣ Мабиля, но вообще мало общительный. Они больше всего любятъ бесѣдовать съ пріятелями и преимущественно бесѣдуютъ объ осуществленіи «невидимаго», или, говоря иначе, о свѣтопреставленіи. Это послѣднее занятіе до такой степени неподозрительно, что даже люди свѣдущіе и опытные, спеціально занимающіеся устраненіемъ подозрительныхъ занятій, и тѣ находятъ, что это ничего, допустить можно! «Лишь бы о текущихъ-то вопросахъ не разсуждали, лишь бы на практическую-то арену не выходили!» говорятъ эти опытные люди и успокоительно вздыхаютъ, видя, какъ кротко выносятъ «дѣти» невзгоды жизни и какъ они убиваются надъ поднятіемъ таинственной завѣсы будущаго. Какъ бы то ни было, составляетъ ли эта скромность достоинство «дѣтей», или ихъ недостатокъ, во всякомъ случаѣ происшествіе, случившееся въ Баль-Мабилѣ, касается не ихъ, потому что ихъ тамъ навѣрное не было.

Второй признакъ, останавливающій мое вниманіе, заключается въ томъ, что неизвѣстный отрекся отъ своей національности. Во-первыхъ, это ложь, къ которой «дѣти», по наивности и сердечной простотѣ, совсѣмъ неспособны; во-вторыхъ, это наконецъ глупость. Увѣрять въ глаза цѣлый канканирующій міръ, что я не я—воля ваша, а это даже не просто ложь, но ложь глупая и притомъ безполезная. «Дѣти» не въ состояніи прибѣгнуть къ ней уже по тому одному, что такая штука совершенно противна очевидности. Отцы, въ этомъ отношеніи, были въ гораздо болѣе выгод-

номъ положеніи; они, отъ рожденія, могли притвориться чѣмъ угодно, во-первыхъ, потому, что никто съ нихъ за это не взыскивалъ, во-вторыхъ, потому, что и власть у нихъ большая была.—Ванька! я шахъ персидскій?—Шахъ персидскій-съ.—Анъ врешь, я турецкій султанъ!—Турецкій султанъ-съ.—И такимъ образомъ они могли воображать себя, чѣмъ хотѣли, и никто имъ на это не возражалъ; мудрено ли, что это обратилось имъ наконецъ въ привычку? Напротивъ того, «дѣти» лишены этого подспорья, потому что его у нихъ нѣтъ, и слѣдовательно поневолѣ обязываются быть тѣмъ, чѣмъ ихъ создали обстоятельства. «Дѣти» не стыдятся своего отечества уже по тому одному, что относятся къ нему раціонально, то-есть принимаютъ его такъ, какъ оно есть, со всѣмъ его хорошимъ и дурнымъ. Какъ то, такъ и другое они и себѣ объясняютъ, и другимъ объяснить могутъ; а извѣстно, что при помощи объясненій все излишнее, напускное—всѣ ореолы, равно какъ и мраки — исчезаетъ само собою, и остается одна истина, которая никогда человѣку противна быть не можетъ. «Дѣти» не скажутъ, что мы, дескать, шапками всѣхъ забросаемъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и не полѣзутъ цѣловать плечико...

Да, это «отцы», это они — тѣ *гулящіе* русскіе люди, которые даже въ Баль-Мабилѣ не умѣютъ канканировать съ достоинствомъ; это тѣ самые, которые всякому кондуктору на желѣзной дорогѣ готовы сказать: «ваше превосходительство»; это тѣ самые, которые потчуютъ шампанскимъ и изъ ёрничества умѣютъ создавать живыя и художественныя картины.

Другой анекдотъ изъ жизни русскихъ *гулящихъ людей* за границей разсказываетъ «Современная Лѣтопись». Дѣло идетъ о двухъ знатныхъ русскихъ дамахъ, которыя до того увлеклись какимъ-то докторомъ сомнамбулизма, уроженцемъ русской Польши, Ольцинскимъ, называвшимъ себя Лондинскимъ, что въ теченіе какихъ-нибудь шести лѣтъ (шесть лѣтъ сряду быть глупымъ!) довѣрили ему сумму, превышающую 2 милліона франковъ. Да не подумаетъ однако-жъ читатель, что такая почтенная цифра была вручена Лондинскому такъ, ради пріятныхъ его манеръ; нѣтъ, русскія дамы руководились при этомъ глубокимъ разсчетомъ: онѣ страстно желали разбогатѣть и потому отдавали свои деньги *вѣрному человѣку*, точно такъ же не задумываясь, какъ во время оно другіе люди, не задумываясь же, за-

тратили бы значительныя суммы на отысканіе философскаго камня!

Желаніе пріумножить капиталы можетъ имѣть и выгодныя, и невыгодныя послѣдствія для лица, которое имъ обуревается. Но для того, чтобъ эти послѣдствія были выгодны, необходимо, прежде всего, въ подробности разсмотрѣть, въ чемъ заключается то предпріятіе, на которое рѣшаешься. Напримѣръ, если-бъ въ настоящее время воскресло знаменитое въ свое время «общество для заводской обработки животныхъ продуктовъ», и если-бъ самъ Василій Александрычъ Кокоревъ завѣрялъ, что это предпріятіе отличное, я никакъ не рѣшился бы рискнуть своимъ капиталомъ, даже въ томъ случаѣ, если-бъ таковой у меня и былъ. Потому, не натуральное это дѣло. Во-первыхъ, завода или совсѣмъ не выстроятъ, или выстроятъ такой, въ которомъ ни дверей, ни оконъ, ни печей, ни трубъ нѣтъ; во-вторыхъ, скота или совсѣмъ не купятъ, или купятъ такой, который не имѣетъ ни жиру, ни мяса, ни костей, ни кожи; въ-третьихъ, наконецъ, если и пустятъ кое-какъ дѣло въ ходъ, то прибыли отъ него пойдутъ на обѣды и на оваціи, а мнѣ, какъ акціонеру, все-таки не попадетъ ничего въ карманъ, да и обѣдать, пожалуй, меня не позовутъ. Зная все это очень твердо и принимая притомъ въ соображеніе, что «милліардъ въ туманѣ» (знаменитая, въ своемъ родѣ, статья г. Кокорева) все-таки еще не «милліардъ въ рукахъ», я всякой сиренѣ, которая бы предприняла улещать меня подобными предположеніями, отвѣчалъ бы кратко, но сильно: vade retro, satanas! Или, говоря другими словами: быть-можетъ, я и дамъ что-нибудь этой сиренѣ на бѣдность, но дальше гривенника и въ этомъ смыслѣ все-таки не пойду.

Знатныя русскія дамы все это забыли и — что больнѣе всего—выказали себя самыми сомнительными патріотками. Если онѣ непремѣнно желали потратить свои два милліона франковъ, если потеря эта составляла для нихъ удовольствіе, то почему онѣ не устроили такого дѣла въ отечествѣ? почему онѣ не отдали своихъ денегъ въ упомянутое мною общество заводской обработки животныхъ продуктовъ, или въ общество водопроводовъ, или въ общество «Кавказъ и Меркурій»? Я совершенно увѣренъ, что общества эти не только приняли бы ихъ вклады съ благодарностью, но тутъ же проглотили бы ихъ такъ, что и слѣда потомъ не сыскать.

Но онѣ предпочли истратить деньги въ столицѣ цивили-

заціи и ввѣрили ихъ Лондинскому, который, какъ славянинъ по происхожденію, поспѣшилъ доказать имъ, что, имѣя съ нимъ дѣло, онѣ поступаютъ точно такъ же, какъ бы находились въ своемъ отечествѣ.

И дѣйствительно, предпріятія, которыми Лондинскому удалось увлечь русскихъ дамъ, имѣютъ характеръ совершенно отечественный. Это серебристосвинцовые рудники на островѣ Сардиніи (Domus nova и Domus di Maria), это несуществующій банкирскій домъ въ улицѣ Ришé (не тѣ же ли общества обработки животныхъ продуктовъ или разработки лѣсовъ?). Надувательство поражаетъ своею легкостью и простотою. Никто ни о чемъ не разспрашиваетъ, никто ни въ чемъ не сомнѣвается. Лондинскій приходитъ къ нѣкоторому проходимцу Леметé и откровенно говоритъ ему: «хочешь получить нѣсколько милліоновъ русскихъ рублей?» Разумѣется, Леметé соглашается, является съ Лондинскимъ, подъ видомъ капиталиста, къ знатнымъ русскимъ дамамъ, получаетъ отъ нихъ нѣсколько милліоновъ рублей, а имъ, взамѣнъ того, объявляетъ, что онѣ имѣютъ честь быть основательницами несуществующаго банкирскаго дома Леметé и Лондинскаго, № 26, *улица Ришe.*

Пришли, понюхали и ушли. Ждутъ русскія знатныя дамы день, ждутъ другой—нѣтъ Лондинскаго, нѣтъ Леметé! Что-жъ, можетъ-быть, они удержаны нездоровьемъ, а можетъ-быть, даже заботами объ интересахъ своихъ кліентокъ? Увы! оказывается нѣчто худшее: оказывается, что и тотъ, и другой—переодѣтые мошенники, что Domus nova—пуфъ, Domus di Maria—заблужденіе, а банкирскій домъ въ улицѣ Ришé—просто милая шутка, имѣющая цѣлью изслѣдовать, до какихъ границъ можетъ простираться простодушіе русскихъ дамъ за границей.

И вотъ въ исправительномъ трибуналѣ департамента Сены разыгрался послѣдній актъ этой драмы. Лондинскій бѣжалъ въ Россію и, къ довершенію всего, пишетъ оттуда успокоительныя письма, удостовѣряющія, что всѣ его кредиторы будутъ удовлетворены. Однако на сей разъ русскія дамы не повѣрили и подали на доктора сомнамбулизма жалобу. Исправительный трибуналъ рѣшилъ: 1) Лондинскаго заключить на 5 лѣтъ въ тюрьму и взыскать съ него пени 3.000 фр. (заочно); 2) Леметé заключить въ тюрьму на 15 мѣсяцевъ и взыскать 500 фр. и 150.000 фр. въ пользу истицъ. О прочихъ дамскихъ претензіяхъ трибуналъ предоставилъ вѣдаться особо.

Вотъ какое происшествіе случилось съ русскими знатными дамами въ столицѣ цивилизованнаго міра. Оказывается, что русскія дамы, настолько гордыя въ своемъ отечествѣ, что считаютъ для себя унизительнымъ сообщество людей средняго рода, за границей оставляютъ свою кичливость и являются болѣе ласковыми. Это и естественно, потому что вѣдь за границей не то, что у насъ; за границей каждый колбасникъ есть урожденный философъ, а каждый парфюмёръ—урожденный политико-экономъ. А куафёры! душки куафёры! эти естественные производители грядущаго русскаго поколѣнія! а этотъ милый французскій жаргонъ, посредствомъ котораго можно всякую пакость такимъ образомъ выразить, что отъ нея повѣетъ совсѣмъ не пакостью, а благоуханіемъ! Согласитесь, что вѣдь нельзя же и не ласкать подобныхъ людей!

Я не знаю, что̀ сказали, прочитавъ этотъ фактъ, учредители бывшихъ воскресныхъ школъ и члены общества распространенія безполезныхъ книгъ; я не знаю, облизнулись ли они, подумали ли: «Эхъ, кабы этакую-то сумму да намъ! какихъ бы мы дѣлъ надѣлали!» Но я знаю навѣрное, что учредители русскихъ «Domus di Maria» именно облизнулись и совсѣмъ не шутя возроптали, что вотъ все иностранцамъ да иностранцамъ, а насъ все-таки мимо да мимо!

VII.—Нашъ «savoir vivre».

«Нынче, мой другъ, народъ не то чтобы простъ, а какъ-то очень ужъ глупъ сталъ. Все самъ себя обманываетъ, самъ себя прельщаетъ, даже словно самъ у себя украсть хочетъ. Назоветъ это вещь другимъ именемъ и думаетъ, что и вещь другая сдѣлалась. Возьми, напримѣръ, хоть то: выдумали теперь какой-то «savoir vivre», а разбери ты его какъ слѣдуетъ, этотъ ихній savoir vivre, — анъ выйдетъ то же мошенничество!» Эти слова принадлежатъ не мнѣ, а бабушкѣ Прасковьѣ Павловнѣ, которая во всемъ околоткѣ извѣстна своею мудростью и откровенностью (однажды она, за эту самую откровенность, чуть-чуть не была водворена въ городъ Варнавинъ). Вообще это женщина, которая придерживается старыхъ порядковъ, а про затѣи современныхъ либераловъ отзывается такъ: «повѣрь, душа моя, что все это одинъ savoir vivre!»

Признаюсь, хотя я далеко не убѣдился въ справедливости сравненія дорогой бабушки, тѣмъ не менѣе для меня несомнѣнно, что на свѣтѣ дѣйствительно существуетъ какой-то «savoir vivre», повидимому, обладающій замѣчательною творческою силою.

Куда ни посмотришь — вездѣ savoir vivre. Тотъ пріобрѣлъ многоэтажный домъ, другой—стянулъ цѣлую желѣзную дорогу, третій — устроилъ свою служебную карьеру, четвертый — отлично женился, пятый — набралъ денегъ и бѣжалъ за границу... И все съ помощью какого-то таинственнаго savoir vivre! Право, даже любопытно становится.

— Разсудите, пожалуйста! — говорилъ мнѣ на-дняхъ одинъ знакомый: — вотъ человѣкъ, который, продавая мнѣ имѣніе, показывалъ чужой лѣсъ за свой собственный! Ну, не подлецъ ли?

— Зачѣмъ же подлецъ? — хладнокровно оправдывался такъ-называемый «подлецъ».—Спрашиваю я васъ: ежели я что̀ имъ показываю, должны ли они моими показами руководствоваться?

Я разсудилъ, взвѣсилъ, разсмотрѣлъ и нашелъ, что, дѣйствительно, тутъ нѣтъ никакой подлости, а есть savoir vivre—и больше ничего.

— Вообразите! — вопіялъ другой мой знакомый: — вотъ человѣкъ, который моимъ именемъ выманилъ у моего кредитора пятьдесятъ тысячъ — и скрылъ! Ну, не мошенникъ ли?

— Зачѣмъ же мошенникъ?—оправдывался обвиняемый:— разсудите сами: ежели я подлинно что̀ у нихъ просилъ, должны ли они были моими просьбами руководствоваться?

Я опять разсудилъ и опять нашелъ, что мошенничества тутъ нѣтъ, а есть довольно крупный savoir vivre—и ничего больше.

— Позвольте!—остановилъ меня третій знакомый:—вотъ вамъ субъектъ: онъ былъ моимъ ходатаемъ по дѣламъ, выигралъ мой процессъ, взыскалъ деньги и прикарманилъ! Ну, не бездѣльникъ ли?

— Зачѣмъ же бездѣльникъ?—оправдывался субъектъ:— разсудите сами: ежели я что̀ для нихъ, по ихъ порученью, дѣлаю, должны ли они за мной смотрѣть или нѣтъ?

И я опять разсудилъ, что тутъ нѣтъ никакого бездѣльничества, а есть savoir vivre—и больше ничего!

И что̀ всего замѣчательнѣе, потерпѣвшія стороны сами очень хорошо понимали, что во всемъ этомъ главную роль

играетъ savoir vivre. Если онѣ жаловались на своихъ обидчиковъ, то въ этихъ жалобахъ слышался матеріальный ущербъ, а отнюдь не нравственная сторона вопроса. «Только отдай ты мнѣ, что̀ у меня укралъ, — звучало въ ихъ голосѣ: — а ужъ я тебѣ и съ своей стороны покажу savoir vivre!» И въ ожиданіи этого они готовы были не только примириться съ своими обидчиками, но и обозвать ихъ голубчиками...

— Ахъ, какой умный! Что̀ за голова! Что̀ за savoir vivre! и вотъ говорятъ, что у насъ нѣтъ смѣлости и предпріимчивости! — случается слышать вездѣ, гдѣ соберется кучка гулящихъ русскихъ людей.

Полюбопытствуйте разспросить, кому слагаются эти похвалы, и вы убѣдитесь, что тутъ навѣрное или стянули желѣзную дорогу, или пустили по-міру десятки и сотни семействъ.

— Вотъ-то дурачина! вотъ-то пентюхъ и оселъ!—опять раздается все въ той же толпѣ гулящихъ русскихъ людей.

И опять полюбопытствуйте! и опять убѣдитесь, что тутъ идетъ рѣчь о какомъ-нибудь наивно-простоватомъ труженикѣ, на которомъ довѣрчивая компанія развязныхъ дармоѣдовъ (поклонниковъ savoir vivre) рѣшилась создать свое благополучіе. И вѣрьте мнѣ, нѣтъ того поноснаго ругательства, нѣтъ того презрительнаго выраженія, которое бы не послали вслѣдъ простаку гулящіе русскіе люди: «фофанъ! соломенная голова! ослиныя уши! курицынъ сынъ!» такъ и стонутъ они своими утробными голосами.

Бабушка! бабушка! ужели же ты и въ самомъ дѣлѣ была права, утверждая, что savoir vivre и мошенничество—одно и то же?

Но я все еще сомнѣваюсь; все еще стараюсь увѣрить себя, что savoir vivre — самъ по себѣ, а мошенничество само по себѣ. Поэтому буду говорить здѣсь только о savoir vivre.

Savoir vivre, какъ и всякая другая творческая сила, переживаетъ въ своемъ развитіи очень много самыхъ разнообразныхъ фазисовъ. Сначала она представляетъ собой явленіе простое и малосодержательное, потомъ все больше и больше усложняется и набирается соковъ; наконецъ лопается, словно пышный кактусъ, и, не опасаясь публичности, предъявляетъ изумленному міру разнообразіе и полноту своего содержанія.

Самая простая и однообразная форма, въ которой проявляется savoir vivre—это тайное присвоеніе платковъ, скрывающихся въ чужихъ карманахъ. На предпріятія подобнаго рода обыкновенно рѣшаются такіе люди, у которыхъ нѣтъ своихъ собственныхъ платковъ, но такъ какъ при этомъ не требуется ни глубины взглядовъ, ни обширности соображеній, то по большей части умѣлыхъ людей этой категоріи называютъ карманными ворами и бьютъ (за то именно бьютъ, что взгляды у нихъ поверхностные и цѣли ограниченныя). Понятно, какая нужна осмотрительность, чтобы проводить savoir vivre въ этой простой и нѣсколько грубой формѣ; но понятно также и то, что, въ виду безпрестанныхъ опасеній, дѣло это само собой не можетъ удержаться на первоначальной своей точкѣ, но будетъ постоянно стремиться расширить и распространить свою арену.

И дѣйствительно, savoir vivre въ скоромъ времени усложняется и входитъ въ послѣдующій фазисъ своего развитія. Утаиваются дома, деревни, капиталы, дороги; устраиваются карьеры и браки; появляются проекты ограбленія въ столь обширныхъ размѣрахъ, что польза ихъ такъ и бьетъ всѣмъ въ глаза. Предпріятія такого рода, конечно, уже гораздо труднѣе, ибо предполагаютъ знаніе человѣческаго сердца и извѣстную смѣлость взгляда. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, они и легче, потому что не сопровождаются заушеніемъ и оплеваніемъ. Они производятся у всѣхъ на виду и при открытыхъ дверяхъ, а потому пріобрѣтаютъ характеръ турнира. Безстрашнѣйшими и безупречнѣйшими рыцарями этого savoir vivre исторія представляетъ намъ бывшихъ откупщиковъ; въ будущемъ мы можемъ усматривать зачатки такого же рыцарства въ блистательно начинающемся желѣзнодорожномъ дѣлѣ. «На то война!» говорятъ пропагандисты этого savoir vivre и съ самою утонченною вѣжливостью преломляютъ копья.

— Какую я, душа моя, дорогу получилъ!—говорилъ мнѣ на-дняхъ одинъ прекрасный молодой человѣкъ, котораго до сихъ поръ я имѣлъ наивность считать пустѣйшимъ малымъ:—объяденіе!

— Что же такое?

— Кромѣ песку и выси поднебесной—ничего!

И затѣмъ онъ началъ мнѣ разъяснять. Милліоны и сотни тысячъ такъ и лились изъ его устъ, словно это совсѣмъ не милліоны и не сотни тысячъ, а какіе-нибудь презрѣнные мѣдяки.

— Ты понимаешь? я взялъ—и сейчасъ въ сторону! и у меня осталось...

Опять посыпались милліоны и тысячи, такъ что мнѣ подъ конецъ сдѣлалось тошно.

— Послушай, другъ мой, а вѣдь я думалъ, что у тебя соломенная голова!—сказалъ я:—ты, пожалуйста, меня извини!

— Извиняю, душа моя, все извиняю!—отвѣчалъ онъ и въ порывѣ счастья (вотъ какъ оно украшаетъ человѣка!) не только извинилъ, но бросился даже цѣловать меня, повторяя:—Пе-ески! пе-ески!

— Но позволь, однако, что̀ скажетъ Катковъ?—остановилъ я его.

— Разрѣшилъ!

Понятно, что такого рода savoir vivre никакъ нельзя сравнивать съ первымъ. Это даже почти не savoir vivre, а, такъ-сказать, законная дань качествамъ ума и сердца. Тутъ нѣтъ ничего... совсѣмъ ничего... Тутъ просто развязность, изобрѣтательность, сноровка, знаніе географіи... и пески.

Но по мѣрѣ того, какъ мы привыкаемъ къ такому savoir vivre, по мѣрѣ того, какъ онъ доставляетъ намъ деньги, комфортъ и всеобщее уваженіе, нашъ умственный горизонтъ расширяется самъ собою и предъявляетъ взору такія перспективы, которыхъ мы прежде не могли даже и предвидѣть. Мы начинаемъ терять способность различать не только между своимъ и чужимъ платками, но даже и между всевозможными платками вообще, кому бы они ни принадлежали и въ чьихъ бы карманахъ ни находились. Всякій платокъ представляется намъ олицетвореніемъ афоризма: res nullius cedit primo occupanti. Не только поступки и дѣйствія наши проникаются ученіемъ о непреложности savoir vivre, но и наши сужденія, наши попытки произвести нравственную оцѣнку такого-то поступка или дѣйствія, весь нашъ умственный и нравственный обиходъ всецѣло подчиняются ему...

Это, конечно, самый счастливый и самый цвѣтущій періодъ savoir vivre; это самая совершенная форма его. Если первая изъ упомянутыхъ выше формъ можетъ быть охарактеризована изреченіемъ: на ворѣ шапка горитъ, вторая—изреченіемъ: не пойманъ—не воръ, то третью всего приличнѣе формулировать такъ: и пойманъ, да не воръ, потому что кому же судить?

Бабушка! бабушка! что̀ ты надѣлала? Съ какою цѣлью ты поселила во внѣ разладъ?

Кто растолкуетъ мнѣ, какое дѣйствительное значеніе заключается въ словѣ «воръ»? Кого долженъ я разумѣть настоящимъ воромъ и кого—просто агентомъ общества savoir vivre? Кому могу я пожать руку, кому обязываюсь плюнуть на оную?

Куда я теперь дѣнусь? Ежели бѣжать въ степи, то вѣдь и онѣ прорѣзаются нынче желѣзными дорогами, а вмѣстѣ съ ними и туда проникаетъ savoir vivre.

Неслыханное зрѣлище представляютъ эти прекрасныя, дѣвственныя русскія степи! Хищный волкъ подходитъ къ робкому барану, но не хватаетъ его за шиворотъ, а, любезно виляя хвостомъ, спрашиваетъ: «позволите ли васъ скушать?» Лисица, забравшись въ курятникъ, не душитъ и не терзаетъ, а ищетъ успокоить всколыхнувшихся куръ и вкрадчивымъ голосомъ вопіетъ: «посмотрите, милыя, какъ я васъ ощиплю!» Эта душегубствующая любезность, это умиротворяющее хищничество проводитъ меня въ трепетъ и ужасъ. Я чувствую, какъ капли пота выступаютъ у меня на лбу, какъ холодѣетъ спина и начинаютъ дрожать ноги...

Тысячи разнородныхъ экземпляровъ человѣка проходятъ мимо меня, и—странное дѣло!—никому-то не стыдно, никто не краснѣетъ!

Всѣ идутъ очень свободно; всѣ разговариваютъ и беззастѣнчиво передаютъ другъ другу свои вчерашнія и сегодняшнія prouesses.

— Слышали, какую штуку Ѳедька удралъ?—говоритъ одинъ.

— Слышали, какой Сережка проектъ ко всеобщему ободранію сочинилъ?—вторитъ другой.

— А! вотъ и онъ! Сережа! Сережа! къ намъ! сюда! Quand on parle du soleil, on en voit les rayons!—сыплется со всѣхъ сторонъ.

Сережа приближается; онъ сытъ, доволенъ и, сверхъ того, чувствуетъ, что его уважаютъ. Его окружаютъ, ему льстятъ, около него лебезятъ. Что̀ же мудренаго—онъ финансистъ!

— Ну, что̀, шалопаи! хотите въ компанію?—благосклонно спрашиваетъ онъ, подавая собесѣдникамъ концы пальцевъ.

— Сережа! голубчикъ! хоть чуточку!—вопіетъ одинъ.

— «Пѣтушкомъ»!—осклабляется другой.

Остальные облизываются.

— Вы однако должны знать, messieurs, что это дѣло серьезное... очень, очень серьезное!—глубокомысленно провозглашаетъ Сережа.

— Ужъ я! ужъ мы! только допусти!

— А помнишь ли ты, соломенная голова, какъ ты у братьевъ наслѣдство укралъ?—внезапно врывается въ бесѣду чей-то фофанскій голосъ, очевидно, обращающійся къ Сережѣ.

— Что̀ касается до этого, то... nous en parlerons plus tard, mon cher! Теперь же могу сказать тебѣ одно: въ наше время жизнь дается только тѣмъ, кто ее съ бою берстъ, а не тѣмъ, кто передъ нею слюни точитъ!—произноситъ Сережа и величественно удаляется, сопровождаемый толпою поклонниковъ.

Это—послѣднее слово современнаго savoir vivre. Умѣть эскамотировать шары, съ утра до вечера рыскать по городу и топтать въ переднихъ ковры—это называется брать жизнь съ бою! сидѣть спокойно дома и чуждаться охватившей всѣхъ жажды стяжанія... стяжанія во что̀ бы то ни стало—это называется точить слюни.

— Совсѣмъ насъ узнать нельзя!—говорилъ кто-то надняхъ въ какомъ-то учено-обѣденномъ обществѣ:—просто, мы не славяне, а англо-саксы какіе-то сдѣлались! такъ и хватаемъ! такъ и хватаемъ.

— Клюемъ отлично!—прибавилъ другой:—только какъ бы не наклеваться на замаскированный крючокъ!

— Съ Божьею помощью, этого не случится!—прервалъ третій, который, повидимому, еще не успѣлъ сбыть свои акціи и котораго воспоминаніе о крючкѣ сильно передернуло.

Однимъ словомъ, восторгъ общій. Ученыя общества надѣются и проводятъ новые залоги преуспѣянія; публицисты плещутъ руками и подаютъ благоразумные совѣты; генералы входятъ въ общеніе съ простыми негоціантами, задаютъ обѣды съ музыкой и говорятъ спичи; присяжные повѣренные предлагаютъ свои услуги.

Никогда не было на Руси такого веселья! Были мы грубы и неотесаны; только и было на языкѣ: мошенники да мошенники! И вдругъ... savoir vivre.

— N'est-ce pas que cela applanit bien des choses?—говорила на-дняхъ одна прекрасная кокетка и говорила сущую правду.

И за всѣмъ тѣмъ, меня тревожатъ два вопроса:

Вопросъ первый. Какимъ образомъ могло случиться, что соломенныя головы вдругъ сдѣлались и экономистами, и финансистами, и чуть-чуть не политиками?

Вопросъ второй. Ежели справедливо, что отъ всѣхъ этихъ затѣй пахнетъ милліонами, то съ какого благодатнаго неба должны свалиться на насъ эти милліоны?

Первый вопросъ разрѣшается очень легко: именно потому-то и имѣютъ успѣхъ соломенныя головы. что онѣ соломенныя.

Нѣтъ ничего проще, какъ устройство соломенной головы. Правда, что она не отличается прочностью, и что чрезъ ея скважины очень скоро стекаетъ всякая мысль, которая въ нее извнѣ вливается; но зато въ нее и попадаетъ всякій соръ гораздо удобнѣе, нежели въ обыкновенную человѣческую голову. Она постоянно раскрыта для каждаго вѣтра, хотя бы даже и зловоннаго, но поэтому-то самому такъ быстро и колеблется всякими дуновеніями. Обыкновенная голова имѣетъ способность задерживать мысли и комбинировать ихъ съ тѣмъ мыслительнымъ капиталомъ, который нажитъ прежде. Напротивъ того, соломенная голова ничего не задерживаетъ и не имѣетъ надобности комбинировать, потому что мысли проходятъ сквозь нее, какъ сквозь пустое рѣшето. Это качество во многомъ ее облегчаетъ: оно дѣлаетъ ее быстро-воспламеняющеюся, оно дозволяетъ ей дѣйствовать, ничѣмъ не стѣсняясь. Не нужно быть ни экономистомъ, ни финансистомъ, ни политикомъ, чтобы скалить зубы на чужой платокъ. Для этого требуются только крѣпкіе инстинкты плотоядности и чревоугодничества, а затѣмъ званія экономистовъ, финансистовъ и политиковъ придутъ сами собою.

Нахальство, нестѣсняемость, развязность и постоянное, неуклонное стремленіе къ куску—вотъ основанія и принципы этой новой экономической науки.

Что̀ такое рубль? откуда онъ выходитъ? какая его родословная?—все это вопросы, совершенно чуждые соломенной головѣ, и я положительно утверждаю, что только при отсутствіи этихъ вопросовъ и можно дѣлать тѣ операціи, которыя она дѣлаетъ.

Соломенная голова разсуждаетъ такъ: рубль—это рубль, и ничего больше. Она думаетъ, что это какая-то заблудшая овца, которая родилась на монетномъ дворѣ или въ мѣ-

няльной лавочкѣ, потомъ шаталась гдѣ-то безъ дѣла и теперь, благодаря ея savoir vivre, лѣзетъ къ ней въ карманъ.

Соломенная голова даже не знаетъ, что̀ будетъ дѣлать эта заблудшая овца у нея въ карманѣ. «Полагать надо,— думаетъ она:—что пошевелится она тамъ малое время безъ призрѣнія, покуда не пристроится опять къ какому-нибудь мѣнялѣ, и опять надо будетъ ее оттуда вытаскивать...»

Что̀ такое «операція»? Что̀ изъ нея выйдетъ? насколько она можетъ подѣйствовать въ томъ или другомъ смыслѣ? и на что подѣйствовать? и эти вопросы точно такъ же чужды соломенной головѣ, и я точно такъ же утверждаю, что только при совершенной свободѣ отъ нихъ можно дѣйствовать наотмашь и не стѣсняясь, то-есть такъ именно, какъ дѣйствуетъ всякая соломенная голова.

— Пе-ески! пе-ески!—радостно восклицалъ мой юный пріятель, о которомъ я повѣствовалъ выше, и разсуждалъ такъ наивно, что даже нѣтъ возможности спросить его: «да чему же ты, дурашка, радуешься? что̀ тебѣ вдругъ такъ весело сдѣлалось?» Нельзя сдѣлать ему этотъ вопросъ уже по тому одному, что онъ и слово «пески» во всемъ его объемѣ постигнуть и объяснить не можетъ.

Многіе думаютъ, что тутъ кроется какая-то тайна. Совсѣмъ никакой тайны нѣтъ, а дѣло самое обыкновенное. Нахальство и стремительность въ достиженіи цѣлей (а слѣдовательно и успѣхъ) столь же свойственны соломеннымъ головамъ, сколько совѣстливость и нѣкоторая нерѣшительность свойственны обыкновеннымъ головамъ человѣческимъ. Это истина, которую подтверждаетъ и исторія. Стоитъ только ничѣмъ не брезгать да вольно ходить, и вдругъ очутишься такимъ финансистомъ, что самъ Молинари руками разведетъ.

Говорятъ, что мы не славяне, а англо-саксы. На чемъ однако основано такое мнѣніе? На томъ ли, что мы очень жадны? на томъ ли, что насъ, при видѣ гривенника, кидаетъ въ ознобъ? Но есть нѣкоторое животное, боровомъ называемое, которое и того жаднѣе, но которое, за всѣмъ тѣмъ, никому и въ голову не приходило называть англо-саксомъ! Стало-быть, это вздоръ, а правда—вотъ она: всѣ мы бахвалы-лежебоки, которымъ легкій трудъ очень нравится. И ничего болѣе.

Изъ всего изложеннаго видно, что многіе вопросы, ко-

торые на первый взглядъ кажутся очень трудными, въ сущности разрѣшаются самымъ свободнымъ образомъ. Итакъ, не завидуй, читатель, успѣху соломенныхъ головъ и будь доволенъ тѣмъ, что у тебя на плечахъ голова обыкновенная! Suum cuique: имъ—рубль и соломенный намётъ на плечахъ; тебѣ—голова и три копейки мѣдныхъ. Чей удѣлъ счастливѣе?

Гораздо труднѣе разрѣшить вопросъ нумера второго, а именно: съ какого благодатнаго неба имѣютъ свалиться на насъ ожидаемые милліоны?

Но такъ какъ вопросъ этотъ дѣйствительно очень труденъ, то я предпочитаю не разрѣшать его. Будемъ думать, что онъ когда-нибудь разрѣшится самъ собою.

Меня всегда удивляло, почему savoir vivre такъ мало развитъ между такъ-называемою меньшею братьею? И что всего замѣчательнѣе — чѣмъ бѣднѣе эта меньшая братія, чѣмъ слабѣе въ ней развиты всякаго рода промышленныя и цивилизующія поползновенія, тѣмъ менѣе оказывается и чувства savoir vivre.

Меньшая братія не знаетъ ни заемныхъ писемъ, ни векселей, ни сохранныхъ расписокъ, ни контрактовъ. Пробовали давать меньшему брату взаймы денегъ безъ всякихъ документовъ—отдаетъ; пробовали заключать съ нимъ самыя, что называется, удовлетворительныя условія безъ малѣйшаго посредства бумаги—исполняетъ. Какъ ни испытывали его savoir vivre, какъ ни старались возбудить его въ немъ—не оказывается, да и все тутъ.

Если меньшій братъ взялъ у васъ денегъ и предвидитъ, что ему нечѣмъ будетъ заплатить въ срокъ, то онъ уже загодя мучится и всею своею фигурою говоритъ: виноватъ! То пройдетъ мимо васъ, потупивъ глаза, то вдругъ взглянетъ на васъ... какъ взглянетъ! Тогда изъ него хоть веревки вей. По первому вашему мановенію, онъ начинаетъ и пахать, и бороновать, и сѣять, и косить, и жать, или, другими словами, дѣйствовать хребтомъ, и дѣйствуетъ имъ до тѣхъ поръ, покуда вы сами наконецъ не скажете: довольно!

— А вѣдь это, братъ, только проценты! долгъ-то, братъ, самъ по себѣ!—инсинуируете вы ласково.

— Ну, само собой! долгъ—это, разумѣется, само собой!—отвѣчаетъ онъ и какъ благодаренъ-то, какъ благодаренъ

онъ вамъ, что позволили ему подѣйствовать мало-мало хребтомъ...

И въ самомъ дѣлѣ, что такое ему хребетъ! онъ дѣйствуетъ имъ такъ свободно и ловко, какъ будто онъ у него не свой, а казенный!

Вотъ къ какимъ прекраснымъ результатамъ можно придти, ежели сойдутся вмѣстѣ: съ одной стороны savoir vivre, а съ другой—недостатокъ въ ономъ.

То ли дѣло — другъ мой, Ѳеденька Козелковъ! Онъ три года долженъ мнѣ нѣкоторую сумму, и всякій разъ, какъ мы встрѣчаемся, не онъ робѣетъ передо мной, а я передъ нимъ. Онъ такъ развязно подходитъ ко мнѣ, такъ любезно спрашиваетъ о моихъ занятіяхъ, что я чувствую себя не только очарованнымъ, но даже боюсь, буквально боюсь, чтобъ онъ какъ-нибудь не проговорился о своемъ ничтожномъ должкѣ!

Мнѣ скажутъ, быть-можетъ, что тѣмъ не менѣе большинство воровъ, грабителей, разбойниковъ и т. д. все-таки выходитъ изъ меньшей братіи, и слѣдовательно... Позвольте, господа! во-первыхъ, можно поручиться заранѣе, что всѣ эти воры, грабители и т. д. болѣе или менѣе уже принадлежатъ къ числу тронутыхъ стремленіемъ къ savoir vivre; во-вторыхъ, возьмите ихъ численное отношеніе къ массѣ меньшей братіи, и вы несомнѣнно увидите, что объ этомъ даже и говорить не стоитъ.

Но чѣмъ больше мужикъ оперяется, тѣмъ настоятельнѣе начинаютъ взывать въ немъ инстинкты savoir vivre. Изъ простого чибиса онъ дѣлается коршуномъ, изъ барана — волкомъ. Правда, что ни орломъ, ни львомъ онъ все-таки никогда не сдѣлается, но вѣдь и мѣсто наше такое... по нашему мѣсту, и волка очень довольно.

Онъ начинаетъ отрицаться, утаивать, отговариваться запамятованіемъ и всѣ эти акты своего savoir vivre сопровождаетъ вздохами. «Ничего я этого не знаю», «никогда я у тебя не бралъ», «и напрасно ты меня этимъ дѣломъ безпокоишь»—вотъ слова, которыя изрекаютъ его уста въ этотъ первый періодъ его превращенія. Потомъ онъ мало-по-малу входитъ въ разсмотрѣніе среды, въ которой живетъ, и, тщательно изучивъ положеніе каждаго изъ ея членовъ, начинаетъ производить свои финансовыя операціи въ болѣе крупныхъ размѣрахъ. Потомъ голову его постепенно начинаетъ угнетать мысль о всеобщемъ ограбленіи; ему становится тѣсно въ деревнѣ; ему надо губернію, дѣ-

губерніи, три губерніи... цѣлую Россію! И вотъ онъ бредетъ откуда-нибудь, изъ родной Заманиловки, бредетъ пѣшкомъ, не спитъ, не ѣстъ, не пьетъ, все думаетъ: какъ бы обдѣлать дѣло въ лучшемъ видѣ! И вдругъ, спустя полгода, вы узнаете, что у насъ въ городѣ народился новый финансистъ.

— Кта такой? кто такой?—спрашиваете вы съ жадностью.

— Представьте... простой мужичокъ! и даже неграмотный!—отвѣчаетъ вамъ одна изъ соломенныхъ головъ, плѣненная проектомъ всеобщаго уязвленія.

— Что-жъ онъ такое сочинилъ?—продолжаете вы ваши вопросы.

— Ну, это покамѣстъ еще тайна!

Оказывается однако-жъ, что мужичокъ-финансистъ, при помощи авоськи да небоськи, ничего не упустилъ изъ вида; что онъ не только поверхность земли, но и самыя ея нѣдра предположилъ устроить и привести въ порядокъ, чтобъ не лежали праздно, а приносили посильный плодъ на пользу и радость любезному отечеству.

Появляются проекты объ эксплоатаціи собачьяго помета, проекты о собраніи на всемъ пространствѣ Россіи рыбьихъ костей, о заселеніи песчаныхъ степей, объ обращеніи безплодныхъ мѣстъ въ плодоносныя...

— Иванъ Иванычъ! голубчикъ! такъ мы, стало-быть, собачій пометъ собирать станемъ?—спрашиваетъ соломенная голова, готовая, въ порывѣ энтузіазма, даже и на этотъ подвигъ.

— На что же-съ! Мы только акціи выпустимъ-съ!—отвѣчаетъ мужичокъ-финансистъ и затѣмъ начинаетъ обстоятельно и толково объяснять сокровенную сущность проекта.

Я отнюдь не говорю и не думаю, чтобы у этого мужичка-финансиста была соломенная голова (я скорѣе готовъ назвать ее булыжниковою), но предоставляю читателю судить о тѣхъ, кто соблазняется проектами, до концепціи которыхъ онъ дошелъ собственнымъ умомъ...

На-дняхъ я читалъ книгу Тено: Paris en Décembre 1851» и убѣдился, что современный savoir vivre ведетъ свое начало изъ переворота 2-го декабря 1851 года. Мало того: эта книга доказала мнѣ, что истинный savoir vivre можетъ быть иногда доведенъ даже до размѣровъ полнаго свободомыслія.

Никто не станетъ отрицать, что Кавеньякъ, Шангарнье Шаррасъ, Тьеръ, Викторъ Гюго и множество другихъ жертвъ декабрьскаго переворота — люди умные и довольно проницательные. Многіе утверждаютъ, что они въ этомъ отношеніи стоятъ даже выше, нежели какіе-нибудь Морни, Сентъ-Арно и Мопà и другіе герои того же закала, которые невѣдомо откуда взялись и расцвѣли въ ночь съ перваго на второе декабря (въ Тьерѣ и Шангарнье нельзя даже отвергать и замѣчательнаго savoir vivre). И вотъ однако-жъ эти внезапные выходцы неизвѣстности, эти простые люди, незнакомые ни съ міромъ, ни съ его ухищреніями, вдругъ, въ теченіе какихъ-нибудь нѣсколькихъ часовъ, становятся выше, опытнѣе и дальновиднѣе тѣхъ, которые въ продолженіе многихъ и многихъ лѣтъ уловляли вселенную! Надо же, чтобъ была какая-нибудь причина, объясняющая столь загадочное явленіе.

По моему мнѣнію, такое извращеніе естественнаго порядка въ дѣлѣ уловленія произошло единственно оттого, что ни Тьеръ, ни Шангарнье, ни Кавеньякъ не умѣли возвыситься до того свободомыслія, до котораго разомъ возвысились простые рыбари, никогда не стѣснявшіеся никакими соображеніями. Кажется, что̀ можетъ быть легче, какъ войти цѣлой ордой въ домъ къ спящему человѣку и пришибить его, а кто же, кромѣ совершенно свободомыслящаго человѣка, рѣшится на такой подвигъ? Что̀ можетъ быть проще насилія, пошлѣе коварства, нахальнѣе необузданности, и между тѣмъ кто, кромѣ субъекта, вполнѣ освободившагося отъ всякихъ нравственныхъ обязательствъ, охотно согласится на такіе поступки, которые повлекутъ за собой для него названіе человѣка коварнаго, нахальнаго и необузданнаго? Всѣ подобнаго рода дѣйствія не требуютъ ни ума, ни особенныхъ способностей; единственное условіе, которому они подчиняются, — это условіе внезапности. Сюрпризы, изготовляемые при помощи savoir vivre, тѣмъ именно и благонадежны, что къ нимъ нельзя приготовиться, и что, слѣдовательно, ни умъ, ни проницательность, ни таланты—ничто не можетъ устоять противъ нихъ, ничто не можетъ ихъ отразить. Это своего рода кирпичи, внезапно сваливающіеся съ крыши и сразу убивающіе человѣка—что̀ противъ нихъ подѣлаешь?

«Сберегайте ваши силы и утомляйте силы обывателей». «По временамъ убивайте, но дѣлайте видъ, что это произошло невзначай». «Обманывайте, обманывайте и обманы-

вайте!» Ничего не можетъ быть проще и даже глупѣе этихъ аксіомъ, но съ тѣхъ поръ, какъ прояснились наши понятія, какія обширныя перспективы открылись передъ нами! Мы нашли средство вывести эти аксіомы изъ той спеціальности, въ которой онѣ первоначально замыкались, и отыскивать для нихъ такія примѣненія, которыя едва ли снились даже изобрѣтателямъ ихъ. Мы переносимъ эти аксіомы во всевозможныя жизненныя сферы, какія доступны нашему пониманію; мы видимъ въ нихъ не только идеалъ практической мудрости, но единственное условіе какихъ бы то ни было успѣховъ. Мы обманываемъ, обманываемъ, обманываемъ...

Съ одной стороны — savoir vivre, съ другой — толпа, до которой имѣетъ дѣло этотъ самый savoir vivre. Какъ ни простъ сей послѣдній, какъ ни ограниченны его цѣли, все-таки онъ знаетъ, чего хочетъ, и слѣдовательно обладаетъ извѣстною дозой рѣшимости. Онъ тогда только и выходитъ, когда уже заранѣе опредѣлитъ и свои собственныя позиціи, и точку, въ которую предстоитъ ему цѣлиться. Совсѣмъ другой видъ представляетъ толпа; какъ ни предполагайте ее проницательною, она уже по тому одному не въ силахъ ничего предпринять, что не знаетъ, откуда и какого рода камень будетъ въ нее брошенъ. Она можетъ выдѣлять изъ себя великихъ и геніальныхъ людей, она можетъ совершать чудеса самопожертвованія и доблести, но противъ неожиданностей и разставляемыхъ ловушекъ ничего сдѣлать не въ состояніи.

На этомъ-то именно и основанъ весь разсчетъ такъ-называемаго savoir vivre, и вотъ этотъ-то именно разсчетъ и поняли въ совершенствѣ такъ-называемыя соломенныя головы.

Когда мы дойдемъ до той степени естественности и простоты взглядовъ, что, встрѣчаясь на улицахъ, будемъ говорить другъ другу:

— Поздравь меня, душенька! я только-что сію минуту у Доминика пирогъ съ прилавка благополучно стащилъ!

— Эка невидаль! А я вчера тридцать тысячъ укралъ— и то никто не примѣтилъ!

Когда, говорю я, мы достигнемъ такого свободомыслія, что перестанемъ отличать свои карманы отъ чужихъ, тогда настанетъ для насъ тотъ блаженный періодъ, въ которомъ нѣтъ ни правыхъ, ни виноватыхъ, ни злыхъ, ни добрыхъ,

ни дурныхъ, ни красивыхъ, а существуютъ одни умѣлые люди.

Я не утверждаю, что мы были очень близки къ этой волшебной цѣли; но достойно замѣчанія, что уже теперь, когда мы находимся еще на половинѣ пути къ ней, истинно умными людьми называются только люди умѣлые. Ихъ однихъ цѣнятъ, одними ими дорожатъ. Все остальное, не подходящее къ этому идеалу, составляетъ собраніе такъ-называемыхъ têtes creuses, о которыхъ не можетъ быть даже помина, когда идетъ рѣчь о развернутомъ фронтѣ разнообразныхъ актовъ нашего savoir vivre.

Мнѣ кажется однако, что мы могли бы имѣть и еще больше успѣха, если-бъ дѣйствовали нѣсколько смѣлѣе и увѣреннѣе. Насъ смущаетъ мысль, что мы все-таки не больше, какъ les cadets de la civilisation, и что настоящихъ образцовъ даже въ такомъ простомъ дѣлѣ дать никому не можемъ. Французское мастерство продолжаетъ застилать намъ глаза и отнимаетъ у нашихъ попытокъ всякую оригинальность. Въ этомъ случаѣ образованность и слишкомъ большая начитанность, по моему мнѣнію, даже вредны. Не будь у насъ этой боязни идеаловъ, этого обожанія чужой цивилизаціи, мы не падали бы въ обморокъ при мысли: что-то скажутъ наши учители?—но устраивали бы свое дѣло собственными средствами, какъ Богъ на душу положитъ... И навѣрное дѣлали бы много, прочно и хорошо.

Укажу, напримѣръ, на слѣдующее простое дѣло: укралъ человѣкъ сумму, или, лучше сказать, не укралъ, а незамѣтнымъ образомъ совершилъ экспропріацію. Фактъ, повидимому, простой и совершенно безобидный—и что-жъ вы однако-жъ думаете? — поднялась какая-то разноголосица, устроился чуть ли не цѣлый турниръ! по поводу такого-то ничего не стоящаго факта! Одни говорятъ (къ счастью еще, что случились люди вполнѣ компетентные!): если укралъ — пускай пользуется! другіе говорятъ: нѣтъ! воровать не позволяется, потому что такимъ манеромъ скоро не будешь знать, цѣлесообразно или нецѣлесообразно выходить на улицу одѣтымъ и имѣть при себѣ платокъ?

— Этакъ, батюшка, куски изо рта вырывать будутъ! — говорили голоса болѣе рѣшительные.

— Такъ вы скорѣе глотайте!—возражали имъ голоса не менѣе рѣшительные.

Я понимаю, что въ вопросѣ столь великой важности

подобный разладъ совершенно умѣстенъ; тѣмъ не менѣе онъ все-таки настолько прискорбенъ, что служитъ почти единственною помѣхою для нашего поступанія впередъ. Если-бъ мы были на этотъ счетъ согласны, если-бъ мы одинъ разъ навсегда сказали другъ другу: прочь сомнѣнія! укравшій—пусть пользуется! оплошавшій—пусть вкушаетъ плоды экспропріаціи! — нельзя даже исчислить, до какихъ геркулесовыхъ столповъ цивилизаціи мы могли бы дойти! Всякій, видя насъ, говорилъ бы: вотъ люди, которые знаютъ, чего хотятъ! вотъ люди, на которыхъ можно положиться, какъ на каменную стѣну! Тогда какъ теперь, видя наши неурядицы, всѣ говорятъ: вотъ слабое, преждевременно отжившее поколѣніе, которое препирается даже насчетъ такихъ общеизвѣстныхъ предметовъ, какъ экспропріація!

Нѣтъ; какъ ни несомнѣнно мое уваженіе къ старой бабушкѣ, я ни подъ какимъ видомъ не могу согласиться съ нею. Savoir vivre и мошенничество, можетъ-быть, двѣ равно великія, но въ то же время совершенно различныя силы. Большая разница: *вырвать* у ближняго изо рта кусокъ наглымъ образомъ—и *вынуть* тотъ же кусокъ такъ, чтобъ никто не замѣтилъ; насколько первое зазорно, невѣжливо и оскорбительно, настолько второе естественно... почти законно!

Пускай огорченные идеологи ораторствуютъ насчетъ развращенности нравовъ; пускай какой-нибудь обозлившійся мизантропъ провозглашаетъ, что наше время можетъ представить только ядовитые продукты умственнаго и нравственнаго гніенія; скажемъ другъ другу разъ навсегда: это говоритъ зависть, ограниченное скудоуміе—и, затѣмъ, станемъ добре.

На свѣтѣ слишкомъ много простосердечныхъ людей, чтобъ можно было допустить ихъ невозбранно коптить небо. Пожалуй, они закоптятъ его такъ, что намъ, людямъ умѣлымъ, нельзя будетъ прямо взглянуть на солнце. Этотъ народъ плодущъ и назойливъ; его необходимо разрѣжать частью посредствомъ водворенія... въ извѣстныхъ границахъ, частью посредствомъ проглатыванія. Только въ этомъ разрѣженномъ состояніи можно допустить участіе столь безпокойнаго элемента въ общемъ жизненномъ хорѣ; только въ этомъ видѣ онъ можетъ быть разсматриваемъ не только какъ извѣстный, не оскорбляющій слуха диссонансъ, но даже какъ нѣкоторая нелишняя поправка нашему слишкомъ разыгравшемуся savoir vivre.

Нѣтъ спора, снисходительность и великодушіе похвальны; но и они становятся приторными, какъ скоро употребляются безъ мѣры и несвоевременно. Время не терпитъ; каждая минута приноситъ за собой капиталы, намъ предстоитъ шарить, хватать, глотать—а мы, вмѣсто того, станемъ распускать слюни и слушать проповѣди о воздержаніи и какихъ-то ядовитыхъ продуктахъ нравственнаго гніенія! Да поймите же наконецъ, до какой степени это несообразно и глупо!

Итакъ, будемъ великодушны, но въ то же время и тверды. Пускай наша снисходительность умѣряется бодростью и неуклоннымъ шествіемъ впередъ. Сверхъ того, не станемъ стѣсняться чужими образцами, но изберемъ себѣ тѣ пути, которые укажутъ намъ наши собственные инстинкты любостяжанія. И да не постыдимся.

VIII.—Проектъ современнаго балета.

(По поводу «Золотой рыбки»).

Я люблю балетъ за его постоянство. Возникаютъ новыя государства; врываются на сцену новые люди; нарождаются новые факты; измѣняется цѣлый строй жизни; наука и искусство съ тревожнымъ вниманіемъ слѣдятъ за этими явленіями, дополняющими и отчасти измѣняющими самое ихъ содержаніе—одинъ балетъ ни о чемъ не слышитъ и не знаетъ; одинъ балетъ съ истинно-трогательнымъ постоянствомъ продолжаетъ возглашать: «vive Henri IV!» въ то время, какъ Наполеониды...

Балетъ — консерваторъ по преимуществу, консерваторъ до самозабвенія. Онъ знаетъ, что цвѣтущее его состояніе тѣсно связано съ бо̀льшею или меньшею солидарностью тѣхъ краеугольныхъ камней, которыми отъ времени до времени бросаетъ въ публику русская публицистика; онъ чтитъ эти камни, потому что они въ лицахъ присутствуютъ въ первыхъ рядахъ партера, и охотно посвящаетъ себя на служеніе имъ. «Пускай астрономы доказываютъ, что земля вкругъ солнца обращается», говоритъ онъ и вмѣстѣ съ публицистами убѣждаетъ, что въ балетно-благоустроенномъ мірѣ никакихъ подобнаго рода стѣсненій допущено не можетъ быть, ибо здѣсь все зависитъ отъ усмотрѣнія

балетмейстера. Вотъ первый краеугольный камень, связующій балетъ съ консерватизмомъ.

Владычествуя за панибрата въ сферѣ духовъ и видѣній, повелѣвая стихіями, распоряжаясь свободно теченіемъ небесныхъ свѣтилъ, балетъ, съ тѣмъ вмѣстѣ, возвышаетъ умъ и сердце человѣка. Это краеугольный камень нумера второго. Консерваторы любятъ парить духомъ и возноситься сердцемъ при видѣ порхающихъ балеринъ; они любятъ уноситься мыслью въ трансцендентальныя сферы при видѣ коротенькихъ газовыхъ юбочекъ; они любятъ умиляться духомъ при видѣ маленькихъ ножекъ, которыя поднимаются... поднимаются... Съ своей стороны, балетъ очень хорошо сознаетъ благотворное дѣйствіе, производимое имъ на консерваторовъ, и потому усугубляетъ свое служеніе консервативнымъ началамъ до самоотверженія. Въ порывѣ преданности, онъ дѣлается даже либераленъ и, рискуя произвести въ театрѣ консервативную революцію, неустанно взываетъ къ корифейкамъ: «выше! выше!»

Если-бъ было достовѣрно доказано, что «духа долины» не существуетъ — что̀ сталось бы съ балетомъ? Если-бъ явился новый Галилей, который, передъ зрителями первыхъ рядовъ Большого театра, выразилъ бы робкое предположеніе, что «пламя любви» есть не болѣе, какъ балетный предразсудокъ—что̀ сталось бы съ консерваторами? И балетъ, и консерваторы очень хорошо понимаютъ, что въ Галилеяхъ заключается ихъ погибель, и потому тѣснѣе и тѣснѣе скрѣпляютъ связующія ихъ узы, давая торжественную клятву не имѣть иной вѣры, кромѣ вѣры въ «пламя любви», и не руководиться иными убѣжденіями, кромѣ убѣжденій «духа долины».

О, Галилеи! найдется ли у васъ достаточно силъ, чтобы сокрушить этотъ крѣпкій балетно-консервативный союзъ?!

Но никогда еще единомысліе балета и консервативныхъ началъ не выражалось съ такою яркостью, какъ въ балетѣ «Золотая рыбка», поставленномъ прошлаго года на сценѣ петербургскаго Большого театра. Тутъ все, отъ перваго до послѣдняго антраша, съ изумительною послѣдовательностью поставлено въ явное противорѣчіе не только съ Галилеемъ, но даже съ географіей Арсеньева и исторіей Смарагдова (два авторитета, допускаемые даже консерваторами, конечно, не слишкомъ рьяными). Но потому-то именно этотъ балетъ и получилъ такой необыкновенный успѣхъ. Консерваторы поняли, что онъ не только возвышаетъ умъ и

сердце, но имѣетъ еще весьма важное воспитательное значеніе, что онъ, убѣждая зрителей незыблемо хранить вѣру въ «духа долины», въ то же время вырываетъ съ корнемъ послѣднее зло, подрывавшее эту вѣру, и смѣлою рукою сводитъ «Географію» съ ея пьедестала.

И въ самомъ дѣлѣ, что̀ такое «Географія»? Географія— говоритъ г. Арсеньевъ — есть землеописаніе. Несмотря на ощутительную загадочность этого опредѣленія, въ немъ чувствуется нѣкоторая конкретность. Изъ-за «землеописанія» выглядываютъ знакомыя намъ физіономіи странъ и народовъ, съ ихъ именами и историческими особенностями, а, пожалуй, даже и съ притязаніями. Консерваторскому чувству это противно. Консерваторское чувство желало бы, чтобы географія была именно только землеописаніемъ, и чтобы затѣмъ, перевернувши первую страницу, можно было сказать: ничего въ волнахъ не видно! Поэтому консерваторы давно уже подозрѣвали географію въ неблагонамѣренности и измѣнѣ, и даже пробовали, при помощи публицистовъ, пускать въ нее краеугольными камнями довольно увѣсистаго свойства, но до сихъ поръ усилія ихъ почему-то не имѣли надлежащаго успѣха. И вотъ эту безцѣнную услугу, которая оказалась не подъ силу даже русской публицистикѣ, удалось оказать «великой консервативной партіи» поборнику совершенно новому и неизвѣстному—однимъ словомъ, скромному балетмейстеру петербургскаго Большого театра, г. Сенъ-Леону.

Но, чтобы понять всю великость подвига, совершеннаго г. Сенъ-Леономъ, необходимо разсказать здѣсь вкратцѣ содержаніе измышленнаго имъ балета.

Дѣйствіе открывается на берету Днѣпра. Повидимому, такое опредѣленное обозначеніе мѣстности обнаруживаетъ въ авторѣ нѣкоторое поползновеніе примирить балетъ съ географіей, но, въ сущности, какъ увидимъ ниже, это съ его стороны только хитрость. Г. Сенъ-Леонъ, какъ опытный боецъ, знаетъ, что къ сильному врагу слѣдуетъ подходить съ осторожностью, и потому на первыхъ порахъ рѣшается менажировать его. Въ дѣйствительности декорація представляетъ не Днѣпръ, а рѣку Стиксъ, на берегахъ которой, въ противность явному свидѣтельству миѳологіи, рѣзвятся сказочные поселяне и поселянки. Эти простодушныя дѣти природы, какъ и водится, препровождаютъ время въ пляскахъ и играхъ. Почему они пляшутъ? Они пляшутъ потому, что налаживаютъ сѣти; они пляшутъ потому, что

готовятъ лодку; они пляшутъ потому, что они поселяне и въ этомъ качествѣ *должны* плясать. Выбѣгаетъ Галя (г-жа Сальвіони) и машетъ руками, въ знакъ того, что у нея есть старый мужъ, который только спитъ, а ее, Галю, совсѣмъ не утѣшаетъ. Пользуясь симъ случаемъ, поселяне пляшутъ опять. Этимъ временемъ Тарасъ закидываетъ сѣти въ Днѣпръ и вылавливаетъ золотую рыбку, которая однако-жъ оказывается не рыбкою, а прехорошенькою дѣвочкой. Тарасъ отпускаетъ «рыбку» на волю, то-есть не потрошитъ ее на уху, а бросаетъ обратно въ Стиксъ, и въ благодарность за это получаетъ отъ нея кучу раковинъ. «Лишь бы ты чего захотѣлъ,—говоритъ милая дѣвица: — брось одну раковину въ воду, и желаніе твое мигомъ сбудется». Затѣмъ, согласно съ желаніями Тараса, начинается цѣлый рядъ превращеній: сначала является новое корыто, потомъ изба и наконецъ боярскія хоромы. Галя дѣлается «боярыней» и пріобрѣтаетъ себѣ въ услуженіе пажа, въ образѣ котораго искусно скрываетъ себя та же золотая рыбка.

Свидѣтельствуюсь всѣми историческими и географическими учебниками, принятыми въ руководство и непринятыми (апокрифическими), что въ Днѣпрѣ никогда и никто золотыхъ рыбокъ не лавливалъ, а въ особенности рыбъ, имѣющихъ человѣческій образъ. Ходили, правда, слухи, что рѣка эта населена русалками, а окрестности ея вѣдьмами, но ни Смарагдовъ, ни даже Кайдановъ никогда не признавали за этими слухами никакой достовѣрности. Сверхъ того, никто не въ правѣ игнорировать, что, вслѣдствіе распространенія просвѣщенія, всѣ эти дамы давно уже выдержали экзамены на домашнихъ учительницъ и, оставивъ прежнія непроизводительныя занятія, разселились по разнымъ закоулкамъ нашего обширнаго отечества, гдѣ и проживаютъ въ качествѣ гувернантокъ. Г. Сенъ-Леонъ, конечно, знаетъ это, а ежели знаетъ, то ясно, что слово «Днѣпръ» употреблено имъ единственно въ пику географіи и съ злостнымъ намѣреніемъ погубить ея до сихъ поръ незапятнанную репутацію. И дѣйствительно, совершивъ это сокрушительное дѣло, г. Сенъ-Леонъ уже не стѣсняется никакими географическими терминами и прямо выводитъ зрителя на ровное мѣсто, гдѣ ничего не видно, а видна одна высь поднебесная.

Я нарочно наблюдалъ, въ продолженіе перваго акта, за старичками-консерваторами, сидящими въ первыхъ рядахъ креселъ. Сначала, при имени Днѣпра, ихъ физіономіи хму-

рились, но потомъ, по мѣрѣ разъясненія дѣла, постепенно разглаживались: когда же золотая рыбка появилась въ образѣ пажа, то уничиженіе географіи явилось столь несомнѣннымъ, что лица всѣхъ озарились сладкою консервативною улыбкою. Такому удовлетворительному результату немало, впрочемъ, способствовала г-жа Канцырева, игравшая роль золотой рыбки. Старички-консерваторы съ нечеловѣческимъ вниманіемъ слѣдили за каждымъ движеніемъ этого прелестнаго ребенка, и если бы не подагра, то навѣрное улетѣли бы вслѣдъ за нимъ въ то время, какъ онъ исчезаетъ въ картонныхъ волнахъ псевдо-Днѣпра.

Я совершенно понимаю порывы старичковъ. Г-жа Канцырева очаровательна, и не летѣть за нею невозможно. Но, съ другой стороны, принимая во вниманіе: 1) что старички сіи, судя по совершеннымъ ихъ лѣтамъ, занимаютъ, по малой мѣрѣ, мѣста особъ на заставахъ команду имѣющихъ, и 2) что съ отлетомъ ихъ остался бы неразрѣшеннымъ вопросъ о разныхъ по части заставъ усовершенствованіяхъ—я не могу, въ то же время, не удивляться прозорливости начальства, которое, вмѣстѣ съ страстными порывами, снабдило старичковъ и подагрою.

Второе дѣйствіе застаетъ Галю боярыней. Но этого ей уже мало; въ сердцѣ ея роятся иныя желанія. Тутъ, какъ нельзя болѣе кстати, врывается въ комнату лучъ мѣсяца («пускай астрономы доказываютъ! пускай доказываютъ!»), и глазамъ Гали представляется чудная картина: царица, окруженная блестящимъ дворомъ. Декорація перемѣняется—и Галя царица! Сцена представляетъ парадные аппартаменты во дворцѣ, и передъ изумленными глазами зрителей проходитъ великолѣпнѣйшая процессія. Процессія эта состоитъ исключительно изъ министровъ (по крайней мѣрѣ, garde des sceaux былъ тутъ навѣрное), и мнѣ сдается, что присутствуй тутъ г. де-Персиньи (до сихъ поръ не могущій позабыть, что онъ совсѣмъ не Персиньи, а Fialin) или г. де-Лавалеттъ, то они несомнѣнно приняли бы эту сцену на свой счетъ. Министры подносятъ Галѣ корону, но она, припоминая изъ Кайданова, что «корона есть бремя», нѣкоторое время колеблется. Тогда первый министръ употребляетъ рѣшительное средство, чтобы побѣдить эти колебанія: «помилуйте! да вѣдь это бумажный колпакъ!»—говоритъ онъ — и, къ общей радости остальныхъ министровъ, достигаетъ вожделѣнной цѣли. На сценѣ

начинаются танцы, а за кулисами выкатывается бочка пѣннаго для прочихъ балетныхъ подданныхъ.

Но—увы!—Галя не оправдываетъ ни довѣрія, ни надеждъ своихъ подданныхъ. Она, какъ женщина легкомысленная, сразу пускается въ плясъ и даже увлекаетъ въ оный четырехъ министровъ. Образуется прелестнѣйшій pas de cinq, и Галя съ удовольствіемъ усматриваетъ, что ея министры способны всякую реформу вытанцовать въ лучшемъ видѣ, а со временемъ, быть-можетъ, будутъ въ состояніи и couronner l'édifice.

Я опять взглянулъ на «старичковъ-консерваторовъ»: на сей разъ они летѣли за г-жою Сальвіони. Вновь пришлось изумиться предусмотрительности начальства, снабдившаго «старичковъ» подагрою; но, съ другой стороны, принимая во вниманіе: 1) что въ усовершенствованіяхъ по части заставъ настоятельной надобности не предстоитъ, и 2) что за симъ къ безпрепятственному отлету «старичковъ» за г-жами Канцыревой и Сальвіони никакихъ затрудненій не представляется,—я не могъ не сознаться, что даже для самой мудрой предусмотрительности имѣются естественные предѣлы, преступать которые не надлежитъ.

Начинается третій актъ, который есть не что иное, какъ организованная галиматья, а потому разсказать его содержаніе нѣтъ возможности. Замѣчательнѣе всего въ этомъ актѣ появленіе «фантастическаго крестьянина» и полетъ г-жи Сальвіони на коврѣ-самолетѣ...

Я въ третій разъ взглянулъ на «старичковъ-консерваторовъ», съ намѣреніемъ въ третій разъ удивиться предусмотрительности начальства, но, сообразивъ обстоятельства сего дѣла и имѣя въ виду: 1) что распредѣленіе человѣческихъ немощей ни въ какомъ случаѣ отъ усмотрѣнія начальства зависѣть не можетъ, и 2) что за симъ всякое сужденіе объ этомъ предметѣ, по малой мѣрѣ, преждевременно,—*опредѣлилъ*: не давая ни ближайшаго, ни дальнѣйшаго развитія размышленіямъ о «старичкахъ-консерваторахъ», оныя прекратить, предоставивъ, впрочемъ, ихъ участь милосердію г-жъ Сальвіони и Канцыревой.

Вотъ краткое содержаніе балета «Золотая рыбка», привлекшаго въ Большой театръ многочисленную публику. Я вполнѣ понимаю цѣли, руководившія г. Сенъ-Леономъ при сочиненіи этого балета, и даже безоговорочно одобряю ихъ... Я увѣренъ даже, что если-бъ г. Сенъ-Леонъ могъ разрѣшить корифеямъ и корифейкамъ говорить, то онъ

непремѣнно заставилъ бы ихъ говорить по-гречески или по-латыни, все въ видахъ достиженія тѣхъ же консервативно-миѳологическихъ цѣлей... Но я позволяю себѣ усомниться въ одномъ: для чего тутъ необходимо посрамленіе географіи? и дѣйствительно ли усматриваются въ ней такія вредоносныя начала, которыя могутъ серьезно тревожить такъ-называемую «великую консервативную партію»?

Положа руку на сердце, я отвѣчаю: нѣтъ, никакихъ вредоносностей за географіей не водится! Говоря по совѣсти, географія, и въ особенности «сокращенная», есть наука очень и очень полезная. Съ помощью ея можно во всякое время снаряжать экспедиціи, заключать трактаты, расширять и исправлять границы, руководясь единственно одною удобностью. Въ этомъ смыслѣ пользуются географіей московскіе публицисты безъ всякаго опасенія—и что же? выходитъ хорошо! Потому что, не будь географіи, мы именно блуждали бы, такъ сказать, въ непрерывномъ ужасѣ. Задумавши снарядить экспедицію, мы не знали бы, куда ее снарядить; задумавши побѣдить — не знали бы, кого побѣдить; задумавши занять денегъ—засовывали бы руки совсѣмъ не въ тѣ карманы. Я увѣренъ даже, что не только географія, но и исторія, и ариѳметика, и самый «Домашній лѣчебникъ» кн. Енгалычева не суть вредны. Дѣло только въ томъ, чтобы извлекать изъ нихъ благопотребное, а непотребное отбрасывать и отсѣкать. Такъ, напримѣръ: достовѣрно извѣстно, что безъ помощи «исторіи» мы не имѣли бы понятія о многихъ полезнѣйшихъ мѣропріятіяхъ, а безъ твердаго знанія таблички умноженія не могли бы вести правильный счетъ податямъ и повинностямъ. Посему опасаться географіи нѣтъ основанія; надо только быть твердымъ, а остальное приложится само собою.

Мнѣ всегда казалось, что не тотъ истинный консерваторъ, который фантастически преслѣдуетъ географію, исторію и ариѳметику, но тотъ, который усматриваетъ въ сихъ «краткихъ руководствахъ» полезныя вспомогательныя науки для сочиненія руководящихъ публицистическихъ статей. Не тотъ истинный консерваторъ, который заставляетъ танцовщицъ поднимать ноги въ видахъ посрамленія ариѳметики, но тотъ, кто, съ удовольствіемъ взирая на порхающихъ корифеекъ, въ то же время отчетливо сознаетъ, что $2 \times 2 = 4$. Я самъ пламенный консерваторъ; я самъ истинно скорбѣлъ, когда крѣпостные мои мужики и т. д. Я самъ питаю несокрушимую вѣру въ «духа долины» и

въ «дочь фараона»; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, я положительно хочу знать, въ Рязани или въ Пензѣ они привитаютъ, и ежели мнѣ отвѣчаютъ на этотъ вопросъ неудовлетворительно, то мысль моя мутится, и самая вѣра охладѣваетъ.

Вопросъ о примиреніи балета и съ консервативно-вспомогательными науками занималъ меня не малое время. Проникнутый важностью этой задачи, я не лѣнился, какъ «рабъ лукавый», но старался доказать примѣнимость моей мысли на практикѣ и въ порывѣ усердія не мало-таки перепортилъ бумаги. Сначала я сочинилъ балетъ, подъ названіемъ: «Добродушный Гостомыслъ и варяги, *или* Всякое дѣло надо дѣлать подумавши», но сообразилъ, что сюжетъ этотъ несравненно съ большимъ знаніемъ обработывается газетой «Москва». Потомъ сочинилъ балетъ, подъ названіемъ: «Административный Пирогъ, *или* Безпримѣрное объяденіе»; но одинъ отставной цензоръ завѣрилъ меня, что постановка такого балета будетъ едва ли не преждевременна. Наконецъ я остановился на третьемъ сюжетѣ, который, по мнѣнію моему, долженъ удовлетворить всѣмъ требованіямъ. Льщу себя надеждою, что представители санктпетербургскихъ театральныхъ искусствъ оцѣнятъ мои усилія и поставятъ на сцену балетъ моего сочиненія съ великолѣпіемъ, вполнѣ соотвѣтствующимъ его достоинству.

Вотъ моя программа:

МНИМЫЕ ВРАГИ

или

ВРИ И НЕ ОПАСАЙСЯ.

Современно-отечественно-фантастическій балетъ въ 3-хъ дѣйствіяхъ и въ 4-хъ картинахъ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Отечественно - консервативная Сила, скрывающаяся подъ именемъ **Ивана Ивановича Давилова.**

Обираловъ
Дантистъ } наперсники и друзья Давилова.

Отечественный либерализмъ, скрывающійся подъ именемъ **Хлестакова.** Пасынокъ **Давилова.**

Госпожа Взятка, женщина уже въ лѣтахъ, но вѣчно юная.

Аннета Постепенная, молодая женщина.

Лганье
Вранье
Излишняя Любознательность
Чепуха } Отечественно-анакреонтическія фигуры.

Мужики. Полицейскіе солдаты. Внутренняя стража.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Картина I.

Обширная комната въ городѣ Глуповѣ. Посрединѣ стоитъ столъ, покрытый сукномъ. На столѣ безпорядочно валяются кипы бумагъ.

I.

Толпа обывателей, около которыхъ суетятся и исполняютъ свое дѣло Обираловъ и Дантистъ. Обыватели съ радостью развязываютъ кошельки и подставляютъ шеи. Давиловъ сидитъ у стола, погруженный въ чтеніе бумагъ. Онъ думаетъ: «сегодня придетъ моя милая Взятка, и мы соединимся съ нею навѣки!»

II.

Внезапно чернильница, стоящая на столѣ, разбивается вдребезги, и изъ нея вылетаетъ Аннета Постепенная. Она стоитъ нѣкоторое время на одной ножкѣ, потомъ съ очаровательною граціей ударяетъ Давилова пальчикомъ по лысинѣ. Давиловъ въ изумленіи простираетъ руки, какъ бы желая поймать чародѣйку. «Кто ты, странное существо, и какое зло сдѣлала тебѣ эта бѣдная чернильница, за которое ты такъ безжалостно разбила ее?» Но Аннета смотритъ на него съ грустною и въ то же время кокетливою улыбкою. «Пойми!» говоритъ она и исчезаетъ тѣмъ же путемъ, какимъ появилась. Чернильница возрождается на столѣ въ прежнемъ видѣ. Давиловъ хочетъ устремиться за очаровательницею, но, вмѣсто того, попадаетъ пальцемъ въ чернильницу.—«Пойми!» повторяетъ онъ въ раздумьѣ: что̀ хотѣла она сказать этимъ «пойми»?

III.

Между тѣмъ Обираловъ уже выпотрошилъ мужиковъ, а Дантистъ обратилъ въ пепелъ множество зубовъ. Обираловъ легкимъ прикосновеніемъ руки выводитъ Давилова изъ раздумья. Но Давиловъ долго еще не можетъ придти въ себя и, безпрестанно повторяя: «пойми!», устремляется къ тому мѣсту, гдѣ скрылась очаровательница, но снова попадаетъ пальцемъ въ чернильницу. Въ это время изъ рукъ Обиралова внезапно выпархиваетъ Взятка и разомъ овладѣваетъ всѣми помыслами Давилова. Происходитъ:

Танецъ Взятки.

Взятка порхаетъ по сценѣ и легкими, граціозными скачками даетъ понять, что сдѣлаетъ счастливымъ того, кто будетъ ея обладателемъ. Она почти неодѣта, но это придаетъ еще болѣе прелести ея соблазнительнымъ движеніямъ. Давиловъ совершенно забываетъ о недавней незнакомкѣ и съ юношескою страстью устремляется къ новой очаровательницѣ. Онъ старается уловить ее; движенія его порывисты и торопливы; ловкость поистинѣ изумительна. Но Взятка кокетничаетъ и не дается; вотъ-вотъ онъ прикасается уже къ ея таліи—какъ она ловко выскользаетъ изъ его рукъ и вновь быстро кружится въ бѣшеной пляскѣ. Наконецъ, утомленная и тронутая мольбами своего любовника, она постепенно ослабѣваетъ... ослабѣваетъ... и тихо исчезаетъ въ карманѣ Давилова. Обираловъ и Дантистъ, умиленные, стоятъ въ почтительномъ отдаленіи и слегка подтанцовываютъ.

IV.

Мужики, видя, что сердца начальниковъ радуются, сами начинаютъ приходить въ восторгъ и выражаютъ его благодарными тѣлодвиженіями, которыя постепенно переходятъ въ—

Большой танецъ Лаптей.

Въ танцѣ этомъ принимаютъ участіе: Давиловъ, Обираловъ и Дантистъ, въ качествѣ корифеевъ.

V.

— Спасибо, друзья! — говоритъ Давиловъ мужикамъ и обѣщаетъ имъ дать на водку, когда будутъ деньги. Затѣмъ обращается къ Обиралову и Дантисту и говоритъ:— Друзья! вы лихо поработали сегодня! Теперь пойдемте въ трактиръ и тамъ славно закусимъ и выпьемъ!—Онъ уже застегиваетъ вицмундиръ и хочетъ взяться за шляпу, какъ чернильница вновь разлетается вдребезги, и на столѣ опять появляется Аннета Постепенная. Она попрежнему стоитъ на одной ножкѣ, но видъ ея строгъ.—Слушай,—говоритъ она Давилову:—я предупреждала тебя, но ты не внялъ словамъ моимъ и продолжаешь безобразничать съ паскудною Взяткою. Итакъ, буду ясна: вызови немедленно изъ заточенія твоего пасынка, Хлестакова,

или... ты погибнешь.—Сказавши это, Аннета исчезаетъ, оставляя всѣхъ присутствующихъ въ ужасѣ и стоящими на одной ногѣ. Картина.

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Картина II.

Пустынное мѣстоположеніе, отданное въ надѣлъ крестьянамъ. Болото, по коему произрастаютъ тощія сосны. Въ глубинѣ сцены секретная хижина. На соснахъ заливаются публицисты:

Сироты ли мы, ахъ, сиротушки!
Забубенныя мы, ахъ, головушки!
А и нѣтъ у насъ отца съ матушкой,
А и есть у насъ только дѣтушки!
А и первой-етъ сынъ несмышленочекъ,
А второй-етъ сынъ да дурашливый,
А и треть-етъ сынъ—хуже перваго,
А четвертый сынъ—хуже третьяго,
А и пятый сынъ—самый жалконькій,
Самый жалконькій, вовсе гнусненькій,
И проч., и проч.

I.

Изъ самой глубины трясины появляются три отечественно-анакреонтическія фигуры: Лганье, Вранье и Излишняя Любознательность. Нѣкоторое время онѣ какъ бы не узнаютъ другъ друга, но черезъ минуту недоразумѣніе исчезаетъ, и друзья цѣлуются. Начинается совѣщаніе.—Я буду лгать умышленно! говоритъ Лганье.—Я буду врать что̀ попало! говоритъ Вранье.—А я буду подслушивать, скромно отзывается Излишняя Любознательность. Лганье и Вранье останавливаются, пораженныя находчивостью своей подруги, и съ нѣкоторою завистью смотрятъ на нее.—Вы будете мнѣ помогать, будете, такъ сказать, популяризировать меня, еще скромнѣе прибавляетъ Излишняя Любознательность и этою привѣтливостью возвращаетъ на лица собесѣдницъ безпечное выраженіе.—Не станцовать ли намъ что-нибудь, покуда не пришелъ нашъ добрый другъ и начальникъ Хлестаковъ? предлагаетъ Вранье.—Пожалуй,—соглашается Лганье:—но гдѣ онъ такъ долго пропадаетъ, бѣдненькій?—Внимайте! я повѣдаю вамъ ужасную тайну, отвѣчаетъ Излишняя Любознательность. Начинается:

II.

Секретный танецъ Излишней Любознательности.

«Прошлую ночь,—такъ танцуетъ она:—я, по обыкновенію своему, тихо-тихо, скромно-скромно, чутко-чутко послѣдовала за нимъ. Все покровительствовало мнѣ: и испаренія, поднимавшіяся отъ нашей трясины, и отсутствіе луны, и тихое, усыпляющее щебетаніе публицистовъ. Однако я шла и озиралась: что̀, думала я, если меня поймаютъ! Что̀ сдѣлаютъ со мной? закатаютъ ли до смерти, или просто ограничатся однимъ шлепкомъ?

«Однако я шла, готовая вынести побои и даже самую смерть... и что̀ же? На верху неприступной скалы я увидала чертогъ, весь залитый свѣтомъ. Тихо-тихо, скромно-скромно, чутко-чутко приложила я глаза и уши къ скважинѣ... и что̀ же? Я увидала Хлестакова, который, вмѣсто того, чтобы стоять на стражѣ, покоился въ объятіяхъ дѣвицы Постепенной!»

III.

Протанцовавъ все вышеизложенное, Излишняя Любознательность вдругъ останавливается. Она догадывается, что сдѣлала дѣло совершенно безполезное и даже глупое, что Хлестаковъ ея другъ и руководитель, и что, слѣдовательно, подсматривать за нимъ нѣтъ никакой надобности. «Зачѣмъ я подслушивала? зачѣмъ подглядывала?» говоритъ она и, въ негодованіи на свой собственный поступокъ, высоко поднимаетъ ногу.

IV.

«Теперь слушайте же и меня!» говоритъ Лганье и начинаетъ:

Танецъ Лганья.

«Я тоже внимательно слѣдило за нашимъ другомъ и покровителемъ Хлестаковымъ и, видя его грустнымъ, отъ всей души соболѣзновало. Однажды, узрѣвъ его гуляющимъ на берегу нашей трясины, я не вытерпѣло и подошло къ нему.—Покровитель!—сказало я:—отчего такъ грустенъ твой видъ?—Мой вѣрный слуга,—отвѣчалъ онъ мнѣ:—я грущу, потому что не знаю, какое сдѣлать употребленіе изъ прекрасныхъ способностей, которыми наградила меня природа!.. Тогда я предложило ему мой проектъ всеобщаго оболганія, и...»

V.

Но здѣсь Лганье останавливается, съ непритворной грустью спрашиваетъ себя: «Зачѣмъ лгать? Кого облыгать?» и, въ заключеніе, поднимаетъ одну ногу.

VI.

«Нѣтъ, послушайте-ка вы меня!» вступаетъ, въ свою очередь, Вранье и вслѣдъ затѣмъ начинаетъ:

Танецъ Вранья.

«На-дняхъ я встрѣтило нашего милаго Хлестакова въ самомъ оригинальномъ положеніи:

«Онъ лежалъ животомъ кверху, на берегу нашей трясины и грѣлся на солнцѣ.—Что̀ ты, mon cher, тутъ дѣлаешь?—спросило я его (вѣдь вы знаете, я съ нимъ на ты):—и что̀ означаетъ эта оригинальная поза?—Молчи,—отвѣчалъ онъ мнѣ:—я сочиняю либеральныя измышленія! Ты знаешь,—продолжалъ онъ послѣ краткаго молчанія, отеревъ слезы, струившіяся изъ его глазъ:—ты знаешь, другъ, что я сдѣлался руководителемъ по части отечественной благонамѣренности... и... и... — Тутъ онъ вновь залился слезами, и сквозь всхлипыванья я могло разобрать только слѣдующее:—До̀ тѣхъ поръ не успокоюсь, покуда не переломаю всѣ ребра!»

VII.

Протанцовавъ это, Вранье намѣревается сдѣлать антраша: но такъ какъ для всякаго ясно, что все разсказанное имъ есть не что̀ иное, какъ сплошной вздоръ, то и Вранье не можетъ воздержаться отъ горькаго вопроса: «Зачѣмъ я врало?» Въ негодованіи на себя, оно высоко поднимаетъ одну ногу.

VIII.

Такимъ образомъ всѣ трое стоятъ нѣкоторое время каждый съ одной поднятой ногой. Въ глубинѣ сцены является Чепуха. Быстрымъ и смѣлымъ скачкомъ она перелетаетъ всю сцену и становится между упомянутыми тремя анакреонтическими фигурами.—Вы совершили множество ненужныхъ подвиговъ,—говоритъ она:—потому что съ вами была я!—Начинается:

Большой танецъ Чепухи.

«До тѣхъ поръ, — танцуетъ она: — покуда я буду съ вами, вы не будете имѣть возможности ни подслушивать, ни лгать, ни врать безнаказанно. Всѣ ваши усилія въ этомъ смыслѣ будутъ напрасны, потому что всякій, даже не учившійся въ кадетскомъ корпусѣ, разгадаетъ ихъ! Вы будете подслушивать, лгать и врать безъ системы, единственно для препровожденія времени. Всякій, встрѣтившись съ вами, скажетъ себѣ: будемъ осторожны, ибо вотъ это — излишняя любознательность, вотъ это — постыдное лганье, а это—безмозглое вранье! Вы думали, что уже эмансипировались отъ меня, — и горько ошиблись, потому что владычество мое далеко не кончилось! Вы не уйдете отъ меня нигдѣ, не скроетесь даже въ эту трясину; вездѣ я застигну васъ и буду руководящимъ началомъ всѣхъ вашихъ дѣйствій! Вы спросите, быть-можетъ, зачѣмъ я это дѣлаю...?»

IX.

Чепуха останавливается и въ недоумѣніи спрашиваетъ себя: зачѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, она такъ дѣлаетъ? Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ она высоко поднимаетъ ногу. Начинается:

Танецъ Четырехъ Поднятыхъ Ногъ,

который прерывается—

Чрезвычайнымъ полетомъ публицистовъ,

какъ бы возвѣщающихъ прибытіе нѣкоторыхъ важныхъ незнакомцевъ. Незнакомцы эти суть не кто иные, какъ Давиловъ и Хлестаковъ. Они проходятъ съ поникшими головами черезъ сцену и скрываются въ секретную хижину. Публицисты свищутъ: «Вотъ они! вотъ наши благодѣтели!»

Картина III.

Внутренность секретной хижины.

I.

Давиловъ и Хлестаковъ предаются воспоминаніямъ. Оба растроганы.—Сколько лѣтъ я томился въ изгнаніи!—говоритъ Хлестаковъ:—оторванный жестокимъ вотчимомъ отъ чрева любимой матери, я скитался по этимъ пустыннымъ мѣстамъ,

но и среди уединенія посвящалъ свои досуги любезному отечеству! — Прости меня, мой другъ!—отвѣчаетъ Давиловъ: — вѣдь я думалъ, что ты либералъ!—Какъ «либералъ»? но теперь, въ сію минуту, развѣ я не либералъ?—Кхе-кхе!—дѣлаетъ Давиловъ.—Такъ позвольте вамъ сказать, милый папенька, что вы не понимаете, что̀ такое либерализмъ!—Сказавши эти слова, Хлестаковъ даетъ знать музыкѣ умолкнуть, а публицистамъ приказываетъ свистать. Начинается:

Большой танецъ Отечественнаго Либерализма.

«Что̀ такое либерализмъ? Это нѣчто тонкое, легкое, неуловимое, какъ то па̀, которое я выдѣлываю. Это шалунья-нимфа, на которую можно смотрѣть издали, какъ она купается въ струяхъ журчащаго ручейка, но изловить которую невозможно. Это волшебный букетъ цвѣтовъ, который удаляется отъ нашего носа по мѣрѣ того, какъ вы приближаетесь, чтобы понюхать его. Это милая мечта, которая сулитъ впереди множество самыхъ разнообразныхъ яствъ, въ дѣйствительности же кормитъ одною постепенностью. Это тотъ самый кукишъ, котораго присутствіе вы чувствуете между вторымъ и третьимъ пальцами вашей руки, но который уловить ни подъ какимъ видомъ не можете! Поймите, какая это умная и подходящая штука! Какъ она угодна нашимъ нравамъ, и какъ мы должны гордиться ею! Мы ничего не выдумали — даже пороха! — но выдумали «либерализмъ» и сразу стяжали вѣчное право на безсмертіе! Жгучій и пламенный съ виду, онъ не жжетъ никого, но многимъ позволяетъ грѣть около себя руки. Грозный съ виду, онъ никого не устрашаетъ, но многимъ подаетъ утѣшеніе. Всякій ждетъ, всякій заранѣе проливаетъ слезы умиленія... И опять все-таки ждетъ, и опять проливаетъ слезы умиленія, ибо ждать и проливать слезы—есть удѣлъ человѣка въ сей юдоли плача!»

Хлестаковъ падаетъ въ изнеможеніи на полъ.

Большая трель публицистовъ.

II.

— Гм!.. я убѣждаюсь, что ты совершеннѣйшая... то-есть, что ты благороднѣйшій юноша, хотѣлъ я сказать! —говоритъ Давиловъ: — и потому вотъ что̀ я придумалъ: забудемъ прошлое и заключимъ союзъ! — Съ охотою, но предвари-

тельно я долженъ предложить тебѣ нѣсколько условій, безъ соблюденія которыхъ никакой союзъ между нами невозможенъ.—Слушаю тебя съ величайшимъ вниманіемъ.—Во-первыхъ, ты долженъ прекратить пагубныя сношенія съ Взяткою (отрицательное движеніе со стороны Давилова)... Не опасайся! я вовсе не требую, чтобъ ты отказался отъ секретнаго съ нею обхожденія, но ради самого Создателя, ради всего, что̀ тебѣ дорого, не показывайся съ нею въ публичныхъ мѣстахъ и дѣлай видъ, что она тебѣ незнакома! Ты не знаешь... нѣтъ, ты не знаешь, сколько вреда приноситъ откровенное обращеніе съ Взяткою! Это бросается въ глаза всякому, самый малоумный человѣкъ — и тотъ понимаетъ подъ Взяткою что-то нехорошее, несовмѣстное съ либерализмомъ. Всякій, встрѣтившись съ тобой на дорогѣ, говоритъ: «вотъ взяточникъ!» и никто не скажетъ: «вотъ либералъ!» До сихъ поръ ты бралъ взятки и давилъ... Продолжай и на будущее время! но дѣлай такъ, чтобъ никто не смѣлъ называть тебя ни взяточникомъ, ни Давиловымъ!—Стало-быть... потихоньку можно?—робко спрашиваетъ Давиловъ. — Потихоньку... можно; (съ жаромъ) все потихоньку можно!—Ну-съ... второе условіе?—Второе условіе—удали изъ числа твоихъ приближенныхъ Чепуху!—Это за что̀-жъ? — Другъ! Чепуха опаснѣе даже Взятки. Если Взятка мараетъ отдѣльнаго человѣка, то Чепуха кладетъ свое клеймо на цѣлыя группы людей, на цѣлый порядокъ, на цѣлую систему! Отъ Взятки мы можемъ отдѣлаться секретнымъ съ ней обхожденіемъ; отъ Чепухи — никогда и ничѣмъ. Она сопровождаетъ насъ всюду; она отравляетъ всѣ наши дѣйствія... она дѣлаетъ невозможною... систему! Наконецъ, сознаюсь ли тебѣ? Я самъ, какъ ты меня видишь... самъ не свободенъ до нѣкоторой степени отъ Чепухи!—Но вѣдь Чепуха сколько разъ спасала меня, выручала меня изъ бѣдъ?—Это нужды нѣтъ: отнынѣ, вмѣсто Чепухи, тебя должна спасать Неуклонность...

Начинается:

Большой танецъ Неуклонности,

который отличается тѣмъ, что его танцуютъ не сгибая ногъ и держа голову наоборотъ.

III.

Друзья задумываются и полчаса молчатъ. Въ это время публицисты чистятъ носы, какъ бы приготовляясь запѣть

по первому требованію. Въ самомъ дѣлѣ, моментъ этотъ наступаетъ. Хлестаковъ выходитъ изъ задумчивости и говоритъ:—Третье условіе—ты долженъ умѣть танцовать «танецъ честности».

Начинается:

Большой танецъ Честности,

во время котораго публицисты поютъ:

Ахъ, когда же съ поля чести
Русскій воинъ удалой...

Но «танецъ честности» рѣшительно не вытанцовывается. Напрасно понуждаетъ Хлестаковъ свои ноги; напрасно публицисты то ускоряютъ, то замедляютъ темпъ, съ цѣлью придти въ соотвѣтствіе съ ихъ покровителями — ничто не помогаетъ. Опечаленный неудачею, но въ то же время скрывая оную, Хлестаковъ развязно говоритъ:—Все равно, будемъ, вмѣсто этого, танцовать:

Большой танецъ Благонамѣренности,

который и танцуетъ, подъ свистъ публицистовъ, поющихъ:

По улицѣ мостовой...

IV.

— Это все?—спрашиваетъ Давиловъ.—Покамѣстъ все, и ежели ты согласенъ, то мы можемъ приступить къ написанію взаимнаго оборонительно-наступательнаго трактата.—Согласенъ!—Въ такомъ случаѣ идемъ въ секретную комнату...

Открывается трапъ, и друзья исчезаютъ. Публицисты поютъ:

Тихо всюду! глухо всюду!
Быть тутъ чуду! быть тутъ чуду!

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

Картина IV.

Прелестное мѣстоположеніе; въ глубинѣ сцены храмъ Славы.

Содержаніе этой картины составляетъ процессъ Чепухи съ Излишнею Любознательностью, Лганьемъ и Враньемъ. Судьи: Хлестаковъ и Давиловъ; ассессоръ: Обираловъ; протоколистъ: Дантистъ. Чепуха доказываетъ свои права и

опирается преимущественно на то, что она одна въ состояніи смягчить слишкомъ суровую послѣдовательность прочихъ анакреонтическихъ фигуръ. Послѣднія однако-жъ оправдываются и говорятъ, что малый ихъ успѣхъ происходитъ единственно отъ участія Чепухи. Хлестаковъ колеблется; но Давиловъ явно склоняется на сторону подсудимой. Выходитъ рѣшеніе: «Подсудимую Чепуху учинить отъ слѣдствія и суда свободною и допустить попрежнему въ число анакреонтическихъ фигуръ». Въ народѣ раздаются клики восторженной радости; судьи взволнованы. Затѣмъ происходитъ;

Шествіе во храмъ Славы.

Дошедши до порога храма Славы, Хлестаковъ и Давиловъ, «какъ бы волшебствомъ какимъ», сливаются въ одно нераздѣльное цѣлое и принимаютъ двойную фамилію Хлестакова-Давилова. Съ своей стороны, Взятка и Аннета Постепенная тоже сливаются въ нераздѣльное цѣлое и принимаютъ двойную фамилію Взятки-Постепенной. Начинается:

Апоѳеозъ.

Хлестаковъ-Давиловъ стоитъ на возвышеніи, освѣщаемый молніей. По сторонамъ народъ, публицисты, фотографы и стража. Передъ Хлестаковымъ-Давиловымъ, на колѣняхъ, Взятка - Потихоньку - Постепенная на бархатной подушкѣ приподноситъ кованый изъ золота гербъ рода Хлестаковыхъ-Давиловыхъ:

Римскій огурецъ.

Народъ въ упоеніи пляшетъ; однако порядокъ не нарушается, потому что изъ-за кулисъ выглядываютъ будочники.

Занавѣсъ падаетъ.

IX.—Хищники.

Пою похвалу силѣ и презрѣніе къ слабости.

Я слишкомъ близко видѣлъ крѣпостное право, чтобы имѣть возможность забыть его. Картины того времени до того присущи моему воображенію, что я не могу скрыться отъ нихъ никуда. Я видѣлъ разумныя существа, которыя,

зная, что въ данную минуту ихъ ожидаетъ истязаніе или позоръ, шли *сами,* шли *собственными ногами,* чтобъ получить это истязаніе или позоръ. Я видѣлъ глаза, которые ничего не могли выражать, кромѣ испуга; я слышалъ вопли, которые раздирали сердце, но за которыми не слышалось ничего, кромѣ физической боли; я былъ свидѣтелемъ звѣрскихъ вожделѣній, которыя разгорались исключительно по поводу куска хлѣба. Въ этомъ царствѣ испуга, физическаго страданія и желудочнаго деспотизма нѣтъ ни одной подробности, которая бы минула меня, которая въ свое время не причинила бы мнѣ боли. Надѣюсь, что это своего рода отправный пунктъ, и притомъ достаточно твердый, чтобъ дать мнѣ право съ нѣкоторымъ знаніемъ дѣла говорить о томъ, какое несомнѣнное значеніе имѣетъ въ жизни сила, и какъ ничтожна и даже презрѣнна, въ сосѣдствѣ съ нею, слабость.

Да и не я одинъ; мы всѣ, сколько насъ ни есть, всѣ не свободны отъ этихъ привидѣній прошлаго; для всѣхъ они составляютъ неотразимый отправный пунктъ. Они до такой степени залегли въ основу всего нашего бытія, что мы не можемъ сдѣлать шагу, не справившись съ ними. Мы охотно называемъ ихъ призраками (отъ призраковъ все-таки до извѣстной степени освобождаетъ время); но нѣтъ, это даже не призраки. Это что-то такое, до того соприсущее намъ, такъ могущественно окрашивающее всякій поступокъ нашъ, что свѣтъ самый яркій, заклинанія самыя страшныя оказываются ничтожными, чтобъ отогнать чудовище, гонящееся за нами по пятамъ. Мы напрасно будемъ бороться съ нимъ, напрасно будемъ поднимать безсильныя руки, чтобъ поразить его: мы ничего не достигнемъ, не поразивши напередъ самихъ себя. Придутъ иные люди, которые познаютъ иную истину, произнесутъ иное слово; но мы, люди преданія, люди роковыхъ воспоминаній, мы не знаемъ другой истины, не произнесемъ другого слова, кромѣ: да торжествуетъ сила и да погибнетъ слабость! Одни изъ насъ произнесутъ это слово съ горечью, другіе— съ самодовольствомъ; но даже тѣ, которые искренно почувствуютъ приливъ негодованія при этихъ словахъ, должны будутъ въ полной мѣрѣ смириться передъ горькимъ смысломъ, скрывающимся въ нихъ, и безъ оговорокъ признать обязательное ихъ значеніе. Что пользы въ негодованіи и злобѣ, когда надъ нами тяготѣетъ фатализмъ, когда мы сами не вѣримъ творческой силѣ этого негодованія, когда мы ничего не можемъ, ни передъ чѣмъ не дерзаемъ?

Я никогда не видалъ, чтобы баранъ охотно шелъ не только на бойню, но даже вообще куда бы то ни было, куда ему идти не хочется. Обыкновенно, когда желаютъ получить хорошія котлеты, то барана волокомъ волокутъ къ мѣсту избіенія, и никто не внушаетъ ему при этомъ, что существуетъ на свѣтѣ какое-то отвлеченное понятіе, въ силу котораго онъ, въ данный моментъ, долженъ не упираться, а устремляться. Баранъ совсѣмъ не настолько простъ, чтобъ повѣрить подобнымъ внушеніямъ. Тѣмъ не менѣе не можетъ подлежать сомнѣнію, что такія понятія существуютъ, что они заставляютъ существа гораздо болѣе разумныя двигаться и производить такія дѣйствія, которыя прямо противоположны не только ихъ выгодамъ, но даже простому чувству самосохраненія. Но, можетъ-быть, скажутъ мнѣ: потому-то эти существа и двигаются, что они разумныя! Да; можетъ-быть, и такъ; но въ такомъ случаѣ невольно спрашиваешь себя: сквозь какое наслоеніе горечей, недоумѣній и нравственныхъ противорѣчій нужно было пройти, чтобъ получить въ результатѣ чудовищную безсмыслицу, дающую право гражданства косвенному самоубійству? сколько напрасныхъ подвиговъ требовалось, чтобы добровольно перепутать всѣ понятія и извратить всѣ инстинкты?

И тѣмъ не менѣе сила всегда была силою, даже во времена самаго глухого крѣпостничества. Человѣкъ, державшій камень за пазухой, всегда сознавалъ себя бодрѣе и безопаснѣе, нежели тотъ, кто прямо живьемъ отдавался въ руки. Конечно, въ то время и съ самымъ сильнымъ человѣкомъ можно было поступить на всей своей волѣ; но все-таки требовалось застать его врасплохъ, подойти къ нему сзади, а у большинства рыцарей безнаказанной оплеухи даже на это не ставало ни терпѣнія, ни сноровки. Слабаго же человѣка можно было повернуть вверхъ дномъ во всякое время и безъ малѣйшихъ сноровокъ. Понятно, почему борьбѣ со слабостью всегда отдавалось предпочтеніе.

Собственно говоря, тутъ даже и борьбы не было, потому что бороться съ слабостью, по малой мѣрѣ, столь же легко, какъ и ломать растворенную настежь дверь или брать приступомъ крѣпость, не защищаемую никакимъ гарнизономъ. Сколько легчайшихъ тріумфовъ можно одержать въ самое короткое время! сколько одержать блестящихъ побѣдъ! Будь дверь нѣсколько приперта, или, по крайней мѣрѣ,

заронись въ насъ убѣжденіе (положимъ, даже ложное), что она приперта — очень можетъ статься, что мы и не подошли бы къ ней. Кто знаетъ, что̀ тамъ, за этою дверью? сказали бы мы себѣ и благоразумно прошли бы мимо. Много-много, что поскрипѣли бы зубами. Тогда какъ дверь, отворенная настежь — вѣдь это явный, организованный разсчетъ на нашу храбрость, вѣдь это прямое приглашеніе войти и распорядиться! Какъ воздержаться тутъ? Какъ не размахнуться на существо, которое столь радушно пригибается для полученія ожидаемаго удара?

Мы каждоминутно, сами того не замѣчая, давимъ ногами и слѣдовательно лишаемъ жизни множество мельчайшихъ организмовъ, которые пресмыкаются на пути нашемъ, и нимало не формализируемся этимъ. Это одно уже доказываетъ, какъ гнусна слабость и какъ мало она имѣетъ правъ на существованіе. А такъ какъ это фактъ глухой и неотразимый, такъ какъ мы на слоновъ не наступаемъ, а наступаемъ именно и исключительно на однѣхъ букашекъ, червей и другихъ пресмыкающихся, то очевидно, что въ этомъ фактѣ мы почерпаемъ для себя право выводить всякія дальнѣйшія заключенія и сравненія. Но главное заключеніе будетъ все-таки таково: слабость презрѣнна, и потому для нея нѣтъ мѣста въ мірѣ. Всѣ остальные выводы и сравненія будутъ только болѣе или менѣе остроумными варіантами на эту главную тему.

Самъ наступай, самъ дави — кто же мѣшаетъ тебѣ?— вотъ резоннѣйшій изъ всѣхъ увѣтовъ, какіе мнѣ когда-либо случалось слышать по этому поводу. Ежели Петръ и Павелъ сильны, отчего же ты, Иванъ, слабъ? Въ самомъ дѣлѣ, отчего ты слабъ, несчастный Иванъ? Клянусь, что ты самъ никогда не разрѣшишь этой задачи! Но ежели ты не умѣешь даже догадаться, въ чемъ тутъ сущность, то естественно, что долженъ и вкушать плоды своей недогадливости.

Все это очень логично. Это тотъ же дарвинизмъ, только переложенный на русскіе нравы и прикрытый россійскимъ вицмундиромъ. Но когда я помышляю объ этомъ неупустительномъ примѣненіи законовъ борьбы, не знаю почему, мнѣ вдругъ дѣлается совѣстно. За кого совѣстно? за тѣхъ ли слабыхъ и безоружныхъ, которыхъ мы безнаказанно топчемъ ногами?—Нѣтъ, не за нихъ! Эти мелкія козявки погибаютъ такъ скромно и неслышно, что даже малѣйшимъ пискомъ не даютъ повода для проявленія какихъ бы ни было чувствъ по случаю ихъ погибели. И радъ бы пособо-

лѣзновать, да не знаешь объ чемъ... Да, за нихъ стыдиться и краснѣть нечего. Ихъ назначеніе было погибнуть, и они исполнили его честно. И тѣмъ не менѣе стыдъ все-таки остается стыдомъ. Онъ покрываетъ пурпуромъ щеки, онъ заставляетъ опускать глаза. По поводу чего же?

Мнѣ кажется, что тутъ играютъ роль не столько участвующія въ спорѣ стороны (даже сами тріумфаторы тутъ едва ли при чемъ-нибудь состоятъ), сколько нравственная сущность вопроса... А кромѣ того, быть-можетъ, немалое значеніе имѣютъ и нѣкоторыя этимологическія затрудненія, которыя возникаютъ при этомъ. Станешь придумывать, напримѣръ, какимъ именемъ назвать эти странныя отношенія, вслѣдствіе которыхъ ломать отворенную дверь признается болѣе умѣстнымъ и цѣлесообразнымъ, нежели ломать дверь, замкнутую на запоръ,—и не придумаешь... И застыдишься...

Тѣ, которые говорятъ: зачѣмъ напоминать о крѣпостномъ правѣ, котораго уже нѣтъ? зачѣмъ нападать на лежачаго? — говорятъ это единственно по легкомыслію. Хотя крѣпостное право, въ своихъ прежнихъ, осязательныхъ формахъ, не существуетъ съ 19-го февраля 1861 года, тѣмъ не менѣе оно и до сихъ поръ остается единственнымъ живымъ мѣстомъ въ нашемъ организмѣ. Оно живетъ въ нашемъ темпераментѣ, въ нашемъ образѣ мыслей, въ нашихъ обычаяхъ, въ нашихъ поступкахъ. Все, на что бы мы ни обратили наши взоры, все изъ него выходитъ и на него опирается. Изъ этого живоноснаго источника доселѣ непрерывно сочатся всякія нравственныя и умственныя оглушенія, заражающія нашъ воздухъ и растлѣвающія наши сердца трепетомъ и робостью.

Хищничество — вотъ наслѣдіе, завѣщанное намъ крѣпостнымъ правомъ; вотъ стихія, которая движетъ нами, передъ которою мы пресмыкаемся и раболѣпствуемъ, которую мы во всякую минуту готовы обожествить. Прежнія пресловутыя поговорки, въ родѣ: «съ сильнымъ не борись», «куда Макаръ телятъ не гонялъ», «куда воронъ костей не заносилъ», несмотря на ихъ ясность и знаменательность, представляютъ лишь слабые образчики той чудовищной терминологіи, которую выработало современное хищничество. Эта терминологія—вся сплошь какое-то дикое, озлобленное цырканье, въ которомъ нельзя отличить ни одного членораздѣльнаго звука, но которое и во снѣ заставляетъ

насъ цѣпенѣть.... А еще говорятъ: нѣтъ крѣпостного права! Нѣтъ, оно есть; но имя ему: хищничество. Это единственная сила, притягивающая къ себѣ современнаго человѣка, это единственное понятіе, насчетъ котораго не существуетъ разногласія.

Вездѣ, гдѣ мы замѣчаемъ хищничество, мы встрѣчаемъ его уже организовавшимся, представляющимъ нѣчто солидное, способное и нападать, и защищаться. Правда, это организація не очень мудрая (взялъ въ руки жердь—махай ею направо и налѣво!), но вѣдь тамъ и не требуется мудрости, гдѣ галушки сами собой въ ротъ лѣзутъ. Тутъ нужно только какъ можно чаще разѣвать пасть и проглатывать. Напротивъ того, слабость не только зарекомендовываетъ себя полною неспособностью къ организаціи, но, сверхъ того, почти всегда является деморализированною. Всѣ хитрости, на которыя она, по временамъ, поднимается, всѣ уступки, которыя считаетъ нужнымъ дѣлать,—все это не только не спасетъ ее отъ когтей хищничества, но даже укрѣпляетъ послѣднее, даетъ ему новое оружіе. «Эге! такъ ты еще извиваешься! такъ тебѣ въ петлю-то лѣзть не хочется! погоди же, я тебя оглушу!»—такъ хихикаетъ злорадное хищничество, и затягиваетъ да затягиваетъ понемножку мертвую петлю, отъ которой столь неискусно отбивалось обезумѣвшее отъ страха безсиліе. И вотъ, въ результатѣ оказывается, что разумнѣе и даже разсчетливѣе поступаетъ та слабость, которая не хитритъ и не уступаетъ, а прямо просовываетъ голову въ петлю... Сознаніе страшное, но, по крайней мѣрѣ, оно находитъ для себя смягчающее обстоятельство въ томъ, что при существованіи его не представляется слишкомъ легкаго повода для дешевыхъ издѣвокъ.

Увы! въ этомъ случаѣ, какъ ни кипь, все будетъ клинъ. И слабость извивающаяся, и слабость, отдающаяся живьемъ,—все на руку хищничеству, все укрѣпляетъ и украшаетъ его! Не знаешь даже, чему отдать преимущество. Вы можете имѣть безчисленное множество камней за пазухой и все-таки ни однимъ изъ нихъ не воспользуетесь. И не только не воспользуетесь, но постарастесь какъ-нибудь незамѣтнымъ образомъ ихъ обронить. Полезно бы было даже, если-бъ вы заранѣе убѣдились въ неизбѣжности этого результата запазушныхъ камней, потому что это убѣжденіе избавитъ насъ отъ потери времени и отъ лишнихъ, безполезныхъ движеній. Что̀ пользы въ резонахъ, доводахъ,

убѣжденіяхъ? Если вы обладаете ими, то постарайтесь забыть объ этомъ, постарайтесь оброннть вашъ умственный капиталъ такъ, чтобы никто этого не заподозрилъ. Хищничество не внимаетъ и не убѣждается, но раздражается и поступаетъ.

Въ этомъ весь секретъ хищничества, что оно не внимаетъ, а *поступаетъ*; въ этомъ вся выгода его позиціи. Если оно и встрѣчаетъ случайный отпоръ, то и тутъ не останавливается и не старается одолѣть его, но идетъ далѣе и ищетъ добычи въ другомъ мѣстѣ. Жертвъ такъ много, что формализироваться и умѣрять свой бѣгъ изъ-за одной, почему-то не сразу отдающейся жертвы—совершенно неблагоразумно. Хищничество знаетъ, что когда-нибудь оно все-таки воротится къ прежнему мѣсту, подойдетъ сзади, застигнетъ врасплохъ и ударитъ-таки жердью неподдающееся сразу безсиліе. Это своего рода охота, въ которой выраженіе: «не застрѣлилъ!» вовсе не означаетъ буквально: «не застрѣлилъ», а только: «на первый разъ промахнулся», или: «не успѣлъ застрѣлить».

Объясню примѣромъ, какъ выгодно иногда бываетъ не внимать и не резонировать, но прямо поступать.

Когда-то была у меня знакомая барыня. Это была женщина избалованная и несомнѣнно легконравная. Тѣмъ не менѣе въ ней еще сохранились, повидимому, нѣкоторыя смутныя представленія, которыя до извѣстной степени сдерживали ее и препятствовали слишкомъ неразсчетливому примѣненію теоріи laisser faire, laisser passer къ такому щекотливому дѣлу, какъ вольное обращеніе. Очень можетъ статься, что это было съ ея стороны и неискренно, но, по мнѣнію моему, есть случаи, въ которыхъ ограниченіе проявленій искренности не только не оскорбляетъ человѣческой совѣсти, но даже настоятельно требуется ею. Взирая на эту женщину, я говорилъ себѣ: вотъ субъектъ достаточно развращенный, но я все-таки радъ, что она сознаетъ необходимость сдерживать себя, потому что это доказываетъ, что и для нея еще есть возможность возврата. Точно такъ, какъ, взирая на человѣка, внутренно стремящагося произвести заушеніе, но воздерживающагося отъ того, я всегда говорю: конечно, этотъ человѣкъ изъ насилія сдѣлалъ руководящій законъ всего своего существованія, но я все-таки радъ, что онъ сдерживаетъ свои порывы, потому что это доказываетъ, что и относительно заушеній можетъ существовать нѣкоторая спасительная препона...

И вотъ эту-то самую женщину я встрѣтилъ на-дняхъ ночью на улицѣ. Она шла не совсѣмъ твердо, но смѣло и бойко смотрѣла въ глаза проходящимъ.

— Ну, что̀? какъ живется?—спросилъ я ее.

— Какъ видишь... бодрствую!

— Какъ же это однако?—вновь началъ я, недоумѣвая:— ночью? на улицѣ?

— И ночью, и днемъ, и во всякое время... дуракъ!

Только тогда я понялъ, только тогда я сказалъ себѣ: вотъ женщина, вступившая на тотъ самый путь, на которомъ не внимаютъ, но поступаютъ!

Не знаю почему, но, когда я сталкиваюсь съ современнымъ хищничествомъ, мнѣ невольно припоминается эта странная ночная встрѣча на улицѣ. И въ самомъ дѣлѣ, сходство положеній поразительное. Вся внѣшняя форма осталась; какъ будто даже сохранился и прежній человѣческій обликъ; утратился только стыдъ—и что-жъ? Пропалъ стыдъ—пропала и потребность внимать; а если пропала потребность внимать, то, стало-быть, ничего болѣе не осталось, какъ поступать, поступать и поступать.

Благо тому, кто сумѣетъ достигнуть этого яснаго воззрѣнія на міръ; благо тому, кто найдетъ въ себѣ достаточно силы, чтобы въ упоръ сказать проходящимъ: «презирайте меня! я настолько усовершенствовался, что даже болѣе, чѣмъ готовъ!» Этотъ счастливый смертный можетъ быть твердо увѣренъ, что онъ-то и есть тотъ самый бодрый духомъ субъектъ, котораго ни оплевать, ни презрѣть никто не посмѣетъ!

Повидимому, слабость такъ сама по себѣ неинтересна, что хищничеству положительно нѣтъ даже повода обращать на нее вниманіе. Есть однако-жъ причины, которыя объясняютъ это вниманіе довольно удовлетворительно.

Первая причина — опасеніе совмѣстничества. Какъ ни чахлы куски, выпадающіе на долю безсилія, какъ ни мало опасности представляютъ сами безсильные, хищничество не забываетъ, что міръ, въ которомъ оно дѣйствуетъ, есть міръ фантастическій, богатый всякаго рода сюрпризами. Уроки, вынесенные изъ крѣпостного права, до того вошли въ общественную совѣсть, что представляютъ руководящій кодексъ не только для хищничества, но и для безсилія. Нѣтъ той невозможности, которая не казалась бы возможною въ этой темной области чудесъ. Отсюда — необходи-

мость предупредить эту возможность и сдѣлать безсиліе настолько очевиднымъ для себя самого, чтобы самая мысль о сюрпризахъ представлялась ему не иначе, какъ въ видѣ дьявольскаго искушенія.

Очень часто, разсматривая какой-нибудь отдѣльный фактъ, въ которомъ безсиліе играетъ свою обычную роль оглушаемаго, и не умѣя себѣ объяснить, какую выгоду извлекаетъ хищничество изъ своего систематическаго преслѣдованія слабости, мы склоняемся къ мысли, что оно дѣйствуетъ въ этомъ случаѣ просто съ жиру, изъ одного безкорыстнаго желанія поиграть локтями.

— Жигнули!

— Поджарили!

— Въ лоскъ разорили!

Вотъ современнѣйшій изъ всѣхъ современныхъ разговоровъ, который на каждомъ шагу поражаетъ нашъ слухъ. Прислушавшись къ нему, мы приходимъ въ недоумѣніе. Мы спрашиваемъ себя, что̀ сотворилъ сей человѣкъ, котораго «жигнули», «поджарили», «разорили», и, по собраніи справокъ, убѣждаемся, что человѣкъ этотъ—простой смертный, наряду съ прочими унавоживавшій вселенную. «Просто бѣсятся наши хищники отъ прилива праздности!» восклицаемъ мы, думая разрѣшить этимъ восклицаніемъ наше недоумѣніе.

Но это только обманъ чувствъ или, лучше сказать, слѣдствіе нашей неспособности обобщать факты. Изъ того, что въ данномъ случаѣ хищничество дѣйствуетъ, не обнаруживая непосредственнаго разсчета, отнюдь нельзя выводить заключенія объ его дѣйствительной неразсчетливости. Оно бьетъ тотъ или другой экземпляръ безсилія совсѣмъ не потому, чтобъ это составляло для него наивное и безцѣльное препровожденіе времени, а потому, что этотъ экземпляръ есть представитель цѣлой породы, которая руководствуется все тѣми же обычаями щучьяго велѣнья, которыми руководствуется и хищничество. Избивая данный экземпляръ, оно, въ то же время, косвенно избиваетъ породу и такимъ образомъ блюдетъ за неприкосновенностью кусковъ.

Но есть и другая причина, побуждающая хищничество интересоваться слабостью. Это—брезгливость относительно всего, что̀ не носитъ на себѣ печати изящества. Чѣмъ выше мы поднимаемся по ступенямъ цивилизаціи, тѣмъ болѣе развивается въ насъ чувство изящнаго, чувство комфорта. Мы не только желаемъ сидѣть, ходить и ѣхать

удобно, но требуемъ, чтобы при отправленіи всѣхъ этихъ удобствъ ничто не оскорбляло нашего зрѣнія, не рѣзало нашего слуха, не смущало спокойствія нашей души. Не даромъ въ благоустроенныхъ и населенныхъ центрахъ не терпятъ присутствія нищихъ на улицахъ; не даромъ учреждаютъ комитеты для разбора и призрѣнія ихъ. Это дѣлается совсѣмъ не изъ непосредственнаго участія къ нищимъ, а для того, чтобъ они не оскорбляли взоровъ людей, удобно идущихъ и удобно ѣдущихъ, чтобы несвоевременно своею назойливостью не отвлекали ихъ отъ цѣлей, которыя они преслѣдуютъ. Хищничество знаетъ это общее правило благоустройства городовъ и селеній и примѣняетъ его къ своимъ потребностямъ. Хищничество—это, такъ сказать, высшая ступень цивилизованнаго комфортолюбія. Всякая фальшивая нота непріятно звучитъ въ его ушахъ, всякій болѣзненный вопль заставляетъ оглядываться. Но спрашивается: найдется ли въ мірѣ предметъ, который былъ бы фальшивѣе и болѣзненнѣе безсилія? Есть ли въ природѣ зрѣлище, которое возбуждало бы болѣе презрѣнія и даже справедливаго негодованія, нежели зрѣлище безсильнаго человѣка, который сидитъ, ходитъ, ѣстъ и вообще производитъ всякія отправленія, какъ будто онъ и въ самомъ дѣлѣ не гадина, а человѣкъ, имѣющій право дышать воздухомъ и пользоваться лучами солнца!

— Представьте себѣ, вѣдь еще вздумалъ упираться, гадина!—говорилъ мнѣ однажды молодой хищникъ, разсказывая исторію своей расправы съ какою-то очень ничтожною и безотвѣтною козявкою: — мы его, знаете ли, за волосы—такъ нѣтъ! корячиться вздумалъ... клопъ постельный!

Я взглянулъ хищнику въ лицо: оно пылало такимъ искреннимъ негодованіемъ, что мнѣ сдѣлалось жутко.

— И онъ васъ очень больно укусилъ... этотъ клопъ?— спросилъ я не безъ волненія.

— Кто укусилъ? кого укусилъ? кто вамъ говоритъ, что укусилъ? — напустился онъ на меня: — развѣ эта мерзость кусаетъ? ее нужно истреблять... потому... потому...

Онъ не могъ докончить, потому что негодованіе сковывало его мысль, сдавливало горло и задерживало тамъ приличныя случаю выраженія.

А говорятъ, что крѣпостничество умерло и погребено. Какимъ же именемъ слѣдуетъ назвать явленія только-что нами описанныя и несомнѣнно существующія?

Это именно самый любопытный моментъ въ исторіи развитія хищничества, тотъ моментъ, когда оно не только поступаетъ, но и сентиментальничаетъ, то-есть выставляетъ на видъ свои добродѣтели.

Если кто-нибудь написалъ книгу: «Избранные анекдоты изъ жизни Картуша» и разсказалъ бы въ ней, какъ этотъ знаменитый мужъ, обобравъ нѣкотораго субъекта, не только не извинился передъ нимъ, но даже разсердился за то, что тотъ не поблагодарилъ его, то всякій, конечно, назвалъ бы такой разсказъ небылицею. Картушъ не могъ заявлять подобныхъ претензій уже по тому одному, что у него не было для того лишняго времени. Что-нибудь одно: или платки воровать, или пускаться въ сердечныя изліянія.

Но если я разскажу нѣчто подобное о современномъ хищничествѣ, то не только не буду въ противорѣчіи съ истиной, но, напротивъ того, констатирую одну изъ самыхъ существенныхъ чертъ этого интереснаго явленія.

Хищничество идетъ дальше какого-нибудь презрѣннаго Картуша; оно грабитъ, разоряетъ и уязвляетъ, и въ то же время находитъ справедливымъ, чтобы въ уязвленномъ субъектѣ играло сердце. Оно любитъ видѣть лица довольныя, и ежели факты не соотвѣтствуютъ его ожиданіямъ, то укоряетъ въ неблагодарности и нераскаянности.

Оно смотритъ на свои подвиги, какъ на «науку». Этотъ взглядъ есть также несомнѣнное и прямое наслѣдіе крѣпостного права. Мы всѣ помнимъ, какъ сѣкли и истязали и вслѣдъ затѣмъ заставляли цѣловать истязующую руку. Это называлось «благодарить за науку». Благодарящій обязывался имѣть видъ бодрый и напредки готовый, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, онъ рисковалъ возбудить вопросъ: «эге, братъ! да ты, кажется, недоволенъ!» Опаснѣе этого вопроса ничего не могло предстоять, ибо съ той минуты, какъ онъ возникалъ, обвиняемый навсегда поступалъ въ разрядъ нераскаянныхъ и неисправимыхъ.

Что̀ такое нераскаянность?—нераскаянность есть то самое состояніе человѣческаго сердца, въ которомъ находится, напримѣръ, лакей, не вычистившій барскихъ сапоговъ и не чувствующій при этомъ угрызенія совѣсти.

Повтореніе или рядъ такого рода нераскаянностей составляетъ то, что̀ мы называемъ неисправимостью.

Въ бывалыя времена, если нераскаянность и неисправимость свивали себѣ гнѣздо въ сердцѣ меньшаго брата, то это неизбѣжно доводило сего послѣдняго или до ссылки въ

Сибирь, или до отдачи въ солдаты. Иногда, впрочемъ, нераскаянныхъ отдавали въ пудретное заведеніе.

— Не то, сударь, больно, что сапоги третій день стоятъ нечищенные! важно ожесточеніе, важна нераскаянность!

Такого рода прибаутками отшучивались мы, въ былыя времена, когда дѣлали распоряженіе объ исправленіи меньшаго брата на конюшнѣ и желали придать этому распоряженію нѣкоторый лоскъ законности.

Бываютъ минуты въ жизни обществъ, когда особенно много является нераскаянныхъ. Однимъ изъ такихъ моментовъ были мѣсяцы, непосредственно предшествовавшіе упраздненію крѣпостного права. Въ это достопамятное время нераскаянныхъ толпами приводили въ губернскія правленія и рекрутскія присутствія; пудретныя заведенія тоже были переполнены. И если-бъ правительство не приняло мѣръ, то легко можетъ статься, что вся Россія попала бы въ разрядъ нераскаянныхъ.

— За что̀ ихъ ссылаютъ? — спрашиваешь, бывало, какого-нибудь довѣреннаго холопа, пригнавшаго въ городъ цѣлую деревню нераскаянныхъ (въ то время «нераскаянный» меньшій братъ пригонялся вмѣстѣ со всѣми нераскаянными домочадцами и даже съ нераскаянными грудными младенцами; на мѣстѣ оставалось только нераскаянное имущество, то-есть дома̀ и скоѓъ меньшихъ братьевъ).

— За ихнюю нераскаянность-съ... Потому, значитъ, помѣщикъ имъ добра желаютъ-съ, а они этого понять не хотятъ.

— Что̀ же однако они сдѣлали?

— Сѣкли ихъ, значитъ... ну, а они, замѣсто того, чтобъ благодарить за науку, совершенно, значитъ, никакого чувствія...

Это было послѣднее слово крѣпостного хищничества. Получай въ зубы, и да величитъ душа твоя. Это же послѣднее слово и хищничества современнаго.

Я мало чему удивляюсь, мало отъ чего прихожу въ негодованіе. Когда на моихъ глазахъ изъ моего ближняго выпускается извѣстная порція сока, зрѣлище это не производитъ во мнѣ нервной дрожи, но только заставляетъ зажмурить глаза и поскорѣе пройти мимо. Я слишкомъ хорошо затвердилъ изреченія: «не ваше дѣло» и «васъ никто не спрашиваетъ», чтобъ не принять ихъ къ непремѣнному руководству и исполненію. Но, признаюсь, ученіе, въ силу котораго истязуемый субъектъ обязывается не только съ

кротостью принимать побои, но и производить по этому поводу благодарныя тѣлодвиженія, всегда поражало своею смѣлостью. Мнѣ кажется даже, что ежели въ основаніи его и лежитъ извѣстная доля истины, то все-таки пропагандировать его слѣдуетъ какъ можно осторожнѣе, ибо не всякій подобную истину можетъ вмѣстить.

Мнѣ очень часто случалось вести объ этомъ предметѣ очень поучительные разговоры съ людьми свѣдущими и опытными.

— Послушайте!—говорилъ я:—какъ хотите, а я рѣшительно понять не могу, зачѣмъ вы требуете, чтобъ у меня сердце играло, когда вы производите надо мной опыты истребленія насѣкомыхъ? Я согласенъ, что вы имѣете за себя право хищничества—ну, и пользуйтесь имъ, какъ заблагоразсудите! Хлопайте, отравляйте, упраздняйте—но къ чему же нужна вамъ моя благодарность? что̀ можетъ прибавить къ вашему благополучію веселіе моего сердца?

— Гм!.. а понять однако не трудно!

— Растолкуйте, пожалуйста!

— И растолковать не трудно. Вы, можетъ-быть, слышали, что есть на свѣтѣ вещь, которая называется строптивостью? Это та самая, которую необходимо истребить. И только.

Да, и только. Если у васъ вынимаютъ изъ кармана платокъ, спѣшите показать вашему вору видъ, что вы очень счастливы: тогда, быть-можетъ, онъ дастъ вамъ другой, похуже. Но Боже васъ сохрани придти въ негодованіе и закричать: «караулъ!»—воръ непремѣнно разсердится и сниметъ съ васъ, за грубость, и сюртукъ.

Тѣмъ не менѣе я позволяю себѣ думать, что эта требовательность хищничества не только излишняя, но даже свидѣтельствуетъ о какой-то чрезмѣрной изнѣженности. Оскорблять человѣка и въ то же время хотѣть, чтобъ онъ не оскорблялся — помилуйте! да вѣдь въ этомъ даже нѣтъ смысла, потому что тутъ одна половина предположенія явно противорѣчитъ другой. Только слишкомъ избалованный человѣкъ можетъ съ столь безумной отвагой предаваться подобнымъ капризамъ мысли; только слишкомъ забубенная и крѣпко выкованная голова можетъ ихъ выносить, не ощущая при этомъ ни малѣйшаго безпокойства. Ужели же вы не чувствуете, о хищники, что тутъ есть провалъ, что въ этомъ предположеніи потерянъ цѣлый членъ, отсутствіе котораго даже препятствуетъ образованію правильнаго силлогизма?!

Или, можетъ-быть, вы и чувствуете это, да говорите себѣ: ну, что-жъ, и пускай будетъ провалъ! чѣмъ больше безсмыслицы и проваловъ, тѣмъ меньше строптивости, тѣмъ менѣе разговоровъ!

Правильно.

Ты несомнѣнно ошибешься, читатель, ежели примѣнишь написанное выше къ той или другой общественной сферѣ, къ тому или другому общественному классу. Я совсѣмъ не Петровъ и Ивановъ имѣю въ виду, и даже не статскихъ и коллежскихъ совѣтниковъ (хотя многіе изъ нихъ не безъинтересны), а вообще *весь* общій строй современной жизни, въ которомъ дѣйствующими лицами могутъ найтись и Петры, и Иваны, и статскіе, и всякіе другіе совѣтники. *Всю* общественную ниву заполонило хищничество; *всю* ее, вдоль и поперекъ, избороздило оно своимъ проклятымъ плугомъ. Нѣтъ уголка въ цѣломъ мірѣ, гдѣ не раздавались бы жалобы на упадокъ жизненнаго уровня, гдѣ не слышалось бы вопля: нѣтъ убѣжища отъ хищничества! некуда скрыться отъ него! Головы несомнѣнно мѣдныя—и тѣ тронулись имъ, и тѣ поняли, что слабость презрѣнна, и что только сила, грубая, неразумная сила имѣетъ право на существованіе. Повсемѣстно идетъ чавканье и заглатыванье, а челюсти такъ торопливо работаютъ, что поневолѣ становится холодно. Невольно спрашиваешь себя: что̀ же будетъ, когда хищники переѣдятъ всѣхъ слабыхъ и ни одного изъ нихъ не останется налицо, чтобы отвѣтить на мучительные и всеминутные запросы плотоядности? ка̀къ поступятъ они? начнутъ ли рвать за горло другъ друга, или же сочтутъ свою миссію оконченною и положатъ зубы на полку?

Вопросъ этотъ такъ заинтересовалъ меня, что я счелъ нелишнимъ предложить его на заключеніе глубокомысленному моему другу, Ѳеденькѣ Козелкову.

— Какъ ты думаешь, другъ мой, — спросилъ я его:— когда вы переѣдите всѣхъ мирно удобряющихъ землю обывателей, какъ поступите вы?

Ѳеденька временно затруднился, однако-жъ не отказался отъ разрѣшенія вопроса.

— Думаю,—отвѣчалъ онъ:—что тогда мы начнемъ ѣсть другъ друга... потому что... ты понимаешь... безъ пищи...

— Позволь однако, мой другъ! Знаю я, что безъ пищи неловко, но вѣдь вы и другъ друга въ концѣ концовъ поѣдите—что̀ же тогда?

— Но вѣдь кто же нибудь да останется! — разсудилъ онъ: — и я полагаю, что судьба этого оставшагося будетъ не изъ плохихъ...

— Глупенькій! да ты предположи, что этотъ оставшійся— ты! Что̀-жъ ты дѣлать будешь? вѣдь ты всѣхъ переѣшь, ты даже Деверію съѣшь—куда же ты дѣнешься?

Эта мысль видимо изумила Ѳеденьку; въ его глазахъ блеснулъ почти лучъ мысли. Опасность, которую я такъ неожиданно раскрывалъ передъ его умственнымъ взоромъ, расположила его сердце къ благодарности, такъ что онъ, послѣ нѣкоторыхъ колебаній, рѣшился даже пожать лишній разъ мою руку (одинъ Богъ только знаетъ, какъ онъ разсчетливъ на эти пожатія!).

— Во всякомъ случаѣ,—сказалъ онъ мнѣ:—догадка твоя весьма остроумна и сто̀итъ того, чтобъ надъ ней поработать! Было бы болѣе нежели прискорбно, если-бъ я... или кто-нибудь другой (прибавилъ онъ скромною скороговоркой)... былъ вынужденъ на такую печальную и радикальную мѣру, какъ...—Онъ остановился, видимо затрудняясь...

— Какъ съѣсть Деверію?—выразилъ я его мысль.

— Ну да... ты понимаешь... есть такіе предметы, по поводу которыхъ безъ боли нельзя даже приподнимать завѣсу будущаго!

Однако онъ ее приподнялъ, эту завѣсу. Спустя нѣсколько дней, встрѣтившись со мною, онъ сказалъ:

— Знаешь ли, я много думалъ о томъ, что̀ мы въ послѣдній разъ говорили съ тобой, и пришелъ къ такому результату: да, мы *должны* будемъ временно положить зубы на полку! И сверхъ того, — прибавилъ онъ: — озаботиться объ умноженіи народонаселенія!

Какъ ни проста (почти даже глупа) форма, въ которой выразилась мысль Ѳеденьки, я нашелъ однако-жъ, что она не только справедлива, но даже обнаруживаетъ замѣчательную желудочную предусмотрительность. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, я счелъ необходимымъ нѣсколько испытать моего юнаго друга.

— Какъ, душа моя, ты находишь необходимымъ принять мѣры къ увеличенію народонаселенія? Но ежели результатомъ этихъ мѣръ будетъ распложеніе нигилистовъ?

— Все равно! нигилистовъ, коммунистовъ... даже сепаратистовъ, лишь бы было съѣдобное! Конечно, это самая трудная, можно сказать даже, почти невыполнимая сторона задачи, но если это нужно... если обстоятельства потре-

буютъ... если наконецъ законъ политической необходимости... я готовъ!

Рѣшимость, съ которою Ѳеденька произнесъ эти слова, была такъ велика, что и меня заставила призадуматься. Повидимому, онъ былъ до того убѣжденъ, что даже посѣтовалъ на Каткова и Скарятина, которые, по словамъ его, дѣйствовали неблагоразумно и неразсчетливо, пропагандируя въ литературѣ мысль, что нигилистовъ слѣдуетъ вываривать изъ общества, какъ клоповъ изъ кроватей.

— Ты пойми, мой другъ, что все-таки они... дворяне!—сказалъ онъ, многозначительно прикладывая палецъ къ губамъ.

И затѣмъ онъ подробно изложилъ мнѣ свой планъ. Планъ этотъ былъ хорошъ несомнѣнно: сперва наплодить нигилистовъ, потомъ съѣсть ихъ, потомъ опять наплодить—это до такой степени просто и ясно, что даже можетъ привести въ умиленіе. Но для того, чтобы осуществить этотъ планъ, все-таки необходима разсчетливость, а слѣдовательно и контроль. Нужно опредѣлить заранѣе порцію каждаго дня, чтобы оскудѣніе въ нигилистахъ оставалось незамѣтнымъ, и чтобы масса съѣдобнаго матеріала пребывала всегда неизмѣнною. Для этого понадобятся нѣкоторыя предварительныя свѣдѣнія и даже точныя статистическія изслѣдованія. Уяснить точную цифру хищниковъ въ данной мѣстности и обезпечить для нихъ вполнѣ вѣрные источники продовольствія—дѣло не легкое. Не нужно ли для этого придумать новое вѣдомство, или хоть канцелярію, или, по малой мѣрѣ, какое-нибудь ученое общество? Эти затрудненія я счелъ невозможнымъ скрыть отъ Ѳеденьки, но онъ и тутъ успокоилъ меня, сказавъ, что возбудитъ этотъ важный вопросъ въ одномъ изъ ближайшихъ засѣданій географическаго общества.

Но—увы!—не всѣ хищники настолько предусмотрительны, какъ Ѳеденька. Большинство ихъ рѣшительно глотаетъ зря, полагая, вѣроятно, что запасъ нигилистовъ и демагоговъ неистощимъ, и что стòитъ только окунуть руку въ какое-нибудь учебное заведеніе, чтобы вытащить оттуда нигилиста...

Дай Богъ. А все-таки какъ-то боязно. Чтò, если и въ самомъ дѣлѣ опасенія Ѳеденьки оправдаются? Чтò, если наступитъ такая минута, когда на всемъ земномъ шарѣ останется только *одинъ* хищникъ самъ-другъ съ г-жою Деверія?

Эта мысль наполняетъ мое сердце ужасомъ. Но не хочу обольщать себя: вопросъ, который она заключаетъ, есть воистину насущнѣйшій изъ всѣхъ современныхъ вопросовъ.

Къ удивленію, онъ слишкомъ мало распространенъ въ обществѣ. Хищники, увлеченные успѣхомъ, какъ будто совсѣмъ не думаютъ о будущемъ и, играючи, срываютъ цвѣты удовольствія. Вездѣ, куда ни придете, вездѣ только и слышите растлѣнные разговоры о томъ, какъ достойна уваженія сила, и какъ презрѣнна и достойна поруганія слабость. И разговариваютъ такъ просто, какъ будто это дѣло совсѣмъ-совсѣмъ безспорное, и не видать ему конца края.

— Вотъ, батюшка, сила-то что̀ значитъ!—говорятъ одни:— даже въ глазахъ силы бо̀льшей, силы несомнѣнной, она все-таки не перестаетъ быть силой! даже несомнѣнная сила—и та считаетъ нелишнимъ ее менажировать и договариваться съ нею!

— Взгляните, напримѣръ, на такого-то Икса! — прибавляютъ другіе:—не проходитъ дня, чтобы онъ чего-нибудь не надебоширничалъ, однако его не знаетъ ни полиція, ни мировой судъ! Почему-съ, смѣю васъ спросить? а просто потому, что это мужчина сильный и изъ себя видный! Взгляните, напротивъ того, на какого-то Зета! вотъ онъ и не дебоширничаетъ, даже по середкѣ тротуара никогда не пройдетъ, а все къ сторонкѣ жмется,—а изъ части да изъ суда не выходитъ! А отчего, спрашиваю я васъ? а все оттого, милостивые государи, что Зетъ видомъ жидокъ, и что за такую его провинность всякаго порядочнаго человѣка такъ и подмываетъ ковырнуть ему масла, ушибить полѣномъ или сдѣлать всяческую другую непріятность!

Понятно, какія поученія выводятъ для себя ревнители хищничества изъ этихъ разсужденій. Сила, думаютъ они, одна успѣваетъ, а слѣдовательно къ ней одной и тяготѣть надлежитъ. Отсюда та громадная масса, которая постепенно скопляется около всякаго хищника и которая служитъ ему отчасти съѣдобнымъ матеріаломъ, отчасти орудіемъ для уловленія простодушныхъ и слабыхъ. Мало-по-малу въ этой компактной толпѣ упраздняется понятіе о добромъ и зломъ, о правомъ и неправомъ, о полезномъ и вредномъ. Что̀ такое долгъ? Что такое право и правда? Какія отношенія человѣка къ обществу? Все это вопросы лишніе, пустые, созданные плѣнною мыслью идеологовъ только для затрудненія и отравы жизни. Хищничество, хищничество и

хищничество—вотъ единственный свѣтящій маякъ жизни, вотъ единственный кодексъ, обязательный для современнаго человѣка; все остальное—хаосъ и смятеніе.

Міръ представляется чѣмъ-то въ родѣ громаднаго пирога съ начинкой, къ которому чѣмъ чаще подходишь закусывать, тѣмъ сытнѣе будешь. Что̀ нужды, что виднѣется уже край пирога, что скоро, быть-можетъ, на блюдѣ останутся одни объѣдки! Хищничество не любитъ ни обобщать, ни распространять положеній далѣе видимыхъ ихъ предѣловъ; ему нѣтъ дѣла ни до завтрашняго дня, ни до тѣхъ, которые придутъ послѣдними и не найдутъ на столѣ ни крупицы. Лишь бы мы были тучны и сыты, лишь бы наши утробы ломились отъ пресыщенія, — о прочемъ мы не хотимъ и вспоминать, хотя бы оно завтра же погибло и обрушилось. Мы не хотимъ подумать даже о томъ, что мы сами можемъ обрушиться вмѣстѣ съ этимъ прочимъ. А можетъ-быть, какъ-нибудь да выкарабкаемся! утѣшаемъ мы себя.

Всѣ хищники таковы; всѣ они столь же предусмотрительны, какъ и самые низшіе организмы; всѣ убѣждены, что лишь бы удалось украсть сто рублей, то этому капиталу и конца никогда не будетъ.

Обличить несостоятельность этого скуднаго взгляда, показать хищникамъ не совсѣмъ свѣтлую перспективу, которая ожидаетъ ихъ въ будущемъ,—это, во всякомъ случаѣ, подвигъ, достойный вниманія и заслуживающій всяческаго сочувствія. Я не питаю особенной симпатіи къ хищничеству, какъ къ признаку извѣстнаго общественнаго настроенія, но каждый изъ хищниковъ, взятый въ отдѣльности, скорѣе возбуждаетъ во мнѣ сожалѣніе, нежели ненависть.

Что̀ такое ненависть?—это, во всякомъ случаѣ, чувство ненормальное, которое можетъ быть оправдано только какъ продуктъ временнаго стеченія такихъ условій, которыя дѣлаютъ существованіе въ ихъ средѣ человѣка особенно тяжкимъ. Мы ненавидимъ извѣстныя историческія положенія, забывая, что выраженіе: «историческое» уже снимаетъ съ нихъ всякое обвиненіе. Но еще менѣе имѣемъ мы право ненавидѣть отдѣльныя лица, принимающія участіе въ историческихъ положеніяхъ. Стало-быть, не то ненавистно, что сильное заявляетъ право на существованіе, а то, что слабое считается имѣющимъ право только на погибель. Наименѣе симпатичная въ этомъ смыслѣ порода людей—

это, безспорно, порода хищниковъ; но и ее имѣемъ ли мы основаніе ненавидѣть?—нѣтъ, не имѣемъ, ибо всякій хищникъ, въ сущности, до такой степени глупъ, что онъ легко можетъ съѣсть самого себя — и не замѣтить этого. Совмѣстно ли съ справедливостью ненавидѣть этихъ жалкихъ людей, можно ли даже прилагать къ нимъ принципъ вмѣняемости?

Вотъ почему я и не ненавижу, а только сожалѣю. Меня ужасаетъ эпоха, ужасаетъ историческое положеніе, въ которомъ погибаетъ столько живыхъ существъ... а въ томъ числѣ и хищниковъ. Да, я убѣжденъ, что и они подлежатъ закону естественнаго возмездія, что и они возвратятъ все взятое.

Нѣтъ положенія болѣе горькаго и неловкаго, какъ положеніе вчерашняго тріумфатора, переставшаго быть тріумфаторомъ нынѣшнимъ. Независимо отъ обязанности отдать (какъ говорится, до послѣдней полушки) отчетъ въ недавнихъ тріумфахъ, человѣкъ этотъ не можетъ не чувствовать себя оскорбленнымъ и оплеваннымъ. Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда тріумфъ его былъ вполнѣ правильный, и тогда его положеніе не можетъ назваться легкимъ въ виду тѣхъ подозрѣній, которыя надъ нимъ тяготѣютъ. Правда, онъ можетъ со временемъ очиститься отъ нихъ и послѣ того опять предпринять какой-нибудь тріумфъ; но легче произнести это слово (очиститься), нежели добиться его осуществленія. Сколько разныхъ перипетій и случайностей скрывается за этимъ словомъ! сколько систематическихъ fins de non recevoir! И все это даже въ такомъ случаѣ, когда тріумфъ былъ вполнѣ законный. Судите послѣ этого, каково должно быть положеніе такого тріумфатора, котораго всѣ тріумфы состояли въ томъ, что онъ тогда-то столько-то укралъ, а тогда-то столько-то оглушилъ? О, это не дай Богъ какое положеніе!

Въ этихъ-то собственно видахъ я и обличаю; обличаю жалѣючи. Я не разъ выражалъ мнѣніе, что жизнь правильная, нормальная не терпитъ тріумфовъ, и что тріумфаторство вообще есть продуктъ натянутости и неестественности общественныхъ отношеній. Этого мнѣнія я держусь и теперь. Какъ только откажемся мы отъ легкихъ и даже трудныхъ тріумфовъ, такъ, вмѣсто призраковъ, выступитъ у насъ наружу дѣйствительное дѣло. И хищники исчезнутъ...

X.—Самостоятельная современность.

Всякому читателю, безъ сомнѣнія, случалось имѣть дѣло съ людьми, которыхъ ограниченность ясна съ перваго взгляда, но которые въ то же время поражаютъ своею самоувѣренностью. Изъ всѣхъ человѣческихъ типовъ это самый надоѣдливый и нестерпимый. Просто ограниченный человѣкъ хранитъ свою ограниченность про себя; онъ не совершаетъ ничего особенно плодотворнаго, но зато ничего и не запутываетъ. Совсѣмъ другое дѣло—ограниченность самодовольная, сознавшая себя мудростью. Она отличается тѣмъ, что насильственно врывается въ сферы ей недоступныя и стремится распространить свои крилѣ всюду, гдѣ слышится живое дыханіе. Это своего рода зараза, чума. Низменные идеалы, которые она себѣ выработала или, лучше сказать, которые получила въ наслѣдство вмѣстѣ съ прочею рухлядью прошлаго, перестаютъ быть *ея* идеалами, а становятся образцомъ для идеаловъ общечеловѣческихъ; азбучность становится обязательною: глупыя мысли, дурацкія рѣчи сочатся отовсюду, и совокупность ихъ получаетъ наименованіе «морали». «Я заплатилъ за мѣсяцъ прислугѣ, я ни копейки не долженъ въ мелочную лавку — я счастливъ. Отчего же *моему* счастью не быть образцомъ счастья общечеловѣческаго? отчего тѣмъ законамъ, которыми *я* руководствуюсь въ моемъ обыденномъ хозяйствѣ, не служить руководящею нитью и въ міровой жизни?» Такъ вопрошаетъ себя ограниченный человѣкъ и, самодовольно убѣжденный въ своей житейской мудрости, утверждаетъ непререкаемо, что происходящія передъ его глазами запутанности и затрудненія суть не что иное, какъ созданіе разгоряченной фантазіи людей, которые не умѣютъ свести концы съ концами.

Что такого рода выводъ вполнѣ произволенъ и даже глупъ — это ясно съ перваго взгляда; но все-таки ясно лишь для ума, привыкшаго анализировать и разсуждать. Большинство же приходитъ къ уясненію себѣ этой произвольности чрезвычайно туго, и вотъ почему мы видимъ, что, запасшись подобными выводами, люди могутъ не только почерпать въ нихъ личную безпредѣльную самоувѣренность, но и отуманивать ими массы людей. Какъ ни загадочнымъ кажется успѣхъ ограниченныхъ людей, тѣмъ не менѣе это фактъ, противъ реальности котораго безполезно

возражать. Личности подобнаго закала пользуются и авторитетомъ, и почетомъ, и даже славою. Всякой попыткѣ прорваться въ область сознательности они кричатъ навстрѣчу: довольно!—и попытка стушовывается безъ возраженій. Поэтому пренебрегать ими, смотрѣть на нихъ исключительно какъ на общественную мебель, невозможно.

По всѣмъ этимъ соображеніямъ, я постараюсь объяснить: во-первыхъ, въ чемъ собственно заключается произвольность выводовъ, подобныхъ указаннымъ выше; во-вторыхъ, вслѣдствіе какихъ причинъ и въ какой средѣ такіе выводы получаютъ авторитѣтность, и, въ-третьихъ, наконецъ, къ чему можетъ придти общество, усматривающее высшій жизненный идеалъ въ органиченности желаній и стремленій.

Что каждый имѣетъ право предъявлять свое собственное, лично ему принадлежащее, воззрѣніе на счастіе и согласно съ этимъ воззрѣніемъ устраивать свою жизнь—это истина, которую, конечно, никто не станетъ оспаривать. Личное счастіе можетъ быть усматриваемо и въ обладаніи нѣкоторыми матеріальными удобствами, и въ достиженіи цѣлей, которыя никого не занимаютъ, кромѣ лица, непосредственно ими заинтересованнаго, и даже въ простомъ соблюденіи привычекъ. Здѣсь все зависитъ отъ бо́льшей или меньшей ширины міросозерцанія; а такъ какъ область міросозерцанія недоступна регламентаціи, то даже самыя пошлыя желанія и стремленія могутъ заявлять о правѣ на существованіе. «Я счастливъ, потому что на мнѣ отлично сидятъ панталоны»; «я счастливъ, потому что принятъ въ такихъ-то домахъ»; «я счастливъ, потому что у меня карета и пара лошадей»—все это своего рода идеалы, и хотя въ нихъ нѣтъ ничего особенно умнаго, но въ то же время и незаконнаго ничего нѣтъ.

Вопросъ не въ законности личныхъ идеаловъ, а въ ихъ общеобязательности, и какъ только вопросъ этотъ рѣшается въ пользу личныхъ идеаловъ и въ ущербъ идеаламъ общимъ, такъ тотчасъ же отношенія къ жизни и ея явленіямъ становятся натянутыми и запутанными. А этой-то именно обязательности и добивается ограниченность, переносящая свое самодовольство изъ сферы домашняго очага въ сферу высшихъ человѣческихъ интересовъ.

Первое и главное основаніе, на которое въ этомъ случаѣ опирается ограниченность, заключается въ конкретности фактовъ, служащихъ для нея отправнымъ пунктомъ.

«Я счастливъ, потому что не спорю съ небесами»; «я счастливъ, потому что не дѣлаю набѣговъ въ область неизвѣстнаго»; «я доволенъ, потому что страданіе и бѣдность, какъ общій вопросъ, не смущаютъ меня» — вотъ факты, которые можно сейчасъ же повѣрить и противъ конкретности которыхъ трудно что-нибудь возразить! Дѣйствительно, вы видите человѣка, который несомнѣнно и съ небесами не споритъ, и въ то же время несомнѣнно счастливъ. «Такъ вотъ какъ легко дается счастье-то!» думаетъ человѣкъ, взирая на румяную и раскормленную ограниченность, и до того соблазняется этою легкостью, что даже не договариваетъ: «стòитъ только быть ограниченнымъ человѣкомъ!» А между тѣмъ это недомолвка очень важная и приводящая къ цѣлому ряду запутанностей и лжей.

Въ чемъ же тутъ ошибка? Да въ томъ именно, что конкретность фактовъ, подобныхъ упомянутымъ выше, присуща только имъ самимъ и ни для какихъ обобщеній повода не даетъ. Не только конкретность такихъ фактовъ, которые имѣютъ чисто-личный характеръ, но даже и такихъ, какъ, напримѣръ, «Крестецкій уѣздъ счастливъ, потому что въ немъ существуетъ банкъ», или «городъ Скопинъ счастливъ, потому что въ немъ имѣется дѣятельный городской голова Рыковъ». Даже это не даетъ основанія сказать: такъ пусть же весь міръ будетъ счастливъ, какъ Крестецкій уѣздъ или какъ городъ Скопинъ! Единственное обобщеніе, которое можно допустить по поводу подобныхъ конкретностей,—это слѣдующее: каждый человѣкъ, а также каждый городъ, каждая весь имѣютъ право быть счастливыми по-своему. Идти далѣе по пути обобщеній уже значитъ прибѣгать къ подтасовкѣ, значитъ легкомысленно или преднамѣренно закрывать глаза на ту пропасть, которая лежитъ между явленіями совершенно разныхъ порядковъ. «Стòитъ только быть ограниченнымъ» — вотъ очень полезная въ этомъ случаѣ поправка, и всякій, вдумавшись въ нее, согласится, что могутъ быть даже такіе виды счастія, которые прямо свидѣтельствуютъ о порабощеніи духовной стороны человѣка сторонѣ животненной. Спрашивается: можно ли присвоивать такимъ видамъ личнаго счастія характеръ общеобязательный?

Отсутствіе такого рода поправки ведетъ къ весьма важному смѣшенію, а именно, къ отожествленію сферы домашняго обихода съ сферою міровой жизни. Почему идеалы общечеловѣческіе выше идеаловъ личныхъ и даже идеа-

ловъ, напримѣръ, Крестецкаго уѣзда? А потому просто, что первые составляютъ крайнее звено въ послѣдовательной цѣпи идеаловъ, освѣщающихъ пути человѣческаго развитія; потому что они представляютъ содержащее, а личные идеалы—только содержимое; потому наконецъ, что съ осуществленіемъ идеаловъ общечеловѣческихъ сами собою осуществятся идеалы скопинскіе, харьковскіе и раненбургскіе, а не наоборотъ. Если жизни даны широкія основанія, то подробности улаживаются вполнѣ естественно сами собой, и притомъ не вразбродъ, а согласно съ самыми основаніями жизни. Напротивъ, ежели у жизни нѣтъ прочныхъ и широкихъ основаній, то одна подробность неизбѣжно будетъ идти вразрѣзъ другой. Поэтому тѣ, которые прежде всего обращаютъ вниманіе на подробности, въ надеждѣ впослѣдствіи приладить къ нимъ жизнь, уподобляются архитектору, который, не сдѣлавъ плана зданію, лѣпитъ наудачу кирпичъ къ кирпичу. Нѣтъ слова, что иногда самыя условія общественности таковы, что благопріятствуютъ подробностямъ и враждебны общимъ идеямъ; но не слѣдуетъ забывать, что по этой-то именно причинѣ такія условія и называются печальными, но никакъ не образцовыми.

Ничего этого самодовольная ограниченность не понимаетъ, да и не можетъ понимать, во-первыхъ, потому, что конкретность ея низменныхъ идеаловъ застилаетъ ей глаза, а, во-вторыхъ, потому, что она, по самому свойству своему, неспособна различать размѣры развивающихся передъ нею явленій. Она игнорируетъ процессъ усложненія явленій и потому естественно умозаключаетъ, что всѣ они безразличны. По этой же причинѣ она легко допускаетъ самыя уродливыя и незаконныя обобщенія и становится втупикъ при видѣ самыхъ естественныхъ проявленій прогрессирующей жизни, если они не подходятъ подъ мѣрку простой житейской исправности. Всѣ ея выводы до того произвольны и неожиданны, что, слушая ихъ, сдается, что они выработались не въ человѣческомъ мозгу, а случайно свалились откуда-то съ колокольни.

Тѣмъ не менѣе, какъ скоро человѣкъ однажды пришелъ къ убѣжденію, что онъ мудрецъ, онъ не только не легко разстанется съ этимъ убѣжденіемъ, но, напротивъ того, сгораетъ нетерпѣніемъ пропагандировать основанія своей мудрости. Какъ и всякій другой мудрецъ, онъ не хочетъ таить свою мудрость для одного себя, а хочетъ привить ее прис-

нымъ и неприснымъ, знакомымъ и незнакомымъ, всему міру. Отсюда та безконечно-раздражающая проповѣдь самодовольной ограниченности, которая раздается тѣмъ слышнѣе, что внѣшнія условія не только не поставляютъ ей въ этомъ случаѣ препятствій, но даже споспѣшествуютъ и благопріятствуютъ.

Во всѣхъ видахъ эта проповѣдь несносна и вредна. И тогда, когда она выходитъ изъ предѣловъ выраженія простого личнаго самодовольства (пропаганда собственнымъ примѣромъ), и тогда, когда не пренебрегаетъ даже насиліемъ, чтобы накрыть своимъ сѣрымъ покровомъ весь міръ (пропаганда воинствующая). Въ первомъ случаѣ раздражаетъ безконечная удовлетворенность, не подозрѣвающая даже возможности иного міросозерцанія, кромѣ низменнаго; во второмъ — смущаетъ неразборчивость въ выборѣ путей и средствъ. Въ первомъ случаѣ ограниченность говоритъ: «взгляни на меня — и убѣдись»; во второмъ — она ту же рѣчь сопровождаетъ тычкомъ, шиворотомъ, кандалами.

Трагическая сторона значительнаго скопленія ограниченныхъ людей въ извѣстной мѣстности заключается не столько въ насильственныхъ пріемахъ, которые они допускаютъ, въ видахъ успѣшнаго уловленія прозелитовъ, сколько въ томъ, что отъ этихъ людей некуда уйти, такъ что выслушиваніе азбучныхъ истинъ становится дѣйствительно обязательнымъ. Наплывъ личностей, считающихъ разсчетъ съ мелочной лавкой разрѣшеніемъ всѣхъ жизненныхъ задачъ, происходитъ не случайно, а означаетъ, что на людей такого закала является усиленный спросъ, или, лучше сказать, внезапно утвердившаяся въ большинствѣ увѣренность, что внѣ ограниченности не можетъ быть спасенія. Еще наканунѣ ограниченные люди шныряли, собирая справки и снося ихъ въ одну кучу, а нынче они ужъ раскормлены, румяны и мнятъ себя носителями руководящей мысли. Они расхаживаютъ по стогнамъ и, нимало не краснѣя, возвѣщаютъ азбучныя истины. Проповѣдуютъ, что «по рогожкѣ слѣдуетъ протягивать ножки», что «всякій сверчокъ долженъ знать свой шестокъ», что «поспѣшишь—людей насмѣшишь», и при этомъ такъ блаженно улыбаются, что издали можно подумать: вотъ счастливцы, разрѣшившіе себѣ задачу душевнаго равновѣсія! Бѣгите отъ этихъ людей! а если бѣжать некуда, то, дѣлать нечего, будьте къ нимъ почтительны, ибо это не просто разводители канители, но герои дня, выразители тре-

бованій минуты. Ихъ приходится выслушивать съ терпѣніемъ не по тому одному, что невыслушиваніе можетъ повести за собой злостныя для невыслушивающихъ послѣдствія (это само по себѣ), но и потому, что весь воздухъ этой мѣстности, всякій камень, каждая песчинка пропитана азбучностью.

Въ чемъ же собственно заключается тайна втягивающаго свойства самодовольной ограниченности? вслѣдствіе какихъ причинъ ограниченные люди изъ скромныхъ собирателей справокъ и наполнителей графленой бумаги вдругъ превращаются ежели не въ дѣйствительныхъ руководителей общества, то, во всякомъ случаѣ, въ его систематическихъ отуманивателей? откуда идетъ этотъ внезапный спросъ на ограниченность, который окружаетъ ее ореоломъ авторитета и почета?

Существуетъ мнѣніе, что между фактомъ господства ограниченныхъ людей и эпохами такъ-называемой общественной реакціи имѣется тѣсная органическая связь. Указываютъ, напримѣръ, на времена директоріи и первой имперіи, а въ особенности на времена владычества Наполеона III во Франціи, когда въ обществѣ дѣйствительно какъ бы потухли стремленія къ высшимъ идеаламъ, и когда ограниченность, сознающая себя мудростью, не только приносила своему обладателю деньги, силу и почетъ, но даже проницательныхъ людей вводила въ заблужденіе насчетъ дѣйствительнаго своего значенія. И дѣйствительно, что̀ такое «реакція» въ общественномъ смыслѣ этого слова? Это эпоха величайшаго умственнаго утомленія, эпоха прекращенія частной и общественной иниціативы, эпоха торжества силъ, имѣющихъ значеніе не столько сдерживающее и регулирующее (это только казовый конецъ реакціи), сколько уничтожающее и мертвящее. Таково, по крайней мѣрѣ, общепризнанное представленіе о реакціи, и ежели мы вспомнимъ, что всякой реакціи всегда предшествуютъ особенно энергическія усилія общества, направленныя къ пересозданію самыхъ существенныхъ его основъ, то характеръ слѣдующей затѣмъ реакціи несомнѣнно утратитъ въ нашихъ глазахъ свою загадочность. Увы! результаты реформаторскихъ усилій такъ рѣдко даютъ себя чувствовать ясно и непосредственно, что для людей средняго умственнаго уровня они представляются трудно-уловимыми. Мало того: въ глазахъ этихъ людей воспоминаніе о реформаторскихъ усиліяхъ почти всегда сопрягается съ представле-

ніемъ о чемъ-то недоконченномъ, возбудившемъ безплодныя тревоги.

Причинъ этого явленія много, но двѣ изъ нихъ настолько важны, что невольно обращаютъ на себя вниманіе. Во-первыхъ, реформаторскія движенія почти всегда первоначально прорываются урывками, и потому даже тогда, когда уже дѣлаются достаточно сильными, чтобы развиться въ правильную организацію, достигаютъ этого не иначе, какъ допуская совмѣстное дѣйствіе элементовъ не только не однородныхъ, но даже взаимно другъ друга исключающихъ. Отсюда изумленія, раскаянія и раздоры — эти печальныя, но вполнѣ естественныя послѣдствія дѣятельности, лишенной возможности развиваться спокойно. Во-вторыхъ, благодаря разнородности побужденій, дающихъ начало реформаторскому движенію, въ основаніи этого послѣдняго всегда находится извѣстный компромиссъ, вслѣдствіе котораго старый строй далеко не все уступаетъ новому строю, а только то, о чемъ въ просторѣчіи говорится: и то слава Богу! Компромиссъ этотъ, однажды проскользнувъ въ общую систему реформаторскихъ намѣреній, гложетъ его неустанно, гложетъ до тѣхъ поръ, пока отъ системы не останется одинъ тощій остовъ. Думали, напримѣръ, достигнуть результата вполнѣ яснаго и опредѣленнаго, но по дорогѣ задались мыслью, чтобы и волки были сыты, и овцы цѣлы — и вышло нѣчто совсѣмъ неожиданное. Понятно, что человѣкъ средняго умственнаго уровня имѣлъ полное право изумиться этому результату и даже впасть по поводу его въ уныніе. А такъ какъ общественное большинство состоитъ именно изъ людей этого уровня, то нѣтъ ничего удивительнаго, что въ средѣ ихъ на первый планъ выступаютъ вопросы: изъ-за чего хлопотали, усиливались, обольщали себя надеждою? Совершивъ энергическое усиліе и выигравъ очень мало, а иногда и ровно ничего, общество проникается робостью и умолкаетъ. Не подвиги прогресса улыбаются ему, а сказочное спокойное преуспѣяніе, которое будто бы совершается само собой. А отъ надеждъ на сказочный прогрессъ одинъ шагъ и до полной и неумолимой реакціи.

Такого рода колебанія между реформаторскими усиліями и реакціей всего яснѣе выразились въ названныя выше эпохи французской исторіи. Но они возможны не только въ обществахъ, стоящихъ на относительно высокой степени развитія, но даже и тамъ, гдѣ главный тонъ жизни

составляютъ гладь да Божья благодать. Вглядитесь пристальнѣе въ эту, повидимому, ничѣмъ не возмущаемую жизнь, и вы замѣтите, что и здѣсь по временамъ пробиваются признаки реформаторскаго движенія, свидѣтельствующіе о смутномъ поползновеніи измѣнить низшую форму общественности на высшую, и что слѣдомъ за подобными поползновеніями всегда является самая безпощадная реакція. Только здѣсь реакція получаетъ характеръ еще болѣе подавляющій, потому что нельзя съ достаточною ясностью указать ни на причины регресса, ни на явленія, противъ которыхъ направляются удары его.

Вотъ въ эти-то минуты унынія и упадка общественной энергіи и происходитъ та перестановка, въ силу которой, на мѣсто убѣжденныхъ, самоотверженныхъ и страстныхъ людей, роль руководителей принимаютъ на себя проповѣдники азбучныхъ истинъ, приправленныхъ молчалинскою аккуратностью.

«Смотрите! — вѣщаютъ эти новые узорѣшители: — вы хотѣли насъ переспорить — и въ результатѣ получили шишъ! Попробуйте-ка пожить помаленьку да полегоньку, ладкомъ да міркомъ — не выйдетъ ли что-нибудь получше шиша!» И общество взимаетъ этимъ рѣчамъ тѣмъ охотнѣе, что оно дѣйствительно работало и изнуряло себя изъ-за шиша. Оно не беретъ въ разсчетъ, что шишъ есть лишь естественное послѣдствіе тѣхъ деморализующихъ компромиссовъ, которые подрывали его недавнія усилія; оно помнитъ только свой неуспѣхъ и отъ него умозаключаетъ, что таковъ фаталистическій исходъ всѣхъ реформаторскихъ усилій вообще и во всякомъ случаѣ.

Въ такія историческія минуты всякая пошлость именуется мудростью, всякая подтасовка дѣлается дозволительною. Обличить эту наглую ложь, доказать, что счастье человѣка, успѣшно совершившаго то или другое органическое отправленіе, не имѣетъ права именовать себя идеаломъ счастья общечеловѣческаго, конечно, не Богъ знаетъ какая мудрость; но тутъ дѣло не въ мудрости, а въ практической возможности подобной затѣи. Усталое большинство не только не довѣряетъ доказательствамъ, имѣющимъ отвлеченный характеръ, но положительно отрицаетъ самую умѣстность ихъ. «Видали мы этихъ идеологовъ!» вопитъ оно на всѣ тоны: «довольно съ насъ! не отвлеченныхъ доказательствъ намъ нужно, а фактовъ!» А эти факты представляетъ ему самодовольная ограниченность, гласящая:

«смотрите, какъ я румяна, сыта и довольна!» И они сохраняютъ свою убѣдительность до тѣхъ поръ, покуда жизнь не вызоветъ на свѣтъ новыхъ фактовъ, которые своею не меньшею конкретностью разобьютъ въ прахъ конкретность старыхъ.

Такимъ образомъ, изъ всего сказаннаго явствуетъ, во-первыхъ, что вся сила самодовольной ограниченности зиждится на мнимой способности ея опорныхъ точекъ къ обобщеніямъ, и, во-вторыхъ, что успѣхъ ея проповѣди, главнымъ образомъ, обусловливается упадкомъ общественнаго духа и ослабленіемъ того импульса, который заставлялъ общество искать духовнаго уровня, нѣсколько высшаго, нежели тотъ, который предлагается афоризмами азбукъ и прописей. Но дабы сдѣлать нашу мысль болѣе ясною, возьмемъ вопросъ съ практической точки зрѣнія и посмотримъ, къ чему можетъ придти общество, видящее въ ограниченности стремленій осуществленіе жизненныхъ идеаловъ.

Непосредственный результатъ торжества ограниченности прежде всего выражается въ общей тишинѣ. Казалось бы, что лучше этого результата не надо и желать. Гдѣ человѣку благоденствовать и прогрессировать, какъ не на лонѣ мира и тишины? Гдѣ процвѣтать наукамъ и искусствамъ, развиваться гражданственности и проч., какъ не при условіяхъ тишины? И дѣйствительно, ограниченность всегда съ особенною силою напираетъ на эти условія. Тишина, по ея словамъ,—это палладіумъ всяческаго процвѣтанія; она одна дастъ все: и счастіе, и успокоеніе отъ тревогъ, и исцѣленіе недуговъ, и удовлетвореніе законныхъ интересовъ.

Однако-жъ на практикѣ оказывается нѣчто совершенно несоотвѣтствующее этимъ хвастливымъ обѣщаніямъ; нѣчто такое, что доказываетъ, что представленіе о тишинѣ далеко не свободно отъ нѣкоторыхъ неясностей, которыя могутъ подать поводъ къ самымъ вопіющимъ недоразумѣніямъ.

Призывая, вслѣдъ за пропагандистами ограниченности, многожеланную тишину, мы, при всей скромности нашихъ требованій, конечно, имѣемъ въ виду не тишину для тишины, а достиженіе извѣстныхъ благъ, которыя ею охраняются. Но, къ удивленію, мы не только не получаемъ этихъ благъ, но даже дѣлаемся свидѣтелями внезапнаго исчезновенія самой общественности, то-есть того условія, отсутствіе котораго дѣлаетъ немыслимыми и процвѣтаніе, и благоденствіе, и прогрессъ.

Стало-быть, въ этой тишинѣ есть органическій порокъ; стало-быть, это не та «возлюбленная тишина, градовъ и весей отрада», о которой вздыхаютъ поэты, а какая-то другая, скорѣе заслуживающая названіе мертвенности, нежели тишины.

Первое условіе всякой общественности—это возможность свободнаго обмѣна мыслей, возможность спора, возраженій и даже заблужденій (да, и заблужденій, потому что и они имѣютъ свое значеніе въ общей экономіи жизненнаго прогресса). Наличность этихъ условій важна не только потому, что она сообщаетъ жизни характеръ совершенствованія, но и потому, что вноситъ въ общественныя отношенія элементъ пріятности. Однообразіе воззрѣній, особливо ежели оно имѣетъ оттѣнокъ вынужденности, создаетъ одноформенность потребностей и стремленій, а затѣмъ угрюмость и одичалость; напротивъ того, разногласіе въ мнѣніяхъ, приводя за собой необходимость во взаимной провѣркѣ ихъ, служитъ надежнѣйшимъ цементомъ для скрѣпленія людскихъ отношеній. Вотъ этого-то послѣдняго условія общественности именно и не допускаетъ самодовольная ограниченность, ибо она даже самое слово «тишина» опредѣляетъ отсутствіемъ какихъ бы то ни было споровъ и несогласій. Опираясь на неуспѣхъ недавней «борьбы съ небомъ», она, съ свойственной всякой азбучности манерой цѣпляться за одни внѣшніе признаки факта, прямо приписываетъ его спорамъ и несогласіямъ, присущимъ борьбѣ. Какъ можно меньше сомнѣній, препирательствъ и экскурсій въ области неизвѣстнаго и какъ можно больше сосредоточенности и аккуратности въ разсчетахъ по ежедневнымъ затратамъ—вотъ девизъ торжествующей ограниченности. Въ согласность этому девизу вырабатывается цѣлый кодексъ низменнаго свойства аксіомъ, который нельзя обойти подъ опасеніемъ ввергнуться въ бездну и на днѣ ея встрѣтить классическую гидру. Этой гидры никто никогда не видалъ, но она съ незапамятныхъ временъ служитъ отличнѣйшимъ пугаломъ. Ни спорить, ни прекословить не допускается, потому что, въ противномъ случаѣ, или въ бездну попадешь, или помѣшаешь «правильному» прогрессу. Одного добиваться слѣдуетъ—это безусловнаго прекращенія разногласій и сомнѣній и—что̀ важнѣе всего—устраненія какой бы то ни было погони за неизвѣстностью. А отсюда единственный практическій выходъ: молчаливое и единомысленное вытаскиваніе бирюлекъ.

Не задумывайтесь! ибо задумываться—значитъ сомнѣваться, значитъ пытаться что-нибудь провидѣть, значитъ допускать возможность критическихъ отношеній. А для попытокъ этого рода есть отличное слово «мечтательность», въ которомъ, какъ въ пучинѣ, утопаетъ всякій порывъ самостоятельности и самодѣятельности. «Мечтательность»—это одно изъ тѣхъ непомнящихъ родства словъ, которыхъ значенія никто ясно не понимаетъ, но которыя всякій охотно употребляетъ, предполагая, что въ немъ есть нѣчто такое, чѣмъ можно заклеймить все, что̀ не по нутру. Мечтательность—это проказа, это явленіе, которое даже ограниченнаго человѣка можетъ вывести изъ состоянія самодовольнаго оцѣпенѣнія. Оставьте, милостивые государи! Оставьте мечтательность и займитесь дѣломъ, то-есть вытаскиваніемъ бирюлекъ и наставкою заплатъ! И не заглядывайте впередъ, ибо всякое заглядываніе подрываетъ тишину! Спрашивается однако-жъ: сопровождаемая подобными оговорками, въ какой мѣрѣ совмѣстна тишина съ общественностью, которая осуществляетъ собой движеніе?

Но, вычеркнувъ изъ наличности наиболѣе жизненный элементъ общественности, ограниченность идетъ еще далѣе, то есть вводитъ въ жизнь другой элементъ, положительно ей враждебный. Этотъ другой элементъ—испугъ. Съ перваго взгляда можно подумать, что самодовольство и испугъ—два понятія другъ друга исключающія; но въ дѣйствительности эта несовмѣстимость лишь кажущаяся. При извѣстномъ настроеніи общества, когда со всѣхъ сторонъ раздаются фразы, лишенныя содержанія, и въ нихъ однѣхъ видится спасеніе отъ недуговъ, испугъ перестаетъ представлять что-либо реальное, а дѣлается простымъ предостереженіемъ противъ всякой попытки нарушить тишину.

Люди пугаютъ другъ друга не ради того, что надъ ними виситъ дамокловъ мечъ, а ради того, чтобы оградить тишину для тишины и укрѣпить себя и другихъ въ намѣреніи не заниматься ничѣмъ, кромѣ вытаскиванія бирюлекъ. «А помните, какъ вы съ небомъ-то спорить хотѣли?»—Это вопросъ, въ сущности пустой и глупый, но, при извѣстной настроенности общества, его одного достаточно, чтобы заставить всѣхъ и каждаго какъ можно плотнѣе пригнуться къ землѣ. Въ виду этой угрозы, всякій реакціонный бредъ считается умѣстнымъ и дозволительнымъ. Ограниченные люди, наперерывъ другъ передъ другомъ, разсказываютъ анекдоты о глумленіяхъ, попраніяхъ и тому подобныхъ

«безчинствахъ». Объ «авторитетѣ» упоминается какъ о чемъ-то поруганномъ, посрамленномъ, погубленномъ. Мудрецы вздыхаютъ, соболѣзнуютъ, устрашаютъ другъ друга, и—странное дѣло!—несмотря на пуганья, только добрѣютъ да нагуливаютъ себѣ жиру въ борьбѣ съ попраніями и глумленіями. Ясно, что испугъ въ этомъ случаѣ совсѣмъ не существенъ, что это только пробный камень, на которомъ можно не безъ выгоды испытывать личную способность закаляться въ азбучной мудрости. Но ежели занятіе такого рода и можетъ для той или другой личности представлять своекорыстный интересъ, то все-таки спрашивается: возможна ли общественность подъ гнетомъ неумолкающихъ устрашеній?

Отвѣтъ на оба поставленные выше вопроса не можетъ быть сомнителенъ; нѣтъ, общество, изгнавшее изъ своей среды склонность къ занятію высшими умственными интересами,—общество, съ презрѣніемъ и насмѣшкою относящееся къ такъ-называемымъ широкимъ вопросамъ жизни,—общество, подчинившееся молчанію и испугу, не имѣетъ права считать себя обладающимъ благами общественности. Это общество одичалое, живущее наудачу и даже не могущее уяснить себѣ послѣдствія, къ которымъ неминуемо должна привести его одичалость.

Первое послѣдствіе умственной одичалости—это скука. Скука, какъ общій давящій покровъ, отъ гнета котораго не освобождаются даже сами проповѣдники ограниченности.

Что̀ такое скука?—Это отсутствіе высшихъ умственныхъ интересовъ, это—запертая дверь въ тотъ безграничный міръ умственной спекуляціи, въ которомъ каждый новый шагъ даетъ новое открытіе или новую комбинацію, въ которомъ даже простое припоминаніе фактовъ, уже добытыхъ и извѣстныхъ, представляетъ наслажденіе, благодаря разнообразію этихъ фактовъ и ихъ способности соединяться въ группы и давать поводъ для безконечнаго множества выводовъ. Внѣ этого міра нѣтъ прочнаго и продолжительнаго наслажденія, такъ что, какія бы ни придумывались ухищренія къ усложненію низшихъ видовъ наслажденія, съ цѣлью замѣнить ими наслажденія высшей категоріи, въ результатѣ ничего не получится, кромѣ временнаго возбужденія, которое не замедлитъ уступить мѣсто пресыщенію и скукѣ.

Второе послѣдствіе умственной одичалости—общественное безсиліе. Страна, которая всецѣло посвятила себя обо-

готворенію «тишины», которая отказалась отъ заблужденій и все вниманіе устремила на правильность разсчетовъ по ежедневнымъ затратамъ, можетъ считать свою роль оконченною. Это—страна мудрыхъ. Ей некуда идти, ибо передъ нею возвышается глухая стѣна, на которой начертано: «не твое дѣло». Отъ нея нечего ждать, ибо она всѣ жизненныя задачи считаетъ исчерпанными изреченіемъ: «не твое дѣло». Ей предстоитъ только выполненіе тѣхъ требованій обыденности, которыя равно обязательны и для человѣка, и для всякаго другого организма. Поэтому, когда ей приходилось расплачиваться за свою самоувѣренную мудрость, то расплата всегда застаетъ ее врасплохъ. Всѣ обыватели мудры, но никто ни къ чему не приготовленъ, никто ничего не знаетъ, ничѣмъ не интересуется, ничего не любитъ. Повидимому, человѣкъ всю свою жизнь и все вниманіе исключительно устремлялъ на подробности, отдавался имъ до самозабвенія; а на повѣрку выходитъ, что онъ только заблудился въ нихъ, яснаго же представленія даже о мелочахъ не получилъ. Подробности перепутались, а общей руководящей мысли, которая помогла бы опознаться въ вавилонскомъ столпотвореніи, нѣтъ и въ поминѣ. Въ результатѣ—пустое мѣсто.

Третье послѣдствіе—неурядица не только внутренняя, но и внѣшняя. Тѣ глубоко заблуждаются, которые отожествляютъ тишину съ порядкомъ и видятъ въ первой обезпеченіе послѣдняго. Та тишина, которую проповѣдуетъ самодовольная ограниченность, есть тишина насильственная, чаще всего прикрывающая раздоры самаго вреднаго свойства. Ограниченные люди точно такъ же способны раскалываться и препираться другъ съ другомъ, какъ и люди развитые, съ тою лишь разницею, что препирательства азбучныхъ мудрецовъ не идутъ дальше вопросовъ о выѣденномъ яйцѣ. Но низменность содержанія не только не смягчаетъ раздраженія, но даже усиливаетъ его назойливость. Нигдѣ не встрѣчается такого ожесточенія, столько зависти, интригъ, какъ въ средѣ ограниченныхъ людей, для которыхъ все сводится къ личнымъ цѣлямъ, для которыхъ до такой степени не существуетъ высшихъ интересовъ, что имъ нечему жертвовать, хотя бы они и имѣли случайную наклонность къ пожертвованіямъ. Поэтому въ обществѣ, живущемъ подъ игомъ тишины для тишины, даже подробности жизни всегда разрѣшаются согласно съ такими случайными настроеніями, которыхъ ни предвидѣть, ни предугадать нельзя; а это, въ

свою очередь, кладетъ на всю жизненную обстановку печать необезпеченности и неувѣренности. Кажется, что̀ можетъ быть общераспространеннѣе правила: «всякій сверчокъ знай свой шестокъ»?—а между тѣмъ попробуйте пожить, имѣя въ запасѣ только одинъ этотъ руководящій афоризмъ, и вы убѣдитесь, что каждая минута представитъ вамъ безчисленное множество самыхъ разнообразныхъ ловушекъ. Во-первыхъ, нѣтъ точнаго опредѣленія, въ чемъ заключаются права и обязанности человѣка-сверчка, а потому всякій мнитъ себя сверчкомъ особеннымъ, а иной даже и сверчкомъ-орломъ. Во-вторыхъ, такою же неопредѣленностью страдаетъ и понятіе о «шесткѣ», такъ что всегда есть опасность впасть въ ошибку и неумышленно занять шестокъ рангомъ повыше. А отсюда—вѣчное и безобразное препирательство, возникающее каждый разъ, какъ только заходитъ рѣчь объ обращеніи сверчка къ его натуральному шестку.

Наконецъ четвертое послѣдствіе—распущенность нравовъ, этотъ достойный плодъ скуки и необходимости уразнообразить жизнь, лишенную дѣйствительныхъ элементовъ разнообразія. Зрѣлища, возбуждающія чувственность; литература, проповѣдующая низменность и пошлость; искусство, чуждающееся мысли и преслѣдующее ее презрѣніемъ и насмѣшкою—вотъ пища, которою удовлетворяется общество, примирившееся съ идеалами аккуратности и умѣренности. И напрасны будутъ усилія людей, предостерегающихъ подобное общество отъ увлеченій чувственностью и пошлостью, ибо увлеченія эти суть органическій придатокъ всего жизненнаго строя, и общество, отдавшее свои интересы подъ охрану азбучной ограниченности, неспособно имѣть иныхъ наслажденій, кромѣ наслажденій самаго низменнаго свойства.

Таковы результаты господства самодовольной ограниченности. Быть-можетъ, здѣсь далеко не все исчерпано, что̀ можно было бы сказать объ этомъ предметѣ, но и того, что̀ сказано, достаточно, чтобы уразумѣть, что вліяніе ограниченности не заключаетъ въ себѣ ничего плодотворнаго.

XI.—Сила событій.

Что такое «патріотизмъ»?

До послѣдняго времени *), очень немногіе задавали себѣ этотъ вопросъ: до такой степени онъ казался яснымъ и безспорнымъ. Большинство понимало подъ словомъ «патріотизмъ» что-то врожденное, почти обязательное. Начальство, соглашаясь съ этимъ опредѣленіемъ, прибавляло, что наилучшее выраженіе патріотизма заключается въ безпрекословномъ исполненіи начальственныхъ предписаній.

Опредѣленіе большинства имѣетъ тотъ порокъ, что ничего не опредѣляетъ и, слѣдовательно, оставляетъ вопросъ открытымъ. Это все равно, какъ если бы кто сказалъ, что патріотизмъ есть любовь къ отечеству—какую пользу можно вынести изъ такого объясненія? Второе начальственное опредѣленіе нѣсколько яснѣе, но имѣетъ другой недостатокъ, а именно: исключаетъ изъ области патріотизма цѣлую категорію лицъ, извѣстныхъ подъ общимъ наименованіемъ «начальства». Не получая ни отъ кого предписаній, на чемъ же оно можетъ упражнять свой патріотизмъ?

Изслѣдователи болѣе смѣлые шли нѣсколько далѣе и объясняли обязательность патріотизма тѣмъ, что нигдѣ человѣкъ не можетъ такъ успѣшно постигать своихъ цѣлей и вообще проявлять свою личность, какъ въ той средѣ, которая знакома ему со всѣмъ ея добрымъ и злымъ матеріаломъ. Но и это толкованіе нимало не спеціализируетъ разсматриваемато явленія, потому что удобствами, доставляемыми знаніемъ среды, можно объяснить не только патріотизмъ, но и другіе инстинкты несомнѣнно дурного свойства. И карманному вору удобнѣе проявлять свою личность въ средѣ знакомой и изслѣдованной, однако едва ли кто-нибудь рѣшится утверждать, что инстинктъ воровства есть инстинктъ врожденный, невольный и обязательный.

Кажется, что вся эта путаница произошла отъ того, что для объясненія нѣкоторыхъ жизненныхъ явленій мы слишкомъ безцеремонно пользуемся такими опредѣленіями, которыя сами требуютъ ближайшихъ опредѣленій. Необходимы были такія искушенія опыта, какія доставили послѣд-

*) Писано въ 1870 г., вслѣдъ за развязкою французско-прусской войны.

нія событія военнаго и политическаго міра (война Германіи съ Франціей), чтобъ нанести окончательный ударъ безсодержательности фразы и навсегда очистить сущность интересующаго насъ явленія отъ сѣти лицемѣрія и хвастовства, которыя опутывали его.

Первый вопросъ, который разъясняютъ послѣднія событія—это вопросъ объ отношеніи къ идеѣ патріотизма безчисленныхъ паразитовъ, наполняющихъ міръ. Могутъ ли, напримѣръ, именоваться патріотами подрядчики, поставляющіе вмѣсто ружей шассно простыя ударныя, или кремневыя, или, наконецъ, такія кремневыя, у которыхъ, вмѣсто кремня, фигурируетъ разрисованная на манеръ кремня чурка, а также градоначальники и военачальники, поощряющіе такія поставки? Могутъ ли именоваться патріотами проходимцы въ родѣ папскихъ швейцарцевъ, или тюркосовъ, или гулящихъ нѣмцевъ, охотно внѣдряющихся всюду, гдѣ имѣется мясистая поверхность, защищенная шерстью и волосами? Могутъ ли именоваться патріотами всякіе другіе паразиты, хотя бы и высшей школы?

Всѣ эти вопросы на первый взглядъ кажутся праздными, но если вглядѣться въ дѣло пристальнѣе, то выйдетъ, что разрѣшеніе ихъ составляетъ потребность далеко не призрачную. Почти на каждомъ шагу приходится выслушивать сужденія въ родѣ слѣдующихъ: «правда, что N ограбилъ казну, но зато какой патріотъ!» или «правда, что N пустилъ по-міру множество людей, но зато какой христіанинъ!» — и сужденія эти не только не убиваютъ нашу совѣсть, но даже не удивляютъ насъ. Стало-быть, несовмѣстимость такихъ явленій, какъ казнокрадство и патріотизмъ, вовсе не настолько ясна, чтобы можно было считать поставленные выше вопросы окончательно упраздненными.

Причина сближеній столь странныхъ и неожиданныхъ, безспорно, заключается въ общей путаницѣ нашихъ обыденныхъ воззрѣній на жизнь. Благодаря обилію фантастическихъ элементовъ, переполняющихъ наше воспитаніе, жизнь съ дѣтства кажется намъ раздѣленною на двѣ половины, изъ которыхъ въ одной складываются интересы высшаго порядка, а въ другой—интересы порядка низшаго. Связи между этими двумя половинами не полагается, а слѣдовательно не можетъ быть рѣчи и о взаимномъ питаніи. Если низшіе интересы представляютъ сбродъ неосмы-

сленныхъ мелочей, очутившихся рядомъ безъ всякаго порядка, то интересы высшіе представляютъ совершенно призрачный міръ, доступный всевозможнымъ толкованіямъ и перестановкамъ. Пользуясь этою разрозненностью, человѣкъ можетъ свободно переходить изъ одной половины въ другую и, не возбуждая ни въ комъ удивленія, уравновѣшивать самые гнусные поступки высокопарными и безсодержательными фразами. Завѣдомый шулеръ можетъ утверждать, что человѣкъ безъ добродѣтели — все равно, что тѣло безъ души; завѣдомый прелюбодѣй можетъ удостовѣрять, что человѣкъ, не соблюдающій семейной чистоты — все равно, что пламя, горящее тусклымъ и негрѣющимъ свѣтомъ; завѣдомый казнокрадъ можетъ объясняться въ любви къ отечеству.

Сомнѣнія относительно правильности такого воззрѣнія на жизнь возникли давно, но, къ сожалѣнію, возникли лишь путемъ умозрительнымъ. Большинство рѣдко убѣждается умозрительными доводами и требуетъ доказательствъ осязаемыхъ, вещественныхъ. Вотъ это-то вещественное доказательство и дано нынѣ, и притомъ дано въ такихъ обстоятельствахъ, что не осталось ни одной утаенной подробности, ни одного невыясненнаго эпизода. Если-бъ обязанность представленія вещественныхъ доказательствъ выпала на долю странѣ, играющей въ цивилизованномъ мірѣ роль скромной фіалки, очень можетъ быть, что истина или, по крайней мѣрѣ, бо̀льшая ея часть осталась бы подъ спудомъ. Но въ настоящемъ случаѣ пропагандистомъ является самый нахальный народъ въ мірѣ, до того нахальный, что считаетъ свои давнія заслуги передъ человѣчествомъ настолько существенными, что передъ ними блѣднѣютъ даже тѣ язвы, которыя наложило двадцатилѣтнее недоразумѣніе, сдѣлавшее его добычею проходимцевъ.

Бѣдная Франція! и на этотъ разъ ты являешься искупительною жертвою! Тебя, на которую міръ смотрѣлъ какъ на пламя, согрѣвавшее исторію человѣчества, — тебя въ настоящую минуту каждый мекленбургъ-стрелицкій обыватель, не обинуясь, называетъ собраніемъ «думкопфовъ»! И благо ему, этому скромному мекленбургъ-стрелицкому обывателю. Онъ получилъ отъ тебя все, что̀ ему было нужно. Въ концѣ XVIII столѣтія ты дала ему позывъ къ свободѣ; въ 1848 году ты дала ему позывъ къ осуществленію идеи о «великомъ отечествѣ». Но и за всѣмъ тѣмъ ты, все-таки, виновата. Ты виновата тѣмъ, что не сумѣла

создать «порядка»; тѣмъ, что твои почты и желѣзнодорожные поѣзда лишены правильности отчетливаго механизма; тѣмъ, что ты не выдумала ретуръ-билетовъ; тѣмъ, что ты даже по части почтовыхъ марокъ оказалась недостаточно твердою. Все это выдумали, устроили, создали зигмарингенцы, гессенцы и мекленбуржцы, и они ни за что въ свѣтѣ не простятъ тебѣ этого пропуска. Покуда ты выдумывала свободу и на свой страхъ выводила жизнь на почву общественныхъ вопросовъ, мекленбуржецъ, не имѣя надобности изобрѣтать изобрѣтенное, предпочиталъ «нѣкоторую узкость взглядовъ ширинѣ ихъ». Подъ защитою твоихъ политическихъ и соціальныхъ конвульсій, онъ втихомолку вырабатываетъ вопросъ, гораздо болѣе близкій его пониманію, а именно, вопросъ объ отношеніи проходимства и жульничества къ патріотизму, и, надо сказать правду, выработалъ его (въ обычномъ, родственномъ ему среднемъ уровнѣ) довольно удовлетворительно. Теперь онъ увѣренъ, что письмо его дойдетъ по назначенію, что каждый чиновникъ его безчисленныхъ почтовыхъ конторъ въ совершенствѣ знаетъ географію и не зашлетъ въ Кронштадтъ письма, адресованнаго въ Капштатъ, что для неукоснительнаго избіенія думкопфовъ ему дадутъ настоящее игольчатое ружье, а не подобіе его, и что реквизиція на землѣ думкопфовъ будетъ производиться неуклонно, по строго обдуманному плану, а не какъ-нибудь безъ системы: сперва въ зубы, а потомъ рюмка водки на мировую.

Да, ты виновата. Занявшись преслѣдованіемъ міровыхъ задачъ, ты забыла, что существуютъ милліоны домашнихъ подробностей, устройство которыхъ обезпечиваетъ жизнь отъ неожиданностей. Мекленбуржцы, гессенцы, гогенцоллернцы поняли это лучше тебя, хотя, съ другой стороны, быть-можетъ, они недостаточно уразумѣли, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже самое лучшее устройство подробностей, безъ гарантіи выработанныхъ тобою общихъ идей, все-таки не больше, какъ зданіе, выстроенное на пескѣ. Твоя свобода безсодержательна—это такъ; твои соціальныя движенія несостоятельны—и въ этомъ нельзя сомнѣваться, ибо весь Липпе-Детмольдъ поголовно провозглашаетъ эту истину; но не существуй ихъ, не держи они міръ въ нѣкоторомъ напряженіи, какой гессенецъ поручится, что не придутъ проходимцы и не перестроятъ все по-старому? Проходимцы чутки и внимательно подстерегаютъ случаи, дающіе возможность что-нибудь стянуть. Прежде всего они

стянутъ безсодержательную свободу, а потомъ созовутъ всѣхъ гессенцевъ, шаумбургцевъ и зигмарингенцевъ и при громѣ пушекъ скажутъ имъ:—Нѣтъ вамъ ни почтъ, ни почтальоновъ, ни почтовыхъ марокъ, нѣтъ ни ретуръ-билетовъ, ни игольчатыхъ ружей, ни нарѣзныхъ пушекъ; нѣтъ вамъ литературы, кромѣ «Wacht am Rhein»! Живите, какъ Богъ дастъ, и изнемогайте безъ литературы, безъ политики, безъ писемъ отъ родныхъ, какъ изнемогаютъ обыватели какого-нибудь Боброва или Острогожска!

Все это дѣло очень возможное (увы! многое возможно, что съ перваго взгляда кажется даже фантастическимъ), а стало-быть тѣ, которые такъ охотно «предпочитаютъ нѣкоторую узкость взглядовъ ширинѣ ихъ», едва ли вполнѣ правы въ своихъ предпочтеніяхъ. Они забываютъ, что ширина взглядовъ, въ большинствѣ случаевъ, защищаетъ подробности, достигаемыя узкостью ихъ. И притомъ какъ опредѣлить эту «нѣкоторую» узкость, какъ отличить ее отъ не «нѣкоторой»? Гдѣ кончается граница узкости, которой можно съ грѣхомъ пополамъ присвоить названіе разумной, и гдѣ начинается граница той узкости, которой ни на какомъ языкѣ нѣтъ другого названія, кромѣ пошлости, ограниченности, тупоумія? Это наклонность до того покатая, что, кажется, было бы всего благоразумнѣе, если бы каждому индивидууму и каждому народу предоставлено было оставаться тѣмъ, чѣмъ онъ есть. Глупый да пребудетъ глупымъ; дальнозоркій и проницательный пусть останется дальнозоркимъ и проницательнымъ. Не примѣрами, въ родѣ синицы, собирающейся зажечь море, слѣдуетъ встрѣчать политическую и общественную самоотверженность, а сознаніемъ, что безъ этой самоотверженности исторія, быть-можетъ, остановила бы свое движеніе.

И представьте себѣ, читатель: несмотря на то, что честь разработки вопроса объ отношеніяхъ мелкаго жульничества къ патріотизму принадлежитъ шаумбургцамъ и детмольдцамъ, все-таки сдается, что популяризація и утвержденіе даже этой простой идеи будетъ принадлежать не имъ, а все тѣмъ же «думкопфамъ», надъ которыми весь Саксенъ-Мейнингенъ въ настоящее время во все горло хохочетъ. Мейнингенецъ до того скроменъ, что даже крошечную идею вырабатываетъ исключительно для собственнаго употребленія. Напротивъ того, «думкопфъ» нахаленъ (не даромъ нѣмецкіе публицисты такъ настойчиво упоминаютъ о галльскомъ пѣтухѣ) и, въ качествѣ наглеца, даже

великія идеи бросаетъ на съѣденіе нищихъ духомъ: пускай, дескать, и они, подъ сѣнью этихъ идей, насладятся хорошими почтмейстерами и познаютъ употребленіе почтовыхъ марокъ. Что же ему будетъ стоить подѣлиться съ міромъ такою маленькою идейкой, какъ несовмѣстимость карманныхъ воровъ съ патріотизмомъ? Конечно, ровно ничего, и мекленбуржцы могутъ оставаться на этотъ счетъ совершенно спокойны: при содѣйствіи галльскаго пѣтуха, эта идейка не только не замретъ среди нихъ, но получитъ еще бо́льшее развитіе, благодаря элементу сознательности, который проникнетъ въ нее. Галльскій пѣтухъ сумѣетъ поставить принципъ на принадлежащую ему высоту, сумѣетъ выставить паразитство къ позорному столбу, сумѣетъ наконецъ указать подлинные предѣлы паразитства, не ограничиваясь однимъ сословіемъ коллежскихъ регистраторовъ, и разоблачить даже тѣ его признаки, которые можетъ намѣтить лишь зоркій и вполнѣ опытный глазъ. Вотъ тогда-то поймутъ зигмарингенцы, что паразитами называются не только тѣ, кои не доставляютъ писемъ по адресу или засылаютъ ихъ въ Кяхту, вмѣсто Вятки, но и тѣ, которые скрадываютъ въ свою пользу политическую и общественную свободу подъ предлогомъ ея безсодержательности, и тѣ, которые все обѣщаютъ въ минуту опасности и все отбираютъ въ моментъ торжества.

Все это такъ; все это навѣрное такъ и сбудется. Наступитъ минута, когда мейнингенцы, даже на поприщѣ ретуръ-билетовъ, не будутъ считать себя передовою націей относительно Франціи. Но какимъ образомъ могло случиться, что Франція, по иниціативѣ которой, на нашихъ глазахъ, произошло возрожденіе цѣлой Европы, пропустила между рукъ такой простой, но вмѣстѣ съ тѣмъ и необходимый вопросъ, какъ вопросъ о недопущеніи паразитовъ къ участію въ управленіи почтъ и телеграфовъ? Какимъ образомъ сталось, что проходимцы самые несомнѣнные, общеизвѣстные и всесвѣтные цѣлое двадцатилѣтіе стояли во главѣ ея?

Кажется, это произошло оттого, что всякое проходимство является на сцену не иначе, какъ въ блескѣ, свойственномъ безстыжеству. Безстыжество отуманиваетъ; оно на весь міръ смотритъ въ упоръ и при этомъ лжетъ, хвастаетъ, обманываетъ въ глаза. При видѣ этой беззавѣтной наглости, мнится, что за нею стоитъ что-то несокрушимое, что у нея есть какая-то роль въ исторіи. Но, кромѣ того, безстыжество обладаетъ еще однимъ каче-

ствомъ: гдѣ бы оно ни появилось, около него сейчасъ же группируется плотная масса негодяевъ. Все праздное, буйное, все обуреваемое страстью легкой наживы, живущее хищничествомъ и набѣгами—все съ непреодолимою силой влечется къ безстыжеству, устраивается подъ сѣнью его и, въ свою очередь, образуетъ оплотъ. На глазахъ у всѣхъ формируется безшабашное скопище, и формируется тѣмъ легче, что ему не нужно никакихъ пособій, кромѣ навыка и быстроты. Быстрота, оказывающая гибельное вліяніе во всѣхъ другихъ человѣческихъ предпріятіяхъ, составляетъ единственный операціонный базисъ въ дѣлахъ жульничества. Замыслите облагодѣтельствовать человѣчество — вы въ самой вашей совѣсти встрѣтите тысячи преткновеній. Она представитъ цѣлыя тьмы сомнѣній, заставитъ шагъ за шагомъ слѣдить за вашимъ предпріятіемъ, обдумывать каждую подробность, обезпечивать отъ возможности ошибокъ. Задумайте ограбить, зарѣзать, перервать горло — нѣтъ ничего легче. Будьте лишь настолько быстры въ дѣйствіяхъ, чтобы предупредить возможность сопротивленія со стороны облюбованной жертвы. Застать врасплохъ, удивить неожиданностью — вотъ что требуется. Покуда человѣкъ протираетъ глаза, можно перемѣнить всю его обстановку и даже его самого поставить вверхъ ногами. А этого-то результата только и домогается безстыжество.

Галльскій пѣтухъ не одинъ разъ пытался оградить себя отъ подобныхъ сюрпризовъ, не одинъ разъ смотрѣлъ безстыжеству въ глаза, но рѣшительнаго успѣха все-таки не имѣлъ. Безусловно ли онъ виновенъ въ этой неуспѣшности, или же есть для его вины какое-нибудь оправданіе?— на это всѣ детмольдцы въ одинъ голосъ отвѣчаютъ: «да, виновенъ» и не хотятъ даже прибавить: «но по обстоятельствамъ заслуживаетъ снисхожденія». За что, однако-жъ, такой строгій приговоръ? за то ли, что галльскій пѣтухъ недостаточно рисковалъ своими судьбами, недостаточно предстательствовалъ передъ небомъ за нихъ, детмольдцевъ? за то ли, что онъ подарилъ зигмарингенцамъ только ту долю свободы, которая достаточна для изобрѣтенія почтовыхъ марокъ, но недостаточна для того, чтобъ обладающіе ею сознавали себя вполнѣ людьми? — нѣтъ, не за это сердитъ мейнингенецъ. Онъ сердитъ за то, что галльскій пѣтухъ все еще не можетъ сказать: «довольно», тогда какъ всѣ шаумбургцы и нассауцы давнымъ-давно опочили отъ трудовъ и сколачиваютъ копейка по копейкѣ все благосо-

лучіе. «Посмотрите, — говоритъ мейнингенецъ: — какіе эти пошлые думкопфы! десятки лѣтъ волнуются, шумятъ и гремятъ на весь міръ, а слѣдующіе десятки лѣтъ выносятъ постыднѣйшее иго изъ всѣхъ игъ!» И забываетъ притомъ, что и онъ самъ, и вся Европа трепетали при одномъ напоминаніи объ этомъ игѣ, хотя ни на него, ни на Европу не могли непосредственно дѣйствовать ни кастеты, ни сорти-де-баль наполеоновскихъ городовыхъ.

Какъ бы то ни было, но несомнѣнно, что идея о невмѣстимости паразитства и патріотизма, благодаря французской популяризаціи, въ самомъ ближайшемъ времени найдетъ себѣ мѣсто въ ряду афоризмовъ, наиболѣе усвоенныхъ общественною совѣстью. Какъ скоро Франція убѣдится — убѣдится и міръ.

Но все-таки сдается, что Франція убѣдится по-своему, а не на манеръ гогенцоллернскихъ обывателей. Несмотря на горечь постигшаго ее бѣдствія (есть ли бѣдствіе горше того, какъ чувствовать себя раздавленнымъ пятою лихтенштейнца?), она не сумѣетъ «предпочесть нѣкоторую узкость взглядовъ ширинѣ ихъ». Это ея органическій порокъ, порокъ очень капитальный, но которому она фаталистически должна подчиниться.

Въ послѣднія двадцать лѣтъ французы дѣйствовали совершенно по-мекленбургски. Они были увѣрены, что спокойствіе ихъ обезпечено, и, кажется, имѣли даже больше основаній, нежели, напримѣръ, ганноверцы или франкфуртцы, думать, что никто не потревожитъ ихъ. Хотя почты ихъ дѣйствовали не такъ исправно, какъ по ту сторону Рейна, тѣмъ не менѣе, такъ какъ они не были лишены права жалобы на неисправность почтальоновъ, то право это до извѣстной степени смягчало горечь негодующихъ сердецъ. Конечно, они знали, что нѣкоторымъ изъ ихъ гражданъ было не безъ непріятностей, но ихъ завѣрили, что непріятности эти, въ формѣ административныхъ ссылокъ въ Ламбессу и Кайенну, касаются только людей безпокойныхъ, т.-е. тѣхъ самыхъ, которые страдали «шириною идей». «Будьте гессенцами,—твердили имъ на каждомъ шагу:—и вы убѣдитесь, что все пойдетъ какъ по маслу!» И они вняли увѣреніямъ и сдѣлались гессенцами. И вотъ, въ ту самую минуту, когда они чуть-чуть не изобрѣли какихъ-то совершенно неотразимыхъ почтовыхъ марокъ, вдругъ грянулъ громъ. Оказалось, что эти призывы къ мекленбургскому спокойствію исходили изъ стана пара-

зитовъ, для которыхъ затишье было необходимо, чтобъ подъ сѣнью общаго безмолвія упитывать свои тѣла. Оказалось, что эти паразиты были не только хищниками, но и глупыми людьми, которыхъ способно было застать врасплохъ всякое обстоятельство, не имѣющее ближайшаго отношенія къ процессу питанія.

А вѣдь и они, конечно, не пропускали случая, чтобъ называть себя патріотами, и они до надсады кричали: «Vive la France!»—и въ то же время систематически ослабляли Францію, обезоруживали ее и дѣлали неспособной для какой бы то ни было защиты. И вотъ теперь, въ минуту разсчета, оказывается, что они были не патріотами, а только паразитами, и что идея, согрѣвающая патріотизмъ, и идея, дающая жизнь паразитству, совершенно различны и нисколько другъ на друга не похожи.

Идея, согрѣвающая патріотизмъ—это идея общаго блага. Какими бы тѣсными предѣлами мы ни ограничивали дѣйствіе этой идеи (хотя бы даже пространствомъ княжества Монако), все-таки это единственное звено, которое пріобщаетъ насъ къ извѣстной средѣ и заставляетъ насъ радоваться такими радостями и страдать такими страданіями, которыя во многихъ случаяхъ могутъ затрогивать насъ лишь самымъ отдаленнымъ образомъ. Воспитательное значеніе патріотизма громадно: это школа, въ которой человѣкъ развивается къ воспринятію идеи о человѣчествѣ.

Напротивъ того, идея, согрѣвающая паразитство, есть идея, вращающаяся исключительно около несытаго брюха. Паразитъ настолько подавленъ инстинктами личнаго эгоизма, что не можетъ сознавать себя въ связи ни съ какой средою, ни съ какимъ преданіемъ, ни съ какимъ порядкомъ явленій. Хотя же и случается, что онъ предпочитаетъ одну территорію другой и начинаетъ называть ее отечествомъ, но это не отечество, а только осѣдлость. Воспитательное значеніе паразита тоже громадно: въ этой школѣ воръ мелкій развивается въ вора всесвѣтнаго.

До сихъ поръ произвольное дѣленіе жизни на двѣ половины мѣшало сознавать это различіе, но практика взяла на себя трудъ обозначить его съ опредѣлительностью почти осязательною. Отнынѣ нѣтъ больше сомнѣній. Нельзя быть паразитомъ и патріотомъ, ни въ одно и то же время, ни по очереди, то-есть сегодня патріотомъ, а завтра проходим-

цемъ. Всякій долженъ оставаться па своемъ мѣстѣ, при исполненіи своихъ обязанностей.

Другой вопросъ, разрѣшеніемъ котораго угрожаетъ разъигрывающаяся подъ стѣнами Парижа драма—это вопросъ объ отношеніи къ идеѣ патріотизма людей необразованныхъ и неразвитыхъ.

Доселѣ существовало мнѣніе, что чѣмъ менѣе развитъ человѣкъ, тѣмъ больше онъ способенъ быть патріотомъ. Каждый начальникъ, хотя бы и лыкомъ шитый, неизмѣнно выражался такъ:

— Не люблю я этихъ умниковъ, которые на бобахъ разводятъ, а дѣла не дѣлаютъ!

Теорія эта по прямой линіи исходила изъ той же теоріи безсознательности и врожденности. Послѣдняя implicite предполагала, что всякій вновь родившійся человѣкъ есть уже патріотъ, а такъ какъ новорожденный не грубитъ, не возражаетъ, а только портитъ пеленки, то и казалось, что выше этого патріотизма не можетъ существовать.

Кромѣ того, существовало еще и другое соображеніе. Смѣшивали патріотизмъ съ исполненіемъ начальственныхъ предписаній, и такъ какъ послѣднія не всегда и не для всѣхъ вразумительны, то приходили къ заключенію, что вразумительность можетъ быть съ успѣхомъ замѣнена дисциплиною. Но понятія о дисциплинѣ разнообразны до крайности. Есть дисциплина свободная, которую установляютъ свободные люди, по взаимному соглашенію, въ видахъ достиженія условленныхъ цѣлей, и есть дисциплина несвободная, которую установляетъ, напримѣръ, B и дѣлаетъ ее обязательною для Z, находящагося въ совершенномъ невѣдѣніи насчетъ цѣлей, для которыхъ учреждена дисциплина. До сихъ поръ самою благонадежною признавалась именно эта послѣдняя форма дисциплины. Она устраняла разговоры. А такъ какъ развитой человѣкъ не можетъ минуты прожить безъ разговора и сверхъ того раздражается всякою таинственностью, то изъ этого естественно вытекало заключеніе, что выносить дисциплину, а слѣдовательно и быть совершенно надежнымъ патріотомъ можетъ только человѣкъ совсѣмъ невѣжественный.

Исполнитель глупый, но буквально напирающій или неукоснительно отступающій, считался идеаломъ исполнителя (патріота). Всѣ стремились куда глаза глядятъ, и было великой заслугой не знать, куда стремишься. Подобнаго

рода идеалъ могъ быть подорванъ только такимъ положеніемъ вещей, въ которомъ потребность разсуждать являлась бы неотразимою. Въ такъ-называемой послѣдовательности явленій минуты полной сознательности приходятъ чрезвычайно медленно, и издали можетъ казаться, что въ массахъ таится неистощимый источникъ всевозможныхъ дисциплинъ. Но вдругъ оказывается, что разсуждать необходимо, что предстоитъ одно изъ двухъ: или разсуждать, или пропасть...

Одна изъ такихъ истинно замѣчательныхъ въ исторіи человѣчества минутъ наступила теперь.

Невозможно сказать увѣрительно, до какой степени основательны восторги публицистовъ, повѣствующіе о нѣмцахъ-пастухахъ, читающихъ въ подлинникѣ Эврипида, и о нѣмцахъ-офицерахъ, пишущихъ съ театра войны роднымъ грамотки на санскритскомъ языкѣ, но нельзя не согласиться, что человѣкъ развитой уже потому является лучшимъ патріотомъ, что, обладая идеею общаго блага и знаніемъ элементовъ, его составляющихъ, можетъ цѣлесообразнѣе дѣйствовать въ пользу торжества своей идеи.

Во-первыхъ, только человѣкъ развитой способенъ обладать представленіемъ объ общемъ строѣ явленій и объ отношеніяхъ, между ними существующихъ; невѣжественный же человѣкъ сознаетъ лишь явленія ближайшія, касающіяся его собственной личности, или личностей тѣхъ людей, которые связаны съ нимъ узами крови и безпрерывными столкновеніями на одномъ и томъ же полѣ интересовъ. Такъ-называемый patriotisme du clocher гораздо сильнѣе дѣйствуетъ въ невѣжественномъ человѣкѣ, нежели въ развитомъ, и по временамъ ограничивается районами почти микроскопическими. У насъ, напримѣръ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ сосѣднія селенія аккуратно выходятъ другъ на друга съ дреколіемъ въ рукахъ по самымъ ничтожнымъ поводамъ и бьются въ кровь до тѣхъ поръ, пока голосъ капитанъ-исправника не вразумитъ враждующихъ, что всѣ они дѣти одного отечества. Курскій мужикъ навѣрное ничего не знаетъ объ Орловской губерніи; орловскій мужикъ не имѣетъ никакихъ свѣдѣній о Курской губерніи. Они не понимаютъ, зачѣмъ имъ нужны эти «другія» губерніи, и слѣдовательно еще меньше могутъ интересоваться вопросомъ объ окраинахъ. Имъ извѣстно, что до нихъ не только изъ Калиша, но и изъ Воронежа, «какъ до звѣзды небесной далеко». Если курскому мужику гово-

рятъ: «полякъ бунтуетъ», или: «нѣмецъ блудитъ», то въ этихъ словахъ ему сказывается не вопросъ о цѣлости или величіи отечества, а вопросъ о рекрутчинѣ. Будетъ рекрутчина—стало-быть, будетъ надобность идти невѣдомо куда. Куда идти?—онъ даже и этого не можетъ опредѣлить, потому что, говоря по совѣсти, и развитому человѣку опредѣлить это не всегда бываетъ легко. Бунтуютъ поляки, а его ушлютъ задавать страхъ уѣздному городу Соликамску. Соликамскъ, Лодейное-Поле, Бендеры, Верхнеудинскъ, Свенцяны, Белебей, Таммерфорсъ, Лодзь, Ахалцыхъ, Ахалкалаки, Вольмаръ, Корчева—вотъ сколько неизвѣстныхъ величинъ онъ обязанъ любить. Съ нами Богъ! да онъ въ первый разъ въ жизни слышитъ про эти имена! Онъ знаетъ только городъ Щигры; онъ слыхалъ, что по сосѣдству съ Щиграми существуютъ еще города Фатежъ и Короча, и что въ городѣ Курскѣ сидитъ губернаторъ, который вразумляетъ бунтующихъ и только по неизреченному своему милосердію оставляетъ невинныхъ безъ взысканія. Все остальное для него миѳъ, а вы хотите, чтобъ ради этого миѳа онъ сознательно и самоотверженно жертвовалъ своей головой и своими въ потѣ лица собранными грошами! Слова нѣтъ, что онъ и можетъ сдѣлаться горячимъ патріотомъ, и смѣло полѣзетъ въ огонь и воду для исправленія границъ своего отечества, но это случится только тогда, когда его внезапный патріотизмъ будетъ неуклонно согрѣваться дисциплиною. Затѣмъ, можетъ ли патріотизмъ дисциплинированный вполнѣ замѣнить патріотизмъ свободный—это еще вопросъ, и, кажется, въ разрѣшеніи этого вопроса и заключается вся сущность дѣла.

Почти навѣрное можно сказать, что попытки замѣнить патріотизмъ дисциплиною никогда не увѣнчивались успѣхомъ. Происходитъ это оттого, во-первыхъ, что никакими мѣрами нельзя вложить душу живу въ человѣка, который можетъ дѣйствовать только какъ автоматъ, и, во-вторыхъ, оттого, что всякая дисциплина представляетъ машину столь сложную, что строгое примѣненіе ея непремѣнно увлечетъ патріотовъ-руководителей совсѣмъ въ другую сторону отъ главныхъ цѣлей. Человѣкъ, который не знаетъ, куда онъ идетъ, весь, со всѣми своими мыслительными способностями, подавленъ этою неизвѣстностью. Онъ, какъ самый простой поденщикъ, можетъ работать со штуки, но, не зная ни значенія этой работы, ни ея примѣненій, будетъ все-таки дѣйствовать наугадъ, а чаще всего невпопадъ. Сработаетъ

онъ мало, да и эту недостаточную работу, пожалуй, необходимо будетъ исправлять или начинать сызнова. Но и это еще не все: самое существо дисциплины таково, что требуетъ и непрерывнаго смотрѣнія, и множества такихъ дѣйствій, которыя угрожающимъ или унижающимъ своимъ характеромъ оскорбляютъ даже неразвитого человѣка. Устраивается цѣлая корпорація лицъ съ единственнымъ назначеніемъ поддерживать дисциплину, созываются комитеты, члены которыхъ получаютъ прекраснѣйшее жалованье и производятъ обмѣнъ мыслей, имѣющій въ виду ту же цѣль. Форма вытѣсняетъ сущность, призракъ пріобрѣтаетъ плоть и кровь.

Совсѣмъ иныя черты представляетъ дисциплина свободная, которою добровольно связываетъ себя человѣкъ развитой. Въ его глазахъ, отечество не просто безсвязный аггрегатъ селеній, городовъ, сословій и т. д., а цѣльный и живой организмъ, съ которымъ каждая пядь территоріи защищаетъ и питаетъ слѣдующую пядь. Если онъ успѣлъ доказать себѣ, что развитіе страны находится на ложной дорогѣ, то онъ не обязывается идти съ нимъ объ руку и не лишается черезъ то наименованія патріота. Бываютъ минуты, когда борьба противъ ложнаго общественнаго настроенія считается признакомъ высшаго и безукоризнѣйшаго патріотизма, хотя, конечно, бываютъ и иныя минуты, когда развитой человѣкъ подчиняетъ свой высшій патріотизмъ патріотизму необходимости и добровольно связываетъ себя дисциплиною. Какъ ни тяжелъ этотъ подвигъ подчиненія, но такъ какъ онъ предпринимается сознательно, то нѣтъ надобности ни слѣдить за каждымъ шагомъ этого человѣка, ни входить съ нимъ въ многословныя объясненія. Онъ отвѣтственъ не передъ шпицрутеномъ, а передъ судомъ своей собственной совѣсти. Сообразите же, насколько удобнѣе, проще и достойнѣе подобная дисциплина, и подведите итогъ капиталамъ и силамъ, которые страна пріобрѣтаетъ оттого только, что въ идею патріотизма будетъ введенъ элементъ сознательности и умственной развитости.

Во-вторыхъ, развитой человѣкъ и въ исключительной сферѣ практическихъ примѣненій имѣетъ возможность дѣйствовать съ бо̀льшимъ успѣхомъ, нежели человѣкъ невѣжественный. Предложите ему вопросъ о народномъ образованіи—онъ укажетъ на лучшіе методы обученія; предложите вопросъ о земледѣліи—онъ укажетъ на лучшіе спо-

собы обработки земли. Мнѣніе, утверждающее, что рутинисты суть самые лучшіе практики и дѣльцы, можетъ пользоваться кредитомъ только въ такихъ странахъ, въ которыхъ нѣтъ истинно-развитыхъ людей, а существуютъ лишь люди полуразвитые и круглые невѣжды, прикрывающіе свою невѣжественность однѣми внѣшними формами. Такіе люди дѣйствительно уступаютъ на поприщѣ практики людямъ просто невѣжественнымъ, потому что, не обладая, наравнѣ съ послѣдними, никакимъ реальнымъ знаніемъ, они, сверхъ того, пользуются еще общественнымъ положеніемъ, которое освобождаетъ ихъ отъ примѣненія даже грубой силы мышцъ. Но это все-таки нимало не свидѣтельствуетъ въ пользу невѣжественности, ибо отнюдь не слѣдуетъ упускать изъ виду, что невѣжественность обречена всякое дѣло начинать съ начала и только путемъ долгихъ и разорительныхъ опытовъ достигать тощихъ результатовъ. Даже въ дѣлѣ избіенія людей услуги развитого человѣка являются гораздо болѣе цѣнными, нежели услуги человѣка невѣжественнаго. Дайте ружье въ руки мужику, ничего не знающему, кромѣ сохи—и вы измучитесь въ ожиданіи, пока онъ убьетъ хоть одного думкомфа; дайте то же ружье въ руки «умнику» — вы не успѣете оглянуться, какъ онъ уже пристрѣлилъ полдюжины думкопфовъ. Мужикъ колетъ зря, не зная, зачѣмъ и кого колетъ; «умникъ» не только самъ колетъ съ разсужденіемъ, но даже можетъ начальству дать недурной по сему предмету совѣтъ.

Итакъ, не можетъ подлежать сомнѣнію, что подлинными патріотами могутъ считаться только развитые люди; невѣжды же обязываются любить деревню, село, городъ, а патріотами могутъ дѣлаться лишь съ помощью дисциплины.

И эту истину пришлось несчастной Франціи популяризировать своими боками, и ей же, а не Германіи, достанется честь повсемѣстнаго ея распространенія. До сихъ поръ Франція жила лихорадочною, перемежающеюся жизнью: то освѣщала міръ лучами, то погружала его въ тьму. Это происходило, повидимому, оттого, что дѣйствительно политическою и соціальною жизнью жилъ только Парижъ и другіе немногіе центры; уровень же развитія остального населенія былъ весьма невысокъ. Теперь Франціи предстоитъ такая задача: привить Парижъ къ остальному національному организму. И ежели она выполнитъ

эту задачу, то мейнингенцамъ едва ли удастся еще разъ топтать поля ея.

Зигмарингенцамъ и гессенцамъ, конечно, очень ловко говорить: «мы образованные, а вы думкопфы; наши солдаты Эврипида читаютъ, а ваши и азбукѣ обучались съ грѣхомъ пополамъ». Они забываютъ, что и возможность наслаждаться Эврипидомъ все-таки до нѣкоторой степени обезпечивается тою же Франціей, то-есть Парижемъ. Представьте себѣ такое положеніе: Франція обратилась въ Испанію, Парижъ—въ Мадридъ. Что тогда будетъ?—А вотъ что: придутъ паразиты, соберутъ всѣхъ гессенцевъ и при громѣ пушекъ объявятъ: «Нѣтъ вамъ ни школъ, ни университетовъ, ни Эврипида! живите безъ наукъ и литературы, какъ живутъ жители уѣзднаго города Пудожа!»

Для насъ, русскихъ, это открытіе не новость, хоть нельзя не сознаться, что съ полною основательностью мы знаемъ только одну половину его. Намъ извѣстно, конечно, что невѣжды суть невѣжды, но здѣсь и прекращаются наши свѣдѣнія по этой части. Вопросъ о томъ, можно ли сдѣлать изъ невѣжественныхъ людей какое-нибудь употребленіе, остается открытымъ. Мы не думали объ этомъ, по недостатку элементовъ для сравненій, по невозможности опредѣлить, на что способна умственная неразвитость. Наше народное образованіе находится въ зачаточномъ положеніи; наше высшее образованіе прогрессируетъ заднимъ ходомъ. При такомъ положеніи дѣла весьма естественно, что не можетъ существовать ни вѣрнаго понятія о сущности вещей, ни твердыхъ и ясныхъ убѣжденій. Одно убѣжденіе, повидимому, сложилось прочно—это убѣжденіе, что знаніе есть разсадникъ бунтовъ; но если мы вглядимся въ дѣло ближе, то увидимъ, что даже и это убѣжденіе наносное. Хладные теоретики проповѣдуютъ эту quasi-истину съ чужихъ словъ. Они слышали, что гдѣ-то, въ тридевятомъ царствѣ, Иванъ, получивъ просвѣщеніе, чуть-было не ограбилъ Петра, и въ ужасѣ за свои карманы вопіютъ: «вотъ хваленое просвѣщеніе! научили человѣка грамотѣ, а онъ на большую дорогу пошелъ!» Но и у этой теоріи нѣтъ твердаго, реальнаго основанія, потому что, не обладая самымъ фактомъ просвѣщенія, мы не можемъ даже судить, какая въ немъ заключается сила: разрушающая или зиждущая.

Такое положеніе могло бы, впрочемъ, имѣть свои удоб-

ства, если отнестись къ нему откровенно, безъ предубѣжденій. Если нѣтъ просвѣщенія, то надобно водворить его; если школы до того рѣдки, что всякое извѣстіе объ открытіи новаго разсадника первыхъ четырехъ правилъ ариѳметики заставляетъ открывать удивленные глаза, то надобно устроить такъ, чтобы подобныя извѣстія не удивляли, а казались обыденными. Говорятъ, что этого трудно достигнуть по недостатку матеріальныхъ средствъ; возраженіе это въ значительной степени утратитъ свою силу, ежели мы сообразимъ, сколько употребляется матеріальныхъ средствъ на устраненіе тѣхъ недоразумѣній, которыя приводитъ за собой отсутствіе просвѣщенія. Въ военномъ отношеніи, просвѣщеніе наполовину замѣняетъ шасспо; на поприщѣ гражданскихъ доблестей—оно дѣлаетъ почти ненужнымъ такъ-называемые расходы взиманія. Стало-быть, поднявши умственный уровень массъ, можно, безъ вреда для воинственныхъ упражненій, уменьшить наполовину комплектъ ружей и пушекъ, ибо оставшаяся половина будетъ палить цѣлесообразнѣе. Затѣмъ, можно будетъ также наполовину сократить армію чиновниковъ, такъ какъ послѣднимъ даже палить не будетъ предстоять надобности. Сколько получится экономіи отъ этихъ сокращеній, можно судить уже по тому, что если бы, напримѣръ, уменьшить наполовину только число полицейскихъ управленій (по росписи государственныхъ расходовъ на этотъ предметъ по всей имперіи, за исключеніемъ Финляндіи, исчисляется около шести съ половиной милліоновъ рублей), то получится круглая цифра слишкомъ въ три милліона рублей. Какую массу людей можно напитать просвѣщеніемъ на эту сумму! А тамъ пойдутъ еще акцизные надзиратели, чиновники для составленія, чиновники для пересоставленія, смотрители, предсѣдатели и даже чуть-чуть не губернаторы! И всего этого мы лишимся, во всемъ этомъ не будемъ чувствовать надобности, какъ только насъ коснется благодать просвѣщенія! Какая волшебная перспектива! Какая масса денегъ во всѣхъ карманахъ, какое довольство на всѣхъ лицахъ— и ни тѣни безпорядка!

Напротивъ, порядка будетъ еще больше, потому что примѣръ Германіи осязательно доказываетъ, что непосредственный результатъ просвѣщенія—совсѣмъ не бунты, а расположеніе читать греческихъ классиковъ въ подлинникѣ.

Не попробовать ли?

Есть еще и третій вопросъ, разрѣшеніе котораго должно значительно подвинуться впередъ вслѣдствіе откровеній настоящей войны. Это—вопросъ объ отношеніи къ идеѣ патріотизма людей, не принимающихъ участія въ дѣлахъ своей страны.

Наиболѣе распространенная изъ теорій, опредѣляющихъ отношенія отдѣльнаго человѣка къ интересамъ страны, имѣетъ девизомъ очень простое и краткое изреченіе—«не твое дѣло». Все, что ни видится кругомъ, все очерчено чертой, преступить за которую—значитъ обнаружить поползновеніе очень опаснаго свойства. Въ громадныхъ перегородкахъ, раздѣляющихъ вселенную, мечутся миріады единицъ, изъ которыхъ каждая для каждой составляетъ заповѣдную область. Чѣмъ меньше связи между людьми, тѣмъ меньше столкновеній. Тѣмъ тише. Тишина внутри и неприступность извнѣ—вотъ идеалъ страны сильной и благоденствующей. Подъ защитою этой тишины и неприступности дѣлается какое-то дѣло, но дѣлается какъ-то само собой, какъ будто надъ сонмищемъ разрозненныхъ единицъ, присвоивающимъ себѣ названіе общества, паритъ совсѣмъ независимая сила, живущая собственною жизнью и не вѣдающая иныхъ условій, кромѣ тѣхъ, которыя заключены въ ней самой. Это сила, которая устраняетъ и дисциплинируетъ тишину. Съ изумительною настойчивостью преслѣдуетъ она свою цѣль и въ концѣ концовъ дѣйствительно достигаетъ того, что девизъ «не твое дѣло» не только становится внѣшнимъ правиломъ, опредѣляющимъ человѣческія дѣйствія, но входитъ въ нравы. Задачи администраціи упрощаются до безконечности; наступаетъ минута, когда начинаетъ даже казаться, что нечѣмъ управлять; передъ глазами волнуется море людей, и хотя эти люди не связаны между собой никакой общей идеей, но всѣ ихъ движенія поражаютъ точностью, всѣ приливы и отливы совершаются съ правильностью, которой можетъ позавидовать безсознательная правильность стихіи. Это чудо достигается дисциплиною.

Этимъ все сказано. Дисциплина творитъ тишину, тишина обезпечиваетъ дисциплину. Это замкнутый кругъ, въ который не входитъ иныхъ элементовъ, кромѣ взаимнаго творчества дисциплины и тишины. Таковы требованія теоріи, и они, безъ сомнѣнія, достигли бы извѣстныхъ цѣлей, если бы въ практическихъ примѣненіяхъ была возможна та же математическая точность, какая предполагается теоріей.

Но слабая сторона теоріи «не твое дѣло» именно въ томъ и заключается, что практическія ея примѣненія не только не отвѣчаютъ ожиданіямъ теоретиковъ, но на каждомъ шагу раскрываютъ такого рода опасности, къ которымъ можетъ остаться нечувствительнымъ развѣ слѣпой и безусловный фанатизмъ.

Самый грубый практическій способъ устраненія человѣка отъ дѣятельнаго участія въ дѣлахъ страны, къ которому всего охотнѣе прибѣгали теоретики тишины, заключается въ насильственномъ обреченіи массы въ жертву невѣжественности и обѣднѣнія. По наружности, это средство дѣйствительно кажется неотразимымъ, потому что вѣдь и въ самомъ дѣлѣ трудно представить себѣ другую силу, которая могла бы такъ всецѣло гарантировать равнодушіе къ общественнымъ интересамъ, какъ гарантируютъ невѣжественность и бѣдность. Но, въ сущности, заключеніе это все-таки не больше, какъ отвлеченное построеніе. Начать съ того, что даже при систематическомъ распространеніи невѣжества невозможно обезличить человѣка до такой степени, чтобы онъ сдѣлался скотомъ весь, безъ остатка. Да и не всегда выгодно окончательно обезличить человѣка, ибо даже въ сферѣ самой грубой исполнительности встрѣчается множество случаевъ, когда необходимы услуги не скотовъ, а людей. Затѣмъ, идя далѣе, мы встрѣчаемся еще съ одною случайностью, которая тоже не свидѣтельствуетъ въ пользу невѣжественности, какъ гарантіи общественной тишины. Не подлежитъ сомнѣнію, что всякій умственный уровень, отъ высшаго до низшаго, имѣетъ минуты, когда онъ выбивается изъ обычной колеи и предъявляетъ требованія, выходящія изъ ряда обыкновенныхъ, а потому и не легко предусматриваемыя. Очень возможно, что эти уклоненія нежелательны, что необходимо всячески ихъ отвращать и отдалять; но такъ какъ все-таки фактъ существуетъ, то было бы непростительнымъ легкомысліемъ не принимать его въ разсчетъ. Спрашивается: въ какомъ случаѣ фактъ уклоненія долженъ облекаться въ формы болѣе мягкія—въ томъ ли, когда онъ исходитъ изъ среды, стоящей на высшемъ уровнѣ, или въ томъ, когда его создаетъ среда, находящаяся подъ исключительнымъ давленіемъ непосредственнаго чувства?

Это вопросъ очень серьезный, и отъ разрѣшенія его безспорно зависятъ будущія судьбы теоріи, имѣющей девизомъ: «не твое дѣло». Что, ежели окажется, что соотвѣт-

ствіе между равнодушіемъ къ общественнымъ интересамъ и тишиною, которымъ мы такъ охотно задаемся, есть только призрачное соотвѣтствіе? Что, ежели для уничтоженія этого призрака достаточно одного случайнаго движенія невѣжественной массы—движенія тѣмъ менѣе отвратимаго, чѣмъ больше мы возлагаемъ упованій на невозможность его? Издали намъ сдается, что невѣжественная и обнищавшая толпа занимается только равнодушіемъ, а она между тѣмъ требуетъ хлѣба и зрѣлищъ. И не справляется при этомъ ни съ положеніемъ бюджета, ни съ свѣдѣніями объ урожаяхъ, ибо все это «не ея дѣло». Непрерывный рядъ внѣшнихъ стѣсненій ограничилъ «ея дѣло» одними требованіями желудка; она приняла это ограниченіе, но зато ухватилась за оставленную ей сферу тѣмъ съ бо́льшею цѣпкостью, чѣмъ больше сдѣлано урѣзокъ и сокращеній во всѣхъ другихъ сферахъ ея жизни. Спрашивается: въ какихъ формахъ она выразитъ то единственное требованіе, которое она успѣла выяснить себѣ, не выяснивши при томъ никакихъ средствъ для удовлетворенія?

Другую, менѣе рѣзкую, но тоже очень рѣшительную форму устраненія отъ участія въ общественныхъ дѣлахъ представляетъ такъ-называемая административная централизація. Путемъ болѣе сложнымъ и искусственнымъ она достигаетъ тѣхъ же результатовъ, какихъ достигаетъ и невѣжественность, то-есть полнѣйшей безучастности ко всѣмъ интересамъ, кромѣ интересовъ желудка. Въ строгомъ смыслѣ, централизація даже не можетъ существовать, если рядомъ съ нею не накоплена достаточная сумма невѣжественности, и примѣръ странъ, считающихся высокоцивилизованными, подобно Франціи, нимало не опровергаетъ этой истины.

Немыслимо, чтобъ человѣкъ развитой добровольно отказался отъ права управлять своими дѣйствіями въ пользу сторонняго лица, потому что подобный отказъ былъ бы равносиленъ низведенію себя на степень низшаго организма, а для такой прихоти не имѣется никакого разумнаго объясненія. Существованіе крѣпкой централизаціи въ странахъ цивилизованныхъ ничего не доказываетъ въ ея пользу, а убѣждаетъ лишь въ томъ, къ какимъ постыднымъ результатамъ можетъ привести неравномѣрность въ распредѣленіи благъ, которыя приноситъ съ собой высокая степень умственнаго развитія. Если центры настолько богаты просвѣщеніемъ, что могутъ, по справедливости, считать себя стоящими во главѣ человѣчества, и ежели и затѣмъ

политическая и общественная жизнь страны томится подъ игомъ обезличивающихъ ее формъ, то это значитъ, что тутъ существуетъ глубокій перерывъ, котораго не можетъ наполнить даже богатое содержаніе центровъ. Даже такія существенныя выгоды, какъ, напримѣръ, народное представительство, утрачиваютъ все значеніе, благодаря изнуряющему вліянію централизаціи. Вопросы, разрабатываемые народнымъ представительствомъ, могутъ получать очень вѣрное разрѣшеніе, но для массъ это все-таки будутъ вопросы сторонніе, нимало ихъ не затрогивающіе. Нѣтъ посредствующихъ живыхъ звеньевъ, которыя служили бы примѣнителями и разъяснителями работы, совершающейся въ центрахъ — слѣдовательно не можетъ быть и жизненнаго ея примѣненія. Вмѣсто этихъ живыхъ звеньевъ, посредникомъ является армія чиновниковъ, которая дѣйствуетъ, конечно, не въ смыслѣ прилаживанія общихъ вопросовъ къ требованіямъ жизни, а совершенно наоборотъ, въ смыслѣ прилаживанія жизни къ требованіямъ общихъ вопросовъ. Отданная въ жертву этимъ прилаживаніямъ, масса или загрубѣваетъ, или же протестуетъ непрерывнымъ рядомъ волненій и безпокойствъ. И такимъ образомъ равнодушіе, на которое возлагалось такъ много надеждъ, не только перестаетъ быть источникомъ тишины, но становится творческою силой, производящею ея нарушенія.

Но пусть будетъ такъ. Пускай высказанные выше доводы останутся неубѣдительными для теоретиковъ тишины во что̀ бы то ни стало. При чемъ же тутъ однако-жъ патріотизмъ? какимъ образомъ вяжется онъ съ общественнымъ индифферентизмомъ? когда онъ требуется? въ какихъ формахъ имѣетъ возможность проявлять себя?

Въ томъ-то и дѣло, что тутъ нѣтъ и не можетъ быть никакой связи, потому что нельзя ограничить индифферентизмъ исключительно одною сферою жизни и остановить его наплывъ во всѣ остальныя сферы. Нельзя сказать человѣку: «вотъ здѣсь, въ сферѣ внутреннихъ интересовъ, ты будешь индифферентенъ и скуденъ иниціативой, а вотъ тамъ, въ сферѣ внѣшней безопасности, ты обязываешься быть пламеннымъ и изобрѣтать все, что̀ нужно на страхъ врагамъ». Это невозможно, во-первыхъ, потому, что внутренніе интересы всегда ближе касаются человѣка, и во-вторыхъ, потому, что духъ иниціативы не съ неба сваливается, а развивается воспитаніемъ и практикою. Нельзя передвигать его изъ одной сферы въ другую, смотря по надоб-

ности, особенно изъ такой сферы, гдѣ онъ встрѣчаетъ примѣненіе безпрерывное, въ такую, гдѣ предстоитъ примѣнять его только, такъ сказать, въ табельные дни. Отсутствіе повседневной работы ума мало-по-малу доводитъ способности человѣка до нуля: съ чѣмъ же онъ пойдетъ на защиту отечества, когда въ этой защитѣ встрѣтится надобность? Гдѣ онъ найдетъ элементы для энтузіазма? Онъ нагъ снаружи и нагъ внутри; онъ ничего не знаетъ; онъ игнорируетъ даже ту «вещь», во имя которой ему приводится расточать энтузіазмъ.

Но всѣ эти соображенія нимало не смущаютъ теоретиковъ молчанія, и причина тому очень простая. Въ глубинѣ души патріотизмъ столько же противенъ имъ, какъ и вообще всякое проявленіе человѣческой самодѣятельности, и только свидѣтельство исторіи (и то въ такихъ примѣрахъ, какъ Іоанна д'Аркъ, но отнюдь не въ такихъ, какъ Вильгельмъ Телль) заставляетъ ихъ признать въ этомъ явленіи нѣкоторыя небезполезныя свойства. Поэтому выраженія патріотизма хотя и допускаются, но при такихъ условіяхъ, осуществленіе которыхъ возможно только съ помощью теоріи еще болѣе искусственной, нежели изложенная выше теорія повсемѣстнаго водворенія безмолвія.

И тутъ безсознательность и врожденность служатъ исходнымъ пунктомъ для дальнѣйшихъ построеній. Принятыя однажды на вѣру, онѣ облегчаютъ дѣло настолько, что независимость патріотизма отъ практическихъ примѣненій кажется истиною вполнѣ доказанною и неопровержимою. Патріотизмъ врожденъ, слѣдовательно онъ всегда налицо, слѣдовательно его можно вызвать на сцену во всякую минуту, когда въ немъ есть надобность. Вотъ краткій, но немудрый кодексъ, которымъ руководятся теоретики народнаго обезличенія. Все равно какъ графинъ съ водкой. Покуда нѣтъ въ водкѣ надобности, графинъ стоитъ въ шкапу; какъ только есть надобность, графинъ ставится на столъ, наливается рюмка или двѣ, а затѣмъ водка опять препровождается въ шкапъ, а рюмки выполаскиваются и вытираются, чтобы не воняли.

Такой взглядъ представлялъ бы несомнѣнныя удобства, если-бъ можно было отыскать въ человѣческомъ организмѣ такой органъ, который исключительно занимался бы пристанодержательствомъ патріотизма. Тогда представлялась бы возможность дѣйствовать по усмотрѣнію: нуженъ патріотизмъ—приподнялъ клапанъ и выпустилъ паръ, не ну-

женъ—завернулъ кранъ и спи спокойно безъ патріотизма. Но такого органа до сихъ поръ еще не открыто...

Настоящая война практически доказала, что патріотизмъ, болѣе нежели всякое другое проявленіе человѣческаго духа, находится въ зависимости отъ воспитанія и навыка. До сихъ поръ приходилось только догадываться въ справедливости этой истины, и притомъ догадываться по фактамъ изолированнымъ и недостаточно яснымъ. Понятно, что и результаты такихъ догадокъ были недостаточны. Насъ не могло не поражать спокойствіе и чувство собственнаго достоинства, которое приноситъ съ собой, напримѣръ, англичанинъ или американецъ всюду, гдѣ бы онъ ни появился, но мы приписывали эти свойства интимнымъ особенностямъ расы и успокоивались на этомъ объясненіи. Всякая раса, по принятому нами преданію, снабжена особою этикеткою, на выполненіе которой она осуждена самой судьбою. Одинъ народъ долженъ быть отъ природы воспламенителенъ и хвастливъ, другой—отъ природы тупъ и склоненъ къ изобрѣтенію почтовыхъ марокъ, третій — отъ природы смиренъ и несклоненъ ни къ какимъ изобрѣтеніямъ. Но такая замкнутость расовыхъ особенностей слишкомъ противорѣчитъ идеѣ человѣческаго прогресса, чтобы можно было примириться съ нею. Только комедія, да и то плохая, можетъ представить отвержденную хвастливость, отвержденное тупоуміе или смиренство; въ жизни же всѣ эти качества точно такъ же подлежатъ законамъ разложенія, какъ и всякое другое жизненное явленіе. Вліяніе расовыхъ особенностей въ извѣстныхъ случаяхъ ослабѣваетъ и уступаетъ мѣсто вліянію воспитанія. Недостатокъ этого послѣдняго объясняетъ всѣ проявленія дикаго фанатизма съ одной стороны и презрѣнной приниженности съ другой. И хвастливость, и приниженность одинаково свидѣтельствуютъ, что человѣкъ, обладающій однимъ изъ этихъ качествъ, никогда не ощущалъ себя дѣятельнымъ членомъ общества, а слѣдовательно никогда не могъ возвыситься до идеи, что общество, независимо отъ своей развитости или неразвитости, есть организмъ настолько сильный, что выдержитъ всякую правду и съ презрѣніемъ отнесется къ хвастливости и приниженности. Если этотъ субъектъ имѣетъ способность раздражаться наносною идеей, то тѣмъ хуже для него. Это докажетъ только, что онъ во всякую минуту способенъ сдѣлать себѣ убѣжденіе, свободное отъ какой бы то ни было внутренней работы. Это паразитъ гораздо

болѣе опаснаго свойства, нежели даже другой паразитъ изъ смиренныхъ, который доводитъ свое смиренномудріе до того, что охотнѣе назоветъ себя курицынымъ сыномъ, нежели признаетъ свою національность. Чтобы достичь этой степени смиренномудрія, нужно очень многое: быть-можетъ, нужна даже ненависть. Но, во всякомъ случаѣ, ни тотъ, ни другой не могутъ называть себя патріотами по той простой причинѣ, что ни у того, ни у другого нѣтъ органической связи съ тѣмъ, что̀ они называютъ своимъ отечествомъ.

Франція первая сообщила силу достовѣрности этому факту, доселѣ имѣвшему только характеръ догадки. Она практически доказала, на что̀ была способна централизація конца XVIII столѣтія и на что̀ она сдѣлалась способною теперь, послуживъ двадцать лѣтъ послушнымъ орудіемъ въ рукахъ наѣзжихъ людей. Въ концѣ концовъ оказывается, что, какъ ни противоположно было дѣйствіе этой силы въ томъ и другомъ случаѣ, все-таки оно не сниметъ съ нея характера явленія противообщественнаго, которое вредными результатами превосходитъ даже осадное положеніе. Осадное положеніе убиваетъ жизнь общества временно; централизація отравляетъ самые корни этой жизни. Факты фанатизма и апатіи, которые доносятся до насъ съ театра войны—все это не что̀ иное, какъ послѣдствія того стройнаго административнаго механизма, которымъ гордилась Франція и которому удивлялся весь міръ. Сегодня сжигаютъ живьемъ человѣка и чуть-чуть не вздергиваютъ на висѣлицу представителя страны за то, что онъ высказываетъ свободное мнѣніе, завтра — уходятъ съ арены военныхъ дѣйствій толпы гардъ-мобилей, объявляя, что имъ лучше дома, чѣмъ на войнѣ. Ясно, что такого рода проявленія могутъ исходить только изъ такой среды, которая не имѣетъ яснаго понятія ни объ отечествѣ, ни о долгѣ, и способна подчиняться лишь паническимъ побужденіямъ преувеличеннаго страха и не менѣе преувеличенныхъ надеждъ.

Но ежели Франція такъ неожиданно познала на себѣ всѣ послѣдствія деморализаціи, которую влечетъ за собой искусственное обезличеніе страны, то нѣтъ сомнѣнія, что она вынесетъ изъ этого испытанія урокъ, поучительный не только для нея, но для всѣхъ соединенныхъ зигмарингенцевъ и мекленбуржцевъ. Положеніе Франціи имѣетъ ту выгоду, что ея неудачи слишкомъ ярко бросаются въ глаза,

чтобы можно было скрыть ихъ и упорствовать на ложномъ пути, впредь до новыхъ неудачъ. Несмотря на свое обезличеніе, это все-таки народъ, выработавшій Парижъ, а въ немъ и ту арену политическихъ и общественныхъ вопросовъ, на которую одинъ за другимъ выступаютъ всѣ члены человѣческой семьи. Для такого народа устраненіе причинъ, породившихъ неудачи, обязательно, и притомъ не частное или измороченное, а коренное, немедленное. Мекленбуржцы не понимаютъ этой обязанности; судя по прежнимъ примѣрамъ, они думаютъ, что и съ неудачами можно жить спокойно, если имѣются ретуръ-билеты, а на почтѣ не вскрываютъ посылокъ. Ихъ войска побиваютъ въ настоящую минуту думкопфовъ, и вотъ они спѣшатъ вывести изъ этого лестныя для себя заключенія. Мы, дескать, и образованные, и чиновники у насъ честнѣе, и свободы больше,—а все это намъ пожаловано! Очевидно однако-жъ, что тутъ упускается изъ вида, что то положеніе вещей, которое во Франціи было лишь плодомъ исключительнаго недоразумѣнія, для многихъ странъ, не столь взыскательныхъ, есть положеніе хроническое, а для другихъ даже желательное.

Во всякомъ случаѣ, не можетъ подлежать сомнѣнію, что громадныя событія, совершающіяся на нашихъ глазахъ, будутъ обильны не менѣе громадными результатами. И галльскій пѣтухъ, навѣрно, популяризируетъ эти результаты, и притомъ не суммарно, а во всей прискорбной ихъ полнотѣ.

ДНЕВНИКЪ ПРОВИНЦІАЛА ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ.

Глава I.

Я въ Петербургѣ.

Зачѣмъ я въ Петербургѣ? по какому случаю? — этого вопроса, по врожденной провинціаламъ неосмотрительности, я ни разу не задалъ себѣ, покидая нашъ постылый губернскій городъ. Мы, провинціалы, устремляемся въ Петербургъ какъ-то инстинктивно. Сидимъ-сидимъ — и вдругъ тронемся. Губернаторъ сидитъ и вдругъ надумается: толкнусь, молъ, нѣтъ ли чего подходящаго! Прокуроръ сидитъ — и тоже надумается: толкнусь-ка, нѣтъ ли чего подходящаго! Партикулярный человѣкъ сидитъ—и вдругъ, словно озаренный, начинаетъ укладываться... «Вы въ Петербургъ ѣдете?» — Въ Петербургъ!—Этимъ все сказано. Какъ будто Петербургъ самъ собою, однимъ своимъ именемъ, своими улицами, туманомъ и слякотью, долженъ что-то разрѣшить, на что-то пролить свѣтъ. Что̀ разрѣшить? на что̀ пролить свѣтъ? — этого ни одинъ провинціалъ никогда не пробуетъ себѣ уяснить, а просто-на̀-просто, съ безсознательною увѣренностью твердитъ себѣ: «вотъ ужо съѣзжу въ Петербургъ, и тогда...» Что̀ тогда?

Какъ бы то ни было, вопросъ: зачѣмъ я ѣду въ Петербургъ? возникъ для меня совершенно неожиданно, возникъ спустя нѣсколько минутъ послѣ того, какъ я усѣлся въ вагонъ Николаевской желѣзной дороги.

Въ этомъ вагонѣ сидѣла *губернія*, сидѣло все то, отъ чего я бѣжалъ, отъ лицезрѣнія чего стремился отдохнуть. Тутъ были: и Петръ Иванычъ, и Тертій Семенычъ, и самъ представитель «высшаго въ имперіи сословія», Александръ Прокофьичъ (онъ же «Прокопъ Ляпуновъ») съ супругой, на лицѣ которой читается только одна мысль: «Alexandre! у тебя опять галстукъ на̀-бокъ съѣхалъ!» Это была ужас-

нѣйшая для меня минута. Всѣ они были налицо, съ своими жирными затылками, съ своими клинообразными кадыками, въ фуражкахъ съ красными околышами и съ кокардой надъ козырькомъ. Всѣ притворялись, что у нихъ есть нѣчто въ карманѣ, и ни одинъ даже не пытался притвориться, что у него есть нѣчто въ головѣ. Повидимому, это послѣднее обстоятельство для нихъ составляло дѣло рѣшенное, потому что смотрѣть на міръ такими осовѣлыми глазами, какими смотрѣли они, могутъ только люди или совершенно эмансипированные отъ давленія мысли, или люди совсѣмъ наглые. А такъ какъ моихъ спутниковъ нельзя же назвать вполнѣ наглыми людьми, то очевидно, что они принадлежатъ къ числу вполнѣ свободныхъ. На меня эти красные околыши произвели какое-то болѣзненное впечатлѣніе. Мнѣ показалось, что я опять въ нашемъ рязанско-курско-тамбовско-воронежско-саратовскомъ клубѣ, окруженный сѣятелями, дѣятелями и всѣхъ сортовъ шлющимися и непомнящими родства людьми...

Разумѣется, обрадовались. Но въ этихъ привѣтственныхъ возгласахъ мнѣ слышалось что-то обидное. Какъ будто, привѣтствуя меня, они въ одинъ голосъ говорили: а вотъ и еще нашего стада скотина пришла! Не потому ли эта встрѣча до такой степени уязвила меня, что я никогда такъ отчетливо, какъ въ эту минуту, не сознавалъ, что вѣдь я и самъ такой же шлющійся и не знающій, куда приткнуть голову, человѣкъ, какъ и они? Кайдановъ удостовѣряетъ, что древніе авгуры не могли удерживаться отъ смѣха, встрѣчаясь другъ съ другомъ. Быть-можетъ, на первыхъ порахъ оно такъ и было; но впослѣдствіи, когда интересъ новизны исчезъ, эти встрѣчи должны были возбуждать не смѣхъ, а взаимное озлобленіе. Скажите: можно ли безъ злобы ежеминутно встрѣчаться съ человѣкомъ, котораго видишь насквозь, со всѣмъ его нутромъ? Помилуйте! да отъ этого человѣка за тридевять земель бѣжать надобно, а не то что улыбаться ему!

Легко сказать: бѣжать! Вы бѣжите, а онъ — за вами! Онъ, этотъ земскій авгуръ, населяетъ теперь всѣ вагоны, всѣ гостиницы! Онъ ораторствуетъ въ клубахъ и ресторанахъ; онъ проникаетъ въ педагогическія, экономическія, сельскохозяйственныя и иныя собранія и даже защищаетъ тамъ какіе-то рефераты. Онъ желанный гость у Елисеева, Эрбера и Одинцова; онъ смотритъ Патти, Ласку, Лукку, Шнейдеръ. Словомъ, онъ вездѣ. Это какой-то

неугомонный духъ, отъ вездѣсущія котораго не упастись нигдѣ...

По обыкновенію, какъ только размѣстились въ вагонахъ, такъ тотчасъ же начался обмѣнъ мыслей.

— Въ Петербургъ?—спрашиваетъ Прокопъ Петра Иваныча.

— Въ Петербургъ.

— Зачѣмъ, смѣю спросить?

— Да такъ... насчетъ концессіи одной... А вы?

— Я, признаться, тоже... отъ земства... А вы, Тертій Семенычъ?

— Да я... какъ бы вамъ сказать... вѣдь и я тоже насчетъ концессіи!

Наконецъ вопросъ обращается ко мнѣ:

— Въ Петербургъ-съ?

Тутъ-то вотъ именно и представился мнѣ вопросъ: зачѣмъ я въ самомъ дѣлѣ ѣду въ Петербургъ? и какимъ образомъ сдѣлалось, что я, убѣгая изъ губерніи и находясь несомнѣнно за предѣлами ея, въ вагонѣ все-таки очутился въ самомъ сердцѣ оной? И мнѣ сдѣлалось такъ совѣстно и конфузно, что я совершенно неосновательно отвѣтилъ Прокопу:

— Да тамъ... тоже маленькая концессія...

Тогда начались проекты самыхъ фантастическихъ концессій. Изъ Пензы въ Наровчатъ, захвативъ на дорогѣ Мокшанъ и Инсаръ; изъ Рязани въ Михайловъ, а тамъ въ Каширу, въ Алексинъ, въ Бѣлевъ, въ Медынь и т. д. Слышались фразы: «вотъ бы!» «вотъ кабы!» «ну ужъ тогда бы!» и проч. Но меня такъ всецѣло поглотила мысль, зачѣмъ я-то собственно собрался въ Петербургъ, — я, который не имѣлъ въ виду ни получить концессію, ни защитить педагогическій или сельскохозяйственный рефератъ, — что даже не замѣтилъ, какъ мы проѣхали Тверь, Бологово, Любань. Съ этою же мыслью я очутился утромъ на дебаркадерѣ Николаевской желѣзной дороги.

Но здѣсь случилось что-то неслыханное. Оказалось, что всѣ мы, то-есть вся губернія, останавливаемся въ Grand Hôtel... Уклониться отъ совмѣстнаго жительства не было возможности. Еще въ Колпинѣ начались возгласы: «да остановимтесь, господа, всѣ вмѣстѣ!» — «вмѣстѣ, господа, веселѣе!»—«стыдно землякамъ въ разныхъ мѣстахъ останавливаться!» и т. д. Нужно было имѣть твердость Муція

— Ну, а моя еще нѣтъ!

— Теперь только бы въ самую середку-то угодить!

— Да, это тоже штука. Одно средство: къ тузу какому-нибудь примазаться! Ужъ чортъ его душу дери... ѣшь половину!

Еще стукъ. Влетаетъ Тертій Семенычъ и падаетъ въ изнеможеніи въ кресло.

— Усталъ, — говоритъ онъ: — былъ вездѣ! И у Бубновина былъ, и у Мерзавскаго былъ, и у сына Сирахова былъ!

— Ну, и что же?

— Всѣ въ одинъ голосъ: «полезнѣйшее предпріятіе!»

— Смотри, какъ бы тебя съ «полезнѣйшимъ-то предпріятіемъ» не продернули! вѣдь это тоже народъ теплый!

— Меня-то? у меня линія вѣрная! Отъ Корочи черезъ Тимъ, Щигры, да такъ-таки прямо въ Ливны. А тамъ у меня кстати и имѣніе есть.

— Да ты что̀ возить-то по этой линіи будешь?

— Ужъ это наше дѣло!

— Нѣтъ, ты скажи!

— А позвольте узнать, Александръ Прокофьичъ, что̀ вы-то по вашей линіи возить будете?

— Это отъ Изюма-то, черезъ Купянку, Валуйки да въ Острогожскъ? Да тутъ, батюшка, хлѣба одного столько, что ахнешь! Опять: конопель, пенька, масло, скотъ, кожи! Да ты пойми! вѣдь въ Изюмѣ-то окружный судъ! Члены суда будутъ ѣздить! судебные слѣдователи! судебные пристава! Твое же острогожское имѣніе описывать поѣдутъ!

Между тѣмъ Петръ Иванычъ безпокойно поглядываетъ на часы и вдругъ вскакиваетъ:

— Однако пора бѣжать!

И всѣ трое, обращаясь ко мнѣ, разомъ восклицаютъ:

— Вы развѣ не пойдете устрицы ѣсть!

— Не знаю... Я какъ-то еще не думалъ объ этомъ.

— Ну, какимъ же образомъ послѣ того вы концессію получить хотите! Гдѣ же вы съ настоящими дѣльцами встрѣтитесь, какъ не у Елисеева или у Эрбера? Вѣдь тамъ всѣ! Всѣхъ тамъ увидите!

— Да вѣдь я... право, и дорога-то у меня плохая, кажется! Ну, что̀ я, въ самомъ дѣлѣ, возить по ней буду!

— А вамъ-то что̀? Это что̀ еще за тандрессы такія! Вонъ Петръ Иванычъ снѣтокъ бѣлозерскій хочетъ возить... а сооруженія-то, батюшка, затѣваетъ какія! Черезъ Чаго-

дощу мостъ въ двѣ версты—разъ! черезъ Тихвинку мостъ въ три версты (тутъ грузы захватитъ)—два! Черезъ Волховъ мостъ—три! По горамъ, по доламъ, по болотамъ, по лѣсамъ! Въ болотахъ морошку захватитъ, въ лѣсу — рябчика! зато въ Питерѣ настоящій снѣтокъ будетъ! Не псковскій какой-нибудь, а настоящій бѣлозерскій! Вкусъ-то въ немъ какой—ха! ха!

— Смѣйтесь! смѣйтесь! а вотъ какъ заполучу дорожку, тогда будетъ... хи! хи!

— Мы, батюшка, нынче всю эту статистику дотла разузнали! Гдѣ что̀ родится, гдѣ какое производство идетъ! Гдѣ мамура-ягода, гдѣ княженика-ягода! Гдѣ сырть-рыба, гдѣ сельдь, гдѣ снѣтокъ! Гдѣ мыло варятъ, гдѣ кожи дубятъ! Разносчикъ кричитъ: «сельди переславскія!» — а мы примѣчаемъ!

Дѣлать нечего, отправляемся вчетверомъ на биржу къ Елисееву.

Устричная зала полна. Губернія преобладаетъ. Кадыки, кадыки, кадыки; затылки, затылки. На столахъ валяются фуражки съ красными околышами и кокардами. Тамъ и сямъ мелькаютъ какія-то оливковыя личности, не то греки, не то евреи, не то армяне, словомъ—какіе-то иконописные люди, которымъ удалось сбѣжать съ кипарисовой доски и отгуляться на волѣ у Дюссо и у Бореля. Они жирны, словно скотъ, откормленный бардою. Личности эти составляютъ центры, около которыхъ образуются группы кадыковъ. Но самый главный центръ представляетъ какой-то необыкновенно жирный и, повидимому, не очень умный человѣкъ, который сидитъ на диванѣ у средней стѣны, и на груди у котораго отдыхаетъ тяжелая золотая цѣпь, обремененная драгоцѣнными желѣзнодорожными жетонами. Онъ уже поѣлъ и, сложа руки на груди и зажмуривъ глаза, предается пищеваренію. По временамъ пройдетъ мимо него кадыкъ, скажетъ: «Анемподисту Тимоѳеичу!»— тогда онъ отдѣлитъ отъ туловища одну изъ рукъ и вложитъ ее въ протянутую руку кадыка. Хотя этотъ человѣкъ сидитъ за своимъ столомъ одиноко, но что не кто другой, а именно онъ составляетъ настоящій центръ компаніи—въ этомъ нельзя усомниться. Кадыки, очевидно, ни на минуту не теряютъ его изъ вида. Они и сидятъ за своими столами какъ-то не прямо, а въ полъ-оборота къ нему, и говорятъ другъ съ другомъ, словно не другъ съ другомъ, а обращаясь къ третьему лицу, которое нельзя

безпокоить прямо, но безъ мнѣнія котораго обойтись немыслимо.

Проходя мимо него, Прокопъ толкаетъ меня въ бокъ и шепчетъ какимъ-то испуганнымъ голосомъ:

— Бубновинъ!

Въ залѣ сыро, наслякощено, накурено. Словно туманъ стоитъ. Но кадыки не гогочутъ, по своему обычаю, а какъ-то сдержанно бесѣдуютъ, заискиваютъ.

— Аристиду Ѳемистоклычу!—восклицаетъ Прокопъ, расцвѣтая при видѣ одного изъ византійскихъ изображеній, котораго наружность напоминаетъ паука, только-что проглотившаго муху:—какъ поживаете? каково прижимаете?

— Ницево! зивемъ!

— Дѣвочки какъ?

— И дѣвоцки!.. у насъ дѣвоцекъ завсегда бываетъ оцень достатоцно!

— Ну, слава Богу!

Мы садимся за особый столъ; приносятъ громадное блюдо, усѣянное устрицами. Но завистливые глаза Прокопа уже прозрѣваютъ въ будущемъ и усматриваютъ тамъ потребность въ новомъ такомъ же блюдѣ.

— Вели еще десятка четыре вскрыть! — командуетъ онъ: — да надо бы и насчетъ вина распорядиться... Аристидъ Ѳемистоклычъ! вы какое вино при устрицахъ потребляете?

— Сабли... а, впроцемъ, я могу всякое!

— Ну, и намъ подавай шабли, а потомъ и до «всякаго» доберемся!

Начинается истребленіе устрицъ подъ гвалтъ общаго говора.

— Я вамъ докладываю: простой армейскій штабсъ-капитанъ былъ!—ораторствуетъ какой-то «кадыкъ»:—въ нашемъ городѣ въ квартальные просился—не дали.

— А теперь третью дорогу строитъ!—отзывается другой «кадыкъ»:—вотъ оно что̀ значитъ умъ-то!

— Да; если человѣкъ съ умомъ... это тоцно!..—замѣчаетъ Аристидъ Ѳемистоклычъ.

Онъ пропустилъ ужъ полсотни устрицъ и развалился на диванѣ, попыхивая какую-то неслыханной красоты сигару.

— Товарищи были! въ одно время въ полку служили!—повѣствуетъ въ другомъ углу третій «кадыкъ»: — вчерась встрѣчаемся на Невскомъ. «Ты что̀?» говоритъ.—Такъ и такъ, говорю, дорожку бы заполучить!—«Приходи», говоритъ.

Я вглядываюсь въ говорящаго и вижу, что онъ лжетъ. Быть-можетъ, онъ и отъ природы не можетъ не лгать, но въ эту минуту къ его хвастовству, видимо, примѣшивается разсчетъ, что оно подѣйствуетъ на Бубновина. Послѣдній однако-жъ поддается туго: онъ окончательно зажмурилъ глаза, даже слегка похрапываетъ.

— А какая доброта-то! — продолжаетъ хвастаться кадыкъ:—такъ-таки просто и говоритъ: «пріѣзжай, говоритъ, я тебя съ женой познакомлю, а потомъ и объ дорожкѣ потолкуемъ! я, говоритъ, знаю, что твое дѣло вѣрное!»

Бубновинъ продолжаетъ похрапывать.

— Шнейдершу бы вотъ попросить, чтобы словечко замолвила!—вдругъ предлагаетъ кто-то.

Бубновинъ открываетъ одинъ глазъ, какъ будто хочетъ сказать: насилу хоть что-нибудь путное молвили! Но предложенію не дается дальнѣйшаго развитія, потому что оно, какъ и всѣ другія восклицанія, въ родѣ: «вотъ бы! тогда бы!» явилось точно такъ же случайно, какъ тѣ мухи, которыя неизвѣстно откуда берутся, прилетаютъ и потомъ опять неизвѣстно куда исчезаютъ.

Съѣдаются первые четыре десятка устрицъ, потомъ съѣдаются еще четыре десятка устрицъ; въ промежуткахъ съѣдаются: два фунта свѣжей икры, фунтъ сыру, фунтъ семги. Выпивается по бутылкѣ шабли на брата, потомъ по бутылкѣ шампанскаго; въ промежуткахъ пробуются разные сорта водокъ. Дымъ синими волнами ходитъ по комнатѣ, такъ что, несмотря на зажженный газъ, почти ничего не видно. И чѣмъ больше выпивается, тѣмъ гуще дѣлается шумъ. Приходятъ новые дѣятели; слышатся вопросы: «рѣшена?» «аудіенціи-то добился ли, по крайней мѣрѣ?» и отвѣты: «а чортъ ихъ разберетъ!...» «семь дней хожу и дальше передней — ни-ни!...» Въ пять часовъ мы выходимъ наконецъ на воздухъ.

— Гдѣ же дѣльцы-то?—спрашиваю я у Прокопа.

— А Бубновинъ!

— Да вѣдь вы съ нимъ даже не говорили!

— Какой вы, батюшка, однако-жъ, чудной! развѣ этакого человѣка можно сразу! Его надобно еще пріучить къ себѣ, чтобы онъ, значитъ, къ физіономіи-то сначала присмотрѣлся! Разъ скажешь ему: Анемподисту Тимоѳеичу! въ другой: Анемподисту Тимоѳеичу! — ну, онъ и прислушивается помаленьку. Успѣлъ ты ему понравиться—дѣло въ шляпѣ! Не успѣлъ—домой поѣзжай! и проѣдаться тутъ не-

чего! Вотъ этотъ баринъ, что̀ про Шнейдершу-то давеча молвилъ — вы видѣли, какъ онъ на него посмотрѣлъ! Да баринъ-то плохъ! Другой бы на его мѣстѣ такъ бы этой Шнейдершей Бубновина раззудилъ, что завтра и по рукамъ бы хлопнули!

— Зачѣмъ же дѣло? воспользуйтесь!

— Я, батюшка, и то ужъ подумываю! Кончено дѣло! завтра же чѣмъ свѣтъ — къ Бубновину! Я ему этотъ прожектецъ во всѣхъ статьяхъ разверну!

Я возвращаюсь въ свой нумеръ—усталый, ошеломленный, полупьяный; нераздѣтый бросаюсь въ постель и засыпаю тяжелымъ сномъ. Во снѣ мнѣ видится желѣзная дорога отъ Петербурга до самаго устья Печоры. Локомотивъ, пыхтя и свистя, несется въ необозримую даль; болотныя трясины содрогаются; лѣса оглашаются безконечнымъ эхомъ; испуганные звѣри и птицы скрываются куда-то далеко, въ непроглядный мракъ. На поѣздѣ сидитъ жандармъ и какой-то партикулярный молодой человѣкъ. И мчатся эти люди день и ночь, худо спятъ, на̀скоро закусываютъ, бѣгутъ, спѣшатъ, какъ будто и нѐвѣсть какія пріятства ожидаютъ ихъ на устьѣ Печоры. А съ устья Печоры въ свою очередь тоже мчится поѣздъ, и несется на немъ господинъ Латкинъ съ свѣжею печорскою семгою и кедровой шишкой въ рукахъ, какъ доказательство крайней необходимости дороги въ этотъ кишащій естественными богатствами край. И вдругъ въ Усть-Сысольскѣ ужасное столкновеніе... Раздается трескъ, громъ; я въ ужасѣ мечусь на постели и наконецъ вскакиваю.

Въ комнатѣ темно; въ дверь моего нумера дѣйствительно кто-то сильнѣйшимъ образомъ стучитъ.

Отпираю: влетаетъ Прокопъ.

— Спите, батюшка, спите!—говоритъ онъ мнѣ укоризненно:—а я, покуда вы тутъ спите, у Дюссо съ такимъ человѣчкомъ знакомство свелъ!

— Съ какимъ еще человѣчкомъ?—спрашиваю я, насилу продирая глаза.

— Да ужъ съ такимъ человѣчкомъ, что ежели черезъ недѣлю мое дѣло не будетъ слажено и покончено, назовите меня въ глаза подлецомъ!

Не успѣваю я отвѣтить, какъ влетаютъ разомъ Тертій Семенычъ и Петръ Иванычъ.

— Ну, батюшка, слава Богу! кажется, мое дѣло въ шляпѣ!—говоритъ Тертій Семенычъ.

— И меня, я полагаю, черезъ недѣльку поздравить будетъ можно!—перебиваетъ его Петръ Иванычъ.

— Ну, а теперь пора и отдохнуть!—возглашаетъ Прокопъ: — да что̀, впрочемъ, не выпить ли на ночь прощёную!

Но я рѣшительно отказываюсь, и гости, послѣ долгихъ упрашиваній, расходятся наконецъ по нумерамъ.

Я остаюсь одинъ (бьетъ ужъ два часа) и вновь ложусь спать.

Такимъ образомъ продолжается пятнадцать дней. Кромѣ своего нумера и устричной залы Елисеева, я ничего не вижу. Я ни разу даже не пообѣдалъ какъ слѣдуетъ. Кромѣ устрицъ, икры, семги—ничего. Горячаго ни-ни! Наконецъ я чувствую, что ежели это времяпрепровожденіе продолжится, то я сдѣлаюсь пьяницей. Каждый день, по малой мѣрѣ, три бутылки вина, не считая водки! И это, такъ сказать, натощакъ. Перестаю наконецъ понимать, кто я и гдѣ я. Въ одно прекрасное утро просыпаюсь—и ничего, положительно ничего не понимаю. Что? какъ? зачѣмъ? Наконецъ, когда ужъ мнѣ вылили на голову цѣлое ведро холодной воды (я помню, я все кричалъ: лей! лей!)—только тогда я понялъ, что я—я. Подбѣжалъ къ зеркалу, смотрю—глаза налитые, совсѣмъ круглые. Значитъ, дошелъ до точки.

Нѣтъ, надо бѣжать. Но какъ же уѣхать изъ Петербурга, не видавъ ничего, кромѣ нумера гостиницы и устричной залы Елисеева? Вѣдь есть, вѣроятно, что-нибудь и поинтереснѣе. Есть умственное движеніе, есть публицистика, литература, искусство, жизнь. Наконецъ найдутся старые знакомые, товарищи, которыхъ хотѣлось бы повидать...

Кончено. Я предпринимаю героическое рѣшеніе. Въ одно прекрасное утро, покуда «губернія» шныритъ по разнымъ концамъ города, я уплачиваю мой счетъ въ Grand Hôtel и тайкомъ перебираюсь въ скромныя chambres garnies на Гороховой.

Прежде всего я отправляюсь въ Воронинскія бани, гдѣ парюсь до тѣхъ поръ, покамѣстъ не сознаю себя вполнѣ трезвымъ. Затѣмъ приступаю вновь къ практическому разрѣшенію вопроса: зачѣмъ я пріѣхалъ въ Петербургъ?

Сознаюсь откровенно: изъ всѣхъ названныхъ выше соблазновъ (умственное движеніе, публицистика, литература, искусство, жизнь) меня всего болѣе привлекаетъ послѣдній, то-есть «жизнь». Мы, провинціалы,—да, впрочемъ, одни

ли мы?—имѣемъ о «жизни» представленіе нѣсколько двойственное. Казовый конецъ этого представленія составляютъ интересы умственные и общественные; дѣйствительной же его сущности отвѣчаетъ все то, что льститъ интересамъ личнымъ и непосредственнымъ, то-есть вкусу и чувственности. На этотъ конецъ у насъ и слово такое выдумано: жуировать. А жуировать совсѣмъ не значитъ ходить въ Публичную библіотеку, посѣщать лекціи профессора Сѣченова, защищать въ педагогическихъ и иныхъ собраніяхъ рефераты и проч., а просто, въ переводѣ на французскій языкъ, означаетъ: buvons, chantons, dansons et aimons! Поэтому, если мы встрѣчаемъ человѣка, который, говоря о жизни, драпируется въ мантію научныхъ, умственныхъ и общественныхъ интересовъ и увѣряетъ, что никогда не бываетъ такъ счастливъ и не живетъ такою полною жизнью, какъ изслѣдуя вопросъ о пришествіи варяговъ или о мѣстѣ погребенія князя Пожарскаго, то можно сказать навѣрное, что этотъ человѣкъ или преднамѣренно, или безсознательно скрываетъ свои настоящія чувства. Говоритъ онъ о пользѣ классическаго образованія, а на умѣ у него: buvons, chantons, dansons et aimons! Говоритъ о податной реформѣ, а на умѣ: buvons, chantons, dansons et aimons! Всѣ эти вопросы, системы, нововведенія и проч. представляютъ лишь неизбѣжную, но сухую и горькую приправу жизни. Безъ нихъ нельзя обойтись, потому что они даютъ однимъ—прекраснѣйшія должности съ прекраснѣйшимъ содержаніемъ, другимъ, не нуждающимся въ содержаніяхъ—прекраснѣйшія общественныя положенія. Но конечный результатъ всѣхъ этихъ содержаній и положеній все-таки резюмируются такъ: buvons, chantons, dansons et aimons. Никакое полезное предпріятіе немыслимо, если оно время отъ времени не освѣжается обѣдомъ съ шампанскимъ и устрицами. Тупа грамматика, косноязычна реторика, если ихъ не оплодотворяетъ струя редерера. Даже археологъ, защищая рефератъ о «ярославлѣ-сребрѣ»—и тотъ думаетъ: «вотъ ужо выпьемъ изъ той самой урны, въ которой хранился прахъ Овидія!» Вотъ гдѣ настоящая русская подоплека, а совсѣмъ не тамъ, гдѣ безплодно ищутъ ее глаголемые славянофилы. Москва поняла это въ совершенствѣ; оттого-то въ ней и ѣдятъ, такъ сказать, походя.

Слѣдуя общему примѣру, и я отправился на поиски «жизни», и съ этою цѣлью посѣтилъ товарищей моихъ по школѣ.

Прихожу къ одному—статскій совѣтникъ!

— Статскій совѣтникъ!—восклицаю я: — поздравляю, поздравляю!

А самъ между тѣмъ чувствую, что въ голосѣ у меня что-то оборвалось, а внутри какъ будто закипаетъ. Я добрый и даже рыхлый малый, но когда подумаю, что не выйди я титулярнымъ совѣтникомъ въ отставку, то могъ бы... могъ бы... Ахъ, чортъ побери да и совсѣмъ!

— Да, душа моя,—съ невозмутимою важностью отвѣчаетъ мнѣ бывшій товарищъ:—не могу пожаловаться, начальство цѣнитъ-таки труды мои!

«Труды твои! шишъ твои труды—вотъ что̀!» со злобою помышляю я, но вслухъ говорю слѣдующее:—Ну, а дальше... есть виды?

— Насчетъ видовъ—это покамѣстъ еще секретъ. Но, конечно, съ Божьею помощью...

Сказавъ это, онъ устремилъ такой пронзительный взглядъ вдаль, что я сразу понялъ, что сей человѣкъ ни передъ какими видами несостоятельнымъ себя не окажетъ.

— Ну, а въ настоящемъ какъ?

— А въ настоящемъ... жуируемъ! Гандонъ, Ловато, Шнейдеръ... Да ты Шнейдеръ-то видѣлъ?

— Нѣтъ еще... я такъ недавно въ Петербургѣ...

— Ты не видалъ Шнейдеръ! Чудакъ! Чего же ты ждешь? Желалъ бы я знать, зачѣмъ ты пріѣхалъ! Boulotte... да вѣдь это перлъ! Comme elle se gratte les hanches et les jambes... sapristi! И онъ не видѣлъ!

Въ эту минуту въ комнату входитъ другой товарищъ, еще только коллежскій совѣтникъ.

— Смѣльскій, ужасайся! онъ не видалъ Шнейдеръ!

— Ты не видалъ Шнейдеръ?

— Онъ не слыхалъ «Dites-lui»!

— Et Boulotte donc! Comme elle se gratte les hanches et les jambes... c'tte fille! Barbare!.. va!

Я слушаю и краснѣю. Въ самомъ дѣлѣ, что̀ дѣлалъ я въ теченіе цѣлыхъ двухъ недѣль? Я бесѣдовалъ съ Прокопомъ, я наслаждался лицезрѣніемъ иконописнаго Аристида Ѳемистоклыча—и чего не видѣлъ! не видѣлъ Шнейдеръ!

— Ради Бога... нельзя ли?—лепечу я въ смущеніи.

— Ah, mon cher, c'est grave! C'est très grave, ce que tu nous demande-là. Однако вотъ что̀. У насъ ложа на всѣ пятнадцать представленій, и хотя насъ четверо, но для

тебя, pour te désinfecter de ta chère ville natale... мы потѣснимся. Но помни: только для тебя! А теперь, messieurs, обѣдать, но за обѣдомъ, чуръ, много вина не пить! Помните, что сегодня идетъ «Barbe bleue»; а чтобы эту пьесу просмаковать, нужно, чтобы голова была свѣтла да и свѣтла!

И точно, за обѣдомъ мы пьемъ сравнительно довольно мало, такъ что, когда я, руководствуясь бывшими примѣрами, налилъ себѣ передъ закускою большую (желѣзнодорожную) рюмку водки, то на меня оглянулись съ нѣкоторымъ безпокойствомъ. Затѣмъ: по рюмкѣ хересу, по стакану добраго лафита и по бутылкѣ шампанскаго на человѣка — и только.

На свѣжую голову Шнейдеръ дѣйствуетъ изумительно. Она производитъ тò, чтò должна была бы произвести вторая бутылка шампанскаго. Влетая на сцену, черезъ какое-нибудь мгновеніе она уже поднимаетъ ногу...

— Adorable!—шепчетъ мой другъ, статскій совѣтникъ.

— И замѣть, что у насъ она въ стократъ скромнѣе играетъ, нежели въ Парижѣ!—комментируетъ другой мой другъ, коллежскій совѣтникъ.

И вдругъ она начинаетъ пѣть. Но это не пѣніе, а какой-то опьяняющій, звенящій хохотъ. Поетъ и въ то же время чешетъ себя во всѣхъ мѣстахъ, какъ это, впрочемъ, и слѣдуетъ дѣлать наивной поселянкѣ, которую она изображаетъ.

— Mais comme elle se gratte! comme elle se gratte!.. parlez-moi de ça!—захлебывается статскій совѣтникъ.

— Je vous demande un peu, si ce n'est pas là une grande actrice!—вторитъ коллежскій совѣтникъ и съ какою-то ненавистью озирается по сторонамъ, какъ будто вызываетъ дерзновеннаго, который осмѣлился бы выразить противоположное мнѣніе.

Но зала составлена слишкомъ хорошо; никто и не думаетъ усомниться въ геніальности m-lle Шнейдеръ. Во время пѣнія всѣ благоговѣйно слушаютъ; послѣ пѣнія всѣ неистово хлопаютъ. Мы съ своей стороны хлопаемъ и вызываемъ до тѣхъ поръ, покуда зала окончательно пустѣетъ.

Послѣ спектакля ужинъ (уже безъ воздержанія) и за ужиномъ разговоръ.

— Mais comme elle se gratte!

— En voilà une fille!

— Et remarquez, comme elle a fait ceci...

Статскій совѣтникъ пробуетъ пройтись церемоніальнымъ маршемъ, какъ это дѣлаетъ Шнейдеръ, то-есть вскидывая поочередно то ту, то другую ногу на плечо.

Я самъ взволнованъ отъ глубины души и желаю выразить свои чувства.

— Признаюсь, господа,—говорю я:—это... это... замѣтили ли вы, напримѣръ, какой у нея отлётъ?

Я изгибаюсь головой и грудью впередъ, а остальною частью корпуса силюсь изобразить «отлётъ».

— Именно отлётъ! C'est le vrai mót! Otliott! magnifique!

— Ай-да деревня! сидитъ въ захолустьѣ, да и выдумаетъ!

— Messieurs! не говорите такъ легко о нашемъ захолустьѣ! У насъ тамъ одна помпадурша есть, такъ у нея отлётъ! Je ne vous dis que ça!

Я собираю пальцы въ кучку и цѣлую кончики.

— Ну, все-таки, противъ Шнейдеръ...—сомнѣвается статскій совѣтникъ.

— Да развѣ я объ Шнейдершѣ!... Schneider! mais elle est unique! Шнейдеръ... это... это... Но, я вамъ скажу, и помпадурша! Elle ne se gratte pas les hanches,—c'est vrai,—mais si elle se les grattait! я не ручаюсь, что и вы... Человѣкъ! четыре бутылки шампанскаго!

Потомъ слѣдуютъ еще четыре бутылки, потомъ еще четыре бутылки... Желудокъ отказывается вмѣщать, въ груди чувствуется стѣсненіе. Я возвращаюсь домой въ пять часовъ ночи, усталый и настолько отуманенный, что едва успѣваю лечь въ постель, какъ тотчасъ же засыпаю. Но я не безъ гордости сознаю, что сего числа я былъ истинно пьянъ не съ пяти часовъ пополудни, а только съ пяти часовъ пополуночи.

На другой день къ другому товарищу—этотъ ужъ не просто статскій, а дѣйствительный статскій совѣтникъ.

— Ужъ дѣйствительный статскій!!

— Да, душа моя, дѣйствительный. Благодареніе Богу, начальство видитъ мои труды и цѣнитъ ихъ.

— Да вѣдь такимъ образомъ ты, пожалуй...

— И очень не мудрено. Теперь, душа моя, люди нужны, а мои правила настолько извѣстны... Enfin qui vivra—verra.

Сказавши это онъ поднялъ ногу, какъ будто инстинк-

тивно куда-то ее заносилъ. Потомъ, какъ бы сообразивъ, что серьезныхъ разговоровъ со мной, провинціаломъ, вести не приходится, спросилъ меня:

— Надѣюсь, что ты видѣлъ Шнейдеръ?

— Вчера съ старыми товарищами былъ.

— Это въ «Barbe bleue»? Délicieuse! не правда ли?

— Comme elle se gratte les hanches et les jambes!

— N'est-ce pas! quelle fille! quelle diable de fille! Et en même temps, actrice! mais une actrice... ce qui s'appelle— consommée!

— А ты не замѣтилъ, какъ она церемоніальнымъ маршемъ къ вѣнцу-то прошла!

Я пробую напомнить Шнейдершу въ лицахъ, но при первой же попыткѣ вскинуть ногу на плечо спотыкаюсь и падаю.

— Ну, вотъ! ну, вотъ!—смѣется мой другъ:—это хорошо, что ты такъ твердо запомнилъ, но зачѣмъ подражать неподражаемому! En imitant l'inimitable, on finit par se casser le cou.

— Mais comme elle se gratte! dieu des dieux! comme elle se gratte!

— A! mais c'est encore un traité de génie... ça! Замѣть, кого она представляетъ? Она представляетъ простую, наивную поселянку! Une villageoise! une paysanne! une fille des champs! Ergo...

— Mais c'est simple comme bonjour!

— Вотъ сегодня, напримѣръ, ты увидишь ее въ «Le sabre de mon pere»—здѣсь она не только не чешется, но даже поразитъ тебя своимъ величіемъ! А почему? потому что этого требуетъ роль!

— Увы! у меня нѣтъ на сегодня билета!

— Вздоръ! Надо, чтобы ты видѣлъ эту пьесу. Вы— люди земства, mon cher, и наша прямая обязанность—это стараться, чтобы вы все видѣли, все знали. Вотъ что: у насъ есть ложа, и хотя мы тамъ вчетверомъ, но для тебя потѣснимся. Я хочу, непремѣнно хочу, чтобы ты видѣлъ, какъ *она* поетъ «Dites-lui»! Я съ намѣреніемъ говорю: «чтобъ ты видѣлъ», потому что это мало слышать, это именно *видѣть* надо! А теперь идемъ обѣдать, mais soyons sobres, mon cher! parce que c'est très sérieux, ce que tu vas voir ce soir!

Мы обѣдаемъ впятеромъ. Выпиваемъ по рюмкѣ хересу, по стакану добраго лафита и по бутылкѣ шампанскаго на человѣка—и только.

Я не стану описывать впечатлѣнія этого чуднаго вечера. *Она* изнемогала, таяла, извивалась и такъ потрясала «отлётомъ», что товарищи мои, несмотря на то, что всѣ четверо были дѣйствительные статскіе совѣтники, изнемогали, таяли, извивались и потрясали точно такъ же, какъ и *она*.

Изъ театра—къ Борелю.

— Ну-съ, что̀ скажете, любезный провинціалъ?

— Да, messieurs, это... Это, я вамъ скажу... Это искусство!

— C'est le mot. On cherche l'art, on se lamente sur son dépérissement! Eh bien! je vous demande un peu, si ce n'est pas la personnification même de l'art! «Dites lui»!—parlez-moi de ça!

— И замѣтьте, messieurs, какой у нея «отлётъ»!

— Otliott! c'est le mot! mais il est unique, ce cher provincial!

Какъ и наканунѣ,—я изогнулся головой и корпусомъ впередъ.

— Именно! именно! c'est ça! c'est bien ça!—кричали дѣйствительные статскіе совѣтники, хлопая въ ладоши.

Даже борелевскіе татары—и тѣ смѣялись.

— А теперь, господа, въ благодарность за высокое наслажденіе, доставленное мнѣ вами, позвольте... Человѣкъ! шесть бутылокъ шампанскаго!

Затѣмъ еще шесть бутылокъ, еще шесть бутылокъ и еще... Я вновь возвращаюсь домой въ пять часовъ ночи, но на сей разъ ужъ съ мѐньшею гордостью сознаю, что хотя и не съ пяти часовъ пополудни, но все-таки другой день сряду ложусь въ постель усталый и съ отягченной винными парами головой.

Такимъ образомъ проходитъ десять дней. Утромъ — вставанье и потягиванье до трехъ часовъ; потомъ—посѣщеніе старыхъ товарищей и обѣдъ съ умѣренной выпивкой; потомъ—Шнейдерша и ужинъ съ выпивкой неумѣренной. На одиннадцатый день я подхожу къ зеркалу и удостовѣряюсь, что глаза у меня налитые и совсѣмъ круглые. Значитъ, опять въ самую точку попалъ.

«Ужъ не убраться ли по добру по здорову подъ сѣнь рязанско-козловско-тамбовско-воронежско-саратовскаго клуба?»—мелькаетъ у меня въ головѣ. Но мысль, что я почти мѣсяцъ живу въ Петербургѣ и ничего не видалъ, кромѣ Елисеева, Дюссо, Бореля и Шнейдеръ, угрызаетъ меня.

«Нѣтъ,—думаю:—попробую еще! По крайней мѣрѣ, узна̀ю, что̀ такое современная петербургская жизнь!»

Принявъ это рѣшеніе, отправляюсь въ Воронинскія бани, гдѣ парюсь до тѣхъ поръ, пока сознаю себя вполнѣ трезвымъ.

Затѣмъ на цѣлый день остаюсь дома и занимаюсь приведеніемъ въ порядокъ желудка. И только на другой день, свѣжій и встрепанный, начинаю новый рядъ похожденій...

Глава II.

Что̀ же такое однако «жизнь»?

Въ теченіе болѣе трехъ недѣль я продѣлывалъ все, что̀, по ходячему кодексу о «жизни», надлежитъ продѣлать, чтобы имѣть право сказать: я жуировалъ и слѣдовательно жилъ. Я исполнилъ «buvons»—ибо ни одного дня не ложился спать трезвымъ; я исполнилъ «chantons et dansons»—ибо стоически выдержалъ цѣлыхъ десять представленій «avec le concours de m-lle Schneider»; наконецъ я не могу сказать, чтобы не было въ продолженіе этого времени кое-чего и по части «aimons»... А въ результатѣ все-таки долженъ сознаться, что не только «жизни», но даже и жуировки тутъ не было никакой. Мало того: по окончаніи всего этого жизненнаго процесса я испытываю какое-то удивительно странное чувство. Мнѣ сдается, что все это время я провелъ въ одиночномъ заключеніи!

И дѣйствительно, это было не болѣе какъ одиночное заключеніе, только въ особенной своеобразной формѣ. Провести въ продолженіе двухъ недѣль всѣ сознательные часы въ устричной залѣ Елисеева, среди кадыковъ и иконописныхъ людей—развѣ это не одиночное заключеніе? Провести остальные десять дней въ обществѣ дѣйствительныхъ статскихъ кокодессовъ, лицомъ къ лицу съ несомнѣннѣйшею чепухой, въ видѣ «Le sabre de mon père», съ чепухой безъ начала, безъ конца, безъ середки—развѣ это не одиночное заключеніе? Ежели первый признакъ, по которому мы сознаемъ себя живущими въ человѣческомъ обществѣ, есть живая человѣческая рѣчь, то развѣ я ощущалъ на себѣ ея дѣйствіе? Говоря по совѣсти, все, что̀ я испытывалъ въ этомъ смыслѣ, ограничивалось слѣдующимъ: я безразличнымъ образомъ сотрясалъ воздухъ, я внималъ рѣчамъ безъ подлежащаго, безъ сказуемаго, безъ связки, и самъ произносилъ рѣчи безъ подлежащаго, безъ сказуемаго, безъ связки. «Вотъ кабы», «ну, ужъ тогда бы» — вѣдь это такого рода словопренія, которыя я могъ бы совершенно удобно производить и въ одиночномъ за-

ключеніи. Ужели же я безъ натяжки могу утверждать, что меня окружало дѣйствительно людское общество, когда въ моемъ времяпровожденіи не было даже внѣшнихъ признаковъ общественности? Нѣтъ, это были не болѣе какъ люди стѣноподобные, обладающіе точно такими же собесѣдовательными средствами, какими обладаютъ стѣны одиночнаго заключенія. Это было не общество въ дѣйствительномъ значеніи этого слова, а именно одиночное заключеніе, въ которое, вслѣдствіе упущенія начальства, ворвалось шампанское съ устрицами, съ пѣніемъ и танцами.

А между тѣмъ кодексъ, формулирующій жизнь словами: buvons, dansons, chantons et aimons — сочиненъ не нами. Онъ существуетъ издревле, и цѣлыя поколѣнія довольствовались имъ, не думая ни о чемъ другомъ и не желая ничего больше. Отчего же онъ опротивѣлъ мнѣ въ двадцать четыре дня, а достославнымъ моимъ предкамъ казался лучше всякаго эдема? Отчего мои пращуры могли всю жизнь, безъ всякаго ущерба, предаваться культу «buvons», а я не могу выдержать мѣсяца, чтобы у меня не затрещала голова, чтобы глаза мои явно не изобличали меня въ нетрезвомъ поведеніи, чтобы мнѣ самому наконецъ моя собственная персона не сдѣлалась до нѣкоторой степени противною? Отчего дѣдушка Матвѣй Иванычъ, передъ которымъ дѣвка Палашка каждый вечеръ, изо дня въ день, потрясала плечами и бедрами, не только не скучалъ ея скуднымъ репертуаромъ, но такъ и умеръ, не насладившись имъ досыта, а я, несмотря на то, что передо мной потрясала бедрами сама Шнейдерша, въ какихъ-нибудь десять дней ощутилъ такую сытость, что хоть повѣситься?

Я живо помню дѣдушку Матвѣя Иваныча. Это былъ старикъ высокій, широкоплечій, бодрый, сильный и румяный. Онъ вставалъ рано, никогда не нѣжился и не потягивался, но сразу одѣвался, выливалъ на голову кувшинъ холодной воды, выпивалъ красоулю и отправлялся въ отъѣзжее поле. Тамъ, въ промежуткахъ полеванія, выпивалось до пропасти, и основаніемъ выпивки всегда служилъ спиртъ. Очевидно, тутъ было отъ чего ошалѣть самому крѣпкому организму, но старикъ возвращался домой не только безъ всякихъ признаковъ пресыщенія, но съ явнымъ намѣреніемъ выпить до пропасти и за обѣдомъ. Послѣ обѣда онъ задавалъ выхрапку, продолжавшуюся часа три; потомъ выпивалъ «десертную», выслушивалъ ста-

росту и отправлялся въ залъ. Тамъ его ожидали сѣнныя дѣвушки, съ дѣвкой Палашкой во главѣ, и начиналось непрестающее потрясаніе бедрами, все въ одномъ и томъ же тонѣ, съ однѣми и тѣми же прибаутками, нынче какъ вчера. Какъ страстный любитель потрясаній, дѣдушка, разумѣется, не могъ ни устоять, ни усидѣть, и потому притопывалъ, приплясывалъ, жаловалъ по рюмкѣ, самъ выпивалъ по двѣ и проводилъ такимъ образомъ время до ужина. За ужиномъ онъ велъ пристойный разговоръ съ гостями, если таковые наѣзжали, или съ домашними, если гостей не было, и выпивалъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы имѣть возможность сейчасъ же заснуть и отнюдь не видѣть никакихъ сновъ. И разсчетъ никогда не обманывалъ его; онъ безмятежно засыпалъ вплоть до утра, съ наступленіемъ котораго вновь повторялся вчерашній день съ тою же выпивкой, съ тѣмъ же отъѣзжимъ полемъ и съ тѣми же потрясаніями.

А дяденька у меня былъ, такъ у него во всякой комнатѣ было по шкапику и во всякомъ шкапикѣ по графинчику, такъ что все времяпровожденіе его заключалось въ томъ: въ одной комнатѣ походитъ и выпьетъ, потомъ въ другой походитъ и выпьетъ, покуда не обойдетъ весь домъ. И ни малѣйшей скуки, ни малѣйшаго недовольства жизнью!

Десятки лѣтъ проходили въ этомъ однообразіи, и никто не замѣчалъ, что это—однообразіе, никто не жаловался ни на пресыщеніе, ни на головную боль! Въ баню, конечно, ходили и прежде, но не для вытрезвленія, а для того, чтобы испытать, какой вкусъ имѣетъ вино, когда его пьетъ человѣкъ совершенно нагой и окруженный цѣлымъ облакомъ горячаго пара.

Положимъ, что въ былое время, какъ говорятъ, на Руси рождались богатыри, которымъ ни почемъ было выпить штофъ водки, согнуть подкову, переломить цѣлковый; но вѣдь дѣло не въ томъ, что человѣкъ имѣлъ возможность совершать подобные подвиги и не лопнуть, а въ томъ, какъ онъ могъ не лопнуть отъ скуки?

А мнѣ вотъ скучно. Я пью у Елисѣева вино первый сортъ, а мнѣ кажется, что есть и еще какое-то вино, которое представляетъ собою уже самый первый сортъ, и мнѣ его не даютъ; я смотрю на Шнейдершу, а мнѣ кажется, что есть еще какая-то оберъ-Шнейдерша, и что вотъ если бы эту оберъ-Шнейдершу посмотрѣть, такъ это

точно... Гдѣ бы я ни находился, вездѣ меня угнетаетъ мысль, что есть еще нѣчто, что необходимо было бы заполучить, но въ чемъ состоитъ это нѣчто — вотъ этого-то именно я формулировать и не могу. Я процвѣталъ подъ сѣнью рязанско-козловско-тамбовско-саратовскаго клуба—и изнемогалъ отъ скуки; я наслаждался рѣчами земскихъ авгуровъ — и изнемогалъ отъ скуки; наконецъ я пріѣхалъ въ Петербургъ — и опять изнемогаю отъ скуки. Вездѣ чего-то недостаетъ, какъ будто вся жизнь не настоящая. И вино не настоящее, и Шнейдерша не настоящая, и пѣсни не настоящія, и любовь не настоящая, и авгуры не настоящіе, и ихъ рѣчи не настоящія. Словомъ сказать, жизнь идетъ словно плохое театральное представленіе. Какъ будто вотъ наняли актеровъ изъ Александринки и сказали имъ: представляйте комедію. Ну, они и вьютъ во снѣ веревки за приличное вознагражденіе.

Отчего дѣдушка Матвѣй Иванычъ могъ жуировать такъ, что эта жуировка не приводила его къ мизантропіи, а я, его потомокъ, не могу вкусить ни отъ какого плода безъ того, чтобъ этотъ плодъ тотчасъ же не показался мнѣ прѣснымъ до отвращенія? Оттого ли, что въ развеселое житье Матвѣя Иваныча входилъ какой-нибудь особый, намъ неизвѣстный элементъ, котораго теперь не существуетъ и который даже однообразію сообщалъ извѣстнаго рода осмысленность? Или оттого, что мы, потомки дѣдушки Матвѣя Иваныча, лучше и развитѣе нашего пращура, что нашъ кругозоръ нѣсколько шире, и что, вслѣдствіе этого, мы не можемъ удовлетворяться тѣми дешевыми наслажденіями, которыми тѣшили нашихъ предковъ?

Вопросы эти какъ-то невольно пришли мнѣ на мысль во время моего вытрезвленія отъ похожденій съ дѣйствительными статскими кокодессами. А такъ какъ впредь до окончательнаго приведенія въ порядокъ желудка дѣлать мнѣ рѣшительно было нечего, то они меня заняли до такой степени, что я цѣлый вечеръ лежалъ на диванѣ и все думалъ, все думалъ. И долженъ сознаться, что результаты этихъ думъ были не особенно для меня лестны.

Элементы, которые могли оттѣнять внѣшнее однообразіе жизни дѣдушки Матвѣя Иваныча, были слѣдующіе: во-первыхъ, дворянскій интересъ; во-вторыхъ, сознаніе власти; въ-третьихъ, интересъ сельскохозяйственный; въ-четвертыхъ, моціонъ. Постараюсь разъяснить здѣсь, какую роль играли эти элементы въ томъ общемъ тонѣ

жизни, который на принятомъ тогда языкѣ назывался жуированіемъ.

Что̀ ни говорите о дворянскомъ интересѣ, но онъ существовалъ. Содержаніе этого явленія было несложное и фальшивое (потому-то оно и улетучилось такъ легко), но что самое явленіе имѣло очень реальное существованіе — въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія. Еще на нашей памяти дворянскія собранія были шумны и многолюдны, и хотя предметомъ ихъ было охраненіе только одного единственнаго права, но это единственное право обладало такою способностью проникать и окрашивать все, что̀ къ нему ни прикасалось, что само по себѣ представляло, такъ сказать, цѣлый пантеонъ правъ. Говорятъ, что это было дурное и вредное право, и я, конечно, не стану возражать противъ этого. Но я веду рѣчь не о достоинствахъ права, а о томъ, въ какой мѣрѣ оно могло служить подспорьемъ для жизни. Дѣдушка Матвѣй Иванычъ не даромъ не пропускалъ ни одного собранія, не даромъ, періодически черезъ каждые три года, бушевалъ въ губернскомъ городѣ. Бушеваніе было для него не цѣлью, а символомъ. Онъ сознавалъ себя представителемъ *своего* права, но по случаю этого права предавался всякаго рода необузданностямъ, съ полною увѣренностью, что онѣ пройдутъ для него безнаказанно. Необузданность и безнаказанность были два понятія, которыя шли рядомъ и взаимно другъ друга оплодотворяли. Необузданность льстила грубому чувству сама по себѣ, а безнаказанность усложняла получаемое отъ необузданности удовольствіе и придавала ему нѣкоторую пикантность. Посмотрите: всѣ люди ходятъ опасно и жмутся къ сторонѣ, а дѣдушка Матвѣй Иванычъ одинъ во всякое время мчится вихремъ по улицамъ, разбиваетъ на голову полицію и бьетъ въ трактирахъ посуду! Какъ хотите, а такое обладаніе монополіей необузданности не могло не льстить чувству человѣка, не обладавшаго особенно утонченнымъ развитіемъ...

Сами по себѣ взятыя, такого рода удовольствія, даже въ глазахъ очень грубыхъ людей, не могли казаться ни особенно разнообразными, ни особенно умными. Я думаю, что непрерывное ихъ повтореніе повергло бы дѣдушку въ такое же уныніе, какъ и меня, если бы тутъ не было подстрекающей мысли о какихъ-то якобы правахъ. Но въ томъ-то и дѣло, что эта подстрекающая мысль сказывалась на каждомъ шагу, напоминала о себѣ ежеминутно. Извѣстно,

что наши предводители дворянства считали своимъ долгомъ пикироваться съ губернаторами и даже, по временамъ, подставлять имъ ножки. Если-бъ кто-нибудь взялъ на себя трудъ обстоятельно написать исторію этихъ пикировокъ, вышла бы очень интересная исторія, изъ которой всякій увидѣлъ бы, что это былъ просто глупый обычай, по поводу котораго можно только развести руками. Обѣ стороны лаяли въ буквальномъ смыслѣ этого слова, лаяли безсознательно, безпричинно, просто потому, что изстари такъ ужъ заведено. Но вѣдь дѣло не въ томъ, глупо или умно было содержаніе пикировки, а въ томъ, что вотъ ни одинъ курицынъ сынъ не смѣетъ ее производить, а я, имя рекъ, произвожу — и горя мнѣ мало. Конечно, и это опять-таки вносило въ жизнь нашихъ пращуровъ глупость сугубую, но такъ какъ это была глупость предвзятая, то она невольнымъ образомъ получала всѣ свойства убѣжденія. Что можетъ быть глупѣе, какъ сдернуть скатерть съ вполнѣ сервированнаго стола; и тѣмъ не менѣе для человѣка, занимающагося подобными дѣлами, это не просто глупость, а молодечество и даже, въ нѣкоторомъ родѣ, рыцарскій подвигъ, въ основѣ котораго лежитъ убѣжденіе: *другіе* мимо этого самаго стола пробираются бокомъ, а *я* подхожу и прямо сдергиваю съ него скатерть! Такимъ образомъ, натѣшившись вдоволь въ губерніи, то-есть огласивши неслыханнымъ крикомъ собраніе и неслыханнымъ пьянствомъ гостиницы, напикировавшись съ губернаторомъ и кинувши подачку прочимъ чинамъ, наши пращуры возвращались въ свои дворянскія гнѣзда и предавались тамъ дворянскимъ удовольствіямъ. Удовольствія эти подробно указаны выше, при описаніи дня дѣдушки Матвѣя Иваныча, и несложность ихъ очевидна для всякаго. Но, несмотря на эту несложность, мысль, что они дворянскія, играла роль масла, питающаго огонь. Человѣкъ вращался въ заколдованномъ кругѣ изо дня въ день на одинъ и тотъ же манеръ, но не падалъ духомъ и не ропталъ на судьбу, потому что былъ убѣжденъ, что вращаться такимъ образомъ—*его право* и въ то же время его долгъ. Да и однихъ ли пращуровъ нашихъ поддерживала подобная мысль при отбываніи скучнаго процесса жизни? Подите дальше, припомните всевозможные пріемы, церемоніи и присѣданія, которыми кишитъ міръ, и вы убѣдитесь, что причина, вслѣдствіе которой они такъ упорно поддерживаются, не дѣлаясь постылыми для самихъ участвующихъ въ нихъ, заключается именно въ

томъ, что въ основѣ ихъ непремѣнно лежитъ хоть подобіе какого-то представленія о правѣ и долгѣ.

Къ тому же наши пращуры въ упомянутомъ выше *своемъ правѣ* видѣли твердыню, и видѣли ее не безъ основанія. Дѣдушка Матвѣй Иванычъ понималъ очень отчетливо, что ежели онъ твердъ въ вѣрѣ, то никто не только не тронетъ его, но и *не можетъ* тронуть. Онъ самъ сознавалъ себя твердыней, и кратковременные капризы его съ губернаторомъ были не больше, какъ обоюдное развлеченіе двухъ твердынь. А такъ какъ послѣднему это было такъ же хорошо извѣстно, какъ и дѣдушкѣ, то онъ, конечно, остерегся бы сказать, какъ это дѣлается въ странахъ, гдѣ особыхъ твердынь по штату не полагается: «я васъ, милостивый государь, туда турну, гдѣ Макаръ телятъ не гонялъ!»—потому что дѣдушка на такой репримандъ, нимало не сумнясь, отвѣтилъ бы: «вы не осмѣлитесь этого сдѣлать, ибо я самъ государя моего отставной подпоручикъ!» И губернаторъ навѣрное прикусилъ бы языкъ, потому что дѣдушкина твердость въ вѣрѣ была такова, что вошла даже въ пословицу. Припомнимъ, что въ ту пору не было ни эмансипацій, ни вольнаго труда, ни вольной продажи вина и вообще ничего такого, что̀ поселяетъ въ человѣческой совѣсти разладъ и зарождаетъ въ человѣкѣ печальныя думы о коловратности счастія. А коль скоро нѣтъ въ жизни разлада, то человѣкъ, даже безъ всякаго давленія фанатизма, имѣетъ вѣру си́льную и стремительную. Онъ смотритъ въ одну точку, около которой располагаетъ и всѣ прочія подробности жизни. А такъ какъ эта точка не только существовала для нашихъ пращуровъ, но и составляла совершеннѣйшій пантеонъ, то человѣку, убѣжденному, что онъ находится въ самомъ центрѣ храма славы, весьма естественно было примиряться съ нѣкоторыми его недостатками, заключавшимися въ однообразіи представляемыхъ имъ наслажденій. И отъѣзжее поле, и потрясающая бедрами дѣвка Палашка, и даже хожденіе по комнатамъ, украшеннымъ шкапиками съ графинчиками,— все это выносилось безропотно, потому что во всемъ этомъ виднѣлся символъ, за которымъ пряталась идея о *правѣ* и *долгѣ*.

Мы, потомки дѣдушки Матвѣя Иваныча, никакихъ подобнаго рода интересовъ не имѣемъ. Мы какъ-то вдругъ опѣшили и убѣдились, что у насъ отъ *нашего* права не осталось ни капельки. Собранія наши малолюдны; мы не пикируемся, потому что пикироваться на манеръ пращу-

ровъ не имѣемъ уже повода, а какимъ образомъ пикироваться на новый манеръ — еще не придумали. Съ другой стороны, мы не срываемъ скатертей съ сервированныхъ столовъ и не услаждаемся потрясаніями доморощенныхъ Палашекъ, потому что это слишкомъ дорого стоитъ. Для того, чтобы имѣть хоть призракъ тѣхъ удовольствій, которыми пользовались наши пращуры, мы должны ѣхать въ Петербургъ и тамъ, въ складчину, по два рубля съ рыла, облизываться на Шнейдершу, qui se gratte les jambes et les hanches. Но вѣдь Шнейдерша—достояніе общее, а при общедоступности доставляемаго ею удовольствія кто же изъ насъ можетъ сказать: это *моя* Шнейдерша! какъ, бывало, говаривалъ дѣдушка Матвѣй Иванычъ: «это моя Палашка»? А въ возможности подобныхъ-то восклицаній и заключается тайна живучести тѣхъ несложныхъ удовольствій, которыя составляютъ удѣлъ нашъ. Вникните въ смыслъ этого восклицанія, вслушайтесь въ тонъ, которымъ оно сказано,—и вы убѣдитесь, что тутъ звучитъ нѣчто бо̀льшее, нежели просто удовлетворенная необузданность. Вы почувствуете, что Палашка была для дѣдушки не просто Палашкой, а олицетвореніемъ *его права;* что онъ, услаждая свой взоръ ея потрясаніями, пріобрѣталъ не на два рубля съ рыла удовольствія, а сознавалъ удовлетвореннымъ свое чувство дворянина. А мы что̀? Мы даже m-lle Филиппо̀ не можемъ заставить спѣть «L'amour—ce n'est que cela», ежели этой пѣсенки не значится въ афишахъ. Да если бы и имѣли возможность заставить—что̀ же потомъ? Или, быть-можетъ, есть у насъ, кромѣ m-lle Филиппо̀ и ея пѣсенокъ, и другіе какіе-нибудь интересы, какъ, напримѣръ: ужинъ съ шампанскимъ у Дюссо, устрицы съ шампанскимъ у Елисеева и нумеръ въ гостиницѣ для отдохновенія отъ пьяно-проведенной ночи?

Понятно, что мы разочарованы и нигдѣ не можемъ найти себѣ мѣста. Мы не выработали ни новыхъ интересовъ, ни новыхъ способовъ жуировать жизнью, ни того, ни другого. Старые интересы улетучились, а старые способы жуировать жизнью остались во всей неприкосновенности. Очевидно, что при такомъ положеніи вещей не помогутъ намъ никакія кривлянія, хотя бы они производились даже съ талантливостью m-lle Schneider.

Вторымъ оттѣняющимъ жизнь элементомъ было сознаніе властности. Чтобы понять всю важность этого элемента, представьте себѣ безсребренника квартальнаго надзирателя,

обяжите его съ утра до вечера распоряжаться на базарѣ и оставьте при немъ только сладкое сознаніе исполненныхъ обязанностей. Навѣрное онъ въ самый короткій срокъ выйдетъ въ отставку. «Помилуйте,—скажетъ:—изъ-за чего тутъ биться! и грошей не сбирать, да еще какія-то обязанности наблюдать! развѣ съ ними, чертями, такъ можно!» Но скажите тому же квартальному: «Другъ мой! на тебя возложены важныя и скучныя обязанности; но для того, чтобы исполненіе ихъ не было слишкомъ противно, дается тебѣ въ руки власть!»—и вы увидите, какъ онъ воспрянетъ духомъ и какихъ надѣлаетъ чудесъ! Увы! какъ ни малоплодотворно занятіе, формулируемое выраженіемъ: «гнуть въ бараній рогъ», но при отсутствіи другихъ занятій, при отчаянномъ однообразіи общаго тона жизни, и оно освѣжаетъ. Дѣдушка Матвѣй Иванычъ говаривалъ: «когда я иду, то земля подо мной дрожитъ»—и радовался этому обстоятельству. Конечно, это была радость неразвитого человѣка, но эта была настоящая, заправская радость, и отвергать возможность ея нѣтъ ни малѣйшаго основанія.

Есть наслажденіе и въ дикости лѣсовъ,

—сказалъ поэтъ, а дѣдушка мой, съ своей стороны, могъ прибавить: «есть наслажденіе и въ сѣченіи», разумѣя подъ этимъ, впрочемъ, не самый процессъ сѣченія, а принципъ его. Конечно, мы, по чувству учтивости, отвергаемъ такого рода наслажденія, но такъ какъ они существовали на нашей памяти, то понимать ихъ все-таки можемъ. Если мы въ настоящее время и сознаемъ, что желаніе властвовать надъ ближними есть признакъ умственной и нравственной грубости, то кажется, что сознаніе это пришло къ намъ путемъ только теоретическимъ, а подоплека наша и теперь врядъ ли далеко ушла отъ этой грубости. Всякій вслухъ глумится надъ позывами властности, но всякій же про себя держитъ такую рѣчь: «а вѣдь, если-бъ только пустили, какого бы я звону задалъ!» Я думаю даже, что бо̀льшая часть нашихъ горестей отъ того происходитъ, что намъ не надъ кѣмъ и не надъ чѣмъ властвовать. А дѣдушкѣ Матвѣю Иванычу было надъ чѣмъ и надъ кѣмъ повластвовать, и онъ понималъ себя въ этомъ отношеніи не пятымъ колесомъ въ колесницѣ и не отставнымъ козы барабанщикомъ. Смотритъ онъ, напримѣръ, на дѣвку Палашку, какъ она коверкается, и въ то же время если не формулируетъ, то

всѣмъ существомъ сознаетъ: «я съ этой Палашкой что̀ хочу, то̀ и сдѣлаю: захочу—косу обстригу, захочу—за Антипку-пастуха замужъ выдамъ».

— Палашка! хочешь за пастуха Антипку замужъ?

— Помилуйте, баринъ! чѣмъ же я провинилась? кажется, стараюсь!

— А ну, Христосъ съ тобою, пляши!

И Палашка ожесточеннѣе прежняго упирала руки въ боки, прыгала, крутилась, взвизгивала, а дѣдушка посматривалъ на ея плясательные пароксизмы и думалъ про себя: «Однако важно я ее, поганку, напугалъ!»

И такимъ образомъ въ общее однообразіе жизни прокрадывалась новая стихія, которая ее оживляла и скрашивала.

Мы, потомки дѣдушки Матвѣя Иваныча, лишены даже такого сорта оживляющихъ эпизодовъ.

— *Мы курицъ не можемъ сдѣлать зла!* ma parole!— говорилъ мнѣ на-дняхъ мой другъ Сеня Бирюковъ:—объясни же мнѣ, ради Христа, какого рода роль мы играемъ въ природѣ?

И я ничего не могъ ни выразить, ни объяснить, ибо знаю, что, по утвердившемуся на улицѣ понятію, обладаніе властью дѣйствительно равносильно возможности гнуть въ бараній рогъ, и что въ этомъ смыслѣ мы точно никакой власти не имѣемъ. Или, быть-можетъ, мы имѣемъ ее въ какомъ-нибудь другомъ смыслѣ?.. Risum teneatis, amici!

Но если такое убѣжденіе объ утраченной властности уже укоренилось въ насъ, то, очевидно, намъ остается нести иго жизни безъ всякаго сознанія, что мы что-нибудь можемъ, и, напротивъ того, съ полнымъ и горькимъ сознаніемъ, что съ нами все совершить можно. Мы такъ и поступаемъ. Конечно, съ нашей стороны это очень большая добродѣтель, и мы имѣемъ-таки право утѣшать себя мыслью, что дальше отъ властности—дальше отъ зла; но вѣдь вопросъ не о тѣхъ добродѣтеляхъ, которыя отрицательнымъ путемъ очень легко достаются, а о той скукѣ, о тѣхъ жизненныхъ неудобствахъ, которыя составляютъ естественное послѣдствіе всякой страдательной добродѣтели. У меня былъ очень добродѣтельный дяденька, который служилъ засѣдателемъ въ судѣ и которому именно за добродѣтель его было велѣно подать въ отставку. Я живо помню, что когда это случилось, то не только самъ дяденька, но и всѣ родные были въ неописанномъ волненіи.

— Мухи не обидѣлъ!—говорилъ дяденька.

— Мухи не обидѣлъ!—восклицали родные.

— Мухи не обидѣлъ! — шептались между собой дворовые.

— Мухи не обидѣлъ! — разсуждали дяденькины сослуживцы.

Это было дѣйствительно сладкое сознаніе; но кончилось дѣло все-таки тѣмъ, что дяденька же долженъ былъ всѣхъ, приходившихъ къ нему съ выраженіями сочувствія, угощать водкой и пирогомъ. Такъ и умеръ съ сладкою увѣренностью, что не обидѣлъ мухи и что за это, именно за это, долженъ былъ выйти въ отставку.

Не то же ли явленіе повторяется теперь надо мною? Дѣдушка Матвѣй Иванычъ обидѣлъ многихъ — и жилъ! Я, его внукъ, клянусь честью, именно мухи не обидѣлъ— и чувствую себя находящимся отъ жизни въ отставкѣ! За что̀?

За что̀? вникните въ этотъ вопросъ: вспомните, что его повторяютъ многія тысячи людей, и разсудите, каковы должны быть люди, у которыхъ не выработалось никакихъ другихъ вопросовъ, кромѣ: за что̀?

Третье подспорье—интересъ сельскохозяйственный. Надобно сознаться, что интересъ этотъ во времена дѣдушки былъ обставленъ очень рутинно и самъ по себѣ занималъ нашихъ предковъ весьма умѣренно. Но они самими условіями жизни были поставлены въ центрѣ хозяйственной сутолоки и потому волею-неволею не могли оставаться ей чуждыми. Не было рѣчи ни объ улучшеніяхъ, ни о преимуществахъ той или другой системы, ни о замѣнѣ человѣческаго труда машиннымъ (объ исключеніяхъ, разумѣется, я не говорю), но была безконечная ходьба, неумолкаемое галдѣніе, понуканіе и помыканіе во всѣхъ видахъ и наконецъ та надоѣдливая придирчивость, которая положила основаніе пословицѣ: свой глазокъ—смотрокъ. Этотъ «глазокъ-смотрокъ» очень мало видѣлъ, но смотрѣлъ дѣйствительно много, и этого было достаточно, чтобъ наполнить время всевозможными распорядительными подробностями. Наши пращуры не хозяйничали въ собственномъ смыслѣ этого слова, а «спрашивали». Дѣдушка Матвѣй Иванычъ такъ разсуждалъ: распорядиться работами—дѣло приказчика и старосты, а мое дѣло—съ нихъ «спросить». И дѣйствительно, «спрашивалъ» много, хотя въ этомъ «спрашиваньи» первое мѣсто, конечно, занимала случайность. Поѣдетъ,

бывало, дѣдушка на бѣговыхъ дрожкахъ на пашню, наѣдетъ на пропашку или на комъ нетронутой бороной земли — и «спроситъ». Пойдетъ на гумно, захватитъ въ горсть мякины, усмотритъ въ ней невывѣянныя зерна— и опять «спроситъ». Все въ этомъ *хозяйничаньи* основывалось на случайности, на томъ, что дѣдушка захватывалъ ту, а не другую горсть мякины; но эта случайность составляла одинъ изъ тѣхъ жизненныхъ эпизодовъ, совокупность которыхъ заставляла говорить: въ сельскомъ хозяйствѣ вздохнуть некогда; сельское хозяйство такое дѣло, что только на минутку ты отъ него отвернись, такъ оно тебя рублемъ по карману наказало. Допустимъ, что это было самообольщеніе; но вѣдь вопросъ не въ томъ, правильно или неправильно смотритъ человѣкъ на дѣло своей жизни, а въ томъ, есть ли у него хотя какое-нибудь дѣло, около котораго онъ можетъ держаться. Дѣдушка, напримѣръ, слылъ однимъ изъ лучшихъ хозяевъ въ губерніи, а между тѣмъ я положительно знаю, что онъ ни бельмеса не смыслилъ въ хозяйствѣ, то-есть пахалъ и сѣялъ тамъ (земли, дескать, вдоволь, рабочія руки даромъ—все же хоть полтора зерна да уродится!), гдѣ нынче ни одинъ человѣкъ со смысломъ пахать и сѣять не станетъ. Но онъ умѣлъ «спрашивать», и въ этомъ заключалась вся тайна его репутаціи. И эта потребность «спрашивать» не сосредоточивалась на одномъ хозяйствѣ, но преслѣдовала его всюду, окрашивала всю остальную его дѣятельность, сообщая ей характеръ неумолкаемой суеты. Онъ вездѣ «спрашивалъ», вездѣ являлъ себя энциклопедистомъ. И хоть эта суета въ концѣ концовъ не созидала и сотой доли того, что она могла бы создать, если бы была примѣнена болѣе осмысленнымъ образомъ, но она помогала жить и до извѣстной степени оттѣняла ту вещь, которая извѣстна подъ именемъ жуировки и которую—безъ этихъ вспомогательныхъ средствъ— слѣдовало бы назвать смертельною тоской.

Мы, потомки дѣдушки Матвѣя Иваныча, рѣшительно никакихъ хозяйственныхъ интересовъ не имѣемъ. Зачѣмъ, спрашиваю я васъ, пойду я на пашню или на гумно? Съ кого я «спрошу»? А вѣдь и у меня, точно такъ же какъ и у дѣдушки, кромѣ «спрашиванья», никакихъ другихъ распорядительныхъ средствъ по части сельскаго хозяйства не имѣется. Поэтому, если мнѣ и случается какъ-нибудь заблудиться на гумнѣ, то я отнюдь не позволяю себѣ прикоснуться ни къ мякинѣ, ни къ провѣянному зерну. Къ

чему? вѣдь это любопытство только растравитъ мои раны. И заочно я совершенно увѣренъ, что провѣянное зерно содержитъ въ себѣ наполовину мякины, а, напротивъ, мякина содержитъ наполовину невывѣяннаго зерна—зачѣмъ же я буду удостовѣряться въ этомъ? Лучше я буду сидѣть и вздыхать. Вздыхать—это мое право, и я тѣмъ съ бо̀льшимъ увлеченіемъ пользуюсь имъ, что это единственное право, которое я самъ выработалъ и котораго никто у меня не отниметъ. Въ самомъ дѣлѣ, не обидно ли: я не только не меньше дѣдушки знаю толкъ въ сельскомъ хозяйствѣ, но даже нѣсколько больше, а между тѣмъ дѣдушка ежегодно ставилъ цѣлый городъ скирдовъ, а у меня на гумнѣ всего два скирдочка стоятъ, да и тѣ какіе-то растрепанные и накренившіеся на-бокъ. А все отчего? А оттого, милостивые государи, что какъ у меня, такъ и у дѣдушки, главное основаніе сельскохозяйственныхъ распоряженій все-таки не что иное, какъ система «спрашиванія», съ тою лишь разницей, что дѣдушка могъ «спрашивать», а я не могу. Слѣдовательно мнѣ и хозяйничать нечего, а надлежитъ все бросить и какъ можно скорѣе ѣхать въ столичный городъ Петербургъ и тамъ наслаждаться пѣніемъ дѣвицы Филиппо̀, проглатываніемъ у Елисеева устрицъ и истребленіемъ шампанскихъ винъ Дюссо до тѣхъ поръ, пока глаза не сдѣлаются налитыми и вполнѣ круглыми.

Затѣмъ четвертый оттѣняющій жизнь элементъ — моціонъ... Но права на моціонъ, повидимому, и мы не утратили, а потому я и оставляю этотъ вопросъ безъ разсмотрѣнія. Не могу однако-жъ не замѣтить, что и этимъ правомъ мы пользуемся до крайности умѣренно, потому что, собственно говоря, и ходить намъ некуда и не зачѣмъ, просто же идти, куда глаза глядятъ—все еще какъ-то совѣстно.

Такимъ образомъ вопросъ, отчего насъ такъ скоро утомляютъ тѣ несложныя удовольствія, которыя нимало не пресыщали нашихъ предковъ, отчасти разъясняется. Но, написавши изложенное выше, я невольнымъ образомъ спрашиваю себя: ужели перо мое начертало апологію добраго стараго времени — апологію тѣхъ патріархальныхъ отношеній, которыя такъ картинно выражались въ крѣпостномъ правѣ?

Не пугайся однако-жъ, о, слишкомъ либеральный читатель! Рѣчь идетъ вовсе не о томъ. Жаль не крѣпостного

права, а жаль того, что право это, несмотря на упраздненіе, еще живетъ въ сердцахъ нашихъ. Отрѣшившись отъ него внѣшнимъ образомъ, мы не выработали себѣ ни бодрости, составляющей первый признакъ освобожденнаго отъ путъ человѣка, ни новыхъ взглядовъ на жизнь, ни болѣе притязательныхъ требованій къ ней, ни новаго права, а просто-на-просто успокоились на одномъ формальномъ признаніи факта упраздненія. Развѣ этимъ все сказано? Развѣ это конецъ, а не начало?

Затѣмъ я предоставляю каждому по собственному усмотрѣнію разрѣшить второй изъ поставленныхъ выше вопросовъ: насколько мы лучше нашихъ пращуровъ и насколько сумѣли расширить нашъ кругозоръ? Я же, съ своей стороны, могу разрѣшить этотъ вопросъ лишь слѣдующимъ образомъ:

Да, мы лучше нашихъ пращуровъ. Но лучше не сами по себѣ, а потому что мы отцы дѣтей нашихъ, которыя несомнѣнно будутъ лучше и нашихъ пращуровъ, и насъ.

Совершенно свѣжій и трезвый я вышелъ на улицу съ твердымъ намѣреніемъ идти на всѣ четыре стороны, какъ при самомъ выходѣ, на крыльцѣ, меня застигъ Прокопъ.

— Такъ вотъ онъ гдѣ!—загремѣлъ онъ своимъ лающимъ голосомъ:—ну, батюшка, задали вы намъ задачу!

Признаюсь, при звукѣ этого голоса я струсилъ. Вотъ, думаю, сейчасъ схватитъ онъ меня въ охапку и опять потащитъ къ Елисееву!

— Мы думали, что онъ тихимъ манеромъ концессію выслѣживаетъ, а онъ, прошу покорно, Шнейдершу изучаетъ! Видѣли, батюшка, видѣли!

— Да, кстати... а ваши дѣла по концессіи?

— Ну ихъ!

Прокопъ вдругъ заволновался, и нѣсколько секундъ я думалъ, что у него отъ гнѣва сперло въ зобу дыханіе.

— Нѣтъ, вы представьте себѣ, какая со мной штука случилась! — воскликнулъ онъ наконецъ: — все дѣло ужъ было на мази, и денегъ я съ три пропасти разсорилъ, вдругъ—хлопъ рѣшеніе: вести отъ Изюма дорогу несвоевременно! Это отъ Изюма!

— Гм!... да... Изюмъ... это...

— Одно слово: Изюмъ! Только назови—всякій пойметъ! Да вѣдь кому у насъ понимать-то? вы вотъ что̀ мнѣ скажите! Кому понимать-то?

Я чувствовала, что вот-вот Прокоп сейчас ударится в декламацию и как-то естественно пролепетать:— prenez garde... on peut nous entendre...

Ну нет! Боюсь я вот что не! Не мне сколько хочешь покушивай! Такъ вотъ сразу какія тебе у насъ дѣлаются!

— Ну, и что-жъ теперь?

Теперь я другую линію повела. Жалобно-жалобно-то часть оружія. Я свою тебе сказала, сказала на Нижегородской стороне, что [illegible] А я вчера по [illegible] части [illegible] Хочу въ губернаторы. Съ такими [illegible] какъ [illegible] [illegible]

А что?

Да уже [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

— И что-жъ?

— На виду! Говорятъ: горяченько немного, однако кой-чѣмъ позаимствоваться можно.

— Стало-быть, и вы...

— Еще бы. И я прожектъ о расточеніи написалъ. Вѣдь и мнѣ, батюшка, пирожка-то хочется! Не удалось въ одномъ мѣстѣ—пробую въ другомъ. Тамъ побываю, въ другомъ мѣстѣ прислушаюсь—смотришь, анъ помаленьку и привыкаю фразы-то округлять. Я нынче по очереди каждодневно въ семи домахъ бываю и вездѣ только и дѣла дѣлаю, что прожекты объ уничтоженіи выслушиваю.

Говоря такимъ образомъ, мы вышли на Невскій проспектъ и поровнялись съ Доминикомъ.

— Зайти развѣ?—пригласилъ Прокопъ:—вѣдь я съ тѣхъ поръ, какъ изюмовскую-то линію порѣшили, къ Елисееву—ни-ни! Ну его! А у Доминика, я вамъ доложу, кулебяки на гривенникъ съѣшь да огня на гривенникъ проглотишь—и правъ! Только вотъ мерзлаго сига въ кулебяку кладутъ—это скверно!

— Признаюсь, не хотѣлось бы заходить. Все пьешь да пьешь... Голова какъ-то...

— Да развѣ возможно не пить! Вотъ хоть бы то мѣсто, куда мы сегодня поѣдемъ, развѣ нашъ братъ можетъ тамъ хоть одинъ часъ пробыть, не подкрѣпившись зараньше? Скучища адская, а развлеченіе—одинъ чай. Кабы, кажется, не надежды мои на полученіе—ни одной минуты въ этомъ постыломъ мѣстѣ не остался бы!

Согласился. Съѣли по два куска кулебяки; выпили по двѣ рюмки водки.

— Да обѣдаемъ вмѣстѣ! Тутъ же, не выходя, и исполнимъ все, что̀ долгъ повелѣваетъ! Скверно здѣсь кормятъ—это такъ. И масло горькое, и салфетки какія-то... особливо вонъ та, въ углу, что̀ ножи обтираютъ... Ну, батюшка, да вѣдь за рубликъ—не прогнѣвайтесь!

Однимъ словомъ, день пошелъ своимъ чередомъ...

Вечеромъ Прокопъ заставилъ меня надѣть фракъ и бѣлый галстукъ, а въ десять часовъ мы уже были въ салонахъ князя Оболдуй-Тараканова.

Раутъ былъ въ полномъ разгарѣ; въ гостиной стоялъ говоръ; лакеи безшумно разносили чай и печенье. Насъ встрѣтилъ хозяинъ, который, послѣ первыхъ же рекомендательныхъ словъ Прокопа, произнесъ:

— Радъ-съ. Намъ, консерваторамъ, не мѣшаетъ какъ

Я чувствовалъ, что вотъ-вотъ Прокопъ сейчасъ ударится въ либерализмъ, и какъ-то инстинктивно пролепеталъ:— prenez garde... on peut nous entendre...

— Ну ихъ! боюсь я ихъ, что ли! По мнѣ, сколько хочешь подслушивай! Такъ вотъ, сударь, какія дѣла у насъ дѣлаются!

— Ну, и что̀-жъ теперь?

— Теперь я другую линію повелъ. Желѣзнодорожную-то часть бросилъ. Я свое дѣло сдѣлалъ, указалъ на Изюмъ— нельзя?—стало-быть, куда хочешь, хоть къ чорту-дьяволу дороги веди—мое дѣло теперь сторона! А я нынче по административной части гусара запустилъ. Хочу въ губернаторы. Съ такими, скажу вамъ, людьми знакомство свелъ— отдай все да и мало!

— А что?

— Да ужъ шабашъ! Одно скверно—скучно очень, да и водки не подаютъ. Не хотите ли, я васъ сегодня вечеромъ представлю? Сегодня въ одномъ мѣстѣ проектъ «объ уничтоженіи» читать будутъ.

— Объ уничтоженіи чего же?

— Ну... чего? разумѣется, всего. И мировые суды чтобъ уничтожить, и окружные суды чтобы по боку, и земство по шапкѣ. Словомъ-сказать, чтобы ширь да высь—больше ничего.

— Что̀ вы! да вѣдь это цѣлая революція!

— А вы какъ объ этомъ полагали? Мы вѣдь не нѣмцы, помаленьку не любимъ! Вонъ головорѣзы-то — слышали, чай?—милліонъ триста тысячъ головъ требуютъ, ну, а мы, имъ въ пику, сорокъ милліоновъ поясницъ заполучить желаемъ.

Прокопъ, сказавъ это, залился добродушнѣйшимъ смѣхомъ. Этотъ смѣхъ—именно драгоцѣннѣйшее качество, за которое рѣшительно нѣтъ возможности не примириться съ нашими кадыками. Не могутъ они злокозствовать серьезно— сейчасъ же сами свои козни на смѣхъ поднимутъ. А если который и начнетъ серьезничать, то навѣрное такую глупость сморозитъ, что тутъ же его въ шуты произведутъ, и пойдетъ онъ ходить всю жизнь съ надписью: «гороховый шутъ».

— Однако это любопытно!

— Еще какъ любопытно-то, умора! Нынче прожекты-то эти въ модѣ: всѣ пишутъ. Одинъ пишетъ о сокращеніи, другой—о расширеніи. Недавно одинъ изъ нашихъ даже прожектъ о разстрѣляніи прислалъ—право!

— И что-жъ?

— На виду! Говорятъ: горяченько немного, однако кой-чѣмъ позаимствоваться можно.

— Стало-быть, и вы...

— Еще бы. И я прожектъ о расточеніи написалъ. Вѣдь и мнѣ, батюшка, пирожка-то хочется! Не удалось въ одномъ мѣстѣ—пробую въ другомъ. Тамъ побываю, въ другомъ мѣстѣ прислушаюсь—смотришь, анъ помаленьку и привыкаю фразы-то округлять. Я нынче по очереди каждодневно въ семи домахъ бываю и вездѣ только и дѣла дѣлаю, что прожекты объ уничтоженіи выслушиваю.

Говоря такимъ образомъ, мы вышли на Невскій проспектъ и поровнялись съ Доминикомъ.

— Зайти развѣ?—пригласилъ Прокопъ:—вѣдь я съ тѣхъ поръ, какъ изюмовскую-то линію порѣшили, къ Елисееву—ни-ни! Ну его! А у Доминика, я вамъ доложу, кулебяки на гривенникъ съѣшь да огня на гривенникъ проглотишь—и правъ! Только вотъ мерзлаго сига въ кулебяку кладутъ—это скверно!

— Признаюсь, не хотѣлось бы заходить. Все пьешь да пьешь... Голова какъ-то...

— Да развѣ возможно не пить! Вотъ хоть бы то мѣсто, куда мы сегодня поѣдемъ, развѣ нашъ братъ можетъ тамъ хоть одинъ часъ пробыть, не подкрѣпившись зараньше? Скучища адская, а развлеченіе—одинъ чай. Кабы, кажется, не надежды мои на полученіе—ни одной минуты въ этомъ постыломъ мѣстѣ не остался бы!

Согласился. Съѣли по два куска кулебяки; выпили по двѣ рюмки водки.

— Да обѣдаемъ вмѣстѣ! Тутъ же, не выходя, и исполнимъ все, что̀ долгъ повелѣваетъ! Скверно здѣсь кормятъ—это такъ. И масло горькое, и салфетки какія-то... особливо вонъ та, въ углу, что̀ ножи обтираютъ... Ну, батюшка, да вѣдь за рубликъ—не прогнѣвайтесь!

Однимъ словомъ, день пошелъ своимъ чередомъ...

Вечеромъ Прокопъ заставилъ меня надѣть фракъ и бѣлый галстукъ, а въ десять часовъ мы уже были въ салонахъ князя Оболдуй-Тараканова.

Раутъ былъ въ полномъ разгарѣ; въ гостиной стоялъ говоръ; лакеи безшумно разносили чай и печенье. Насъ встрѣтилъ хозяинъ, который, послѣ первыхъ же рекомендательныхъ словъ Прокопа, произнесъ:

— Радъ-съ. Намъ, консерваторамъ, не мѣшаетъ какъ

можно тѣснѣе стоять другъ около друга. Мы страдали изолированностью—и это насъ погубило. Наши противники сходились между собою, обмѣнивались мыслями—и въ этомъ обмѣнѣ нашли свою силу. Воспользуемся же этою силой и мы. Я теперь принимаю *всѣхъ*, лишь бы эти *всѣ* гармонировали съ моимъ образомъ мыслей; *всѣхъ*... vous concevez? Я, впрочемъ, надѣюсь, что вы консерваторъ?

Признаюсь, я такъ мало до сихъ поръ думалъ о томъ, консерваторъ я или прогрессистъ, что чуть-было не опѣшилъ передъ этимъ вопросомъ. Притомъ же фраза: «я теперь принимаю *всѣхъ*» какъ-то странно покоробила меня. «Вотъ,—мелькнуло у меня въ головѣ,—скотина! заискиваетъ, принимаетъ и тутъ же считаетъ долгомъ дать почувствовать, что ты въ его глазахъ не больше, какъ—*всѣ!*» Вотъ это-то собственно и называется у насъ «сближеніемъ». Одинъ принимаетъ у себя другого и думаетъ: «съ какимъ бы я наслажденіемъ вышвырнулъ тебя, курицына сына, за окно, кабы...» а другой сидитъ и тоже думаетъ: «съ какимъ бы я наслажденіемъ плюнулъ тебѣ, гнусному пыжику, въ лицо, кабы...» Представьте себѣ, что этого «кабы» не существуетъ—какой обмѣнъ мыслей вдругъ произошелъ бы между собесѣдниками! Быть-можетъ, соображенія мои пошли бы и дальше по этому направленію, но, къ счастью для меня, я встрѣтилъ строгій взоръ Прокопа и поспѣшилъ на скорую руку сказать:

— Mais oui! mais comment dons! mais certainement!

Затѣмъ послѣдовало представленіе княгинѣ и какому-то крошечному старичку (дядѣ хозяина), который сидѣлъ отдѣльно на длинномъ креслѣ и имѣлъ видъ черемисскаго божка, которому вымазали красною глиною щеки и вмѣсто глазъ вставили можжевеловыя ягодки.

Картина, представлявшаяся моимъ глазамъ, была слѣдующаго рода. Хозяинъ постоянно былъ на ногахъ и переходилъ отъ одной группы бесѣдующихъ къ другой. Это былъ человѣкъ довольно высокій, тощій и совершенно прямой, но возраста его я и теперь опредѣлить не могу. Скорѣе всего, это былъ одинъ изъ тѣхъ людей безъ возраста, какихъ въ настоящее время встрѣчается довольно много и которые, едва покинувъ школьную скамью, уже смотрятъ государственными младенцами. Физіономія его имѣла что-то кисло-надменное; рѣчь и движенія были сдержанны и какъ бы брезгливы. Очевидно, тутъ все держалось очень усиленною внѣшнею выправкой, скрывавшей то вну-

треннее недоумѣніе, которое обыкновенно отличаетъ людей раздраженныхъ и въ то же время не умѣющихъ себѣ ясно представить причину этого раздраженія. Подобнаго рода выправка очень многими принимается за серьезность и представляетъ весьма значительное вспомогательное средство при составленіи карьеры. Княгиня, женщина видная, очень красивая, сидѣла за особымъ établissement, около котораго ютились какіе-то поношенные люди, имѣвшіе видъ государственныхъ семинаристовъ. Одинъ изъ нихъ объяснялъ на французскомъ діалектѣ вопросъ о соединеніи церквей, при чемъ слегка касался и того, въ какомъ отношеніи должна находиться Россія къ догмату о папской непогрѣшимости. Тутъ же сидѣлъ французскій attaché, изъ породы брюнетовъ, который ѣлъ княгиню глазами и ждалъ только конца объясненій по церковнымъ вопросамъ, чтобы въ свою очередь объяснить княгинѣ мотивы, побудившіе императора Наполеона III начать мексиканскую войну. Гости сидѣли и стояли группами въ три-четыре человѣка, и между ними я запримѣтилъ нѣсколько кадыковъ, которыхъ видѣлъ у Елисеева и которые вели себя теперь необыкновенно солидно. Въ слѣдующей комнатѣ мелькали женскія фигуры (то были сестры хозяина и ихъ подруги) въ перемежку съ безбородыми молодыми людьми, имѣвшими видъ ососовъ. По временамъ оттуда долеталъ сдержанный смѣхъ, обыкновенно сопровождающій такъ-называемыя невинныя игры. Я сталъ около дверей и увидѣлъ странное зрѣлище. Посрединѣ комнаты стоялъ старикъ-французъ, который съ полупомѣшаннымъ видомъ декламировалъ:

Petit oiseau! qui es-tu?

И затѣмъ, отъ лица птички, отвѣчалъ, что она—l'envoyé du ciel, родилась dans les airs и т. д. Затѣмъ предлагалъ опять вопросъ:

Petit oiseau! où vas-tu?

И опять объяснялъ, что она летитъ, чтобы утѣшить молодую мать, отереть слезы невинному младенцу, наполнить радостью сердце поэта, пропѣть узнику вѣсть о его возлюбленной и т. д.

Petit oiseau! que veux-tu?

— Charmant!—восклицала молодая особа:—monsieur Connot! mais récitez-nous donc quelque chose de «Zaïre»!

— «Zaïre», mesdames,—началъ мсьё Конно, становясь въ позу:—c'est, comme vous le savez, une des meilleures tragédies de Voltaire...

Но я уже не слушалъ далѣе. Увы! не прошло еще четверть часа, а мнѣ казалось, что теперь самое настоящее время пить водку.

Тѣмъ не менѣе я переломилъ себя и поспѣшилъ примкнуть къ группѣ, въ которой находился хозяинъ.

— Ваше мнѣніе, messieurs,—говорилъ онъ:—вотъ насущная потребность нашего времени; вы—люди земства; вы—дѣйствительная консервативная сила Россіи. Вы наконецъ стоите лицомъ къ лицу съ народомъ. Мы безъ васъ—selon l'aimable expression russe—ни взадъ, ни впередъ. Только теперь начинаетъ разъясняться, сколько бѣдствій могло бы быть устранено, если бы были выслушаны *лучшіе люди* Россіи!

— «Излюбленные», ваше сіятельство!—осклабился какой-то государственный семинаристъ.

— Именно «излюбленные!»—c'est le mot! Vous savez, messieurs, que du temps de Jean le Terrible il y avait de ces gens qu'on qualifiait d' «izlioublenny», et qui, ma foi, ne faisaient pas mal les affaires du feu tzar!

— А что тамъ у насъ дѣлается, князь, кабы вы изволили видѣть — чудеса! — доложилъ почтительнымъ басомъ Прокопъ:—народъ споили, рабочихъ взять негдѣ, хозяйство побросали... Смотрѣть, ваше сіятельство, больно!

— Не отчаивайтесь... ne perdez pas courage! Русскій народъ добръ... au fond, notre peuple est excellent! Впрочемъ, я уже давно все предвидѣлъ и изложилъ въ моей запискѣ объ «устраненіи»... Теперь я кончаю мой другой трудъ объ «уничтоженіи», который, я надѣюсь... къ сожалѣнію, я не могу сегодня представить его на вашъ судъ, потому что недостаетъ нѣсколько штриховъ. Но у меня есть другой небольшой трудъ, который я, [illegible] погодя, lorsque nous serons au complet, буду [illegible] прочесть вамъ.

— Нѣтъ, вы скажите, ваше сіятельство, куда это насъ приведетъ?

— Боюсь сказать, но думаю выразить мысль, общую намъ всѣмъ: мы быстрыми, но твердыми [illegible] приближаемся... en un mot, nous dansons sur un [illegible]

— Да еще на какомъ волканѣ-то, князь! [illegible] точь-въ-точь лихорадка: то посредники, то [illegible] то судьи,

а теперь даже всѣ вмѣстѣ! Конечно, вамъ отсюда этого не видно...

— Но поэтому-то мы и просимъ васъ, messieurs: выскажитесь! дайте услышать вашъ голосъ! Expliquez-nous le fin mot de la chose—et alors nous verrons... По крайней мѣрѣ я убѣжденъ, что если-бъ каждый помѣщикъ прислалъ свой проектъ... mais un tout petit projet!.. согласитесь, что это не трудно! Вы какого объ этомъ мнѣнія?—внезапно обратился князь ко мнѣ...

— Mais oui! mais comment donc! un tout petit projet! Mais avec plaisir!—на скорую руку выговорилъ я и вслѣдъ затѣмъ употребилъ очень ловкій маневръ, чтобы незамѣтнымъ образомъ отдѣлаться отъ этой группы и примкнуть къ другой.

— Куда мы идемъ?—слышалось въ этой другой группѣ:—къ чему приближаемся?

— И это та самая Россія, которая двадцать лѣтъ тому назадъ цвѣла! Pauvre chère patrie!

— Тогда каждый крестьянинъ по праздникамъ щи съ говядиной ѣлъ! пироги! А нынче, попробуйте-ка спросить, на сколько дворовъ одна корова приходится?

— Comment? Comment dites-vous?—послышался голосъ хозяина:—прежде мужики ѣли щи съ говядиной?... vous en êtes bien sûr?

— Точно такъ, ваше сіятельство. Въ моемъ собственномъ имѣніи такъ было. А въ храмовые праздники даже утокъ рѣзали!

— Ссс... А теперь, вы говорите, одна корова на нѣсколько дворовъ?

— Это вѣрно-съ. Да что же тутъ мудренаго, ваше сіятельство! Сначала посредники, потомъ акцизные, потомъ судьи. Вѣдь это почти лихорадка-съ! вотъ вы недавно оттуда; какъ вы объ этомъ думаете?

— Я... что-жъ... я, конечно... Mais oui! mais comment donc! mais certainement—пробормоталъ я опять на скорую руку и тутъ же предпринялъ маневръ, чтобы какъ-нибудь примкнуть къ третьей группѣ.

— Народъ безъ религіи—все равно, что тѣло безъ души,—шамкалъ какой-то сѣдовласый младенецъ:—отнимите у человѣка душу, и тѣло перестаетъ фонксіонировать, дѣлается бездушнымъ трупомъ; точно такъ же, отнимите у народа религію—и онъ внезапно погрязаетъ въ пучинѣ апатіи. Онъ перестаетъ воздѣлывать поля, становится непочтителенъ

къ старшимъ и въ своемъ высокомѣріи возвышаетъ заработную плату до такихъ размѣровъ, что предпринимателю ничего больше не остается, какъ оставить свои плодотворные прожекты и идти искать счастья ailleurs!

— Куда мы идемъ? вотъ что̀ вы объясните намъ!

— Безъ религіи, безъ авторитетовъ, безъ истиннаго знанія куда же можно придти, кромѣ... Но я не произношу этого страшнаго слова; я просто зажмуриваю глаза и говорю: Dieu, qui mène toutes choses à bien, ne laissera pas périr notre chère et sainte Russie... нашу святую, православную Русь, messieurs!

Тутъ ужъ я самъ не выдержалъ и произнесъ:

— Mais oui! mais comment donc! mais certainement!

При этомъ перерывѣ сѣдовласый младенецъ посмотрѣлъ на меня такъ изумительно, какъ будто я оскорбилъ его. Взоръ его совершенно явственно говорилъ: qu'est-ce qu'il veut, cet intrus, avec son «comment donc»! Я вспомнилъ недавнія слова хозяина: «теперь мы принимаемъ *всѣхъ*», и въ умѣ моемъ опять мелькнуло: «скотина!» Нечего и говорить, что я сейчасъ же поспѣшилъ осчастливить своимъ присутствіемъ четвертую группу.

— Земледѣліе уничтожено, промышленность чуть-чуть дышитъ (прошедшимъ лѣтомъ, въ мою бытность въ уѣздномъ городѣ, мнѣ понадобилось пришить пуговицу къ пальто, и я буквально—à la lettre—не нашелъ человѣка, который взялъ бы на себя эту операцію!), въ торговлѣ застой... Скажите, куда мы идемъ?

Въ отвѣтъ слышатся вздохи.

— Я, впрочемъ, десять лѣтъ тому назадъ предвидѣлъ это. Я уже тогда всѣмъ и каждому говорилъ: messieurs! мы стоимъ у подошвы волкана! Остерегитесь, ибо еще шагъ— и мы будемъ на вершинѣ онаго!

— Mais oui! mais certainement! mais comment donc!— отвѣчаетъ кто-то за меня, покуда я маневрирую къ пятой группѣ.

— И чего церемонятся съ этой паскудною литературой!—слышится въ этой группѣ:—вѣдь это наконецъ неслыханно!

— А судъ, ваше превосходительство, между тѣмъ оправдываетъ-съ!

— Ахъ! этотъ судъ! вотъ онъ гдѣ у меня сидитъ! Этотъ судъ!!

— Я, ваше превосходительство, записку составилъ, гдѣ

именно доказываю, что въ литературѣ нашей, со смерти Бужарина, ничего, кромѣ тлетворнаго направленія, не существуетъ-съ.

— Тлетворное—c'est le mot! C'est un malfaiteur qui tue par sa nauséabonde puanteur! Я со времени покойнаго Николая Михайловича (c'était le bon temps!) ничего не читаю, но на-дняхъ мнѣ для курьеза прочитали пять строкъ... всего пять строкъ. И клянусь вамъ Богомъ, что я увидѣлъ тутъ все: и дискредитированіе власти, и презрѣніе къ обществу, и насмѣшку надъ религіей, и космополитизмъ, и восхваленіе соціализма... Ma parole, c'était tout un petit cosmos d'immondices de tout genre!

— Я, ваше превосходительство, именно эту самую мысль въ моей запискѣ провожу-съ!

— Прекрасно дѣлаете, другъ мой! Надобно, непремѣнно надобно, чтобы люди бодрые, сильные, спасли общество отъ растлѣвающихъ людей! И какихъ тамъ еще идей нужно, когда вокругъ насъ все, съ Божьею помощью, цвѣтетъ и благоухаетъ! N'est-ce pas, mon jeune ami?

Увы! вопросъ этотъ относился опять ко мнѣ, и я опять не нашелъ никакого отвѣта, кромѣ:

— Mais oui! mais comment donc! mais certainement!

Къ счастію, въ это время въ гостиной раздалось довольно громогласное «шш». Я обернулся и увидѣлъ, что хозяинъ сидитъ около одного изъ столовъ и держитъ въ рукахъ исписанный листъ бумаги.

— Messieurs,—говорилъ онъ:—по желанію нѣкоторыхъ уважаемыхъ лицъ, я рѣшаюсь передать на вашъ судъ отрывокъ изъ предпринятаго мною обширнаго труда «объ уничтоженіи». Отрывокъ этотъ носитъ названіе: «Какъ мы относимся къ прогрессу?»—и я помѣщу его въ передовомъ нумерѣ одной газеты, которая имѣетъ на-дняхъ появиться въ свѣтъ...

— Mesdemoiselles! voulez-vous bien venir écouter ce que va lire le prince! — обратилась княгиня въ другую комнату.

Смѣхъ и шумъ прекратились; молодежь высыпала въ гостиную.

— Надо вамъ объяснить, messieurs, что мы, то-есть люди консервативной партіи, давно чувствовали потребность въ печатномъ органѣ. У насъ была одно время газета, но, отчасти по недостатку энергіи, отчасти вслѣдствіе нѣкоторой шаткости понятій, она должна была прекратить

свое плодотворное существованіе. Теперь мы рѣшились издавать новую газету подъ юмористическимъ названіемъ: «Шалопай, ежедневное консервативно-либеральное прибѣжище для молодцовъ, не знающихъ куда преклонить голову». Мы выбрали это названіе потому, что оно совершенно въ русскомъ, немножко насмѣшливомъ тонѣ... N'est-ce pas, messieurs?

— Изъ-за одного заглавія, ваше сіятельство, сколько будетъ пренумерантовъ! вотъ увидите,—вставилъ свое слово господинъ, который хвастался запиской о тлетворномъ направленіи современной русской литературы.

— Итакъ, messieurs, приступимъ.

Какъ мы относимся къ прогрессу?

«Сила совершившихся фактовъ, безъ сомнѣнія, не подлежитъ отрицанію. Фактъ совершился — слѣдовательно не принять его нельзя. Его нельзя не принять, потому что онъ фактъ, и притомъ не просто фактъ, но фактъ совершившійся (въ публикѣ говоръ: *Quelle lucidité!*). Это, такъ сказать, фундаментъ или, еще лучше, отправной пунктъ.

«Итакъ, фактъ совершился!

«И мы не отрицаемъ его, но принимаемъ съ благодарностью. Мы съ благоговѣйною благодарностью принимаемъ всѣ совершившіеся факты, хотя бы появленіе нѣкоторыхъ изъ нихъ казалось намъ прискорбнымъ и даже легкомысленнымъ (въ публикѣ: *Avalez-moi cela, messeigneurs!..*). Фактъ совершился—и мы благодаримъ. Мы благодаримъ, потому что мы благодарны по самой природѣ, потому что наши преданія, завѣты нашихъ отцовъ, наше воспитаніе, правила, внушенныя намъ съ дѣтства — все, en un mot, создало насъ благодарными...»

— Pardon!—раздается голосъ стараго дядя:—vous avez fourré là une expression française! Mettez plutôt: «однимъ словомъ...»

— C'est juste, mon oncle! Итакъ, messieurs:

«Все, *однимъ словомъ*, создало насъ благодарными. Мы не можемъ не благодарить, точно такъ же какъ не можемъ не принести наши сердца на алтарь отечества въ минуту опасности. Отечество, находящееся въ опасности—это мы сами, находящіеся въ опасности! И мы не принесемъ ему въ даръ сердца наши! мы поспѣшимъ привѣтствовать его враговъ! Нѣтъ, мы не сдѣлаемъ ни того, ни этого, потому что отечество и мы—это что-то совершенно нераздѣльное.

Это до такой степени не подлежитъ отдѣленію, въ смыслѣ умственности, какъ и въ смыслѣ матеріальности, что какъ отечество не можетъ существовать безъ насъ, такъ и мы не можемъ существовать безъ него. А потому, возвращаясь къ первичной моей мысли, повторяю: мы благодаримъ, ибо это есть наша натура.

«Теперь разсмотримъ нѣсколько близкимъ образомъ, что̀ такое есть это священное право благодарить?

«Благодарить — это ѳиміамъ. Это возносящійся ѳиміамъ сердца. Точно такъ же, какъ для того, чтобы понятно писать по-русски, надобно прежде всего и преимущественнѣйше обзнакомиться съ русскимъ языкомъ и памятниками грамотности, точно такъ же, повторяемъ мы, для того, чтобы благодарить, надобно имѣть доброе и преданнѣйшее сердце. Но преданнѣйшее сердце не только благодаритъ, но и преимущественнѣйше предостерегаетъ. Или, лучше сказать, не предостерегаетъ, въ грубомъ значеніи этого слова, но отъ благодарныхъ чувствъ заявляетъ. Мы не отрицаемъ совершившихся фактовъ, мы благодаримъ, но въ то же время заявляемъ! Мы заявляемъ, потому что имѣемъ преданнѣйшее сердце, и потому заявленіе является на устахъ нашихъ не въ печальномъ образѣ горькой улыбки, но въ прекрасномъ видѣ улыбки, исполненной довѣрія. Мы не осмѣливаемся изречь изъ нашихъ устъ: «довольно!» ибо не можемъ даже знать, дѣйствительно ли есть то̀ довольно, что̀ намъ кажется таковымъ. Но мы говоримъ: примите благоговѣйный ѳиміамъ, который испускаютъ наши сердца, и ежели мы ошибаемся, то дайте нашей мыслительности другое направленіе...»

— Encore une fois pardon!—вновь откликается дядя:— мнѣ кажется, это не совсѣмъ точно! Не лучше ли сказать: «дайте другое и, конечно, *столь же благоговѣйное* направленіе нашей мыслительности»? А еще бы лучше: *нашимъ мыслительнымъ благожелательностямъ*. N'oubliez pas, mon cher, que vous protestez (ты мягко постилаешь, но спать на твоей постели весьма будетъ жестко, comme dit un charmant proverbe russe), et tu sais que dans ces choses-là rien n'est à négliger! (Присутствующіе переглядываются между собой, какъ бы говоря: какой тонкій старикъ!).

— Merçi, mon oncle, vous avez touché juste! Итакъ, messieurs, будемъ продолжать въ измѣненной редакціи:

«... другое, и, конечно, столь же благоговѣйное направленіе нашимъ мыслительнымъ благожелательностямъ.

«Итакъ, фактъ совершился. Мы всѣ видѣли его совершеніе, и сердца наши благожелательно, можно сказать, благоговѣйно содрогались. Теперь мы спрашиваемъ себя только, долженъ ли повторяться этотъ едва совершившійся фактъ безгранично? и на вопросъ этотъ позволяемъ себѣ думать, что ежели бы рядомъ съ совершившимся фактомъ было поставлено благодѣтельное *тиré*, то отъ сего наши сердца преисполнились бы не менѣе благоговѣйною признательностью, какою былъ ѳиміамъ, наполнявшій ихъ по поводу совершившагося факта. Мы были благодарны за фактъ, но мы, конечно, будемъ не меньше благодарны и за *тиré*, ибо, какъ я сказалъ уже выше, право благодарить есть, такъ сказать, лучшее и преимущественнѣйшее право, которое мы за собой признаемъ!

«Совершившійся фактъ — это есть мудрость. *Тиré* — это есть болѣе, нежели мудрость: это мудрость въ мудрости (*quelle profondeur!*). Вспомнимъ по сему случаю Наполеона III, а въ настоящую минуту — князя Бисмарка. Они сіе должны со временемъ познать, что̀ мы теперь отъ себя скромнымъ образомъ утверждаемъ. Вспомнимъ еще великаго преобразователя экономическихъ законовъ Англіи, Роберта Пиля, но не забудемъ и величайшаго Вашингтона! Вездѣ и повсюду—законъ одинъ, который есть таковъ: прогрессъ — это мудрость стремительная, уносящая за собой исторію; *тиré*—это мудрость, оглядывающаяся назадъ, скующая исторію, а не низвергающая ее въ прахъ!

«Стало-быть, если мы благоговѣйно просимъ поставить *тиré*, то не только не грѣшимъ противъ мудрости дѣйствительной, но даже споспѣшествующимъ образомъ доказываемъ, какая отъ того есть приносимая польза.

«Мы объяснились съ нашими читателями съ открытымъ сердцемъ; надѣемся, что они съ таковымъ же отнесутся и къ намъ. Быть-можетъ, насъ будутъ бранить ретроградами, но мы того не боимся. Мы не имѣемъ ничего бояться, ибо мы не ретрограды. Мы только не хотимъ бѣжать впередъ сломя голову, потому что ежели всѣ побѣгутъ и отъ того сломаютъ головы — что̀ можетъ изъ сего произойти, кромѣ несвоевременной гибели? Вотъ этого именно вопроса никогда не задаютъ себѣ господа слишкомъ пламенные прогрессисты, но не мѣшало бы отъ времени до времени все оное себѣ припоминать. Мы говоримъ: не мѣшало бы, потому что никогда не мѣшаетъ то̀, что̀ есть само по себѣ полезно. А что припоминаніе такого рода полезно, то это

несомнѣнно доказывается приносимою имъ вездѣ и повсюду безчисленною пользой.

«Затѣмъ, прощаясь съ читателями до слѣдующаго нумера, въ коемъ постараемся обстоятельнѣйше объяснить нашу profession de foi, воскликнемъ: съ нами наше право, а затѣмъ да пребудетъ надъ нами Божіе благословеніе!»

Хозяинъ умолкъ. Въ публикѣ раздавались сдержанныя восклицанія: «прекрасно!»—«мастерски!» — «bien écrit et surtout bien pensé!»

Но я почти обезумѣлъ отъ скуки. Никогда я такъ ясно не сознавалъ, что пора пить водку, какъ въ эту минуту. Прокопъ, очевидно, слѣдилъ за выраженіемъ моего лица, потому что подошелъ ко мнѣ, какъ только кончилось чтеніе.

— Уйдемъ! на тебѣ лица нѣтъ! тошнитъ тебя, что ли? (Онъ вдругъ началъ говорить мнѣ «ты»).

Мы вышли; насъ охватила лунная, морозная петербургская ночь.

— Айда̀ къ Палкину! — скомандовалъ Прокопъ извозчику.—Я, братъ, нынче все у Доминика да у Палкина развлекаюсь: напитки тутъ крѣпки. Ѣсть устрицы у Елисеева да ужинать у Дюссо тогда хорошо, когда на сердцѣ легко. Концессію тамъ выхлопатываешь или Шнейдершу облюбовываешь—ну, и тянетъ тебя къ легкому напитку. А какъ наслушаешься прожектовъ «объ уничтоженіи» да «объ разстрѣляніи», такъ на сердцѣ-то сдѣлается такъ моркотно, такъ моркотно, что радъ цѣлую четверть выпить, чтобы его опять въ прежнее положеніе привести! А какова статейка-то?

— Гм!.. да... статья... это...

Вспомнивъ про статью, я такъ обозлился, что не своимъ голосомъ закричалъ на извозчика:—Пошелъ!

— Да, братъ, за такія статейки въ уѣздныхъ училищахъ штанишки снимаютъ, а онъ еще вонъ какъ кочевряжится. «Для того, говоритъ, чтобы понятно писать по-русски, надобно прежде всего и преимущественнѣйше обзнакомиться съ русскимъ языкомъ...» Вотъ и поди ты съ нимъ!

Мы пробесѣдовали у Палкина до двухъ часовъ. Съѣли только по одному бифштексу, но выпили.

Однимъ словомъ, мы вышли на улицу, держась подъ руки. Кажется, даже мы пѣли пѣсни.

На другой день утромъ, вѣроятно, въ видахъ скорѣйшаго вытрезвленія, Прокопъ принесъ мнѣ знаменитый проектъ

«О разстрѣлянiи и благихъ онаго послѣдствiяхъ», составленный ветлужскимъ помѣщикомъ Поскудниковымъ. Проекту предпослано вступленiе, въ которомъ авторъ объясняетъ, что хотя онъ, *со времени извѣстнаго происшествiя*, живетъ въ деревнѣ не у дѣлъ, но здоровье его еще настолько крѣпко, что онъ и на другомъ поприщѣ могъ бы довольно много «всеусерднѣйше и не къ стыду» совершить. А коль скоро человѣкъ въ чемъ-нибудь убѣжденъ, то весьма естественно, что въ немъ является желанiе въ томъ же убѣдить и другихъ. Отсюда попытка разъяснить вопросъ: *отчего все сiе происходитъ*, а затѣмъ и осуществленiе этой попытки въ формѣ предлагаемаго проекта.

«Отчего все сiе происходитъ?»—конечно, отъ недостатка спасительной строгости. Если бы, напримѣръ, своевременно было прибѣгнуто къ разстрѣлянiю, то и общество было бы спасено, и молодое поколѣнiе ограждено отъ заразы заблужденiй. Конечно, не легко лишить человѣка жизни, «сего первѣйшаго дара милосерднаго Творца», но авторъ и не требуетъ, чтобы разстрѣливали всѣхъ поголовно, а предлагаетъ только: «разстрѣливать по внимательномъ всѣхъ винъ разсмотрѣнiи, но неукоснительно». И тогда «все сiе» исчезнетъ, «лицо же добродѣтели, нынѣ потускнѣвшее, возсiяетъ вновь, какъ десять лѣтъ тому назадъ».

Нѣкоторые мотивы, которыми авторъ обусловливаетъ необходимость предлагаемой мѣры, не изъяты даже чувствительности. Такъ, напримѣръ, въ одномъ мѣстѣ онъ выражаетъ такъ: «Молодые люди, увлекаемые пылкостью нрава и подчиняясь тлетворнымъ влiянiямъ, цѣлыми толпами устремляются въ бездну; а такъ какъ подобное устремленiе законами нашего отечества не допускается, то и видятъ сiи несчастные младыя свои существованiя подсѣченными въ самомъ началѣ (честное слово, я даже прослезился, читая эти строки!). А мы равнодушными глазами смотримъ на сiе странное позорище, видимъ гибель самой цвѣтущей и, быть-можетъ, самой способной нашей молодежи и не хотимъ пальцемъ объ палецъ ударить, чтобы спасти ее. Устремимъ же наши спасительныя ладьи для спасенiя сихъ утопающихъ! подадимъ руку помощи этимъ несчастнымъ, увлекающимся юношамъ! Сдѣлаемъ все сiе—и тогда съ спокойною совѣстью скажемъ себѣ: мы совершили все для огражденiя дѣтей нашихъ!»

Но всего замѣчательнѣе то, что и вступленiе, и самый проектъ умѣщаются на одномъ листѣ, написанномъ очень

разгонистой рукой! Какъ мало нужно, чтобъ заставить возсіять лицо добродѣтели! Въ особенности же кратки заключенія, къ которымъ приходитъ авторъ. Вотъ они:

«А потому полагается небезполезнымъ подвергнуть разстрѣлянію нижеслѣдующихъ лицъ:

«*Первое*, всѣхъ несогласно мыслящихъ.

«*Второе*, всѣхъ, въ поведеніи коихъ замѣчается скрытность и отсутствіе чистосердечія.

«*Третье*, всѣхъ, кои угрюмымъ очертаніемъ лица огорчаютъ сердца благонамѣренныхъ обывателей.

«*Четвертое*, зубоскаловъ и газетчиковъ».

И только.

Вечеромъ мы были на раутѣ у предсѣдателя общества чающихъ движенія воды, дѣйствительнаго статскаго совѣтника Стрекозы. Присутствовали почти все старики, и потому въ комнатахъ господствовалъ какой-то особенный старческій запахъ. Подали чай и читали статью, въ которой современная русская литература сравнивалась съ вавилонскою блудницей. Въ промежуткахъ между чаемъ и чтеніемъ происходилъ обмѣнъ вздоховъ (тò были именно не мысли, а вздохи).

— Гдѣ тѣ времена, когда пѣлъ сладкогласый Жуковскій? когда Карамзинъ плѣнялъ своею прозой?—вздыхалъ одинъ.

— «Какъ лебедь на брегахъ Меандра...» — зажмуривъ глаза, вздыхалъ другой.

— Увы! изъ всей этой плеяды остался только господинъ Страховъ!—вздыхаючи вторилъ третій.

— Куда мы идемъ? куда мы идемъ? — вздыхалъ четвертый.

Старцы задумывались и въ тактъ покачивали головами. Очень возможное дѣло, что они такъ и заснули бы въ этой позѣ, если бы отъ времени до времени не пробуждалъ ихъ возгласъ:

— И это литература! Куда мы идемъ?

Я пробылъ у дѣйствительнаго статскаго совѣтника Стрекозы съ девяти до одиннадцати часовъ и насчиталъ, что въ теченіе этого времени по крайней мѣрѣ двадцать разъ былъ повторенъ вопросъ: «куда мы идемъ?» Это произвело на меня такое тоскливое, давящее впечатлѣніе, что, когда мы вышли съ Прокопомъ на улицу, я самъ безотчетно воскликнулъ:

— Куда же мы въ самомъ дѣлѣ идемъ?

— Сегодня я сведу тебя къ Шухардину,—отвѣтилъ Прокопъ:—а завтра, если Богъ грѣхамъ потерпитъ, направимъ стопы въ «Старый Пекинъ».

Опять два бифштекса и—что̀ всего непріятнѣе—опять возвращеніе домой съ пѣснями. И съ чего я вдругъ такъ распѣлся? Я начинаю опасаться, что если дѣло пойдетъ такимъ образомъ дальше, то меня непремѣнно когда-нибудь посадятъ въ часть.

На третій день—раутъ у предсѣдателя общества благихъ начинаній, отставного генерала Проходимцева. Приходимъ и застаемъ компанію человѣкъ въ двѣнадцать. Все отставные провіантскіе чиновники, заявившіе о необыкновенномъ усердіи во время севастопольской кампаніи. У всѣхъ на лицѣ написано: я по суду не изобличенъ, а потому надѣюсь еще послужить! Общество сидитъ вокругъ чайнаго стола; хозяинъ читаетъ *):

—А онъ: моя ты лада!
Есть мѣсто рѣпѣ точно.
Но садъ засѣять надо,
За то, что онъ цвѣточный!

— Прекрасно! не въ бровь, а прямо въ глазъ!

— Куда мы идемъ? скажите, куда мы идемъ?

— Позвольте, господа! послушайте, что̀ дальше будетъ!

—Ее (рощу) порубятъ, лада,
На зданіе такое,
Гдѣ-бъ жирныя говяда
Кормились на жаркое!

— Но какой стихъ! Вотъ наконецъ настоящая-то сатира!

— Шш... шш... слушайте! слушайте!

—О, другъ ты мой единый!—
Воскликнула невѣста:—
Ужель для той скотины
Иного нѣту мѣста?
—Есть много мѣста, лада,
Но тотъ пріютъ тѣнистый
Затѣмъ изгадить надо,
Что въ немъ свѣжо и чисто.

---

*) Отрывки, приводимые ниже, взяты изъ стихотворенія графа А. К. Толстого: «Баллада съ тенденціей». Любопытствующіе могутъ отыскать эту балладу въ «Русскомъ Вѣстникѣ» 1871 года за октябрь.

— Именно! именно!—рукоплескали отставные провіантскіе чиновники, и затѣмъ поднялся хохотъ, который и не прерывался уже до самаго конца пьесы. Особенный фуроръ произвело слѣдующее опредѣленіе современнаго матеріалиста:

Они-жъ, матерьялисты,
Отъ имени прогресса,
Кричатъ, что трубочисты
Суть выше Аполлеса...

— «Суть выше Аполлеса»! Каковъ, господа, пошибъ! Вотъ это я называю сатирой! Это отпоръ! Это настоящій, заправскій отпоръ!

Затѣмъ всѣ на минуту смолкли и погрузились въ думы. Какъ вдругъ кто-то завылъ:

— Куда мы идемъ? Объясните, куда мы идемъ?

И всѣ, словно ужаленные, вскочили съ мѣстъ и подняли такой неизреченный лай, что я поскорѣе схватилъ шляпу и увлекъ Прокопа въ «Старый Пекинъ».

Бифштексъ—и возвращеніе домой съ пѣснями.

И еще два вечера провелъ я въ обществѣ испуганныхъ людей и ничего другого не слышалъ, кромѣ возгласа: «куда мы идемъ?» Но послѣ пятаго вечера со мной случилось нѣчто совсѣмъ необыкновенное.

Я проснулся утромъ съ головною болью и долгое время ничего не понималъ, а только смотрѣлъ въ потолокъ. Вдругъ слышу голосъ Прокопа: «Господи Іисусе Христе! да гдѣ же мы?» Вскакиваю, оглядываюсь и вижу, что я лежу на диванѣ, а на другомъ диванѣ лежитъ Прокопъ. Мною овладѣлъ страхъ.

Я вспомнилъ слышанную въ дѣтствѣ исторію о какомъ-то пустынножителѣ, который сначала напился пьянъ, потомъ совершилъ прелюбодѣяніе, потомъ укралъ, убилъ—однимъ словомъ, въ самое короткое время исполнилъ всю серію смертныхъ грѣховъ.

— Гдѣ мы вчера были?—обратился я къ Прокопу.

Но Прокопъ стоялъ какъ бы въ остолбенѣніи и только пялилъ на меня свои опухшіе глаза.

Я сталъ припоминать и съ помощью неимовѣрныхъ усилій успѣлъ составить нѣчто цѣлое изъ уцѣлѣвшихъ въ моемъ мозгу обрывковъ. Да, мы отправились сначала къ Балабину, потомъ къ Палкину, оттуда къ Шухардину и нако-

нецъ въ «Пекинъ». Но тутъ нить воспоминаній оборвалась. Не украли ли мы въ «Пекинѣ» серебряную ложку? не убили ли мы на скорую руку полового? не вели ли насъ на веревочкѣ?—вотъ этого-то именно я не могъ возстановить въ своей памяти.

Я припоминалъ, что со мною уже былъ почти такой же случай въ молодости. Въ то время я былъ студентомъ московскаго университета и охотно бесѣдовалъ объ искусствѣ (святое искусство!) въ трактирѣ «Британія». Однажды, находясь въ хорошей компаніи, я выпилъ, рюмку за рюмкой, рублей на двадцать ассигнаціями водки и, совершивши этотъ подвигъ, исчезъ. Гдѣ я былъ, этого я совершенно не помню, но дѣло въ томъ, что черезъ какіе-нибудь полчаса опять я воротился въ «Британію», но воротился... безъ штановъ! Можно себѣ представить, какъ изумило меня это обстоятельство, когда я, переночевавъ въ «Британіи» на бильярдѣ, на другой день проснулся! И что̀-жъ оказалось? — что штаны мои преспокойно лежатъ у меня дома! Что я нарочно приходилъ домой, чтобы ихъ снять, и, совершивши этотъ подвигъ, отправился назадъ въ «Британію».

— Да какимъ же образомъ это случилось? Я говорилъ что-нибудь? Приказывалъ? — допрашивалъ я своего слугу.

— Ничего не изволили приказывать. Изволили придти, сняли и опять ушли-съ.

— Да что̀ же я еще-то дѣлалъ?

— Изволили придти-съ, сняли и опять ушли-съ.

Такъ вотъ на какіе подвиги я способенъ...

И вдругъ, въ ту самую минуту, когда мнѣ все это припоминалось, дверь нашей комнаты отворилась, и передъ нами очутился расторопный малый въ мундирѣ помощника участковаго надзирателя. Оказалось, что мы находимся у него на квартирѣ, что мы ничего не украли, никого не убили, а просто-на̀-просто въ безобразномъ видѣ шатались ночью по улицѣ.

— Какимъ же образомъ у васъ-то мы очутились?—полюбопытствовалъ Прокопъ.

— Да просто шелъ я, по должности, дозоромъ-съ; ну, вижу, благородные люди... не могутъ объяснить мѣстожительства-съ...

Никогда не бывало мнѣ до такой степени стыдно...

Глава III.

Пользуясь моею нравственною рыхлостью, Прокопъ завалилъ меня проектами, чтеніе которыхъ чуть-чуть не навело меня на мысль о самоубійствѣ. Истинно только Богъ спасъ мою душу отъ конечной погибели... Но буду разсказывать по порядку...

Прежде всего, при одномъ воспоминаніи о моемъ послѣднемъ приключеніи мнѣ было такъ совѣстно, что я нѣкоторое время не могъ подумать о себѣ, не покраснѣвши при этомъ. Посудите сами: пріѣхать въ Петербургъ, въ этотъ, такъ сказать, центръ россійской интеллигенціи, и дебютировать тѣмъ, что по истеченіи четырехъ недѣль очутиться невѣдомо какимъ образомъ въ квартирѣ помощника участковаго надзирателя Хватова! Я взглянулъ на себя въ зеркало—и ужаснулся: лицо распухло, глаза заплыли и даже потеряли способность дѣлаться круглыми. Съ какимъ-то щемящимъ чувствомъ безнадежности бродилъ я въ халатѣ, изъ угла въ уголъ, по моему номеру и совершенно явственно чувствовалъ, какъ меня сосетъ. Именно «сосетъ»—и ничего больше. Если-бъ кто-нибудь спросилъ меня, что̀ со мною дѣлается, я положительно ничего другого не нашелъ бы отвѣтить, кромѣ этого страннаго слова: «сосетъ». Не то тоска, не то смутное напоминаніе объ адмиральскомъ часѣ. Къ довершенію позора, въ теченіе цѣлой недѣли, аккуратно изо дня въ день, меня посѣщалъ расторопный поручикъ Хватовъ и съ самою любезною улыбкой напоминалъ мнѣ о моемъ грѣхопаденіи. Придетъ, сядетъ, закуритъ папироску и начнетъ:

— Иду, знаете, дозоромъ и вдругъ вижу—благородные люди! И можно сказать, даже въ очень веселомъ видѣ-съ! Время, знаете, ночное-съ... мѣстожительства объявить не могутъ... Ну-съ, конечно, какъ самъ благородный человѣкъ... по силѣ возможности-съ... Сейчасъ къ себѣ на квартиру-съ... Диванъ-съ, подушки-съ...

— То-есть, такъ я вамъ благодаренъ! такъ благодаренъ! — завѣрялъ я въ свою очередь, весь пунцовый отъ стыда: — кажется, умирать стану, а услуги вашей не забуду!

— Помилуйте! что же-съ! благородные люди... время ночное-съ... мѣстожительства объявить не могутъ... диванъ, подушки-съ...

И такимъ образомъ цѣлыхъ семь дней сряду. Придетъ, выкуритъ три-четыре папиросы, выпьетъ рюмку водки, закуситъ и уйдетъ. Подъ конецъ даже такъ меня полюбилъ, что началъ говорить мнѣ *ты*.

«Дѣдушка Матвѣй Иванычъ!—думалось мнѣ въ эти минуты: — воображалъ ли ты когда-нибудь, чтобъ твой потомокъ могъ покрыть себя подобнымъ позоромъ! Ты, который, выходя грузнымъ изъ рязанско-козловско-тамбовскаго клуба, не торопясь влѣзалъ въ экипажъ, подсаживаемый вѣрными слугами, и затѣмъ благополучно слѣдовалъ до постоялаго двора, гдѣ ожидали тебя и взбитая перина, и теплое пуховое одѣяло! Ты, который о самомъ имени полиціи зналъ только потому, что отъ времени до времени приходилось посылать какого-нибудь Андрюшку-пьяницу или Іонку-подлеца въ часть! Могъ ли ты представить себѣ, что твой родной внукъ, какъ какой-нибудь безпаспортный мѣщанинъ, проведетъ цѣлую ночь въ самомъ сердцѣ той самой полиціи, о которой ты зналъ только по наслышкѣ, какъ о вмѣстилищѣ клоповъ, блохъ и розогъ! Что этотъ внукъ будетъ поднятъ на улицѣ (позоръ! у него нѣтъ ни экипажа, ни вѣрныхъ слугъ, ни цуга лошадей!) и призрѣнъ, буквально: призрѣнъ расторопнымъ полицейскимъ поручикомъ Хватовымъ! Что этотъ самый Хватовъ будетъ заявлять претензію на вѣчную признательность сердца со стороны твоего внука! что онъ будетъ прохаживаться съ нимъ по водочкѣ и наконецъ, въ минуту откровенности, скажетъ ему «ты»!

Позоръ!

И вотъ, о, реформы, горькіе ваши плоды!

Какимъ же образомъ, послѣ всего этого, утишить негодующее сердце? какимъ образомъ сдержать благородные порывы? Реформы!!

Вотъ Прокопъ—такъ тотъ мигомъ поправился. Очевидно, на него даже реформы не дѣйствуютъ. Голова у него трещала всего одинъ день, а на другой день онъ уже прибѣжалъ ко мнѣ какъ ни въ чемъ не бывало и навалилъ на столъ цѣлую кипу проектовъ.

— Читать ли? — молвилъ я робко: — какъ бы опять не запить!

— Какъ не читать! надо читать! Зачѣмъ же ты пріѣхалъ сюда? Вѣдь если ты хочешь знать, въ чемъ послѣдняя суть состоитъ, такъ гдѣ же ты объ этомъ узнаешь, какъ не тутъ? Вотъ, напримѣръ, прожектъ о децентрализаціи—ужъ такъ

онъ мнѣ понравился! такъ понравился! И словъ-то, кажется, не приберешь, какъ хорошо!

— А что?

— Да чтобы, значитъ, вездѣ, по всему лицу земли... по зубамъ чтобъ бить свободно было... вотъ это и есть самая децентрализація!

Прокопъ, по обыкновенію своему, залился смѣхомъ.

И чортъ его знаетъ, что это за смѣхъ у Прокопа—никакъ понять не могу! Дѣйствительно ли звучитъ въ немъ иронія, или это только такъ, избытокъ веселонравія, который самъ собой просится наружу? Вотъ, кажется, и хохочетъ человѣкъ надъ децентрализаціей съ точки зрѣнія безпрепятственнаго и повсемѣстнаго битья по зубамъ, а загляните-ка ему въ нутро — анъ окажется, что вѣдь онъ и впрямь ничего, кромѣ этой безпрепятственности, не вожделѣетъ! Вотъ и поди, разбери, какъ это въ немъ разомъ укладывается: и тоска по мордобитію, и несомнѣннѣйшая язвительнѣйшая насмѣшка надъ этою самою тоской!

— А ужъ ежели,—продолжалъ между тѣмъ Прокопъ:— ты отъ этихъ прожектовъ запьешь, такъ, значитъ, линія такая тебѣ вышла. Оно, по правдѣ сказать, трудно и не запить. Все бить, да сѣчь, да стрѣлять... коли у кого чувствительное сердце—ну, просто невозможно не запить! Ну, а ежели кто закалился — вотъ какъ я, напримѣръ — такъ ничего. Большую даже пользу нахожу. Свѣтлыя мысли есть — ей-Богу.

Опять хохотъ, этотъ загадочный, разстраивающій нервы хохотъ!

Но такъ какъ у меня голова все еще была несвѣжа, то я два дня сряду просто-на-просто пробродилъ изъ угла въ уголъ и искоса поглядывалъ на кипу писанной бумаги. А въ груди между тѣмъ сосало, и Богъ знаетъ какихъ усилій мнѣ стоило, чтобъ не крикнуть: водки и закусить! Воздержаться отъ этого клича было тѣмъ труднѣе, что у лакеевъ chambres garnies есть привычка, и притомъ препоганая: поминутно просовываетъ, каналья, голову въ дверь и спрашиваетъ: «что прикажете?» Ну, что я могу приказать? Что могу я отвѣтить на его вызывающій вопросъ, кромѣ: водки и закусить!? Вотъ дѣдушка Матвѣй Иванычъ— тотъ точно могъ разныя приказанія отдавать, а я — что я могу?!

Однако, повторяю, Богъ спасъ, и, можетъ-быть, я провелъ бы время даже не совсѣмъ дурно, если-бъ не раз-

дражали меня, во-первыхъ, періодическіе визиты поручика Хватова и, во-вторыхъ, назойливость Прокопа. Помимо этихъ двухъ непріятностей, право, все было хорошо.

Я находился въ томъ состояніи, когда голова, за нѣсколько времени передъ тѣмъ трещавшая, начинаетъ мало-по-малу разгуливаться. Настоящимъ образомъ еще ничего не понимаешь, но кое-какія мысли ужъ бродятъ. Подойдешь къ печкѣ — и остановишься; къ окну подойдешь — и посмотришь. Что̀ въ это время бродитъ въ головѣ — этого ни подъ какимъ видомъ не соберешь, а что бродитъ нѣчто—въ томъ нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія. По временамъ даже удается иное схватить. Вотъ сейчасъ мелькнуло: «хорошо бы двѣсти тысячъ выиграть!»—и ушло. Потомъ: «какое это въ самомъ дѣлѣ благодѣяніе, что откупа уничтожены!»—и опять ушло. Вообще, все приходитъ и уходитъ до такой степени какъ-то смутно, что ни встрѣчать, ни провожать нѣтъ надобности. И вдругъ канальская мысль: «не приказать ли водки?»

— Ну, нѣтъ, братъ, шалишь! водка — это, братъ, ядъ! Вспомни, какъ ты въ «Старомъ Пекинѣ» чуть-чуть полового не ушибъ и какъ потомъ въ квартирѣ у поручика Хватова розоперстую аврору встрѣчалъ!

Ушло.

И проходятъ такимъ образомъ часы за часами спокойно, безмятежно, даже почти весело! Все бы ходилъ да мечталъ, а о чемъ бы мечталъ—и самъ не знаешь! Вотъ, кажется, сейчасъ чему-то блаженно улыбался, по поводу чего-то шевелилъ губами, а черезъ мгновенье — смотришь, абылъ! Да и кто знаетъ? можетъ-быть, оно и хорошо, что забылъ...

Вотъ что̀ совсѣмъ ужъ нехорошо—это Прокопъ, который самымъ наглымъ образомъ врывается въ жизнь и отравляетъ лучшія, блаженнѣйшія минуты ея. Каждый день, утромъ и вечеромъ, онъ влетаетъ ко мнѣ и начинаетъ приставать и даже ругаться.

— Ну что̀, прочелъ?

— Да право, душа моя, боюсь я...

— Что̀ же ты послѣ этого за патріотъ, коли не хочешь знать, въ чемъ нынѣшняя суть состоитъ!

— Да запью я! чувствуетъ мое сердце, что запью!

— Такъ ты помаленьку, не вдругъ! Сперва «о децентрализаціи», потомъ «о необходимости оглушенія, въ смыслѣ временнаго усыпленія чувствъ», потомъ «о переформирова-

ніи де сіянсъ академіи». Есть даже прожектъ «о наижелательнѣйшемъ для всѣхъ сторонъ упраздненіи женскаго вопроса». Честью тебѣ ручаюсь: начни только! Пригубь! Не успѣешь и оглянуться, какъ самъ собою, безъ масла, всю груду проглотишь!

И я началъ.

Но я приступилъ не вдругъ. Сначала произвелъ наружный осмотръ, при чемъ оказалось, что всѣ прожекты были коротенькіе: на одномъ, много на двухъ листахъ. Потомъ перечиталъ заглавія и убѣдился, что вездѣ говорилось объ упраздненіи и уничтоженіи, и только одинъ прожектъ трактовалъ о расширеніи, но и то—о расширеніи области дѣйствія квартальныхъ надзирателей. Затѣмъ мною овладѣла моя обычная привычка резонировать по поводу выѣденнаго яйца, и я уже на цѣлыя сутки сдѣлался неспособнымъ ни къ какимъ дальнѣйшимъ изслѣдованіямъ. Одни названія навели на меня какія-то необыкновенно тоскливыя мысли, отъ которыхъ я не могъ отдѣлаться ни насвистываніемъ арій изъ «Герцогини Герольштейнской», ни припоминаніемъ особенно характерныхъ эпизодовъ изъ послѣднихъ нашихъ трактирныхъ похожденій, ни даже закусываніемъ соленаго огурца, каковое закусываніе, какъ извѣстно, представляетъ во время загула одно изъ самыхъ дивныхъ возстановляющихъ средствъ (увы! даже и это средство отыскано не мною, непризнаннымъ Гамлетомъ сороковыхъ годовъ, а все тѣмъ же дѣдушкой Матвѣемъ Иванычемъ!).

Во имя чего—думалось мнѣ—волнуются и усердствуютъ изъ глубины своихъ усадьбъ отставные прапорщики, ротмистры, полковники? изъ-за чего напрягаютъ мозги выгнанные изъ службы подьячіе? что̀ породило это ужаснѣйшее творчество, которымъ заражены россійскіе грады и веси, и печальный плодъ котораго — вотъ эта груда прожектовъ, которую мнѣ предстоитъ перечитать?

Вникните пристальнѣе въ процессъ этого творчества, и вы убѣдитесь, что первоначальный источникъ его заключается въ неугасшемъ еще чувствѣ жизни, той самой «жизни», съ тѣмъ же содержаніемъ и тѣми же поползновеніями, о которыхъ я говорилъ въ предыдущихъ моихъ дневникахъ. Всѣ мы: поручики, ротмистры, подьячіе, однимъ словомъ, всѣ, причисляющіе себя къ сонму представителей отечественной интеллигенціи — всѣ мы были свидѣтелями этой «жизни», всѣ воспитывались въ ея преданіяхъ, и какъ

бы мы ни открещивались отъ нея, но не можемъ, ни подъ какимъ видомъ не можемъ представить себѣ что-либо иное, что̀ не находилось бы въ прямой и неразрывной связи съ тѣмъ содержаніемъ, которое выработано нашимъ прошедшимъ. Всѣ мы хотимъ жить именно тѣмъ самымъ способомъ, какимъ жилъ дѣдушка Матвѣй Иванычъ, то-есть жить хотя безобразно (увы! до другихъ идеаловъ рѣдкіе изъ насъ додумались), но властно, и не слоняться по бѣлу свѣту, выпуча глаза.

Эта перспектива «слонянія» раздражаетъ насъ. Былъ моментъ, когда мы искренно повѣрили, что въ раскладываніи гранъ-пасьянса заключается единственно возможная, такъ сказать, провиденціальная роль наша въ будущемъ. Былъ моментъ, когда мы не шутя ощутили, что почва ушла изъ-подъ ногъ нашихъ, и что намъ остается только бѣжать, бѣжать и бѣжать. И теперь, при одномъ воспоминаніи объ этомъ ужасномъ времени, скверно дѣлается во рту. Но инстинктъ самосохраненія спасъ насъ. Онъ заставилъ насъ оглянуться и подумать. Оглянулись, подумали— видимъ: мы тѣ же, да и кругомъ насъ все то же. И мы— «dansons, chantons et buvons», и кругомъ насъ — «chantons, dansons et buvons». Конечно, нѣкоторыя подробности измѣнились, но развѣ подробности когда-нибудь составляли что-нибудь существенное? Сегодня онѣ имѣютъ одинъ видъ, завтра—будутъ имѣть другой. Если главная основа жизни не поколеблена, то нѣтъ ничего легче, какъ дать подробностямъ ту или другую форму—какую хочешь. Сегодня у насъ—la grandeur d'âme est à l'ordre du jour, а завтра— alea jacta est! — на очереди будутъ: натискъ и быстрота! Стало-быть, ежели намъ, отставнымъ корнетамъ, ротмистрамъ и подьячимъ, показалось на минуту, что почва ускользаетъ изъ-подъ нашихъ ногъ, то это именно только показалось, а на самомъ дѣлѣ ничего новаго не произошло, кромѣ кавардака, умопомраченія, труса и т. д. Стало-быть, надо только разъяснить, разсѣять и затѣмъ—настоять. Мы струсили! какъ дѣти, сами не зная — чего: мы призрачную жизнь, простую взбалмошную накипь, признали за нѣчто реальное и устойчивое. Нѣтъ, шалишь! Мы докажемъ міру, что всѣ эти призраки можно разсѣять совершенно просто и легко: тѣмъ же маніемъ руки, какимъ и въ прежнія времена достославные наши предки разсѣвали и расточали всякаго рода дурные призраки!

Отсюда — понятное раздраженіе противъ тѣхъ, которые

продолжаютъ напоминать намъ о «слоняніи». Какъ не раздражаться, если мы сами чуть-чуть не повѣрили этой провиденціальной роли и не обрекли себя на перспективу вѣчнаго слонянія? Надо же наконецъ дать почувствовать заблуждающимся всю тщету ихъ надеждъ! И вотъ, какъ плодъ этого раздраженія—являются прожекты объ уничтоженіи и упраздненіи.

Сидятъ корнеты-землевладѣльцы въ своихъ логовищахъ и немолчно скребутъ перьями. А такъ какъ для нихъ связать двѣ мысли — трудъ совершенно анаѳемскій, то очень понятно, что творчество ихъ лишь послѣ неимовѣрныхъ потугъ находитъ себѣ какое-нибудь выраженіе. Мысли, зарождающіяся въ усадьбахъ, вдали отъ всякихъ учебныхъ пособій, вдали отъ возможности обмѣна мыслей—вѣдь это все равно, что мухи, бродящія въ лѣтнее время по столу. Поди, собери ихъ въ одну кучу! Поэтому проводится множество безсонныхъ ночей, портится громада бумаги, для того только, чтобы въ концѣ концовъ вышло: «на послѣднемъ я листочкѣ напишу четыре строчки». Но чѣмъ малограмотнѣе человѣкъ, тѣмъ упорнѣе онъ въ своихъ начинаніяхъ и, однажды задумавъ какой-нибудь подвигъ, рано или поздно добьется-таки своего. Вожделѣнныя «четыре строчки» несомнѣнно будутъ написаны, и смыслъ ихъ несомнѣнно будетъ таковъ: уничтожить, вычеркнуть, воспретить...

Въ одно прекрасное утро корнетъ выходитъ къ утреннему чаю и объявляетъ женѣ:

— Я, душа моя, сегодня проектъ свой кончилъ!

— Ну, и слава Богу! Я знаю, ты вѣдь у меня умный.

— Однако и помучился-таки я надъ нимъ! Странно это: мы, русскіе, кажется, на все способны, а вотъ проекты писать—смерть!

Почему однако уничтожить, вычеркнуть, воспретить, а не расширить, создать, разрѣшить? Тайна этого обстоятельства опять-таки заключается въ слишкомъ страстномъ желаніи «жить», въ представленіи, которое съ этимъ словомъ соединено, и въ неимѣніи другихъ средствъ удовлетворить этому представленію, кромѣ тѣхъ, которыя завѣщаны намъ преданіемъ. И въ счастіи, и въ несчастіи мы какъ-то равно неразсудительны и опрометчивы. Немного лѣтъ тому назадъ (это были дни нашего несчастія), когда мы находились подъ игомъ недоразумѣній, томительно замутившихъ нашу жизнь, мы не боролись, не отстаивали

себя, а только унывали и испускали жалобные стоны. Откуда? что̀? ка̀къ нужно поступить? — мы ни о чемъ не спрашивали себя, а только чувствовали, что насъ придавило какое-то горе. Теперь, когда случайныя недоразумѣнія случайно разсѣялись, когда жажда жизни (*наша* жажда жизни!) получила возможность вновь вступить въ свои права, мы опять-таки не хотимъ подумать ни о какомъ внутреннемъ перерабатывающемъ процессѣ, не спрашиваемъ себя: куда? какъ? что̀ изъ этого выйдетъ?—а только чувствуемъ себя радостными и вслѣдствіе этого весело гогочемъ. Насъ опять придавило, но на этотъ разъ—придавила радость. Наша не выгорѣла — мы приникли; наша взяла — мы подняли голову. Мы инстинктомъ чувствуемъ, что *наша взяла*—и потому хотимъ начать жить какъ можно скорѣе, сейчасъ.

Но спрашивается: возможно ли достигнуть *нашего* идеала жизни въ такой обстановкѣ, гдѣ не только мы, но и всякій другой имѣетъ право заявлять о своемъ желаніи жить?

Дѣдушка Матвѣй Ивановичъ на этотъ счетъ совершенно искренно говорилъ: «Жить тамъ, гдѣ всѣ другіе имѣютъ право, подобно мнѣ, жить, — я не могу! Не могу, сударь, я стерпѣть, когда вижу, что хамъ идетъ мимо меня и кочевряжится! И будь этотъ хамъ хоть размилліонеръ, хоть разоткупщикъ, все-таки я ему напомню (дѣйствіемъ, государь мой, напомню дѣйствіемъ!), что тѣлесное наказаніе есть удѣлъ его въ этомъ мірѣ! Хоть тысячу рублей штрафу заплачу, а напомню».

Такова была дѣдушкина мораль, и я, съ своей стороны, становясь на его точку зрѣнія, нахожу эту мораль совершенно естественною. Нельзя жить такъ, *какъ желалъ жить дѣдушка*, иначе, какъ подъ условіемъ полнаго исчезновенія жизни въ другихъ. Дѣдушка это чувствовалъ всѣмъ нутромъ своимъ; онъ зналъ и понималъ, что если міръ, по малой мѣрѣ верстъ на десять кругомъ, перестанетъ быть пустыней, то онъ погибъ. А мы?!

Что дѣдушкина мораль удержалась въ насъ всецѣло — въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Но—увы! — мы уже не знаемъ, какъ устраивается та пустыня, безъ которой дѣдушкина мораль падаетъ сама собою. Секретъ этотъ потерянъ для насъ навсегда—вотъ почему мы колеблемся, путаемся и виляемъ. Прямо признать за «хамами» право на жизнь—не хочется, а устроить такимъ образомъ, чтобы и волки были сыты и овцы цѣлы — нѣтъ умѣнія. Нѣтъ вы-

держки, выработки, подготовки. Хорошо бы, конечно, такую штуку удрать, чтобы «хамы» на самомъ дѣлѣ не жили, а только думали бы, что живутъ; да вѣдь для этого надобно, во-первыхъ, кой-что знать, а, во-вторыхъ — придумывать, взвѣшивать, соображать. А у насъ первый разговоръ: «знать ничего не хочу!» да «ни о чемъ думать не желаю!» Скажите, возможно ли съ такимъ разговоромъ даже простодушнѣйшаго изъ хамовъ надуть?

Естественно, что при такой простотѣ нравовъ остается только одно средство оградить свою жизнь отъ вторженія непріятныхъ элементовъ—это, откинувъ всѣ сомнѣнія, начать снова бить по зубамъ. Но какъ бить! Бить — безъ яснаго права на битье; бить—и въ то же время бояться, что каждую минуту можетъ послѣдовать приглашеніе къ мировому по дѣлу о самовольномъ избитіи!..

До какой степени для насъ всякое думанье — ножъ вострый, это всего лучше доказалъ мнѣ Прокопъ.

— Послушай, мой другъ, — говорю я ему на-дняхъ: — отчего это тебѣ такъ претитъ, что и другой рядомъ съ тобой жить хочетъ?

— А по-твоему какъ? по-твоему, стало-быть, другой у меня изо рту куски станетъ рвать, а я молчи!

— Да вѣдь кусковъ много, мой другъ! И для тебя куски, и для другихъ тоже; вѣдь всѣхъ кусковъ одинъ не заглотаешь!

— Ну, нѣтъ-съ, это аттанде. Я свои куски очень хорошо знаю, и ежели до моего куска кто-нибудь дотронется—прошу не взыскать!

— Ахъ, все не то! Пойми же ты наконецъ, что можно, при нѣкоторомъ умѣньи, такимъ образомъ устроить, что другіе-то будутъ на самомъ дѣлѣ только облизываться, глядя, какъ ты куски заглатываешь, а между тѣмъ будутъ думать, что и они куски глотаютъ!

— Это какъ?

— То-то, душа моя, надобно сообразить, какъ это умѣючи сдѣлать. Я и самъ, правду сказать, еще не знаю, но чувствую, что средства сыскать можно. Не все же разомъ, не все разсѣкать: иной разъ слѣдуетъ и развязать потрудиться!

— Ну, это ужъ ты трудись, а я — слуга покорный! Думать тамъ, соображать! Какая же это будетъ жизнь, коли меня на каждомъ шагу думать заставлять будутъ! Нѣтъ, братъ, ты простъ-простъ, а тоже у тебя въ головѣ про-

жекты... тово! Да ты знаешь ли, что какъ только мы начнемъ думать—тутъ намъ и смерть?!

Такъ мы и разстались на томъ, что свобода отъ обязанности думать есть та любезнѣйшая приправа, безъ которой вся жизнь человѣческая есть не что иное, какъ юдоль скорбей. Быть-можетъ, въ настоящемъ случаѣ, то-есть какъ ограждающее средство противъ возможности систематическаго и ловкаго надуванія (не ее ли собственно я и разумѣлъ, когда говорилъ Прокопу о необходимости «соображать»?), эта боязнь мысли даже полезна, но какъ хотите, а теорія, видящая красоту жизни въ свободѣ отъ мысли, все-таки ужасна!

Кто вникнетъ ближе въ циклъ понятій, наивнымъ выразителемъ которыхъ явился Прокопъ, тотъ пойметъ, почему единственнымъ надежнымъ выходомъ изъ всѣхъ жизненныхъ затрудненій прежде всего представляется дѣйствіе, обозначаемое словомъ: «вычеркнуть». Вычеркнуть легко, создать трудно—въ этомъ разгадка той безцеремонности, съ которою мы приступаемъ къ разсѣченію всевозможныхъ жизненныхъ задачъ.

Предположите, что въ головѣ у васъ завелась затѣя, что вы возлюбили эту затѣю и съ жаромъ принялись за ея осуществленіе. Прибавьте къ этому, пожалуй, что затѣя ваша въ высшей степени женерозна, что она захватываетъ очень широко, и что съ осуществленіемъ ея легко осчастливить цѣлый міръ. Въ дѣлѣ затѣй, зарождающихся на нашей почвѣ, такого рода предположенія совсѣмъ не «шаржъ», потому что у насъ изстари такъ заведено: затѣвать, такъ ужъ затѣвать. Но затѣмъ все-таки слѣдуетъ вопросъ: откуда эта затѣя явилась? составляетъ ли она плодъ предварительной жизненной подготовки или, по крайней мѣрѣ, хотя теоретически сложившагося убѣжденія? Или, быть-можетъ, она пришла съ вѣтру, затѣмъ что у прочихъ такъ водится, такъ чтобы и намъ не стыдно было въ людяхъ глаза показать? Какъ ни придирчивъ кажется этотъ вопросъ (когда дѣло идетъ о женерозныхъ начинаніяхъ, у насъ даже вопросовъ никакихъ допускать не принято), но онъ далеко не праздный. Разрѣшите себѣ его, и вы разомъ получите возможность не только оцѣнить по достоинству самую затѣю и исходный пунктъ, изъ котораго она возникла, но и провидѣть дальнѣйшій процессъ ея осуществленія, со всѣми ожидающими ее впереди колебаніями и неизбѣжнымъ въ концѣ концовъ фіаско.

Потребность въ выработкѣ новыхъ формъ жизни всегда и вездѣ являлась какъ слѣдствіе не одного теоретическаго признанія неудовлетворительности старыхъ формъ, но и реальнаго недовольства ими. Имѣли ли мы, интеллигенція, поводъ быть недовольными этими старыми формами?—нѣтъ, говоря по совѣсти, у насъ даже повода къ недовольству не существовало. Повторяю: нашъ кодексъ жизни вполнѣ исчерпывался формулой: «chantons, dansons et buvons»— а этой формулѣ не только не мѣшали старые порядки, но даже вполнѣ ее обезпечивали. Но, можетъ-быть, насъ заставляло задумываться сосѣдство множества людей, которымъ старые порядки ни въ какомъ случаѣ не могли быть понутру! Безспорно, такое сосѣдство существовало, но мы до такой степени мало думали о немъ, что даже и теперь, когда несомнѣнность сосѣдства уже гораздо болѣе выяснилась, мы все-таки продолжаемъ столь же мало принимать его въ разсчетъ, какъ и прежде. Если-бъ это было иначе, развѣ мы обращались бы столь легкомысленно съ словами: вычеркнуть, похѣрить, воспретить? Развѣ мы позволили бы себѣ считать ихъ палладіумомъ всевозможныхъ мѣропріятій? Ясно, стало-быть, что сосѣдство тутъ ни при чемъ, или, по крайней мѣрѣ, что представленіе о немъ никогда насъ сознательно не тревожило. Наконецъ, еще третье предположеніе: быть-можетъ, въ насъ проснулось сознаніе абсолютной несправедливости старыхъ порядковъ, и вслѣдствіе того потребность новыхъ формъ жизни явилась уже дѣломъ необходимымъ для удовлетворенія человѣческой совѣсти вообще?—но въ такомъ случаѣ, почему же это сознаніе не напоминаетъ о себѣ и теперь съ тою же предполагаемою страстною настойчивостью, съ какою оно напоминало о себѣ въ первыя минуты своего возникновенія? почему оно улетучилось на глазахъ нашихъ, и притомъ улетучилось, не подвергаясь никакимъ серьезнымъ испытаніямъ? Да, впрочемъ, въ такихъ ли мы условіяхъ воспитывались, которыя могли бы серьезно породить въ насъ подобное сознаніе, составляющее, такъ сказать, вѣнецъ нравственнаго и умственнаго развитія человѣка?

Всѣ эти соображенія приводятъ къ заключенію очень печальному, но которое едва ли можно назвать невѣрнымъ, а именно: что наша женерозность пришла къ намъ безъ особенно дѣятельнаго участія сознанія. Это не женерозность, а просто желаніе куда-нибудь приткнуться отъ скуки и однообразія жизни—и въ то же время развлечь себя

новымъ фасономъ одежды. Мы сказали себѣ: пусть будетъ новый фасонъ, а что касается до результатовъ и примѣненій, то мысль о нихъ никогда съ особенною ясностью не представлялась намъ. Мы до такой степени не думали ни о какихъ результатахъ и примѣненіяхъ, что даже не задались при этомъ никакою преднамѣренно-злостною мыслью, въ родѣ, напримѣръ, того, что новые фасоны должны только отводить глаза отъ прикрываемаго ими стараго содержанія. Не было органической, кровной надобности въ новыхъ фасонахъ, слѣдовательно не было мысли и о томъ, что они могутъ чему-нибудь угрожать. А слѣдовательно не было надобности остерегаться или надувать. Самое негодованіе наше было ретроспективное и явилось уже post factum, то-есть тогда, когда новая пригонка начала производить эффекты, не вполнѣ согласные съ общимъ тономъ жизни и съ нашими интимными пожеланіями. Тогда только мы начали суетиться, ахать и извергать безграмотные проекты о необходимости возвратиться къ системѣ заушенія.

При такомъ легкомъ отношеніи къ исходному пункту новой жизненной дѣятельности возможно ли ожидать устойчивости и во всемъ дальнѣйшемъ ея развитіи? Увы! если тутъ и была устойчивость, то это именно была только устойчивость легкомыслія. Сколько бы ни твердили намъ, что разумный выходъ изъ извѣстнаго положенія, созданнаго хотя бы и внезапно, но тѣмъ не менѣе несомнѣнно пріобрѣвшаго право гражданственности—это признать его со всѣми естественными результатами, которое оно можетъ дать,—развѣ мы, отставные прапорщики и подьячіе, способны на такое признаніе?

Развѣ мы что-нибудь предвидѣли, что-нибудь призывали сознательно? Нѣтъ, мы только сію минуту узнали (да и то не можемъ разобрать, врутъ это или правду говорятъ), что наша затѣя, кромѣ новаго фасона, заключаетъ въ себѣ и еще нѣчто, а до сихъ поръ мы думали, что это положительнымъ образомъ только фасонъ. Да это фасонъ и есть; мы это дѣло такъ разумѣли, когда увлекались имъ и апплодировали ему; такъ хотимъ разумѣть его и теперь. Всѣ эти колебанія и движенія, на которыя намъ указываютъ, какъ на слѣдствіе новыхъ фасоновъ,—все это вздоръ, миражъ и ничего больше. А ежели они и впрямь, эти колебанія, существуютъ, то изъ этого слѣдуетъ только, что новые фасоны надо отмѣнить и возвратиться къ ста-

рымъ. А то еще развивать! Что развивать? Фасоны-то развивать!

Разсуждая такимъ образомъ, отставные корнеты даже выходятъ изъ себя при мысли, что кто-нибудь можетъ не понять ихъ. Въ ихъ глазахъ все такъ просто, такъ ясно. Новая форма жизни—фасонъ; затѣмъ слѣдуетъ естественное заключеніе: та же случайность, которая вызвала новый фасонъ, можетъ и прекратить его дѣйствіе. Вотъ тутъ-то именно и является какъ нельзя кстати на помощь слово «вычеркнуть», которое въ немногихъ буквахъ, его составляющихъ, резюмируетъ всѣ ихъ жизненныя воззрѣнія.

И зато, посмотрите, какая изумительная краткость проявляется во всѣхъ этихъ плодахъ деревенскаго досуга! Листъ, много два—и дѣлу конецъ. Да и тутъ еще всякій безпристрастный читатель непремѣнно почувствуетъ не краткость, а прискорбное многословіе. Всякій читатель совершенно ясно видитъ, что авторъ ничего другого не желаетъ, кромѣ трехъ вещей: уничтожить, вычеркнуть, воспретить. Слѣдовательно, взялъ бы листъ бумаги, написалъ бы на немъ эти три слова — и дѣло съ концомъ. Зачѣмъ же онъ примѣшиваетъ тутъ какого-то господина Токевиля (удерживаю фамилію этого писателя въ томъ видѣ, какъ она является въ плодахъ деревенскихъ досуговъ) *) и даже Бисмарка, Наполеона, Вашингтона, а изъ отечественныхъ публицистовъ — академика Безобразова и кн. Мещерскаго? Очевидно, онъ дѣлаетъ это въ обремененіе читателю, думая, что такъ будетъ фасонистѣе.

Эта многословная краткость приводила меня въ отчаяніе еще въ то время, когда я процвѣталъ подъ сѣнью рязанско-козловско-саратовскаго клуба. Видѣть человѣка, который напруживается, у котораго на лбу жилы лопнуть готовы и изъ устъ котораго вылетаетъ безсвязное бормотаніе съ примѣсью Токевиля, Наполеона и кн. Мещерскаго—можетъ ли быть зрѣлище болѣе прискорбное для сердца человѣка, сознающаго себя патріотомъ! Съ какимъ-то ужа-

*) Токвилль положительно сдѣлался популярнѣйшимъ изъ публицистовъ въ нашихъ усадьбахъ. Безъ него корнеты шагу ступить не могутъ, хотя знаютъ его по слухамъ и устнымъ разсказамъ другихъ корнетовъ. Думалъ ли когда-нибудь знаменитый авторъ «L'ancien régime et la révolution», что сочиненіе это можетъ послужить опорною точкой при составленіи «прожекта объ оглушеніи»?

сомъ думаешь: да неужели же мы и въ самомъ дѣлѣ не можемъ двухъ мыслей порядкомъ переварить? И отчего не можемъ? оттого ли, что природа обошла насъ своею благосклонностью, или оттого, что откупа уничтожены, и вслѣдствіе того подешевѣла водка? Въ каждой, въ каждой-таки деревнѣ кабакъ—какъ хотите, а тутъ хоть кого свалитъ! Развѣ «Токевиль» въ такихъ условіяхъ писалъ свои прожекты? Развѣ Наполеонъ III заглядывалъ черезъ каждые полчаса въ буфетъ, когда диктовалъ свои мѣропріятія относительно разстрѣлянія? А мы что̀ дѣлаемъ? Ужъ не потому ли у насъ изъ всѣхъ реформъ наиболѣе прочнымъ образомъ привилась одна—это буфеты при земскихъ собраніяхъ?

Именно отъ этой многословной краткости, отъ этихъ раздражающихъ Токевилей и Бисмарковъ я бѣжалъ изъ провинціи, и именно ее-то я и обрѣлъ опять въ Петербургѣ. Все, что̀ въ силахъ что-нибудь дѣятельно напакостить, все, что̀ не чуждо азбукѣ, — все это устремилось въ Петербургъ, оставивъ на мѣстахъ лишь гарнизонъ въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, то-есть людей, буквально могущихъ только хлопать глазами и таращить ихъ...

Но Прокопъ говоритъ, что и эти невдолгѣ пріѣдутъ.

— Вотъ погодите немного,—предсказываетъ онъ: — зашевелятся и они! И Хлобыстовскіе пріѣдутъ, и Дракины пріѣдутъ—всѣ прибѣгутъ!

Жутко, но должно сознаться, что пророчество Прокопа имѣетъ нѣкоторое основаніе. Я самъ собственными ушами слышалъ, какъ въ дебаркадерѣ желѣзной дороги одинъ изъ Хлобыстовскихъ коснѣющимъ языкомъ сказалъ:

— Гм!.. въ Петербургъ... скоро... сейчасъ... фью!

Теперь для меня смыслъ этого бормотанія совершенно ясенъ.

Ужели однако-жъ и сего не довольно? ужели на смѣну нынѣшней уничтожательно-консервативной партіи грядетъ изъ мрака партія, которую придется уже назвать наиуничтожательнѣйше-консервативнѣйшею? А эта послѣдняя партія, вслѣдствіе окончательной безграмотности и незнакомства съ именемъ господина «Токевиля», даже не дастъ себѣ труда писать проекты объ уничтоженіи, а просто будетъ зря махать руками направо и налѣво?

Привожу здѣсь на выдержку нѣсколько проектовъ, придерживаясь въ этомъ случаѣ указаній Прокопа.

О необходимости децентрализаціи.

«Избѣгая вреднаго многословія, приступаю прямо. Извѣстно, какія неудобства всегда и вездѣ представляла излишняя централизація. Токевиль выражается о семъ прямо: «централизація есть зло». Монтескью, подтверждая сіе мнѣніе, прибавляетъ: «зло, съ трудомъ поправимое даже деспотизмомъ». Наконецъ англійскій писатель Джонъ Стуартъ выражается такъ: «централизація есть остатокъ варварства». Хотя же преосвященнѣйшій Георгій Конисскій, въ привѣтственной рѣчи покойной императрицѣ Екатеринѣ II, и говоритъ: «солнце наше вокругъ насъ ходитъ, да мы въ безмятежіи почиваемъ», но сіе отнюдь не слѣдуетъ относить къ централизаціи, но къ свойственному всякому вѣрноподданному радостному чувству.

«И дѣйствительно, не токмо во Франціи, сей классической странѣ централизаціи, но и у насъ на каждомъ шагу мы видимъ плоды сего горькаго порядка вещей. Благодаря оному, какихъ хлопотъ и издержекъ, напримѣръ, стоило, дабы выиграть тяжбу въ правительствующемъ сенатѣ? сколько изнуреній даже и до-днесь нужно перенести, дабы получить въ государственномъ банкѣ какое-либо удовлетвореніе?

«Въ первомъ случаѣ необходимо было: во-первыхъ, ѣхать въ уѣздный городъ и нанимать подьячаго, который былъ бы искусенъ въ написаніи просьбъ: во-вторыхъ, идти въ судъ, подать просьбу и тамъ одарить всѣхъ, начиная съ судьи и кончая сторожемъ, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, просьба можетъ быть возвращена съ надписаніемъ; въ-третьихъ, отъ времени до времени посылать секретарю деревенскихъ запасовъ и писать ему льстивыя письма; въ-четвертыхъ, въ терпѣніи стяжать душу свою. И вотъ, по истеченіи двухъ-трехъ лѣтъ, уѣздный судъ дастъ наконецъ резолюцію, въ родѣ той знаменитой, которая разрѣшила истцу «ловить въ озерѣ рыбу *удою*». Тогда надо ѣхать въ губернскій городъ и подавать просьбу въ гражданскую палату. И здѣсь нанимать искуснаго подьячаго, и здѣсь поголовно всѣхъ одарить, и здѣсь посылать деревенскій запасъ (при разстояніи уже значительно большемъ) и писать льстивыя письма секретарямъ. Наконецъ, года черезъ три, издаетъ палата резолюцію, которою тоже разрѣшается «ловить въ ономъ озерѣ рыбу *удою*». Тогда надобно направлять стопы въ сенатъ, гдѣ, по дальности разстояній, подьячіе

деревенскими запасами не берутъ, а берутъ чистыми деньгами.

«Во второмъ случаѣ, ежели вы, напримѣръ, имѣете въ банкѣ вкладъ, то забудьте о своихъ человѣческихъ немощахъ и думайте объ одномъ: что вамъ предназначено судьбою ходить. Кажется, и расписка у васъ есть, и все въ порядкѣ, что̀ слѣдуетъ, тамъ обозначено, но, клянусь, раньше двухъ-трехъ дней процентовъ не получите! И объявленія писать вамъ придется, и расписываться, съ сторожемъ разговаривать и любоваться, какъ чиновникъ спичку зажечь не можетъ, какъ онъ папироску закуриваетъ, и чаконецъ стоять, стоять и стоять!

«Таковы плоды централизаціи! Прахъ друга своего схоронить невозможно, предварительно не разстроивъ своего здоровья и не раздавъ полъ-имѣнія своего извозчикамъ!

«Наши заатлантическіе друзья давно уже сіе поняли, и Токевиль справедливо говоритъ: «Въ Америкѣ,—говоритъ онъ:—даже самый простой мужикъ—и тотъ давно смѣется надъ централизаціей, называя ее никуда негоднымъ продуктомъ гнилой цивилизаціи». Но зачѣмъ ходить такъ далеко? Сказываютъ, даже Наполеонъ III нерѣдко въ послѣднее время о семъ поговаривалъ въ секретныхъ бесѣдахъ съ господиномъ Піетри.

«И для чего таковое непосильное изнуреніе обывателей? для того ли, чтобы власть отъ того возвеличивалась и, возвеличиваясь, предъявляла благодѣтельныя свои для управляемыхъ насильства?

«—Нѣтъ! власть нѣмотствуетъ, а государственный банкъ, тиранствуя надъ своими кліентами, нисколько симъ не возвеличивается!

«Токевиль говоритъ: «безполезное тиранство никогда пользы принести не можетъ».

«Обыватель не можетъ своевременно процентовъ получить, а зло накопляется, распространяетъ крылѣ свои, поднимаетъ голову и въ концѣ концовъ образуетъ гидру! Обыватель тщетно расточаетъ льстивыя увѣренія передъ сонмищемъ секретарей, стараясь убѣдить ихъ въ правотѣ имущественнаго своего иска, а зло между тѣмъ рыщетъ и останавливается лишь для того, чтобы выкопать бездну! Зло счастливо и безпечно: оно не получаетъ процентовъ и не имѣетъ имущественныхъ процессовъ!

«Примѣровъ такого разслабленнаго состоянія власти множество. Приведу два или три.

«Въ селѣ проживаетъ поповскій сынъ и открыто проповѣдуетъ безначаліе. По правиламъ централизаціи, надлежитъ въ семъ случаѣ поступить такъ: начать слѣдствіе, потомъ представить оное на разсмотрѣніе, потомъ, буде найдены будутъ достаточные поводы для сужденія, то нарядить судъ. Затѣмъ судъ немедленно оправдываетъ бунтовщика, и поповскій сынъ, какъ ни въ чемъ не бывало, продолжаетъ распространять свой ядъ!

«Другой примѣръ: крестьянскіе гуси потравили помѣщичій овесъ. По правиламъ централизаціи, помѣщикъ, для возстановленія нарушеннаго права собственности, поступаетъ такъ: во-первыхъ, по незнанію законовъ, обращается въ волостной судъ. Тамъ ему отказываютъ на томъ основаніи, что волостные суды вѣдаютъ лишь дѣла крестьянъ между собою. Дѣлать нечего, велитъ помѣщикъ закладывать лошадей и, по незнанію законовъ, отправляется за двадцать, за тридцать верстъ искать правосудія къ мировому посреднику. Сей, тоже по незнанію законовъ, принимаетъ просьбу, но черезъ двѣ недѣли, посовѣтовавшись съ своимъ письмоводителемъ, объявляетъ просителю, что нынѣ уже порядки не тѣ, и направляетъ его къ мировому судьѣ. Тѣмъ временемъ овесъ выросъ вновь, а свидѣтели преступленія, не будучи обязаны подпиской о невыѣздѣ, разбрелись по сторонамъ. Руководясь сими данными и къ тому же будучи филантропомъ, судья пишетъ отказъ и взыскиваетъ съ просителя издержки!

«Какое сердце не обольется кровью при видѣ сего!

«Тогда какъ при децентрализаціи и поповскій сынъ, распространяющій безначаліе, и крестьяне, попустившіе своимъ гусямъ наносить ущербъ помѣщичьему хозяйству, давно были бы наказаны, и самое свидѣтельство о содѣянныхъ ими преступленіяхъ содѣлалось бы достояніемъ исторіи!

«Извѣстный криминалистъ Сергій Баршевъ говоритъ: «ничто такъ не спасительно, какъ штрафъ, своевременно налагаемый, и ничто такъ не вредно, какъ безнаказанность» *). Святая истина!

---

*) Напрасно мы стали бы искать этой цитаты въ сочиненіяхъ бывшаго ректора московскаго университета. Эта цитата, равно какъ и ссылки на Токевиля, Монтескьё и проч., сдѣланы отставнымъ корнетомъ Толстолобовымъ, очевидно, со словъ другихъ отставныхъ же корнетовъ, наслышавшихся о томъ, въ свою очередь, въ земскихъ собраніяхъ.—*Примѣчаніе автора «Дневника»*.

«Но что же необходимо учинить, дабы ввести сію многожелаемую и спасительную децентрализацію?

«На сіе отвѣчу прямо: необходимо прежде всего вооружить власть.

«Можно ли назвать власть вооруженною, если для достиженія ея необходимо ѣхать за тридцать, за сорокъ верстъ, но и тутъ трепетать, что попадешь не туда, куда надлежитъ, или же что власть взглянетъ на все сіе иронически, или отзовется неимѣніемъ средствъ и указаній?

«Можно ли назвать власть вооруженною, ежели, даже при искреннемъ желаніи помочь ближнему, она на каждомъ шагу стѣснена всякаго рода сомнительностями и пагубнымъ формализмомъ?

«Можно ли назвать власть вооруженною, ежели злу, для того, чтобы быть безнаказаннымъ, стоитъ только поселиться подальше отъ становой квартиры?

«Токевиль справедливо отвѣчаетъ на сіе: невозможно.

«А между тѣмъ при нынѣшней централизаціи власть именно находится въ семъ безпомощномъ и, такъ сказать, ироническомъ состояніи.

«Губернаторы стѣснены судами, палатами, общими присутствіями. Ищутъ преданности и находятъ одно противорѣчіе.

«Исправники лишены права поступать по обстоятельствамъ и, не имѣя прочной руководящей нити, совсѣмъ никакъ не поступаютъ.

«Становые пристава до такой степени опутаны сѣтями начальственныхъ предписаній, что вскорѣ самую жизнь за тягость себѣ почитать будутъ.

«О дворянахъ-землевладѣльцахъ—умолчу.

«Всѣ жалуются и вопіютъ; вездѣ говорятъ о власти, вездѣ ищутъ себѣ надежнаго убѣжища и за всѣмъ тѣмъ не токмо не приближаются къ оному, но, въ похвальномъ стремленіи всѣхъ осчастливить, постепенно все больше и больше отъ здраваго смысла отдаляются!

«И сіе все при нашихъ обширныхъ, можно сказать, даже непреоборимыхъ пространствахъ!!

«А между тѣмъ, какъ говоритъ безсмертный нашъ баснописецъ Крыловъ: вѣдь ларчикъ просто открывался!!!

«Будучи одаренъ многолѣтнею опытностью и двадцать пять лѣтъ лично управляя моими имѣніями, я много о семъ предметѣ имѣлъ случай разсуждать, а нѣкоторое даже и въ имѣніяхъ моихъ примѣнилъ. Конечно, по ма-

лому моему чину, я не могъ своихъ знаній на широкомъ поприщѣ государственности оказать, но такъ какъ нынѣ уже, такъ сказать, принято о чинахъ произносить съ усмѣшкой, то думаю, что и я не худо сдѣлаю, ежели здѣсь мои результаты вкратцѣ попытаюсь изложить. Посему соображаю такъ:

«Для того, чтобы искоренить зло, необходимо вооружить власть.

«Для того же, чтобы власть чувствовала себя вооруженною, необходимо повсюду оную децентрализировать.

«Затѣмъ, уже руководствуясь такими соображеніями, предлагаю:

«1) Губернаторовъ назначать вездѣ изъ мѣстныхъ помѣщиковъ, яко знающихъ обстоятельства. Чинами при семъ не стѣсняться, хотя бы былъ и корнетъ, но надежнаго здоровья и опытенъ.

«2) По избраніи губернатора, немедленно онаго вооружить, освободивъ отъ всякихъ рапортовъ, донесеній, а тѣмъ болѣе отъ совѣтовъ съ палатами и какими-либо присутствіями.

«3) Ежели невозможно предоставить губернатору издавать настоящіе законы, то предоставить издавать *правила* и отнюдь не стѣснять его въ мѣропріятіяхъ къ искорененію зла.

«4) На каждыхъ пяти верстахъ поставить особеннаго дистанціоннаго начальника изъ знающихъ обстоятельства мѣстныхъ землевладѣльцевъ, котораго также вооружить, съ предоставленіемъ искоренять зло по обстоятельствамъ.

«5) Дистанціонному начальнику поставить въ обязанность быть празднымъ, дабы онъ, ничѣмъ не стѣсняясь, всегда былъ готовъ принимать нужныя мѣры *).

«6) Уѣзды раздѣлить на округа (по четыре на уѣздъ) и въ каждомъ округѣ учредить изъ благонадежныхъ и знающихъ обстоятельства помѣщиковъ особливую комиссію, подъ наименованіемъ: «комиссія для изслѣдованія благонадежности».

«7) Членамъ сихъ комиссій предоставить: а) опредѣлять степень благонадежности обывателей; б) дѣлать обыски, выемки и облавы, и вообще испытывать; в) удалять вред-

*) Пользу отъ сего я испыталъ собственнымъ опытомъ. Двадцать пять лѣтъ я проводилъ время въ праздности, а имѣнія мои были такъ устроены, какъ дай Богъ всякому. Не оттого ли, что я всегда имѣлъ нужный досугъ?—*Примѣчаніе автора проекта.*

ныхъ и неблагонадежныхъ людей, преимущественно избирая для поселенія мѣста необитаемыя и ближайшія къ Ледовитому океану.

и «8) Въ вознагражденіе трудовъ положить всѣмъ симъ лицамъ приличное и вполнѣ обезпечивающее ихъ содержаніе.

«Излагая все сіе, не ищу для себя почестей, но буду доволенъ, ежели за всѣ подъятые мною труды предоставлено мнѣ будетъ хотя единое утѣшеніе—утѣшеніе сказать: *моего тутъ капля меду есть*».

Отставной корнетъ Петръ Толстолобовъ.

— Ну что? каково?—присталъ ко мнѣ въ тотъ же вечеръ Прокопъ.

— Да что жъ... хорошо-то хорошо... только вотъ насчетъ Америки какъ-то сомнительно...

— А ну ее, Америку! Главное дѣло—децентрализація чтобъ была... Согласенъ ты, что централизація—вредъ?

— Вредъ-то вредъ... что̀ и говорить!

— Ну, а ежели вредъ, стало-быть, ка̀къ слѣдуетъ по твоему поступить?

— А чортъ его знаетъ, какъ оно тамъ...

— То-то же вотъ и есть!

— Вотъ тоже: какой-то «англійскій писатель Стуартъ»... чортъ его знаетъ, кто онъ таковъ! Ну, да и Токевиль... воля твоя, а врядъ ли онъ такъ говорилъ!

— Что̀? Токевиль-то? Да я отъ Петра Ивановича Дракина самъ своими ушами слышалъ, что именно это самое у него въ книжкѣ написано! А ужъ если Петру Ивановичу не повѣрить—кому же и вѣрить?

— Н-да... а все-таки какъ-то... На каждыхъ пяти верстахъ по помѣщику, и все такое... Чортъ знаетъ что̀!

— А я про что̀ же говорю! Именно: чортъ не разберетъ! Ты сообрази только, какое мордобитіе-то пойдетъ—любо!

И Прокопъ залился такимъ раздражающимъ смѣхомъ, что я нѣсколько секундъ стоялъ какъ ошеломленный. Передо мной вдругъ совершенно отчетливо встала вся картина децентрализаціи по мысли и сердцу отставного корнета Толстолобова.

Это было ужасное зрѣлище...

Не было ни судовъ, ни палатъ, ни присутствій—словомъ сказать, ничего, чѣмъ красна современная русская жизнь. Была пустыня, въ которой рѣяли децентрализован-

ные квартальные надзиратели изъ знающихъ обстоятельства помѣщиковъ.

Бьютъ, испытываютъ и ссылаютъ. Потомъ наскоро подкрѣпляютъ силы холодными закусками и водкой, и опять бьютъ, испытываютъ и ссылаютъ.

Нѣтъ ни сапожниковъ, ни портныхъ, ни музыкантовъ, ни литераторовъ, ни ученыхъ, ибо всѣхъ испытываютъ. Всѣ кому-нибудь когда-нибудь нагрубили, за всѣми есть какой-нибудь счетецъ, потому всѣ подлежатъ изслѣдованію.

Объятый ужасомъ, я инстинктивно схватился за графинъ и сразу выпилъ десять рюмокъ очищенной.

Другой проектъ:

О необходимости оглушенія въ смыслѣ временного усыпленія чувствъ.

«Новоявленный публицистъ кн. В. Мещерскій говоритъ справедливо: «реформы необходимы, но не менѣе того необходимы и знаки препинанія. Или, говоря иными словами: выпустилъ реформу—довольно; ставь точку; потомъ, спустя время, опять выпустилъ реформу и опять точку ставь. И такъ далѣе, до тѣхъ поръ, пока не исполнятся неисповѣдимые Божіи пути».

«Съ своей стороны скажу болѣе: не одну, а нѣсколько точекъ всякій разъ ставить не мѣшало бы. И не непремѣнно послѣ реформы, но и въ другое, свободное отъ реформъ, время.

«Одно не вполнѣ ясно: какимъ образомъ все сіе исполнить? Въ теоретичной принципіальности сія мысль совершенно вѣрна, но въ практичной удовлетворительности она далеко не представляется столь же ясною и удобопримѣнимою.

«Что̀ такое реформа? Реформа есть такое дѣйствіе, которое человѣческимъ страстямъ сообщаетъ новый полетъ. А коль скоро страсти получили полетъ, то онѣ летятъ—это ясно. Не успѣвъ оставить гавань одной реформы, онѣ уже видятъ открывающуюся вдали гавань другой реформы и стремятся къ ней. Вотъ здѣсь-то именно, то-есть на этомъ-то пути стремленія отъ одной реформы къ другой, и слѣдуетъ, по мысли кн. Мещерскаго, употреблять тотъ знакъ препинанія, о которомъ идетъ рѣчь. Возможно ли это?

«Возможно; но дабы получить въ семъ случаѣ успѣхъ, необходимо предварительно привести страсти въ нѣкоторое

особливое состояніе, которое поставило бы ихъ въ невозможность препятствовать постановкѣ точекъ. Ибо, въ противномъ случаѣ, онѣ всенепремѣнно тому воспрепятствуютъ.

«Страсти почувствовали силу и получили полетъ — возможно ли, чтобъ онѣ, чувствуя себя сильными, равнодушно взглянули, какъ небольшое количество благонамѣренныхъ людей будутъ ставить имъ точки? И опять, какія это точки? Ежели тѣ точки, кои обыкновенно публицисты въ сочиненіяхъ своихъ ставятъ, то развѣ великаго труда стоитъ превратить оныя въ запятыя, а въ крайнемъ случаѣ и совсѣмъ выскоблить?

«Стало-быть, прежде всего надо ослабить силу страстей, а потомъ уже начать ставить точки, и притомъ не такія, которыя можно бы выскоблить, а настоящія, дѣйствительныя.

«Удобнѣе всего это достигается посредствомъ такъ-называемаго *оглушенія*.

«Многіе возстаютъ противъ этой системы, находя ее недостаточно человѣколюбивою и прогрессивною. Но это говорятъ люди, которые, очевидно, знакомы съ системой поверхностно или по слухамъ. Я же, напротивъ того, утверждаю: оглушеніе не токмо не противно либерализму, но и составляетъ необходимѣйшее отъ онаго отдохновеніе.

«Токевиль говоритъ: «такъ-называемое оглушеніе не только не противно человѣческой природѣ, но въ весьма многихъ случаяхъ даже способствуетъ возстановленію человѣческихъ силъ». А за Токевилемъ эту истину уже повторяютъ нынѣ всѣ англійскіе публицисты.

«Съ физической стороны оглушеніе причиняетъ боль— это правда. Но съ нравственной—оно успокоиваетъ и сберегаетъ слишкомъ легко издерживающіяся силы. Да развѣ необходимо, чтобъ оглушеніе имѣло характеръ непремѣнно физическій? развѣ невозможно оглушеніе умственное и нравственное?

«Что зло повсюду распространяетъ свои корни—это ни для кого уже не тайна. Люди обыкновенно начинаютъ съ того, что съ усмѣшкой отзываются о сотвореніи міра, а кончаютъ тѣмъ, что не признаютъ начальства. Все это дѣлается публично, у всѣхъ на глазахъ и притомъ съ такою самоувѣренностью, какъ будто уставъ о пресѣченіи и предупрежденіи давно уже совершилъ теченіе свое. Что̀ могутъ въ этомъ случаѣ сдѣлать простые знаки препинанія?

«Опасность такъ велика, что не только запятыя, даже точки не упраздняютъ ея. Наполеонъ I на островѣ св. Елены говорилъ: «чѣмъ сильнѣе опасности, тѣмъ сильнѣйшія должны быть употреблены средства для ихъ уврачеванія». Подъ именемъ сихъ «сильнѣйшихъ средствъ» что разумѣлъ великій человѣкъ? Очевидно, онъ разумѣлъ то же, что разумѣю и я, то-есть: сперва оглуши страсти, а потомъ уже ставь точку, хоть цѣлую страницу точекъ.

«Но дабы оглушеніе не противорѣчило идеямъ современнаго человѣколюбія, необходимо, чтобы оно имѣло характеръ преимущественно нравственный.

«Ежели я человѣка, посредствомъ искусно комбинированной системы воспрещеній и сокрытій, отвлеку отъ предметовъ, кои могутъ излишне плѣнять его любознательность или давать его мысли несвоевременный полетъ, то этимъ я уже довольно много сдѣлаю. Но «довольно много» еще не значитъ «все». Человѣкъ, лишенный средствъ питать свой умъ, впадаетъ въ дремотное состояніе—но и только. Самая дремота его будетъ ненадежная и, при первомъ нечаянномъ послабленіи системы сокрытій, превратится въ бдѣніе тѣмъ болѣе опасное, что, благодаря временному оглушенію, послѣдовало сбереженіе и накопленіе умственныхъ силъ.

«Необходимо, чтобы дремотное состояніе было не токмо вынужденное, но имѣло характеръ дѣятельный и искренній.

«Если, напримѣръ, пріурочить молодыхъ людей къ чтенію сонниковъ, или къ ежедневному разсмотрѣнію дѣвицы Гандонъ (самъ не видѣлъ, но изъ газетъ очень довольно знаю), или же наконецъ занять ихъ исключительно вытверживаніемъ азбуки въ томъ первоначальномъ видѣ, въ какомъ оную изобрѣлъ Таутъ, то умы ихъ будутъ дремотствовать, но дремотствовать дѣятельно.

«Предавшись чтенію сонниковъ, молодые люди будутъ ожидать отъ сего исполненія желаній. Одолѣвъ Таутову азбуку, они преисполнятся сладкой увѣренности, что назначеніе человѣческой жизни ими совершено сполна. О дѣвицѣ Гандонъ—уже не говорю. Во всѣхъ сихъ упражненіяхъ, очевидно, будетъ участвовать страсть, но страсть спасительная, имѣющая въ предметѣ отличаться въ изученіи сюжетовъ безопасныхъ и малополезныхъ, какъ, напримѣръ, эѳіопскаго языка. И такимъ образомъ получится поколѣніе дремотствующее, но бодрое, и не только не препятствующее знакамъ препинанія, но *дѣятельно* на постановку ихъ согласное.

«При таковомъ согласіи реформы примутъ теченіе постепенное и вполнѣ правильное. При наступленіи благопріятнаго времени, начальство, конечно, и безъ сторонних побужденій издастъ потребную по обстоятельствамъ реформу, но оная уже будетъ встрѣчена безъ сомнѣнія, ибо всякому будетъ извѣстно, что вслѣдъ затѣмъ послѣдуютъ года, кои имѣютъ быть употреблены на то, чтобы ставить той реформѣ знаки препинанія. Что, кромѣ системы нравственнаго оглушенія, можетъ дать такой, превышающій всякія ожиданія, результатъ?

«Будучи вынужденъ по непріятностямъ оставить службу и проживая въ свой чухломской усадьбѣ, я имѣлъ возможность много о семъ предметѣ разсуждать и даже мѣняться мыслями съ нѣкоторыми уважаемыми сосѣдями, и всѣ мы пришли къ заключенію: Токевиль правъ.

«Законовъ издавать—права не имѣю; но преподать нѣчто къ изданію таковыхъ—могу.

«Съ горестью покинулъ службу; съ радостью вновь возвратился бы въ лоно оной; но удостоюсь ли сего по труднымъ и превратнымъ нынѣшнимъ обстоятельствамъ — настоящимъ образомъ предсказать не могу.

«Но ежели бы сей мой прожектъ оказался почему-либо неудобнымъ—могу написать другой, болѣе удобный».

Бывшій штатный смотритель чухломскихъ училищъ титулярный совѣтникъ Иванъ Филоверитовъ.

«P. S. Многіе изъ сверстниковъ моихъ давно уже архіереями; я же вынужденъ взяться за плугъ. А у насъ, въ Чухломѣ, и овесъ никогда болѣе какъ самъ-третѣй не родится!!»

Я былъ униженъ, оскорбленъ, раздраженъ...

Вотъ, думалось мнѣ, ни образованія, ни привычки мыслить, ни даже умѣнья обращаться съ человѣческою рѣчью—ничего у этого человѣка нѣтъ, а между тѣмъ какую ужасную, ехидную мерзость онъ соорудилъ! И какъ свободно, естественно созрѣла она въ его головѣ! Ни разу не почувствовалъ онъ потребности провѣрить себя, или посовѣтоваться съ своею совѣстью, или наконецъ, хоть изъ чувства приличія, сослаться на какіе-нибудь факты. Нѣтъ; онъ имѣлъ въ виду только одно: что ему предстоитъ сочинить пакость, и что измышленіе его, яко пакостное, непремѣнно найдетъ себѣ прозелитовъ.

Выскажи онъ мысль сколько-нибудь человѣческую—его засмѣютъ, назовутъ блаженненькимъ, не дадутъ проходу. Но онъ явился не съ проектомъ о признаніи въ человѣкѣ человѣческаго образа (это былъ бы не проектъ, а опасное мечтаніе), а съ проектомъ о превращеніи человѣческихъ головъ въ стѣнобитныя машины — и нѣтъ хвалы, которою не считалось бы возможнымъ наградить эту гнилую отрыжку старой канцелярской каверзы, не нашедшей себѣ ограниченія ни въ совѣсти, ни въ знаніи.

Филоверитовъ стоялъ передо мной какъ живой. Длинный, змѣеобразный, онъ взвивался, складывался пополамъ, ползалъ. Голосъ у него былъ дѣтскій, плачущій, на глазахъ дрожали слезы крокодила. И онъ такъ вкрадчиво смотрѣлъ на меня этими глазами, какъ будто говорилъ: а хочешь, мой другъ, я засажу тебя за эѳіопскія спряженія?

А что, если въ самомъ дѣлѣ мнѣ ничего отнынѣ не дадутъ читать, кромѣ сонниковъ? Что, если ко мнѣ приставятъ педагога, который неупустительно начнетъ оболванивать меня по части памятниковъ эѳіопской письменности?

— Нѣтъ! надобно все это забыть!

Но какъ забыть—вотъ вопросъ! Куда бѣжать, гдѣ скрыться отъ *его* вездѣсущія? На улицѣ, въ трактирѣ, въ клубѣ, въ гостиной—*оно* вездѣ или предшествуетъ вамъ, или бѣжитъ по пятамъ. Вездѣ *оно* гласитъ: уничтожить, вычеркнуть, запретить!

Корнетъ Толстолобовъ скользнулъ по поверхности; чухломецъ Филоверитовъ—прямо пронизалъ взоромъ въ глубь. Въ проектѣ Толстолобова черезчуръ много блеску; онъ обращаетъ слишкомъ мало вниманія на человѣческую жизнь, онъ слишкомъ охотно ею жертвуетъ. Шутка сказать! населить поморье Ледовитаго океана людьми, оказавшимися, по испытаніи, неблагонадежными! Это наконецъ даже непрактично! Напротивъ того, Филоверитовъ простъ и скроменъ до крайности; онъ смотритъ на человѣческую жизнь, какъ на драгоцѣннѣйшій даръ Творца, и потому говоритъ: живи, но пребудь навсегда дуракомъ! Не блестяще... но какъ практично!

Но ежели нельзя забыть объ этихъ прожектахъ, то во всякомъ случаѣ надобно ихъ сжечь!

Я схватилъ всю кипу и съ какимъ-то дикимъ ожесточеніемъ бросилъ ее въ каминъ. Съ наслажденіемъ слѣ-

дилъ я, какъ сначала повалилъ изъ-подъ кипы густой, черный дымъ; какъ отдѣльные листы постепенно свертывались, коробились и бурѣли; какъ огонь, долгое время не будучи въ состояніи осилить брошенную въ него массу бумаги, только лизалъ ея края; какъ наконецъ онъ вдругъ прорвался сквозь самый центръ массы и разомъ обхватилъ ее.

О, ужасъ! всѣ проекты, одинъ за другимъ, горѣли и уничтожались, но одинъ оставался нетлѣннымъ!

Напрасно огонь напрягалъ свои усилія, напрасно я самъ, вооружившись щипцами, пихалъ бумагу въ самую глубь камина; листъ лежалъ чистый, невредимый, безмятежный, точь-въ-точь какъ лежалъ онъ за пять минутъ передъ тѣмъ у меня на письменномъ столѣ.

Очевидно, тутъ было какое-то указаніе, которому я, скрѣпя сердце, долженъ былъ повиноваться.

Я прочиталъ слѣдующее:

О переформированіи де-сіянсъ академіи.

«Съ юныхъ лѣтъ получилъ я сомнѣніе въ пользѣ наукъ, а затѣмъ, постепенно произрастая, все болѣе и болѣе въ томъ сомнѣніи утверждался, такъ что нынѣ, находясь въ чинѣ подполковника и съ 1807 года въ отставкѣ, даже не за сомнѣніе, а уже за вѣрное для себя оное почитаю.

«Вращаясь между людьми всякаго званія, я всегда примѣчалъ, что лишь тѣ изъ нихъ вполнѣ благополучны, кои держатъ себя въ довольномъ отъ наукъ разстояніи. Безпечная веселость лица, любезная простота нравовъ и иройстро въ тѣлесныхъ упражненіяхъ—вотъ качества, отличающія истиннаго сына природы. Обладая симъ неоцѣненнымъ сокровищемъ, простодушный поселянинъ смѣло можетъ считать свой жребій болѣе счастливымъ, нежели даже вельможа, отягченный добычей и преступленіями. Причина же сему явная та: не зная наукъ, поселянинъ о многомъ не догадывается, а многаго и совсѣмъ не разумѣетъ. Напротивъ того, вельможа всегда допытывается, но, не всегда будучи разсудительнымъ, зачастую попадаетъ совсѣмъ не въ тотъ пунктъ, куда мѣтить надлежитъ. И вслѣдствіе того приходитъ въ меланхолію, а со временемъ и въ истощеніе силъ.

«Посему самымъ лучшимъ средствомъ достигнуть благо-

получія почиталось бы совсѣмъ покинуть науки, но какъ, по настоящему развращенію нравовъ, уже повсемѣстно за истину принято, что безъ наукъ прожить невозможно, то и намъ приходится съ сею мыслью примириться, дабы, въ противномъ случаѣ, въ военныхъ нашихъ предпріятіяхъ какого ущерба не претерпѣть. Какъ ни велико, впрочемъ, сіе горе, но и оное можно малымъ сдѣлать, ежели при семъ, смотря по обширности и величію нашего отечества, соблюдено будетъ:

«*Первое*, чтобы науки наши противъ всѣхъ прочихъ были превосходнѣе;

«и *второе*, чтобы оныя подлинно распространяли свѣтъ, а не тьму.

«Но здѣсь представляется весьма щекотливый вопросъ: какъ сего достигнуть?

«На сіе отвѣчаю кратко: посредствомъ заведенія такихъ учрежденій, которыя имѣли бы въ предметѣ не распространеніе наукъ, но тщательное оныхъ разсмотрѣніе.

«Казалось бы, что съ сею именно цѣлью учреждена въ С.-Петербургѣ извѣстная де-сіянсъ академія; но ежели и была такова цѣль ея учрежденія, то сколь много она отъ оной отдалилась!

«Вмѣсто того, чтобы разсматривать науки, академія де-сіянсъ отчасти распространяла ихъ, отчасти же пребывала къ нимъ равнодушной!

«Причина таковаго упущенія двоякая:

«*Во-первыхъ*, члены де-сіянсъ академіи, будучи въ большей части изъ нѣмцевъ, почитаютъ для себя разсмотрѣніе наукъ за нестерпимое и несносное.

«*Во-вторыхъ*, при обширныхъ пространствахъ, занимаемыхъ нашимъ отечествомъ, члены де-сіянсъ академіи не въ силахъ услѣдить за возникающими въ уѣздахъ и волостяхъ науками, а равнымъ образомъ, не имѣя никакихъ начальственныхъ отношеній къ капитанъ-исправникамъ, не могутъ и сихъ послѣднихъ уполномочить на то.

«Очевидно, что пока сіи двѣ причины не будутъ устранены, дѣло останется все въ прежнемъ положеніи!..

«А что положеніе сіе нестерпимо, въ томъ свидѣтельствуютъ три вещи:

«1) Въ каждомъ селеніи заведенъ кабакъ, а въ нѣкоторыхъ по два и по три.

«2) На-дняхъ, въ Хвалынской губерніи, какъ свидѣтельствуетъ газета «Гражданинъ», одна дочь оставила одного отца, дабы безпрепятственнѣе предаться наукамъ.

«и 3) На-дняхъ, при моихъ глазахъ, дочь одного почтеннаго генерала рѣзала лягушку и надѣялась получить отъ сего результатъ.

«Всѣ таковые факты внушили мнѣ особливую нѣкоторую мысль, развитіе которой яснѣе выражается изъ слѣдующихъ пунктовъ.

§ 1. *Цѣль учрежденія академій.*

«Въ столичномъ городѣ С.-Петербургѣ учреждается особливая центральная де-сіянсъ академія, назначеніемъ которой будетъ разсмотрѣніе наукъ, но отнюдь не распространеніе оныхъ *).

«Съ тою же цѣлью, повсемѣстно, по мѣрѣ возникновенія наукъ, учреждаются отдѣленія центральной де-сіянсъ академіи, а такъ какъ нынѣ едва ли можно встрѣтить даже одинъ уѣздъ, гдѣ бы хотя о причинахъ частыхъ градобитій не разсуждали, то надо прямо сказать, что отдѣленія сіи или, лучше сказать, малыя сіи де-сіянсъ академіи разомъ во всѣхъ уѣздахъ безъ исключенія объявятся.

«Академіямъ симъ, для бо̀льшаго удобства въ предстоящихъ имъ дѣйствіяхъ, прежде всего поставлено будетъ въ обязанность опредѣлить:

§ 2. *Что такое въ наукахъ свѣтъ?*

«Мнѣнія по сему предмету раздѣляются на правильныя и неправильныя, а въ числѣ послѣднихъ есть даже много такихъ, кои, по всей справедливости, могутъ считаться дерзкими.

«Дабы предотвратить въ столь важномъ предметѣ всякія разногласія, всего натуральнѣе было бы постановить, что только тѣ науки распространяютъ свѣтъ, кои способствуютъ выполненію начальственныхъ предписаній. Во-первыхъ, правило сіе вполнѣ согласуется съ показаніями свѣдущихъ людей и, во-вторыхъ, установляетъ въ жизни вполнѣ твердый и надежный опорный пунктъ, съ опубликованіемъ котораго всякій, кто по малодушію или изъ хвастовства вздумалъ бы противъ онаго преступить, не можетъ уже сослаться на то, что онъ не былъ о томъ предупрежденъ.

---

*) О составѣ и занятіяхъ сей центральной академіи умалчиваю, предоставляя устройство сего высшему начальству. Скажу только, что заведеніе сіе должно быть обширное.—*Примѣчаніе составителя проекта.*

§ 3. *Какіе люди для разсмотрѣнія наукъ наиболѣе пригодны суть?*

«Люди свѣжіе и притомъ опытные.

«Какъ сказано выше, главная задача, которую науки должны преимущественно имѣть въ виду, есть наученіе, какимъ образомъ въ исполненіи начальственныхъ предписаній быть исправнымъ надлежитъ. Таковъ фундаментъ. Но дабы въ совершенствѣ таковой постигнуть, нѣтъ надобности въ обременительныхъ или прихотливыхъ познаніяхъ, а требуется лишь свѣжее сердце и не вполнѣ поврежденный умъ. Все сіе въ свѣжемъ человѣкѣ не токмо налицо имѣется, но даже и преизбыточествуетъ.

«Посему, какъ въ президенты де-сіянсъ академій, такъ и въ члены оныхъ надлежитъ избирать благонадежныхъ и вполнѣ свѣжихъ людей изъ мѣстныхъ помѣщиковъ, кои въ юности въ кадетскихъ корпусахъ образованіе получили, но отъ времени все позабыли.

«*Примѣчаніе.* Президентомъ слѣдуетъ избирать человѣка хотя и преклонныхъ лѣтъ, но лишь бы здравый умъ былъ.

§ 4. *Что отъ сего произойти можетъ?*

«Слѣдующее:

«Прежде нежели свѣжій человѣкъ приступитъ къ разсмотрѣнію наукъ, онъ постарается припомнить, въ какомъ видѣ преподавались оныя ему въ кадетскомъ корпусѣ. Убѣдившись затѣмъ, что въ его время науки имѣли видъ краткій, онъ, конечно, окомъ нѣсколько изумленнымъ взглянетъ на безчисленные томы, кои послѣ того произошли. Во-первыхъ, увидитъ онъ, что хрестоматіи появились новыя и притомъ такія, въ коихъ заключаются зачатки революціи. Во-вторыхъ, что появилось множество наукъ, о коихъ въ кадетскихъ корпусахъ даже въ упоминовеніи не было (въ особенности одна изъ нихъ вредная и, какъ распространительница бездѣльныхъ мыслей, весьма даже пагубная, называемая «Психологіей»). Третье наконецъ, что партикулярные люди о такихъ матеріяхъ явно размышляютъ, о которыхъ въ прежнее время даже генераламъ не всегда размышлять дозволялось.

«Въ виду сего какъ онъ поступитъ?

«Не знаю, какъ другіе, но я поступилъ бы прямо и откровенно, то-есть сказалъ бы: все сіе навсегда прекратить!

«А кто же, кромѣ вполнѣ свѣжаго человѣка, можетъ такимъ образомъ поступить?

§ 5. *О предѣлахъ власти де-сіянсъ академій.*

«Предѣлы власти де-сіянсъ академій надлежитъ сколь возможно распространить.

«Вездѣ, гдѣ присутствуютъ науки, должны оказывать свою власть и де-сіянсъ академіи. А какъ въ наукахъ главнѣйшую важность составляютъ не столько самыя науки, сколько дѣйствіе, ими на партикулярныхъ людей производимое, то изъ сего прямо явствуетъ, что ни одинъ обыватель не долженъ мнить себя отъ вѣдомства де-сіянсъ академіи свободнымъ. Слѣдственно, чѣмъ менѣе ясны будутъ границы сего вѣдомства, тѣмъ лучше, ибо нѣтъ ничего для начальника обременительнѣе, какъ ежели онъ видитъ, что пламенности его положены предѣлы.

§ 6. *О правахъ и обязанностяхъ президентовъ де-сіянсъ академій.*

«Президенты де-сіянсъ академій имѣютъ слѣдующія права:

«1) Нѣкоторыя науки временно прекращать, а ежели не замѣтятъ раскаянія, то отмѣнять навсегда.

«2) Въ остальныхъ наукахъ вредное направленіе перемѣнять на полезное.

«3) Призывать сочинителей наукъ и требовать, чтобы давали отвѣты по сущей совѣсти.

«4) Ежели даны будутъ отвѣты сомнительные, то приступать къ испытанію.

«5) Прилежно испытывать обывателей, не заражены ли, и въ случаѣ открытія—таковыхъ отсылать, для продолженія наукъ, въ отдаленные и малонаселенные города.

«и 6) Вообще распоряжаться такъ, какъ бы въ комнатѣ засѣданій де-сіянсъ академіи никого, кромѣ ихъ президентовъ, не было.

«Обязанности же президентовъ таковы:

«1) Дѣйствовать безъ послабленія.

«и 2) Отъ времени до времени требовать отъ обывателей представленія сочиненій на тему: «О средствахъ къ совершенному наукъ упраздненію, съ такимъ притомъ разсчетомъ, чтобы отъ сего государству ущерба не произошло, и чтобы оное, и по упраздненіи наукъ, сосѣдей своихъ въ страхѣ содержало, а отъ оныхъ почитаемо было, яко всѣхъ *просвѣщеніемъ* превзошедшее».

§ 7. *Объ орудіяхъ власти президента.*

«Ближайшія орудія президента суть члены де-сіянсъ академіи.

«Права ихъ слѣдующія:

«1) Они съ почтительностью выслушиваютъ приказанія президента, хотя бы оныя и не отвѣтствовали ихъ желаніямъ.

«2) По требованію президента, являются къ нему въ мундирахъ во всякое время дня и ночи.

«3) При входѣ президента, встаютъ съ мѣстъ стремительно и шумно, и стоятъ до тѣхъ поръ, пока не будетъ разрѣшено принять сидячее положеніе. Тогда стремительно же садятся, ибо время начать разсмотрѣніе.

«4) Ссоръ межъ собой не имѣютъ.

«5) Въ домашнихъ своихъ дѣлахъ дѣйствуютъ по личному усмотрѣнію, при чемъ не возбраняется однако-жъ, въ щекотливыхъ случаяхъ, обращаться къ президенту за разъясненіями.

«6) Наружность имѣютъ приличную, а въ одеждѣ соблюдаютъ опрятность.

«7) Науки разсматриваютъ не ослабляючи, но, не чиня по замѣченнымъ упущеніямъ исполненія, обо всемъ доносятъ президенту.

«8) Впрочемъ, голоса не имѣютъ.

«Послѣ того, въ качествѣ орудій же, слѣдуютъ чины канцеляріи, кои пребываютъ въ непрерывномъ писаніи. Права сихъ чиновъ таковы:

«1) Они являются къ президенту по звонку.

«2) Разсматривать науки обязанности не имѣютъ, но, услышавъ нѣчто отъ постороннихъ людей, секретно доводятъ о томъ до свѣдѣнія президента.

«3) Бумаги пишутъ по очереди; написавъ одну, записываютъ оную въ регистръ, кладутъ въ пакетъ и, запечатавъ, отдаютъ курьеру для врученія; послѣ того начинаютъ писать слѣдующую бумагу и такъ далѣе, до тѣхъ поръ, пока не испишутъ всего.

«4) Голоса не только не имѣютъ, но даже рта разинуть не смѣютъ.

«и 5) Относительно почтительности, одежды и прочаго поступаютъ съ такою пунктуальностью, какъ и члены.

§ 8. *О прочемъ.*

«Кромѣ сего, въ распоряженіи президента должна быть исправная команда курьеровъ

«Что касается прочаго, то оное объявится тогда, когда де-сіянсъ академіи, въ новомъ своемъ видѣ, по всему лицу россійскія державы дѣйствіе возымѣютъ. Теперь же присовокупляю, что ежели потребуется отъ меня мнѣніе насчетъ мундировъ или столовыхъ денегъ, то я во всякое время дать оное готовъ».

Отставной полковникъ Дементій Сдаточный.

Я прочиталъ до конца, но что̀ послѣ этого было—не помню. Знаю, что сначала я ѣхалъ на тройкѣ, потомъ сидѣлъ гдѣ-то на вышкѣ (кажется, въ трактирѣ, въ Третьемъ-Парголовѣ) и угощалъ проѣзжихъ маймистовъ водкой. Сколько времени продолжалась эта исторія: день, мѣсяцъ или годъ—ничего неизвѣстно. Извѣстно только то, что *забыть* я все-таки не могъ.

Глава IV.

Не знаю, какъ долго я послѣ того спалъ, но, должно-быть, времени прошло не мало, потому что я видѣлъ во снѣ цѣлый романъ.

Но прежде всего я долженъ сказать нѣсколько словъ о сновидѣніяхъ вообще.

Въ этомъ отношеніи жизнь моя рѣзко раздѣляется на двѣ совершенно отличныя другъ отъ друга половины: до упраздненія крѣпостного права и послѣ упраздненія онаго.

Клянусь, я не крѣпостникъ; клянусь, что еще въ молодости, предаваясь бесѣдамъ о святомъ искусствѣ въ трактирѣ «Британія», я никогда не могъ безъ угрызенія совѣсти вспомнить, что всѣ эти пунши, глинтвейны и лампопо̀, которыми мы, питомцы нашей alma mater, услаждали себя,—все это приготовлено руками рабовъ; что сапоги мои вычищены рабомъ, и что когда я, веселый, возвращаюсь изъ «Британіи» домой, то и спать меня укладываетъ—рабъ!.. Я ужъ тогда сознавалъ, насколько было бы лучше, чище и благороднѣе, и цѣлесообразнѣе, если бъ лампопо̀ для меня приготовляли, сапоги мои чистили, помои мои выносили не рабы, а такіе же свободные люди, какъ я самъ. А многіе ли въ то время сознавали это!? Я даже написалъ одну повѣсть (я помню, она называлась «Маланьей»), въ которой самыми негодующими красками изобразилъ безвыходное положеніе русскаго крѣпостного человѣка, и хотя по тогдашнему строгому времени цензура не пропустила этой

повѣсти, но я до сихъ поръ не могу позабыть (многіе даже называютъ меня за это злопамятнымъ), что я—авторъ ненапечатанной повѣсти «Маланья». И когда Прокопъ или кто-нибудь другой изъ «нашихъ» начинаютъ хвастаться предо мною своими эмансипаторскими и реформаторскими подвигами, то я всегда очень деликатно даю почувствовать имъ, что теперь, когда всѣ вообще хвастаются безъ труда, ничего не стоитъ, конечно, прикинуть два-три словечка себѣ въ похвалу; но было время...

— Вотъ когда я свою «Маланью» писалъ, вотъ тогда бы попробовали вы похвастаться, господа!

Такъ говорю я въ упоръ хвастуну Прокопу, и этого напоминанія совершенно достаточно, чтобы заставить его понизить тонъ. Ибо какъ онъ ни мало развитъ, но все-таки понимаетъ, что написать «Маланью» въ такое время, когда даже въ альбомы дѣвицамъ ничего другого не писали, кромѣ:

О, Россъ! о, родъ непобѣдимый!
О, твердо-каменная грудь!

—дѣло далеко не шуточное.

Тѣмъ не менѣе я долженъ сознаться, что, при всей моей ненависти къ крѣпостному праву, сны у меня въ то время были самые веселые. Либо ѣдешь въ гости, либо сидишь въ гостяхъ, либо изъ гостей ѣдешь съ сладкою надеждой, что въ непродолжительномъ времени опять въ гости ѣхать надо. Ничего огорчительнаго, ничего такого, что имѣло бы прямое отношеніе къ «Маланьѣ» или къ бунтовскимъ разговорамъ въ «Британіи». Я помню, что въ «Маланьѣ» я очень живо изобразилъ, какъ нѣкоторый Силантій томится въ темной, вонючей конурѣ. И за что томится!—за то только, что не хочетъ «съ великимъ своимъ удовольствіемъ» предоставить свою дочь Маланью любострастію помѣщика Пѣночкина! Но во снѣ тотъ же самый Силантій представлялся мнѣ ужъ совсѣмъ въ иномъ видѣ: тутъ онъ не только не изнываетъ и не томится, но, напротивъ того, или пѣсни поетъ, или Бога за меня молитъ. «Добрый я, добрый!»—грезилось мнѣ во снѣ, и на эту сладкую грезу не оказывалъ вліянія даже тяжкій бредъ моего камердинера и раба, Гришки, который въ это самое время, разметавшись въ сосѣдней комнатѣ на войлокѣ, изнемогалъ подъ игомъ иного рода сонной фантазіи. Ему представлялся милліонъ сапоговъ, которые онъ обязывался вычистить, милліонъ печей, которыя ему предстояло вытопить, милліонъ наполненныхъ помоями лоханокъ, мимо которыхъ онъ не могъ пройти,

чтобы не терзала его мысль, что онъ, а не кто другой, долженъ все это вынести, вылить, вычистить и опять поставить на мѣсто для дальнѣйшаго наполненія помоями... Съ искаженнымъ отъ ужаса лицомъ онъ вскакивалъ съ одра своего, схватывалъ въ руки кочергу и начиналъ ею мѣшать въ холодной печкѣ, а я между тѣмъ перевертывался на другой бокъ и продолжалъ себѣ потихоньку грезить: «добрый я! добрый!»

Теперь все это измѣнилось, и сновидѣнія мои приняли характеръ печальный, почти трагическій. Правда, что я все еще продолжаю ѣздить въ гости, но возвращаться вечеромъ изъ гостей ужъ не совсѣмъ безопасно. Всегда какъ-то случается, что ѣдешь лѣсомъ; а ужъ коль скоро снится человѣку лѣсъ, то непремѣнно приснятся и волки. Они выбѣгаютъ на дорогу, скалятъ зубы, стучатъ ими, прыгаютъ около коляски, визжатъ, воютъ и наконецъ бросаются. Я чувствую, какъ желѣзные когти вонзаются въ мою грудь; я вижу разинутую розовую пасть, чувствую ея шумное дыханіе и просыпаюсь... Конечно, осмотрѣвшись кругомъ, я успокаиваюсь и благодарю моего Создателя за то, что я не въ лѣсу, а у себя на мягкой постели. Но едва я успѣваю повернуться на другой бокъ, какъ опять сонъ. Я гуляю въ своемъ паркѣ (извѣстно, какъ опасно помѣщику ходить одному въ своемъ паркѣ съ тѣхъ поръ, какъ нѣтъ крѣпостныхъ садовниковъ!), и вдругъ изъ-за куста—волкъ! Опять желѣзные когти, опять разинутая розовая пасть, опять тлетворное песье дыханіе...

Положимъ, что всѣ эти страхи мнимые, но если ужъ они забрались въ область сновидѣній, то ясно, что и въ реальной жизни имѣется какая-нибудь отрава. Если человѣку жить хорошо, то какъ бы онъ ни притворялся, что жить ему худо,—сны его будутъ веселые и легкіе. Если жить человѣку худо, то какъ бы онъ ни разыгрывалъ изъ себя удовлетворенную невинность—сны у него будутъ тяжелые и печальные. Нѣтъ сомнѣнія, что въ сороковыхъ годахъ я написалъ «Маданью», и слѣдовательно въ нѣкоторомъ родѣ протестовалъ, но такъ какъ, говоря по совѣсти, жить мнѣ было отлично, то протесты мои шли своимъ чередомъ, а сны—своимъ. Теперь же хотя я и говорю: ну, слава Богу! свершились лучшія упованія моей молодости!—но такъ какъ на душѣ у меня при этомъ скребетъ, то осуществившіяся упованія моей юности идутъ своимъ чередомъ, а сны—своимъ. Скажу болѣе: сны едва ли въ этомъ

случаѣ не вѣрнѣе выражаютъ дѣйствительное настроеніе моей души, нежели протесты и осуществившіяся упованія. Поэтому, когда я встрѣчаю на улицѣ человѣка, который съ лучезарною улыбкой на лицѣ объявляетъ мнѣ, что въ пошехонскомъ земствѣ совершился новый отрадный фактъ: крестьянинъ Семенъ Никифоровъ, увлеченный артельными сыроварнями, пріобрѣлъ двѣ новыя коровы!—мнѣ какъ-то невольно приходитъ на мысль: мой другъ! и Семенъ Никифоровъ и артельныя сыроварни — все это «осуществившіяся упованія твоей юности»; а вотъ разсказалъ бы ты лучше, какія ты исторіи во снѣ видишь!

Печальные сны стали мнѣ видѣться съ тѣхъ поръ, какъ я былъ выбранъ членомъ нашего мѣстнаго комитета по улучшенію быта крестьянъ. Въ то время, какъ ни придешь, бывало, въ засѣданіе, такъ и сыплются на тебя со всѣхъ сторонъ самыя трагическія новости.

— Представьте себѣ! у сосѣда моего ребенка свинья съѣла!—говоритъ одинъ членъ.

— Представьте себѣ! компаньонку моей жены волкъ искусалъ!—объясняетъ другой.

— А я вамъ доложу вотъ что-съ,—присовокупляетъ третій:—съ тѣхъ поръ, какъ эта эмансипація у насъ завелась, жена моя нарочно по деревнѣ гулять ходитъ—и что-жъ бы вы думали? ни одна шельма даже шапки не думаетъ передъ нею ломать!

И такимъ образомъ мы жили въ чаду самыхъ разнообразныхъ страховъ. Съ одной стороны—опасенія, что дѣтей нашихъ переѣдятъ свиньи, съ другой—грустное предвидѣніе относительно неломанія шапокъ... Возможно ли же, чтобы при такой перспективѣ мы, беззащитные, такъ сказать, временно лишенные покровительства законовъ, могли имѣть какіе-нибудь другіе сны, кромѣ страшныхъ?!

Но этого мало. Въ одно прекрасное утро намъ объявляютъ, что нашъ собственный предсѣдатель исчезъ невѣдомо куда, но «въ сопровожденіи...» Признаюсь, это ужъ окончательно сразило меня! Что-жъ это будетъ, если ужъ начали пропадать предсѣдатели! И Богъ знаетъ, чего-чего ни припомнилось мнѣ по этому случаю. И анекдотъ о помѣщикѣ, котораго за продерзость приказано было всю жизнь возить по большимъ дорогамъ, нигдѣ не останавливаясь. И слышанный въ дѣтствѣ разсказъ о младенцѣ, котораго проѣздомъ родители выронили изъ саней въ снѣгъ и только черезъ сутки потомъ изъ-подъ снѣгу вырыли. «И что-жъ

бы вы думали! спитъ мой младенчикъ самымъ, то-есть, крѣпкимъ сномъ, и какъ теперича его изъ-подъ снѣгу вырыли, такъ онъ сейчасъ: мама!»—Такъ оканчивала обыкновенно моя няня разсказъ свой объ этомъ происшествіи.

Въ слѣдующую за пропажей предсѣдателя ночь я видѣлъ свой первый страшный сонъ. Сначала мнѣ представлялось, что нашего предсѣдателя возятъ со станціи на станцію и, не выпуская изъ кибитки, командуютъ: «лошадей!» Потомъ видѣлось, что его обронили въ снѣгъ... «Любопытно бы знать,—думалось мнѣ: — отроютъ ли его, и скажетъ ли онъ: мама! какъ тотъ почтительный младенецъ, о которомъ нѣкогда повѣствовала моя няня?»

И такимъ образомъ, получивъ для страшныхъ сновъ прочную реальную основу, я съ горестью убѣждаюсь, что прежніе веселые сны не возвратятся ко мнѣ, по малой мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока не возвратится порождавшее ихъ крѣпостное право.

Но возвратится ли оно?

Итакъ, я видѣлъ сонъ.

Мнѣ снилось, что я былъ когда-то откупщикомъ, нажилъ милліонъ и умираю одинокій въ chambres garnies.

Около меня стоитъ Прокопъ и съ какою-то хищническою тревогой слѣдитъ за послѣдними, предсмертными искаженіями моего лица. Онъ то на меня посмотритъ, то броситъ ядовитый взглядъ на мою шкатулку. По временамъ онъ обращается ко мнѣ со словами: «ну, ну! не бойтесь! Богъ не безъ милости!» Но я, съ свойственною умирающимъ проницательностью, слышу въ его словахъ нѣчто совсѣмъ другое. Мнѣ чуется, что Прокопъ говоритъ: «ужъ какъ ты ни отпрашивайся, а отъ смерти не отвертишься! такъ умирай же, ради Христа, поскорѣе, не задерживай меня понапрасну!» Одно мгновеніе мнѣ показалось, что на губахъ его мелькнула какая-то подлѣйшая улыбка, словно онъ ужъ заранѣе меня смаковалъ,—и ахъ, какъ не понравилась мнѣ эта улыбка!

Наконецъ я испускаю послѣдній вздохъ, но не успѣваю еще окончательно потерять сознаніе, какъ вижу: шкатулка моя въ одно мгновеніе ока отперта, и Прокопъ торопливо, задыхаясь, вытаскиваетъ изъ нея мои капиталы...

Я умеръ.

Читатель! не воображай, что я человѣкъ жадный до денегъ, что я думаю только о стяжаніи, и что поэтому сре-

бролюбивыя мечтанія даже во снѣ не даютъ мнѣ покоя. Нѣтъ; я никогда не принадлежалъ къ числу капиталистовъ, а тѣмъ менѣе откупщиковъ; никогда не задавался мыслью о стяжаніяхъ и присовокупленіяхъ, а, напротивъ того, съ такимъ постояннымъ легкомысліемъ относился къ вопросу «о производствѣ и накопленіи богатствъ», что въ настоящее время буквально проѣдаю послѣднее свое выкупное свидѣтельство. Я съ гордостью могу сказать, что при составленіи уставной грамоты пожертвовалъ крестьянамъ четыре десятины лугу по мокрому мѣсту и всѣ безнадежныя недоимки простилъ. Когда я покончу съ послѣднимъ выкупнымъ свидѣтельствомъ, у меня останется въ виду лишь нѣсколько сотъ десятинъ худородной и отчасти болотистой земли при деревнѣ Проплёванной *), да еще какія-то надежды... На что надежды—этого я и самъ хорошенько не объясню, но что надежды никогда и ни въ какомъ случаѣ не оставятъ меня—это несомнѣнно. Все сдается, что вотъ-вотъ совершится какое-то чудо и спасетъ меня. Напримѣръ: у другихъ ничего не уродится, а у меня всего уродится вдесятеро, и я буду продавать свои произведенія по десятерной цѣнѣ. Или еще: вдругъ Волга измѣнитъ теченіе, повернетъ лѣвѣй-лѣвѣй и прямо въ мое имѣніе. Деревню Проплёванную при этомъ, разумѣется, разрушитъ

*) Названіе «Проплеванной» — историческое. Однажды дѣдушка Матвѣй Ивановичъ, будучи еще корнетомъ, ѣхалъ походомъ съ своимъ однополчаниномъ, тоже корнетомъ, Семеномъ Петровичемъ Сердюковымъ. Послѣдній, надо сказать правду, былъ довольно-таки простъ, и дѣдушка хорошо зналъ это обстоятельство. И такъ какъ походомъ дѣлать было нечего, то хитрый старикъ, тогда еще, впрочемъ, полный надеждъ юноша, воспользовался простотой своего друга и предложилъ играть въ плевки (игра, въ которой дѣдушка, поистинѣ, не зналъ себѣ побѣдителя). Развязка не заставила долго ждать себя: малыми кушами Сердюковъ проигралъ столь значительную сумму, что долженъ былъ предоставить въ полную собственность дѣдушки свою деревню Сердюковку. Дѣдушка же, въ память о финансовой операціи, съ помощью которой онъ эту Сердюковку пріобрѣлъ, переименовалъ ее въ «Проплеванную». Замѣчательно, что мужики долгое время сердились, когда ихъ называли «проплеванными», а два раза даже затѣвали бунтъ. Но, благодареніе Богу, съ помощью экзекуцій все улаживалось благополучно. Впрочемъ, съ объявленіемъ мужицкой воли, мужики опять переименовали деревню въ Сердюковку; но я, въ пику, продолжаю называть ихъ «проплеванными». Я дѣлаю это въ ущербъ самому-себѣ, потому что въ отмщеніе за мое названіе они ни за какія деньги не хотятъ ни косить мои луга, ни жать мой хлѣбъ; но что же дѣлать? Пусть лучше хлѣбъ мой останется несжатымъ и луга нескошенными, но зато я всегда буду высоко держать мое знамя

«и 3) На-дняхъ, при моихъ глазахъ, дочь одного почтеннаго генерала рѣзала лягушку и надѣялась получить отъ сего результатъ.

«Всѣ таковые факты внушили мнѣ особливую нѣкоторую мысль, развитіе которой яснѣе выражается изъ слѣдующихъ пунктовъ.

§ 1. *Цѣль учрежденія академій.*

«Въ столичномъ городѣ С.-Петербургѣ учреждается особливая центральная де-сіянсъ академія, назначеніемъ которой будетъ разсмотрѣніе наукъ, но отнюдь не распространеніе оныхъ *).

«Съ тою же цѣлью, повсемѣстно, по мѣрѣ возникновенія наукъ, учреждаются отдѣленія центральной де-сіянсъ академіи, а такъ какъ нынѣ едва ли можно встрѣтить даже одинъ уѣздъ, гдѣ бы хотя о причинахъ частыхъ градобитій не разсуждали, то надо прямо сказать, что отдѣленія сіи или, лучше сказать, малыя сіи де-сіянсъ академіи разомъ во всѣхъ уѣздахъ безъ исключенія объявятся.

«Академіямъ симъ, для бо̀льшаго удобства въ предстоящихъ имъ дѣйствіяхъ, прежде всего поставлено будетъ въ обязанность опредѣлить:

§ 2. *Что такое въ наукахъ свѣтъ?*

«Мнѣнія по сему предмету раздѣляются на правильныя и неправильныя, а въ числѣ послѣднихъ есть даже много такихъ, кои, по всей справедливости, могутъ считаться дерзкими.

«Дабы предотвратить въ столь важномъ предметѣ всякія разногласія, всего натуральнѣе было бы постановить, что только тѣ науки распространяютъ свѣтъ, кои способствуютъ выполненію начальственныхъ предписаній. Во-первыхъ, правило сіе вполнѣ согласуется съ показаніями свѣдущихъ людей и, во-вторыхъ, установляетъ въ жизни вполнѣ твердый и надежный опорный пунктъ, съ опубликованіемъ котораго всякій, кто по малодушію или изъ хвастовства вздумалъ бы противъ онаго преступить, не можетъ уже сослаться на то, что онъ не былъ о томъ предупрежденъ.

---

*) О составѣ и занятіяхъ сей центральной академіи умалчиваю, предоставляя устройство сего высшему начальству. Скажу только, что заведеніе сіе должно быть обширное.—*Примѣчаніе составителя проекта.*

§ 3. *Какіе люди для разсмотрѣнія наукъ наиболѣе пригодны суть?*

«Люди свѣжіе и притомъ опытные.

«Какъ сказано выше, главная задача, которую науки должны преимущественно имѣть въ виду, есть наученіе, какимъ образомъ въ исполненіи начальственныхъ предписаній быть исправнымъ надлежитъ. Таковъ фундаментъ. Но дабы въ совершенствѣ таковой постигнуть, нѣтъ надобности въ обременительныхъ или прихотливыхъ познаніяхъ, а требуется лишь свѣжее сердце и не вполнѣ поврежденный умъ. Все сіе въ свѣжемъ человѣкѣ не токмо налицо имѣется, но даже и преизбыточествуетъ.

«Посему, какъ въ президенты де-сіянсъ академій, такъ и въ члены оныхъ надлежитъ избирать благонадежныхъ и вполнѣ свѣжихъ людей изъ мѣстныхъ помѣщиковъ, кои въ юности въ кадетскихъ корпусахъ образованіе получили, но отъ времени все позабыли.

«*Примѣчаніе.* Президентомъ слѣдуетъ избирать человѣка хотя и преклонныхъ лѣтъ, но лишь бы здравый умъ былъ.

§ 4. *Что отъ сего произойти можетъ?*

«Слѣдующее:

«Прежде нежели свѣжій человѣкъ приступитъ къ разсмотрѣнію наукъ, онъ постарается припомнить, въ какомъ видѣ преподавались оныя ему въ кадетскомъ корпусѣ. Убѣдившись затѣмъ, что въ его время науки имѣли видъ краткій, онъ, конечно, окомъ нѣсколько изумленнымъ взглянетъ на безчисленные томы, кои послѣ того произошли. Во-первыхъ, увидитъ онъ, что хрестоматіи появились новыя и притомъ такія, въ коихъ заключаются зачатки революціи. Во-вторыхъ, что появилось множество наукъ, о коихъ въ кадетскихъ корпусахъ даже въ упоминовеніи не было (въ особенности одна изъ нихъ вредная и, какъ распространительница бездѣльныхъ мыслей, весьма даже пагубная, называемая «Психологіей»). Третье наконецъ, что партикулярные люди о такихъ матеріяхъ явно размышляютъ, о которыхъ въ прежнее время даже генераламъ не всегда размышлять дозволялось.

«Въ виду сего какъ онъ поступитъ?

«Не знаю, какъ другіе, но я поступилъ бы прямо и откровенно, то-есть сказалъ бы: все сіе навсегда прекратить!

«А кто же, кромѣ вполнѣ свѣжаго человѣка, можетъ такимъ образомъ поступить?

§ 5. *О предѣлахъ власти де-сіянсъ академій.*

«Предѣлы власти де-сіянсъ академій надлежитъ сколь возможно распространить.

«Вездѣ, гдѣ присутствуютъ науки, должны оказывать свою власть и де-сіянсъ академіи. А какъ въ наукахъ главнѣйшую важность составляютъ не столько самыя науки, сколько дѣйствіе, ими на партикулярныхъ людей производимое, то изъ сего прямо явствуетъ, что ни одинъ обыватель не долженъ мнить себя отъ вѣдомства де-сіянсъ академіи свободнымъ. Слѣдственно, чѣмъ менѣе ясны будутъ границы сего вѣдомства, тѣмъ лучше, ибо нѣтъ ничего для начальника обременительнѣе, какъ ежели онъ видитъ, что пламенности его положены предѣлы.

§ 6. *О правахъ и обязанностяхъ президентовъ де-сіянсъ академій.*

«Президенты де-сіянсъ академій имѣютъ слѣдующія права:

«1) Нѣкоторыя науки временно прекращать, а ежели не замѣтятъ раскаянія, то отмѣнять навсегда.

«2) Въ остальныхъ наукахъ вредное направленіе перемѣнять на полезное.

«3) Призывать сочинителей наукъ и требовать, чтобы давали отвѣты по сущей совѣсти.

«4) Ежели даны будутъ отвѣты сомнительные, то приступать къ испытанію.

«5) Прилежно испытывать обывателей, не заражены ли, и въ случаѣ открытія—таковыхъ отсылать, для продолженія наукъ, въ отдаленные и малонаселенные города.

«и 6) Вообще распоряжатся такъ, какъ бы въ комнатѣ засѣданій де-сіянсъ академіи никого, кромѣ ихъ президентовъ, не было.

«Обязанности же президентовъ таковы:

«1) Дѣйствовать безъ послабленія.

«и 2) Отъ времени до времени требовать отъ обывателей представленія сочиненій на тему: «О средствахъ къ совершенному наукъ упраздненію, съ такимъ притомъ разсчетомъ, чтобы отъ сего государству ущерба не произошло, и чтобы оное, и по упраздненіи наукъ, сосѣдей своихъ въ страхѣ содержало, а отъ оныхъ почитаемо было, яко всѣхъ *просвѣщеніемъ* превзошедшее».

§ 7. *Объ орудіяхъ власти президента.*

«Ближайшія орудія президента суть члены де-сіянсъ академіи.

«Права ихъ слѣдующія:

«1) Они съ почтительностью выслушиваютъ приказанія президента, хотя бы оныя и не отвѣтствовали ихъ желаніямъ.

«2) По требованію президента, являются къ нему въ мундирахъ во всякое время дня и ночи.

«3) При входѣ президента, встаютъ съ мѣстъ стремительно и шумно, и стоятъ до тѣхъ поръ, пока не будетъ разрѣшено принять сидячее положеніе. Тогда стремительно же садятся, ибо время начать разсмотрѣніе.

«4) Ссоръ межъ собой не имѣютъ.

«5) Въ домашнихъ своихъ дѣлахъ дѣйствуютъ по личному усмотрѣнію, при чемъ не возбраняется однако-жъ, въ щекотливыхъ случаяхъ, обращаться къ президенту за разъясненіями.

«6) Наружность имѣютъ приличную, а въ одеждѣ соблюдаютъ опрятность.

«7) Науки разсматриваютъ не ослабляючи, но, не чиня по замѣченнымъ унущеніямъ исполненія, обо всемъ доносятъ президенту.

«8) Впрочемъ, голоса не имѣютъ.

«Послѣ того, въ качествѣ орудій же, слѣдуютъ чины канцеляріи, кои пребываютъ въ непрерывномъ писаніи. Права сихъ чиновъ таковы:

«1) Они являются къ президенту по звонку.

«2) Разсматривать науки обязанности не имѣютъ, но, услышавъ нѣчто отъ постороннихъ людей, секретно доводятъ о томъ до свѣдѣнія президента.

«3) Бумаги пишутъ по очереди; написавъ одну, записываютъ оную въ регистръ, кладутъ въ пакетъ и, запечатавъ, отдаютъ курьеру для врученія; послѣ того начинаютъ писать слѣдующую бумагу и такъ далѣе, до тѣхъ поръ, пока не испишутъ всего.

«4) Голоса не только не имѣютъ, но даже рта разинуть не смѣютъ.

«и 5) Относительно почтительности, одежды и прочаго поступаютъ съ такою пунктуальностью, какъ и члены.

§ 8. *О прочемъ.*

«Кромѣ сего, въ распоряженіи президента должна быть исправная команда курьеровъ

«Что касается прочаго, то оное объявится тогда, когда де-сіянсъ академіи, въ новомъ своемъ видѣ, по всему лицу россійскія державы дѣйствіе возымѣютъ. Теперь же присовокупляю, что ежели потребуется отъ меня мнѣніе насчетъ мундировъ или столовыхъ денегъ, то я во всякое время дать оное готовъ».

Отставной полковникъ Дементій Сдаточный.

Я прочиталъ до конца, но что̀ послѣ этого было—не помню. Знаю, что сначала я ѣхалъ на тройкѣ, потомъ сидѣлъ гдѣ-то на вышкѣ (кажется, въ трактирѣ, въ Третьемъ-Парголовѣ) и угощалъ проѣзжихъ маймистовъ водкой. Сколько времени продолжалась эта исторія: день, мѣсяцъ или годъ—ничего неизвѣстно. Извѣстно только то, что *забыть* я все-таки не могъ.

Глава IV.

Не знаю, какъ долго я послѣ того спалъ, но, должно-быть, времени прошло не мало, потому что я видѣлъ во снѣ цѣлый романъ.

Но прежде всего я долженъ сказать нѣсколько словъ о сновидѣніяхъ вообще.

Въ этомъ отношеніи жизнь моя рѣзко раздѣляется на двѣ совершенно отличныя другъ отъ друга половины: до упраздненія крѣпостного права и послѣ упраздненія онаго.

Клянусь, я не крѣпостникъ; клянусь, что еще въ молодости, предаваясь бесѣдамъ о святомъ искусствѣ въ трактирѣ «Британія», я никогда не могъ безъ угрызенія совѣсти вспомнить, что всѣ эти пунши, глинтвейны и лампопо̀, которыми мы, питомцы нашей alma mater, услаждали себя,—все это приготовлено руками рабовъ; что сапоги мои вычищены рабомъ, и что когда я, веселый, возвращаюсь изъ «Британіи» домой, то и спать меня укладываетъ—рабъ!.. Я ужъ тогда сознавалъ, насколько было бы лучше, чище и благороднѣе, и цѣлесообразнѣе, если бъ лампопо̀ для меня приготовляли, сапоги мои чистили, помои мои выносили не рабы, а такіе же свободные люди, какъ я самъ. А многіе ли въ то время сознавали это!? Я даже написалъ одну повѣсть (я помню, она называлась «Маланьей»), въ которой самыми негодующими красками изобразилъ безвыходное положеніе русскаго крѣпостного человѣка, и хотя по тогдашнему строгому времени цензура не пропустила этой

повѣсти, но я до сихъ поръ не могу позабыть (многіе даже называютъ меня за это злопамятнымъ), что я—авторъ ненапечатанной повѣсти «Маланья». И когда Прокопъ или кто-нибудь другой изъ «нашихъ» начинаютъ хвастаться предо мною своими эмансипаторскими и реформаторскими подвигами, то я всегда очень деликатно даю почувствовать имъ, что теперь, когда всѣ вообще хвастаются безъ труда, ничего не стоитъ, конечно, прикинуть два-три словечка себѣ въ похвалу; но было время...

— Вотъ когда я свою «Маланью» писалъ, вотъ тогда бы попробовали вы похвастаться, господа!

Такъ говорю я въ упоръ хвастуну Прокопу, и этого напоминанія совершенно достаточно, чтобы заставить его понизить тонъ. Ибо какъ онъ ни мало развитъ, но все-таки понимаетъ, что написать «Маланью» въ такое время, когда даже въ альбомы дѣвицамъ ничего другого не писали, кромѣ:

О, Россъ! о, родъ непобѣдимый!
О, твердо-каменная грудь!

—дѣло далеко не шуточное.

Тѣмъ не менѣе я долженъ сознаться, что, при всей моей ненависти къ крѣпостному праву, сны у меня въ то время были самые веселые. Либо ѣдешь въ гости, либо сидишь въ гостяхъ, либо изъ гостей ѣдешь съ сладкою надеждой, что въ непродолжительномъ времени опять въ гости ѣхать надо. Ничего огорчительнаго, ничего такого, что̀ имѣло бы прямое отношеніе къ «Маланьѣ» или къ бунтовскимъ разговорамъ въ «Британіи». Я помню, что въ «Маланьѣ» я очень живо изобразилъ, какъ нѣкоторый Силантій томится въ темной, вонючей конурѣ. И за что̀ томится!—за то только, что̀ не хочетъ «съ великимъ своимъ удовольствіемъ» предоставить свою дочь Маланью любострастію помѣщика Пѣночкина! Но во снѣ тотъ же самый Силантій представлялся мнѣ ужъ совсѣмъ въ иномъ видѣ: тутъ онъ не только не изнываетъ и не томится, но, напротивъ того, или пѣсни поетъ, или Бога за меня молитъ. «Добрый я, добрый!»—грезилось мнѣ во снѣ, и на эту сладкую грезу не оказывалъ вліянія даже тяжкій бредъ моего камердинера и раба, Гришки, который въ это самое время, разметавшись въ сосѣдней комнатѣ на войлокѣ, изнемогалъ подъ игомъ иного рода сонной фантазіи. Ему представлялся милліонъ сапоговъ, которые онъ обязывался вычистить, милліонъ печей, которыя ему предстояло вытопить, милліонъ наполненныхъ помоями лоханокъ, мимо которыхъ онъ не могъ пройти,

чтобы не терзала его мысль, что онъ, а не кто другой, долженъ все это вынести, вылить, вычистить и опять поставить на мѣсто для дальнѣйшаго наполненія помоями... Съ искаженнымъ отъ ужаса лицомъ онъ вскакивалъ съ одра своего, схватывалъ въ руки кочергу и начиналъ ею мѣшать въ холодной печкѣ, а я между тѣмъ перевертывался на другой бокъ и продолжалъ себѣ потихоньку грезить: «добрый я! добрый!»

Теперь все это измѣнилось, и сновидѣнія мои приняли характеръ печальный, почти трагическій. Правда, что я все еще продолжаю ѣздить въ гости, но возвращаться вечеромъ изъ гостей ужъ не совсѣмъ безопасно. Всегда какъ-то случается, что ѣдешь лѣсомъ; а ужъ коль скоро снится человѣку лѣсъ, то непремѣнно приснятся и волки. Они выбѣгаютъ на дорогу, скалятъ зубы, стучатъ ими, прыгаютъ около коляски, визжатъ, воютъ и наконецъ бросаются. Я чувствую, какъ желѣзные когти вонзаются въ мою грудь; я вижу разинутую розовую пасть, чувствую ея шумное дыханіе и просыпаюсь... Конечно, осмотрѣвшись кругомъ, я успокаиваюсь и благодарю моего Создателя за то, что я не въ лѣсу, а у себя на мягкой постели. Но едва я успѣваю повернуться на другой бокъ, какъ опять сонъ. Я гуляю въ своемъ паркѣ (извѣстно, какъ опасно помѣщику ходить одному въ своемъ паркѣ съ тѣхъ поръ, какъ нѣтъ крѣпостныхъ садовниковъ!), и вдругъ изъ-за куста—волкъ! Опять желѣзные когти, опять разинутая розовая пасть, опять тлетворное песье дыханіе...

Положимъ, что всѣ эти страхи мнимые, но если ужъ они забрались въ область сновидѣній, то ясно, что и въ реальной жизни имѣется какая-нибудь отрава. Если человѣку жить хорошо, то какъ бы онъ ни притворялся, что жить ему худо,—сны его будутъ веселые и легкіе. Если жить человѣку худо, то какъ бы онъ ни разыгрывалъ изъ себя удовлетворенную невинность—сны у него будутъ тяжелые и печальные. Нѣтъ сомнѣнія, что въ сороковыхъ годахъ я написалъ «Маланью», и слѣдовательно въ нѣкоторомъ родѣ протестовалъ, но такъ какъ, говоря по совѣсти, жить мнѣ было отлично, то протесты мои шли своимъ чередомъ, а сны—своимъ. Теперь же хотя я и говорю: ну, слава Богу! свершились лучшія упованія моей молодости!—но такъ какъ на душѣ у меня при этомъ скребетъ, то осуществившіяся упованія моей юности идутъ своимъ чередомъ, а сны—своимъ. Скажу болѣе: сны едва ли въ этомъ

случаѣ не вѣрнѣе выражаютъ дѣйствительное настроеніе моей души, нежели протесты и осуществившіяся упованія. Поэтому, когда я встрѣчаю на улицѣ человѣка, который съ лучезарною улыбкой на лицѣ объявляетъ мнѣ, что въ пошехонскомъ земствѣ совершился новый отрадный фактъ: крестьянинъ Семенъ Никифоровъ, увлеченный артельными сыроварнями, пріобрѣлъ двѣ новыя коровы!—мнѣ какъ-то невольно приходитъ на мысль: мой другъ! и Семенъ Никифоровъ и артельныя сыроварни — все это «осуществившіяся упованія твоей юности»; а вотъ разсказалъ бы ты лучше, какія ты исторіи во снѣ видишь!

Печальные сны стали мнѣ видѣться съ тѣхъ поръ, какъ я былъ выбранъ членомъ нашего мѣстнаго комитета по улучшенію быта крестьянъ. Въ то время, какъ ни придешь, бывало, въ засѣданіе, такъ и сыплются на тебя со всѣхъ сторонъ самыя трагическія новости.

— Представьте себѣ! у сосѣда моего ребенка свинья съѣла!—говоритъ одинъ членъ.

— Представьте себѣ! компаньонку моей жены волкъ искусалъ!—объясняетъ другой.

— А я вамъ доложу вотъ что-съ,—присовокупляетъ третій:—съ тѣхъ поръ, какъ эта эмансипація у насъ завелась, жена моя нарочно по деревнѣ гулять ходитъ—и что-жъ бы вы думали? ни одна шельма даже шапки не думаетъ передъ нею ломать!

И такимъ образомъ мы жили въ чаду самыхъ разнообразныхъ страховъ. Съ одной стороны—опасенія, что дѣтей нашихъ переѣдятъ свиньи, съ другой—грустное предвидѣніе относительно неломанія шапокъ... Возможно ли же, чтобы при такой перспективѣ мы, беззащитные, такъ сказать, временно лишенные покровительства законовъ, могли имѣть какіе-нибудь другіе сны, кромѣ страшныхъ?!

Но этого мало. Въ одно прекрасное утро намъ объявляютъ, что нашъ собственный предсѣдатель исчезъ невѣдомо куда, но «въ сопровожденіи...» Признаюсь, это ужъ окончательно сразило меня! Что-жъ это будетъ, если ужъ начали пропадать предсѣдатели! И Богъ знаетъ, чего-чего ни припомнилось мнѣ по этому случаю. И анекдотъ о помѣщикѣ, котораго за продерзость приказано было всю жизнь возить по большимъ дорогамъ, нигдѣ не останавливаясь. И слышанный въ дѣтствѣ разсказъ о младенцѣ, котораго проѣздомъ родители выронили изъ саней въ снѣгъ и только черезъ сутки потомъ изъ-подъ снѣгу вырыли. «И что-жъ

бы вы думали! спитъ мой младенчикъ самымъ, то-есть, крѣпкимъ сномъ, и какъ теперича его изъ-подъ снѣгу вырыли, такъ онъ сейчасъ: мама!»—Такъ оканчивала обыкновенно моя няня разсказъ свой объ этомъ происшествіи.

Въ слѣдующую за пропажей предсѣдателя ночь я видѣлъ свой первый страшный сонъ. Сначала мнѣ представлялось, что нашего предсѣдателя возятъ со станціи на станцію и, не выпуская изъ кибитки, командуютъ: «лошадей!» Потомъ видѣлось, что его обронили въ снѣгъ... «Любопытно бы знать,—думалось мнѣ: — отроютъ ли его, и скажетъ ли онъ: мама! какъ тотъ почтительный младенецъ, о которомъ нѣкогда повѣствовала моя няня?»

И такимъ образомъ, получивъ для страшныхъ сновъ прочную реальную основу, я съ горестью убѣждаюсь, что прежніе веселые сны не возвратятся ко мнѣ, по малой мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока не возвратится порождавшее ихъ крѣпостное право.

Но возвратится ли оно?

Итакъ, я видѣлъ сонъ.

Мнѣ снилось, что я былъ когда-то откупщикомъ, нажилъ милліонъ и умираю одинокій въ chambres garnies.

Около меня стоитъ Прокопъ и съ какою-то хищническою тревогой слѣдитъ за послѣдними, предсмертными искаженіями моего лица. Онъ то на меня посмотритъ, то броситъ ядовитый взглядъ на мою шкатулку. По временамъ онъ обращается ко мнѣ со словами: «ну, ну! не бойтесь! Богъ не безъ милости!» Но я, съ свойственною умирающимъ проницательностью, слышу въ его словахъ нѣчто совсѣмъ другое. Мнѣ чуется, что Прокопъ говоритъ: «ужъ какъ ты ни отпрашивайся, а отъ смерти не отвертишься! такъ умирай же, ради Христа, поскорѣе, не задерживай меня понапрасну!» Одно мгновеніе мнѣ показалось, что на губахъ его мелькнула какая-то подлѣйшая улыбка, словно онъ ужъ заранѣе меня смаковалъ,—и ахъ, какъ не понравилась мнѣ эта улыбка!

Наконецъ я испускаю послѣдній вздохъ, но не успѣваю еще окончательно потерять сознаніе, какъ вижу: шкатулка моя въ одно мгновеніе ока отперта, и Прокопъ торопливо, задыхаясь, вытаскиваетъ изъ нея мои капиталы...

Я умеръ.

Читатель! не воображай, что я человѣкъ жадный до денегъ, что я думаю только о стяжаніи, и что поэтому сре-

бролюбивыя мечтанія даже во снѣ не даютъ мнѣ покоя. Нѣтъ; я никогда не принадлежалъ къ числу капиталистовъ, а тѣмъ менѣе откупщиковъ; никогда не задавался мыслью о стяжаніяхъ и присовокупленіяхъ, а, напротивъ того, съ такимъ постояннымъ легкомысліемъ относился къ вопросу «о производствѣ и накопленіи богатствъ», что въ настоящее время буквально проѣдаю послѣднее свое выкупное свидѣтельство. Я съ гордостью могу сказать, что при составленіи уставной грамоты пожертвовалъ крестьянамъ четыре десятины лугу по мокрому мѣсту и всѣ безнадежныя недоимки простилъ. Когда я покончу съ послѣднимъ выкупнымъ свидѣтельствомъ, у меня останется въ виду лишь нѣсколько сотъ десятинъ худородной и отчасти болотистой земли при деревнѣ Проплёванной *), да еще какія-то надежды... На что надежды—этого я и самъ хорошенько не объясню, но что надежды никогда и ни въ какомъ случаѣ не оставятъ меня—это несомнѣнно. Все сдается, что вотъ-вотъ совершится какое-то чудо и спасетъ меня. Напримѣръ: у другихъ ничего не уродится, а у меня всего уродится вдесятеро, и я буду продавать свои произведенія по десятерной цѣнѣ. Или еще: вдругъ Волга измѣнитъ теченіе, повернетъ лѣвѣй-лѣвѣй и прямо въ мое имѣніе. Деревню Проплёванную при этомъ, разумѣется, разрушитъ

*) Названіе «Проплеванной» — историческое. Однажды дѣдушка Матвѣй Ивановичъ, будучи еще корнетомъ, ѣхалъ походомъ съ своимъ однополчаниномъ, тоже корнетомъ, Семеномъ Петровичемъ Сердюковымъ. Послѣдній, надо сказать правду, былъ довольно-таки простъ, и дѣдушка хорошо зналъ это обстоятельство. И такъ какъ походомъ дѣлать было нечего, то хитрый старикъ, тогда еще, впрочемъ, полный надеждъ юноша, воспользовался простотой своего друга и предложилъ играть въ плевки (игра, въ которой дѣдушка, поистинѣ, не зналъ себѣ побѣдителя). Развязка не заставила долго ждать себя: малыми кушами Сердюковъ проигралъ столь значительную сумму, что долженъ былъ предоставить въ полную собственность дѣдушки свою деревню Сердюковку. Дѣдушка же, въ память о финансовой операціи, съ помощью которой онъ эту Сердюковку пріобрѣлъ, переименовалъ ее въ «Проплеванную». Замѣчательно, что мужики долгое время сердились, когда ихъ называли «проплеванными», а два раза даже затѣвали бунтъ. Но, благодареніе Богу, съ помощью экзекуцій все улаживалось благополучно. Впрочемъ, съ объявленіемъ мужицкой воли, мужики опять переименовали деревню въ Сердюковку; но я, въ пику, продолжаю называть ихъ «проплеваннымп». Я дѣлаю это въ ущербъ самому себѣ, потому что въ отмщеніе за мое названіе они ни за какія деньги не хотятъ ни косить мои луга, ни жать мой хлѣбъ; но что же дѣлать? Пусть лучше хлѣбъ мой останется несжатымъ и луга нескошенными, но зато я всегда буду высоко держать мое знамя

до основанія, а мои болота обратитъ въ богатѣйшіе заливные луга.

Но ежели не личная корысть дала основаніе моему сну, тѣмъ не менѣе основаніе это до извѣстной степени все-таки не было чуждо реальности. Дѣло въ томъ, что я много лѣтъ сряду безвыѣздно живу въ провинціи, а мы, провинціалы, обдѣлываемъ свои денежныя дѣла просто, а относимся къ нимъ еще проще. Это совсѣмъ не то, что, напримѣръ, въ Петербургѣ, гдѣ ежели кто и грабитъ умирающаго родственника, то тотчасъ же начинаетъ разсчитывать, сколько теперь у него шансовъ на полученіе бубноваго туза на спину—и сколько противъ таковаго полученія. Мы грабимъ не стыдясь, а ежели что-нибудь и огорчаетъ насъ въ подобныхъ финансовыхъ операціяхъ, то это только неудача. Удалась операція—исполать тебѣ, добру молодцу! не удалась—разиня! Достаточно посѣтить наши клубы въ дни общихъ обѣдовъ, чтобы получить любопытнѣйшія по сему предмету свѣдѣнія, особливо ежели сосѣди по бокамъ—люди знающіе и словоохотливые.

— Вотъ этого видите, вонъ того, черноволосаго, что передъ обѣдомъ такъ усердно Богу молился—онъ у своего собственнаго сына материнское имѣніе оттягалъ!—скажетъ сосѣдъ съ правой руки.

— Вотъ этого видите, вонъ того, что салфеткой брюхо себѣ застелилъ—онъ родной теткѣ конфектъ изъ Москвы привезъ, а она, поѣвши ихъ, черезъ два часа Богу душу отдала!—шепчетъ сосѣдъ съ лѣвой руки.

— А вонъ того видите—вонъ, что ротъ-то разинулъ—онъ, батюшка, передъ самою эмансипаціей всѣмъ мужикамъ вольныя далъ, да всѣхъ ихъ къ купцу на фабрику и закабалилъ. Сколько деньжищъ отъ купца получилъ, да мужицкіе дома продалъ, да скотину, а земля-то вся при немъ осталась... Вотъ ты и смотри, что онъ ротъ разѣваетъ, а онъ операцію-то эту въ лучшемъ видѣ устроилъ!—снова нашоптываетъ сосѣдъ съ правой руки.

И вдругъ—о, удивленіе!—человѣкъ, застилавшій брюхо салфеткой, шлетъ моему лѣвому сосѣду стаканъ шампанскаго. Разумѣется, обмѣнъ мыслей.

— Ивану Николаевичу! каково поживаете? каково прижимаете?

— Вы какъ?

— Вашими молитвами. Послѣ обѣда пульку составить надо.

— Не вредно.

И дѣйствительно, тотчасъ же послѣ обѣда брюханъ и мой лѣвый сосѣдъ сидятъ уже за ералашемъ и дружелюбнѣйшимъ образомъ козыряютъ до глубокой ночи. И кто же знаетъ? если за брюханомъ есть конфекта, то не считается ли за моимъ лѣвымъ сосѣдомъ цѣлаго пирога?

Какимъ образомъ создалась эта круговая порука снисходительности — я объяснить не берусь, но что порука эта была нѣкогда очень крѣпка — это подтвердитъ каждый провинціалъ. Однажды я былъ свидѣтелемъ оригинальнѣйшей сцены, въ которой роль героя игралъ Прокопъ. Онъ обличалъ (вовсе не думая, впрочемъ, ни о какихъ обличеніяхъ) друга своего, Анемподиста Пыркова, въ присвоеніи непринадлежащаго ему имущества.

— Ну, братъ, ужъ нечего тутъ очки-то вставлять! — ораторствовалъ Прокопъ: — ужъ всякому вѣдь извѣстно, какъ ты дядю-то мертваго подъ постель спряталъ, а на мѣсто его другого въ колпакѣ подъ одѣяло положилъ! Чтобы свидѣтели, значитъ, подъ завѣщаніемъ подписались, что покойникъ, дескать, въ здравомъ умѣ и твердой памяти... Штукарь вѣдь ты!

— Мѐ... финиссѐ...—умолялъ Пырковъ, простирая руки.

— Нѐчего «финиссѐ...» или ужъ по-французски заговорилъ! Ужъ что̀ было, то̀ было... Вонъ онъ и на кровати-то за покойника лежалъ!—вдругъ указалъ Прокопъ на добродушнѣйшаго старичка, который, проходя мимо и увидѣвъ, что собралась порядочная кучка бесѣдующихъ, остановился и съ наивнѣйшимъ видомъ прислушивался къ разговору.

— Пожалуйста, финиссѐ... прошу!—продолжалъ умолять Пырковъ.

— Чего финиссѐ! Вотъ выпить съ тобой—я готовъ, да и то, чтобъ бутылка за семью печатями была! А другихъ дѣловъ имѣть не согласенъ! Потому ты сейчасъ: либо конфектъ отъ Эйнема подаришь, либо пирогомъ съ начинкой угостишь! Ужъ это вѣрно!

И что̀-жъ? черезъ какіе-нибудь полчаса и Прокопъ и Пырковъ сидѣли за однимъ столомъ и дружелюбнѣйшимъ образомъ чокались, что̀, впрочемъ, не мѣшало Прокопу отъ времени до времени язвить:

— А ужъ что ты тогда покойника подъ постель спряталъ—это, братъ, вѣрно!

Въ другой разъ, за обѣдомъ у одного изъ почтеннѣй-

шихъ лицъ города, я услышалъ отъ сосѣда слѣдующій наивный разсказъ о двоеженствѣ нашего амфитріона:

— Служили они, знаете, въ Польшѣ-съ... ну, молоды-съ... полечки тамъ, паненочки... сейчасъ руку и сердце-съ. Вотъ только, женившись, и спохватились они, что дурно это сдѣлали. Приданаго за паненочкой—обтрепанный хвостъ-съ, а родители у нихъ престрогіе-съ. Вотъ и говорятъ они своей коханой-съ: «я, говоритъ, душенька, къ старикамъ съѣзжу, а ты, говоритъ, послѣ пріѣдешь, какъ я подготовлю ихъ». Сказано—сдѣлано-съ. Пріѣзжаютъ это въ наши палестины, а тѣмъ временемъ родители-то ужъ вдову для нихъ приготовили. Двѣнадцать тысячъ душъ-съ. Задумались-съ. Однако, какъ увидѣли, что отъ ихней теперича рѣшительности все будущее счастіе въ зависимости состоитъ, довольно-таки твердо выговорили: «согласенъ-съ». А потомъ, не говоря худого слова, веселымъ пиркомъ да за свадебку-съ. Пошли тутъ пиры да банкеты; они было въ Варшаву, для устройства служебныхъ дѣлъ—куда тебѣ! Наша вдовушка такъ во вкусъ вошла, что и слышать ничего не хочетъ-съ! Только проходитъ три мѣсяца, четыре-съ, получаютъ нашъ Петръ Иванычъ изъ Варшавы письмо за письмомъ-съ! А наконецъ и рѣшительное-съ. «Не знаю, говоритъ, что̀ и подумать, коханый мой Петрусь (это она по-польски его Петрусемъ называла), я же безъ тебя не могу жить, а потому и выѣзжаю завтрашняго числа къ тебѣ». Ну-съ, и въ другое время непріятно, знаете, этакую конфекту получить, а у нихъ, кромѣ того, еще балъ на другой день въ подгородномъ имѣніи на всю губернію назначенъ-съ. Вотъ и открылись они Кузьмѣ Тихонычу—вонъ они, съ большими-то усами, по правую руку отъ нихъ сидятъ:—«такъ и такъ, говорятъ, устрой!» И что-же-съ! на другой день идетъ это балъ, кадрели, вальсы, все какъ слѣдуетъ—вдругъ входитъ Кузьма Тихонычъ, подходитъ къ хозяину и только, знаете, шепнулъ на ушко: «алле!» И представьте себѣ, никто даже не замѣтилъ, какъ они съ Кузьмой Тихонычемъ въ Незнамовку съѣздили (почтовая станція такъ называется, верстахъ въ четырехъ отъ ихъ имѣнія), какъ тамъ свое дѣло сдѣлали и обратно оттуда пріѣхали. И такой это пріятный балъ былъ, что долгое время вся губернія о немъ говорила! А паненочки съ тѣхъ поръ и слѣдъ простылъ. Сказывали, будто въ Незнамовкѣ стаканъ воды выпила-съ. Такъ вотъ, сударь, какіе встарину люди-то живали! Этакое, можно сказать, особли-

вой важности дѣло сдѣлалось, а они хоть бы видъ подали!

. . . . . .

Такимъ образомъ реальность моихъ сновидѣній не можетъ подлежать сомнѣнію. Если я самъ лично и никого не обокралъ, а тѣмъ менѣе лишилъ жизни, то во всякомъ случаѣ имѣю полное основаніе сказать: я тамъ былъ, медъ-пиво пилъ, по усамъ текло... а чортъ его знаетъ, можетъ-быть, и въ ротъ попало!

Итакъ, продолжаю.

Я умеръ; но такъ какъ смерть моя произошла только во снѣ, то само собою разумѣется, что я могъ продолжать видѣть и все то, что случилось послѣ смерти моей.

Прокопъ мигомъ очистилъ мою шкатулку. Тамъ было пропасть всякаго рода цѣнныхъ бумагъ на предъявителя, но онъ оставилъ только двѣ акціи рыбинско-бологовской желѣзной дороги, да и то лишь для того, чтобы не могли сказать, что дворянина одной съ нимъ губерніи (очень онъ на этотъ счетъ щекотливъ!) нѐ на что было похоронить. Все остальное запихалъ онъ въ свои карманы и даже за голенища сапоговъ.

Потомъ Прокопъ посѣтилъ мой чемоданъ, и такъ какъ нельзя было взять вещей очень громоздкихъ, то укралъ (кажется, я въ правѣ употребить это выраженіе?) два батистовыхъ носовыхъ платка. Затѣмъ онъ вскрылъ мой дорожный несессеръ и укралъ оттуда чайную серебряную ложку.

Исполнивши все это, Прокопъ остановился посреди комнаты и нѣкоторое время осовѣлыми глазами озирался кругомъ, какъ бы нѣчто обдумывая. Но я—я совершенно ясно видѣлъ, что у него въ головѣ уже зрѣетъ защитительная рѣчь: «Я не укралъ,—говорилъ онъ себѣ:—я только устранилъ билеты изъ мѣста ихъ прежняго нахожденія!» Очевидно, онъ уже заразился петербургскимъ воздухомъ; онъ воровалъ безъ провинціальной непосредственности, а разсчитывая напередъ, какіе могутъ быть у него шансы для оправданія.

Затѣмъ онъ отеръ украденнымъ платкомъ лицо, позвалъ номерного... и заплакалъ!!

Это были до такой степени настоящія слезы, что мнѣ сдѣлалось жутко. Видя, какъ онѣ текутъ по его лоснящимся щекамъ, я чувствовалъ, что умираю все больше и больше. Казалось, я погружаюсь въ какую-то бездонную тьму, въ

которой не можетъ быть рѣчи ни объ уликѣ, ни объ отмщеніи. Здѣсь не было достаточной устойчивости даже для того, чтобы задержать слѣдъ какого бы то ни было дѣйствія. Забвеніе—и далѣе ничего...

Но я ошибался. Мой мститель или, лучше сказать, мститель моихъ законныхъ наслѣдниковъ былъ налицо.

То былъ номерной Гаврило. Очевидно, онъ наблюдалъ въ какую-нибудь щель и имѣлъ настолько вѣрное понятіе насчетъ цѣнности прокоповыхъ слезъ, что когда Прокопъ, всхлипывая и указывая на мое бездыханное тѣло, сказалъ:— Вотъ, братъ, Гаврилушка (прежде онъ никогда не называлъ его иначе, какъ Гаврюшкой), единственный другъ былъ на землѣ—и тотъ померъ!—то Гаврило до такой степени иронически взглянулъ на него, что Прокопъ сразу все понялъ.

Тогда произошелъ между ними разговоръ, который неизгладимо напечатлѣлся въ безсмертной душѣ моей.

— Видѣлъ?

— Смотрѣлъ-съ.

— Однако, братъ, ты шельма!

— По нашей части, сударь, безъ того нельзя-съ.

— Вотъ тебѣ три серебра!

Прокопъ протянулъ зеленую кредитку; но Гаврило стоялъ съ заложенными за спину руками и не прикасался къ подачкѣ.

— Что-жъ не берешь!

— Какъ возможно-съ.

— Рожна, что ли, тебѣ нужно? Ну, сказывай!

— А вотъ какъ-съ. Тысячу рублей деньгами, да изъ платья, да изъ бѣлья—это чтобы сейчасъ. А впослѣдствіи, по смерть мою, чтобы кормить-поить, жалованья десять рублей въ мѣсяцъ... вина ведро-съ.

— Да ты очумѣлъ?

— Это какъ вамъ угодно-съ. Угодно—сейчасъ можно людей скричать-съ!

— Стой! мы вотъ какъ сдѣлаемъ. Деньги тебѣ сейчасъ—сто рублей...

— Никакъ невозможно-съ.

— Да ты слушай! Денегъ сейчасъ тебѣ сто... ну, двѣсти рублей. Да слушай же, братецъ, не торопись. Денегъ сейчасъ тебѣ... ну, триста рублей. Потомъ увезу я тебя къ себѣ въ деревню и сдѣлаю надъ всѣми моими имѣніями въ родѣ какъ оберъ-мажордомомъ... понимаешь?

— А какое будетъ въ деревнѣ положеніе?

— Жалованья—пятнадцать рублей въ мѣсяцъ. Одежда, пища, вино—это само собой.

Гаврило однако-жъ мялся.

— Сумнительно, сударь,—наконецъ произнесъ онъ:— какъ бы послѣ обиды отъ васъ не было. Многіе вотъ такъ-то обѣщаютъ, а послѣ, гляди, свидѣтелевъ-то на тотъ свѣтъ угодить норовятъ.

Но я уже видѣлъ, что колебанія Гаврилы не могутъ быть продолжительны. Дѣйствительно, Прокопъ набавилъ всего полтину въ мѣсяцъ—и торгъ былъ заключенъ. Тутъ же Прокопъ вынулъ изъ кармана триста рублей, затѣмъ вытащилъ изъ чемодана двѣ рубашки, всѣ носовые платки, новый сюртукъ (я только-что сдѣлалъ его у Тедески) и вручилъ добычу Гаврюшкѣ.

Никогда я такъ ясно не ощущалъ, что душа моя безсмертна, и въ то же время никогда съ такою опредѣленностью не сознавалъ, до какой степени можетъ быть безпомощною, безсильною моя безсмертная душа!

Я могъ рѣять въ эмпиреяхъ, могъ съ быстротой молніи перелетать черезъ громаднѣйшія пространства, могъ все видѣть, все слышать, могъ страдать и негодовать, но не могъ одного: не могъ воспрепятствовать грабежу моихъ наслѣдственныхъ и благопріобрѣтенныхъ капиталовъ.

Черезъ часъ въ моемъ номерѣ уже ходили взадъ и впередъ какія-то неизвѣстныя личности (изъ нихъ только одна была мнѣ знакома—это поручикъ Хватовъ), которыя описывали, опечатывали, составляли протоколы, однимъ словомъ, принимали такъ-называемыя охранительныя мѣры. И никто изъ нихъ не удивился, что въ моей шкатулкѣ оказалось всего-на-все двѣ акціи рыбинско-бологовской желѣзной дороги, да старинная копеечка, которою когда-то благословила дѣдушку Матвѣя Иваныча какая-то нищенка. Никому не показалось страннымъ, что у меня нѣтъ *ни одного* носового платка. Никому не пришло въ голову поинтересоваться, отчего у Прокопа такъ безобразно оттопырились карманы пиджака. «Пришли, понюхали—и ушли». Одинъ Хватовъ на мгновеніе какъ бы удивился.

— Скажите на милость!—воскликнулъ онъ, обращаясь къ Прокопу:—я вѣдь, признаться, воображалъ, что они—милліонщики!

— Ну да, держи карманъ—милліонщики! Въ прежнее время—это точно, и изъ помѣщиковъ милліонщики бывали!

а съ тѣхъ поръ какъ прошла надъ нами эта эмансипація—всѣмъ намъ одна цѣна: грошъ! Конечно, вотъ кабы дали на концессіи разжиться—ну, тогда слова нѣтъ; да и тутъ подлецъ Мерзавскій надулъ!

— Сс...

— Ужъ такъ были бѣдны! такъ бѣдны!—лгалъ, въ свою очередь, и Гаврюшка:—какъ только дотянули! Третьяго-дня подходятъ это ко мнѣ: «Гаврилушка, говорятъ, дай на два дня три цѣлковыхъ!»

Издержки по погребенію моего тѣла принялъ Прокопъ на свой счетъ и, надо отдать ему справедливость, устроилъ похороны очень прилично. Прекраснѣйшія дроги, шесть поповъ, хоръ пѣвчихъ и цѣлый взводъ факельщиковъ, а сзади громаднѣйшій кортежъ, въ которомъ приняли участіе всѣ находящіеся въ Петербургѣ налицо кадыки. На могилѣ моей одинъ изъ кадыковъ началъ говорить, что душа безсмертна, но зарыдалъ и не кончилъ. Видя это, отецъ протоіерей поспѣшилъ на выручку.

— Достославный боляринъ!—произнесъ онъ, обращаясь къ моему гробу:—не будемъ много глаголати, но скажемъ кратко. Что̀ означаетъ сіе торжество? Сіе торжество прискорбное, ибо оно означаетъ, что душа твоя оставила насъ, друзей и присныхъ твоихъ! Но сіе торжество и радостное, ибо отколѣ бѣжала душа твоя и куда воспарила? Она бѣжала отъ прегорькія сей юдоли и воспарила въ высоты! Днесь вкушаетъ она отъ трапезы благоуготованной и благоучрежденной! Вкушай же, душе! вкушай пищу благопотребную, вкушай вѣчно! Мы же, воспоминая о тебѣ, друже нашъ, да не постыдимся!

Эти слова были сигналомъ къ отъѣзду кортежа въ ближайшую кухмистерскую, гдѣ Прокопъ заказалъ погребальный обѣдъ. Ѣли: щи, приготовленныя кухаркой Карнѣевой, московскихъ поросятъ съ кашей, осетрину по-русски, жареную телятину и ледникъ (мороженое). И я имѣлъ удовольствіе видѣть, какъ во щи капали прокоповы слезы и нимало не портили ихъ.

По-настоящему, на этомъ мѣстѣ мнѣ слѣдовало проснуться. Умеръ, ограбленъ, погребенъ—чего ждать еще болѣе? Но послѣ продолжительнаго пьянственнаго бдѣнія организмъ мой требовалъ не менѣе продолжительнаго освѣженія сномъ, а потому сновидѣнія слѣдовали за сновидѣніями, не прерываясь. И при этомъ съ замѣчательнымъ упорствомъ продолжали разрабатывать разъ начатую тему ограбленія.

Душа моя не могла болѣе выдерживать зрѣлища проколовой безнаказанности — и воспарила. А однажды воспаривши, мой духъ совершенно естественно очутился въ господской усадьбѣ при деревнѣ Проплёванной.

На этотъ разъ, впрочемъ, сонная фантазія не представляла мнѣ никакихъ преувеличеній. Передъ умственнымъ взоромъ моимъ дѣйствительно стояла моя собственная усадьба, съ потемнѣвшими отъ дождя стѣнами, съ составленными изъ кусочковъ стекла окнами, съ проржавѣвшею крышей, съ завалившеюся оранжереей, съ занесенными снѣгомъ въ саду дорожками, однимъ словомъ, со всѣми признаками несомнѣнной опальности, въ которую ввергла ее такъ-называемая «катастрофа».

Зимній вечеръ близится къ концу; въ окнахъ усадьбы тамъ и самъ мелькаетъ свѣтъ. Я незримо пробираюсь въ домъ и застаю моихъ присныхъ въ гостиной. Тутъ и сестрица Машенька, и сестрица Дашенька, и племянницы Фофочка и Лелечка. Онѣ сидятъ съ работой въ рукахъ и при трепетномъ свѣтѣ сальной свѣчи разсуждаютъ, что̀ было бы, да какъ бы оно сдѣлалось, если бы...

При жизни сестрицы меня ненавидѣли и въ то же время любили. Какъ было имъ не ненавидѣть меня? Я былъ богатъ, онѣ—бѣдны! И чѣмъ быстрѣе я обогащался, тѣмъ быстрѣе росла моя холодность къ нимъ. Сколько разъ онѣ умоляли меня (разумѣется, каждая съ глазу на глазъ и по секрету отъ другой) дозволить имъ «походить» за мной, а ежели не имъ, то вотъ хоть Фофочкѣ или Лелечкѣ. И я всякій разъ съ безпримѣрною въ семейныхъ лѣтописяхъ черствостью отказывался. Мало того: я не просто отказывался, но и язвилъ при этомъ. Еще недавно, передъ самымъ отъѣздомъ моимъ въ послѣдній разъ въ Петербургъ, Дарья Ивановна, несмотря на распутицу, прискакала ко мнѣ изъ Ветлуги и уговаривала довѣриться ей.

— Неровёнъ часъ, братецъ,—говорила она:—и занеможется вамъ, и другое что̀ случится—все лучше, какъ родной человѣкъ подлѣ! Принять, подать...

— Вотъ сестра Марья тоже просится..

Я сказалъ это нарочно, ибо зналъ, что одно упоминовеніе имени сестрицы Машеньки выведетъ сестрицу Дашеньку изъ себя. И дѣйствительно, Дарья Ивановна немедленно понеслась на всѣхъ парусахъ. Ужъ лучше перваго встрѣчнаго наемника, чѣмъ Марью Ивановну! Разбойникъ съ большой дороги—и у того сердце мягче, добрѣе, нежели у

Марьи Ивановны! Марья Ивановна! да развѣ не ясно, какъ дважды-два—четыре, что она способна насыпать яду, задушить подушками, зарубить топоромъ!

— Развѣ примѣры-то эти, братецъ, не бывали?!

Тѣмъ не менѣе я остался глухъ ко всѣмъ просьбамъ и предложеніямъ и за то имѣлъ удовольствіе видѣть, какая глубокая ненависть блестѣла въ глазахъ обѣихъ сестрицъ, когда онѣ прощались со мной, отправляясь обратно въ Ветлугу.

Но въ то же время онѣ не могли и не любить меня. Кошка усматриваетъ вдали кусокъ сала, и такъ какъ опытъ прошлыхъ дней доказываетъ, что этого куска ей не видать какъ своихъ ушей, то она естественнымъ образомъ начинаетъ ненавидѣть его. Но—увы!—мотивъ ненависти фальшивый. Не сало она ненавидитъ, а судьбу, разлучающую ее съ нимъ. Напрасно старается она забыть о салѣ, напрасно отворачивается отъ него, начинаетъ замывать лапкой мордочку, ловить зубами блохъ и проч. Сало—такая вещь, не любить которую невозможно. И вотъ она принимается любить его. Любить—и въ то же время ненавидѣть...

А развѣ я не былъ именно такимъ кускомъ сала для моихъ сестрицъ?

Онѣ до того любили меня, что ради меня даже другъ друга возненавидѣли. Не существовало на свѣтѣ той клеветы, того подозрѣнія, о которомъ не было бы заявлено въ нашихъ интимныхъ семейныхъ бесѣдахъ. И Фофочка и Лелечка,—все переплелось, перепуталось въ этой безконечной сѣти любвей и ненавистей, которую нерукотворно сплела семейная связь. «И легъ и всталъ», «походя воруетъ», «грабитъ», «добро изъ дому тащитъ» —таковъ былъ созданный временемъ семейный нашъ лексиконъ, и ежели этотъ безсмысленный винигретъ всевозможныхъ противорѣчій, увертокъ и оговорокъ могъ казаться для посторонняго человѣка забавнымъ, то жить въ немъ, играть въ немъ дѣятельную роль — было просто нестерпимо.

— И что вы грызетесь!—говорилъ я имъ иногда подъ добрую руку:—каждой изъ васъ по двугривенному дать—за-глаза довольно, а вы вотъ думаете милліонъ послѣ меня найти и добромъ подѣлить не хотите: все какъ бы одной захапать!

— Это не я, братецъ, это сестрица Даша! Это она за-

вистлива; а мнѣ что! Я и своимъ предовольна-довольна!— оправдывалась сестрица Марья Ивановна.

— Это не'я, братецъ, это сестрица Маша! мнѣ что! Это она завистлива, а я и своимъ предовольна-довольна!—въ свою очередь оправдывалась сестрица Дарья Ивановна.

И такимъ образомъ въ взаимныхъ поклепахъ шло время, покуда мои милліоны не очутились въ рукахъ Прокопа.

Итакъ, сестрицы сидѣли въ гостиной усадьбы Проплёванной и толковали. Взаимное горе соединило ихъ, но поводы для взаимной ненависти чувствовались еще живѣе. Для каждой каждая представлялась единственною причиной обманутыхъ надеждъ и случившагося разорѐнія. Если бы не Машенькины интриги — братецъ навѣрное отказалъ бы свой милліонъ Дашенькѣ, и наоборотъ. Хотя же усадьба Проплёванная и принадлежала имъ несомнѣнно, но большого утѣшенія въ этомъ онѣ не видѣли. Во-первыхъ, трудно подѣлить землю: кому отдать просто худородную землю, кому—болота и пески? Во-вторыхъ—домъ: неминучее дѣло продать его за безцѣнокъ на свозъ: отдать Машенькѣ—будетъ протестовать Дашенька; отдать Дашенькѣ—будетъ протестовать Машенька. Кончится тѣмъ, что придется выписать изъ Петербурга адвоката, который и присудитъ себѣ Проплёванную за труды. Слѣдовательно въ будущемъ видѣлись только ссоры, утучненіе адвоката и безконечное, безвыходное галдѣніе. И куда дѣлся этотъ милліонъ? Вотъ кабы онъ былъ налицо, такъ тогда, точно, подѣлить было бы не трудно! Вотъ вамъ, Марья Ивановна, пятьсотъ тысячъ; а вотъ вамъ, Дарья Ивановна, пятьсотъ тысячъ. Это была бы такая свѣтлая, такая лучезарная возможность, что на ней сестрицы позабыли даже о взаимной враждѣ своей.

— Самъ! самъ передъ отъѣздомъ въ Петербургъ говорилъ: «милліона, говоритъ, добромъ подѣлить не хотите!»— восклицаетъ сестрица Марья Ивановна и отъ волненія даже вскакиваетъ съ мѣста и грозится куда-то въ пространство кулакомъ.

— Сама собственными ушами слышала, какъ говорилъ «милліона, говоритъ, добромъ подѣлить не хотите!» — вторитъ съ невольнымъ увлеченіемъ сестрица Дарья Ивановна.

Фофочка, Лелечка, Нисочка, Аннинька пожимаютъ плечиками и, шепелявя на институтскій манеръ, произносятъ:

— Это ужасно! Это ужъ Богъ знаетъ что!

— И куда этотъ милліонъ дѣвался?

— Точно въ прорву какую этотъ милліонъ провалился!

— То-есть руку на отсѣченье отдаю, что Прокопка-мерзавецъ его укралъ!

— Онъ, онъ, онъ! Кому другому украсть, какъ не ему, мерзавцу!

— Сказываютъ, нашъ-то пьяница такъ и не разставался съ нимъ въ послѣднее время! Куда нашъ пропоецъ идетъ— глядишь, и подлецъ за нимъ слѣдомъ!

— А я такъ слышала: еще гдѣ до свѣту, добрые люди отъ заутрени возвращаются, а они ужъ въ трактиръ пьянствовать бѣгутъ! Вотъ и допьянствовался голубчикъ!

— У нашего-то, говорятъ, даже глаза напослѣдокъ отъ пьянства остановились!

— Какъ не остановиться! съ утра до вечера водку жралъ! Тутъ хоть желѣзный будь, а глаза выпучишь!

Я слушаю эти разговоры, и мнѣ дѣлается такъ жаль, такъ жаль моихъ бѣдныхъ сестрицъ! Правда, что онѣ не совсѣмъ-то вѣжливо обо мнѣ отзываются, но вѣдь и я съ ними поступилъ... ахъ, какъ я поступилъ! Шутка сказать— милліонъ! Чье сердце не содрогнется при этомъ словѣ! И какъ удачно этотъ Прокопъ дѣло обдѣлалъ! Ни малѣйшаго усложненія! Ни взлома, ни словоохотливой любовницы, ни даже глупой родственницы, которая иначе не помирилась бы, какъ на подложномъ завѣщаніи, и потомъ стала бы этимъ завѣщаніемъ его же, Прокопа, всю жизнь шпиговать! Ничего! Взялъ, укралъ—и былъ таковъ!

Но часы бьютъ одиннадцать, и сестрицы расходятся по угламъ. Тѣмъ не менѣе сонъ долгое время не смежаетъ ихъ глазъ; какъ тѣни, бродятъ онѣ, каждая въ своемъ углу, и все мечтаютъ, все мечтаютъ.

«Ужъ кабы я на мѣстѣ Прокопки-подлеца была, — мечтаетъ сестрица Марья Ивановна:—ужъ, кажется, такъ бы... такъ бы! Ну, вотъ ни съ эстолько этой Дашкѣ-паскудѣ не оставила бы!»

Сестрица отмѣриваетъ на мизинцѣ самую крохотную частицу и какъ-то такъ загадочно улыбается, что нельзя даже опредѣлить, что̀ въ этой улыбкѣ играетъ главную роль: блаженство или злорадство.

«Ужъ кабы я на мѣстѣ подлеца-Прокопки была, — съ своей стороны мечтаетъ сестрица Дарья Ивановна: — ужъ, кажется, такъ бы... такъ бы! Ну, вотъ ни съ эстолько эта Машка-паскуда отъ меня бы не увидѣла!»

И тоже отмѣриваетъ крохотную частицу на мизинцѣ и тоже улыбается загадочно блаженно-злорадною улыбкой...

Минутное сожалѣніе, которое я только-что почувствовалъ-было къ сестрицамъ, смѣняется негодованіемъ. Мнѣ думается: если несомнѣнно, что украла бы Маша, украла бы Даша, то почему же нельзя было украсть Прокопу? Развѣ кража, совершенная «кровными», имѣетъ какой-нибудь особенный вкусъ противъ кражи, совершенной посторонними?

И въ умѣ моемъ невольно возникаетъ вопросъ: что̀ могло бы случиться, если-бъ мой милліонъ былъ устраненъ изъ своего первоначальнаго помѣщенія не Прокопомъ, а, напримѣръ, сестрицей Машей?

Во-первыхъ, для меня, или, лучше сказать, для моего тѣла—послѣдствія были бы самыя скверныя.

Хотя я и знаю, что Прокопъ проѣдаетъ свое послѣднее выкупное свидѣтельство, но покуда онъ еще не проѣлъ его, онъ сохраняетъ всѣ внѣшніе признаки человѣка достаточнаго, живущаго въ свое удовольствіе. Слѣдовательно, обокравши меня, онъ, по крайней мѣрѣ, имѣлъ полную возможность дать полный просторъ чувству благодарности, наполнявшему его сердце. Онъ *могъ* нанять прекраснѣйшія дроги для моего гроба, *могъ* устроить для меня погребеніе съ шестью попами и обѣдъ у кухмистера. И если-бъ выискался вольнодумецъ, который сказалъ: «вотъ какъ свободно можетъ человѣкъ распоряжаться награбленными деньгами!»—Прокопъ могъ бы, въ видѣ опроверженія, вынуть изъ кармана *свое собственное* выкупное свидѣтельство и сунуть его вольнодумцу подъ носъ: «вотъ оно!»

Напротивъ того, ограбь меня сестрица Маша — о великолѣпіи, сопровождавшемъ мое погребеніе, не могло бы быть и помину. Будучи состоянія бѣднаго и погребая брата, оставившаго послѣ себя только старинную копеечку да двѣ акціи рыбинско-бологовской желѣзной дороги, она, для того только, *чтобы не обличить самоё себя,* обязывалась бы продолжать притворяться нищей и сократить расходы по погребенію до послѣдней крайности. Прощай попы, прощай факельщики, прощай великолѣпный кортежъ кадыковъ! Кто знаетъ, не было ли бы мое тѣло въ такомъ случаѣ погребено гдѣ-нибудь на островѣ Голодаѣ? И имѣла ли бы тогда возможность душа моя парить, негодовать, ликовать и вообще испытывать всякаго рода ощущенія, какъ она дѣлаетъ это теперь, когда тѣло мое, по милости

Прокопа, погребено въ I-мъ классѣ Волковскаго кладбища?

Стало-быть, съ точки зрѣнія моего тѣла, еще бабушка на-двое сказала, выгоднѣе ли было бы, если-бъ меня обокрала сестрица Маша, а не Прокопъ.

Во-вторыхъ, *для моего капитала*—послѣдствія были бы едва ли менѣе невыгодны. Обладая *своимъ собственнымъ* выкупнымъ свидѣтельствомъ, Прокопъ, подъ его эгидой, имѣетъ полную возможность пустить въ ходъ мои деньги. Онъ можетъ и у Бореля кредитъ себѣ открыть, и около Шнейдерши походить, а пожалуй, чего добраго, и концессію получить. И никто не имѣетъ юридическаго основанія сказать: «вотъ какъ человѣкъ на награбленныя деньги кутитъ!» А такъ какъ я и самъ при жизни любилъ, чтобъ мой капиталъ имѣлъ обращеніе постоянное и быстрое, то душа моя можетъ только радоваться, что въ рукахъ Прокопа онъ не прекращаетъ своего теченія, не дѣлается мертвымъ.

Напротивъ того, сестрица Маша прежде всего вынуждена была бы скрыть мои таланты отъ всѣхъ взоровъ, потому что всякому слишкомъ хорошо извѣстно, что собственно у нея нѣтъ даже мѣднаго гроша за душой. Но скрыть — этого еще недостаточно. Она обязывалась даже теперешніе свои расходы сократить до невозможности, потому что подозрительные глаза сестрицы Даши съ бдительностью аргуса слѣдили бы за каждымъ ея шагомъ. Купила Маша фунтъ икры — сейчасъ Даша: «а Машка-воровка нынче ужъ икру походя ѣстъ!» Сшила Маша Нисочкѣ ситцевое платьице—сейчасъ Даша: «а видѣли вы, какъ воровка-то наша принцессу свою вырядила?!» Чѣмъ могло бы кончиться это ужасное преслѣдованіе? А вотъ чѣмъ: въ одно прекрасное утро, убѣдясь, что украденный капиталъ принесъ ей только терзанія, Маша съ отчаянія бросила бы его въ отхожее мѣсто... Каково было бы смотрѣть на это душѣ моей!

Стало-быть, какъ ни кинь, а выходитъ, что даже лучше, что меня обокралъ Прокопъ, а не сестрицы.

Но въ ту минуту, когда я пришелъ къ этому заключенію, должно-быть, я вновь перевернулся на другой бокъ, потому что сонная моя фантазія вдругъ оставила родныя сѣни и перенесла меня, по малой мѣрѣ, верстъ за пятьсотъ отъ деревни Проплёванной.

Я очутился въ усадьбѣ Прокопа. Онъ сидѣлъ у себя въ

кабинетѣ; передъ нимъ, въ позѣ болѣе нежели развязной, стоялъ Гаврюшка.

Прокопъ постарѣлъ, посѣдѣлъ и осунулся. Онъ глядѣлъ исподлобья, но когда, по временамъ, вскидывалъ глаза, то отъ нихъ исходилъ какой-то хищный, фальшивый блескъ. Что-то среднее между «убью!» и «боюсь!» видѣлось въ этихъ глазахъ.

Очевидно было, что устраненіе моихъ денегъ изъ первоначальнаго ихъ помѣщенія не прошло ему даромъ, и что въ его жизнь проникло новое начало, дотолѣ совершенно ей чуждое. Это начало — всегдашнее, никогда не оставляющее человѣка, совершившаго рискованное предпріятіе по присвоенію чужой собственности, опасеніе, что вотъ-вотъ сейчасъ все кончится, соединенное съ чувствомъ унизительнѣйшей зависимости вотъ отъ этого самаго Гаврюшки, который въ эту минуту въ такой нахальной позѣ стоялъ передъ нимъ.

И дѣйствительно, стоило лишь взглянуть на Гаврюшку, чтобъ понять всю горечь прокопова существованія. Правда, Гаврюшка еще не сидѣлъ, а стоялъ передъ Прокопомъ, но по отставленной впередъ ногѣ, по развязно-заложеннымъ между петлями сюртука пальцамъ руки, по осовѣлымъ глазамъ, которыми онъ съ наглѣйшею самоувѣренностью озирался кругомъ, можно было догадываться, что вотъ-вотъ онъ сейчасъ возьметъ да и сядетъ.

— На что̀-жъ это теперича похоже-съ! — докладывалъ Гаврюшка: — я ему говорю: предоставь мнѣ Аннушку, а онъ, вмѣсто того, чтобъ угожденіе сдѣлать...

— Да пойми ты, ради Христа! развѣ могу я его заставить? такіе ли теперь порядки у насъ? Вотъ кабы лѣтъ пятнадцать долой — ну, тогда точно! Развѣ жалко мнѣ Аннушки-то?

— Это какъ вамъ угодно-съ. И прежде вы барины были, и теперь барины состоите... А только доложу вамъ, что сжели, паче чаянья, и дальше у насъ такъ пойдетъ — большіе у насъ будутъ съ вами нелады!

— Да опомнись ты! чего тебѣ отъ меня еще нужно? Сколько ты денегъ высосалъ! сколько винища одного вылакалъ! Натко съ чѣмъ еще присталъ: Аннушку ему предоставь! Ну, ты умный человѣкъ! ну, скажи же ты мнѣ, какъ я могу его принудить уступить тебѣ Аннушку? Умный ли ты человѣкъ, или нѣтъ?

— Опять-таки это какъ вамъ угодно. А я съ своей

стороны полагаю такъ: вмѣстѣ похищеніе сдѣлали—вмѣстѣ, значитъ, и отвѣчать будемъ.

— Вотъ видишь ли, какъ ты со мной говоришь! Ну, какъ ты со мной говоришь! Кабы ежели ты настоящій человѣкъ былъ, ну, смѣлъ ли бы ты со мной такъ говорить! Гдѣ у тебя рука?

— Гдѣ же рука-съ! при мнѣ-съ!

— То-то вотъ «при мнѣ-съ»! Развѣ такъ отвѣчаютъ? Развѣ смѣлъ бы ты мнѣ такимъ родомъ отвѣтить, кабы ты человѣкъ былъ! «При мнѣ-съ!» А я вотъ тебѣ, свиньѣ, снисхожу! Зачѣмъ снисхожу? Оказалъ ты мнѣ услугу — я помню это и снисхожу! Вотъ и ты, кабы ты былъ человѣкъ, а не свинья, тоже бы понималъ!

— А я, напротивъ того, такъ понимаю, что съ моей стороны къ вамъ снисхожденіевъ не въ примѣръ больше было. И коли ежели изъ насъ кто свинья, такъ скорѣе всего вы противъ меня свиньей себя показали!

Я ожидалъ, что Прокопъ раздеретъ на себѣ ризы и, во всякомъ случаѣ, хоть одну скулу да своротитъ Гаврюшкѣ на сторону. Но онъ только зарычалъ, и притомъ такъ деликатно, что лишь безсмертная душа моя могла слышать это рычаніе.

— Для тебя ли, подлецъ, мало дѣлается!—говорилъ онъ, дѣлая неимовѣрныя усилія, чтобъ сообщить своему голосу возможно-мягкіе тоны:—мало ли тебѣ въ прорву-то пихали! Вспомни... искаріотъ ты этакій! Заставилъ ли я тебя, каналья ты этакая, когда-нибудь хоть пальцемъ о палецъ ударить? И за что̀ только тиранишь ты меня, безчувственный ты скотъ?

— Это какъ вамъ угодно-съ. Только я такъ полагаю, что ежели мы вмѣстѣ похищеніе дѣлали, такъ вмѣстѣ, значитъ, слѣдуетъ намъ и линію эту вести. А то какой же мнѣ теперича, значитъ, разсчетъ! Вотъ вы, сударь, на диванѣ теперича сидите—а я стою-съ! Или опять: вы за столомъ кушаете, а я, какъ какой-нибудь холопъ—въ застольной-съ... На что̀ похоже!

И Гаврюшка до того забылся, что началъ даже кричать. А такъ какъ онъ съ утра былъ пьянъ (очевидно, съ самаго дня моего погребенія онъ ни одной минуты не былъ трезвъ), то къ крику присоединились слезы.

Прокопъ нѣкоторое время смотрѣлъ на него съ выпученными глазами, но наконецъ-таки обнялъ всю необъятность гаврюшкиныхъ претензій и не выдержалъ, то-есть съ поднятыми дланями устремился къ негодяю.

— Вонъ... курицынъ сынъ!—гремѣлъ онъ, не помня себя.

— Это какъ вамъ угодно-съ. Только какое вы слово теперича мнѣ сказали... ахъ, какое это слово! Ну, да и отвѣтите же вы передо мной за это ваше слово!

Гаврюшка съ шикомъ повернулся на каблукахъ и, не торопясь, вышелъ изъ кабинета. А Прокопъ продолжалъ стоять на мѣстѣ, ошеломленный и уничтоженный. Наконецъ онъ однако-жъ очнулся и быстро зашагалъ по комнатѣ.

— Каждый день такъ! каждый день! — слышалось мнѣ его невнятное бормотаніе.

Прокопъ былъ несчастливъ. Онъ укралъ милліонъ и не только не получилъ отъ того утѣшенія, но убѣдился самымъ нагляднымъ образомъ, что совершилъ кражу исключительно на пользу Гаврюшки. Онъ не могъ ни одной копейки изъ этого капитала употребить производительно, потому что Гаврюшка былъ всегда тутъ и, при первой попыткѣ Прокопа что-нибудь пріобрѣсти, замѣчалъ: «а вѣдь мы вмѣстѣ деньги-то воровали». Стало-быть, положеніе Прокопа было, приблизительно, такое же, какъ и то, которое душа моя рисовала для сестрицы Марьи Ивановны, если-бъ не Прокопъ, а она украла мои деньги. Вездѣ и всегда Гаврюшка! Онъ болталъ безъ умолку и если еще не выболталъ тайны во всемъ ея составѣ, то о многомъ уже далъ подозрѣвать. Самое присутствіе Гаврюшки въ имѣніи, льготы, которыми онъ пользовался, нахальное его поведеніе—все это уже представляло богатую пищу для догадокъ. Дворовые уже шепчутся между собою, а шопотъ этихъ людей—первый знакъ, что нѣчто должно случиться. Прокопъ видѣлъ это, и у него готова была лопнуть голова при мысли, что изъ его положенія только два выхода: или самоубійство, или...

И Прокопъ все шагалъ и шагалъ, какъ будто усиливаясь прогнать ехидную мысль.

— И кто же бы на моемъ мѣстѣ не сдѣлалъ этого!—бормоталъ онъ:—кто бы свое упустилъ! Хоть бы эта самая Машка или Дашка—ну, развѣ онѣ не воспользовались бы? А вѣдь онѣ, по настоящему-то, даже и сказать не могутъ, зачѣмъ имъ деньги нужны! Вотъ мнѣ, напримѣръ... ну, я... что бы, напримѣръ... ну, пятьдесятъ бы стипендій пожертвовалъ... Театръ тамъ «Буффъ», что ли... тьфу! А имъ на что? Такъ, жадность одна!

Но ехидная мысль: «или самоубійство, или...», разъ забравшись въ голову, наступаетъ все больше и больше. На-

прасно онъ хочетъ освободиться отъ нея при помощи разсужденій о томъ, какое можно бы сдѣлать полезное употребленіе изъ украденнаго капитала: она тутъ, она жжетъ и преслѣдуетъ его.

— Позвать Андрея!—наконецъ кричитъ онъ въ переднюю.

Андрей—старый дядька Прокопа, въ настоящее время исправляющій у него должность мажордома. Это старикъ добрѣйшій, неспособный муху обидѣть, но за всѣмъ тѣмъ Прокопъ очень хорошо знаетъ, что ради него и его интересовъ Андрей готовъ даже на злодѣяніе.

— Надо намъ отъ этого Гаврюшки освободиться!—обращается Прокопъ къ старому дядькѣ.

— И что̀ за причина такая?—вздыхаетъ на это Андрей.

— Ну, братъ, причина тамъ или не причина, а надо намъ отъ него освободиться!

— Въ шею бы его, сударь!

— Кабы можно было въ шею, развѣ сталъ бы я съ тобой, дуракомъ, разговаривать!

Наступаетъ нѣсколько минутъ молчанія. Прокопъ ходитъ по кабинету и постепенно все больше и больше волнуется. Андрей вздыхаетъ.

— Надо его вотъ такъ!..—наконецъ произноситъ Прокопъ, дѣлая правою рукою жестъ, какъ будто прищелкиваетъ большимъ пальцемъ блоху.

— Да вѣдь и то, сударь, съ утра до вечера винище трескаетъ, а все лопнуть не можетъ!—объясняетъ Андрей и, по обыкновенію своему, прибавляетъ:—и что̀ за причина такая—понять нельзя!

Опять молчаніе.

— Дурману бы...—произноситъ Прокопъ и какими-то такими безстрастными глазами смотритъ на Андрея, что мнѣ становится страшно.

Я вижу, что преступленіе, совершенное въ минуту моей смерти, не должно остаться безслѣднымъ. Теперь уже идетъ дѣло о другомъ, болѣе тяжеломъ преступленіи, и кто знаетъ, быть-можетъ, невдолгѣ этотъ самый Андрей... Не потребуется ли устранить и его, какъ свидѣтеля и участника совершенныхъ злодѣяній? А тамъ—Кузьму, Ивана, Петра? Душа моя съ негодованіемъ отвращается отъ этого зрѣлища и спѣшитъ оставить кабинетъ Прокопа, чтобы направить полетъ свой въ людскую.

Тамъ идетъ говоръ и гомонъ. Дворовые хлебаютъ щи.

Гаврюшка, совсѣмъ ужъ пьяный, сидитъ между ними и безобразничаетъ.

— Мнѣ бы, по настоящему, совсѣмъ не съ вами, свиньями, сидѣть надо!—говоритъ онъ.

— Что̀ говорить! И то тебя баринъ ужо̀ за столъ съ собой посадитъ!—поддразниваетъ его кто-то изъ дворовыхъ.

— А то не посадитъ? Посадитъ, коли прикажу! Баринъ! великъ твой баринъ! Онъ баринъ, а я противъ него слово имѣю—вотъ что̀!

— Какое же такое слово, Гаврилушка? И что̀ такое ты противъ барина можешь, коли онъ тебя сію минуту и всячески наказать, и даже въ Сибирь сослать можетъ?

— А такое слово... воръ!!

Рѣчь эта нѣсколько озадачиваетъ дворовыхъ, но такъ какъ крѣпостное право ужъ уничтожено, то смущеніе, произведенное словомъ «воръ», проходитъ довольно быстро. Къ Гаврюшкѣ начинаютъ приставать, требовать объясненій; дальше—больше...

И вотъ, въ тотъ самый вечеръ, камердинеръ Семенъ, получивши отъ Прокопа затрещину за то, что, снимая съ него на ночь сапоги, нечаянно тронулъ баринову мозоль, не только не стерпѣлъ, по обыкновенію, нанесеннаго ему оскорбленія, но прямо такъ-таки выпалилъ Прокопу въ лицо:

— Отъ вора да еще плюхи получать—это ужъ не порядки!

При такой неожиданной апострофѣ Прокопъ до того растерялся, что даже не нашелся сказать слова въ отвѣтъ.

Вся его жизнь прошла передъ нимъ въ эту ночь. Вспомнилось и дѣтство, и служба въ гусарскомъ полку, и сватовство, и рожденіе перваго ребенка... Но все это проходило передъ его умственнымъ взоромъ какъ-то смутно, какъ бы для того только, чтобы составить горькій контрастъ тому безвыходному положенію, ужасъ котораго онъ въ настоящую минуту испытывалъ на себѣ. Одна только мысль была совершенно ясна: «зачѣмъ я это сдѣлалъ?» но и она была до того очевидно-безплодна, что останавливаться на ней значило только безполезно мучить себя. Но бываютъ въ жизни минуты, когда только такія мысли и преслѣдуютъ, которыя имѣютъ привилегію вгонять человѣка въ потъ. Другая мысль, составлявшая неизбѣжное

продолженіе первой: «вотъ сейчасъ... сейчасъ, сію минуту... вотъ!»—была до того мучительна, что Прокопъ стремительно вскакивалъ съ постели и начиналъ бродить взадъ и впередъ по спальнѣ.

— Всѣхъ!—бормоталъ онъ:—всѣхъ!

Однако-жъ нелѣпость этой угрозы была до того очевидна, что онъ едва успѣвалъ вымолвить ее, какъ тутъ же начиналъ скрипѣть зубами и съ кажимъ-то безсильнымъ отчаяніемъ сучить руками.

— Всѣмъ!—продолжалъ онъ, вдругъ измѣняя направленіе своихъ мыслей:—всѣмъ съ завтрашняго же дня двойное жалованье положу! А ужъ Гаврюшку-подлеца изведу! Изведу я тебя, мерзкій ты, неблагодарный ты человѣкъ!

Прокопъ шагалъ и скрипѣлъ зубами. Онъ злобствовалъ тѣмъ болѣе, что его же собственная мысль доказывала ему всю непрактичность его предположеній. Развѣ Гаврюшка одинъ?—подсказывала эта мысль.—Нѣтъ, онъ былъ одинъ только до тѣхъ поръ, пока нѣмотствовали его уста. Теперь куда ни оглянись—вездѣ Гаврюшки! Сегодня ихъ двадцать; завтра—будетъ сто, тысяча. Да опять и то: за что̀ имъ платить? за что̀? Развѣ они что-нибудь заслужили? Развѣ они видѣли, помогали, скрыли? Ну, Гаврюшка... это такъ! Онъ видѣлъ, и все такое... Онъ былъ въ правѣ требовать, чтобъ ему платили! А то, натко, съ боку-припеку, нашлась цѣлая орава охотниковъ—и всѣмъ плати!

— Да будь я анаѳема-проклятъ, если хоть копейку вы отъ меня увидите... м-м-мерзавцы!—задыхается Прокопъ.

И онъ шагаетъ безъ сна до тѣхъ поръ, пока розоперстая аврора не освѣщаетъ спальни лучами своими.

Утромъ онъ узнаетъ, что Гаврюшка исчезъ неизвѣстно куда...

А сестрица Марья Ивановна уже успѣла тѣмъ временемъ кой-что пронюхать, и вотъ въ одно прекрасное утро Прокопу докладываютъ, что изъ города пріѣхалъ къ нему въ усадьбу адвокатъ.

Адвокатъ—молодой человѣкъ самой изящной наружности. Онъ одѣтъ въ щегольскую коротенькую визитку; волосы аккуратно расчесаны à la Jésus; лицо чистое, бѣлое, слегка лоснящееся; отъ каждой части тѣла пахнетъ особыми, той части присвоенными, духами. Улыбка очаровательная; жестъ мягкій, изысканный; произношеніе такое, что вотъ такъ и слышится: а хочешь, сейчасъ по-французски заговорю! Прокопъ въ первую минуту думаетъ, что

это женихъ, пріѣхавшій свататься къ старшей его дочери.

— Я пріѣхалъ къ вамъ,—начинаетъ адвокатъ:—по одному дѣлу, которое для меня самого крайне прискорбно. Но... vous savez... вы знаете... наше ремесло... впрочемъ, au fond, что же въ этомъ ремеслѣ постыднаго?

Сердце Прокопа болѣзненно сжимается, но онъ перемогаетъ себя и прерываетъ рѣчь своего собесѣдника вопросомъ:

— Позвольте... въ чемъ дѣло-съ?!

— Итакъ, приступимъ къ дѣлу. Въ сущности, это бездѣлица—une misère! И ежели вы будете настолько любезны, чтобъ пойти на нѣкоторыя уступочки, то бездѣлица эта сама собой... et ma foi! il n'en sera plus question! Итакъ, приступимъ. Нѣсколько времени тому назадъ, въ chambres garnies, содержимыхъ нѣкоторою ревельскою гражданкою Либкнехтъ, умеръ одинъ господинъ, котораго молва называла милліонеромъ. Я вамъ сознаюсь по совѣсти: существованіе этихъ милліоновъ еще не доказано, но въ то же время, entre nous soit dit, оно *можетъ* быть доказано, и доказано безъ труда. Итакъ, въ видахъ упрощенія нашихъ переговоровъ, допустимъ, что это ужъ дѣло доказанное, что милліоны были, что во всякомъ случаѣ они *могли* быть, что наконецъ...

— Позвольте-съ... умеръ... милліоны... Не понимаю, при чемъ же тутъ я?—все еще храбрится Прокопъ.

— Я понимаю, что вамъ понять не легко, но въ то же время надѣюсь, что если вы будете такъ добры подарить мнѣ нѣсколько минутъ вниманія, то дѣло, о которомъ идетъ рѣчь, для васъ самихъ будетъ ясно, какъ день. Итакъ, продолжаю. Въ номерахъ нѣкоей Либкнехтъ умеръ нѣкоторый милліонеръ, при которомъ въ минуту смерти не было ни родныхъ, ни знакомыхъ—словомъ, никто изъ тѣхъ близкихъ и дорогихъ сердцу людей, присутствіе которыхъ облегчаетъ человѣку переходъ въ лучшую жизнь. Здѣсь былъ только одинъ человѣкъ, и этотъ-то одинъ человѣкъ, который называлъ себя другомъ умиравшаго, и закрылъ ему глаза...

— Прекрасно-съ! это прекрасно-съ! Называлъ себя другомъ! закрылъ глаза! Скажите, какое важное преступленіе!—все еще бодрилъ себя Прокопъ.

— Покуда преступленія, дѣйствительно, еще нѣтъ. Закрыть глаза другу—это даже похвально. Да и вообще я

долженъ предупредить васъ, что я и въ дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ этого друга не вижу ничего такого... однимъ словомъ, непохвальнаго. Я не ригористъ, Dieu merci. Я понимаю, что только Богу приличествуетъ судить тайныя побужденія человѣческаго сердца, самъ же лично смотрю на человѣческія дѣйствія лишь съ точки зрѣнія наносимыхъ ими потерь и ущербовъ. Конечно, быть-можетъ, на судѣ, когда наступитъ приличная обстоятельствамъ минута— я отъ всего сердца желаю, чтобы эта минута не наступила никогда!—я тоже буду вынужденъ квалифицировать извѣстныя дѣйствія извѣстнаго «друга» присвоеннымъ имъ въ законѣ именемъ; но теперь, когда мы говоримъ съ вами, какъ порядочный человѣкъ съ порядочнымъ человѣкомъ, когда мы находимся въ такой обстановкѣ, въ которой ничто не говоритъ о преступленіи, когда, наконецъ, надежда на соглашеніе еще не покинула меня...

— Ну, да! это значитъ, что вамъ хочется что-нибудь съ меня стянуть—такъ, что ли?

— «Стянуть»—ce n'est pas le vrai mot, но сознаюсь откровенно, что если бы вы пошли на соглашеніе, я услышалъ бы объ этомъ съ большимъ, съ величайшимъ, можно сказать, удовольствіемъ!

— Съ кѣмъ же на соглашеніе? съ Машкой? съ Дашкой?

— Въ настоящую минуту я еще не нахожу удобнымъ открыть вамъ, кто въ этомъ дѣлѣ истецъ. Вообще, съ потерпѣвшею стороной... Я полагаю, что покамѣстъ это и для васъ совершенно безразлично.

— Однако, братъ, ты фификусъ!—вдругъ произноситъ Прокопъ съ какою-то горькою ироніей.

Но видно, что кроткое введеніе молодого адвоката уже привело его въ то раздраженное состояніе, когда человѣку, какъ говорится, ни усидѣть, ни устоять нельзя. Съ судорожнымъ подергиваніемъ во всемъ организмѣ, съ рычаніемъ въ груди, вскакиваетъ онъ со стула и начинаетъ обычное маятное движеніе взадъ и впередъ по комнатѣ. По временамъ изъ устъ его вылетаютъ легкія ругательства. А молодой человѣкъ между тѣмъ такъ ясно, такъ безмятежно смотритъ на него, какъ будто хочетъ сказать: а согласись однако, что въ настоящую минуту нѣтъ ни одного сустава въ цѣломъ твоемъ организмѣ, который бы не болѣлъ!

— А знаете ли вы, сударь, русскую пословицу: «съ сильнымъ не борись, съ богатымъ не тянись»?—вопрошаетъ

наконецъ Прокопъ, останавливаясь передъ молодымъ человѣкомъ.

— Помилуйте! я затѣмъ и адвокатъ, чтобы знать всѣ прекраснѣйшія наши пословицы!

— Ну-съ, и что же?

— И за всѣмъ тѣмъ намѣреній своихъ измѣнить не могу-съ. Я отнюдь не скрываю отъ себя трудностей предстоящей мнѣ задачи; я знаю, что мнѣ придется упорно бороться и многое преодолѣвать; но—ma foi!—я надѣюсь! И повѣрите ли, прежде всего я надѣюсь на васъ! Вы сами придете мнѣ на помощь, вы сами снимете съ меня часть того бремени, которое я такъ неохотно взялъ на себя нести!

— Ну, ужъ это, кажется... дудки!

— Нѣтъ-съ, это совсѣмъ не такъ страшно, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда. Во-первыхъ, вамъ предстоитъ публичный и—не могу скрыть—очень и очень скандальный процессъ. При открытыхъ дверяхъ-съ. Во-вторыхъ, вы, конечно, безъ труда согласитесь понять, что пожертвовать десятками тысячъ для васъ все-таки выгоднѣе, нежели рисковать сотнями, а быть-можетъ—кто будетъ такъ смѣлъ, чтобы прозрѣть въ будущее?—и потерей всего вашего состоянія.

— «Десятками тысячъ»! однако это шутка! Ни дай, ни вынеси за что—плати десятки тысячъ!

— Позвольте, мы, кажется, продолжаемъ не понимать другъ друга. Вы изволите говорить, что платить тутъ не за что, а я, напротивъ того, придерживаюсь объ этомъ предметѣ совершенно противоположнаго мнѣнія. Поэтому я постараюсь вновь разъяснить вамъ обстоятельства настоящаго дѣла. Итакъ, приступимъ. Нѣсколько времени тому назадъ, въ Петербургѣ, въ Гороховой улицѣ, въ chambres garnies, содержимыхъ ревельскою гражданкою Либкнехтъ...

— Да ты видѣлъ, что-ли, какъ я укралъ?

— Pardon!.. Я констатирую, что выраженіе: «укралъ» никогда не было мною употреблено. Конечно, быть-можетъ, въ судѣ... печальная обязанность... но здѣсь, въ этой комнатѣ, я сказалъ только: нѣсколько времени тому назадъ, въ Петербургѣ, въ Гороховой улицѣ, въ chambres garnies...

Любопытно было видѣть, съ какою милою непринужденностью этотъ молодой и, повидимому, даже тщедушный мышенокъ игралъ съ такимъ старымъ и матерымъ котомъ, какъ Прокопъ, и заставлялъ его жаться и дрожать отъ боли. Наконецъ Прокопъ не выдержалъ.

— Стой!—зарычалъ онъ въ неистовствѣ:—срыву? сколько надобно?

— Помилуйте... срыву! развѣ я далъ поводъ предполагать?..

— Да ты не мямли! сказывай, сколько?

— Ежели такъ, то, конечно, я буду откровененъ. Прежде всего я охотно допускаю, что исходъ процесса неизвѣстенъ, и что, слѣдовательно, надежды на обратное полученіе милліона не могутъ быть названы вполнѣ вѣрными. Поэтому потерпѣвшая сторона *можетъ* и даже *должна* удовлетвориться возмѣщеніемъ лишь части понесеннаго ею ущерба. Въ этихъ видахъ, а равно и въ видахъ округленія цифръ, я полагалъ бы справедливымъ и достаточнымъ... ограничить наши требованія суммой въ сто тысячъ рублей.

— Натко! выкуси!

Прокопъ сдѣлалъ при этомъ такой мало-употребительный жестъ, что даже молодой человѣкъ, несмотря на врожденную ему готовность, утратилъ на минуту ясность души и сталъ готовиться къ отъѣзду.

— Стой! пять тысячъ на бѣдность! Довольно?

Молодой человѣкъ обидѣлся.

— Я рѣшительно замѣчаю,—сказалъ онъ:—что мы не понимаемъ другъ друга. Я допускаю, конечно, что вы можетъ желать сбавки пяти... ну, десяти процентовъ съ рубля... Но предлагать вознагражденіе до того ничтожное, и потомъ въ такой странной формѣ...

— Ну, сядемъ... будемъ разговаривать. За что̀ же я, по вашему, вознагражденіе-то долженъ дать?

— Я полагаю, что этотъ предметъ нами уже исчерпанъ, и что насчетъ его не можетъ быть даже недоразумѣній. Дѣло идетъ вовсе не о *правѣ* на вознагражденіе,—это право всѣ всякаго спора,—а лишь о размѣрѣ его. Я надѣюсь, что это наконецъ ясно.

— Ну, хорошо. Положимъ. Поддѣли вы меня—это такъ. Ходите вы, шатуны, по улицамъ и примѣчаете, не сблудилъ ли кто,—это ужъ хлѣбъ такой нынче у васъ завелся. Я вотъ тебя въ глаза никогда не видалъ, а ты мной здѣсь орудуешь. Такъ дери же, братецъ, ты съ меня по-божески, а не такъ, какъ разбойники на большихъ дорогахъ грабятъ! Не все же по семи шкуръ драть, а ты пожалѣй! Ну, согласись на десяти тысячахъ помириться? Сказывай! сейчасъ и деньги на столъ выложу!

Молодого человѣка слегка передергиваетъ.. Съ минуту

онъ колеблется, но колебаніе это длится именно не больше одной минуты, и твердость духа окончательно торжествуетъ.

— Извольте,—говоритъ онъ:—для васъ девяносто тысячъ. Менѣе—ей-Богу—не въ состояніи!

— Да ты говори по совѣсти! Вѣдь десять тысячъ—это какія деньги! Сколько дѣловъ на десять тысячъ сдѣлать можно! Вѣдь и Дашкѣ твоей, и Машкѣ—обѣимъ имъ вмѣстѣ красная цѣна грошъ! Имъ десяти-то тысячъ и не прожить! Куда имъ! пойми ты меня, ради Христа!

— Я все очень хорошо понимаю-съ, но позвольте вамъ доложить: тутъ дѣло идетъ совсѣмъ не о какихъ-то неизвѣстныхъ мнѣ Машкахъ или Дашкахъ, а о возстановленіи нарушеннаго права! Вотъ на что я хотѣлъ бы обратить ваше вниманіе!

— Ну, да! и возстановленія, и упраздненія—все это мы знаемъ! Слыхали. Сами прожекты объ упраздненіяхъ писывали!

Я не стану описывать дальнѣйшаго разговора. Это былъ ужъ не разговоръ, а какой-то ни съ чѣмъ несообразный сумбуръ, въ которомъ ничего невозможно было разобрать, кромѣ: «пойми же ты!», да «слыхано ли?», да «держи карманъ, нашелъ дурака!» Я долженъ, впрочемъ, сознаться, что требованія адвоката были довольно умѣренны, и что подъ конецъ онъ даже уменьшилъ ихъ до восьмидесяти тысячъ. Но Прокопъ, какъ говорится, осатанѣлъ: не идетъ далѣе десяти тысячъ—и баста. И при этомъ такъ неосторожно выражается, что такъ-таки напрямки и говоритъ:

— Милліонъ просужу, а тебѣ, прохвосту, копейки не дамъ!

Съ тѣмъ адвокатъ и ушелъ.

Дальнѣйшія подробности этого замѣчательнаго сновидѣнія представляются мнѣ довольно смутно. Помню, что было слѣдствіе и былъ судъ. Помню, что Прокопъ то и дѣло таскалъ изъ копилки деньги. Помню, что сестрица Машенька и сестрица Дашенька, внимая разсказамъ о безумныхъ затратахъ Прокопа, вздыхали и облизывались. Наконецъ помню и залу суда.

Рѣчи, то пламенныя, то язвительныя, неслись потокомъ; присяжные засѣдатели обливались потомъ; съ прокоповой женой случилась истерика; Гаврюшка, противъ всякаго чаянія, коснѣющимъ языкомъ показывалъ:

— Ничего этого не было, и никому я этого не говорилъ. Я человѣкъ пьяный, слабый, а что жилъ я у ихъ

благородія въ оберъ-мажордомахъ—это конечно; и отказу мнѣ въ винѣ не было—это всегда могу сказать!

Наконецъ формулированы и вопросы для присяжныхъ...

Но какіе это были странные вопросы! Именно только во снѣ могло представиться что-нибудь подобное!

Вопросъ первый: Согласно ли съ обстоятельствами дѣла поступилъ Прокопъ, воспользовавшись единоличнымъ своимъ присутствіемъ при смертныхъ минутахъ такого-то (имя рекъ), дабы устранить изъ первоначальнаго помѣщенія принадлежавшія послѣднему цѣнности на сумму, приблизительно, въ милліонъ рублей серебромъ?

Вопросъ второй: Не поступили ли бы точно такимъ же образомъ родственницы покойнаго, являющіяся въ настоящемъ дѣлѣ въ качествѣ истицъ, если бы были въ такихъ же обстоятельствахъ, то-есть единолично присутствовали при смертныхъ минутахъ милліоновладѣльца и имѣли легкую возможность секретно устранить изъ первоначальнаго помѣщенія принадлежавшій ему милліонъ?

Душа моя такъ и ахнула.

Черезъ минуту отвѣты ужъ были готовы (до такой степени присяжные засѣдатели были тверды въ вѣрѣ!).

На первый вопросъ: Да; строго-согласно съ обстоятельствами дѣла.

На второй вопросъ: Да; поступили бы, и притомъ не оставя даже двухъ акцій рыбинско-бологовской желѣзной дороги!

Одинъ изъ засѣдателей простеръ свое усердіе до того, что, не удовольствовавшись симъ краткимъ исповѣданіемъ своихъ убѣжденій, зычнымъ голосомъ воскликнулъ:

— Свое—да упускать! Этакъ и по-міру скоро пойдешь!

Прокопъ сіялъ; со всѣхъ сторонъ его обнимали, нюхали и осыпали поцѣлуями.

Одинъ молодой адвокатъ глядѣлъ какъ-то томно и былъ какъ бы обезкураженъ; правда, я слышалъ, какъ онъ сквозь зубы процѣдилъ:

— Ну, нѣтъ, messieurs, еще роберъ не весь сыгранъ! О, нѣтъ, сыграна еще только первая партія!

Но внутренно онъ, конечно, скорбѣлъ, что не примирился съ Прокопомъ въ десяти тысячахъ.

Я проснулся съ отяжелѣвшею, почти разбитою головой. Тѣмъ не менѣе хитросплетенія недавняго сна представлялись мнѣ съ такою ясностью, какъ будто это была самая

яркая, самая несомнѣнная дѣйствительность. Я даже бросился искать мой милліонъ и, нашедши въ шкатулкѣ послѣднее мое выкупное свидѣтельство, обрадовался ему, какъ родному отцу.

— Однако-таки оставилъ!—вырвалось у меня изъ груди.

Но черезъ минуту я опять вспомнилъ о милліонѣ и, продолжая бредить, такъ сказать, наяву, предался размышленіямъ самаго горькаго свойства.

«Какъ жить?—думалось мнѣ:—какъ оградить свою собственность? какъ обезпечить права присныхъ и кровныхъ? «Согласно съ обстоятельствами дѣла»!—шутка сказать! Развѣ можно украсть не согласно съ обстоятельствами дѣла? Нѣтъ, надо бѣжать! Непремѣнно куда-нибудь скрыться, затеряться, забыть! Не денегъ жалко—нѣтъ! Деньги—дѣло наживное! Вотъ выйду изъ номера, стану играть оставшимися двумя акціями рыбинско-бологовской желѣзной дороги—и доиграюсь опять до милліона! Не денегъ—нѣтъ!—жаль этого дорогого принципа собственности, этого, такъ сказать, палладіума... Но куда бѣжать? въ провинцію? Но тамъ Петръ Ивановичъ Дракинъ, Сергѣй Васильичъ Хлобыстовскій... Вѣдь они уже притаились... они уже стерегутъ! Я вижу отсюда, какъ они стерегутъ!!»

И я готовъ былъ окончательно расчувствоваться, какъ въ комнату мою, словно буря, влетѣлъ Прокопъ.

— Обложили!—кричалъ онъ неистово:—обложили!

— Кого? когда? какимъ образомъ?

— Сами себя! на этихъ дняхъ! кругомъ!.. Ну, то-есть, просто вплотную!

Но объ этомъ въ слѣдующей главѣ.

Глава V.

Очевидно, рѣчь шла или о подоходномъ налогѣ, или о всесословной рекрутской повинности. А можетъ-быть, и о томъ и о другомъ разомъ.

Прокопъ былъ внѣ себя; онъ, какъ говорится, и рвалъ и металъ. Я всегда зналъ, что онъ ругатель по природѣ, но и за всѣмъ тѣмъ былъ изумленъ. Такихъ ругательствъ, какія въ эту минуту расточали уста его, я, признаюсь, даже въ соединенномъ рязанско-тамбовско-саратовско-воронежскомъ клубѣ не слыхивалъ.

— Успокойся, душа моя!—умолялъ я его:—въ чемъ дѣло?

— Да ты, съ маймистами-то пьянствуя, видно, не слыхалъ, что на свѣтѣ дѣлается! Сами себя, любезный другъ, обкладываемъ! Сами въ петлю лѣземъ! Солдатчину на дѣтей своихъ накликаемъ! Новые налоги выдумываемъ! Нѣтъ, ты мнѣ скажи—глупость-то какая!

— Напротивъ того, я вижу тутъ прекраснѣйшій порывъ чувствъ!

— Фофанъ ты—вотъ что! Вездѣ-то у васъ порывъ чувствъ, все-то вы свысока невѣжничаете, а коли поближе на васъ посмотрѣть—именно только глупость одна! Ну, гдѣ же это видано, чтобы человѣкъ тосковалъ о томъ, что съ него денегъ не берутъ или въ солдаты его не отдаютъ!

— Однако согласись, что нельзя же допускать такую неравномѣрность! вѣдь берутъ же деньги съ *другихъ*! отдаютъ же *другихъ* въ солдаты!

— Да вѣдь *другихъ*-то и порютъ! Порютъ вѣдь, милый ты человѣкъ! Такъ отчего же у тебя не явится порыва чувствъ попросить, чтобы и тебя заодно пороли?!

Признаюсь откровенно, вопросъ этотъ былъ для меня не новъ; но я какъ-то всегда уклонялся отъ его разрѣшенія. И деньги, покуда ихъ еще не требуютъ, я готовъ отдать съ удовольствіемъ, и въ солдаты, покуда еще не зовутъ на службу, идти готовъ; но какъ только зайдетъ вопросъ о всесословныхъ поронцахъ (хотя бы даже только въ теоріи), инстинктивно какъ-то стараешься замять его. Не лежитъ сердце къ этому вопросу—да и полно! «Ну, тамъ какъ-нибудь», или: «будемъ надѣяться, что дальнѣйшіе успѣхи цивилизаціи»—вотъ фразы, которыя обыкновенно произносятъ уста мои въ подобныхъ случаяхъ, и хотя я очень хорошо понимаю, что фразы эти ничего не разъясняютъ, но, можетъ-быть, именно потому-то и говорю ихъ, что дѣйствительное разъясненіе этого предмета только завело бы меня въ безвыходный лабиринтъ.

Эта боязнь взглянуть вопросу прямо въ лицо всегда угнетала меня. И я тѣмъ болѣе не могу простить ее себѣ, что въ душѣ и даже на бумагѣ я одинъ изъ самыхъ горячихъ поклонниковъ равенства. Ужъ если драть, такъ драть всѣхъ поголовно и неупустительно—нельзя сказать, чтобъ я не понималъ этого. Но я не имѣю настолько твердости въ характерѣ, чтобъ быть совершенно послѣдовательнымъ, то-есть просить и даже требовать для самого себя права быть поротымъ. Иногда я иду даже далѣе идеи

простого равенства передъ драньемъ и формулирую свою мысль такъ: ужъ если не драть одного, то не будетъ ли еще подходящѣе не драть никого? Кажется, что можетъ быть радикальнѣе! Но и тутъ опять овладѣваетъ мною малодушіе... Да какъ это никого не драть? Да вѣдь этакъ, пожалуй, мы и Бога-то позабудемъ! И кончается дѣло тѣмъ, что я порѣшаю съ моими сомнѣніями при помощи заранѣе проштудированныхъ фразъ: ну, тамъ какъ-нибудь... будемъ надѣяться, что дальнѣйшіе успѣхи цивилизаціи... съ одной стороны, оно, конечно... и т. д.

Такъ точно поступилъ я и теперь.

— Послушай, душа моя,—сказалъ я Прокопу:—какая у тебя однако-жъ странная манера! Ты всегда поставишь вопросъ на такую почву, на которой просто всякій обмѣнъ мыслей дѣлается невозможнымъ! Вѣдь это нельзя!

И, говоря такимъ образомъ, я постепенно такъ разгорячился, что даже возвысилъ голосъ и нѣсколько разъ сряду въ упоръ Прокопу повторилъ:

— Это нельзя! нѣтъ, это нельзя!

— Что нельзя-то? Ты не грозись на меня, а сказывай прямо: отчего ты не просишь, чтобы тебя, по примѣру «другихъ», пороли? Ну, говори! не виляй!

— Послушай, если я еще въ сороковыхъ годахъ написалъ «Маланью», то, мнѣ кажется, этого достаточно... Наконецъ я безвозмездно отдалъ крестьянамъ четыре десятины очень хорошей земли... Понимаешь ли—*безвозмездно!!*

— Ну, а я «Маланьи» не писалъ и никакой земли безвозмездно не отдавалъ, а потому какъ оно тамъ—не знаю. И поронцы похулить не хочу, потому что безъ этого тоже нельзя. Сѣчь—какъ не сѣчь? сѣчь нужно! Да самъ-то я, другъ ты мой любезный, поротымъ быть не желаю!

— Но я не понимаю, какое же можетъ быть отношеніе между поронцами, какъ ты ихъ называешь, и, напримѣръ, всесословною рекрутскою повинностью?

— Гдѣ тебѣ понять! У тебя вѣдь порывъ чувствъ! А вотъ какъ у меня два сына растутъ, такъ я понимаю!

Прокопъ былъ въ такомъ волненіи, въ какомъ я никогда не видалъ его. Онъ былъ блѣденъ и, повидимому, совершенно искренно разстроенъ.

— Я это дѣло такъ понимаю,—продолжалъ онъ:—вотъ какъ! Я самъ, братъ, два года взводомъ командовалъ—меня порывами-то не удивишь! Бывало, подойдешь къ солдатику:

ты что, такой-сякой, ротъ-то разинулъ!.. Это сыну-то моему! А! хорошъ сюрпризъ!

— Но позволь... вѣдь успѣхи цивилизаціи...

— Какія тутъ успѣхи цивилизаціи, тутъ убивства будутъ—вотъ что! «Что ты ротъ-то разинулъ!»—ахъ, чортъ подери! Ты понимаешь ли, какъ въ наше время на это благородные люди отвѣчали!

Дѣйствительно, я вспомнилъ, что когда я еще былъ въ школѣ, то какой-то генералъ обозвалъ меня «щенкомъ» за то только, что я зѣвѣвался, идя по улицѣ, и не вытянулся передъ нимъ во фронтъ. И долженъ сознаться, что при одномъ воспоминаніи объ этомъ эпизодѣ моей жизни мнѣ сдѣлалось крайне неловко.

— Или опять этотъ подоходный налогъ!—продолжалъ Прокопъ:—съ чего только бѣсятся! съ жиру, что ли? Держи карманъ—жирны!

При этихъ словахъ я вдругъ вспомнилъ о своемъ милліонѣ и невольнымъ образомъ началъ разсчитывать, сколько должно сойти съ меня налогу, если восторжествуетъ система просто подоходная, и сколько—ежели восторжествуетъ система подоходно-поразрядная.

— Вѣдь знаешь ли,—сказалъ я:—я сегодня во снѣ видѣлъ, что у меня милліонъ.

— Ну, развѣ что во снѣ.

— А если бы однако-жъ у тебя былъ милліонъ — что бы тогда?

— Ну, тогда, пожалуй, и подоходный, и поразрядный—катай на все!

— Однако непослѣдователенъ же ты, душа моя!

— Да пойми же, ради Христа, вѣдь тогда...

Прокопъ, повидимому, хотѣлъ объяснить, что изъ даровому милліона, конечно, ничего не стоитъ уступить сотню-другую тысячъ; но вдругъ опомнился и уставился на меня глазами.

— Фу, чортъ! — воскликнулъ онъ:—да никакъ ты еще не очнулся! о какихъ это ты милліонахъ разговариваешь?

— Нѣтъ, ты не виляй! ты отвѣть прямо: ежели бы...

— «Ежели бы!» Мало чего ежели бы! Вотъ я каждую ночь въ концѣ іюня да въ концѣ декабря во снѣ вижу, что двѣсти тысячъ выигралъ, только толку-то изъ этихъ сновъ нѣтъ!

— А ну какъ выиграешь?

— Кабы выиграть! Ужъ такихъ бы мы дѣловъ съ тобою надѣлали!

— Я бы сейчасъ у Донона текущій счетъ открылъ!

— Дононъ — это само собой. Я бы и въ Парижъ скаталъ—это тоже само собой. Ну, а кромѣ того... Вотъ у меня молотилка уже другой годъ не молотитъ... а тамъ, говорятъ, еще жнеи да сѣноворошилки какія-то есть! Это, братъ, посерьезнѣе, чѣмъ у Донона текущій счетъ открыть.

— Винокуренный заводъ хорошо бы устроить. Про костяное удобреніе тоже пишутъ...

— Ужъ какъ бы не хорошо! Ты пойми, вѣдь теперь хоть бы у меня земля... ну, какая это земля? Вѣдь она холодная! Ну, можетъ ли холодная земля какой-нибудь урожай давать! Ну, а тогда бы...

Разговоръ какъ-то вдругъ смякъ, и мы нѣкоторое время молча похаживали по комнатѣ, сладко вздыхая и еще того слаще соображая и вычисляя.

— И отчего это у насъ ничего не идетъ!— вдругъ какъ-то нечаянно сорвалось у меня съ языка:—машинъ накупимъ — не дѣйствуютъ! удобренія накопимъ видимо-невидимо — не родитъ земля, да и баста! Знаешь что! Я такъ думаю: чѣмъ машины-то покупать, лучше прямо у Донона текущій счетъ открыть—да и покончить на этомъ!

— А что ты думаешь: вѣдь оно, пожалуй...

Сказавши это, Прокопъ опять взглянулъ на меня изумленными глазами, словно сейчасъ пробудился отъ сна.

— Слушай! не мути ты меня, Христа ради!—сказалъ онъ:—вѣдь мы ужъ и такъ наяву бредимъ.

— Отчего же и не побредить, душа моя! вѣдь прежняго не воротишь, а если не воротишь, такъ надо же что-нибудь на мѣсто его вообразить?

— Тоска! Тоски мы своей избыть не можемъ—вотъ что!

Я зналъ, что когда Прокопъ заводитъ разговоръ о тоскѣ, то, въ переводѣ на рязанско-тамбовско-саратовскій жаргонъ, это значитъ: водки и закусить!—и потому поспѣшилъ распорядиться. Черезъ минуту мы дружелюбнѣйшимъ образомъ расхаживали по комнатѣ и постепенно закусывали.

— Не понимаю я одного,— говорилъ я:—какъ ты не признаешь возможности внезапнаго порыва чувствъ!

— Кто? я-то не признаю? я, братъ, даже очень хорошо понимаю, что съ самой этой эмансипаціи мы ничѣмъ другимъ и не занимаемся, кромѣ какъ внезапными порывами чувствъ!

— Ну видишь ли! Сидимъ мы себѣ да помалчиваемъ; другой со стороны посмотритъ: «вотъ, скажетъ, безчувственные!» А мы вдругъ возьмемъ да и вскочимъ: бери все!

— Намъ, значитъ, чтобъ ничего!

— А зачѣмъ намъ? Жить бы только припѣваючи да не знать горя-заботушки—чего еще нужно?

Начался разговоръ о сладостяхъ безпечальнаго житія, безъ крѣпостного права, но съ подоходными и поразрядными налогами, съ всесословною рекрутскою повинностью и т. д. Мало-по-малу перспективы, которыя при этомъ представились, до того развеселили насъ, что мы долгое время стояли другъ противъ друга и хохотали. Однако-жъ постепенно серьезное направленіе мыслей вновь одержало верхъ надъ смѣшливостью.

— А знаешь ли, что̀ мнѣ пришло въ голову,—вдругъ сказалъ я:—вѣдь, можетъ-быть, это они не спроста?

— Что̀ такое не спроста?

— А наши-то обкладываютъ себя. Вотъ теперь они себя обкладываютъ, а потомъ и начнутъ... и начнутъ забирать!

— Да что̀ забирать-то?

— Какъ что̀! чудакъ ты! Да просто возьмутъ да и скажутъ: «мы, скажутъ, сдѣлали удовольствіе, обложили себя, что называется, вплотную; а теперь, дескать, и вы удовольствіе сдѣлайте!»

— Держи карманъ!

— Нѣтъ, да ты вникни! вѣдь это дѣло очень и очень статочное! Возьми хоть Петра Иваныча Дракина—ну, станетъ ли онъ себя обкладывать, коли нѣтъ у него про запасъ загвоздки какой-нибудь?!

— Та и есть загвоздка, что будетъ твой Петръ Иванычъ денежки платить, а сыну его будутъ: «что̀ ты ротъ-то разинулъ!» говорить.

— Однако-жъ деньги-то вѣдь не свой братъ! Коли серьезно-то отдавать ихъ придется... вѣдь это ой-ой-ой!

— Ничего! обойдемся! А коли тошно придется—пардону попросимъ!

— Нѣтъ! какъ хочешь, а что-нибудь тутъ есть! Петръ Иванычъ—онъ прозорливъ!

Но Прокопъ, который только-что передъ тѣмъ запихалъ себѣ въ ротъ огромный кусокъ колбасы, сомнительно покачивалъ головой.

— Вотъ развѣ что̀.—наконецъ произнесъ онъ:—можетъ.

новыхъ мѣстовъ по этому случаю много откроется. Вотъ это—такъ! противъ этого—не спорю!

— Зачѣмъ же тутъ мѣста?

— А какъ же. Навѣрное пойдутъ счеты да отчеты, складки да раскладки, наблюденія, изысканія... Однихъ доносовъ сколько будетъ!

— Гм!.. а что ты думаешь! вѣдь, пожалуй, это и такъ!

— Вѣрно говорю. Сначала вотъ земство тоже бранили, а теперича сколько черезъ это самое земство людей счастливыми себя почитаютъ!

— Что же! если даже только мѣста—вѣдь и это, братъ, шутка не плохая!

— Что говорить. И я въ раскладчики пойду, коли доброе жалованье положатъ!

— А я доносы буду разбирать, коли тысячи двѣ въ годъ дадутъ! Стало-быть, чортъ-то и не такъ страшенъ, какъ его малюютъ! Вотъ ты сюда прибѣжалъ, чуть посуду сгоряча не перебилъ, а посмотрѣлъ да поглядѣлъ—анъ даже выгоду для себя запримѣтилъ!

Прокопъ молча перебиралъ пальцами, какъ будто нѣчто разсчитывалъ.

— Съ тебя что возьмутъ?—продолжалъ я:—ну, триста, четыреста рублей, а жалованья-то двѣ-три тысячи положатъ! А *имъ* вѣдь никогда никакого жалованья не положатъ, а все будутъ брать! все брать!

— И такъ-то, братъ, будутъ брать, что только держись! Это вѣрно.

— Ну, вотъ видишь ли!

Бесѣдуя такимъ образомъ, мы совершенно шутя выпили графинчикъ и, настроивъ себя на чувствительный тонъ, пустились въ разговоры о меньшей братіи.

— Меньшая братія — это, братъ, первое дѣло! — говорилъ я.

— Меньшая братія—это, братъ, штука!—вторилъ Прокопъ.

И — странное дѣло! — ни мнѣ, ни Прокопу не было совѣстно. Напротивъ того, я чувствовалъ, какъ постепенно проходила моя головная боль, и какъ мысли мои все больше и больше яснѣли. Что же касается до Прокопа, то лицо его, подъ конецъ бесѣды, дышало такимъ довѣріемъ, что онъ рѣшился даже тряхнуть стариной и, прощаясь со мной, совсѣмъ неожиданно продекламировалъ:

Въ надеждѣ славы и добра
Иду впередъ я безъ боязни!

— Такъ-то, братъ! — завершилъ онъ: — надо теперь бѣжать домой да письма писать. А то вѣдь и мѣсто намѣтишь, а его у тебя изъ-подъ носа выхватятъ!

Несмотря на будничный исходъ, разговоръ этотъ произвелъ на меня возбуждающее дѣйствіе. Что, въ самомъ дѣлѣ, кроется въ этомъ самообкладываніи? подкопъ ли какой-нибудь, или только вневаный наплывъ чувствъ?

«Или, быть-можетъ, — мелькало у меня въ головѣ: — дѣло объясняется и еще проще. Пришло какому-нибудь либералу-гласному въ голову сказать, что налоги, равномѣрно распредѣляемые, суть единственные, которые, по справедливости, слѣдуетъ назвать равномѣрно распредѣленными! — другимъ эта мысль понравилась, а тамъ и пошла пильня въ ходъ».

Прежде всего я, разумѣется, обратился за разрѣшеніемъ этихъ вопросовъ къ исторіи нашей общественности.

Имѣли ли наши предки какое-нибудь понятіе о подкопахъ? Конечно, имѣли, ибо фрондерство изстари составляло характеристическую черту нашихъ дѣдушекъ и бабушекъ. Они фрондировали въ дворянскихъ собраніяхъ, фрондировали въ клубахъ, фрондировали — устраивая въ пику предержащимъ властямъ благородные спектакли и пикники. Но имъ никогда не приходило на мысль (по крайней мѣрѣ исторія не даетъ ни одного примѣра въ этомъ родѣ), что самообкладываніе есть тоже видъ фрондерства, изъ котораго могутъ выйти для нихъ какія-то якобы права. Какъ люди грубые и неразвитые, они предпочитали пользоваться правами вполнѣ реальными (не весьма нравственными, но все-таки реальными), нежели заглядываться на какія-то якобы права, сущность которыхъ до того темна, что можетъ быть выражена только словами: «кабы»; да «если бы», да «паче чаянія, чего Боже сохрани». Поэтому они обкладывали не себя, а другихъ, обкладывали всякаго, кого имъ было подъ силу обложить, обкладывали безъ энтузіазма и безъ праздной политико-экономической игры словъ. И если бы, напримѣръ, дѣдушкѣ Матвѣю Иванычу кто-нибудь предложилъ поступиться своимъ правомъ обкладывать другихъ и, взамѣнъ того, воспользоваться правомъ обложить самого себя, онъ навѣрное сказалъ бы: «помилуй Богъ! какая же это мѣна?»

И что всего страннѣе, даже мужикъ, въ качествѣ искони обкладываемаго лица, долженствовавшій знать до тонкости

всѣ послѣдствія обложенія—и тотъ никогда не возвышался до мысли, что чѣмъ болѣе его обложатъ, тѣмъ больше выйдетъ изъ этого для него якобы правъ. Какъ человѣкъ, стоящій на реальной почвѣ, онъ зналъ, что двойное, напримѣръ, обложеніе приведетъ за собой для него только одно право: право быть обложеннымъ вдвое—и больше ничего. Поэтому онъ несъ тяготы, доколѣ возможно, то-есть до тѣхъ поръ, пока у него въ сусѣкѣ водилась «пушнина». Какъ скоро изсякала и пушнина, онъ или просилъ пощады, или бунтовалъ на колѣняхъ; но ни въ мольбѣ о пощадѣ, ни въ бунтѣ на колѣняхъ все-таки никакого подкопа не видѣлъ и видѣть не могъ.

Однимъ словомъ, и обкладывающіе, и обкладываемые—всѣ стояли на реальной почвѣ. Одни говорили: «мы обкладываемъ», другіе — «насъ обкладываютъ», и никто изъ этого простѣйшаго акта внутренней политики никакихъ для себя якобы правъ не ожидалъ. Напротивъ того, всякій молчаливо сознавалъ, что самое нестерпимое реальное положеніе все-таки лучше, нежели какія-то «якобы» права.

Затѣмъ, были ли наши предки доступны такъ-называемому наплыву чувствъ?—Я полагаю, что и на этотъ вопросъ никто не рѣшится отвѣчать отрицательно. Дѣды наши не были скопидомы и не тряслись надъ каждою копейкой, изъ чего можно было бы заключить, что они не были способны къ самообложенію изъ энтузіазма. Напротивъ того, по большей части, это были широкія русскія натуры, изъ числа тѣхъ, которымъ, при извѣстной степени возбужденія, самое море по колѣно. Бабушка Дарья Андреевна отказала цырюльнику Прошкѣ каменный домъ въ Москвѣ за то только, что онъ какимъ-то особеннымъ образомъ умѣлъ взбивать ей букли. Дяденька Петръ Петровичъ подарилъ заѣзжему человѣку, маркизу де-Везе, пятьдесятъ дворовъ (замѣчательно, что дяденька и тутъ не удержался, чтобы не пошутить: подарилъ всѣ дворы черезъ дворъ, такъ что вышла неслыханнѣйшая черезполосица, расхлебывать которую пришлось его же наслѣдникамъ) за то, что онъ его утѣшилъ.

— Дарю тебѣ, голоштаннику, пятьдесятъ дворовъ,—сказалъ онъ при этомъ: — чтобы не ѣздилъ ты на будущее время по помѣщикамъ на штаны собирать!

— Oh, monseigneur! — захлебнулся въ отвѣтъ растерявшійся французъ, воздѣвая руки.

Стало-быть, ни въ энтузіазмѣ, ни въ презрѣніи къ ме-

таллу недостатка не было; только примѣненіе ихъ было нѣсколько иное, нежели въ настоящее время. «Бей въ мою голову!», «за все одинъ въ отвѣтѣ!»—такого рода восторженныя восклицанія были до того общеупотребительны, что ни въ комъ даже не возбуждали удивленія. Взирая на эти подвиги человѣческой самоотверженности (я совершенно въ правѣ назвать ихъ таковыми, потому что большинство ихъ все-таки оканчивалось въ уголовной палатѣ), никто не восклицалъ: какое великодушіе!—но всякій считалъ ихъ дѣломъ вполнѣ обыкновеннымъ, нимало не выходящимъ изъ общаго репертуара привилегированныхъ занятій. Но и за всѣмъ тѣмъ, повторяю, никому изъ нашихъ предковъ и на мысль не приходило обкладывать самихъ себя, хотя въ нѣкоторыхъ случаяхъ подобное самообкладываніе, въ смыслѣ удовлетворенія внезапному наплыву чувствъ, могло обойтись даже дешевле, нежели, напримѣръ, подарокъ пятидесяти мужицкихъ дворовъ заѣзжему маркизу де-Безе.

Но ежели ни фрондерство, ни наплывъ чувствъ не могли произвести самообкладыванія, то нужно ли доказывать, что экономическіе вицы, въ родѣ того, что равномѣрность равномѣрна, а равноправность равноправна—были тутъ ни при чемъ! Нѣтъ, объ этомъ нѣтъ надобности даже говорить. Какъ люди интересовъ вполнѣ реальныхъ, наши дѣды не понимали никакихъ вицевъ, а, напротивъ того, очень хорошо понимали, что равномѣрность именно потому и называется равномѣрностью, что она никогда не бываетъ равномѣрною.

Очевидно, стало-быть, что мысль о самообкладываніи принадлежитъ всецѣло намъ, потомкамъ нашихъ предковъ, и должна быть разсматриваема какъ результатъ: во-первыхъ, способности выдерживать наплывъ чувствъ, нѣсколько бо̀льшей противъ той, которою обладали наши предки; во-вторыхъ, вѣчно присущей намъ мысли о якобы правахъ и, въ-третьихъ, нашей страсти къ политико-экономическимъ вицамъ.

Что наплывъ чувствъ, и притомъ съ подкладкой болѣе или менѣе либеральною, составляетъ главную основу нашей теперешней жизни—противъ этого я никакихъ возраженій не имѣю. Всякая либеральная восторженность есть плодъ той привычки къ обобщеніямъ, которою предки наши, какъ люди неразвитые, обладать не могли. Имъ жилось, по-своему, хорошо, но у нихъ былъ очень важный недостатокъ: они не понимали, что другіе тоже имѣютъ основаніе

желать, чтобы и имъ жилось хорошо. Они смотрѣли на вещи исключительно съ точки зрѣнія ихъ конкретности и никогда не примѣчали тѣхъ невидимыхъ нитей, которыя идутъ отъ одного предмета къ другому, взаимно уменьшаютъ пропорціи явленій и дѣлаютъ ихъ солидарными. Поэтому они были, такъ сказать, поставлены даже внѣ возможности обобщать.

Мы въ этомъ отношеніи стоимъ неизмѣримо выше нашихъ предковъ. Мы не только фактически констатируемъ, что между жизненными явленіями существуютъ единственныя нити, но и понимаемъ, что—въ какихъ бы благопріятныхъ условіяхъ ни стоялъ человѣкъ—онъ не можетъ быть вполнѣ счастливымъ, если его окружаютъ несчастливцы. И что же?—странное дѣло! даже этотъ несомнѣнный шагъ впередъ на пути развитія мы какимъ-то образомъ сумѣли свести на нѣтъ! Мы обобщаемъ, но приступаемъ къ обобщенію не прямо, а, такъ сказать, сбоку, или, еще точнѣе, съ задней стороны. Мы не говоримъ: выгоды, которыми я пользуюсь, справедливо распространять и на другихъ, но говоримъ: невыгоды, которыя стѣсняютъ жизнь другихъ, я нахожу справедливымъ распространить и на меня! Допустимъ, что когда мы формулируемъ подобныя положенія, то нами руководитъ самый чистый и искренній либерализмъ, но спрашивается: не примѣшивается ли къ этому либерализму и извѣстная доля легкомыслія? нѣтъ ли тутъ чего-то похожаго на распущенность, на недостатокъ мужества, на совершенную неспособность взглянуть на вопросъ съ дѣятельной стороны?..

Затѣмъ перехожу къ третьему предположенію: къ предположенію о какихъ-то заднихъ мысляхъ.

Есть убѣжденіе, что жизненныя пріобрѣтенія никогда не достигаются иначе, какъ окольными путями. Поэтому благоразумные люди постоянно вопіютъ къ людямъ менѣе благоразумнымъ: остерегитесь! подождите! придетъ время, когда и нашъ грошъ сдѣлается двугривеннымъ.

Я ничего не имѣю ни противъ подобныхъ полезныхъ предостереженій вообще, ни въ особенности противъ самочиннаго превращенія гроша въ двугривенный. Пускай себѣ превращается—это для меня все равно, тѣмъ болѣе, что я на двугривенный смотрю не какъ на особенно-цѣнную монету. Но я совершенно въ правѣ утверждать, что въ обобщеніи невыгодъ, неудобствъ и стѣсненій не только нѣтъ окольнаго пути, но есть даже отсутствіе всякаго пути.

Если бы кто посредствомъ самоубійства вздумалъ доказывать свое право на жизнь — много ли бы онъ доказалъ? Онъ доказалъ бы только, что существовалъ на свѣтѣ несчастливецъ, который не нашелъ другого выхода изъ жизненныхъ запутанностей, кромѣ самаго простого: смерти. Въ самомъ крайнемъ случаѣ, это личный протестъ—и ничего больше. Общее значеніе (впрочемъ, все-таки весьма маленькое) этотъ личный протестъ могъ бы имѣть только тогда, если-бъ онъ имѣлъ возможность отыскать для себя вполнѣ яркое и образное выраженіе, то-есть когда бы всѣ подготовлявшія самоубійство причины могли быть выслѣжены и констатированы. Но представьте себѣ, что въ большей части случаевъ такого рода протесты сводятся къ «найденному на берегу рѣки Пряжки тѣлу неизвѣстнаго человѣка»! Какое странное фіаско! «Тѣло неизвѣстнаго человѣка»! — и это протесты! что же въ немъ однако-жъ есть поучительнаго? И какой практическій результатъ можетъ быть достигнутъ *подобнымъ* окольнымъ путемъ?

Но сторонники мысли о подкопахъ и заднихъ мысляхъ идутъ еще далѣе и утверждаютъ, что тутъ дѣло идетъ не объ однихъ окольныхъ путяхъ, но и о сближеніяхъ. Отказъ отъ привилегій — говорятъ они — знаменуетъ величіе души, а величіе души, въ свою очередь, способствуетъ забвенію старыхъ распрей и счетовъ и приводитъ къ сближеніямъ. И вотъ, дескать, когда мы сблизимся... Но, къ сожалѣнію, и это не болѣе, какъ окольный путь, и притомъ до того ужъ окольный, что можно ходить по немъ до скончанія вѣковъ, все только ходить, а никакъ не приходить.

Я отнюдь не хочу сказать, что человѣчество, на какой бы низкой степени развитія оно ни стояло, неспособно оцѣнивать приносимыя жертвы. Нѣтъ, оно относится къ нимъ сочувственно, но все-таки лишь къ такимъ жертвамъ, которыя имѣютъ характеръ положительный, а не отрицательный. Такія *положительныя* жертвы вовсе не невидаль и не утопія: это жертвы, приносимыя, во-первыхъ, знаніемъ, охотно дѣлящимся своими сокровищами съ незнаніемъ, и, во-вторыхъ, дѣятельнымъ сочувствіемъ къ интересамъ, не находящимъ себѣ, вслѣдствіе несчастно-сложившихся обстоятельствъ, огражденія и защиты. Если я сижу въ деревнѣ, умно веду свое хозяйство и не отказываю въ добромъ совѣтѣ нуждающемуся—я, очевидно, приношу жертву *положительную*. Если я выслушиваю жалобу человѣка, попавшагося впросакъ, угнетеннаго, обиженнаго, прини-

маю эту жалобу къ сердцу, предпринимаю ходатайства, хлопоты — я тоже приношу жертву *положительную*. Такія жертвы *всегда* оцѣниваются по достоинству, и человѣкъ, который приноситъ ихъ, будетъ почтенъ даже въ томъ случаѣ, если онъ несомнѣнно платитъ налоговъ на три копейки меньше противъ сущей справедливости. Но представьте себѣ, что я умѣю только раскладывать пранъ-пасьянсъ и этотъ недостатокъ умственныхъ сокровищъ предполагаю замѣнить гривенникомъ! Представьте себѣ, что къ одному несчастливцу приходитъ другой несчастливецъ и начинаетъ утѣшать его, говоря: «посмотри! я столько же несчастливъ, какъ и ты!» Ужели тутъ есть какая-нибудь жертва? а если и есть жертва, то какое же она можетъ принести за собой утѣшеніе?

Увы! это будетъ утѣшеніе самое микроскопическое, а быть-можетъ, даже и не совсѣмъ хорошаго качества. Утѣшаться общимъ равенствомъ передъ несчастіемъ можно лишь сгоряча; тѣ же люди, которые въ подобныхъ утѣшеніяхъ видятъ нѣчто удовлетворяющее, суть люди несомнѣнно злые и испорченные и, во всякомъ случаѣ, не настолько умные, чтобы отличать облегченія мнимыя отъ облегченій реальныхъ...

Но въ томъ случаѣ, о которомъ идетъ рѣчь въ настоящее время, даже и такого поистинѣ злого утѣшенія не можетъ быть. Тщетно будемъ ожидать забвеній и сближеній при помощи самообкладыванія: зоркій глазъ несчастливца дѣйствительнаго очень тонко сумѣетъ угадать несчастливца мнимаго. Онъ различитъ тутъ все до послѣдней мелочи, до послѣдней утаенной копейки, и въ этой работѣ разслѣдованія дойдетъ до обличенія такихъ подробностей, которыхъ на дѣлѣ, быть-можетъ, и нѣтъ. Обыкновенное простодушіе онъ возведетъ на степень преднамѣреннаго поддразниванія; въ такъ-называемомъ внезапномъ наплывѣ чувствъ увидитъ систему, задуманную издалека. А коль скоро люди вступаютъ на темный путь подозрѣній, то ничего хорошаго отъ нихъ ждать ужъ нельзя. Вмѣсто прежней, исторической распри, которую желали устранить, но къ которой такъ или иначе успѣли уже приглядѣться, явится распря новая, которая тѣмъ менѣе доступна будетъ соглашеніямъ, что въ основаніе ея — положимъ, неправильно, но *непремѣнно* — лягутъ слова: преднамѣренность и обманъ.

Такимъ образомъ достаточныхъ основаній, которыя оправдывали бы надежды на сближенія, нѣтъ. А ежели

нѣтъ даже этого, то о какихъ же заднихъ мысляхъ можетъ идти рѣчь?!

Слѣдовательно и предположеніе о наплывѣ чувствъ, и предположеніе о неизвѣстныхъ, но крайне хитрыхъ и либеральныхъ цѣляхъ—оказываются равно несостоятельными.

Остается, стало-быть, предположеніе о наклонности къ политико-экономическимъ вицамъ. Но одна мысль о возможности чего-либо подобнаго была такъ странна, что я вскочилъ какъ ужаленный.

Ужели!?

Ужели афоризмъ, утверждающій, что равномѣрность равномѣрна, а равноправность равноправна, до того обольстителенъ, что можетъ кого-нибудь увлекать?

Я гналъ отъ себя эту ужасную мысль, но въ то же время чувствовалъ, что сколько я ни размышляю, а ни къ какимъ положительнымъ результатамъ все-таки придти не могу. И то невозможно, и другое немыслимо, а третье даже и совсѣмъ не годится. А между тѣмъ фактъ существуетъ! Что же наконецъ такое?

Мучимый сомнѣніями, я почувствовалъ потребность провѣрить мои мысли, и притомъ провѣрить въ такой средѣ, которая была бы въ этомъ случаѣ вполнѣ компетентною.

Я вспомнилъ, что у меня былъ товарищъ, очень прыткій мальчикъ, по фамиліи Менандръ Прелестновъ, который еще въ университетѣ написалъ сочиненіе на тему: «Гомеръ, какъ поэтъ, человѣкъ и гражданинъ», потомъ перевелъ какой-то учебникъ или даже одну страницу изъ какого-то учебника и наконецъ теперь, за оскудѣніемъ, сдѣлался либераломъ и публицистомъ при ежедневномъ литературно-научно-политическомъ изданіи «Старѣйшая Всероссійская Пѣнкоснимательница». Открытіе это освѣжило и ободрило меня. Наконецъ-то, думалось мнѣ, я буду въ самомъ сердцѣ всероссійской интеллигенціи! И, не откладывая дѣла въ дальній ящикъ, я побѣжалъ къ Прелестнову.

Я ужъ не разъ порывался къ Прелестнову съ тѣхъ поръ, какъ пріѣхалъ въ Петербургъ, но меня удерживала свойственная всѣмъ провинціаламъ застѣнчивость передъ печатнымъ словомъ и его служителями. Намъ и до сихъ поръ еще кажется, что въ области печатнаго слова происходитъ что-то въ родѣ священнодѣйствія, и мы были бы до крайности огорчены, если бы узнали за достовѣрное, что въ настоящее время это дѣло упрощено до того, что стоитъ

только поплевать на перо, чтобы вышла прелюбопытнѣйшая передовая статья.

Лично же для меня трепетъ передъ печатнымъ словомъ усложняется еще воспоминаніемъ о томъ, что я самъ когда-то собирался сослужить ему службу. Экземпляръ «Маланьи», отлично переписанный и великолѣпно переплетенный, и до-днесь хранится у меня, и по временамъ — надо ли въ томъ сознаться?—я втихомолку кой-что изъ него почитываю. Иногда я до того упиваюсь красотами моего произведенія, что въ головѣ моей вдругъ мелькнетъ дерзкая мысль: а не махнуть ли въ типографію? Но не успѣетъ эта мысль зародиться, какъ мнѣ уже дѣлается вполнѣ ясною вся ея несостоятельность. Увы! время «Маланій» прошло безвозвратно! Никто теперь такъ не пишетъ, никто такъ не мыслитъ и ужъ, конечно, никто не переписываетъ своихъ «Маланій» на-бѣло и не переплетаетъ ихъ! Очевидно, что входъ въ литературу закрытъ для меня навсегда, и что мнѣ остается только скитаться по берегу вѣчно-кипящаго моря печатнаго слова и лишь издали любоваться, какъ болѣе счастливые пловцы борются съ волнами его!

«Маланья» написана неуклюже и формой своей напоминаетъ старинные, топорной работы, помѣщичьи экипажи. Въ ней затискано множество подробностей и отступленій, которыя положительно загромождаютъ архитектуру повѣсти. И кузовъ выпятился безобразно назадъ, и козла построены такія, что ни влѣзть, ни слѣзть, и мѣшечковъ понавѣшено множество, а подножекъ чуть не четыре этажа. Съ перваго взгляда трудно даже опредѣлить, что̀ это такое: домъ, корабль, или экипажъ. Что-то тутъ и звенитъ, и громыхаетъ, что-то грозитъ перекувырнуться вверхъ дномъ, но что̀ именно—хоть цѣлый день ломай голову, не отыщешь. Все это я сознаю совершенно ясно, но тѣмъ не менѣе утверждаю, что ежели сравненіе съ экипажемъ тутъ умѣстно, то это былъ все-таки *свой собственный* экипажъ, а не извозчичій.

Нынче, даже въ литературѣ, пошли на Руси въ ходъ экипажи извозчичьи. Почистили сбрую, покрасили подержанные экипажи съ графскими гербами, завели пріобрѣтенныхъ по случаю, послѣ отъѣзжающихъ кокотокъ, кровныхъ рысаковъ: «ваше сіятельство, прокачу!» И вотъ вы мчитесь во всѣ лопатки, и нигдѣ васъ не тряхнетъ, ничѣмъ не потревожитъ, не шелохнетъ. Молодецъ-лихачъ ни обо что не зацѣпится, держитъ въ рукахъ вожжи бодро и самоувѣ-

ренно и примчитъ къ вожделѣнной цѣли такъ легко, что вы и не замѣтите. Мысли у него коротенькія, фразы коротенькія; даже главы имѣютъ видъ куплетовъ. Такъ и кажется, что онъ спѣшитъ поскорѣе сдѣлать конецъ, потому что его ждетъ другой сѣдокъ, котораго тоже нужно на славу прокатить. Слышно: «пади! поберегись!» и ничего больше. Черезъ двѣ-три минуты—пріѣхали.

Ну, куда же тутъ соваться съ «Маланьей»!

Взирая на этихъ людей, съ такою легкостью мчащихся по улицѣ мостовой, я ощущаю невольную робость. Вотъ люди,—снится мнѣ,—которые не зарыли своихъ талантовъ въ землю, но, имѣя за душой грошъ, сумѣли, съ помощью однихъ быстрыхъ оборотцевъ, преобразить его въ двугривенный! Правда, что это все-таки только двугривенный, но вѣдь и двугривенный... воля ваша, а для гроша и это неслыханный успѣхъ! И кто же можетъ предвидѣть, что станется съ этимъ двугривеннымъ въ будущемъ! Вглядитесь въ него хорошенько: вѣдь онъ и теперь чуть ли не выглядитъ уже рублемъ!

И когда я подумаю, что если бы меня въ свое время не обезкуражили цензора, то и я, постепенно оборачиваясь, могъ бы въ настоящую минуту быть обладателемъ цѣлаго литературнаго двугривеннаго,—мной овладѣваетъ какая-то положительно дурная зависть. И я бы мчался теперь невѣдомо куда, мчался бы на подержанныхъ графскихъ дрожкахъ, блестя почищенною сбруей, на купленномъ по случаю кокоткиномъ рысакѣ! Но мнѣ на первомъ же шагу закричали «стой!» и тѣмъ, такъ сказать, навсегда прекратили мое теченіе. Оскорбленный, я изнемогалъ съ тѣхъ поръ или въ деревнѣ, или подъ сѣнію рязанско-тамбовско-саратовскаго клуба, и все упивался воспоминаніями о «Маланьѣ». О, Маланья! о, юнѣйшее изъ юнѣйшихъ, о, горячѣйшее изъ горячѣйшихъ произведеній, одно воспоминаніе о которомъ можетъ извлечь токи слезъ изъ глазъ его автора! А время между тѣмъ шло, не внося въ мои взгляды никакихъ усовершенствованій. Появились коротенькія фразы, изобрѣтены коротенькія мысли, а я все упорно оставался при четырехэтажныхъ періодахъ и хитро-сплетенныхъ силлогизмахъ. Собственные экипажи давно заброшены, проданы въ ломъ... а я и до сего дня ношусь съ своею «Маланьей» да съ воспоминаніями о неизмѣримомъ пьянствѣ и безконечныхъ спорахъ въ трактирѣ «Британія»!

Понятно, стало-быть, почему я, литераторъ неудавшійся.

литераторъ съ длинными, запутанными фразами, съ мыслями, сдѣлавшимися сбивчивыми и темными, вслѣдствіе усилій высказать ихъ какъ можно яснѣе, робѣю и стушовываюсь передъ краткословными и краткомысленными представителями новѣйшей русской литературы. Мысль, что любой изъ этихъ господъ можетъ кого угодно, съ помощью самой коротенькой фразы, и осчастливить, и сконфузить,— преслѣдуетъ меня. А такъ какъ коротенькія фразы въ сущности даже усилій никакихъ не требуютъ, то представьте себѣ, сколько тутъ можно разбросать двугривенныхъ, нимало не трогая самаго капитала, который такъ и останется навсегда неразмѣннымъ двугривеннымъ! О, Бутковъ! о, Достоевскій! о, Аполлонъ Григорьевъ! О, вы, немазанно-колеснѣйшіе, о, вы, скрипяще-мыслящіе прорицатели сороковыхъ годовъ! какъ бы стушевались, сконфузились вы передъ лобанчиками *) современной русской литературы!

Отъ Прелестнова пахло публицистикой, просонками и головною болью. Такъ какъ онъ редижировалъ отдѣлъ «Намъ пишутъ» и слѣдовательно постоянно находился подъ угрозой мысли: «а что если и завтра опять сообщать, что въ Шемахѣ произошло землетрясеніе?»—то лицо его приняло какое-то уныло-озабоченное выраженіе. Двѣ фразы были совершенно ясно написаны на этомъ лицѣ: первая— «о чемъ, бишь, я хотѣлъ сказать?» и вторая—«ахъ, не забыть бы, что изъ Иркутска пишутъ!» Тѣмъ не менѣе, когда Прелестновъ увидѣлъ меня входящаго, то лицо его на мгновеніе просвѣтлѣло.

— «Британія»!—воскликнулъ онъ, простирая ко мнѣ руки.

— Санковская! Мочаловъ! «Башмаковъ еще не износила!»—отозвался я съ немѣньшимъ увлеченіемъ.

— Давно ли? И не побывать? не грѣхъ ли? Помнишь «Маланью»?

Мы долгое время стояли рука въ руку и смотрѣли другъ на друга свѣтящимися глазами. Наконецъ рукамъ нашимъ

---

*) «Лобанчикомъ» въ сороковыхъ годахъ называлась въ русской торговлѣ французская монета съ изображеніемъ одного изъ Бурбоновъ, какъ извѣстно, обладавшихъ большими, открытыми лбами. Монета эта была почти всегда стертая и ходила нѣсколько ниже, нежели двадцатифранковики позднѣйшихъ чекановъ.

стало тепло, и мы бросились обнимать другъ друга и цѣловаться.

— Хорошее было это время!—говорилъ онъ, сжимая меня въ объятіяхъ.

— Еще бы! Ты писалъ диссертацію «Гомеръ, какъ поэтъ, человѣкъ и гражданинъ»; я...

— А ты... ты вдохновлялся «Маланьей»! Ты былъ поэтъ. О! это было время святого искусства!.. А впрочемъ, вѣдь и теперь... вѣдь не оскудѣла же русская земля дѣятелями! не правда ли? вѣдь не оскудѣла?

— Гдѣ же, голубчикъ, оскудѣть! возьми: вѣдь больше семидесяти милліоновъ жителей, и ежели на каждый милліонъ хоть по одному Ломоносову...

— Не правда ли? вотъ и я постоянно твержу: не оскудѣетъ она, говорю! Такъ ли?

— Помилуй! какъ оскудѣть!

— Полководцевъ, говорятъ, нѣтъ—будутъ, говорю!

— Будутъ!

— Администраторовъ, говорятъ, подлинныхъ нѣтъ — будутъ, говорю!

— Будутъ!

— Денегъ, говорятъ, нѣтъ—будутъ, говорю!

— Еще бы! и пословица говоритъ: нѣтъ денегъ—передъ деньгами!

— Передъ нами времени-то сколько!

— Мало ли передъ нами времени!

Мы поцѣловались опять.

— Только вотъ голова болитъ! — продолжалъ онъ: — постоянно болитъ! Корреспонденціи эти, что ли... а впрочемъ, какой это бодрый, крѣпкій народъ—корреспонденты!

— Коренники!

— У насъ есть одинъ екатеринославскій корреспондентъ — ну, просто можно зачитаться его корреспонденціями!

— Что̀ и говорить! екатеринославцы — они молодцы! Въ наше время ярославцы молодцами слыли... помнишь, половые? — вѣдь все были ярославцы! И все одинъ къ одному! Мяса̀ какія у нихъ были—не уколупнешь!

— Ну, екатеринославцы... тѣ по части публицистики!

— Да, братъ, вездѣ прогрессъ! не прежнее нынче время! Поди-ка ты нынче въ половые — кто на тебя какъ на дѣятеля взглянетъ! Нѣтъ! нынче вотъ земство, суды, свобода книгопечатанія... вонъ оно куда пошло!

Подъ вліяніемъ воспоминаній, я такъ разгулялся, что даже совсѣмъ позабылъ, что еще часъ тому назадъ меня волновали жестокія сомнѣнія насчетъ тѣхъ самыхъ предметовъ, которые теперь возбуждали во мнѣ такой безграничный энтузіазмъ. Я ходилъ рядомъ съ Прелестновымъ по комнатѣ, потрясалъ руками и, какъ-то нелѣпо захлебываясь, восклицалъ:—Вонъ оно куда пошло! вонъ мы куда метнули!

— Не правда ли?—вторилъ, въ свою очередь, Прелестновъ:—не правда ли, какъ легко дышится?

— Ужъ чего легче надо!

— И какъ свѣтло живется!

— Ужъ чего же...

— Банки, ссудо-сберегательныя кассы, артельныя сыроварни... А сколько въ одномъ Ледовитомъ океанѣ богатствъ скрыто... О, чортъ побери!

Мы поцѣловались еще разъ.

— Только, братъ, расплываться не надо—вотъ что!—прибавилъ онъ съ нѣкоторою таинственностью:—не надо лѣзть въ задоръ! Тише! тише!

— То-есть, какъ же это: не расплываться?

— Ну, да, вотъ, напримѣръ, ежели взялся писать о ссудо-сберегательныхъ кассахъ—объ нихъ и пиши! Чтобъ ни о соціализмѣ, ни объ интернаціоналкѣ... упаси Богъ!

— Это вслѣдствіе свободы печати, что ли?

— Ну, да, и свобода печати, да и вообще... расплываться не слѣдуетъ!

Лицо Прелестнова приняло строгое выраженіе, какъ будто онъ вдругъ получилъ изъ Екатеринослава совершенно вѣрное извѣстіе, что я имѣю намѣреніе расплываться. Мнѣ, съ своей стороны, показалось это до крайности обиднымъ.

— Да я развѣ... расплываюсь?—спросилъ я, смотря на него изумленными глазами.

— То-то! то-то! Время «Маланій», братъ, нынче прошло! Ну, да, впрочемъ, не въ томъ дѣло. Я очень радъ тебя видѣть, но теперь некогда: надо корреспонденцію разбирать. Кстати: изъ Кишинева пишутъ, что тамъ въ продолженіе цѣлаго часа было видимо сѣверное сіяніе... Каковъ фактецъ!

— Да... фактецъ—ничего!

— Ну-съ, такъ вотъ что: приходи ты ко мнѣ завтра вечеромъ, и тогда...

Лицо Прелестнова изъ строгаго вдругъ сдѣлалось такъ-

ственнымъ. Видно было, что онъ хотѣлъ нѣчто сообщить мнѣ, но нѣкоторое время не рѣшался.

— Впрочемъ, отъ тебя скрываться нечего,—наконецъ сказалъ онъ:—съ нѣкотораго времени здѣсь образовалось общество, подъ названіемъ «Союзъ Пѣнкоснимателей»... Но, ради Бога, чтобъ это осталось между нами!

Онъ произнесъ это такъ тихо, что я даже поблѣднѣлъ.

— И это общество... запрещенное?—спросилъ я.

— То-есть, какъ тебѣ сказать... оно, конечно... Цѣли нашего общества самыя благонамѣренныя... Ведемъ мы себя, даже можно сказать, примѣрнѣйшимъ образомъ... Но — странное дѣло! — для правительства все какъ будто неясно, что отъ пѣнкоснимателей никакого вреда не можетъ быть!

— Гм!.. и завтра у тебя сборище?

— Ну, да, ты увидишь тутъ всѣхъ.

— Отлично. А у меня кстати нѣсколько вопросовъ есть.

— Прекрасно. Стало-быть, до завтра. Завтра мы все порѣшимъ. Только, чуръ, не расплываться! Помни, что время «Маланій» прошло! А покуда вотъ тебѣ писанный уставъ нашего общества.

Мы опять обнялись, поцѣловались и, смотря другъ на друга свѣтящимися глазами, простояли рука въ руку до тѣхъ поръ, пока намъ не сдѣлалось тепло.

Наконецъ однако-жъ я вышелъ. Но когда я уже былъ внизу лѣстницы, Прелестновъ, должно-быть, не выдержалъ, выбѣжалъ на площадку и сверху закричалъ мнѣ:

— Смотри же: не расплываться! «Маланью» нужно оставить! Оставить «Маланью» нужно!

Я не шелъ домой, а бѣжалъ.

«Тайное общество! — думалось мнѣ: — и какое еще тайное общество! Общество, цѣль котораго формулируется словами: «не расплываться» и «снимать пѣнки»! Великій Боже! въ какія мы времена однако-жъ живемъ!»

А вѣдь какой былъ прекраснѣйшій малый этотъ Прелестновъ въ то незабвенное время, когда онъ писалъ свою диссертацію: «Гомеръ, какъ поэтъ, какъ человѣкъ и какъ гражданинъ»! Совсѣмъ даже и не похожъ былъ на заговорщика! А теперь вотъ заговорщикъ, хитрецъ, почти даже государственный преступникъ! Какое горькое сплетеніе обстоятельствъ нужно было, чтобы произвести эту метаморфозу!

Я какъ сейчасъ помню нѣкоторыя выдержки изъ его достопамятной диссертаціи.

«Гомеръ! кто не испытывалъ высокаго наслажденія, читая безсмертную «Иліаду»? Гомеръ — это море, или, лучше сказать, цѣлый океанъ, какъ онъ же безбрежный, какъ онъ же глубокій, а быть-можетъ, даже бездонный!»

Далѣе:

«Но Гомеръ безбреженъ не только какъ поэтъ, но и какъ человѣкъ. Ежели мы хотимъ представить себѣ идеалъ человѣка, то, конечно, не найдемъ ничего лучшаго, какъ остановиться на величественномъ образѣ благодушнаго старца, въ которомъ, какъ въ морѣ, отразилась сѣдая древность временъ».

И еще далѣе:

«Но Гомеръ былъ въ то же время и гражданинъ. Онъ не скрываетъ своего сочувствія къ оскорбленному Менелаю; что же касается до его патріотизма, то это вопросъ настолько рѣшенный, что всякое сомнѣніе въ немъ можетъ возбудить лишь *гомерическій* хохотъ».

И проч., и проч.

И этотъ человѣкъ—заговорщикъ! Этотъ человѣкъ не настолько свободенъ, чтобы ясно сказать, что въ городѣ Имярекъ исправникъ ѣздитъ на казенныхъ лошадяхъ! Этотъ человѣкъ, защитникъ Гомера, какъ человѣка, поэта и гражданина—одинъ изъ дѣятельныхъ членовъ разбойнической банды «Пѣнкоснимателей»!

И что это за банда такая?! настоящая ли разбойничья, или такъ, въ родѣ оффенбаховской, при которой Менандръ разыгрываетъ роль Фальзакаппы?!

О, Менандръ! что же таится въ душѣ твоей?.. что кроется въ этомъ тихо дремлющемъ заливѣ, въ которомъ такъ весело смотрится «нашъ екатеринославскій корреспондентъ»? Снятся ли ей сны о подкопахъ, или просто закипаетъ неясный наплывъ неясныхъ чувствъ? О, Менандръ!!

Прибѣжавъ домой, я съ лихорадочною поспѣшностью вынулъ изъ кармана данную мнѣ Прелестновымъ рукописную тетрадку и на заглавномъ листѣ ея прочиталъ:

«Уставъ Вольнаго Союза Пѣнкоснимателей».

Но въ глазахъ у меня рябило, духъ занимало, и я нѣкоторое время не могъ придти въ себя. Однако-жъ двѣ-три рюмки водки—и я былъ уже въ состояніи продолжать.

«Уставъ» раздѣленъ на семь параграфовъ, въ свою очередь подраздѣленныхъ на статьи. Каждая статья снабжена объясненіемъ, въ которомъ подробно указываются мотивы, послужившіе для статьи основаніемъ.

«Уставъ» гласитъ слѣдующее:

§ 1. *Цѣль учрежденія Союза и его организація.*

Ст. 1. За отсутствіемъ настоящаго дѣла и въ видахъ безобиднаго препровожденія времени, учреждается ученолитературное общество подъ названіемъ «Вольнаго Союза Пѣнкоснимателей».

Объясненіе. Въ журналѣ «Вѣстникъ Пѣнкосниманія», въ статьѣ «Вольный Союзъ Пѣнкоснимателей передъ судомъ общественной совѣсти», сказано: «Въ сихъ печальныхъ обстоятельствахъ какой исходъ предстоялъ для русской литературы?—По нашему посильному убѣжденію, такихъ исходовъ было два: во-первыхъ, принять добровольную смерть, и во-вторыхъ, развиться въ Вольный Союзъ Пѣнкоснимателей. Она предпочла послѣднее рѣшеніе и, смѣемъ думать, поступила въ этомъ случаѣ не только разумно, но и вполнѣ согласно съ чувствомъ собственнаго достоинства. Зачѣмъ умирать, когда въ виду еще имѣется обширное и плодотворное поприще пѣнкосниманія?»

Ст. 2. Никакой организаціи Союзъ не имѣетъ. Нѣтъ въ немъ ни президентовъ, ни секретарей, ни даже совокупнаго обсужденія общихъ всѣмъ пѣнкоснимателямъ интересовъ, по той простой причинѣ, что изъ столь невиннаго занятія, каково пѣнкосниманіе, никакихъ интересовъ проистечь не можетъ.

Союзъ сей—вольный по преимуществу. Каждому предоставляется снимать пѣнки съ чего угодно и какъ угодно; эта уступка дѣлается тѣмъ охотнѣе, что въ подобномъ занятіи никакихъ твердыхъ правилъ установить невозможно.

Объясненіе. Въ той же статьѣ далѣе говорится: «Что же такое этотъ «Вольный Союзъ Пѣнкоснимателей», который, едва явившись на свѣтъ, уже задалъ такую работу близнецамъ «Московскихъ Вѣдомостей»? Имѣетъ ли онъ въ виду проведеніе какихъ-либо разрушительныхъ началъ? Или же представляетъ собой, какъ увѣряютъ нѣкоторые доброжелатели нашей прессы, хотя и невинное, но все-таки недозволенное закономъ тайное общество? Мы смѣло можемъ отвѣтить на эти вопросы: ни того, ни другого пред-

положить нельзя. Пѣнкоснимательство составляетъ въ настоящее время единственный живой общественный элементъ; а ежели оно господствуетъ въ обществѣ, то весьма естественно его господство и въ литературѣ. Пѣнкосниматели всюду играютъ видную роль, и литература *обязана была* раскрыть имъ свои двери сколь возможно шире. И она сдѣлала это тѣмъ безтрепетнѣе, что пѣнкосниматели суть вполнѣ вольные люди, приходящіе въ литературный вертоградъ съ однимъ чистымъ сердцемъ и вполнѣ свободные отъ какой бы то ни было мысли. Поэтому говорить о какой-то организаціи, о какихъ-то тайныхъ намѣреніяхъ—просто смѣшно. Этимъ чистымъ людямъ самая мысль объ организаціи должна быть противна!»

§ 2. *О членахъ Союза.*

Ст. 1-я. Въ члены Союза Пѣнкоснимателей имѣетъ право вступить всякій, кто можетъ безобиднымъ образомъ излагать смутность испытываемыхъ имъ ощущеній. Ни познаній, ни тѣмъ менѣе такъ-называемыхъ идей не требуется. Но ежели бы кто, видя, какъ извозчикъ истязуетъ лошадь, почелъ бы за нужное, рядомъ фактовъ, взятыхъ изъ древности или изъ исторіи развитія современныхъ государствъ, доказать вредъ такого обычая, то сіе не токмо не возбраняется, но именно и составляетъ тотъ высшій видъ пѣнкоснимательства, который въ современной литературѣ извѣстенъ подъ именемъ «науки».

Объясненіе. Тамъ же: «Чувство, одушевляющее пѣнкоснимателя, есть чувство наивной непосредственности. А такъ какъ чувство это доступно всякому, то можно себѣ представить, какъ громадно должно быть число пѣнкоснимателей! Но само собою разумѣется, что въ тѣхъ случаяхъ, когда это чувство является во всеоружіи знанія и ищетъ примѣненій въ наукѣ, оно пріобрѣтаетъ еще бо́льшую цѣну. Хорошъ пѣнкосниматель-простецъ, но ученый пѣнкосниматель — еще того лучше. Появленіе сихъ послѣднихъ на аренѣ нашей литературы есть признакъ утѣшительный и, смѣемъ думать, даже здоровый. Пора наконецъ убѣдиться, что наше время—не время широкихъ задачъ, и что тотъ, кто, подобно автору почтеннаго разсужденія: «Русскій романсъ: Чижикъ! чижикъ! гдѣ ты былъ?—передъ судомъ здравой критики», сумѣлъ придти къ разрѣшенію своей скромной задачи—тотъ сдѣлалъ гораздо болѣе, нежели всѣ совокупно взятые утописты-мечтатели, которые постановкой

«широкихъ» задачъ самонадѣянно волнуютъ міръ, не удовлетворяя онаго».

Ст. 2-я. Отмѣтчики и газетные репортеры, то-есть всѣ тѣ, кои наблюдаютъ, дабы полуда на посудѣ въ трактирныхъ заведеніяхъ всегда находилась въ исправности, могутъ вступать въ Союзъ даже въ томъ случаѣ, если не имѣютъ вполнѣ твердыхъ познаній въ грамматикѣ.

Объясненіе. Въ передовой статьѣ, напечатанной объ этомъ предметѣ въ газетѣ «Старѣйшая Всероссійская Пѣнкоснимательница», сказано: «Газетный репортеръ есть, такъ сказать, первообразъ истиннаго литературнаго пѣнкоснимателя, отъ котораго всѣ прочіе (ученые, публицисты, беллетристы и проч.) заимствуютъ свои главныя типическія особенности. Вся разница (оговариваемся, впрочемъ: разница очень значительная) заключается лишь въ бо́льшемъ или меньшемъ объемѣ произведеній тѣхъ и другихъ. Какою бы эрудиціей ни изумлялъ, напримѣръ, авторъ «Изслѣдованія о Чурилкѣ», но ежели читатель возьметъ на себя трудъ проникнуть въ самыя глубины собраннаго имъ драгоцѣннаго матеріала, то на днѣ оныхъ онъ несомнѣнно увидитъ отмѣтчика-пѣнкоснимателя. Поэтому намъ кажется, что ограничить, относительно отмѣтчиковъ, возможность вступать въ Союзъ Пѣнкоснимателей было бы несправедливо даже въ томъ случаѣ, если бы люди сіи и не вполнѣ безукоризненно разставляли знаки препинанія. Скажемъ болѣе: это значило бы подрывать самыя основы Союза, лишая его содѣйствія такихъ лицъ, отъ которыхъ онъ получилъ свои главнѣйшія типическія особенности». По этому же поводу въ газетѣ «Истинный Россійскій Пѣнкоснимать» говорится слѣдующее: «Въ литературѣ нашей много надѣлалъ шуму вопросъ: слѣдуетъ ли отмѣтчиковъ и газетныхъ репортеровъ считать членами «Вольнаго Союза Пѣнкоснимателей»? И, повидимому, весь сыръ-боръ загорѣлся изъ-за того, что много-де встрѣчается такихъ репортеровъ, которые даже грамотно писать не умѣютъ. Мы позволяемъ себѣ думать, однако-жъ, что даже возбужденіе подобныхъ вопросовъ представляетъ нѣчто въ высшей степени странное. Въ чемъ заключается истинная цѣль пѣнкоснимательства?—Она заключается въ облегченіи литератора, въ освобожденіи его отъ нѣкоторыхъ стѣснительныхъ узъ. А въ чемъ же мы можемъ найти облегченіе болѣе дѣйствительное, какъ не въ свободѣ отъ грамматики, этого стараго, изжившаго свой вѣкъ пугала, котораго въ нашъ

просвѣщенный вѣкъ не страшатся даже вороны и воробьи?»

§ 3. *О приличнѣйшей для пѣнкоснимательства аренѣ.*

Ст. 1. Разсѣянные по лицу земли, лишенные организаціи, не связанные ни идеалами, ни ясными взглядами на современность—да послужатъ россійскіе пѣнкосниматели на славномъ поприщѣ россійской литературы, которая издревле всѣмъ безъ пороху палящимъ пріютъ давала!

Объясненіе. Объ этомъ предметѣ газета «Зеркало Пѣнкоснимателя» выразилась такъ: «Гдѣ самое сподручное поприще для пѣнкоснимателя? — очевидно, въ литературѣ. Всякая отрасль человѣческой дѣятельности требуетъ и спеціальной подготовки, и спеціальныхъ пріемовъ. Сапожникъ обязуется шить *непремѣнно* сапоги, а не подобіе сапоговъ, и, чтобы достигнуть этого, *непремѣнно* долженъ знать, какъ взять въ руки шило и дратву. Напротивъ того, публицистъ очень свободно можетъ написать не передовую статью, а лишь подобіе оной, и нимало не потерять своей репутаціи. Отсюда ясно, что одна литература можетъ считать себя свободною отъ обязательства изготовлять работы вполнѣ опредѣленныя и логически послѣдовательныя. Составленная изъ элементовъ самыхъ разнообразныхъ и никакимъ правиламъ не подчиненныхъ, она представляетъ для пѣнкоснимательства арену тѣмъ болѣе приличную, что на оную, въ большинствѣ случаевъ, являются люди, не искушенные въ наукахъ, но одушевляемые единственно жаждой какъ можно болѣе собрать пѣнокъ и продать ихъ по 1 к. за строчку».

§ 4. *Объ обязанностяхъ членовъ Союза.*

Ст. 1. Обязанности сіи суть:

Первое. Не пропуская ни одного современнаго вопроса, обо всемъ разсуждать съ такимъ разсчетомъ, чтобы никогда ничего изъ сего не выходило.

Объясненіе. Въ газетѣ «Старѣйшая Всероссійская Пѣнкоснимательница» читаемъ: «Странный вы человѣкъ, читатель! Какъ хотите вы, чтобы мы высказывались ясно, когда, съ одной стороны, намъ угрожаетъ за это административная кара, а съ другой стороны мы и сами вполнѣ ясныхъ представленій о вещахъ не имѣемъ?» Объ этомъ же предметѣ, въ еженедѣльномъ изданіи «Обыватель Пѣнкоснимающій», въ статьѣ «Отповѣдь Старѣйшей Всероссійской

Пѣнкоснимательницѣ» (служащей отвѣтомъ на предыдущую статью), сказано: «Съ одной половиной этой мысли мы имѣемъ полную готовность согласиться весьма безусловно. Что-жъ дѣлать! Старѣйшая наша Пѣнкоснимательница всегда имѣетъ такія мысли, что лишь половина оныхъ надлежащую здравость имѣетъ; другая же половина или отсутствуетъ, или идетъ навстрѣчу первой, какъ два столкнувшіеся въ лобъ поѣзда желѣзной дороги, нечаянно встрѣчущіеся. Итакъ, если мы положимъ руку на сердце, то оно скажетъ намъ, что мы дѣйствительно истинно-здравыхъ понятій о вещахъ въ своемъ ясноностиженіи обладать не можемъ. Это такъ. Но чтобы за сіе насъ ожидала какая-то административная кара—это никогда!! Это не есть въ предѣлахъ возможности!!»

Второе. По наружности имѣть видъ откровенный и даже смѣлый, внутренно же трепетать.

Объясненіе. Въ газетѣ «Зеркало Пѣнкоснимателя» говорится: «Одно изъ величайшихъ затрудненій для успѣховъ пѣнкоснимательства въ будущемъ заключается въ слѣдующемъ. Читатель любитъ, чтобы бесѣдующій съ нимъ публицистъ имѣлъ видъ открытый и даже смѣлый; цензура, напротивъ, не любитъ этого. Какимъ образомъ пройти между Харибдой и Сциллой? Какимъ образомъ, съ одной стороны, не растерять подписчиковъ, а съ другой — не навлечь на себя кару закона? Въ этомъ именно и заключается задача современнаго пѣнкоснимателя. До сихъ поръ единственное практическое рѣшеніе этой задачи было таково: смѣлый видъ имѣть лишь по наружности, а внутренно трепетать. Соглашаясь вполнѣ съ правильностью такого рѣшенія, мы, съ своей стороны, полагали бы не лишнимъ, для бо̀льшей смѣлости, прибѣгать при этомъ къ нѣкоторымъ фразамъ, которыя, по мнѣнію нашему, могли бы съ успѣхомъ послужить для достиженія обѣихъ высказанныхъ выше цѣлей. Фразы эти суть: «мы предупреждали», «мы предсказывали», «мы предвидѣли» и т. д. Примѣненныя къ дѣлу пѣнкоснимательства, эти фразы никакой въ цензурномъ отношеніи опасности не представляютъ, а между тѣмъ публицисту придаютъ видъ бодрый и отчасти даже проницательный.

Третіе. Усиливать откровенность и смѣлость по мѣрѣ того, какъ предметъ, о которомъ заведена рѣчь, представляетъ меньшую опасность для вольнаго обсужденія. Такъ, напримѣръ, по вопросу о неношеніи нѣкоторыми городовыми на виду бляхъ надлежитъ дѣйствовать съ такою на-

стоятельностью, какъ бы имѣлось въ виду получить за сіе третье предостереженіе.

Объясненіе. Газета «Истинный Россійскій Пѣнкоснимательъ» выражается по этому поводу такъ: «Въ сихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ литературѣ ничего не остается болѣе, какъ обличать городовыхъ. Но пусть она помнитъ, что и эта обязанность не легкая, и пусть станетъ на высоту своей задачи. Это единственный случай, когда она не вправѣ идти ни на какія сдѣлки и, напротивъ того, должна выказать ту твердость и непреклонность, которую ей не дано привести въ дѣйствіе по другимъ вопросамъ».

Четвертое. Разсуждая о современныхъ вопросахъ, стараться по возможности сокращать ихъ размѣры.

Объясненіе. Въ газетѣ «Старѣйшая Всероссійская Пѣнкоснимательница» читаемъ: «Наклонность расплываться и захватывать вширь изстари была самымъ важнымъ, такъ сказать, органическимъ нашимъ недостаткомъ. Разсматривая, напримѣръ, поступокъ городового бляха № 000, мы никакъ не упустимъ, чтобы не зацѣпить по дорогѣ и весь почтенный институтъ городовыхъ. Понятно, какое раздраженіе долженъ породить подобный неосновательный образъ дѣйствій не только въ гг. городовыхъ, но и въ гг. участковыхъ и околоточныхъ надзирателяхъ, ихъ непосредственныхъ начальникахъ. Поэтому, въ виду благодѣтельнаго поворота нашей литературы въ смыслѣ пѣнкоснимательства, мы не обинуясь и во всеуслышаніе говоримъ: не раздражайте! Говорите сколько угодно о бляхѣ № 000, но не касайтесь института. Silenzio! Prudenzia! какъ поютъ хористы въ итальянской оперѣ. Не раздражайте.

Пятое. Ежеминутно обращать вниманіе читателя на пройденный имъ славный путь. Но такъ какъ при семъ легко впасть въ ошибку, то-есть выдать славное за неславное и наоборотъ, то наблюдать скромность и осмотрительность.

Объясненіе. «Обыватель Пѣнкоснимающій» выражается такъ: «Съ тѣхъ высотъ, на коихъ мы находимся, полезно, хотя бы и съ головокруженіемъ, взглядывать на путь, который уже пройденъ нами. Оглянемся—и что-жъ увидимъ? Увидимъ бездну, въ которой многое и прекрасно и своевременно, многое же только прекрасно, хотя, быть-можетъ, и не столь своевременно. Но назовемъ ли мы прекрасное безусловно прекраснымъ, а несвоевременное безусловно несвоевременнымъ? Нѣтъ, мы остережемся отъ такого опро-

метчикаго поступка, омрачившаго нашу отчизну! Но мы не знаемъ, дѣйствительно ли прекрасно для читателя то, что мы считаемъ прекраснымъ для себя. Мы опасаемся, какъ бы не назвать прекраснымъ то, что для читателя совсѣмъ не есть потребно, и непотребнымъ то, что для него всегда было прекрасно и теперь оставалось бы таковымъ, если бы не внезапность обстоятельствъ, измѣнившая все къ наилучшему (см. соч. Токквиля: «L'ancien régime et la révolution»). И если бы кто-нибудь взялъ трудъ на себя завѣрять насъ, что все сіе есть безсмыслица, то мы на сіе отвѣтствовали бы: «Судите сами! Мы же, съ Божьею помощью, и впредь таковое намѣрены говорить!» На эту замѣтку «Зеркало Пѣнкоснимателя» возражало: «Изъ цѣлаго лѣса безсмыслицъ, которыми переполнена замѣтка почтенной газеты, выдѣляется только одна свѣтлая мысль: нужно обращать вниманіе русскаго общества на пройденный имъ славный путь, но не слѣдуетъ дѣлать никакой практической оцѣнки этому пути. Эта мысль справедлива уже по тому одному, что не всѣ вкусы одинаковы, а слѣдовательно трудно угадать, кому изъ подписчиковъ нравится арбузъ, а кому—свиной хрящикъ».

Шестое. Обнадеживать, что въ будущемъ ожидаетъ читателей еще того лучше.

Объясненіе. Въ фельетонѣ газеты «Пѣнкоснимателя нараспашку» сказано: «Не знаю, какъ вы, читатель, но я преисполненъ вѣры въ будущее. Я совсѣмъ не раздѣляю взглядовъ тѣхъ мрачныхъ людей, которые на все смотрятъ съ подозрительностью. Фи! какой это скучный и необтесанный народъ! Напротивъ того, я совершенно ясно вижу то время, когда грудь Россіи вдоль и поперекъ исполосуется желѣзными путями, когда увидятъ свѣтъ безчисленныя богатства, скрывающіяся въ нѣдрахъ земли, и безконечными караванами потянутся во всѣ стороны. Уже повезли въ Ташкентъ наши плисы и ситцы—почему бы вслѣдъ за ними не проникнуть туда и изданіямъ общества распространенія полезныхъ книгъ? То-то порадуется русскій мужичокъ, когда отдаленный Самаркандъ будетъ носить ситцевыя рубахи его издѣлія, а кичливый сынъ туманнаго Альбіона облечется въ плисовыя шаровары, изготовленныя въ самомъ сердцѣ Россіи — въ Москвѣ золотыя маковки! Москва! чье сердце не трепещетъ при твоемъ имени!

Седьмое. Проводить русскую мысль, русскую науку, и

высказывать надежду, что «новое слово» когда-нибудь будетъ сказано.

Объясненіе. Журналъ «Пѣнкоснимательная Подоплека», въ статьѣ «Корреспонденція изъ Вильно», выражается такъ: «Обрусеніе—вотъ наша задача въ этомъ краѣ, но обрусеніе дѣйствительное, сопровождаемое инкюлькированіемъ настоящаго русскаго духа. Мы не вѣримъ болѣе Петербургу, ибо какой же тамъ русскій духъ?! Петербургъ указываетъ намъ на Западъ и предлагаетъ нашу общественность перестроить на манеръ тамошней. Странное дѣло! Не все ли это равно, что предложить человѣку надѣть заношенное исподнее бѣлье его сосѣда?» На это газета «Зеркало Пѣнкоснимателя» возражала слѣдующее: «Стремленіе создать *свою* мысль, *свою* науку — весьма похвально. Мы не имѣемъ права успокоиться до тѣхъ поръ, пока у насъ не будетъ *своей* ариѳметики, *своей* химіи, *своей* астрономіи и проч. Но сравненіе западной цивилизаціи съ чужимъ поношеннымъ бѣльемъ все-таки не выдерживаетъ критики. Оно неосновательно уже по тому одному, что недоброжелатели наши могутъ возразить намъ, что на Западѣ бѣлье никогда не доводится до степени полной заношенности, и что ежели за кѣмъ есть грѣшокъ въ нѣкоторой непріятности, то это именно за нами. Итакъ, не станемъ напрашиваться на ненужныя возраженія и останемся при основной и несомнѣнно вѣрной мысли: да, мы призваны создать новую науку и сказать дряхлѣющему міру новое, обновляющее слово! Не будемъ заимствоваться отъ сосѣдей ихъ заношеннымъ исподнимъ бѣльемъ, но не станемъ дорожить и собственнымъ таковымъ же! «Новое слово» — вотъ все, что отъ насъ требуется въ настоящій моментъ. Чѣмъ скорѣе оно будетъ сказано, тѣмъ лучше!»

Осьмое. Всемѣрно опасаться, какъ бы все сіе внезапно не уничтожилось.

Объясненіе. Въ газетѣ «Старѣйшая Всероссійская Пѣнкоснимательница» читаемъ: «Мы такъ молоды и неопытны, что не жалѣть о насъ было бы совершенно безполезною жестокостью. Скажемъ болѣе: мы отъ души сожалѣемъ о тѣхъ, которые не находятъ въ себѣ достаточно гражданскаго мужества, чтобъ пожалѣть о насъ, о нашей молодости и неопытности. Это люди злые и жалкіе. Представьте себѣ ребенка, который едва собрался встать на ноги и котораго вдругъ ткнутъ пальцемъ въ грудь—естественно, что

метчиваго поступка, омрачущаго нашу совѣсть! Ибо мы не знаемъ, дѣйствительно ли прекрасно для читателя то, что̀ мы считаемъ прекраснымъ для себя. Мы опасаемся, какъ бы не назвать прекраснымъ то, что̀ для читателя совсѣмъ не есть потребно, и непотребнымъ то, что̀ для него всегда было прекрасно и теперь оставалось бы таковымъ, если бы не внезапность обстоятельствъ, измѣнившая все къ наилучшему (см. соч. Токквиля: «L'ancien régime et la révolution»). И если бы кто-нибудь взялъ трудъ на себя завѣрять насъ, что все сіе есть безсмыслица, то мы на сіе отвѣтствовали бы: «Судите сами! Мы же, съ Божьею помощью, и впредь таковое намѣрены говорить!» На эту замѣтку «Зеркало Пѣнкосниматель» возражало: «Изъ цѣлаго лѣса безсмыслицъ, которыми переполнена замѣтка почтенной газеты, выдѣляется только одна свѣтлая мысль: нужно обращать вниманіе русскаго общества на пройденный имъ славный путь, но не слѣдуетъ дѣлать никакой практической оцѣнки этому пути. Эта мысль справедлива уже по тому одному, что не всѣ вкусы одинаковы, а слѣдовательно трудно угадать, кому изъ подписчиковъ нравится арбузъ, а кому—свиной хрящикъ».

Шестое. Обнадеживать, что въ будущемъ ожидаетъ читателей еще того лучше.

Объясненіе. Въ фельетонѣ газеты «Пѣнкосниматель нараспашку» сказано: «Не знаю, какъ вы, читатель, но я преисполненъ вѣры въ будущее. Я совсѣмъ не раздѣляю взглядовъ тѣхъ мрачныхъ людей, которые на все смотрятъ съ подозрительностью. Фи! какой это скучный и необтесанный народъ! Напротивъ того, я совершенно ясно вижу то время, когда грудь Россіи вдоль и поперекъ исполосуется желѣзными путями, когда увидятъ свѣтъ безчисленныя богатства, скрывающіяся въ нѣдрахъ земли, и безконечными караванами потянутся во всѣ стороны. Уже повезли въ Ташкентъ наши плисы и ситцы—почему бы вслѣдъ за ними не проникнуть туда и изданіямъ общества распространенія полезныхъ книгъ? То-то порадуется русскій мужичокъ, когда отдаленный Самаркандъ будетъ носить ситцевыя рубахи его издѣлія, а кичливый сынъ туманнаго Альбіона облечется въ плисовыя шаровары, изготовленныя въ самомъ сердцѣ Россіи — въ Москвѣ золотыя маковки! Москва! чье сердце не трепещетъ при твоемъ имени!

Седьмое. Проводить русскую мысль, русскую науку, и

высказывать надежду, что «новое слово» когда-нибудь будетъ сказано.

Объясненіе. Журналъ «Пѣнкоснимательная Подоплека», въ статьѣ «Корреспонденція изъ Вильно», выражается такъ: «Обрусеніе—вотъ наша задача въ этомъ краѣ, но обрусеніе дѣйствительное, сопровождаемое инкюлькированіемъ настоящаго русскаго духа. Мы не вѣримъ болѣе Петербургу, ибо какой же тамъ русскій духъ?! Петербургъ указываетъ намъ на Западъ и предлагаетъ нашу общественность перестроить на манеръ тамошней. Странное дѣло! Не все ли это равно, что предложить человѣку надѣть заношенное исподнее бѣлье его сосѣда?» На это газета «Зеркало Пѣнкоснимателя» возражала слѣдующее: «Стремленіе создать *свою* мысль, *свою* науку — весьма похвально. Мы не имѣемъ права успокоиться до тѣхъ поръ, пока у насъ не будетъ *своей* ариѳметики, *своей* химіи, *своей* астрономіи и проч. Но сравненіе западной цивилизаціи съ чужимъ поношеннымъ бѣльемъ все-таки не выдерживаетъ критики. Оно неосновательно уже по тому одному, что недоброжелатели наши могутъ возразить намъ, что на Западѣ бѣлье никогда не доводится до степени полной заношенности, и что ежели за кѣмъ есть грѣшокъ въ нѣкоторой непріятности, то это именно за нами. Итакъ, не станемъ напрашиваться на ненужныя возраженія и останемся при основной и несомнѣнно вѣрной мысли: да, мы призваны создать новую науку и сказать дряхлѣющему міру новое, обновляющее слово! Не будемъ заимствоваться отъ сосѣдей ихъ заношеннымъ исподнимъ бѣльемъ, но не станемъ дорожить и собственнымъ таковымъ же! «Новое слово» — вотъ все, что отъ насъ требуется въ настоящій моментъ. Чѣмъ скорѣе оно будетъ сказано, тѣмъ лучше!»

Осьмое. Всемѣрно опасаться, какъ бы все сіе внезапно не уничтожилось.

Объясненіе. Въ газетѣ «Старѣйшая Всероссійская Пѣнкоснимательница» читаемъ: «Мы такъ молоды и неопытны, что не жалѣть о насъ было бы совершенно безполезною жестокостью. Скажемъ болѣе: мы отъ души сожалѣемъ о тѣхъ, которые не находятъ въ себѣ достаточно гражданскаго мужества, чтобъ пожалѣть о насъ, о нашей молодости и неопытности. Это люди злые и жалкіе. Представьте себѣ ребенка, который едва собрался встать на ноги и котораго вдругъ ткнутъ пальцемъ въ грудь—естественно, что

онъ упадетъ и ушибется. Не то ли же самое можетъ случиться и съ нашимъ молодымъ обществомъ, если мы будемъ обращаться съ нимъ безъ надлежащей осторожности? Мы приглашаемъ нашихъ противниковъ подумать объ этомъ серьезно и дѣлаемъ это тѣмъ съ бо̀льшимъ основаніемъ, что и помимо литературы найдется довольно охотниковъ тыкать въ бѣднаго новорожденнаго, называющагося русскимъ обществомъ».

Девятое. Опасаться вообще.

Объясненіе. Въ той же газетѣ говорится: «Какъ ни величественно зрѣлище бури, уничтожающей все встрѣчающееся ей на дорогѣ, но отъ этой величественности нимало не выигрываетъ положеніе того, кто испытываетъ на себѣ ся дѣйствіе. Вотъ почему благоразумные люди не вызываютъ бурь, а опасаются ихъ: они знаютъ, что стоитъ подуть жестокому аквилону—и ихъ ужъ нѣтъ! Мы совѣтуемъ нашимъ противникамъ подумать объ этомъ, и ежели они послѣдуютъ нашему совѣту, то, быть-можетъ, поймутъ, что роль пѣнкоснимателя (то-есть человѣка, опасающагося по преимуществу) далеко не столь смѣшна, какъ это можетъ показаться съ перваго взгляда. Въ этой роли много трагическаго».

§ 5. *О правахъ членовъ Союза.*

Ст. 1. Права членовъ Вольнаго Союза Пѣнкоснимателей прямо вытекаютъ изъ обязанностей ихъ. Почему и распространяться о нихъ нѣтъ надобности.

Объясненіе. Въ газетѣ «Истинный Россійскій Пѣнкоснимать» читаемъ: «Намъ говорятъ о правахъ; но развѣ можетъ быть какое-нибудь сомнѣніе относительно права, коль скоро обязанность несомнѣнна? Очевидно, тутъ есть недоразумѣніе, и люди, возбуждающіе вопросъ о правахъ, не понимаютъ или не хотятъ понять, что, принимая на себя бремя обязанностей, мы съ тѣмъ вмѣстѣ принимаемъ и бремя истекающихъ изъ нихъ правъ. Это подразумѣвается само собой, и напоминать о семъ значитъ лишь подливать масла въ огонь. Не будемъ же придираться къ словамъ, но постараемся добропорядочнымъ поведеніемъ доказать, что мы одинаково созрѣли и для обязанностей, и для правъ».

§ 6. *Что сіе означаетъ?*

Ст. 1. Вопросъ этотъ ближе всего разрѣшается «Старѣйшею Всероссійскою Пѣнкоснимательницею», которая,

задавшись вопросомъ: «во всѣхъ ли случаяхъ необходимо приходить къ какимъ-либо заключеніямъ?» — отвѣчаетъ такъ: «Нѣтъ, не во всѣхъ. Жизнь не мертвый силлогизмъ, который во что бы то ни стало требуетъ логическаго вывода. Заключенія, даваемыя жизнью, не зависятъ ни отъ посылокъ, ни отъ общихъ положеній, но являются ex abrupto и почти всегда неожиданно. Поэтому, ежели мы нерѣдко ведемъ съ читателемъ бесѣду на шести столбцахъ и не приходимъ при этомъ ни къ какимъ заключеніямъ, то никто не вправѣ поставить намъ это въ укоръ. Укорителямъ нашимъ мы совершенно резонно отвѣтимъ: какихъ вы требуете отъ насъ заключеній, коль скоро мы съ тѣмъ и начали нашу рѣчь, чтобы ни къ какимъ заключеніямъ не приходить?»

§ 7. *Цѣль учрежденія Союза и его организація* *).

Ст. 1. За отсутствіемъ настоящаго дѣла и въ видахъ безобиднаго препровожденія времени, учреждается учено-литературное общество подъ названіемъ «Вольный Союзъ Пѣнкоснимателей».

. . . . . .

Я кончилъ. Не знаю, какъ это случилось, но едва я успѣлъ дочитать послѣднее слово «Устава», какъ мной овладѣлъ глубочайшій сонъ.

Въ этомъ снѣ я пробылъ до тѣхъ поръ, когда пробилъ часъ ѣхать къ Прелестнову.

Что̀ происходило потомъ—до слѣдующей главы.

Глава VI.

«Такъ вотъ вы каковы!—думалось мнѣ, покуда я шелъ къ Прелестнову:—заговорщики! почти-что революціонеры!»

Вотъ къ чему привело классическое образованіе! вотъ что̀ значитъ положить въ основаніе дальнѣйшей дѣятельности диссертацію: «Гомеръ какъ человѣкъ, какъ поэтъ и какъ гражданинъ»! Умъ вскую шатающійся, умъ оторванный отъ дѣйствительности, воспитанный въ преданіяхъ

*) Этотъ параграфъ составляетъ дословную перепечатку § 1-го и существуетъ только въ первомъ изданіи «Устава», гдѣ онъ, очевидно, напечатанъ по недосмотру корректора. Во второмъ изданіи онъ исключенъ; но помѣщаю его, какъ потому, что у меня въ рукахъ было первое изданіе, такъ и потому, что напоминаніе о цѣли учрежденія Союза въ концѣ Устава какъ нельзя болѣе умѣстно.

Примѣчаніе автора «Дневника».

Греціи и Рима, можетъ ли такой умъ имѣть что-нибудь другое въ виду, кромѣ систематическаго, подрывающаго основы общественности, пѣнкоснимательства?

А что, ежели они... да съ оружіемъ въ рукахъ! Страшно подумать!

А мы-то сидимъ въ провинціи и думаемъ, что это просто невинные люди, которые увидятъ заборъ—поютъ: заборъ! заборъ! увидятъ рѣку—поютъ: рѣка! рѣка! Какъ бы не такъ—«заборъ»! Нѣтъ, это люди себѣ на умѣ; это люди, которые въ совершенствѣ усвоили суворовскую тактику. «Заманивай! заманивай!»—кричатъ они другъ другу и все бѣгутъ, все бѣгутъ, куда глаза глядятъ, затылкомъ къ опасности!

И какъ хитро все это придумано! По наружности вы видите какъ будто отдѣльныя изданія: тутъ и «Старѣйшая Всероссійская Пѣнкоснимательница», и «Истинный Россійскій Пѣнкосниматель», и «Зеркало Пѣнкоснимательности», а на повѣрку выходитъ, что все это одна и та же сказка о бѣломъ бычкѣ, что это лишь рубрики одного и того же ежедневно - еженедѣльно - ежемѣсячнаго изданія «Общероссійская Пѣнкоснимательная Срамница»! Каковъ сюрпризъ!

Но этого мало. Мало того, что родные братья притворяются, будто они другъ другу только седьмая вода на киселѣ,—посмотрите, какъ они враждуютъ другъ съ другомъ! «Мы,—говоритъ одинъ,—и только мы одни имѣемъ совершенно правильныя и здоровыя понятія насчетъ института городовыхъ, а вамъ объ этомъ важномъ предметѣ и заикаться не слѣдуетъ!» «Нѣтъ, — огрызается другой, — истинная компетентность въ этомъ дѣлѣ не на вашей, а на нашей сторонѣ. Мы первые подали мысль о снабженіи городовыхъ свистками,—а вы, гдѣ были вы, когда мы предлагали эту спасительную мѣру? И послѣ этого вы осмѣливаетесь утверждать, что мы не имѣемъ сказать ничего плодотворнаго по вопросу о городовыхъ! Но мы отдаемъ нашъ споръ на судъ публики и ей предоставляемъ рѣшить, какого названія заслуживаетъ взводимая на насъ нахальная ложь!»

Читая эти вдохновенныя рѣчи, мы, провинціалы, задумываемся. Конечно,—говоримъ мы себѣ,—эти люди невинны, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ они непреклонны! посмотрите, какъ они козыряютъ другъ друга! Какъ они способны замучить другъ друга по вопросу о выѣденномъ яйцѣ!

Обманъ двойной! во-первыхъ, они не невинны; во-вторыхъ, совсѣмъ не непреклонны, и ежели затѣяли между собой полемику, то единственно, какъ говорится, для оживленія своихъ столбцовъ и страницъ.

Невинны! на чемъ основано это мнѣніе? На томъ ли, что всѣ они славословятъ и поютъ хвалу? На томъ ли, что всѣ въ одно слово прорицаютъ: тише! не расплывайтесь! не заѣзжайте! не раздражайте! Прекрасно. Я первый бы согласился, что нѣтъ никакой опасности, если бы они кричали «тише!» каждый самъ по себѣ. Но вѣдь они кричатъ всѣ вдругъ, кричатъ единогласно—поймите это, ради Христа! Вѣдь это ужъ скопъ! Вѣдь этакъ можно съ часу на часъ ожидать, что они не задумаются кричать: «тише!»—съ оружіемъ въ рукахъ! Ужели же это не анархія!?

Да; это люди опасные, и нечего удивляться тому, что даже сами они убѣдились, что съ ними нужно держать ухо востро. Но сколько должно накопиться горечи, чтобы даже на людей, кричащихъ: «тише!»—взглянуть окомъ подозрительности?! Чтобы даже въ нихъ усмотрѣть наклонности къ какимъ-то темнымъ замысламъ, въ нихъ, которые до сихъ поръ выказали одно лишь мастерство: мастерство впиваться другъ въ друга по поводу выѣденнаго яйца!

Что же касается до непреклонности, то мнѣ невольно припомнилось, какъ въ былое время мой другъ, Никодимъ Крошечкинъ, тоже прибѣгалъ къ полемикѣ «въ видахъ оживленія столбцовъ издаваемой имъ газеты».

То было время господства «Британіи» и эстетическихъ споровъ. Никодимъ редижировалъ какую-то казенную газету, при которой, для увеселенія публики, имѣлся и литературный отдѣлъ. На пріобрѣтеніе матеріала для этого отдѣла Никодиму выдавалась какая-то неизмѣримо малая сумма, съ помощью которой онъ и обязывался три дня въ недѣлю «оживлять столбцы газеты». Пріятелей у Крошечкина было множество, но, во-первыхъ, все это были люди необыкновенно глубокіе, а потому «какъ слѣдуетъ писать объ этомъ предметѣ, братецъ, времени нѣтъ, а коротѐнько писать—не стоитъ руки марать»; а во-вторыхъ, всѣ они проводили время по большей части въ «Британіи» и потому не всегда бывали трезвы. Такимъ образомъ Никодимъ и остался одинъ, какъ ракъ на мели. Бился онъ, бился—и вдругъ нашелся. Къ величайшему удивленію, мы стали замѣчать, что Никодимъ ведетъ газету на славу, что «столбцы ея оживленны». что въ ней появилась цѣлая

стая совершенно новыхъ сотрудниковъ, которые неустанно ведутъ между собою живую и даже ожесточенную полемику по поводу содержанія московскихъ бульваровъ, по поводу ненужности посыпанія пескомъ тротуаровъ въ лѣтнее время и т. д. Заинтересованные въ высшей степени, мы всѣмъ хоромъ приступили къ Никодиму съ вопросомъ: —что̀ сей сонъ значитъ?—И что̀ же оказалось!—Что онъ, Никодимъ, просто-на̀-просто полемизируетъ самъ съ собою! Что онъ въ одномъ своемъ лицѣ соединяетъ и Корытникова, и Иванова, и Ѳедула Долгомостьева, и Прохожаго, и Проѣзжаго и т. д. Что сначала онъ напишетъ статью о необходимости держать бульвары въ чистотѣ и уязвитъ при этомъ московскую городскую думу, а въ слѣдующемъ нумерѣ накинется самъ на себя и совершенно убѣдительно докажетъ, что все это пустяки, и что бульвары прежде всего должны служить въ качествѣ неисчерпаемаго вмѣстилища человѣчьяго гуано!

И вотъ теперь, когда я ближе ознакомился съ «Уставомъ Вольнаго Союза Пѣнкоснимателей» и сопоставилъ начертанныя въ немъ правила съ современною литературною и журнальною дѣйствительностью, я не могъ воздержаться, чтобы не воскликнуть: да, это Никодимъ! это онъ, подъ разными псевдонимами полемизирующій самъ съ собою!

Признаюсь, мнѣ даже сдѣлалось какъ будто неловко. Вѣдь это наконецъ бездѣльничество! думалось мнѣ, и ежели въ этомъ бездѣльничествѣ нѣтъ ни организаціи, ни предумышленности — тѣмъ хуже для него. Значитъ, оно проникло въ глубину сердецъ, проѣло нашихъ пѣнкоснимателей до мозга костей! Значитъ, они бездѣльничаютъ отъ полноты чувствъ, бездѣльничаютъ всласть, бездѣльничаютъ потому, что дѣйствительно ничего другого передъ собой не видятъ.

Но какъ они, отъ нечего-дѣлать, ѣдятъ другъ друга— это даже ужасно! Загляните, напримѣръ, въ «Старѣйшую Всероссійскую Пѣнкоснимательницу», и первое, что̀ васъ поразитъ,—это смотръ, который она періодически дѣлаетъ всѣмъ прочимъ о̀рганамъ пѣнкоснимательства. Что̀ побуждаетъ ее къ тому? то ли, что ее раздѣляетъ бездна отъ прочихъ пѣнкоснимателей?—нѣтъ, этой бездны нѣтъ, да и она сама, въ минуты откровенности, коснѣющимъ языкомъ проговаривается, что, въ сущности, каждый пѣнкоснимательравенъ каждому пѣнкоснимателю. Очевидно, стало

быть, ей хочется только отличиться, отвести глаза и оживить свои столбцы, даже рискуя собственными боками. Ей хочется, чтобы публика, благодаря общему затишью, слышала, какъ она жуетъ во снѣ собственные рукава.

Теперь этотъ наглый обманъ выяснился для меня съ какою-то безнадежною выпуклостью... Но, признаюсь, и прежде, когда я былъ еще въ провинціи, меня уже смущали нѣкоторыя неясныя сомнѣнія на этотъ счетъ. Едва ли не десять лѣтъ сряду, каждое утро, какъ мнѣ подаютъ вновь полученные съ почты органы русской мысли, я ощущаю, что мною начинаетъ овладѣвать тоскливое чувство. Иногда мнѣ кажется, что вотъ-вотъ я сейчасъ услышу какое-то невнятное и ненужное бормотаніе о томъ, о семъ, а больше ни о чемъ; иногда сдается, что мнѣ подаютъ дѣтскую пеленку, въ которой новорожденный младенецъ начерталъ свою первую передовую статью; иногда же просто-на́-просто я воочію вижу, что въ мой кабинетъ вошелъ дуракъ. Пришелъ, сѣлъ и забормоталъ. И я не могу указать ему на дверь, я долженъ бесѣдовать съ нимъ, потому что это дуракъ привилегированный: у него за пазухой есть двѣ-три новости, которыхъ я еще не знаю!

И эти-то люди обозрѣваютъ другъ друга! эти люди, ради оживленія какихъ-то столбцовъ, язвятъ и чернятъ другъ друга! Они, которымъ слѣдовало бы цѣловать другъ друга въ засосъ! Проказники!

У каждаго изъ этихъ апостоловъ самоѣдства сидитъ въ головѣ маковое зернышко, которое онъ хочетъ во что бы то ни стало помѣстить; каждый изъ нихъ имѣетъ за душой матеріала настолько, чтобы изобразить: «на послѣднемъ я листочкѣ напишу четыре строчки!»—зато ужъ и набрызжетъ же онъ въ этихъ четырехъ строчкахъ! И посмотрите, съ какою серьезностью какой-нибудь мудрый Натанъ воробьинаго царства произноситъ свои: «позволительно думать, что возбужденіе подобныхъ вопросовъ едва ли своевременно», или: «по нашему мнѣнію, это не совсѣмъ такъ»! Мудрѣйшій изъ воробьевъ! кто тебя? не все ли равно, кто, какъ и съ чего снимаетъ пѣнки?

Какая громадная разница съ Никодимомъ! Когда Никодимъ полемизировалъ самъ съ собою, уличалъ самого себя въ неправдѣ и доказывалъ свою собственную несостоятельность—онъ не вставалъ на дыбы, не артачился и не похвалялся, что идетъ на рать. Онъ откровенно говорилъ: «мнѣ даютъ мелкую монету и требуютъ, чтобы я дѣйство-

валъ такъ, какъ бы имѣлъ въ распоряженіи своемъ монету крупную—понятное дѣло, что я не могу удовлетворить этому требованію иначе, какъ истязуя самого себя». Такъ объяснялся Никодимъ, и мы очень хорошо понимали, что онъ относится къ своему занятію вполнѣ объективно, что онъ рѣзко отдѣляетъ свое внутреннее «я» отъ того горькаго дѣла, къ которому прицѣпила его судьба, отдѣляетъ настолько же, насколько отдѣлялъ себя въ тѣ времена каждый молодой либералъ-чиновникъ отъ службы въ департаментахъ и канцеляріяхъ, которые онъ всякое утро посѣщалъ. Внутренно Никодиму было рѣшительно все равно, стоять ли будочники при будкахъ, или же они разставлены по перекресткамъ улицъ; поэтому онъ могъ смѣло и не расходуя своихъ убѣжденій доказывать: разъ, что полезно, чтобы будочники находились при будкахъ, и два—что еще полезнѣе, если они разставлены по перекресткамъ. Слѣдовательно, ежели современные россійскіе пѣнкосниматели и заимствовали у Никодима внѣшніе пріемы «оживленія столбцовъ», то они совершенно забыли о той объективности, которая скрывалась за этими пріемами. Подобно Никодиму, они самоѣдствуютъ, но при этомъ горячатся, встаютъ на дыбы и—о, верхъ самохвальства!—изо всѣхъ силъ доказываютъ, что у нихъ даже въ помышленіи ничего другого не имѣется, кромѣ мысли о необходимости снабженія городовыхъ свистками. О, заговорщики! кто же повѣритъ вамъ?

«Тише! не расплывайся! не раздражай!»—это ли не карбонарство? Этого ли мало для возбужденія въ самомъ кроткомъ начальникѣ подозрительности?

Таковы были вопросы, которые застали меня на подъѣздѣ дома, въ которомъ жилъ Прелестновъ. Я обернулся: сзади меня разстилалось зеркало Невы, все облитое тихимъ мерцаніемъ бѣлой майской ночи. Воздухъ былъ недвижимъ; деревья въ сосѣднемъ саду словно застыли; на поверхности рѣки—ни малѣйшей зыби; съ другой стороны рѣки доносился смутный городской гомонъ и стукъ; здѣсь, на Выборгской—царствовала тишина и благорастворенiе воздуховъ. «А не удрать ли на тоню, или на острова?» мелькнуло у меня въ головѣ. Но пѣнкоснимательная мысль: «я долженъ исполнить свой долгъ!»—уже безвозвратно отравила мое существованіе. Я позвонилъ.

Въ кабинетѣ у Менандра было довольно много народа

и страшно накурено. Тутъ были люди всякаго роста и всякихъ комплекцій, но на всѣхъ лицахъ было написано присутствіе головной боли. У всѣхъ цвѣтъ лица былъ тусклый, сѣрый, а выраженіе озабоченное, какъ бы скорбящее о грѣсѣхъ; всѣ страдали геморроемъ, слѣдствіемъ слишкомъ усидчиваго пѣнкоснимательства. Всѣ великіе наши пѣнкосниматели были тутъ налицо, всѣ тѣ, которые даже одну минуту опасаются провести праздно: такъ велика вереница пустяковъ, которые имъ предстоитъ разрѣшать. Въ тотъ моментъ, когда я вошелъ, Александръ разсказывалъ собравшейся около него кучкѣ о своемъ путешествіи по Италіи.

— Представьте себѣ,—говорилъ онъ:—небо тамъ синее, море синее, по морю корабли плывутъ, а надъ кораблями рѣютъ какія-то неизвѣстныя птицы... но буквально неизвѣстныя, à la lettre!

— Позвольте! не объ этихъ ли птицахъ писалъ Страбонъ?—пустилъ кто-то догадку.

— Нѣтъ, это не тѣ. Кювье же хотя и догадывался, что это простыя вороны, однако Гумбольдтъ разбилъ его доводы въ прахъ... Но что всего удивительнѣе—въ Италіи и вообще на югѣ совсѣмъ нѣтъ сумерекъ! Идете по улицѣ—свѣтло, и вдругъ—темно!

— И апельсины на воздухѣ растутъ?—полюбопытствовалъ нѣкто.

— Еще бы. Я самъ видѣлъ дерево, буквально обремененное плодами. Ну, все равно, что у насъ яблоки, или, вѣрнѣе, даже не яблоки, а рябина.

Въ эту минуту хозяинъ замѣтилъ мое присутствіе.

— А! старый другъ! Господа! бывшій товарищъ по университету! написалъ когда-то повѣсть, на которую обратилъ вниманіе Бѣлинскій!—рекомендовалъ онъ меня и въ свою очередь представилъ мнѣ присутствующихъ:—Иванъ Николаевичъ Неуважай-Корыто, авторъ «Изслѣдованія о Чурилкѣ»! Семенъ Петровичъ Нескладинъ, авторъ брошюры: «Новые суды и легкомысленное отношеніе къ нимъ публики»! Петръ Сергѣичъ Болиголова, авторъ диссертаціи «Русская пѣсня: *Чижикъ! чижикъ! гдѣ ты былъ?*—передъ судомъ критики»! Вячеславъ Семенычъ Размазовъ, авторъ статьи «Куда несетъ нашъ крестьянинъ свои сбереженія?»...

Но тутъ со мной случилось что-то совершенно неловкое. Раскланиваясь и пожимая руки во всѣ стороны, я до того замотался, что принялъ послѣднюю рекомендацію за во-

просъ, обращенный ко мнѣ. И потому совершенно невпопадъ отвѣчалъ:

— Да въ казначейство, я полагаю...

На этотъ разъ однако-жъ мой легкомысленный отвѣтъ не повлекъ за собой никакого реприманда. Напротивъ того, насупленныя лица пѣнкоснимателей какъ-то снисходительно оскабились, и всѣ они очень радушно пожали мнѣ руку.

Прерванный на минуту разговоръ возобновился; но едва успѣлъ Менандръ сообщить, что ладзарони лежатъ цѣлый день на солнцѣ и питаются макаронами, какъ стали разносить чай, и гости раздѣлились на группы. Я горѣлъ нетерпѣніемъ улучить минуту, чтобы пристать къ одной изъ нихъ и предложить на обсужденіе волновавшія меня сомнѣнія. Но это положительно не удавалось мнѣ, потому что у каждой группы былъ свой вопросъ, поглощавшій все ея вниманіе.

— Такъ вы полагаете, что Чурилка?..—шла рѣчь въ одной группѣ.

Центромъ этой группы былъ Неуважай-Корыто. Это былъ сухой и длинный человѣкъ, съ длинными руками и длиннымъ же носомъ. Мнѣ показалось, что передо мною стоитъ громадныхъ размѣровъ дятелъ, который долбитъ носомъ въ дерево и постепенно приходитъ въ деревянный экстазъ отъ звуковъ собственнаго долбленія. «Да, этотъ человѣкъ, если примется снимать пѣнки, онъ сдѣлаетъ это... чисто!» думалось мнѣ, покуда я разглядывалъ его.

— Не только полагаю, но совершенно опредѣлительно утверждаю,—объяснялъ между тѣмъ Неуважай-Корыто:— что Чуриль, а не Чурилка, былъ не кто иной, какъ швабскій дворянинъ VII столѣтія. Я, батюшка, полъ-Европы изъѣздилъ, покуда наконецъ въ королевской мюнхенской библіотекѣ нашелъ рукопись, осносящуюся къ VII столѣтію, подъ названіемъ: «Похожденія знаменитаго и доблестнаго швабскаго дворянина Чуриля»... Ба! да это нашъ Чурилка! сейчасъ же блеснула у меня мысль... И повѣрите ли, я цѣлую ночь послѣ этого былъ въ бреду!

— Понятное дѣло. Но Добрыня... Илья Муромецъ... вѣдь они *наши?*

Собесѣдникъ, произнося: «они *наши?*»—очевидно, страдалъ. Онъ и опасался, и надѣялся; ему почему-то ужасно хотѣлось, чтобы *они* были *нашими*, и въ то же время въ душу уже запалзывали какія-то скверныя сомнѣнія. Но

Неуважай-Корыто съ суровою непреклонностью положилъ конецъ колебаніямъ, «ни въ какомъ случаѣ не достойнымъ науки».

— Напротивъ того,—отдолбилъ онъ совершенно ясно:— я положительно утверждаю, что и Добрыня, и Илья Муромецъ—все это были не болѣе, какъ сподвижники датчанина Канута!

— Но Владиміръ Красное Солнышко?

— Онъ-то самый Канутъ и есть!

Въ группѣ раздался общій вздохъ. Совопросникъ вытаращилъ на минуту глаза.

— Однако-жъ какой свѣтъ это проливаетъ на нашу древность!—произнесъ онъ тихимъ, но все еще не успокоившимся голосомъ.

— Я говорю вамъ: камня на камнѣ не останется! Я съ болью въ сердцѣ это говорю, но что же дѣлать—это такъ! Мнѣ больно, потому что всѣ эти Чурилки, Алеши Поповичи, Ильи Муромцы—всѣ они съ дѣтства волновали мое воображеніе! Я жилъ ими... понимаете, жилъ! Но противъ науки я безсиленъ. И я съ болью въ сердцѣ повторяю: да! ничего этого нѣтъ!

Собесѣдники стояли съ раскрытыми ртами, смотря на обличителя Чурилки, какъ будто ждали, что вотъ-вотъ придетъ новый Моисей и извлечетъ изъ этого кремня огонь. Но тутъ Неуважай-Корыто съ такою силой задолбилъ носомъ, что я понялъ, что мнѣ нечего соваться съ моими сомнѣніями, и поспѣшилъ ретироваться къ другой группѣ.

Въ другой группѣ ораторствовалъ Болиголова, маленькій, юрконькій человѣчекъ, который съ трудомъ могъ устоять на мѣстѣ и судорожно подергивался всѣмъ своимъ корпусомъ. Голосъ у него былъ тоненькій, дѣтскій.

— Ужели же наконецъ и «Чижикъ, чижикъ! гдѣ ты былъ»?—изумлялись окружающіе пѣнкосниматели.

— Подлогъ-съ!

— Позвольте-съ! Но какимъ же образомъ вы объясните стихъ «на Фонтанкѣ воду пилъ»? Фонтанка—вѣдь это наконецъ... Наконецъ я вамъ долженъ сказать, что нашъ почтеннѣйшій Иванъ Семеновичъ живетъ на Фонтанкѣ!

— И пьетъ оттуда воду!—сострилъ кто-то.

— Подлогъ! подлогъ! и подлогъ-съ! Въ мавританскомъ подлинникѣ именно сказано: «на Гвадалквивирѣ воду пилъ». Всю Европу, батюшка, изъѣздилъ, чтобы убѣдиться въ этомъ!

— Это удивительно! Но какъ вамъ пришло на мысль усомниться въ подлинности «Чижика»?

— Ну, ужъ это, батюшка, спеціальность моя такова!

— Однако какой странный свѣтъ это проливаетъ въ нашу народность! Все чужое! даже «Чижика» мы не сами сочинили, а позаимствовали!

— Говорю вамъ: камня на камнѣ не останется! Съ болью въ сердцѣ это говорю, но противъ указаній науки ничего не подѣлаешь!

И т. д., и т. д.

Въ третьей группѣ шелъ разговоръ таинственнаго свойства. Сообщались по секрету свѣдѣнія о какихъ-то козняхъ, предпринимаемыхъ противъ какихъ-то учрежденій; слышались соболѣзнованія, жалобы, вздохи.

— Я самъ сейчасъ оттуда,—полушопотомъ объяснялъ Нескладинъ, авторъ брошюры: «Новые суды и легкомысленное отношеніе къ нимъ публики».

— И что-жъ?

— Дѣло очень простое. Существуетъ два проекта: одинъ объ уничтоженіи, другой объ упраздненіи. Теперь весь вопросъ въ томъ, который изъ этихъ проектовъ пройдетъ.

Всѣ въ нѣмомъ негодованіи оглянулись другъ на друга. И вдругъ кому-то пришло на мысль:

— Но тайный совѣтникъ Кузьма Прутковъ!! ужели онъ допуститъ до этого?

— Я именно сейчасъ отъ него!

— И говорили съ нимъ?

— Да; и онъ мнѣ сказалъ прямо: «любезный другъ! о томъ, чтобы устранить *оба* проекта—не можетъ быть и рѣчи; но, вѣроятно, съ Божьею помощью, мнѣ удастся провести проектъ объ упраздненіи, а «уничтоженіе» прокатить!»

— Но вѣдь и это будетъ значительный успѣхъ!

— Конечно. Но онъ прибавилъ къ этому еще слѣдующее: «во всякомъ случаѣ, мой другъ, я тогда только могу ручаться за успѣхъ, если пресса наша будетъ вести себя съ *особенною* сдержанностью». Слово «особенною» старикъ даже подчеркнулъ.

Извѣстіе это производитъ въ группѣ общее впечатлѣніе.

— И я полагаю,—продолжаетъ все тотъ же Нескладинъ:—что намъ ничего болѣе не остается, какъ послѣдовать этому благоразумному совѣту!

Собесѣдники нѣсколько минутъ мнутся, и въ комнатѣ слышится какое-то неясное жужжаніе. Какъ будто влетѣлъ

комаръ и затянулъ свою неистово-назойливую проповѣдь о томъ, о семъ, а больше ни о чемъ. Наконецъ одинъ изъ собесѣдниковъ, болѣе рѣшительный, выступаетъ впередъ и говоритъ:

— Я, съ своей стороны, полагаю, что намъ слѣдуетъ молчать, молчать и молчать!

— Молчать!—восклицаютъ хоромъ прочіе.

— Не слѣдуетъ забывать, господа, — вставляетъ свое слово вдругъ появившійся Менандръ:—что въ насъ воплощается либеральное начало въ Россіи! Слѣдовательно намъ прежде всего надо поберечь самихъ себя, а потомъ позаботиться и о томъ, чтобъ у нашего бѣднаго, едва встающаго на ноги общества не отняли и того, что̀ у него уже есть!

— Молчать! молчать! и молчать!

— Надобно наконецъ имѣть настолько гражданскаго мужества, чтобы взглянуть дѣйствительности прямо въ глаза,—продолжаетъ Менандръ:—надо понять, что ежели мы будемъ разбрасываться, какъ это, къ сожалѣнію, до сихъ поръ было, то самъ тайный совѣтникъ Кузьма Прутковъ окажется внѣ возможности поддержать насъ.

— И тогда у насъ отнимутъ и то, что̀ мы въ настоящее время имѣемъ.

— И будутъ совершенно правы, потому что люди легкомысленные, не умѣющіе терпѣть, ничего другого и не заслуживаютъ. А между тѣмъ это будетъ потеря очень большая, потому что если соединить въ одинъ фокусъ все то, что̀ мы имѣемъ, то окажется, что намъ дано очень и очень многое! Вотъ о чемъ не слѣдуетъ забывать, господа!

— Очень и очень многое! — восклицаютъ хоромъ всѣ пѣнкосниматели и, какъ бы послѣ принятаго важнаго рѣшенія, вдругъ всѣ разсыпаются по комнатѣ. У всѣхъ свѣтлыя лица, всѣ съ безпечною довѣрчивостью глядятъ въ глаза будущему; нѣкоторые бьютъ себя по ляжкамъ и повторяютъ:—очень и очень многое!

Я смотрѣлъ во всѣ глаза и, конечно, старался стать на одинъ уровень со всѣми. И, можетъ-быть, это удалось бы мнѣ (я очень хорошо помню, что и самъ разъ или два ужъ ударилъ себя по ляжкѣ съ восклицаніемъ: очень и очень многое!), но меня пугалъ Неуважай-Корыто. Этотъ загадочный человѣкъ, очевидно, олицетворялъ собою принципъ радикализма въ пѣнкоснимательствѣ. Объѣздить Европу для того, чтобы доказать швабское происхожденіе Чурилки —

согласитесь, что въ этомъ есть что-то непреклонное! И если бы вмѣсто Чурилки этому человѣку помѣстить въ голову какую-нибудь подлинную мысль, то изъ него могъ бы выйти своего рода... Робеспьеръ! Ужъ онъ не отступитъ! онъ не отстанетъ до тѣхъ поръ, пока не высосетъ изъ Чурилки всю кровь до послѣдней капли!

Тѣмъ не менѣе я сдѣлалъ попытку сблизиться съ этимъ человѣкомъ. Замѣтивъ, что Неуважай-Корыто и Болиголова отдѣлились отъ публики въ уголъ, я направилъ въ ихъ сторону шаги свои. Я засталъ ихъ именно въ ту минуту, когда они взаимно слагали другъ другу славословія.

— Однако задали вы, Иванъ Николаичъ, задачу московскимъ буквоѣдамъ!—привѣтствовалъ Болиголова.

— Да и вы, Петръ Сергѣичъ, кажется, поусердствовали!—отвѣчалъ Неуважай-Корыто.

— Я думаю, что теперь, когда Чурилкѣ нанесенъ такой рѣшительный ударъ, немного останется отъ прежнихъ трудовъ по части изученія россійскихъ древностей!

— Ну-съ, я вамъ доложу, что и «Чижикъ»... вѣдь это своего рода coup de massue... Вѣдь до сихъ поръ никто и не подозрѣвалъ, что Испанія была покорена при звукахъ пѣсни «Чижикъ, чижикъ! гдѣ ты былъ»!

Я счелъ этотъ моментъ удобнымъ, чтобъ вступить въ разговоръ.

— Итакъ,—сказалъ я:—и Чурилка, и чижикъ погребены?

Оба посмотрѣли на меня такими веселыми глазами, какими смотрятъ на ученика, совершенно неожиданно обнаружившаго понятливость.

— Погребены — это такъ, — продолжалъ я: — но, признаюсь, меня смущаетъ одно: какимъ же образомъ мы вдругъ остаемся безъ Чурилки и безъ Чижика? Вѣдь это же наконецъ пустота, которую необходимо замѣстить?

Неуважай-Корыто насупилъ брови.

— Ну-съ, на этотъ счетъ наша наука никакихъ утѣшеній преподать намъ не можетъ,—сказалъ онъ сухо.

— Позвольте-съ; я не смѣю не вѣрить показаніямъ науки. Я ничего не имѣю сказать противъ швабскаго происхожденія Чурилки; но за всѣмъ тѣмъ сердце мое совершенно явственно подсказываетъ мнѣ: не можетъ быть, чтобъ у насъ не было *своего* Чурилки!

Болиголова и Неуважай-Корыто удивленно переглянулись между собою. Моя дерзость, очевидно, начинала пугать ихъ.

— И все-таки я не могу васъ утѣшить,—сказалъ послѣдній и, какъ бы желая дать мнѣ почувствовать, что аудіенція кончилась, запѣлъ:

—Парисъ преле-е-стный,
Судья извѣ-ѣстный!

Но сейчасъ же вспомнилъ, что оффенбаховская музыка не къ лицу такой серьезной птицѣ, какъ дятелъ, и затянулъ изъ «Каменнаго Гостя»:

—Вѣдь я не го!
Сударственный преступникъ!

Пропѣвъ это, онъ обдалъ меня надменно-ледянымъ взоромъ и отошелъ.

Я очутился въ самомъ неловкомъ положеніи. Я только однажды въ жизни былъ въ подобномъ положеніи, и именно, когда меня представляли одному сановнику, который *могъ* (буде заблагоразсудилъ бы) подать мнѣ руку, но которому я *ни въ какомъ случаѣ не имѣлъ права* протягивать свою руку. Но я не зналъ этого правила — и протянулъ. И вдругъ я почувствовалъ, что рука моя такъ и остается на вѣсу, въ тщетномъ ожиданіи взаимнаго пожатія. Ахъ, какъ мнѣ было тогда стыдно! За кого стыдно, за себя или за сановника — не знаю, но во всякомъ случаѣ чувство, которое я испытывалъ, было самаго непріятнаго свойства.

Точно то же ощущалъ я теперь. Зачѣмъ я говорилъ съ этимъ гордымъ, непреклоннымъ пѣнкоснимателемъ? думалось мнѣ. За что онъ меня сразилъ? Что̀ обиднаго или неприличнаго нашелъ онъ въ томъ, что я высказалъ сомнѣнія моего сердца по поводу Чурилки? Неужели «наука» такъ неприступна въ своей непогрѣшимости, что не можетъ взглянуть снисходительно даже на тревоги простецовъ?

Увы! покуда я разсуждалъ такимъ образомъ, молва, что въ среду пѣнкоснимателей затесался свистунъ, который позволилъ себѣ неуважительно отнестись къ «наукѣ», уже успѣла облетѣть все сборище. Какъ всѣ люди, дышащіе зараженнымъ воздухомъ замкнутаго кружка̀, пѣнкоснимателя съ удивительною зоркостью угадывали человѣка, который почему-либо былъ имъ несочувственъ. И, разъ усмотрѣвши таковаго, немедленно уставляли противъ него свои рога. Я долженъ былъ убѣдиться, что не только Болиголова и Неуважай-Корыто недоумѣваютъ, какимъ образомъ я очутился въ ихъ обществѣ, но что и прочіе пѣнкосни-

матели перешоптываются между собой и покачиваютъ головами, взглядывая на меня. Тѣмъ не менѣе я рѣшился исполнить свой долгъ до конца и потому, желая сдѣлать новую попытку къ общенію, подошелъ съ этою цѣлью къ Нескладину.

— Если я не ошибаюсь,—сказалъ я:—вы изволили давеча выразить опасеніе, что у насъ съ часу на часъ могутъ отнять даже и то, что̀ мы имѣемъ?

— Выразилъ-съ. А вы изволите сомнѣваться въ этомъ?

— Нѣтъ, я не сомнѣваюсь. О! я далеко не сомнѣваюсь! Я готовъ написать не шесть, а шестьсотъ шесть столбцовъ передовыхъ статей, въ которыхъ надѣюсь главнѣйшимъ образомъ развить мысль, что все на свѣтѣ семъ превратно, все на свѣтѣ коловратно...

— Ну-съ, въ чемъ же затрудненіе?

— Но я не понимаю одного: почему вы предпочитаете проектъ упраздненія проекту уничтоженія?

— Д-д-да-съ! такъ вотъ въ чемъ дѣло? А почему вы, смѣю васъ спросить, утверждаете, что дважды-два—четыре, а не пять?

На одно мгновеніе вопросъ этотъ изумилъ меня; но Нескладинъ глядѣлъ на меня съ такою ясною самоувѣренностью, что мнѣ даже на мысль не пришло, что эта самоувѣренность есть не что иное, какъ продуктъ извѣстнаго рода выработки, которая дозволяетъ человѣку барахтаться и городить вздоръ даже тогда, когда онъ чувствуетъ себя окончательно уличеннымъ и припертымъ къ стѣнѣ. Выдержавшіе подобнаго рода дрессировку люди никогда не отвѣчаютъ прямо и даже не увертываются отъ вопросовъ: они просто, въ свою очередь, ошеломляютъ васъ вопросами, не имѣющими ничего общаго съ дѣломъ, о которомъ идетъ рѣчь. Признаюсь, я въ эту минуту испытывалъ именно подобное ошеломленіе.

— Извините, — бормоталъ я: — я не зналъ... Дѣйствительно, дважды-два—это такъ... Я хотѣлъ только сказать, что сердце мое какъ-то отказывается вѣрить, что упраздненіе...

— А такъ какъ я имѣю дѣло съ фактами, а не тревогами сердца, то и не могу ничего сказать вамъ въ утѣшеніе.

Произнося эти слова, Нескладинъ совершенно безцеремонно обратился къ одному изъ единомышленниковъ, взялъ его подъ руку и отошелъ прочь.

— Стало-быть, это условлено: мы будемъ поддерживать «упраздненіе»? — слышался мнѣ его удаляющійся голосъ.

Нѣтъ сомнѣнія, я потерпѣлъ рѣшительное фіаско. Я дошелъ до того, что не понималъ, гдѣ я нахожусь и съ кѣмъ имѣю дѣло. Что̀ это за люди? спрашивалъ я себя: просто ли глупцы, давшіе другъ другу слово ни подъ какимъ видомъ не сознаваться въ этомъ? или это переодѣтые принцы, которымъ правила этикета не позволяютъ ни улыбаться не-во̀-время, ни поговорить по душѣ съ человѣкомъ, не посвященнымъ въ тайны пѣнкоснимательской абракадабры? или наконецъ это банда оффенбаховскихъ разбойниковъ, давшая клятву накидываться и скалить зубы на всѣхъ, кто къ ней не принадлежитъ?

Вѣроятно, лицо мое выражало очень большое недоумѣніе, потому что Менандръ поспѣшилъ ко мнѣ на выручку.

— А вѣдь я, братъ, проврался,—сказалъ я ему уныло.

— А я еще предупреждалъ тебя!—укорялъ онъ меня:— говорилъ я тебѣ, что расплываться не слѣдуетъ! Да забудь же ты хоть на нѣсколько часовъ о «Маланьѣ»!

— Но могъ ли я думать, что у васъ на этотъ счетъ такъ строго!

— Еще бы! Такое серьезное дѣло затѣяли—да чтобы безъ дисциплины! Мы, братъ, только и дѣла дѣлаемъ, что другъ за другомъ присматриваемъ! Впрочемъ, это еще можетъ уладиться. Только, ради же Бога, душа моя, не расплывайся! Признай наконецъ авторитетъ «науки»!

И Менандръ отъ полноты души засуетился.

— Господа, — сказалъ онъ: — вотъ мой пріятель! онъ провинціалъ и слѣдовательно, какъ человѣкъ дикій, не знаетъ нашихъ обычаевъ. Но это не мѣшаетъ ему интересоваться нѣкоторыми вопросами, и между прочимъ вопросомъ о распредѣленіи налоговъ. Онъ — владѣлецъ деревни Проплёванной — такъ, кажется? — и потому, какъ членъ рязанско-тамбовско-саратовскаго клуба... то бишь, земства... естественнымъ образомъ желаетъ стать на ту точку зрѣнія, съ которой всего удобнѣе взглянуть на этотъ вопросъ. Поэтому я попросилъ бы Ивана Петровича Нескладина прочитать статью, которую онъ приготовилъ по этому предмету для нашей газеты. Господа! прошу присѣсть!

Кресла шумно задвигались, и когда всѣ болѣе или менѣе удобно разсѣлись вокругъ большого круглаго стола, Нескладинъ прочиталъ:

С.-Петербургъ, 30-го мая.

«Что налоги, равномѣрно распредѣленные, суть тѣ, которые, по преимуществу, заслуживаютъ наименованія равномѣрно распредѣленныхъ — въ этомъ, при настоящемъ положеніи экономической науки, никто не сомнѣвается, кромѣ развѣ какихъ-нибудь безшабашныхъ свистуновъ, которые даже въ этой простой и для всѣхъ вразумительной истинѣ готовы заподозрить экономическое празднословіе. Но мы и не обращаемся къ свистунамъ; мы съ гомерическимъ хохотомъ встрѣчаемъ нахальныя выходки этихъ отпѣтыхъ людей, а ежели не клеймимъ ихъ презрѣніемъ, то только потому, что слишкомъ хорошо знаемъ литературныя приличія. Только тѣ могутъ сомнѣваться, что равномѣрность равномѣрна, кто въ состояніи усомниться даже въ томъ, что бѣлое бѣло и черное черно. Съ такими людьми не стòитъ тратить словъ. Прикрываясь и даже гордясь незнаніемъ литературныхъ приличій (которыя въ ихъ глазахъ, выражаясь ихъ же литературнымъ слогомъ, не стòятъ выѣденнаго яйца), они способны предать дерзкому, безсодержательному глумленію все, чтò представляетъ собой несомнѣнную побѣду цивилизаціи надъ варварствомъ *(Превосходно! Очень хорошо! Браво!)*.

«Итакъ, говоримъ мы, аксіома, утверждающая, что равномѣрность равномѣрна, находится внѣ спора, и не о ней намѣрены мы повести рѣчь съ почтенною газетою «Зеркало Пѣнкоснимательности», которая дѣлаетъ намъ честь считать насъ въ числѣ ея противниковъ почти по всѣмъ вопросамъ нашей общественной жизни.

«Мы намѣрены говорить о слѣдующемъ: «Зеркало Пѣнкоснимательности» утверждаетъ, что лучшіе крайніе сроки для взноса налоговъ суть сроки, опредѣленные нынѣ дѣйствующими по сему предмету узаконеніями, то-есть: 15-ое января и 15-ое марта; мы же, напротивъ того, утверждали, что сроки эти надлежитъ на двѣ недѣли отдалить, то-есть назначить ихъ 1-го февраля и 1-го апрѣля. Вотъ въ чемъ споръ. Конечно, «Зеркало Пѣнкоснимательности», быть-можетъ, имѣетъ очень полновѣсныя причины называть себя болѣе компетентнымъ судьей въ этомъ дѣлѣ. Быть-можетъ, оно черпаетъ свои свѣдѣнія изъ такихъ источниковъ, о которыхъ мы даже понятія не имѣемъ... Но все это тайны, углубляться въ которыя намъ не позволяютъ литературныя приличія...»

— Позвольте! — не вытерпѣлъ я: — но вѣдь вы сами черпаете свѣдѣнія отъ тайнаго совѣтника Кузьмы Пруткова!

— Ахъ, душа моя, какъ ты однако-жъ горячъ! Вѣдь это наконецъ невозможно! — укорилъ меня Менандръ. — Тайный совѣтникъ Прутковъ! да знаешь ли ты, что это одинъ изъ либеральнѣйшихъ людей нашего времени! что, быть-можетъ, онъ самъ на-дняхъ получитъ разомъ три предостереженія!

Я долженъ былъ поникнуть головой. Нескладинъ продолжалъ:

«Все это тайны, углубляться въ которыя намъ не позволяютъ литературныя приличія. Но мы находимъ въ себѣ настолько гражданскаго мужества, чтобы сказать нашему противнику: ваше превосходительство! вы введены въ заблужденіе! *(Общій смѣхъ, въ которомъ участвую и я)*. И мы дѣлаемъ это тѣмъ съ бо́льшимъ удовольствіемъ, что искренно уважаемъ этого бодраго и смѣлаго противника, который даже при словѣ «субсидія» не смущается духомъ. Мы даже убѣждены, что наши безшабашные свистуны поставятъ намъ это въ укоръ, что они воспользуются нашею почтительностью, чтобъ поднять насъ на смѣхъ, подобно тому, какъ уже и поступили они на-дняхъ съ однимъ изъ нашихъ уважаемыхъ сотрудниковъ, столь доблестно отличившимся въ защитѣ четырехъ негодяевъ, сознавшихся въ умерщвленіи одного почтеннаго земледѣльца *). Но это не помѣшаетъ намъ слѣдовать по избранному разъ пути, не смущаясь ни наглостью смѣха, ни нахальствомъ инсинуацій...

«Итакъ (да простятъ читатели нѣкоторыя повторенія въ нашей статьѣ: они необходимы), «Зеркало Пѣнкоснимательности» утверждаетъ, что лучшіе сроки для платежа налоговъ суть тѣ, которые издавна установлены закономъ. Въ подкрѣпленіе этой мысли почтенная газета приводитъ

*) Въ слѣдующемъ затѣмъ нумерѣ «Старѣйшей Россійской Пѣнкоснимательницы» было напечатано: «Въ городѣ разнеслись слухи, что авторъ передовой статьи, появившейся вчера въ нашей газетѣ, есть г. Нескладинъ, то-есть самъ знаменитый защитникъ четырехъ знаменитыхъ негодяевъ. Считаемъ долгомъ заявить здѣсь, что это наглая и гнусная клевета. Мы не имѣемъ надобности отстаивать г. Нескладина противъ набѣговъ нашихъ литературныхъ баши-бузуковъ, но говоримъ откровенно: мы перервемъ горло всякому (если позволятъ наши зубы), кто осмѣлится быть не одного съ нами мнѣнія о нашихъ сотрудникахъ».

слѣдующее: 1) привычку платить и 2) сравнительное благосостояніе, которое, будто бы, постигаетъ плательщика именно въ сроки 15 января и 15 марта. Разберемъ эти доводы съ тѣмъ вниманіемъ, котораго они заслуживаютъ. Но напомнимъ при этомъ читателю, что насъ постигло уже два предостереженія, тогда какъ другіе журналы, быть-можетъ, менѣе благонамѣренные по направленію (литературныя приличія не позволяютъ намъ назвать ихъ), еще не получили ни одного. *(Браво! Браво! Ядовито и въ то же время вполнѣ согласно съ литературными приличіями!).*

«Итакъ—приступимъ къ первому доводу.

«Намъ говорятъ: обыватели привыкли платить именно въ январѣ и въ мартѣ—и мы охотно соглашаемся, что въ этомъ возраженіи есть извѣстная доза справедливости. Но что же такое однако-жъ привычка? Съ одной стороны — это начало всепроникающее и до такой степени подчиняющее себѣ *всего* человѣка, что субъектъ, находящійся подъ игомъ привычки, готовъ не только платить налоги, но и совершать преступленія. «Человѣкъ есть животное привычки», сказалъ великій Бюффонъ, и сказалъ святую истину. Съ этой стороны, конечно, полезно и даже необходимо принимать во вниманіе народные обычаи и даже суевѣрія, и мы не будемъ утверждать что-нибудь противное этой святой истинѣ. Но, съ другой стороны, если взглянуть на дѣло пристальнѣе, то окажется, что привычка платить налоги, по самому свойству своему, никогда не укореняется настолько, чтобы нельзя было отстать отъ нея. Положимъ, что здѣсь идетъ рѣчь не о томъ, чтобы навсегда отстать отъ привычки платить (только безшабашные наши свистуны могутъ остановиться на подобной дикой мысли), но и за всѣмъ тѣмъ, положа руку на сердце, мы смѣемъ утверждать: отдалите, по мѣрѣ возможности, сроки платежа податей—и вы увидите, какъ расцвѣтутъ сердца землевладѣльцевъ!

«Но намъ говорятъ: привычка — вторая натура. Назначьте для плательщика другіе сроки—онъ все-таки понесетъ въ казначейство свои сбереженія въ январѣ и въ мартѣ. На это мы можемъ отвѣтить одно: тѣмъ лучше! Какъ не догадываются наши почтенные противники, что чѣмъ раньше несутъ плательщики въ казначейство свои избытки, тѣмъ лучше для нихъ и для казны. Пускай несутъ—милости просимъ! Это хорошо для плательщиковъ—потому что черезъ это они избавляются отъ опасеній военной

экзекуціи; это хорошо и для казны, потому что издержки экзекуціи хотя и падаютъ, главнымъ образомъ, на обывателей, но косвенно задѣваютъ и государственное казначейство. Но вѣдь истинный государственный взглядъ на вещи долженъ имѣть въ виду не только тѣхъ бодрыхъ и смѣлыхъ людей, которые привыкли серьезно смотрѣть на свои обязанности къ государственному казначейству, но и тѣхъ, которые, не столько вслѣдствіе преступности воли, сколько подъ вліяніемъ слабохарактерности, утратили этотъ здоровый инстинктъ. И такъ какъ послѣдніе, несмотря на принимаемыя противъ нихъ мѣры, все-таки составляютъ довольно значительное меньшинство, то мы не понимаемъ, зачѣмъ идти навстрѣчу экзекуціямъ, когда еще остается неиспытаннымъ одно совершенно безвредное и ни для кого не обидное средство, а именно отдаленіе на двѣ недѣли послѣднихъ сроковъ для взноса налоговъ? Двѣ недѣли! понимаете ли, только двѣ недѣли! И ни одной минуты больше! *(Совершенно справедливо! прекрасно! браво!).*

«Приступимъ теперь ко второму доводу. Во-первыхъ, намъ указываютъ на какія-то климатическія условія; но это доказательство до того уже несостоятельно, что нѣтъ даже надобности и распространяться о немъ. Въ самомъ дѣлѣ, что̀ значитъ выраженіе «платить налоги»? Для тѣхъ, до кого оно относится, это выраженіе означаетъ: перенести деньги изъ того помѣщенія, въ которомъ онѣ дотолѣ находились, въ другое, болѣе для нихъ подходящее. Спрашиваемъ по совѣсти: могутъ ли и въ какой мѣрѣ дѣйствовать тутъ климатическія условія? Во-вторыхъ,—и это возраженіе очень серьезное,—намъ говорятъ, что благоденствіе постигаетъ плательщика преимущественно въ январѣ и въ мартѣ. Но на чемъ основано такое внезапное заключеніе? — поистинѣ мы не понимаемъ этого. По нашему мнѣнію, если плательщикъ постигнутъ благоденствіемъ въ январѣ, то нѣтъ резона не быть ему постигнутымъ и въ декабрѣ, и въ іюлѣ, и во всѣ прочіе мѣсяцы. Но намъ возражаютъ: вы сами знаете, что въ іюлѣ плательщикъ благоденствіемъ не постигнутъ;—тогда мы спрашиваемъ: отчего? что̀ же это за благоденствіе, которое постигаетъ плательщика только въ ту минуту, когда ему надлежитъ класти въ казначейство деньги?

«Вотъ тутъ-то мы и настигаемъ васъ, наши уважаемые противники. Мы недаромъ предлагаемъ вамъ вопросъ: отчего? потому что разрѣшеніе его лежитъ на вашей

отвѣтственности. Вы находитесь слишкомъ въ исключительномъ положеніи относительно извѣстныхъ сферъ, чтобы уклониться отъ солидарности съ ними. Поэтому мы имѣемъ полное право требовать именно отъ васъ отвѣта на нашъ вопросъ, или, лучше сказать, не отвѣта, а оправданія. *(Браво! Отлично!).* Мы требуемъ этого во имя великихъ пѣнкоснимательныхъ началъ, которыхъ мы служимъ представителями, и не перестанемъ требовать, хотя бы намъ угрожали за это безчисленными предостереженіями! Мы примемъ эту кару закона безъ ропота, но и безъ удовольствія, и позволимъ себѣ только спросить, почему предостереженія постигаютъ именно насъ, а не «Истиннаго Пѣнкоснимателя», напримѣръ? Ни для кого не тайна, что эта газета, издаваемая безъ цензуры, тѣмъ не менѣе пользуется услугами таковой; ни для кого не тайна, что она всячески избѣгаетъ вопросовъ, волнующихъ весь пѣнкоснимательный міръ; ни для кого, наконецъ, не тайна, что лучшія статьи по части пѣнкоснимательства (какъ, напримѣръ, замѣчательнѣйшая статья «о необходимости содержанія въ конюшняхъ козловъ») были помѣщены не въ ней, а у насъ или въ дружескихъ намъ литературныхъ органахъ! Что же за причина того предпочтенія, которымъ пользуется эта уважаемая газета? *(Прекрасно! Браво! Отлично!).*

«Но мы отвлеклись отъ главнаго предмета нашей статьи и должны сознаться, что двѣ причины побудили насъ къ такому уклоненію. Прежде всего—принципы справедливости. Повидимому, намъ нѣтъ дѣла до того, кто и сколько получилъ предостереженій, а равно и до того, кто и какимъ образомъ снимаетъ пѣнки. Но это только повидимому. Намъ было бы несравненно пріятнѣе быть самимъ на мѣстѣ счастливцевъ, снимающихъ пѣнки въ веселіи сердца своего, нежели снимать таковыя, посыпавъ главу пепломъ, какъ мы это дѣлаемъ. Во-вторыхъ, къ величайшему нашему удивленію, насъ упрекаютъ въ какомъ-то простодушіи и даже утверждаютъ, что за простодушіе-то мы и подвергаемся карѣ закона. Но этотъ упрекъ во всѣхъ отношеніяхъ несправедливъ. Мы не только не простодушны, но, напротивъ того, обдѣлываемъ свои дѣла, какъ дай Богъ всякому. *(Отлично! Отлично!).* Мы и журналы издаемъ, и на судѣ защищаемъ, а быть-можетъ, участвуемъ и въ акціонерныхъ компаніяхъ. На нашей сторонѣ все образованное русское чиновничество—и кто же знаетъ?—

быть-можетъ, не далеко то время, когда мы будемъ снимать пѣнки въ размѣрахъ не только обширныхъ, но и неожиданныхъ... И ужели, наконецъ, правительство настолько непроницательно, чтобы стѣснять насъ въ проявленіи такого совершенно неопаснаго для него качества, какъ простодушіе? Вотъ въ томъ-то и дѣло, милостивые государи, что мы далеко не такъ просты, какъ это можетъ показаться, судя по нѣкоторымъ изъ нашихъ передовыхъ статей!

«Но мы отвлеклись опять и потому постараемся сдержать себя. Не станемъ бродить съ перомъ въ рукахъ по газетному листу, какъ отравленныя мухи, но выскажемъ кратко наши надежды и упованія. По нашему мнѣнію, отъ котораго мы никогда ни на одну іоту не отступимъ, самые лучшіе сроки платежа налоговъ—это первое февраля и первое апрѣля. Эти же сроки—наиболѣе подходящіе и для экзекуцій. И мы докажемъ это такимъ множествомъ фактовъ, которые заставятъ замолчать нашихъ словоохотливыхъ противниковъ.

«Факты эти мы надѣемся изложить въ цѣломъ рядѣ статей, которыя и будутъ постепенно появляться въ нашей газетѣ».

Нескладинъ кончилъ и необыкновенно чистыми, ясными глазами смотрѣлъ на всѣхъ. Пѣнкосниматели были въ восторгѣ и поздравляли счастливаго передовика, предвкушая заранѣе тотъ рядъ статей, который онъ обѣщалъ имъ. Но я, признаюсь, былъ нѣсколько смущенъ. Я испытывалъ то самое ощущеніе, которое испытываетъ человѣкъ, задумавшій высморкаться, но которому вдругъ помѣшали выполнить это предпріятіе. Я, такъ сказать, ужъ распустилъ уши: я ожидалъ, что вотъ-вотъ услышу ссылки на «Статистическій Временникъ» министерства внутреннихъ дѣлъ, на примѣры Англіи, Франціи, Италіи, Пруссіи, Соединенныхъ Штатовъ; я былъ убѣжденъ, что будетъ навѣки нерушимо доказано, что въ апрѣлѣ и февралѣ происходятъ самыя выгодныя для плательщиковъ сдѣлки, что никогда базары не бываютъ такъ людны, и что наконецъ только нахалы, не знающіе литературныхъ приличій, могутъ утверждать, и т. д.—и вдругъ пауза, сопровождаемая лишь угрозой цѣлаго ряда статей! Каково жить въ ожиданіи выполненія этой угрозы!

Казалось, и Менандръ отчасти раздѣлялъ мое чувство. По крайней мѣрѣ, физіономія его въ эту минуту не выражала особенной восторженности.

— Статья превосходна,—сказалъ онъ:—но жаль, что вы прервали вашу рѣчь на самомъ интересномъ мѣстѣ!

— А я, напротивъ того, сдѣлалъ это даже съ умысломъ!—отвѣчалъ Нескладинъ, улыбаясь язвительно.

— Именно, именно!—подхватили прочіе пѣнкосниматели.

— Статья, которая обѣщаетъ другую статью,—объяснилъ Нескладинъ:—изъ которой, въ свою очередь, должна выйти третья статья и такъ далѣе,—всегда производитъ особенное впечатлѣніе на тѣхъ, до кого она касается.

— Совершенно справедливо!

— Она держитъ противниковъ въ тревогѣ, а для публики составляетъ своего рода загадку. Вѣдь мнѣ ничего бы не стоило разомъ написать столбцовъ десять или двѣнадцать, но я именно хотѣлъ сначала нѣсколько заинтересовать публику, а потомъ ужъ и зарядить дней на двадцать!

— Да; очень можетъ быть, что вы и правы!—какъ-то уныло отозвался Менандръ.

— Вторая статья у меня ужъ почти готова, то-есть готовы рамки «въ прошедшій разъ мы обѣщали нашимъ читателямъ», «такимъ образомъ изъ сравненія статистическихъ данныхъ оказывается», «объ этомъ интересномъ предметѣ мы побесѣдуемъ съ читателемъ въ слѣдующій разъ»—все это ужъ сложилось въ моей головѣ. Затѣмъ остается только наполнить эти рамки—и дѣло съ концомъ.

Послѣ этого вечеръ, видимо, начиналъ приходить къ концу, такъ что нѣкоторые пѣнкосниматели уже дремали. Я, впрочемъ, понималъ эту дремоту и даже сознавалъ, что влачи я свое существованіе среди подобныхъ статей, кто знаетъ—быть-можетъ, и я давно бы заснулъ непробуднымъ сномъ. Ни водки, ни закуски—ничего, все равно какъ въ пустынѣ. Огорченіе, которое ощутилъ я по этому случаю, должно-быть, сильно отразилось на моемъ лицѣ, потому что Менандръ отвелъ меня въ сторону и шепнулъ.

— Пусть уйдутъ! Мы съ тобой выпьемъ и закусимъ.

И дѣйствительно, едва скрылся въ переднюю послѣдній гость, какъ Менандръ повелъ меня въ столовую, гдѣ была накрыта роскошная закуска, украшенная нѣсколькими бутылками вина.

— Помянемъ, братъ, доброе старое время!—воскликнулъ Менандръ, наливая рюмку водки:—хорошо тогда было!

— А теперь развѣ...

— Да какъ тебѣ сказать! Уважаю я этихъ господъ, очень уважаю, а, коли правду сказать, прескучно съ ними. Не ѣдятъ, не пьютъ, все передовыя статьи пишутъ!

— А мы съ тобой и до сихъ поръ помнимъ старую пословицу: «потѣхѣ время, а дѣлу часъ»!.. Такъ, что ли, душа моя?

— Да, голубчикъ, этакъ-то лучше. Право, иногда зло меня беретъ! Брошу, думаю, всѣхъ этихъ анаѳемъ! Хоть въ лѣсъ, что ли, отъ нихъ уйти!

— Ну, братъ, это такіе молодцы, что и въ лѣсу сыщутъ!

— Отыщутъ, дружище! отыщутъ! (Менандръ, какъ-то безнадежно вздохнулъ). Кстати: какъ тебѣ понравилась статья Нескладина?

— Да какъ бы тебѣ сказать? Странно какъ-то. Въ заголовкѣ, во-первыхъ, *Санктпетербургъ*, во-вторыхъ, *30-го мая*,—зачѣмъ это? Вѣдь, коли говорить правду, статья нимало не проиграла бы, если-бъ въ заголовкѣ поставить: *Островъ Голодай, 31-го мартобря.*

— Именно, братъ, *мартобря*. Жилы они изъ меня этимъ мартобремъ вытянули. Какъ ни возьмешь въ руки газету—такъ отъ нея мартобремъ и разитъ!

— А я вѣдь вчера подумалъ, что ты одинъ изъ искреннѣйшихъ пѣнкоснимателей! А ты, братъ, какъ видно, тово...

— Ахъ, жизнь они мою отравили! Самого себя я проклялъ съ тѣхъ поръ, какъ они меня сѣтями своими опутали... Ты еще не знаешь, какой ужасный человѣкъ этотъ Неуважай-Корыто!

Эта исповѣдь поразила меня, но сомнѣваться въ искренности ея было невозможно.

Менандръ, дѣйствительно, страдалъ; на глазахъ у него были слезы, а когда онъ произнесъ фамилію Неуважай-Корыто, то даже затрясся весь.

— Ну, скажи на милость,—продолжалъ Менандръ съ возрастающею горечью:—развѣ Бѣлинскій, Грановскій... ну, Добролюбовъ, Писаревъ, что ли... развѣ писали они что-нибудь подобное той канители, которая въ настоящее время носитъ названіе передовыхъ статей?

— Знаешь, оно не то чтобы что... а, дѣйствительно, глуповато какъ-то!

— Глуповато! нѣтъ, ты замѣтилъ ли, что этотъ Нескладинъ нагородилъ? Это, братъ, ужъ не глуповато, а глуповатище! Выпьемъ, братъ, вотъ что!

Выпили.

— Ты не знаешь, какъ они меня истязаютъ! Что̀ они меня про себя писать и печатать заставляютъ! Ну, вотъ хоть бы самая статья «о необходимости содержанія козла при конюшняхъ»—ну, что̀ въ ней публицистическаго? А вѣдь я долженъ былъ объявить, что авторъ ея, все тотъ же Нескладинъ, одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ публицистовъ нашего времени! Попался я, братъ,—вотъ что̀!

Выпили вновь.

— Ты не знаешь,—продолжалъ Менандръ:—есть у меня вещица. Я написалъ ее давно, когда былъ еще въ университетѣ. Она коротенькая. Я хотѣлъ тогда помѣстить ее въ «Московскомъ Наблюдателѣ»; но Бѣлинскій сказалъ, что это бредъ куриной души... Обидѣлъ онъ меня въ ту пору... Хочешь, я прочту ее тебѣ?

— Сдѣлай милость, голубчикъ!

Менандръ вскочилъ и устремился въ кабинетъ.

— Вотъ она,—сказалъ онъ, возвращаясь ко мнѣ съ листочкомъ почтовой бумаги:—и называется: «Исторія маленькаго погибшаго дитяти». Одну минуту вниманія—и ты узнаешь исповѣдь моей души.

Вслѣдъ затѣмъ онъ всхлипывающимъ отъ волненія голосомъ прочиталъ:

Исторія маленькаго погибшаго дитяти.

Новелла.

«Жило на свѣтѣ маленькое дитя. И оно задолжало. Оно любило леденцы, грецкіе орѣхи и пастилу въ палочкахъ. И когда продавецъ сластей приступилъ къ нему съ требованіемъ уплаты, дитя, опасаясь тюрьмы, обратилось къ могущественнымъ людямъ, указывая на свое рубище и на свои способности. И что оно безъ пастилы жить не можетъ. Тогда могущественные люди сказали ему: хорошо! мы поможемъ тебѣ! Но ты должно поступить въ шайку пѣнкоснимателей и отнимать жизнь у всякаго, кто явится противникомъ пѣнкоснимательству! И оно поступило въ шайку пѣнкоснимателей и поклялось отнимать жизнь; но таковой до сихъ поръ ни у кого отнять не могло. Такова исторія маленькаго погибшаго дитяти».

Конецъ.

— Теперь ты меня понялъ, надѣюсь? Вотъ еще когда я провидѣлъ это гнусное пѣнкоснимательство!—воскликнулъ Менандръ, грузно приникая головой къ столу.

Я сжалъ его руку, и такъ какъ горе его было неподдѣльно, то постарался утѣшить его.

— Послушай, другъ мой!—сказалъ я:—обстоятельства привели тебя въ лагерь пѣнкоснимателей—это очень прискорбно, но дѣлать нечего, отъ судьбы, видно, не уйдешь. Но зачѣмъ ты непремѣнно хочешь быть разбойникомъ? Снималъ бы себѣ да снималъ пѣнки въ тиши уединенія—никто бы не подумалъ препятствовать тебѣ! Но ты хочешь во что бы то ни стало отнимать жизнь! Воля твоя, а это несправедливо.

— Кто? я-то хочу отнимать жизнь? Господи! да кабы не клятва моя! Ты не повѣришь, какъ они меня мучаютъ! На-дняхъ—тутъ у насъ обозрѣватель одинъ есть—принесъ онъ мнѣ свое обозрѣніе... Прочиталъ я его—ну, точно въ отхожемъ мѣстѣ часа два просидѣлъ! Гроша у него за душой нѣтъ, а онъ такъ и лѣзетъ, такъ и скачетъ! Помилуйте, говорю, зачѣмъ? по какому случаю? Недѣли двѣ я его уговаривалъ; такъ нѣтъ же, онъ все свое: «нѣтъ, говоритъ, вы клятву дали!» Такъ и заставилъ меня напечатать!

— Странно мнѣ во всемъ этомъ одно: если вы, какъ ты увѣряешь, выступаете прямо съ намѣреніемъ отнимать жизнь у всякаго, кто не занимается пѣнкоснимательствомъ, то отчего же и у васъ не отнимутъ жизни? вѣдь это, кажется, очень не трудно!

— Нѣтъ, братъ, теперь это очень и очень даже трудно. Если бы прихлопнули насъ въ то время, когда мы только-что начинали разводить нашу канитель,—ну, тогда, точно, это было бы не трудно. Тогда и публикѣ оно было бы понятнѣе, да и у насъ кое-какая совѣсть еще была. А теперь, когда мы и сами вошли во вкусъ, да и публику отуманило наше пѣнкоснимательство—ничего ты съ нами не подѣлаешь! Какъ ты ни прижимай меня къ стѣнѣ—во-первыхъ, съ меня нечего взять... голъ, братецъ, я какъ соколъ! а во-вторыхъ, я все-таки до послѣдняго издыханія буду барахтаться и высовывать тебѣ языкъ! Я, братъ, отлично эту штуку понялъ, что покуда я барахтаюсь—какія бы я пошлости ни говорилъ, публика все-таки скажетъ: «эге! да этотъ человѣкъ барахтается, стало-быть, что-нибудь да есть у него за душой!» Впрочемъ, что толковать объ этомъ! выпьемъ!

Менандръ нѣсколько разъ прошелся взадъ и впередъ по комнатѣ, потеръ лобъ и сказалъ:

— Да; нѣтъ мнѣ отъ нихъ спасенія! Эй! Кто тутъ! отнести статью господина Нескладина въ типографію! Теперь газета наша обезпечена. Онъ, по крайней мѣрѣ, нумеровъ пятнадцать будетъ закатывать по семи столбцовъ!

Менандръ посмотрѣлъ на меня и разразился хохотомъ.

— А я еще тебя хотѣлъ завербовать въ нашу газету!— воскликнулъ онъ:—нѣтъ, ужъ лучше ты не ходи... не ходи ты ко мнѣ, ради Христа! Не раздражай меня! Бѣлинскій! Грановскій! Добролюбовъ!.. и вдругъ Неуважай-Корыто! Чортъ знаетъ что такое!

Менандръ вытянулъ руку во всю величину и повторилъ:—Неуважай-Корыто! — Я въ свою очередь взглянулъ на него: онъ былъ пьянъ.

Между тѣмъ розоперстая аврора уже смотрѣла во всѣ окна и напоминала о благодѣяніяхъ сна.

— Прощай, братъ!.. Пожалуйста, прошу тебя, ты ко мнѣ не приходи! Покойной тебѣ ночи, а я пойду екатеринославскую корреспонденцію разбирать. Тамъ, братъ, нынче сурки всѣ поля изрыли—вонъ оно куда пошло!

Мы вошли въ переднюю и—о, ужасъ!—застали тамъ самого Неуважай-Корыто, который спалъ на лавкѣ или притворялся спящимъ.

— Онъ насъ подслушивалъ!—шепнулъ мнѣ Менандръ.

Неуважай-Корыто между тѣмъ протиралъ глаза и бормоталъ:

— А я калоши искалъ, да, кажется, и заснулъ. Боже четвертый часъ! А мнѣ еще нужно дописать статью: «О типѣ древней русской солоницы». Менандръ Семенычъ! а когда же вы напечатаете мою статью: «Къ вопросу о томъ: макали ли русскіе цари въ соль пальцами, или доставали оную посредствомъ ножей»?

Но Менандръ смотрѣлъ на него осовѣлыми глазами и мычалъ что-то совсѣмъ несообразное...

— Закусывали?! — язвительно замѣтилъ Неуважай-Корыто и сталъ отыскивать калоши...

Въ углу дѣйствительно стояли огромные зимніе боты, въ которые Неуважай-Корыто и обулъ свои ноги, къ величайшему изумленію «веселаго мая», выглядывавшаго въ окна.

Мы очутились на улицѣ вдвоемъ съ Неуважай-Корыто. Воздухъ былъ влаженъ и еще болѣе неподвиженъ, нежели съ вечера. Нева казалась окончательно погруженною въ сонъ; городской шумъ стихъ, и лишь внезапный и быстро улетучивавшійся стукъ какого-нибудь запоздавшаго эки-

пажа напоминалъ, что городъ не совсѣмъ вымеръ. Солнце едва показывалось изъ-за домовыхъ крышъ и разрисовывало причудливыми тѣнями лицо Неуважай-Корыто. Верхняя половина этого лица была ярко освѣщена, тогда какъ нижняя часть утопала въ тѣни.

Нѣсколько минутъ мы шли молча.

— Нѣтъ, вы рѣшительно не понимаете меня! — вдругъ воскликнулъ Неуважай-Корыто, круто останавливаясь. И, видя, что лицо мое выражаетъ недоумѣніе, продолжалъ: — Не зная пѣнкоснимательства, вы, конечно, не можете постичь тѣ наслажденія, которыя сопряжены съ этимъ занятіемъ!

— Да; я почти незнакомъ съ этимъ дѣломъ...

— Вотъ почему оно и кажется вамъ легкомысленнымъ. Вы не знаете восторговъ, которые охватываютъ все существо человѣка, когда онъ вдругъ совершенно неожиданно для самого себя открываетъ, что Чурилка — совсѣмъ не Чурилка.

Онъ снялъ съ себя картузъ; волоса на головѣ у него растрепались, глаза горѣли дикимъ блескомъ.

— Вы думаете, что тутъ дѣло идетъ только о Чурилкѣ?— продолжалъ онъ:—нѣтъ, тутъ захватываются авторитеты... эти презрѣнные, ненавистные кумиры, которымъ мы, къ стыду нашему, до сихъ поръ еще поклоняемся. Нѣтъ, я не просто пѣнкоснимательъ... я радикалъ пѣнкоснимательства! Погодинъ! Карамзинъ! Бодянскій! Забѣлинъ! вы всѣ, которые съ помощью Чурилокъ нашли себѣ доступъ въ храмъ исторіи! — я проклинаю васъ! А меня даже мальчишки на улицахъ дразнятъ, что я занимаюсь Чурилками! И никто не хочетъ понять, что Чурилка—только предлогъ, который позволяетъ мнѣ удовлетворить моей страсти разрушенія! Погодинъ! проклинаю! проклинаю! проклинаю!

Послѣднее заклинаніе онъ выкрикнулъ такъ громко, что дремавшій вблизи городовой проснулся и сдѣлалъ подъ козырекъ.

— Знаете ли вы, — продолжалъ онъ: — что я боготворю Оффенбаха! Оффенбахъ!—да вѣдь это самое отрицаніе! А между тѣмъ я вынужденъ защищать Даргомыжскаго и Кюи—не горько ли это?

— Позвольте! но ежели вы нашли въ себѣ достаточно силы, чтобы отставить Чурилку, то почему бы вамъ не поступить точно такимъ же образомъ и относительно Кюи?

— Не могу! тутъ есть одно недоразумѣніе!

Неуважай-Корыто повертѣлся нѣсколько секундъ на мѣстѣ, какъ бы желая нѣчто объяснить, потомъ поспѣшно надѣлъ картузъ на голову, махнулъ рукой и сталъ быстро удаляться отъ меня. Черезъ минуту однако-жъ онъ остановился.

— Но эта минута настанетъ! — крикнулъ онъ мнѣ:—я уничтожу ихъ! Я утоплю въ ложкѣ воды и Даргомыжскаго, и Цезаря Кюи! Я сниму съ нихъ маску!! Сниму!!

Глава VII.

Некомпетентность «пѣнкоснимателей» въ вопросахъ жизни не подлежала сомнѣнію. Ясно, что это люди унылые, безнадежно ограниченные и притомъ злые и упорные. Они способны безконечно ходить вокругъ живого дѣла, ни разу не взглянувъ ему въ лицо. Въ литературѣ, сколько-нибудь одаренной жизнью и сознающей свое воспитательное значеніе, существованіе подобныхъ дѣятелей было бы немыслимо; въ литературѣ, находящейся въ состояніи умертвія, они имѣютъ возможность не только играть роль, но даже импонировать, и дѣтскія пеленки, дѣтскій разрозненный лепетъ «ба-ля-ма-а» выдавать за отвѣты на запросы жизни.

Среди этой груды мертвыхъ тѣлъ Неуважай-Корыто — единственная личность, къ которой можно чувствовать симпатію. По крайней мѣрѣ это человѣкъ убѣжденный и чего-нибудь достигающій. Онъ, не переставая долбить въ одну точку, рано или поздно непремѣнно что-нибудь выдолбитъ. Его спеціальность—царство мертвыхъ. Въ этомъ царствѣ, сражаясь съ Чурилками и изслѣдуя вопросъ о томъ, макали ли русскіе цари въ соль пальцами, онъ можетъ совершить тьму подвиговъ, не особенно славныхъ и полезныхъ, но въ примѣненіи къ царству тѣней весьма приличныхъ. Но зачѣмъ понадобилось его участіе въ дѣлѣ, имѣющемъ претензію на жизнь? Или Менандру во что бы то ни стало необходимо было, чтобъ въ этомъ сонмищѣ мертвыхъ тѣлъ, притворяющихся живыми, было хоть одно подлинно мертвое тѣло?

Я увѣренъ, что Неуважай-Корыто глубоко презираетъ и Менандра, и Нескладина, и всѣхъ остальныхъ притворщиковъ. Притворство не въ его характерѣ. Зачѣмъ притворяться живыми, когда мы мертвы, и когда нѣтъ положенія болѣе почтеннаго, какъ положеніе мертваго человѣка?—такъ убѣждаетъ онъ своихъ сопѣнкоснимателей. И ежели онъ, за всѣмъ тѣмъ, якшается съ ними, то потому

только, что какъ ни изловчаются они казаться живыми, все-таки не могутъ не быть мертвыми.

Разочаровавшись въ Менандрѣ, я рѣшился не обращаться болѣе къ литературѣ. Къ чему? — литература умерла и убита; она отказалась отъ поисковъ въ области мысли и всецѣло обратилась къ пѣнкоснимательству. Пѣнкоснимательство — не какое-нибудь частное явленіе; это болѣзнь данной минуты. Это общее пониженіе мыслительнаго уровня до той неслыханной степени, которая сама себѣ отыскала названіе пѣнкоснимательства. Очевидно, что литературная мысль утратила ясность и сдѣлалась неспособною не только давать практическія рѣшенія по вопросамъ жизни, но даже опредѣлять характеръ и значеніе послѣднихъ. Литература уныло бредетъ по заглохшей колеѣ и безсвязно лепечетъ о томъ, что̀ первое попадется подъ руку. Творчество замѣнено словосочиненіемъ; потребность страстной руководящей мысли — хладнымъ пережевываніемъ азбучныхъ истинъ. Какимъ горькимъ процессомъ дошла литература до современнаго несноснаго пѣнкоснимательнаго бормотанія? Было ли тутъ насильство, или же измельчаніе произошло вслѣдствіе непростительнаго самопроизвольнаго неряшества?

Что внѣшній гнетъ игралъ здѣсь немалую роль — въ этомъ не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія. Но, признаюсь, въ моихъ глазахъ едва ли не важнѣе вопросъ: сопровождалось ли это вынужденное измельчаніе какой-нибудь попыткой ускользнуть отъ него? Была ли попытка оградить литературную самостоятельность отъ случайностей, или, по малой мѣрѣ, обезпечить писателя на случай вынужденнаго бездѣйствія? Вотъ на эти-то вопросы я и не берусь отвѣчать. Я могу только догадываться, что ежели литература, даже по вопросамъ самосохраненія, неспособна придти къ единомыслію, а способна только предаваться взаимнымъ заушеніямъ по поводу выѣденнаго яйца, то ея вынужденное измельчаніе равняется измельчанію самопроизвольному.

Мы со всѣхъ сторонъ слышимъ жалобы на ненадежность литературной профессіи, и между тѣмъ ни одинъ изъ ожирѣвшихъ каплуновъ, занимающихся антрепренерствомъ пѣнкоснимательства, пальца о палецъ не ударитъ, чтобъ придти на помощь или, по малой мѣрѣ, возбудить вопросъ объ устраненіи этой ненадежности. Литературное дѣло идетъ заведеннымъ издревле порядкомъ къ наибыстрѣйшему наполненію антрепренерскихъ кармановъ, а писатель-труженикъ, писатель, полагающій свою жизнь въ лите-

ратурное дѣло, рискуетъ, оставаясь при убѣжденіи, что печать свободна, въ одно прекрасное утро очутиться на мостовой...

Но какъ бы тамъ ни было, а въ результатѣ оказывается какое-то безнадежное утомленіе. Писателю не хочется писать, читателю—противно читать. Взялъ бы, бросилъ все и ушелъ—только куда бы ушелъ? Необходимость что-нибудь высказать является результатомъ не внутренней подстрекающей потребности духа, а извѣстнымъ образомъ сложившихся внѣшнихъ обстоятельствъ. Нужно къ извѣстному сроку дать извѣстное количество печатнаго матеріала—въ этомъ одномъ вся задача. Это—бремя, не имѣющее въ себѣ ничего привлекательнаго, а въ большинствѣ случаевъ даже небезопасное. Понятно, что выходитъ безсвязный дѣтскій лепетъ, съ тою разницею, что послѣдній естественъ и свободенъ, тогда какъ такъ-называемыя капитальныя произведенія литературы имѣютъ характеръ жалкой вымученности. Понятно также, что и читатель пропускаетъ мимо всѣ эти такъ-называемыя капитальныя произведенія русской журналистики и обрушивается на мелкія извѣстія и стенографическіе отчеты. Тутъ, по крайней мѣрѣ, онъ имѣетъ дѣло съ фактомъ, не отравленнымъ пѣнкоснимательными разсужденіями о томъ, что все на свѣтѣ семъ превратно, все въ семъ свѣтѣ коловратно.

Но для пѣнкоснимателей это время все-таки самое льготное.

Повторяю: въ литературѣ, сколько-нибудь одаренной жизнью, они не могли бы существовать совсѣмъ, тогда какъ теперь они имѣютъ возможность дать полный ходъ невнятному бормотанію, которымъ преисполнены сердца ихъ. Навѣрное, никто ихъ не прочитаетъ, а слѣдовательно никто и не обезпокоитъ вопросомъ: что̀ сей сонъ значитъ? Стало-быть, *для нихъ* выгода очевидная.

Прежде всего положеніе пѣнкоснимателей относительно такъ-называемыхъ «карательныхъ мѣръ» самое благонадежное, и ежели они за всѣмъ тѣмъ жалуются, что имъ дано мало свободы, то это происходитъ отчасти вслѣдствіе дурной привычки клянчить, а отчасти вслѣдствіе того, что они все-таки забываютъ, что при бо̀льшей свободѣ *они совсѣмъ не могли бы существовать*. Въ самомъ дѣлѣ, что̀ такое «пѣнкосниматели»?—Это недоконченный, лишенный самостоятельной жизни организмъ, который можетъ водиться только въ запертомъ наглухо и никогда не провѣтриваемомъ помѣщеніи. Откройте окна и двери, пустите струю свѣжаго

воздуха — и паразиты мгновенно исчезнутъ. Ужели же пѣнкосниматели навѣки осуждены не понимать, что ежели современное ихъ существованіе не вполнѣ совершенно, то все-таки оно лучше, нежели то *не*существованіе, на которое они были бы обречены при болѣе благопріятныхъ для печатнаго слова условіяхъ?

Что бы ни говорили пѣнкосниматели, никто не повѣритъ, чтобы относительно свободы тянуть канитель когда-нибудь и гдѣ бы то ни было возможны были препятствія. Если же таковыя, къ удивленію, и встрѣчаются, то это не больше какъ плодъ минутнаго недоразумѣнія, разсѣять которое не составляетъ никакого труда. И пѣнкосниматели, и ихъ случайные каратели стоятъ такъ близко другъ къ другу, что серьезной вражды между ними невозможно предположить. Иногда они не понимаютъ другъ друга—это, конечно, дѣло возможное; но причина этого явленія заключается не въ чемъ либо существенномъ, а просто въ томъ озорствѣ, которому по временамъ, и притомъ всегда безъ надобности, предаются пѣнкосниматели. Имъ хочется казаться самостоятельными, не бывъ оными, — и вотъ они начинаютъ критиковать, придираться и дразнить. Такъ, напримѣръ, если дѣйствительность въ извѣстныхъ случаяхъ гласитъ: за такое-то дѣяніе—семь лѣтъ каторги, то пѣнкосниматель непремѣнно сочтетъ за долгъ доказать, что было бы и справедливѣе, и цѣлесообразнѣе уменьшить этотъ срокъ до шести лѣтъ одиннадцати мѣсяцевъ двадцати девяти дней двадцати трехъ часовъ пятидесяти пяти минутъ. Но мало того, что онъ будетъ утверждать это, онъ станетъ упрекать дѣйствительность въ безчеловѣчіи, начнетъ дразниться своимъ открытіемъ, будетъ безъ конца приставать съ нимъ и оттачивать объ него свое гражданское мужество. И дѣйствительно, въ концѣ концовъ, по недоразумѣнію, такъ раздразнитъ, что сейчасъ ему — въ лобъ камнемъ. Ясно однако-жъ, что этотъ камень повредитъ ему лобъ совсѣмъ не за сбавку пяти минутъ каторги, а за то: не дразнись! не проѣдайся! не приставай!

Слѣдовательно нужно только перестать дразнить—и дѣло будетъ въ шляпѣ. Не пѣнкоснимательство пугаетъ, а претитъ лишь случайный вкусъ того или другого вида его. Одинъ видъ на вкусъ сладковатъ, другой кисловатъ, третій горьковатъ; но и тотъ, и другой, и третій—все-таки представляютъ собой видоизмѣненія одного и того же пѣнкоснимательства—и ничего больше.

Вторая выгода, которою пользуются пѣнкосниматели, заключается въ томъ, что ихъ ни подъ какимъ видомъ ни услѣдить, ни уличить невозможно. Нѣтъ у нихъ ничего, а потому и ухватить ихъ не за что.

Одна изъ характеристическихъ чертъ пѣнкосниматель-ства—это враждебное отношеніе къ такъ-называемымъ утопіямъ. Не то, чтобы пѣнкосниматели прямо враждовали, а такъ, галдятъ. Всякій пѣнкосниматель есть человѣкъ не только ограниченный, но и совершенно лишенный воображенія; человѣкъ, который самой природой осужденъ на хладное пережевываніе первоначальныхъ, такъ сказать, обнаженныхъ истинъ. Надѣлите самаго ограниченнаго человѣка нѣкоторымъ количествомъ фантазіи—онъ непремѣнно устроитъ себѣ уголокъ, въ которомъ будетъ лелѣять какую-нибудь завѣтную мечту. Мечты эти будутъ, конечно, неважныя: онъ будетъ мечтать или о возможности выиграть двѣсти тысячъ, или о томъ, что хорошо было бы завоевать Византію, или о томъ наконецъ, въ Москвѣ или въ Кіевѣ надлежитъ быть сердцу Россіи. Но во всякомъ случаѣ у него будетъ нѣчто свое, завѣтное, къ чему можно отнестись критически, чѣмъ можно разбередить его умственныя силы. Пѣнкосниматель не только свободенъ отъ всѣхъ мечтаній, но даже гордъ этой свободой. Онъ не понимаетъ, что утопія точно также служитъ цивилизаціи, какъ и самое конкретное научное открытіе. Онъ уткнулся въ заборъ, и ни о чемъ другомъ, кромѣ забора, не хочетъ знать. Не хочетъ знать даже, существуютъ ли на свѣтѣ иные заборы и въ какомъ отношеніи находятся они къ забору, имъ созерцаемому. И всѣхъ, кто напоминаетъ ему объ этихъ *иныхъ* заборахъ, онъ называетъ утопистами, оговариваясь при этомъ, что только литературныя приличія не дозволяютъ ему примѣнить здѣсь названіе жуликовъ. «Ковыряй тутъ, а не въ иномъ мѣстѣ, ибо только тутъ обрѣтешь искомый навозъ!»—вѣщаетъ онъ глубокомысленно и забрызжетъ съ ногъ до головы всякаго, кто позволитъ себѣ не послѣдовать его вѣщаніямъ.

Такимъ образомъ, съ точки зрѣнія фантазіи, пѣнкосниматель неуязвимъ. Нѣтъ у него ея, а слѣдовательно и доказывать ему необходимость этого элемента въ литературѣ и жизни—значитъ только возбуждать въ немъ смѣхъ, въ которомъ простодушіе до такой степени перемѣшано съ нахальствомъ, что трудно отличить, на которой сторонѣ перевѣсъ.

Богъ съ ними однако-жъ, съ утопіями, если ужъ этому выраженію суждено наводить страхъ на всѣхъ, кому нужны страшныя слова, чтобы замаскировать ими духовную нищету. Но вѣдь и помимо утопій есть почва, на которой можно критически отнестись къ дѣйствительности, а именно та почва, на которой стоитъ сама дѣйствительность. Ограничьте конкретность факта до самой послѣдней степени, доведите ее до самой нищенской наготы,—вы все-таки не отвергнете, что даже оскопленный пѣнкоснимательными усиліями фактъ имѣетъ и свою исторію, и свою современную обстановку, и свои ближайшія послѣдствія, не касаясь уже отдаленнаго будущаго. Разъяснить эту обстановку факта, опредѣлить путь, которому онъ долженъ слѣдовать, не извращая своего внутренняго смысла,—все это уже совсѣмъ не утопія, а именно та самая почва факта, на которой онъ стоитъ въ дѣйствительности. Но пѣнкосниматель, постоянно твердя о конкретности фактовъ, даже и здѣсь выказываетъ лишь безсиліе. Твердя о конкретности, онъ разумѣетъ совсѣмъ не конкретность, а разрозненность, а потому все, что имѣетъ видъ обобщенія, что напоминаетъ объ отношеніи и связи,—все это уже не подходитъ подъ *его* понятіе о конкретности и сваливается въ одну кучу, которой дается названіе «утопія». Наше время—не время широкихъ задачъ! гласитъ онъ безъ всякаго стыда: не расплывайся! не заѣзжай! не раздражай! Взирай прилежно на то, что у тебя лежитъ подъ носомъ, и далѣе не дерзай!

Какъ ни противна эта мутная пѣна словъ, но она представляетъ своего рода твердыню, за которою, съ полною безопасностью, укрывается безчисленное пѣнкоснимательное воинство. Благодаря этой твердынѣ, пѣнкосниматель выскальзываетъ изъ рукъ своего изслѣдователя, какъ вьюнъ, и услѣдить за случайными эволюціями его бродячей мысли все равно, что услѣдить неуслѣдимое. Конечно, коли хотите, и тутъ должна же существовать извѣстная логическая послѣдовательность, какъ была таковая и у тѣхъ харьковскихъ юношей, которые отъ хорошаго житья задумали убить ямщика; но для того, чтобы открыть эту послѣдовательность и вынести для нея оправдательный вердиктъ, необходимо быть или всеоправдывающимъ присяжнымъ будущаго, или, по малой мѣрѣ, присяжнымъ харьковскаго окружного суда.

Возьмитесь за любое литературное изданіе пѣнкоснимательнаго пошиба, и вы убѣдитесь, какъ трудно отнестись

критически къ тому, что̀ никогда не знало никакого идеала, никогда не сознавало своихъ намѣреній! Это болото, въ которомъ тамъ и сямъ мелькаютъ блудящіе огоньки. Вотъ какъ будто брезжитъ нѣчто похожее на мысль, вотъ кажется, что пѣнкосниматель карабкается, хочетъ встать на какую-то точку. А ну-ко еще! еще, милый, еще! восклицаете вы, мысленно натуживаясь вслѣдъ за пѣнкоснимателемъ. И вдругъ, хвать-похвать,—туманъ, то-есть безконечное и лишенное всякаго содержанія бормотаніе! И замѣтьте, что пѣнкосниматель никогда не обезкуражится своимъ безсиліемъ, никогда не замолчитъ. Нѣтъ, онъ будетъ судить и рядить безъ конца; не можетъ прямо идти—заѣдетъ въ сторону; тутъ ползолотника скинетъ, тамъ ползолотника накинетъ, и при этомъ будетъ взирать съ такою ясностью, что вы ни на минуту не усомнитесь, что онъ еще четверть золотника накинуть можетъ, если захочетъ. Или вдругъ на кого-нибудь накинется и начнетъ полемизировать, полемизировать точь-въ-точь, какъ полемизируютъ между собой обыватели рязанско-тамбовско-саратовскаго клуба.

— Почему же вы такъ полагаете, Сидоръ Кондратьевичъ?

— Да ужъ такъ!

— Однако, Сидоръ Кондратьевичъ, нельзя же утверждать или отрицать, приводя въ доказательство: «да ужъ такъ»!

— Да ужъ помяните вы мое слово!

И онъ не выйдетъ изъ своего «да ужъ такъ!» до послѣдняго издыханія и дотолѣ не сочтетъ себя побѣжденнымъ, доколѣ будетъ сознавать себя способнымъ разѣвать ротъ и произносить: «помяните мое слово!»

Поэтому и съ точки зрѣнія конкретнаго факта пѣнкосниматель точно такъ же обнаженъ, какъ и на почвѣ утопій. Отъ утопій онъ отворачивается, къ конкретному же факту хотя и имѣетъ приверженность, но приверженность слѣпую, чуждую сознательности. Въ обоихъ случаяхъ онъ неуязвимъ, какъ и любой изъ уличныхъ обывателей. Фактъ, представленный не одиноко, а въ извѣстной обстановкѣ, для него такая же смѣшная абстракція, какъ Фаланстеръ или Икарія. Требуйте отъ него отчета, доказывайте, прижимайте къ стѣнѣ—онъ все будетъ барахтаться и произносить свое: «да ужъ такъ!» И надъ вами же, въ заключеніе, вдосталь нахохочется. «Нѣтъ, скажетъ, ты меня не поймаешь! Ловокъ ты, а я вотъ тебѣ каждый день языкъ показывать буду—и хоть ты что̀ хочешь, а ничего со мной не подѣлаешь!»

Но есть и еще почва, на которой пѣнкосниматель неуязвимъ,—это почва либерализма. Либерализмъ—это своего рода дойная корова, за которой, при нѣкоторой сноровкѣ и при недостаткѣ бдительности надзора, можно жить припѣваючи, какъ живали нѣкогда цѣлыя поколѣнія людей съ хозяйственными наклонностями, прокармливаясь около Исакіевскаго собора. Пѣнкосниматель выражается не особенно ясно, но всегда съ такимъ разсчетомъ, чтобы загадочность его была истолкована въ либеральномъ смыслѣ. Онъ умѣетъ кстати подпустить: «мы говоримъ съ прискорбіемъ», или: «ничто такъ не огорчаетъ насъ, какъ нападки на наши молодыя, неокрѣпшія учрежденія», и, разумѣется, никогда не промолвится, что крѣпостной трудъ лучше труда свободнаго, или что гласное судопроизводство хуже судопроизводства при закрытыхъ дверяхъ. Нѣтъ, никогда; ибо склады либерализма извѣстны ему въ точности. Конечно, онъ все-таки ничего не смыслитъ ни въ дѣйствительной свободѣ, ни въ дѣйствительной гласности; но такъ какъ онъ произноситъ свои афоризмы совершенно такъ, какъ бы находился въ здравомъ умѣ и твердой памяти, то со стороны можетъ казаться, что онъ, пожалуй, что-нибудь и смыслитъ. И такимъ образомъ въ результатѣ оказывается безконечный обманъ, имѣющій подкладкой одно самоувѣренное нахальство. Вамъ говорятъ о благодѣяніяхъ свободнаго труда, но въ то же время пріурочиваютъ его дѣйствіе къ такой безконечно-малой сферѣ, что въ сущности выходитъ лишь замаскированный крѣпостной трудъ. Вамъ повѣствуютъ о выгодахъ гласнаго суда, а на повѣрку выходитъ, что рѣчь сводится къ рекламамъ въ пользу такого-то адвоката или судьи. И вся эта обнаженная канитель тянется съ такой солидностью, что дѣлается жутко за человѣческую мысль. «Дважды-два—четыре», проповѣдуетъ пѣнкосниматель и совершенно искренно вѣритъ, что дальше этой истины ничего ужъ нѣтъ, и что доискиваться какихъ-либо дальнѣйшихъ комбинацій есть дѣло прихоти и продерзостнаго мальчишества.

Всѣ эти три неуязвимости достойно прикрываются четвертою: солидностью. Способность говорить солидно и увѣренно самыя неизреченныя пошлости есть именно та драгоцѣнная способность, которою въ совершенствѣ обладаетъ всякій пѣнкосниматель. Это василискъ празднословія, при встрѣчѣ съ которымъ надобно выбирать одно изъ двухъ: или плюнуть и бѣжать отъ него прочь, или обречь себя

на выслушиваніе его. Никогда ни по какому вопросу онъ не придетъ къ ясному выводу, но въ то же время никогда ни по какому вопросу не спасуетъ. Онъ будетъ плавно и мѣрно выпускать фразу за фразой и ожиданіемъ вывода или заведетъ въ ловушку, или доведетъ до изступленія. Поэтому полезнѣе всего—это избѣгать всякихъ встрѣчъ съ пѣнкоснимателями, ибо только этимъ способомъ можно оградить себя отъ дьявольскаго навожденія. Но существуютъ люди слабые (увы! вселенная кишитъ ими!), которые не могутъ устоять передъ взорами этихъ василисковъ и потому ввергаются въ бездну празднословія. Вотъ въ этихъ-то слабохарактерныхъ личностяхъ пѣнкосниматели и черпаютъ ту силу, которая такъ изумляетъ изслѣдователей современности. И будутъ черпать ее до тѣхъ поръ, пока литература не почувствуетъ себя свободною отъ кошмара, который давитъ ее, или пока совсѣмъ не потонетъ въ океанѣ безсмысленнаго бормотанія...

Я долго блуждалъ по Выборгской, заглянулъ въ Лѣсной, но вспомнилъ, что здѣсь главный очагъ нашихъ революцій, и отправился на Охту, гдѣ отяжелѣлыми отъ сна глазами оглядѣлъ зданія пороховыхъ заводовъ.

Проведенный вечеръ не выходилъ изъ головы моей. Впрочемъ, изъ всѣхъ индивидуумовъ, которые играли въ немъ роль, я оплакивалъ лишь двоихъ: русскую литературу и Менандра. Всѣ прочіе были такъ счастливы и довольны собой, казались до того на своемъ мѣстѣ, что и жалѣть объ нихъ не было ни малѣйшаго повода. Они кружились и играли, какъ мошки на солнцѣ, и, кружась и играя, конечно, довлѣли сами себѣ, какъ выражалась критика сороковыхъ годовъ. Пѣнкоснимательство былс ихъ назначеніемъ, ихъ провиденціальною ролью. Они родились именно тогда, когда началось пѣнкоснимательство, и умрутъ тогда, когда пѣнкоснимательство кончится. Но литература, но Менандръ... Воля ваша, а я и до сихъ поръ не могу примириться съ мыслью, что они самопроизвольно заразились этою язвою. Мнѣ все кажется, что это индивидуумы подневольные, сносящіе иго пѣнкоснимательства лишь потому, что чувствуютъ себя въ каменномъ мѣшкѣ.

Сравните литературу сороковыхъ годовъ, не дѣлавшую шага безъ общихъ принциповъ, съ литературой нынѣшнею, занимающеюся вытаскиваніемъ бирюлекъ; сравните Менандра прежняго, оглашавшаго стѣны «Британіи» вос-

торжёнными кликами о служеніи высшимъ интересамъ искусства и правды, и Менандра нынѣшняго, съ тою же восторженностью возвѣщающаго міру о видѣнномъ въ Екатеринославѣ сѣверномъ сіяніи... Какая непроглядная пропасть лежитъ между этими сопоставленіями!

Я не говорю, чтобъ полезно и желательно было всецѣло воскресить сороковые года съ ихъ исключительнымъ служеніемъ всякаго рода абстрактностямъ, но не тѣ или другія абстрактности дороги мнѣ, а темпераментъ и направленіе литературы того времени. Никто не посмѣлъ бы крикнуть тогда: наше время—не время широкихъ задачъ! Напротивъ того, всякій рвался захватить какъ можно шире и глубже. Говорятъ, что расплывчивость сороковыхъ годовъ породила множество монстровъ, которые и даютъ себя знать теперь въ качествѣ неумолимыхъ гонителей всякаго живого развитія. Я и не отрицаю, что такіе монстры дѣйствительно существуютъ, но отрицаю, чтобъ ихъ можно было считать представителями сороковыхъ годовъ. Это схоластики, увлекшіеся буквою и никогда не понимавшіе ея смысла. Они только поддакивали, когда глубоко убѣжденные люди утверждали, что дѣло литературы заключается въ разработкѣ общихъ руководящихъ идей, а не подробностей. Но, увы! убѣжденные люди безвременно сошли въ могилу, а схоластики остались, да еще остались старые болтуны, которые, какъ давно заброшенные часы, показываютъ все тотъ же часъ, на которомъ засталъ ихъ конецъ пятидесятыхъ годовъ.

Правда, что тогда же былъ и Булгаринъ, но вѣдь и Булгарины бываютъ разные. Бываютъ Булгарины злобствующіе и инсинуирующіе, но бываютъ и добродушные, въ простотѣ сердца переливающіе изъ пустого въ порожнее на тему, что все на свѣтѣ коловратно, и что даже привозъ свѣжихъ устрицъ къ Елисееву и Смурову ничего не можетъ измѣнить въ этой истинѣ. Кто же можетъ утверждать навѣрное, что современная русская литература не кишитъ какъ злобствующими, такъ и простосердечными Булгариными?

Среди этихъ горькихъ размышленій, я очутился на Невскомъ уже тогда, когда часы на Публичной Библіотекѣ показывали одиннадцать. Къ довершенію всего, у Петропавловской лютеранской церкви я неожиданно наткнулся на Прокопа, о которомъ думалъ, что онъ уже нѣсколько дней тому назадъ отправился во-свояси хлопотать о мѣстѣ по части новыхъ налоговъ.

— Ба! какими судьбами? а я думалъ, что ты ужъ уѣхалъ домой!—воскликнули мы оба въ одинъ голосъ.

А между тѣмъ изъ церкви выѣзжалъ довольно людный печальный кортежъ. Невскій въ этомъ мѣстѣ былъ запруженъ войсками, которыя, при появленіи траурныхъ дрогъ, выстроились и подъ звуки похороннаго марша двинулись по направленію къ Смоленскому кладбищу.

— Что̀ же ты здѣсь дѣлаешь? вѣдь я думалъ, что ты ужъ давно дома и объ мѣстѣ хлопочешь!—обратился я къ Прокопу.

— Нельзя, братецъ, дѣловъ много. Видишь, вотъ генерала хороню.

— Какого еще генерала?

— Фонъ-Керль прозывался, изъ нѣмцевъ. Признаться сказать, я только съ недѣлю тому назадъ съ нимъ въ департаментской пріемной познакомился, а четвертаго-дня, слышу, онъ холостымъ выстрѣломъ застрѣлился.

— Ты врешь, душа моя!

— Истиннымъ Богомъ. Пистонъ разорвало, а онъ съ испугу подумалъ, что его убило, да и умеръ.

— А вотъ еще сомнѣваются въ существованіи души! Ну, могъ ли бы случиться такой фактъ, если-бъ души не было? Но что̀ за причина, что онъ покусился на самоубійство?

— Да года три сряду все по кавалеріи числился; ну, натурально, мѣстовъ искалъ, докладныя записки во всѣ министерства подавалъ. Въ губернаторы ужъ очень хотѣлось попасть! «Мнѣ бы, говоритъ, ваше превосходительство, какую-нибудь немудрящую губернію, въ Петрозаводскъ или въ Уфу...» Право!

— Скажите на милость! и не дали?

— Не дали. А онъ между тѣмъ, въ ожиданіи, все до нитки спустилъ. Еще наканунѣ происшествія я водилъ его на свой счетъ въ греческую кухмистерскую обѣдать—смотрѣть жалость! «Обносился весь!» говоритъ. А теперь, гляди, съ какой помпой хоронятъ!

— Въ самомъ дѣлѣ, какая несправедливость! Отчего бы не дать! Вѣдь нынче, говорятъ, отъ губернаторовъ все отошло!

— Вотъ и онъ тоже говорилъ. «Нынче, говоритъ, все отъ губернаторовъ отошло. Нужно только тактъ имѣть да хорошаго вице-губернатора». А на другой день, слышу, застрѣлился!

— И хорошій, ты говоришь, генералъ былъ?

— Одно слово, черезъ Валдайскія горы однажды перешелъ!

— Не черезъ Балканскія ли, душа моя?

— Вѣрно говорю: черезъ Валдайскія. Черезъ Балканскія—это прежде бывало, а нынче и черезъ Валдайскія—спасибо скажи!

Кортежъ между тѣмъ удалялся, и звуки похороннаго марша ужъ довольно смутно доносились до насъ.

— Ну, братъ, я бѣгу!—спохватился Прокопъ:—да ты что̀, свободенъ, что ли?

— Спать хочется, а то какія же у меня дѣла!

— Ну его, сонъ! успѣемъ выспаться, какъ въ деревню вернемся. Айда̀ со мной на Смоленское! Тамъ, братъ, въ кухмистерской на казенный счетъ поминки устроены, такъ кстати закусимъ и выпьемъ.

Я съ минуту колебался; но времени впереди было такъ много, времени ничѣмъ не занятаго, вполнѣ пустопорожняго... Оказывалось рѣшительно все равно, чѣмъ ни наполнить его, отданіемъ ли послѣдняго долга застрѣлившемуся холостымъ выстрѣломъ генералу, или безцѣльнымъ шаганіемъ по петербургскимъ тротуарамъ, захаживаніемъ въ кондитерскія, чтеніемъ пѣнкоснимательныхъ передовыхъ статей, разсматриваніемъ проектовъ объ упраздненіи и посѣщеніемъ различнаго рода публицистическихъ раутовъ. Въ самомъ дѣлѣ, не рискнуть ли на Смоленское?

— Мы вотъ какъ сдѣлаемъ,—продолжалъ между тѣмъ искушать Прокопъ:—сперва генералу честь отдадимъ и въ кухмистерской закусимъ, потомъ отправимся обѣдать къ Дороту, а тамъ ужъ и на Минералы рукой подать! Какихъ, братъ, тамъ штучекъ съ послѣдними кораблями привезли! Напередъ говорю: пальчики оближешь!

Но согласіе и безъ того уже видѣлось въ глазахъ моихъ...

Похороны были, такъ сказать, выморочные. Повидимому, и самъ покойный генералъ былъ выморочный, ни въ какомъ вѣдомствѣ ненужный генералъ. Переходъ черезъ Валдайскія горы, въ свое время составившій славу Фонъ-Керля, былъ давно забытъ; только немногіе изъ сослуживцевъ, да и то большею частью изъ состоящихъ по кавалеріи, почтили память усопшаго. Ни родственниковъ, ни хозяевъ печальнаго торжества не было; распоряжался казначей того вѣдомства, на счетъ котораго хоронили Фонъ-

Керля, но и его дѣйствія заключались единственно въ уплатѣ издержекъ по церемоніи. Впрочемъ, на закускѣ, въ ближайшей къ кладбищу кухмистерской, было довольно оживленно. Собрались большею частью люди ни мнѣ, ни Прокопу неизвѣстные, но насъ такъ усердно потчивали, какъ будто мы были ближайшіе родные покойнаго. Прокопъ по обыкновенію лгалъ, то-есть утверждалъ, что самъ присутствовалъ при томъ, какъ Фонъ-Керль застрѣлился, и собственными ушами слышалъ, какъ послѣдній, въ предсмертной агоніи, сказалъ: «Отнесите господину министру внутреннихъ дѣлъ послѣдній мой вздохъ и доложите его превосходительству, что хотя и не удостоился, но и умирая остаюсь при убѣжденіи, что для Петрозаводска... лучше не надо!»

Нѣкоторые изъ сослуживцевъ-генераловъ облизнулись при этомъ, а одинъ изъ нихъ сказалъ:

— Вы обязаны исполнить волю покойнаго! Быть-можетъ, его высокопревосходительство тронется этимъ и хотя въ отношеніи къ другимъ будетъ не столь взыскателенъ!

— Непремѣнно-съ, непремѣнно-съ! — увѣрялъ Прокопъ:—помилуйте! какого еще къ чорту губернатора надо!

По сцѣпленію идей, зашелъ разговоръ о губернаторствѣ, о томъ, что нынче отъ губернаторовъ все отошло, и что, слѣдовательно, имъ нужно только имѣть тактъ. Прокопъ сталъ-было утверждать, что и совсѣмъ ихъ не нужно, но потомъ самъ убѣдился, что, во-первыхъ, некому будетъ взыскивать недоимки а во-вторыхъ, что безъ хозяина во всякомъ случаѣ какъ-то неловко. Отъ губернаторства разговоръ опять возвратился къ покойному и къ славнѣйшему подвигу его жизни: къ переходу черезъ Валдайскія горы.

— Скажите, пожалуйста: вы были свидѣтелемъ этого перехода?—обратился къ Прокопу одинъ изъ генераловъ.

— Еще бы! Я тогда юнкеромъ въ Бѣлобородовскомъ полку состоялъ; но такъ какъ покойный всегда особенно меня жаловалъ, то я у него почти за адъютанта служилъ. Только вотъ стоимъ мы, какъ сейчасъ помню, въ Яжелбицахъ...

— Такъ, такъ! Это было при Яжелбицахъ!—воскликнули въ одинъ голосъ всѣ генералы, словно чѣмъ-то обрадованные.

— Ну-съ, стоимъ мы этакъ въ Яжелбицахъ, а въ это время, надо вамъ сказать, рахинскіе крестьяне подняли бунтъ за то, что инженеры на ихъ село шоссе хотѣли

вести *). Ну-съ, хорошо. Только смотритель Яжелбицкой станціи и говоритъ покойному: «не угодно ли, говоритъ, вашему высокоблагородію—онъ тогда еще полковникомъ былъ—ухи изъ форелей откушать? у насъ, говоритъ, преотмѣнныя въ озерѣ ловятся!» Разумѣется, сейчасъ за мной: «Такъ и такъ, какъ ты думаешь, успѣемъ ли мы уху съѣсть?»—И думать, говорю, объ ухѣ нечего! Ну, поморщился мой полковникъ—сами вы знаете, господа, какой онъ охотникъ покушать былъ — однако видитъ, что моя правда,—воздержался! Было это дѣло у насъ, доложу вамъ, 5 іюля, немного спустя послѣ полдёнъ...

— Такъ, такъ! 5 іюля. Такъ и въ исторіи этого похода сказано!

— Ну, вотъ видите! Не лгу же я! Да и зачѣмъ лгать, коли самъ собственными глазами все видѣлъ! Только вотъ смотрю я, солнышко-то ужъ книзу идетъ, а намъ въ тотъ же день надо было покончить съ Рахинымъ, чтобы разомъ, знаете, раздавить гидру—да и шабашъ!

— Совершенно справедливо! Бунты—тутъ первое дѣло натискъ и быстрота! А потомъ вольнымъ шагомъ и по домамъ!—воскликнули генералы.

— Ну-съ, только вотъ и говоритъ мой полковникъ смотрителю: «Нѣтъ, говоритъ, старикъ! мнѣ, говоритъ, надо къ двумъ часамъ вотъ эту гору взять, а къ пяти часамъ чтобы въ Рахино! Когда тамъ покончимъ, тогда и уху къ вамъ ѣсть прибудемъ». А вы, господа, изволите ли знать Яжелбицкую-то гору?

— Какъ же, какъ же! ужаснѣйшая гора!—воскликнули генералы, изъ которыхъ нѣкоторые даже отмѣривали руками.

— Отвѣтивши такимъ манеромъ смотрителю, покойный улыбнулся этакъ и говоритъ солдатикамъ: «А что, ребята, къ пяти часамъ будемъ въ Рахинѣ?» Ну, разумѣется: «Рады стараться!» Сейчасъ—барабаны! Пѣсенники впередъ! на приступъ! гора къ чорту!—и къ пяти часамъ у насъ ужъ кипѣлъ горячій бой подъ Рахинымъ! Къ шести часамъ гидра была при послѣднемъ издыханіи, а въ девять полковникъ былъ въ Яжелбицахъ и говорилъ мнѣ: «Ну, теперь я надѣюсь, что и ты не скажешь, что я ухи не заслужилъ?» И скушалъ разомъ цѣлыхъ три тарелки!

---

*) Яжелбицы и Рахино — станціи на петербургско-московскомъ шоссе.

— Браво! браво! ну и намъ теперь самое время выпить за покойнаго!

Быть-можетъ, время такъ и прошло бы въ мирномъ веселіи, если-бъ Прокопъ не выпилъ нѣсколько лишнихъ рюмокъ хересу и подъ ихъ наитіемъ не вздумалъ вступить въ религіозный споръ.

— Одно жаль, — сказалъ онъ: — не въ нашей русской вѣрѣ померъ! Говорилъ я ему еще наканунѣ смерти: окрестись, говорю, Карлъ Иванычъ! Вспомни, куда ты идешь! По крайности въ царство небесное попадешь! съ людьми будешь!

Генералы, изъ которыхъ большинство были нѣмцы, обиженно переглянулись между собой.

— Но позвольте узнать,—спросилъ одинъ изъ нихъ:— какія основанія вы имѣете, чтобы такъ низко ставить нашу святую евангелическую религію?

— Да такія основанія, что она и не религія совсѣмъ!

— Однако имѣете ли вы доказательства въ пользу вашего мнѣнія?

— Какихъ тамъ еще доказательствъ! Не религія — и все тутъ! Ну, первое доказательство: ваша вѣра таинства погребенія не признаетъ—на что похоже!

— Но позвольте вамъ доложить, что такого таинства и въ вашей русской религіи не находится!

— Ну, ужъ это дудки!

— Однако-жъ это ужасно!—воскликнули хоромъ генералы.

— У насъ надъ покойникомъ-то поютъ!—упорствовалъ Прокопъ:—и дьяконъ, и попъ—честь-честью въ могилу кладутъ! А у васъ что! пришелъ вашъ пасторъ, полопоталъ что-то, даже закусить съ нами не захотѣлъ! На что похоже!

— Позволь, душа моя,—вступился я:—вѣдь дѣйствительно и у насъ таинства погребенія нѣтъ!

— Ну, нѣтъ, такъ нѣтъ—не въ томъ штука. А вотъ мы въ Святого Духа вѣримъ, а вы, нѣмцы, не вѣрите!

— Позвольте же вамъ доложить...

— Нечего тутъ докладывать! Этакъ вы скажете, что и чухна бѣлоглазая—и та въ Бога вѣритъ!

— Но это ужасно!

— Ужасно-то оно ужасно, только не намъ! Вамъ будетъ ужасно—это такъ!

— Но позвольте вамъ сказать, милостивый государь, что

мы такъ точно вѣримъ въ Святого Духа, какъ бы онъ сейчасъ между нами былъ!

— Ну, между нами-то, пожалуй, сейчасъ его и нѣтъ! Это, братъ, враки! А вотъ, что вы въ Николая чудотворца не вѣрите—это вѣрно!

— Но Николай—это совсѣмъ другое дѣло! Николай—это былъ очень великій человѣкъ!

— Боговдухновенный, сударь! Не «великій человѣкъ», а боговдухновенный мужъ! «Правило вѣры, образъ кротости, воздержанія учителю» — вотъ что-съ! — произнесъ Прокопъ строго.—А по-вашему, по-нѣмецки, все одно: Бисмаркъ великій человѣкъ, и Николай чудотворецъ великій человѣкъ! Натко, выкуси!

Глаза у генераловъ постепенно расширялись, чиновники похороннаго вѣдомства потихоньку посмѣивались, а Прокопъ разгорячался все больше и больше.

— Скажи это я, русскій,—ораторствовалъ онъ:—давно бы у меня языкъ отнялся! А съ васъ, съ нѣмцевъ, все какъ съ гуся вода!

Слово за слово, генералы такъ обидѣлись, что прицѣпили палаши, взяли каски и ушли. Прокопъ остался побѣдителемъ, но поминовенная закуска разстроилась. Какъ ни упрашивалъ казначей-распорядитель еще и еще разъ помянуть покойнаго, строптивость Прокопа произвела свое дѣйствіе. Чиновники боялись, что онъ начнетъ придираться и, пожалуй, даже не отступитъ передъ словомъ «прохвосты». Мало-по-малу зала пустѣла, и не болѣе какъ черезъ полчаса мы остались въ Прокопомъ вдвоемъ.

— Ну, скажи, пожалуйста, какая тебѣ была охота поднимать всю эту исторію?—укорялъ я Прокопа.

— А по-твоему, въ ротъ имъ смотрѣть?

— Какъ ты странно, душа моя, разсуждаешь! совсѣмъ съ тобой правильнаго разговора вести нельзя!

— Нѣтъ, ты мнѣ отвѣть: въ ротъ, что ли, имъ смотрѣть?—А я тебѣ вотъ что̀ говорю: надоѣла мнѣ эта нѣмчура бѣлоглазая! Я, братъ, патріотъ—вотъ что̀!

— Но вѣдь здѣсь...

— И здѣсь, и тамъ, и вездѣ... вездѣ я имъ носъ утру! Подитка что̀ выдумали: двѣсти лѣтъ сряду въ плѣну у себя насъ держатъ!

Спорить было безполезно, ибо въ Прокопѣ всѣ чувства и мысли прорывались какъ-то случайно. Сегодня онъ негодуетъ на нѣмцевъ и пропагандируетъ мысль о необхо-

димости свергнуть нѣмецкое иго; завтра онъ же будетъ говорить: «чудесный генералъ! одно слово, нѣмецъ!» и даже станетъ совѣтовать: «хоть бы у нѣмцевъ министра финансовъ на подержаніе взяли—по крайности, тотъ аккуратно бы насъ обремизилъ!»

Когда мы вышли, солнце еще не думало склоняться къ западу. Я взглянулъ на часы—нѣтъ двухъ. Вдали шагали провіантскіе и другіе чиновники изъ присутствовавшихъ на обѣдѣ и, очевидно, еще имѣли надежду до пяти часовъ сослужить службу отечеству. Но куда дѣваться мнѣ и Прокопу? гдѣ пріютиться въ такой часъ, когда одна ѣда отбыта, а для другой ѣды еще не наступилъ моментъ?

— Къ Дороту, что ли? — раздумывалъ Прокопъ: — да тамъ, поди, и татары еще дрыхнутъ! А надо гдѣ-нибудь до пяти часовъ провести время! Ишь чиновники-то! ишь, ишь, ишь, какъ улепетываютъ! Счастливый народъ!

Дѣлать нечего, я долженъ былъ пригласить его ко мнѣ.

— Ну, вотъ, и спасибо! Вздремнемъ часокъ, другой, а тамъ и опять маршъ!

Но надеждѣ на возстановляющій сонъ не суждено было осуществиться съ желаемою скоростью. Прокопъ имѣетъ глупую привычку слоняться по комнатѣ, садиться на кровать къ своему товарищу, разговаривать и вообще ахать и охать, прежде нежели заснетъ. Такъ было и теперь. Похороны генерала, очевидно, настроили Прокопа на минорный тонъ, и онъ началъ мнѣ сообщать новость за новостью, одна печальнѣе другой.

— Да ты знаешь ли, — сказалъ онъ: — что на этихъ дняхъ въ Калугѣ семнадцать гимназистовъ повѣсились?

— Что̀ ты! Христосъ съ тобой!

— Вѣрно говорю, что повѣсились. Не хотятъ по-латыни учиться—и баста!

— Да врешь ты! Если-бъ что-нибудь подобное случилось, неужто въ газетахъ не напечатали бы!

— Та̀къ тебѣ и позволили бы печатать—держи карманъ! А что повѣсились—это такъ. Вчера знакомый изъ Калуги на Невскомъ встрѣтился: всѣ экзамены, говоритъ, выдержали, а какъ дошло до латыни—и на экзаменъ не пошли: прямо—взяли и повѣсились!

— Однако, братъ, это чортъ знаетъ что̀!

— И я то же говорю. Такое, братъ, это дѣло, такое дѣло, что я вотъ и не дуракъ, а ума не приложу.

Прокопъ потупился и нѣкоторое время, сложивъ въ раздумьѣ руки, обводилъ однимъ указательнымъ пальцемъ около другого.

— Нынче и дѣти-то словно не на радость,—продолжалъ онъ:—сперва латынь, потомъ солдатчина. Не тамъ, такъ тутъ, а ужъ ремиза не миновать. А у меня Петька смерть этой латыни боится.

— Ну, принудилъ бы себя! что̀ за важность!

— И я ему то же говорилъ, да ничего не подѣлаешь. «Помилуйте, говоритъ, папенька, это такой проклятый языкъ, что тамъ, что̀ ни слово, то исключеніе. Совсѣмъ, говоритъ, правилъ никакихъ нѣтъ!»

— Да нельзя ли попросить, чтобъ простили его?

— Просилъ, братецъ, ничѣмъ не проймешь! Одно ладятъ: нынче, говорятъ, и свиней пасти, такъ и то Корнелія Непота читать надо. Ну, какъ мнѣ послѣ этого нѣмцевъ-канальевъ не ругать!

Прокопъ опять задумался, и нѣкоторое время въ комнатѣ царствовало глубокое молчаніе, прерываемое лишь вздохами моего друга.

— А то слышалъ еще: Дракинъ, Петръ Ивановичъ, помѣшался?—вновь началъ Прокопъ.

— Господи! да откуда у тебя все такія новости?

— Вчера изъ губерніи письмо получилъ. Читалъ, вишь, постоянно «Московскія Вѣдомости», а тамъ все опасности какія-то предрекаютъ: то нигилизмъ, то сепаратизмъ.., Ну, онъ и порѣшилъ. Не сто̀итъ, говоритъ, послѣ этого на свѣтѣ жить!

— Скажите на милость! А какой здоровый былъ!

— Умница-то какая—вотъ ты что̀ скажи! Съ губернаторомъ ли сцѣпиться, на земскомъ ли собраніи кулеврину подвести—на все первый человѣкъ! Да что̀ Петръ Ивановичъ—этому, по крайней мѣрѣ, было съ чего сходить—а вотъ ты что̀ скажи: съ чего Хлобыстовскій, Петръ Лаврентьевичъ, задумываться сталъ?

— Неужто и онъ?

— Да, и отъ чего сталъ задумываться... отъ «Петербургскихъ Вѣдомостей»! Съ реформами тамъ нынче все поздравляютъ—ну, вотъ онъ читалъ-читалъ, да и вообрази себѣ, что идетъ онъ по длинному-длинному коридору, а тамъ по обѣимъ сторонамъ все пеленки... то-бишь, все реформы развѣшены! Эхма! чья-то теперь очередь съ ума сходить!

Новое молчаніе, новые вздохи.

— И что̀, братецъ, нынче за время такое! Гдѣ ни послышишь—вездѣ либо запилъ, либо съ ума сошелъ, либо повѣсился, либо застрѣлился. И вѣдь никогда мы этой водки проклятой столько не жрали, какъ теперь!

— Отъ скуки, любезный другъ!

— Именно, братъ, отъ скуки. Скажу теперича хоть про себя. Ну, встанешь это утромъ, начнешь думать, какъ нынче день провести. Ну, хоть ты меня зарѣжь, нѣтъ у меня дѣловъ, да и баста!

— Да и у меня, душа моя, ихъ немного.

— Вотъ, говорятъ, отъ губернаторовъ все отошло: посмотрѣли бы на насъ—у насъ-то что̀ осталось! Право, позавидуешь иногда чиновникамъ. Былъ я намеднись въ департаментѣ—грѣшный человѣкъ, все еще поглядываю, не сорвется ли гдѣ-нибудь дорожка—только сидитъ ихъ тамъ, какъ мухъ въ стаканѣ. Вотъ сидитъ онъ за столомъ, папироску покуритъ, ногами поболтаетъ, потомъ возьметъ перо, обмакнетъ и чего-то поваракаетъ, потомъ опять за папироску возьмется и опять поваракаетъ — анъ времени-то, гляди, сколько ушло!

— А намъ съ тобой дѣваться некуда!

— Пристанищевъ у насъ нѣтъ никакихъ—оттого и времени празднаго много. А и дѣло навернется — тоска на него глядѣть! Отвыкли. Все тоска! все тоска! А отъ тоски, извѣстно, одно лѣкарство: водка. Вотъ мы и жремъ ее, чтобы, значитъ, время у насъ свободнѣе летѣло.

— Да, душа моя, видно, остались мы съ тобой за штатомъ!

— Не за штатомъ, а просто ни при чемъ. Ну, скажи на милость, кабы у тебя *свое* дѣло было, ну, пошелъ ли бы ты генерала хоронить? Или опять эти «Минералы»— ну, поѣхалъ ли бы ты за семь верстъ киселя ѣсть, кабы у тебя *свой* интересъ подъ руками былъ?

— Такъ за чѣмъ же дѣло стало? Возьмемъ да и не поѣдемъ сегодня на Минералы!

— Ну, стало-быть, въ Шато-де-Флёръ поѣдемъ; а ужъ туда либо сюда—не минешь ѣхать.

— Да отчего же! Посидимъ дома, пошлемъ за обѣдомъ въ кухмистерскую, напьемся чаю, потолкуемъ... Можетъ-быть, что-нибудь да и найдется!

— Ничего не найдется. О томъ, что ли, толковать, что всѣ мы подъ Богомъ ходимъ? такъ оно ужъ и надоѣло

маленько. А объ другомъ—не объ чемъ. Кончится тѣмъ, что посидимъ часокъ да и уйдемъ къ Палкину, либо въ Малоярославскій трактиръ. Нѣтъ ужъ, братъ, отъ судьбы не уйдешь! Выспимся, да и на Острова!

Увы! Я долженъ былъ согласиться, что планъ Прокопа все-таки былъ самый подходящій. О чемъ толковать, когда никакихъ своихъ дѣлъ нѣтъ? А если не о чемъ толковать, то, значитъ, и дома сидѣть незачѣмъ. Надо бѣжать къ Палкину, или на Минерашки, или въ Шато-де-Флёръ, однимъ словомъ, куда глаза глядятъ и гдѣ есть возможность забыть, что есть гдѣ-то какія-то дѣла, которыхъ у меня нѣтъ. Прибѣжишь—никакъ не можешь раздѣлаться съ вопросомъ: зачѣмъ прибѣжалъ? Убѣжишь—опять-таки не раздѣлаешься съ вопросомъ: зачѣмъ убѣжать? И все-то такъ.

Наконецъ я заснулъ.

Чертогъ сіялъ...

Въ саду однако-жъ было почти темно. Отблескъ огней, которыми горѣло зданіе минеральныхъ водъ, превращалъ полумракъ майской ночи въ настоящую мглу. Публика съ какою-то безнадежною апатіей колотилась взадъ и впередъ, не рискуя пускаться въ аллеи болѣе отдаленныя и кружась въ районѣ свѣта, выходящаго изъ оконъ зданія. Тутъ же, на площадкѣ, волочили свои шлейфы современныя Клеопатры изъ Гамбурга. По бокамъ площадки, около столиковъ, ютились обоего пола посѣтители и истребляли всякаго рода влагу. Въ разныхъ мѣстахъ, на покрытыхъ эстрадахъ, мерцали огни и раздавались звуки музыки, которые, благодаря влажности воздуха, даже въ небольшомъ разстояніи доходили до слуха въ видѣ треска. Несмотря на то, что толпа была довольно компактная, говоръ стоялъ до такой степени умѣренный, что мы, войдя въ садъ, послѣ шума и стука съѣзда, были какъ бы охвачены молчаніемъ. По временамъ слышалось бряцаніе палаша и раздавался крикъ: «человѣкъ», похожій на крикъ иволги въ глухомъ лѣсу. Сырость была несносная, пронизывающая.

Странное дѣло! я и прежде нерѣдко посѣщалъ это заведеніе и довольно коротко знаю его публику, но и до сихъ поръ, входя въ садъ, не могу избавиться отъ чувства нѣкоторой неловкости. Посмотришь кругомъ—публика ведетъ себѣ не только благонравно, но даже тоскливо, а между тѣмъ такъ и кажется, что вотъ кто-нибудь закричитъ: «ка-

раулъ!»; или пролетитъ мимо развязный кавалеръ и выдернетъ изъ-подъ тебя стулъ; или наконецъ просто налетитъ бряцающій ташкентецъ и предложитъ вопросъ: «а позвольте, милостивый государь, узнать, на какомъ основаніи вы осмѣливаетесь обладать столь наводящей уныніе физіономіей?» А тамъ сейчасъ протоколъ, а на завтра засѣданіе у мирового судьи, а тамъ апелляція въ съѣздъ мировыхъ судей, жалоба въ кассаціонный департаментъ, опять судъ, опять жалоба,—и пошла писать. Положимъ, что подобныя происшествія случаются рѣдко; тѣмъ не менѣе тревожное чувство, подсказывающее возможность чего-нибудь въ этомъ родѣ, несомнѣнно существуетъ и, я увѣренъ, существуетъ не у меня одного.

Въ этотъ вечеръ тревожное чувство давало себя знать какъ-то сильнѣе обыкновеннаго. Очевидно, я одичалъ, одичалъ въ Петербургѣ, въ самомъ разгарѣ всякаго рода утѣхъ. Въ теченіе полугода я испыталъ все разнообразіе петербургской жизни: я былъ въ Воронинскихъ баняхъ, слушалъ Шнейдершу, Патти, Бланшъ Вилэнъ, ходилъ въ засѣданія суда, посѣтилъ всевозможные трактиры, бывалъ въ публицистическихъ и другихъ раутахъ, присутствовалъ при защитѣ педагогическихъ рефератовъ, видѣлъ въ «Птичкахъ пѣвчихъ» Монахова и въ «Fanny Lear» Паску, засѣдалъ въ Публичной Библіотекѣ и осмотрѣлъ монументы столицы, побывалъ во всѣхъ клубахъ, а въ артистическомъ былъ даже свидѣтелемъ скандала; словомъ сказать, только въ парламентѣ не былъ, но и то не потому, чтобы не желалъ тамъ быть, а потому, что его нѣтъ. И несмотря на все это я одичалъ. Можетъ-быть, это отъ вина, а можетъ-быть, и отъ того, что разговоры постоянно слышу какіе-то пѣнкоснимательно-разнообразные,—какъ бы то ни было, но, куда бы я ни пришелъ, вездѣ мнѣ кажется, что всѣ глаза устремлены на меня, и во всѣхъ глазахъ я читаю: «а ты зачѣмъ сюда пожаловалъ?» И вотъ, какъ только мелькнетъ этотъ вопросъ въ моей головѣ, мнѣ дѣлается совѣстно. И я начинаю робѣть и смущаться, и воображать, что вотъ этотъ, напримѣръ, усатый господинъ, который, гремя палашомъ, мчится въ мою сторону, мчится не иначе, какъ съ злостнымъ намѣреніемъ выдернуть изъ-подъ меня стулъ.

Напрасно напрягалъ я взоры въ темноту—я никого не могъ различить. Даже кокотки были какъ будто всѣ на одно лицо, и только по большей или меньшей смѣлости жаргона можно было различить бо̀льшую или мѐньшую

знаменитость. Были такія, около которыхъ раздавалось непрерывное бряцаніе—это, конечно, самыя счастливыя, имѣвшія въ перспективѣ ужинъ у Бореля и радужную бумажку; но были и такія, которыя кружились совсѣмъ-совсѣмъ однѣ и, быть-можетъ, осуждены были на послѣдніе два двугривенныхъ нанять ваньку, чтобъ вернуться на Вознесенскій проспектъ или въ Подьяческую. Прокопъ былъ счастливѣе меня; онъ какъ-то и въ тьму ухитрялся проникнуть и безпрестанно толкалъ меня въ бокъ, спрашивая: «это кто?.. вонъ высокій въ плащѣ?» или: «а этотъ вонъ, въ бѣломъ жилетѣ, съ закрученными усиками... это директоръ департамента, кажется? Ну да, онъ, онъ и есть!»

Мы съ полчаса самымъ отчаяннымъ образомъ бременили землю, и въ теченіе всего этого времени я не имѣлъ никакой иной мысли, кромѣ: «а что бы такое съѣсть или выпить?» Не то чтобы я былъ голоденъ,—нѣтъ, желудокъ мой былъ даже переполненъ,—а просто не идетъ въ голову ничего, кромѣ глупой мысли о ѣдѣ. Вотъ долетѣлъ до ушей трескъ контрабаса, и вдругъ опять все стихло, хотя и видно, что на эстрадѣ какой-то мужчина не переставая махаетъ палочкой, а другіе мужчины то поднимаютъ, то опускаютъ смычки. А мы все ходимъ и ходимъ, какъ будто чего-то ждемъ. Наконецъ, несмотря на то, что прошло съ пріѣзда не болѣе двадцати минутъ, начинаемъ ощущать адскую усталость. И вотъ въ ту самую минуту, когда я уже порѣшилъ, что самое подходящее въ настоящемъ случаѣ: выпить коньяку—раздался звонокъ, призывающій въ залу представленій. Господи! какъ же обрадовались мы этому звонку! съ какимъ импетомъ рванулись въ залу театра! и какъ рванулись вмѣстѣ съ нами всѣ эти безпріютные, чающіе движенія воды, которые ни къ чему въ жизни не могли приладиться, кромѣ бряцанія, кокотокъ и шампанскаго!

Вдругъ, при входѣ въ залу, среди толпы, я встрѣчаю того самаго товарища, который, если читатель помнитъ, водилъ меня смотрѣть Шнейдершу. Онъ былъ окруженъ еще двумя-тремя старыми товарищами, которые по обыкновенію юлили около него.

— А! провинціалъ! А я вѣдь думалъ, что ты давно въ своей классической Проплёванной! Пришелъ смотрѣть Claudia? Quelle verve! Sapristi!

Затѣмъ Нагибинъ (фамилія моего товарища) нагнулся къ моему уху и таинственно шепнулъ:

— А вѣдь я къ вамъ въ губернію... mais chut!

— Какъ? уже помпадуромъ? Поздравляю!!

— Да, душа моя. Я рѣшился принять. Ce n'est pas le bout du monde, j'en conviens, mais en attendant, c'est assez joli... Я на тебя надѣюсь! Ты будешь содѣйствовать мнѣ! C'est convenu! Впрочемъ, отсюда мы отправляемся ужинать къ Донону, и, разумѣется, ты съ нами!

Сказавъ это, Нагибинъ пожалъ мнѣ руку и прослѣдовалъ съ своими спутниками въ первые ряды.

Признаюсь, это извѣстіе взволновало меня. Откровенно говоря, первое чувство, заговорившее во мнѣ, было дрянное чувство зависти. Ну, за что? думалось мнѣ: за что? Вотъ онъ теперь «Le sire de Porc-Epic» будетъ слушать, съ кокотками переглядываться—ну, и сидѣлъ бы тутъ, и переглядывался бы! «И самое мѣсто тебѣ, молокососу (я даже забылъ, что, называя Нагибина молокососомъ, я, какъ сверстникъ его, и себя причисляю къ сонму таковыхъ), здѣсь сидѣть! А ты, вмѣсто того, помпадуршъ будешь разводить, будешь содрогаться при видѣ царствующаго въ Тетюшахъ и Наровчатѣ вольномыслія, повсюду станешь внѣдрять руководящіе догматы Porc-Epic'a. Но черезъ короткое время зависть улеглась, и взволнованное чувство обратилось исключительно къ моей собственной личности. А что, думалось мнѣ, вѣдь ежели бы я не закостенѣлъ въ чинѣ титулярнаго совѣтника, вѣдь и я бы... Конечно, живя въ провинціи, я и пообносился, и одичалъ, и во французскомъ діалектѣ не безъ изъянцевъ; но ежели бы меня пріодѣть, пообчистить, я бы и теперь... О, чортъ побери! именно я могъ бы, даже очень могъ бы и помпадуршъ разводить, и содрогаться отъ вольномыслія Чебоксаръ, и кричать «фюить!». Затѣмъ, переходя отъ смягченія къ смягченію, я дошелъ наконецъ до того, что даже ощутилъ радость по случаю назначенія Нагибина. По крайней мѣрѣ, говорилъ я себѣ, у меня другъ будетъ! Онъ будетъ повѣрять мнѣ свои тайны; по утрамъ мы будемъ вмѣстѣ содрогаться и изыскивать мѣры, а вечеромъ къ помпадуршамъ станемъ ѣздить!

А между тѣмъ Прокопъ все время ѣлъ меня глазами. По странной игрѣ природы, любопытство выражалось въ его лицѣ въ видѣ испуга, и выраженіе это сохранялось то тѣхъ поръ, пока не полагался конецъ мучившей его неизвѣстности.

— Кто это?—спросилъ онъ меня, блуждая глазами.

— Мой другъ, Нагибинъ. Онъ, братъ, къ намъ въ помпадуры...

Лицо Прокопа совсѣмъ перекосило отъ испуга.

— Чудакъ! что же ты меня не представилъ?—упрекнулъ онъ меня.

Мы усѣлись гдѣ-то въ шестомъ или седьмомъ ряду, и Прокопъ никогда не ропталъ на себя такъ, какъ теперь, за то, что пожалѣлъ полтора рубля и не взялъ мѣста во второмъ ряду, гдѣ сидѣли мои друзья.

— Ну, что мы здѣсь увидимъ!—бормоталъ онъ:—эти вещи надо непремѣнно изъ первыхъ рядовъ смотрѣть!

Зала была почти полна, но Прокопъ какъ-то ухитрился сквозь массу головъ устроить себѣ coup d'oeil въ сторону Нагибина. Онъ приподнимался всѣмъ корпусомъ, чтобъ досыта наглядѣться хоть на затылокъ будущаго обладателя сердецъ рязанско-тамбовско-саратовскаго клуба.

— Да, этотъ подтянетъ!—говорилъ онъ.

— Да, душа моя, Нагибинъ шутить не любитъ!

— Этотъ маху не дастъ! Ну, а эти... которые съ нимъ... кто такіе?

— Это тоже старые товарищи и, вѣроятно, всѣ по очереди у насъ перебываютъ.

— Перебываютъ—это вѣрно. Однако завтра, чуть свѣтъ, напялю мундиръ и явлюсь. Нельзя.

Шелъ общій, густой говоръ; передвигали стульями, слышалось бряцаніе палашей и картавый французскій говоръ; румяные молодые люди, облокотясь на борты ложъ, громко хохотали и перебрасывались фразами съ партеромъ; кокотки представляли собою цѣлую выставку, но поражали не столько изяществомъ, сколько изобиліемъ формъ и какою-то тупою сытостью; нѣкоторыя изъ нихъ ощипывали букеты и довольно мѣтко бросали цвѣтами въ знакомыхъ кавалеровъ.

Но вотъ занавѣсъ поднялся. Относительно нелѣпости содержанія «Le sire de Porc-Epic» можетъ быть сравненъ развѣ съ «Fanny Lear», съ тою лишь разницею, что послѣдняя имѣетъ претензію на серьезность, а «Porc-Epic» съ тѣмъ и писанъ, чтобъ украсить сцену колоссальною глупостью. Разобрать что-нибудь въ этомъ сумбурѣ—нѣтъ возможности, кромѣ того, что г. Теофиль даетъ г. Ру пощечину ягодицами, что совсѣмъ даже неправдоподобно. Claudia звенѣла, сыпала пощечинами и съ какою-то изступленною восторженностью поднимала ноги. Но вотъ

«Porc-Epic» посрамленъ; гремятъ трещотки, бубны, тазы, барабаны: занавѣсъ опускается.

Зачѣмъ я пріѣхалъ?!

Но несмотря на то, что этотъ вопросъ представлялся мнѣ чуть не въ сотый разъ, я все-таки и къ Донону поѣхалъ, и съ кокотками ужиналъ, и даже увлекъ за собой Прокопа, предварительно представивъ его Нагибину, какъ одного изъ представителей нашего образованнаго сословія.

Нагибинъ принялъ Прокопа съ тою дружескою любезностью, которою отличаются вообще помпадуры новѣйшаго закала, а во время нашего переѣзда къ Донону (мы ѣхали въ четверомѣстной коляскѣ) былъ даже очарователенъ. Онъ не переставалъ дѣлать Прокопу вопросы, явно свидѣтельствовавшіе, что онъ очень серьезно смотритъ на предстоящую ему задачу.

— Ваша губернія плодотворная?—любопытствовалъ онъ.

— Была, вашество, прежде, а теперь... Нынче, вашество, не плодородіе, а вольныя мысли въ ходу-съ. Вотъ ежели вы изволите насъ подтянуть, такъ оно, можетъ-быть, и воротится, плодородіе-то...

— Постараюсь-съ. Но не скрываю отъ себя, что задача будетъ трудная, потому что зло слишкомъ глубоко пустило корни... Ну-съ, а скажите: и лѣсъ въ вашей губерніи растетъ?

— Росъ, вашество, прежде... богатые лѣса были! а теперь и лѣсокъ какъ-то тугонько идетъ. У меня однако-жъ въ паркѣ еще не всѣ липки мужики вырубили.

— Гм!.. однако и липа растетъ?!

Потомъ пошли разспросы: можно ли имѣть на мѣстѣ порядочную говядину (un roastbeef par exemple), какъ слѣдуетъ поступить относительно вина, а также представляется ли возможность пріобрѣсти такого рода повара, который могъ бы удовлетворить требованіямъ вкуса болѣе или менѣе изысканнаго.

— Не скрою отъ васъ,—говорилъ Нагибинъ:—я смотрю на свою роль нѣсколько иначе, нежели рутинеры прежняго времени. Я миротворецъ, медіаторъ, благосклонный посредникъ — и больше ничего. Смягчать раздраженныя страсти, примирять враждующія стороны, наконецъ показывать блестящія перспективы — вотъ какъ я понимаю мое назначеніе! Or, je vous demande un peu, s'il y a quelque chose comme un bon diner pour apaiser les passions!

Съ своей стороны, Прокопъ рисовалъ картины самаго мрачнаго свойства.

— Все прежде бывало, вашество!—ораторствовалъ онъ:— и говядина была, и повара были, и погреба съ винами у каждаго были, кто мало-мальски не свиньей жилъ! Прежде, бывало, ростбифъ-то вотъ какой подадутъ (Прокопъ разставилъ руки во всю ширину), а нынче, ежели поваръ тебѣ бефъ-брезе изготовитъ — и то спасибо скажи! Батюшка-покойникъ безъ стерляжьей-то ухи за столъ не саживался, а мнѣ и съ окунькомъ подадутъ — нахвалиться не могу.

— Скажите пожалуйста! стало-быть, задача моя труднѣе, нежели я предполагалъ!

— Чего же, вашество, хуже! У меня до эмансипаціи-то пять поваровъ на кухнѣ готовило, да народъ-то все какой! Двѣ тысячи цѣлковыхъ за одного Кузьму губернаторъ Толстолобовъ давалъ—не продалъ! Да и губернаторъ-то какой былъ: одинъ цѣлый окорокъ ветчины съѣдалъ! И куда они всѣ подѣвались!

— Однако вѣдь вы кушаете же?—съ нѣкоторымъ безпокойствомъ спросилъ Нагибинъ.

— Кушаемъ-то кушаемъ! У меня и нынче поваръ,— что-жъ! ничего поваръ. Да страху-то у него, вашество, нѣтъ!

Какъ только Прокопъ произнесъ слово: «страхъ», разговоръ оживился еще болѣе и сдѣлался общимъ. Всѣ почувствовали себя въ своей тарелкѣ. Начались разсужденія о томъ, какую роль играетъ страхъ въ общей экономіи народной жизни; можетъ ли страхъ, однажды исчезнувъ, возродиться вновь, и наконецъ, что̀ было бы, если бы реформы развивались своимъ чередомъ, а страхъ — своимъ, взаимно, такъ сказать, оплодотворяя другъ друга.

— Реформы, вашество, ничего!—либеральничалъ Прокопъ:—и не такія реформы бы можно вытерпѣть, кабы страхъ былъ!

На эту рѣчь Нагибинъ отвѣтилъ крѣпкимъ пожатіемъ руки.

— Я съ вами согласенъ,—сказалъ онъ: — безъ страха нельзя. Но я постараюсь!

— Трудненько будетъ, вашество!

— Трудно—я это знаю. Но я привыкъ. Я привыкъ къ борьбѣ и даже жажду борьбы! Но скажу прямо: не хотѣлъ бы я быть на мѣстѣ того, кто меня вызоветъ на борьбу! Sapristi, messieurs! Nous verrons! nous verrons qui de moi aura le panache!

И Нагибинъ такъ свирѣпо погрозилъ кому-то въ воздухѣ, что въ воображеніи моемъ вдругъ совершенно отчет-

ливо нарисовалась цѣлая картина: почтовая дорога съ березовой аллеей, бѣгущей по сторонамъ; тройка, увлекающая двоихъ пассажировъ (одного—везущаго, другого—везомаго) въ безвѣстную даль, и наконецъ тихое пристанище, въ видѣ уединеннаго городка, въ которомъ нѣтъ ни настоящаго пріюта, ни настоящей ѣды, а есть сырость, угаръ, слякоть и вонь...

— Фюить!!

На Конюшенномъ мосту мои мечты были снова прерваны жалобами, которыя изливалъ Прокопъ.

— Даже климатъ, — говорилъ онъ: — и тотъ противъ прежняго хуже сталъ! Помѣщиковъ обидѣли—ну, они, натурально, всѣ лѣса повырубили! Дождей-то и нѣтъ. Мѣсяцъ нѣтъ дождя, другой нѣтъ дождя—хоть ты тресни! А не то такой вдругъ зарядитъ, что два мѣсяца зги не видать! Вотъ тебѣ и эмансипація!

Нагибинъ слушалъ эти ламентаціи и улыбался. Ему пріятно было думать, что устраненіе всѣхъ этихъ бѣдствій: и недостатка поваровъ, и бездождія, и излишества дождя—все это лежало на немъ одномъ.

— Да-съ, тяжело ваше положеніе, messieurs,—произнесъ онъ задумчиво:—но я надѣюсь, что съ Божьею помощью и сильный общимъ довѣріемъ...

Конца фразы я не разслышалъ, потому что въ эту самую минуту мы въѣхали въ ворота ресторана.

Было около часу ночи, и Дононовскій садъ былъ погруженъ въ тьму. Но кіоски ярко свѣтились, и въ нихъ громко картавили молодые служители Марса и звенѣли женскіе голоса. Лакеи-татары, какъ тѣни, безшумно сновали взадъ и впередъ по дорожкамъ. Нагибинъ остановился на минуту на балконѣ ресторана и, взглянувъ впередъ, сказалъ:

— Совершенно какъ въ «Тысячѣ - одной ночи»! не правда ли?

А Прокопъ тѣмъ временемъ шепталъ мнѣ на ухо:

— У тебя деньги есть?

— Есть, а что?

— Чудакъ! надо же честь оказать!

Я пошелъ побродить по дорожкамъ и потому не присутствовалъ при процессѣ заказыванія ужина. До моего слуха долетали: «écrevisses à la bordelaise», «да перчику, перчику чтобы въ мѣру», «дупеля есть?», «земляники, братецъ, оглохъ, что ли?», «на первый разъ три крюшона...«

Но на меня нашелъ какой-то необыкновенный стихъ: я вдругъ вздумалъ разсчитывать. Припомнилъ, сколько я въ такомъ-то случаѣ денегъ даромъ бросилъ, сколько въ такомъ-то мѣстѣ посѣялъ, сколько у меня еще остается, и наконецъ достанетъ ли... При этомъ вопросѣ я почувствовалъ легкій ознобъ... Достанетъ ли? Въ какомъ смыслѣ достанетъ ли? Ежели въ обширномъ... о, чортъ побери! и зачѣмъ это я началъ разсчитывать? Но, разъ начавшись, работа мысли уже не могла скоро прерваться. Не сладивъ съ разсчетами, я обратился къ будущему и долженъ былъ сознаться, что отнынѣ нигдѣ—ни въ рязанско-тамбовско-саратовскомъ клубѣ, ни даже въ Проплёванной—нигдѣ не избѣжать мнѣ ни Минерашекъ, ни Донона, ни Шато-де-Флёра. Нагибинъ непреклоненъ; онъ не положитъ оружія, доколѣ останется хотя одинъ медвѣжій уголъ, въ которомъ не восторжествовали бы «les grands principes du Porc-Epic». А такъ какъ я его другъ, то, очевидно, было бы даже «подло», если бы я не содѣйствовалъ этому торжеству. Вопросъ, значитъ, не въ томъ, чтобы избѣжать торжествъ, а въ томъ, во что̀ они обойдутся мнѣ въ остальное время живота моего? Опять разсчеты и опять ознобъ... И въ заключеніе—вопросъ: да сколько же мнѣ жить остается? А ну, какъ я маѳусаиловъ вѣкъ проживу?

Ознобъ, ознобъ и ознобъ...

Я въ самомъ грустномъ расположеніи духа вернулся къ моимъ товарищамъ и нашелъ компанію въ значительно увеличенномъ составѣ. Новыми лицами оказались: адвокатъ Ненаѣдовъ, устьсысольскій купеческій сынъ Безпортошный и знаменитая дѣвица Сюзетта. Сюзетта предсѣдательствовала на банкетѣ и была пьяна. Купеческій сынъ, въ качествѣ временнаго нанимателя, сидѣлъ возлѣ нея и говорилъ:

— Мамзель Сузетта! покажите господамъ ручку! Какова ручка-то, господа! Почтенный! Крушончикъ еще! Да земляницы-то не жалѣйте!

Въ эту самую минуту я вошелъ.

— Гдѣ ты пропадалъ?—набросился на меня Прокопъ.

— Monsieur a eu mal au ventre!—рѣшила Сюзетта для перваго знакомства.

— Bravo, Suzette!—воскликнули собесѣдники.

— Госпожа Сузетта! сдѣлайте ваше одолженіе! скажите самыя эти слова по-русски-съ!—убѣждалъ купеческій сынъ.

— У гаспадинъ животъ болѣлъ!

— И превосходно-съ. Значитъ, первое дѣло—померанцовки. Пожалуйте! А какъ мы ужъ по крушончику на брата сокрушили, такъ и вы, господинъ, насъ догнать должны. Почтенный! крушончикъ для господина... Да земляницы-то не жалѣйте!

Начался обычный кутежъ нашихъ дней, кутежъ безъ веселости и безъ увлеченія, кутежъ, сопровождающійся лишь непрерывнымъ наполненіемъ желудковъ, и безъ того уже переполненныхъ. Сюзетта окончательно опьянѣла. Сначала она пропѣла «L'amour ce n'est—que cela», потомъ, постепенно возвышая температуру репертуара, достигла до «F..... nous». Наконецъ, по просьбѣ Безпортошнаго, разомъ выплюнула весь лексиконъ ругательныхъ русскихъ словъ. Купеческій сынъ таращилъ на нее глаза и говорилъ:

— Ишь, шельма, какъ чисто по-русски выговариваетъ!

Въ такихъ занятіяхъ прошло добрыхъ три часа. Наконецъ купеческій сынъ сталъ придираться и окончательно набросился на Ненаѣдова.

— Для чего я тебя нанялъ? — приставалъ онъ:—нѣтъ, ты отвѣть, для чего я тебя нанялъ? А хочешь, я сейчасъ скажу, какіе такіе договоры промежъ насъ были, когда я тебя въ услуженіе бралъ?

Ненаѣдовъ краснѣлъ и блѣднѣлъ. Одну минуту я даже думалъ, что онъ обидится.

Когда мы разъѣзжались, по улицамъ уже шло то смутное движеніе, которое предшествуетъ пробужденію большого города.

— А! какова Сюзетта! какъ, шельма, ругается!—воскликнулъ Прокопъ, садясь со мной на извозчика.

Но на этотъ разъ я не выдержалъ.

— Послушай, душа моя,—сказалъ я:—завтра я позову вотъ этого самаго извозчика и велю ему всѣ ругательства, которыя мы слышали, при тебѣ повторить. А ты отдай ему тѣ сто рублей, которые ты взялъ у меня, чтобъ заплатить за ужинъ.

Глава VIII.

Я цѣлый мѣсяцъ не велъ дневника своимъ похожденіямъ и, признаюсь, даже теперь не могу съ ясностью выразумѣть, что происходило со мной за это время.

Я былъ жертвой двухъ мистификацій сряду. Цѣлый мѣсяцъ я волновался, хлопоталъ и думалъ, что живу въ самомъ реальномъ значеніи этого слова. Сначала я былъ

членомъ VIII международнаго статистическаго конгресса (въ качествѣ делегата отъ рязанско-тамбовско-саратовскаго клуба), участвовалъ во всѣхъ его трудахъ, доказывалъ негодность употребляемыхъ нынѣ пріемовъ для изслѣдованія трактирной промышленности, бесѣдовалъ съ Левассёромъ, Кеттлѐ, Фарромъ и проч. Потомъ вдругъ, какимъ-то чудомъ, декораціи перемѣнились. Оказалось, что вмѣсто статистическаго конгресса я чуть-было не сдѣлался членомъ опаснѣйшаго гайнаго общества, имѣвшаго цѣлью ниспроверженіе общественнаго порядка, и что только по особенной Божьей милости я явился передъ лицомъ суда не въ качествѣ главнаго обвиняемаго, а лишь въ качествѣ пособника и попустителя. Что Кеттлѐ совсѣмъ не Кеттлѐ, а пензенскій помѣщикъ Капканчиковъ, что Левассёръ—отставной корнетъ Шалапутовъ, Корренти—шарманщикъ Корподибакко и т. д. И что всѣ эти господа—эмиссары отъ интернаціоналки... Но этого мало: въ самый разгаръ процесса, въ ту минуту, когда я уже начиналъ питать увѣренность, что невинность моя доказана, декораціи опять внезапно перемѣняются и являются новыя, среди которыхъ я вижу себя... дуракомъ! Ни конгресса, ни процесса—ничего этого не было. Былъ неслыханнѣйшій, возмутительнѣйшій фарсъ, самымъ грубымъ образомъ разыгранный шайкою досужихъ русскихъ людей надъ ватагой простодушныхъ провинціальныхъ кадыковъ, въ числѣ которыхъ, къ величайшей обидѣ, оказался и я...

Только въ обществѣ, гдѣ положительно никто не знаетъ, куда дѣваться отъ праздности, можетъ существовать подобное времяпровожденіе! Только тамъ, гдѣ нѣтъ другого дѣла, кромѣ изнурительнаго пѣнкоснимательства, гдѣ нѣтъ другого общественнаго мнѣнія, кромѣ безпорядочнаго уличнаго говора, можно находить удовольствіе въ томъ, чтобы держать людей, въ продолженіе цѣлаго мѣсяца, въ смущеніи и тревогѣ! И въ какой тревогѣ! Въ самой дурацкой изъ всѣхъ! Въ такой, при одномъ воспоминаніи о которой бросается въ голову кровь!

Представьте себѣ такое положеніе: вы приходите по дѣлу къ одному изъ досужихъ русскихъ людей, вамъ предлагаютъ стулъ, и въ то время, какъ вы садитесь—трахъ!—заднія ножки у стула подгибаются! Вы падаете съ размаху на полъ, расшибаете затылокъ, а хозяинъ съ любезнѣйшею улыбкой говоритъ:

— Скажите, какой случай! Человѣкъ! Скотина! Сколько

разъ было говорено, чтобъ этотъ стулъ убрать! Извините пожалуйста!

Вы усаживаетесь на другой стулъ, и любезный хозяинъ предлагаетъ вамъ чаю. Не подозрѣвая коварства, вы глотаете изъ стоящаго передъ вами стакана—о, ужасъ!—это не чай, а помои! А хозяинъ съ тою же любезностью утѣшаетъ васъ:

— Ахъ, извините пожалуйста! Это стаканъ съ водой, въ который я обыкновенно сбрасываю пепелъ отъ папиросъ! Человѣкъ! Скотина! Сколько разъ было говорено, чтобъ стаканъ этотъ убирать!

И такъ далѣе, и такъ далѣе.

Ежели мистификаторы упорны и пользуются здоровьемъ, они могутъ свести человѣка съ ума. По крайней мѣрѣ я испыталъ это отчасти на себѣ. Теперь, послѣ двухъ сыгранныхъ со мною фарсовъ, я не могу сѣсть, чтобы не подумать: а ну, какъ этотъ стулъ вдругъ подломится подо мной! Я не могу ступить по половицѣ, чтобъ меня не смущала мысль: а что, если эта половица совсѣмъ не половица, а только подобіе ея, устроенное съ исключительною цѣлью, чтобъ я провалился и расквасилъ себѣ носъ!

Есмь я или не есмь? Въ номерахъ я живу или не въ номерахъ? Стѣны окружаютъ меня или какое-нибудь обманчивое подобіе стѣнъ? Какъ ни просты эти вопросы, но ни на одинъ изъ нихъ я положительнаго отвѣта дать не берусь. Я знаю только одно: что передо мною бездна, называемая «русскимъ досужествомъ», бездна, которая всегда готова меня поглотить, потому что я самъ наравнѣ съ другими участвовалъ въ ея устройствѣ.

Куда дѣваться отъ шалуновъ? какъ оградить себя отъ нихъ? Жаловаться?—но представьте же себѣ процессъ, въ которомъ десятокъ молодыхъ шалопаевъ, при открытыхъ дверяхъ, будутъ въ самыхъ художественныхъ образахъ изъяснять, какимъ вы оказали себя дуракомъ! И представьте себѣ, кромѣ того, что вы даже ничего не имѣете сказать противъ этого! Потому что вы дѣйствительно вели себя какъ дуракъ, и нѣтъ въ дѣлѣ ни одного обстоятельства, которое бы не уличало васъ въ этомъ! Это сознаётъ и предсѣдатель суда, и прокуроръ, и даже собственный вашъ защитникъ, выступающій въ роли частнаго обвинителя. На всѣхъ лицахъ только одно слово и написано: дуракъ! Нѣтъ нужды, что вы были жертвой дураковъ еще болѣе безспорныхъ—это обстоятельство еще болѣе отяг-

чаетъ вашу вину. Зачѣмъ связывался съ дураками—дуракъ! Какъ не разсмотрѣлъ, что тебя окружаютъ дураки—дуракъ! Какъ не понялъ, когда даже шухардинскіе половые—и тѣ догадались, что русскіе досужіе люди надъ тобой шутки шутятъ—дуракъ! Дуракъ—и больше ничего!

Словомъ сказать, вы выигрываете процессъ, вы сознаёте себя вполнѣ удовлетвореннымъ передъ лицомъ юстиціи и въ то же время, выходя изъ залы засѣданія, несомнѣнно чувствуете себя... дуракомъ! И даже не простымъ дуракомъ, а, такъ сказать, штемпелеваннымъ. Потому что вы утверждены въ этомъ званіи приговоромъ суда. Потому что не было ни обвиняемаго, ни свидѣтеля, ни даже жалобщика, котораго показаніе не резюмировалось бы въ одномъ словѣ: дуракъ! Потому что вся аудиторія хохотомъ выхохатывала это слово, и въ виду святости мѣста вамъ даже нельзя было сказать этой хохочущей братіи: «чему хохочете? надъ собой хохочете!»

Но буду разсказывать по порядку.

Когда разнесся слухъ, что въ Петербургѣ имѣетъ быть VIII международный статистическій конгрессъ, мною прежде всего овладѣло естественное чувство гордости. Стало-быть, и мы не лыкомъ шиты, коль скоро къ намъ то-и-дѣло наѣзжаютъ то «братья», то «друзья», то «гости». Положимъ, что для братьевъ-славянъ и для заатлантическихъ друзей мы могли служить оружіемъ демонстраціи, но жрецы статистики—какую демонстрацію могли они имѣть въ виду, выбирая себѣ мѣстопребываніемъ Петербургъ? Очевидно, они ни о чемъ другомъ не думали, кромѣ роскошнаго пира науки, который нигдѣ не могъ быть устроенъ съ такимъ удобствомъ, какъ въ Петербургѣ. Стало-быть, если отнынѣ кто-нибудь назоветъ насъ кадетами цивилизаціи, то мы можемъ смѣло сказать тому въ глаза: нѣтъ, мы не кадеты! къ намъ обращали взоры братья-славяне! съ нами братались заатлантическіе друзья! у насъ наконецъ безъ всякой задней мысли отдыхали современные гиганты статистики!

Конечно, было тутъ и не безъ опасеній—какъ бы не осрамиться передъ иностранными гостями; но когда мы стали съ Прокопомъ считать по пальцамъ, сколько у насъ статистиковъ, то просто даже остолбенѣли отъ удивленія. Сколько разсѣяно статистиковъ по министерствамъ и губерніямъ, статистиковъ, получающихъ опредѣленное содержаніе и слѣдовательно вполнѣ достовѣрныхъ! Сколько,

сверхъ того, статистиковъ не вполнѣ достовѣрныхъ! а вольнопрактикующихъ, которые по собственной охотѣ ведутъ счетъ питейнымъ заведеніямъ и потомъ печатаютъ въ газетахъ свои труды въ формѣ корреспонденцій изъ Острогожска, Калязина, Ветлуги и проч.! Наконецъ, сколько «Прохожихъ», «Проѣзжихъ», «Иксовъ», «Зетовъ» и другихъ трудолюбцевъ, при трепетномъ свѣтѣ лампады разрабатывающихъ достопримѣчательности Лаишева, Кадникова, Обояни и иныхъ!

— Если всѣхъ-то счесть, такъ, пожалуй, и пальцевъ на рукахъ не хватитъ!—воскликнулъ Прокопъ, когда мы кончили обозрѣніе нашихъ статистическихъ силъ:—да и народъ-то, братъ, все какой—ужъ эти не выдадутъ!

Такимъ образомъ оставалось только гордиться и торжествовать. Но, увы! опасенія—такая вещь, которая, однажды закравшись въ душу, уже не легко покидаетъ ее. Опровергнутыя въ одной формѣ, они отыщутъ себѣ другую, третью и т. д., и будутъ смущать человѣка до тѣхъ поръ, пока дѣйствительно не доведутъ его до сознанія эфемерности его торжества. Нѣчто подобное случилось и со мной.

Не знаю почему, но мнѣ вдругъ показалось, что ежели конгрессъ соберется въ Петербургѣ, то предметомъ его можетъ быть только *коротенькая* статистика, то-есть такая, въ которой нѣсколько главъ окажутся оторванными. Вѣдь статистика, думалось мнѣ, наука почти всеобъемлющая; слѣдовательно предметомъ ея можетъ быть не одно движеніе народонаселенія, не одно сухое перечисленіе фабрикъ и заводовъ, но и другія, болѣе деликатнаго свойства, общественныя явленія. Положимъ, что и явленіе самое деликатное можно обезцвѣтить, запрятавъ его въ графу и выразивъ въ видѣ голой цифры; но вѣдь и цифры порою бываютъ такъ краснорѣчивы, что прямо ведутъ къ аттестаціямъ, въ родѣ «хорошо», «дурно», «благопріятно», «неблагопріятно» и т. д. Ловко ли будетъ намъ признать нормальность и полезность подобныхъ аттестацій? И, разъ признавши ихъ нормальность, можно ли будетъ впослѣдствіи (когда оно надоѣстъ) счесть для себя необязательнымъ этотъ контроль, идущій Богъ-вѣсть откуда и руководящійся Богъ-вѣсть какими предписаніями?

Возьмемъ для примѣра хоть научно-литературное развитіе страны. Какъ ни трудно подчиняется этотъ предметъ цифирнымъ опредѣленіямъ, но несомнѣнно, что такія опредѣленія существуютъ, а слѣдовательно статистика, даже

самая скромная, не имѣетъ ни малѣйшаго права игнорировать ихъ. Съ одной стороны, во всякой странѣ издается извѣстное число газетъ и журналовъ, печатается извѣстное число книгъ. Съ другой стороны, во всякой же странѣ, за немногими исключеніями, существуютъ учрежденія, обязанность которыхъ главнѣйшимъ образомъ заключается въ наблюденіи, чтобы въ литературѣ не было допускаемо случаевъ такъ-называемаго превышенія власти. Статистика не можетъ пройти молчаніемъ эти явленія; они слишкомъ крупны и ярки, чтобъ ихъ игнорировать. Но какъ же поступитъ она по ихъ поводу? Конечно, она прежде всего констатируетъ число наблюдающихъ за литературой чиновниковъ, сумму получаемаго ими содержанія, классы занимаемыхъ ими должностей и мундиры, тѣмъ должностямъ присвоенные. Разумѣется, я ничего не сказалъ бы противъ статистики, еслибъ она ограничилась исключительно одними этими фактами; но въ томъ-то дѣло, что статистика, да вдобавокъ «международная», всегда идетъ далѣе тѣхъ границъ, которыя предписываются благоразуміемъ. Описавши мундиры чиновниковъ, она перейдетъ къ ихъ дѣятельности, а вступивши на эту почву, найдетъ, что дѣятельность эта выразилась въ столькихъ-то предостереженіяхъ, столькихъ-то закрытіяхъ и т. д. Вотъ тогда-то собственно и начнется такъ-называемое «краснорѣчіе цифръ». Хорошо, если цифры останутся только цифрами, т. е. будутъ себѣ сидѣть въ подлежащихъ графахъ да поджидать очереди, когда ихъ, наравнѣ съ прочими, включатъ въ учебники; но ловко ли будетъ, если какой-нибудь «иностранный гость», отвѣдавши нашего хлѣба-соли, вдругъ вздумаетъ изъ цифръ вывести и для насъ какую-то аттестацію? Я уступаю заранѣе, что аттестація эта будетъ формулирована словами: «похвально» и «благопріятно», но пріятенъ ли будетъ самый фактъ *возможности аттестаціи?*—вотъ въ чемъ вопросъ, и вопросъ настолько важный, что надъ нимъ стóитъ очень и очень крѣпко призадуматься. Я, по крайней мѣрѣ, думаю, что эта возможность обоюдуострая, и что мы въ равной мѣрѣ рискуемъ получить и благопріятныя, и неблагопріятныя отмѣтки. Тутъ все зависитъ отъ того, сохранилъ ли иностранный гость благодарное воспоминаніе о нашемъ гостепріимствѣ или не сохранилъ. Нѣтъ, лучше ужъ совсѣмъ изъять главу о духовномъ развитіи изъ программы занятій международнаго конгресса, нежели подвергаться риску выслушиванья

какихъ-то аттестацій отъ людей, которые, быть-можетъ, и мундира-то порядкомъ носить не умѣютъ!

Другой примѣръ подобной же скабрёзности представляетъ вопросъ о неприкосновенности или общедоступности домашняго очага. Въ нѣкоторыхъ странахъ вопросъ этотъ разрѣшается въ пользу неприкосновенности, въ другихъ— въ пользу общедоступности, но во всякомъ случаѣ то или другое рѣшеніе имѣетъ извѣстныя практическія послѣдствія, которыя отражаются на народной жизни и выражаются въ формѣ фактовъ и цифръ. Статистика была бы недостойна имени науки, еслибъ она не занялась этими цифрами и фактами и не занесла ихъ въ графы свои. И вотъ опять выступаетъ на сцену краснорѣчіе цифръ, опять является возможность аттестаціи и соединенныхъ съ нею опасеній, сохранилъ ли иностранный гость благодарное воспоминаніе о нашемъ гостепріимствѣ или не сохранилъ? Ужели же изъ-за какой-нибудь статистики, единственно ради ея полноты, мы станемъ мучиться сомнѣніями? Risum teneatis, amici! Гораздо проще и эту главу изъять изъ программы занятій конгресса—и дѣло съ концомъ.

Третій, еще болѣе скабрёзный вопросъ представляютъ публичныя сборища, митинги и т. д., которые также извѣстнымъ образомъ отражаются на народной жизни и, конечно, не меньше питейныхъ домовъ имѣютъ право на вниманіе статистики. Не изъять ли однако-жъ и его? Потому что вѣдь эти статистики—Богъ ихъ знаетъ!—пожалуй, такихъ сравнительныхъ таблицъ наиздаютъ, что и жить совсѣмъ будетъ нельзя!

Словомъ сказать, вопросъ за вопросомъ, ихъ набралось такое множество, что когда поступилъ на очередь вопросъ о томъ, насколько счастливъ или несчастливъ человѣкъ, который, не показывая кукиша въ карманѣ, можетъ свободно излагать мнѣнія о мѣропріятіяхъ становыхъ приставовъ (по моему мнѣнію, и это явленіе имѣетъ право на вниманіе статистики), то Прокопъ всплеснулъ руками и такъ испугался, что даже заговорилъ по-французски.

— Финисѐ!—усовѣщивалъ онъ меня:—пожалуйста финисѐ! Ну, что̀ тамъ! чего тамъ? Еще услышатъ,—что̀ хорошаго!

И вдругъ я получаю черезъ Прокопа печатное приглашеніе лично участвовать на VIII международномъ статистическомъ конгрессѣ, въ качествѣ делегата отъ рязанско-тамбовско-саратовскаго клуба! Разумѣется, что̀ при одномъ

видѣ этого приглашенія у меня «въ зобу дыханье сперло», сомнѣнія исчезли, и осталось лишь сладкое сознаніе, что, стало-быть, и я не лыкомъ шитъ, коль скоро иностранные гости вспомнили обо мнѣ!

Ослѣпленіе мое было такъ велико, что я не обратилъ вниманія ни на странность помѣщенія конгресса, ни на несообразность его состава, ни на загадочные поступки нѣкоторыхъ конгрессистовъ, напоминавшіе скорѣе ярмарочныхъ героевъ, нежели жрецовъ науки. Я ничего не видѣлъ, ничего не помнилъ. Я помнилъ только одно: что я не лыкомъ шитъ и слѣдовательно не плоше всякаго другого вольнопрактикующаго статистика могу имѣть сужденіе о вредѣ, производимомъ вольною продажей вина и проистекающемъ отсюда накопленіи недоимокъ.

Конгрессъ помѣщался въ саду гостинницы Шухардина— это была первая странность. Въ самомъ дѣлѣ, мы, которые такъ славимся гостепріимствомъ, ужели мы не могли найти болѣе приличнаго помѣщенія, хотя бы, напримѣръ, въ залахъ у Марцинкевича, которыя, кстати, лѣтомъ совершенно пусты?

Вторая странность заключалась въ томъ, что, кромѣ Кеттлѐ, Левассёра, Фарра, Энгеля и Корренти, которымъ меня тотчасъ же представилъ Прокопъ, всѣ остальные члены конгресса были въ фуражкахъ съ красными околышами. То были делегаты отъ Лаишева, Чухломы, Кадникова и проч. Судите, какой же могъ быть международный конгрессъ, въ которомъ главная масса дѣятелей явно тяготѣла къ Ливнамъ, Карачеву, Обояни и т. д.?

Третья странность: Кеттлѐ кстати и некстати восклицалъ: «fichtre! sapristi!» и «ventre de biche!» Фарръ высказывалъ явную наклонность къ очищенной; Энгель не переставалъ тянуть пиво; а Левассёръ, едва явился на конгрессъ, какъ тотчасъ же взялъ въ руки кій и сдѣлалъ клапштосомъ желтаго въ среднюю лузу!..

Четвертая странность: шухардинскіе половые не только не обнаруживали никакого благоговѣнія, но даже шепнули мнѣ на ухо, не пожелаютъ ли иностранные гости послушать арфистокъ...

Но, повторяю, ничто въ то время не поразило меня: до такой степени я былъ весь проникнутъ мыслью, что я не лыкомъ шитъ.

Я пришелъ на конгрессъ первый, но едва успѣлъ углубиться въ чтеніе «Полицейскихъ Вѣдомостей», какъ услы-

шалъ прямо у своего уха жужжаніе мухи. Отмахнулся рукой одинъ разъ, отмахнулся въ другой; наконецъ поднялъ голову... о, чудо! передо мной стоялъ Веретьевъ! Веретьевъ, съ которымъ я провелъ столько пріятныхъ минутъ въ «Затишьѣ»!

— Веретьевъ! Боже! какими судьбами?—воскликнулъ я, простирая руки.

— Делегатъ отъ Амченскаго уѣзда, рекомендуюсь!—отвѣчалъ онъ, бросая искоса взглядъ на накрытый въ сторонѣ столъ, обремененный всевозможными сортами закусокъ и водокъ.

— Какъ? статистикъ? Браво!

Вмѣсто отвѣта Веретьевъ зажужжалъ по комариному, но такъ живо, такъ натурально, что передо мной разомъ воскресло все наше прошлое.

— А Маша?.. помнишь?—спросилъ я въ неописанномъ волненіи.

— Теперь, братъ, она ужъ не Маша, а цѣлая Марьище...

— Позволь, но вѣдь Маша утопилась!

— Это все Тургеневъ выдумалъ. Топилась, да вытащили. Послѣ вышла замужъ за Чертопханова, вывела восемь человѣкъ дѣтей, овдовѣла и теперь такъ сильно штрафуетъ крестьянъ за потраву, что даже Фетъ—и тотъ отъ нея бѣгать сталъ! *).

— Скажите пожалуйста! Но что же мы стоимъ! Человѣкъ! рюмку водки! большую!

Веретьевъ потупился.

— Не надо:—произнесъ онъ угрюмо:—зарокъ далъ!

— Какъ! ты! не можетъ быть!

Не успѣлъ я докончить своего восклицанія, какъ въ садъ вошли... молодой Кирсановъ и Берсеневъ! Кирсановъ былъ одѣтъ въ чистенькій вицмундиръ; изъ-подъ жилета виднѣлась ослѣпительной бѣлизны рубашка; галстукъ на шеѣ былъ аккуратно повязанъ; подъ мышкой онъ крѣпко стискивалъ щегольской портфель. За нимъ, своей мечтательной, милой походкой съ перевальцемъ, плелся Берсеневъ и тоже держалъ подъ мышкой довольно поношенный портфель, который, вдобавокъ, постоянно у него выползалъ. Какъ ни неожиданна была для меня эта встрѣча,

*) По послѣднимъ извѣстіямъ, фактъ этотъ оказался невѣрнымъ. По крайней мѣрѣ И. С. Тургеневъ совершенно иначе разсказалъ конецъ Чертопханова въ «Вѣстникѣ Европы» за ноябрь 1872 г.—*Примѣчаніе автора «Дневника».*

но, взглянувши на Кирсанова поближе, я безъ труда понялъ, что при скромности и аккуратности этого молодого человѣка ему самое мѣсто—въ статистикѣ. Нѣсколько болѣе смутило меня появленіе Берсенева. «Это человѣкъ мечтательный и рыхлый,—думалось мнѣ:—у котораго только одно въ мысли: идти по стопамъ Грановскаго. Но идти не самому, а чтобъ извозчикъ везъ. Вотъ и теперь на немъ и рубашка криво сидитъ, и портфель изъ-подъ мышки ползетъ... ну, гдѣ ему усидѣть въ статистикѣ!»

— Делегатъ отъ Ефремовскаго уѣзда,—рекомендовался между тѣмъ Кирсановъ, подавая мнѣ руку, какъ старому знакомому.

— Очень радъ! очень радъ! Уже статистикъ! Давно ли?

— Мѣсяца два тому назадъ. Я долженъ, впрочемъ, сознаться, что въ нашемъ уѣздѣ статистика еще не совсѣмъ въ порядкѣ, но надѣюсь, что при содѣйствіи начальника губерніи успѣю въ непродолжительномъ времени двинуть это дѣло значительно впередъ.

— Вашъ батюшка? Дяденька?

— Благодарю васъ. Батюшка, слава Богу, здоровъ и попрежнему играетъ на віолончели свои любимые романсы. Дядя скончался, и мы съ папашей ходимъ въ хорошую погоду на его могилу. Ѳеничку мы пристроили; она теперь замужемъ за однимъ чиновникомъ въ Ефремовѣ, имѣетъ свой домъ, хозяйство и, повидимому, очень счастлива.

— Да... но скажите же что-нибудь о себѣ?

— Благодарю васъ, я совершенно счастливъ. Полтора года тому назадъ женился на Катѣ Одинцовой и уже имѣю сына. Поэтому полученіе мѣста было для меня какъ нельзя болѣе кстати. Знаете: хотя у насъ и довольно обезпеченное состояніе, но когда имѣешь сына, то лишнихъ тысяча рублей весьма не вредитъ.

— Базаровъ... помните?

Кирсанова передернуло при этомъ вопросѣ, и онъ довольно сухо отвѣтилъ мнѣ:

— Мы съ папашей и Катей каждый день молимся, чтобы Богъ простилъ его заблужденія!

— Ну... а вы, Берсеневъ?—обратился я къ Берсеневу, замѣтивъ, что оборотъ, который принялъ нашъ разговоръ, не нравится Кирсанову.

— Я... вотъ съ нимъ...—лѣниво пробормоталъ онъ, какъ бы не отдавая даже отчета, отъ кого или отъ чего онъ является делегатомъ.

«Ну, братъ, не усидѣть тебѣ въ статистикѣ!»—мысленно повторилъ я и вскинулъ глазами впередъ. О, ужасъ! передо мной стоялъ Рудинъ, а за нимъ, въ нѣкоторомъ отдаленіи, улыбался своею мягкою, нѣсколько грустною улыбкою Лаврецкій.

— Рудинъ! да вы съ ума сошли! вѣдь вы въ Дрезденѣ на баррикадахъ убиты!—воскликнулъ я внѣ себя.

— Толкуйте! Это все Тургеневъ сказки разсказываетъ! Онъ, батюшка, четыре эпизода обо мнѣ написалъ, а эпизодъ у меня самый простой: имѣю честь рекомендоваться—путивльскій делегатъ! Да-съ, батюшка, орудуемъ! Возбуждаемъ народъ-съ! пропагандируемъ «права человѣка»-съ! воюемъ съ губернаторомъ-съ!

— И очень дурно дѣлаете-съ,—замѣтилъ наставительно Кирсановъ:—потому что, строго говоря, и ваши цѣли и цѣли губернатора—однѣ и тѣ же.

— Толкуй по праздникамъ! Вѣдь ты, братъ, либералъ! Я знаю, ты надъ передовыми статьями «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» слезы проливаешь! А по-моему, такими либералами только заборы подпирать можно!

— Лаврецкаго... не забыли?—прозвучалъ около меня задумчивый, какъ бы вуалированный голосъ.

Но не знаю почему—отъ Лаврецкаго, этого истаго представителя «Дворянскаго гнѣзда», у меня осталось только одно воспоминаніе: что онъ женатъ.

— Лаврецкій! вы?! какъ здоровье супруги вашей?

— Благодарю васъ. Она здорова и здѣсь со мною въ Петербургѣ. Знаете, здѣсь и Изомбаръ, и Андріё... ну, а въ нашемъ Малоархангельскѣ... Милости просимъ къ намъ; мы въ «Hôtel d'Angleterre»; жена будетъ очень рада васъ видѣть.

— Ахъ, Боже мой! Лаврецкій... вы! Лиза... помните?

— Лизавета Михайловна скончалась. Признаюсь вамъ, это была большая ошибка съ моей стороны. Увлечь молодую дѣвицу, не будучи вполнѣ увѣреннымъ въ своей свободѣ—какъ хотите, а это нехорошо! Теперь однако-жъ эти увлеченія прошли, и въ занятіяхъ статистикой...

Но этому дню суждено было сдѣлаться для меня днемъ сюрпризовъ. Не успѣлъ я выслушать исповѣдь Лаврецкаго, какъ завидѣлъ входящаго Марка Волохова. Онъ былъ не причесанъ, и ногти его были не чищены.

— Волоховъ!! и вы здѣсь!

— А вы какъ объ насъ полагали?

— Да... но вы... делегатъ!..

— Ну, да, делегатъ отъ Балашовскаго уѣзда... что-жъ дальше! А вы, небойсь, думали, что я испугаюсь! Я, батюшка, ничего не испугаюсь! Мнѣ, батюшка, чортъ съ ними— вотъ что!

Сказавъ это, онъ отвернулся отъ меня и, замѣтивъ Рудина, процѣдилъ сквозь зубы:

— Балалайка безструнная!

Въ садъ хлынула вдругъ цѣлая толпа кадыковъ въ фуражкахъ съ красными околышами и заслонила собой моихъ знакомцевъ. Мнѣ показалось, что въ этой толпѣ мелькнула даже фигура Собакевича. Черезъ полчаса явился Прокопъ въ сопровожденіи иностранныхъ гостей, и засѣданіе началось.

Первое засѣданіе прошло шумно и весело. Члены живо разобрали между собой подлежащіе разработкѣ предметы и организовались въ отдѣленія; затѣмъ опредѣленъ былъ порядокъ засѣданій (число послѣднихъ ограничено семью). Въ заключеніе Энгель очень пріятно изумилъ, выпивъ бутылку пива и сказавъ по-русски:

— Ишò одна бутилкъ!

На что Фарръ очень мѣтко и любезно рипостировалъ:

— И мене ишò одинъ румкъ!

Организовавшись какъ слѣдуетъ, мы заключили нашъ avantcongrès, съѣвши по порціи ботвиньи и по порціи поросенка. При этомъ Прокопъ очень любезно извинился, что на сей разъ, по множеству другихъ организаторскихъ занятій, ѣда ограничивается только двумя блюдами, а Левассёръ чрезвычайно польстилъ нашему національному самолюбію, сказавъ:

— Mais non! mais pas du tout! mais donnez-moi tous les jours du parasseune—et vous ne m'entendrez jamais dire: assez!

Мы встали изъ-за стола сытые и довольно пьяные, постановивъ на прощаніе:

1) Ни къ какимъ издержкамъ по устройству закусокъ и обѣдовъ иностранныхъ гостей не привлекать.

2) Интернировать иностранныхъ гостей въ chambres garnies на Мѣщанской, съ предоставленіемъ имъ ежедневно по полпорціи чаю или кофею утромъ и по стольку же вечеромъ, а издержки на этотъ предметъ отнести на счетъ делегатовъ отъ градовъ, весей и клубовъ.

3) Завтрашній день начать осмотромъ Казанскаго собора,

затѣмъ вновь собраться къ Шухардину, гдѣ, послѣ засѣданія, имѣетъ быть обѣденный столъ (menu: селянка московская, подовые пироги, осетрина по-русски, грибы въ сметанѣ, жареный поросенокъ съ кашей и малина со сливками). Послѣ обѣда—катанье на извозчикахъ.

Дорогой, пока мы шли съ Прокопомъ домой, онъ былъ въ такомъ энтузіазмѣ, что мнѣ большого труда стоило усовѣстить его.

— Да, братъ, эти будутъ почище братьевъ-славянъ!—говорилъ онъ:—замѣтилъ ли ты, какъ этотъ бестія Левассёръ: «la république, говоритъ, il n'y a que ça!» Я такъ и остолбенѣлъ!

— А знаешь ли, какая мнѣ мысль пришла въ голову: какъ только всѣ дѣла здѣсь прикончимъ, покажемъ-ка мы иностраннымъ гостямъ Москву!

— А что ты думаешь! вѣдь слѣдуетъ!

— Еще бы! Ну, разумѣется, экстренный train на нашъ счетъ; въ Москвѣ каждому гостю номеръ въ гостиницѣ и извозчикъ; первый день—къ Иверской, оттуда на политехническую выставку, а обѣдать къ Гурину; второй день—обѣдня у Василія Блаженнаго и обѣдъ у Тѣстова; третій день—осмотръ Грановитой палаты и обѣдъ въ Новотроицкомъ. А потомъ экстренный train къ Троицѣ, въ Хотьковъ... Пѣніе-то какое, мой другъ! Покойница-тетенька недаромъ говаривала: «ужъ и не знаю, говоритъ, на землѣ ли я или на небесахъ!» Надо имъ все это показать!

— Безподобно! То-то я давеча сижу и думаю, что чего-то недостаетъ! Анъ вонъ оно что: въ Москву!

— Ты одно то подумай: здѣшніе ли поросята или московскіе!

— Гдѣ ужъ здѣшнимъ!

— Или опять осетрина! Ну, гдѣ-жъ ты здѣсь такой осетрины достанешь, чтобы цѣлое звено—сплошь все жиръ!

— Сказано, въ Москву—и дѣло съ концомъ!

На другой день мы всѣ, кромѣ Марка Волохова, собрались въ Казанскій соборъ. При чемъ я не безъ удивленія замѣтилъ, что Левассёръ очень отчетливо положилъ три земныхъ поклона и приложился къ иконѣ.

— Смотри-ка! Левассёръ-то! по-нашему молится!—толкнулъ меня въ бокъ Прокопъ:—et vous... comme nous?—прибавилъ онъ, обращаясь къ гостю.

Но удивленію нашему уже совсѣмъ не стало предѣловъ, когда Левассёръ (вѣроятно, застигнутый врасплохъ) совер-

шенно чисто по-русски отвѣтилъ:—Да-съ, моя маменька отъ этой иконы въ молодости исцѣленіе получила...

Но вслѣдъ затѣмъ онъ вдругъ спохватился, хлопнулъ себя по ляжкѣ и залопоталъ:

— Ah! sapristi! je crois qu'à force d'entendre parler russe, je commence moi-même à parler cette langue comme ma langue maternelle! Mais oui, messieurs! Mais comment donc! Ah! fichtre... prosternons-nous! Adorons, ventre de biche! la tolérance en matière de religion... tolerenzia et prudenzia... je ne vous dis que ça!

И представьте себѣ, какъ ни грубъ былъ этотъ фактъ самоуличенія, но даже онъ не открылъ нашихъ глазъ: до такой степени мы были полны сознаніемъ, что и мы не лыкомъ шиты!

Второе засѣданіе началось съ объявленія Кеттлѐ, что онъ пятьдесятъ лѣтъ занимается статистикой и нигдѣ не встрѣчалъ такого горячаго сочувствія къ этой наукѣ, какъ въ Россіи. «Поэтому,—присовокупилъ онъ любезно:—я просто прихожу къ заключенію, что Россія есть настоящее мѣсторожденіе статистики...»

— Messieurs! un verre de champagne! Милости просимъ! Человѣкъ! шампанскаго! Господинъ Кеттлѐ! ваше здоровье! Votre santé! Vous acceptez, n'est-ce-pas? Du champagne!!

— Mais j'en prendrai avec plaisir,—скромно отвѣчалъ маститый старецъ, но скромность эта была такъ полна чувства собственнаго достоинства, что мы сразу поняли, что не мы почтили старца, но старецъ почтилъ насъ.

Когда бокалы были осушены, всталъ Фарръ и вынулъ изъ бокового кармана листъ разграфленной бумаги. Этотъ листъ онъ показалъ всѣмъ делегатамъ и объяснилъ, что такова форма для производства народной переписи, доставшаяся VIII-му международному конгрессу въ наслѣдіе отъ таковаго-жъ, имѣвшаго свое мѣстопребываніе въ Гаагѣ. Но въ формѣ этой онъ, Фарръ, замѣчаетъ однако-жъ одинъ очень важный недостатокъ, заключающійся въ томъ, что, при исчисленіи народонаселенія по занятіямъ и ремесламъ, въ ней опущенъ довольно многочисленный классъ людей, извѣстный подъ именемъ «шпіоновъ».

Я взглянулъ на Прокопа: онъ совершенно посоловѣлъ и дико озирался. Къ счастью, половые куда-то разошлись, такъ что онъ скоро оправился и довольно спокойно произнесъ:

— Съ своей стороны я полагалъ бы этотъ непріятный разговоръ оставить. Неужто, господа, у васъ за границей и разговоровъ другихъ нѣтъ!

И онъ уже предложилъ приступить къ слѣдующему по порядку предмету сужденій, какъ всталъ Левассёръ и по существу рѣшилъ дѣло въ пользу Прокопа.

— Messieurs,—сказалъ онъ:—l'espionnage a été reconnu de tous temps comme l'un des plus vifs stimulants de la vie politique. Déjà l'antique Jéroboam promettait des scorpions à ses peuples, ce qui, traduit en langue vulgaire, ne saurait signifier autre chose qu'espions. Ensuite, nous trouvons dans Aristophane des preuves irrécusables que les grecs ne connaissaient que trop ce moyen gouvernemental et qu'ils donnèrent aux espions le surnom sonore des sycophantes. Mais c'est aux césars de l'antique Rome que la science de l'espionnage est redevable de son plus grand développement. Au dire de Tacite, du temps de Néron, de Caligula et autres il n'y avait presque pas un seul homme dans tout l'Empire qui ne fût espion ou ne désirât de l'être. Ces majéstueux romains, qui ne commencaient pas autrement leurs blagues qu'en disant: «civis Romanus sum», se sont fait au métier de l'espionnage comme s'ils étaient les plus majéstueux des chenapans. Enfin, notre belle France est là pour attester que l'espionnage n'est jamais de trop dans un pays dont la vie politique est à son apogée. Chez nous, messieurs, presque tout le monde s'entre-espionne, ce qui n'empêche pas la vie sociale d'aller son train. La solidarité de l'espionnage fait qu'on n'en ressent presque pas l'inconvénient. Voici l'historique de ce phénomène social qui porte le nom malsonnant de l'espionnage. Mais si nous constatons ici les résultats pratiques du métier, nous devons en même temps constater que jamais ces résultats ne pourraient être ni si grands, ni si accomplis, si les espions s'avisaient d'agir ouvertement... là, le cœur sur la main! Oui, messieurs, c'est une occupation qui ne saurait être pratiquée que sous le voile du plus grand mystère! Otez le mystère—et adieu l'espionnage! Il n'est plus—et avec lui tombe tout le préstige de la vie politique. Point d'espionnage—point d'accusations, point de procès, point de proscriptions! La vie politique reste, pour ainsi dire, en suspens. Tout passe, tout tombe, tout s'évanouit. Voilà pourquoi je ne partage pas l'opinion, exprimée par mon honorable collègue, M-r Farr. Je comprends très-bien sa pensée: il est par trop champion de la statistique pour ne pas gémir en voyant que cette science conserve encore des points inexpliqués et obscurs. Mais Dieu, dans

sa divine sagesse, en a jugé autrement. Il a voulu que la statistique conserve à jamais quelques points inachevés pour que nous autres, humbles travailleurs de la science, ayons toujours quelque chose à éclaircir ou à achever. Aussi je conclus, en disant: messieurs! nous avons toute une rubrique, où se classent les chenapans et autres gens sans foi ni loi! Cette rubrique n'est-elle pas assez large pour que les espions y trouvent leur place naturelle? Oh, messieurs, classons les y hardiment et puis disons leurs: allez, gens sans aveu, et faites votre vil métier! la statistique ne veut pas vous connaître!

Рѣчь эта произвела эффектъ необычайный. Крики «bravo! vive la France!» (Прокопъ по обыкновенію ошибся и крикнулъ: «vive Henri IV»!) неслись со всѣхъ сторонъ. Сейчасъ же всѣ побѣжали къ закусочному столу и буквально осадили его.

— Je crois que ça s'appelle lassassine? «Lassassine» et «parasseune» —il faut que je me souvienne de ça!—сказалъ Левассёръ, держа на вилкѣ кусокъ маринованной лососины.

— Oh, mangez, messieurs!—упрашивалъ какой-то делегатъ (кажется, ветлужскій):—человѣкъ! лососины принесите! пожалуйста, mangez!

Засѣданіе кончилось; начался обѣдъ.

Никогда я не ѣдалъ такихъ роскошныхъ подовыхъ пироговъ, какъ въ этотъ достопамятный день. Они были съ говядиной, съ яйцами и еще съ какою-то дрянью, въ которой, впрочемъ, и заключалась вся суть. Румяные, пухлые, они таяли во рту и совершенно незамѣтно проходили въ желудокъ. Фарръ съѣлъ разомъ два пирога, а третій завернулъ въ бумажку, сказавъ, что отошлетъ съ попутчикомъ въ Лондонъ къ женѣ.

— La Russie—voilà où est la véritable patrie de la statistique!—въ экстазѣ повторилъ Кеттлѐ.

Послѣ обѣда—ѣзда на извозчикахъ, а окончаніе дня въ «Эльдорадо».

— C'est ici que le sort du malheureux von-Zonn a été decidé! ah, soyons sur nos gardes!—вздохнулъ Левассёръ, что̀ не помѣшало ему сдѣлать честь двумъ дѣвицамъ, предложивъ имъ по рюмкѣ коньяку.

На третій день—осмотръ Исакіевскаго собора, засѣданіе у Шухардина и обѣдъ тамъ же (menu: супъ съ потрохами, бараній бокъ съ кашей, жареные каплуны и малиновый дутикъ со сливками); послѣ обѣда—катанье на яликахъ по Невѣ.

Исакіевскій соборъ произвелъ на гостей самое пріятное впечатлѣніе.

— C'est fort, c'est solide, c'est riche, c'est ébourrifant!— безпрестанно повторялъ Левассёръ:—et ça doit couter un argent fou!

Кеттлѐ же до того умилился духомъ, что произнесъ:

— Ah! si je n'étais pas catholique romain, je voudrais être catholique grec!

На что Прокопъ, который съ нѣкотораго времени получилъ настоящую манію приглашать иновѣрцевъ къ познанію свѣта истинной вѣры, поспѣшилъ замѣтить:

— А что̀ же, ваше превосходительство! съ легкой бы руки!

Засѣданіе началось чтеніемъ доклада делегата отъ тульско-курско-ростовскаго клуба, по отдѣленію нравственной статистики, о томъ, чтобы въ вѣдомость, утвержденную собиравшимся въ Гаагѣ конгрессомъ, о числѣ и родѣ преступленій была прибавлена новая графа для включенія въ нее такъ-называемыхъ «жуликовъ» (jouliks).

— Jouliks! je ne comprends pas ce mot,—съ свойственною ему меридіональною живостью протестуетъ Левассёръ.

— Ce n'est précisement ni un voleur, ni un escroc; c'est un individu qui tient de l'un et l'autre. A Moscou vous verrez cela, messieurs,—объясняетъ докладчикъ.

Встаетъ Фарръ и опять дѣлаетъ скандалъ. Онъ утверждаетъ, что замѣтилъ на континентѣ особенный видъ проступковъ, заключающійся въ раскрытіи чужихъ писемъ. «Не далѣе какъ недѣлю тому назадъ, будучи въ Парижѣ,— присовокупляетъ онъ:—я получилъ письмо отъ жены, видимо подпечатанное». Поэтому онъ требуетъ прибавки еще новой графы.

Тетюшскій делегатъ поднимается съ своего мѣста и возражаетъ, что это неудобно.

— Why?—вопрошаетъ Фарръ.

— Неудобно—и все тутъ, и разговаривать нечего. За такіе вопросы нашего брата въ кутузку сажаютъ!

— Shocking!—восклицаетъ Фарръ.

Тогда требуетъ слова Левассёръ.

— Pardon! si je comprends la pensée de monsieur,—начинаетъ онъ, указывая на тетюшскаго делегата:—elle peut être formulée ainsi: oui, le secret des lettres particulières est inviolable (bravo! bravo! oui! oui! inviolable!)—c'est la règle générale; mais il est des raisons de bonne politique, qui nous forcent quelquefois la main et nous obligent

d'admettre des exceptions même aux règles que nous reconnaissons tous pour justes et irréprochables. C'est triste, messieurs, mais c'est vrai. Envisagée sous ce point de vue, la violation du secret des lettres particulières se présente à nous comme un fait de haute convenance, qui n'a rien de commun avec le crime ou la contravention. L'Angleterre, grâce à sa position insulaire, ignore beaucoup de phénomènes sociaux, qui sont non seulement tolérés par le droit coutumier du continent, mais qui en font pour ainsi dire partie. Ce qui est crime ou contravention en Angleterre, peut devenir une excellente mesure de salut public sur le continent. Aussi, je vote avec m-r de Tétiousch pour l'ordre du jour pur et simple.

— Bravo! Ура! Человѣкъ! шампанскаго! Мосье Левассёръ! Votre santé!

Не успѣли выпить за здоровье Левассёра, какъ Прокопъ вновь потребовалъ шампанскаго и провозгласилъ здоровье Фарра.

— Сознайтесь, господинъ Фарръ, что вы согрѣшили немножко!—привѣтствовалъ онъ англійскаго делегата съ бокаломъ въ рукахъ:—потому что вѣдь ежели Англія, благодаря инсулярному положенію, имѣетъ многія инсулярныя добродѣтели, такъ вѣдь и инсулярныхъ пороковъ у нея не мало! Жадность-то ваша къ деньгамъ въ пословицу вѣдь вошла! А? такъ, что ли? Господа! выпьемъ за здоровье нашего сотоварища, почтеннѣйшаго делегата Англіи.

Разумѣется, суровый англичанинъ успокоился и выпилъ разомъ два стакана.

Но за обѣдомъ случился скандалъ почище: бараній бокъ до такой степени вонялъ саломъ, что ни у кого не хватило смѣлости объяснить это даже особенностями національной кухни. Хотя же поданные затѣмъ каплуны были зажарены божественно, тѣмъ не менѣе конгрессъ единогласно порѣшилъ: съ завтрашняго дня перенести засѣданія въ Малоярославецкій трактиръ.

Четвертый день—осмотръ Петропавловскаго собора, засѣданіе и обѣдъ въ Малоярославецкомъ трактирѣ (menu: ботвинья съ малосольной севрюжиной, поросенокъ подъ хрѣномъ и сметаной, жареныя утки и гурьевская каша); послѣ обѣда—прогулка пѣшкомъ по Марсову полю.

Петропавловскимъ соборомъ иностранные гости остались довольны, но видимо спѣшили кончить осмотръ его, такъ какъ Фарръ, указывая на крѣпостныя стѣны, сказалъ:

— Въ сей мѣстности воздухъ есть нездоровъ!

На что, впрочемъ, Прокопъ тутъ же нашелся возразить:

— Для тѣхъ, господинъ Фарръ, у кого чисто сердце,— воздухъ вездѣ здоровъ!

Въ четвертомъ засѣданіи я докладывалъ свою карту, надъ которой работалъ двѣ ночи сряду (Богъ помогъ мнѣ совершить этотъ трудъ безъ всякихъ пособій!) и по которой нагляднымъ образомъ можно было ознакомиться съ положеніемъ трактирной и кабацкой промышленности въ Россіи. Сердце Россіи, Москва, было, comme de raison, покрыто самымъ густымъ слоемъ ярко-красной краски; отъ этого центра въ видѣ радіусовъ шли другія губерніи, постепенно блѣднѣя и блѣднѣя по мѣрѣ приближенія къ окраинамъ. Такъ что Новая Земля только отъ острова Колгуева заимствовала слабый блѣдно-розовый отблескъ. Въ заключеніе я потребовалъ, чтобы подобныя же карты были изданы и для другихъ странъ, такъ чтобы можно было сразу видѣть, гдѣ всего удобнѣе напиться.

— Ah, mais savez-vous que c'est bigrement serieux, le travail que vous nous presentez là!—воскликнулъ Левассёръ, разсматривая мою карту.

— Prachtvoll!—одобрилъ Энгель.

— Beautiful!—присовокупилъ Фарръ.

— Benissime!—проурчалъ Корренти.

— Et remarquez bien que monsieur n'a employé que deux nuits pour commencer et achever ce beau travail!— отозвался Кеттлѐ, который передъ тѣмъ пошептался съ Прокопомъ.

— Двѣ ночи—это вѣрно!—подтвердилъ Прокопъ:—и безъ всякаго руководства! Просто, взялъ листъ бумаги и съ Божьею помощью начертилъ!

Тогда всѣ бросились меня обнимать и цѣловать, что̀ подъ конецъ сдѣлалось для меня даже обременительнымъ, потому что делегаты вздумали качать меня на рукахъ и чуть-чуть не уронили на полъ. Тѣмъ временемъ наступилъ адмиральскій часъ; Прокопъ на̀скоро произнесъ: «господа, милости просимъ хлѣба-соли откушать!» и повелъ насъ въ столовую, гдѣ прежде всего нашимъ взорамъ представилась севрюжина... но какая это была севрюжина!

— Вотъ такъ севрюжина!—совершенно чисто произнесъ по-русски Кеттлѐ.

Но—увы!—насъ и на этотъ разъ не вразумило это болѣе нежели странное восклицаніе иностраннаго гостя. До того

наши сердца были переполнены ликованіемъ, что мы не лыкомъ шиты!

Послѣ обѣда, во время прогулки по Марсову полю, Левассёръ, ни съ того, ни съ сего, вступилъ со мной въ очень неловкій дружескій разговоръ. Во-первыхъ, онъ напрямикъ объявилъ, что ненавидитъ войну по принципу, и что самый видъ Марсова поля дѣйствуетъ на него непріятно.

— А мы, — отвѣтилъ я довольно сухо: — мы гордимся этимъ полемъ.

— Oui, je comprends ça! la fierté nationale—nous autres, français, nous en savons quelque chose! Mais, quant à moi—je vous avoue que ça me porte sur les nerfs!

Во-вторыхъ, постепенно раскрывая передо мной свою душу, онъ признался, что всегда былъ сторонникомъ парижской коммуны и даже участвовалъ въ разграбленіи дома Тьера.

— Ma femme est une petrcleuse—je ne vous dis que ça!—прибавилъ онъ грустно.

Въ-третьихъ, онъ изъявилъ опасеніе, что за нимъ слѣдятъ; что клевета и зависть преслѣдуютъ его даже въ снѣгахъ Россіи; что вотъ этотъ самый Фарръ, который такъ искусно притворяется англичаниномъ, есть не что иное, какъ агентъ Тьера, которому нарочно поручено гласно возбуждать вопросы о шпіонахъ, а между тѣмъ подъ рукой требовать выдачи его, Левассёра. Въ заключеніе онъ просилъ меня посмотрѣть по сторонамъ и удостовѣриться, нѣтъ ли по близости полицейскаго.

Я въ смущеніи исполнилъ его просьбу; но такъ какъ мы стояли на самой серединѣ поля, и притомъ начало уже смеркаться, то полицейскіе представлялись разсѣянными по окраинамъ въ видѣ блудящихъ огоньковъ. Тѣмъ не менѣе я поспѣшилъ успокоить моего новаго друга и завѣрить его, что и я и Прокопъ сдѣлаемъ все зависящее...

— Ah! quant à vous—vous avez l'âme sensible—je le vois, je le sens, j'en suis sûr! Mais quant à monsieur votre ami—permettez-moi d'en douter!—воскликнулъ онъ, съ жаромъ сжимая мою руку.

Къ сожалѣнію, я долженъ былъ умолкнуть передъ замѣчаніемъ Левассёра, потому что, говоря по совѣсти, и самъ въ точности не зналъ, есть ли у Прокопа какая-нибудь душа. Чортъ его знаетъ! можетъ-быть, у него только фуражка съ краснымъ околышемъ—вотъ и душа!

Во всякомъ случаѣ признанія Левассёра произвели на меня самое тяжелое впечатлѣніе. Коммуналистъ! жена петролейщица! И чортъ его за языкъ дергалъ соваться ко мнѣ съ своими признаніями! Поэтому первымъ моимъ движеніемъ было убѣдить его познать свои заблужденія, и я бойко и горячо принялся за выполненіе этой задачи, какъ вдругъ, среди самаго разгара моего краснорѣчія, онъ зашатался, зашатался и разомъ рухнулся на песокъ! Тутъ только я догадался, что онъ пьянъ въ послѣднемъ градусѣ, и что слѣдовательно всѣ его признанія были не что иное, какъ слѣдствіе привычки блягировать, столь свойственной его соотечественникамъ! Признаюсь, даже открытіе Америки не подѣйствовало бы на меня такъ благотворно, какъ эта неожиданная развязка, разомъ выведшая меня изъ затруднительнѣйшаго положенія!

Пятый день—осмотръ домика Петра Великаго; засѣданіе и обѣдъ въ Малоярославецкомъ трактирѣ (menu: суточныя щи и къ нимъ няня, свиныя котлеты, жаркое—теленокъ, поеный однѣми сливками, вмѣсто пирожнаго—калужское тѣсто). Послѣ обѣда каждый удаляется во-свояси и ложится спать. Я нарочно настоялъ, чтобъ въ ordre du jour было включено спанье, потому что опасался новыхъ признаній со стороны Левассёра. Шутъ его разберетъ, вретъ онъ или не вретъ! А вдругъ спьяна ляпнетъ, что изъ Тьерова дома табакерку унесъ!

Осмотръ домика великаго преобразователя Россіи удался великолѣпно. Левассёръ о вчерашнемъ разговорѣ на Марсовомъ полѣ ни полслова. Напротивъ того, пришелъ какъ встрепанный и сейчасъ же воскликнулъ:

— C'en était un de tzar! fichtre, quel genre!

— Das war ein Tzar!—глубокомысленно отозвался Энгель.

— Tzarissimo, magnissimo! — чортъ знаетъ на какомъ языкѣ формулировалъ свое удивленіе Корренти.

Старичокъ Кеттлѐ нѣкоторое время стоялъ задумчиво, опершись на трость. Наконецъ онъ взволнованнымъ голосомъ замѣтилъ, что и душѣ Петра была не чужда статистика.

Тогда выступилъ впередъ мой другъ Берсеневъ (изъ «Наканунѣ») и сказалъ:

— Позвольте мнѣ напомнить вамъ, милостивые государи, слова о Петрѣ Великомъ, сказанныя однимъ изъ незабвенныхъ учителей моей юности, которыя будутъ здѣсь какъ нельзя болѣе у мѣста. Вотъ эти слова: «Но великій чело-

вѣкъ не пріобщился нашимъ слабостямъ! Онъ не зналъ, что мы и плоть и кровь! Онъ былъ великъ и силенъ, а мы родились малы и худы, намъ нужны были общіе уставы человѣчества!» Я сказалъ, господа *).

Этимъ осмотръ кончился при громкомъ одобреніи присутствующихъ.

Пятое засѣданіе было посвящено вреднымъ звѣрямъ и насѣкомымъ. Делегатъ отъ Миргородскаго уѣзда, Иванъ Ивановичъ Перерепенко, прочиталъ докладъ о тушканчикахъ и въ виду *особеннаго*, производимаго ими, вреда требовалъ, чтобъ этимъ животнымъ была отведена въ статистикѣ отдѣльная графа.

Давно я не слыхалъ такой блестящей импровизаціи. Тушканчикъ стоялъ передо мной какъ живой. Я видѣлъ его въ норѣ, окруженнаго безчисленнымъ и вреднымъ семействомъ; я видѣлъ его выползающимъ изъ норы, стоящимъ нѣкоторое время на заднихъ лапкахъ и *вредно* озирающимся; наконецъ я видѣлъ его наносящимъ *особенный* вредъ нашимъ полямъ и поучающимъ тому же вредныхъ членовъ своего семейства. Это было нѣчто поразительное.

Но чему я былъ радъ несказанно—это случаю видѣть маститаго Перерепенко, о которомъ я такъ много слышалъ отъ Гоголя. О, Боже! какъ онъ постарѣлъ, осунулся, побѣлѣлъ, хотя, повидимому, все еще былъ бодръ и всегда готовъ спросить: «а можетъ, тебѣ и мяса, небога, хочется?»

— Ну, что, какъ ваше дѣло съ Иваномъ Никифоровичемъ?—спросилъ я его.

Старикъ грустно махнулъ рукой.

— Ужели не кончено?

— На-дняхъ будетъ въ третій разъ слушаться въ кассаціонномъ департаментѣ!—отвѣтилъ онъ угрюмо.

— Великій Боже!

— Сначала слушали въ полтавскомъ окружномъ судѣ—кассацію подалъ я; потомъ перенесли въ черниговскій судъ—кассировалъ Довгочхунъ. Потомъ дѣло перенесли въ Харьковъ—опять кассирую я...

Онъ на минуту поникъ головой.

— Я уже не говорю о безпокойствахъ,—произнесъ онъ со слезами въ голосѣ:—но все мое состояніе... все состояніе пошло... туда! Вы знаете, какія у меня были дыни?

*) Рѣчь, сказанная профессоромъ Морошкинымъ на актѣ московскаго университета «Объ Уложеніи и его дальнѣйшемъ развитіи».

Примѣч. автора «Дневника».

— И что-жъ?

— Ни въ прошломъ году, ни въ нынѣшнемъ я не съѣлъ ни одной! Все съѣли адвокаты, хоть урожай былъ отличнѣйшій! Чтобы не умереть съ голоду, я вынужденъ писать газетныя корреспонденціи по полторы копейки за строчку. Но и тамъ урѣзываютъ!

— Ба! такъ это ваша корреспонденція, которая начинается словами: «Хотя нашъ Миргородъ въ сравненіи съ Гадячемъ или Конотопомъ можетъ быть названъ столицею, но ежели кто видѣлъ Пирятинъ...»?

Иванъ Ивановичъ съ чувствомъ пожалъ мнѣ руку.

— Что̀-жъ вы однако предполагаете дѣлать съ вашимъ процессомъ?

— Вѣроятно, его переведутъ теперь на Изюмъ; но ежели и изюмскій судъ откажетъ мнѣ въ удовлетвореніи, тогда надобно будетъ опять подавать на кассацію и просить о переводѣ дѣла въ Сумы... Но я не отступлю!

Иванъ Ивановичъ такъ сверкнулъ глазами, что я совершенно ясно понялъ, что онъ не отступитъ. Онъ и Неуважай-Корыто. Они не отступятъ. Они пойдутъ и въ Сумы, и въ Острогожскъ, и когда-нибудь да упекутъ Довгочхуна— это вѣрно.

Между тѣмъ какъ мы дружески бесѣдовали, на конгрессѣ поднялся дымъ коромысломъ. Виновникомъ скандала былъ все тотъ же несносный англичанинъ Фарръ, внесшій одно изъ самыхъ эксцентричныхъ предложеній, какого можно было только ожидать. Предложеніе это приблизительно можно было формулировать слѣдующимъ образомъ: «Тушканчики—это прекрасно; и такъ какъ вредъ, ими производимый, дѣйствительно имѣетъ свойства вреда *особеннаго*, то нѣтъ ничего справедливѣе, какъ отвести имъ и графу *особенную*. Надо, чтобъ каждый зналъ силу врага, съ которымъ имѣетъ дѣло, а кому же, какъ не статистикѣ, оказать человѣческую услугу приведеніемъ въ ясность всѣхъ золъ, его удручающихъ? Но не одни тушканчики производятъ *особенный* вредъ; онъ, Фарръ, знаетъ иной *особенный* вредъ, гораздо болѣе сильный, о которомъ статистика не упоминаетъ вовсе, а именно: вредъ, наносимый неправильными административными распоряженіями. Въ виду несомнѣнной важности и особенности этого вреда, не слѣдуетъ ли и для него отвести особенную графу, которая слѣдовала бы непосредственно за графой о тушканчикахъ?»

Едва произнесъ Фарръ свою рѣчь, какъ Левассёръ не

выдержалъ. Весь блѣдный, онъ вскочилъ съ своего мѣста и сказалъ:

— Тѣ, которые такъ упорно инсинуируютъ здѣсь противъ правительствъ, гораздо лучше сдѣлали бы, если бы внесли предложеніе о вредѣ, наносимомъ переодѣтыми членами интернаціоналки!

— А еще полезнѣе было бы, — хладнокровно возразилъ Фарръ:—привести въ ясность вредъ, производимый переодѣтыми петролейщиками.

Я до сихъ поръ не могу себѣ объяснить тайны соперничества, постоянно высказывавшагося между Фарромъ и Левассёромъ. Быть-можетъ, оба они когда-нибудь служили агентами сыскной полиціи, и поэтому между ними существовала застарѣлая вражда. Смятеніе, которое произвелъ этотъ «разговоръ», было несказанно. Всѣ делегаты заговорили разомъ. Старикъ Кеттлѐ всталъ съ мѣста и простеръ руки въ знакъ мира и любви. Энгель язвительно посматривалъ на «разговаривающихъ» и шепталъ: «a!so nun!», какъ бы ожидая, что вотъ сейчасъ подадутъ шампанскаго. Корренти равнодушно напѣвалъ изъ «Piiferaro»:

Evviva la Franzia!
Evviva la libertà!

Но настоящимъ миротворцемъ явился Прокопъ!

— Господа! — обратился онъ къ спорящимъ: — прекратите! Пожалуйста, хоть для меня прекратите! Право, мы здѣсь не для пререканій! Мы всегда рады иностраннымъ гостямъ и повеземъ васъ въ Москву, и даже въ Нижній, только ужъ и вы, господа, эти ссоры оставьте! Мы дѣлаемъ вамъ удовольствіе — и вы насъ почтите. Вы, господинъ Фарръ, постоянно задираете. Характеръ у васъ самый несносный. Вы поднимаете такіе вопросы, что если-бъ не уваженіе къ иностраннымъ гостямъ, то васъ давно ужъ слѣдовало бы отправить къ мировому. Скажите, развѣ это пріятно? Вы, можетъ-быть, думаете, что вы въ Англіи,— анъ нѣтъ, вы ошибаетесь, вы въ Россіи! У насъ нѣтъ никакого инсулярнаго положенія, а потому мы ведемъ свою статистику на свой образецъ, какъ Богъ пошлетъ. Вотъ онъ *(указываетъ на меня)* сочинилъ карту питейныхъ домовъ—чего еще больше! Стыдитесь, сударь! Да и вы, господинъ Левассёръ!! вы тоже! добрый вы малый, а вѣдь ахъ какъ и въ васъ эта французская жилка играетъ! Вотъ господинъ Энгель! сидитъ и молчитъ—чего лучше! Оттого-

то нѣмцы васъ и побиваютъ! А вы—чуть что̀ не по васъ—сейчасъ и вспыхнули! Порохъ! Подайте же другъ другу руки и не ссорьтесь больше. Стыдно! не маленькіе. Намъ еще трудовъ по горло, завтра ужъ шестое засѣданіе, а вы словно пѣтухи какіе! Человѣкъ! шампанскаго!

Левассёръ первый и съ удивительнѣйшею развязностью протянулъ руку; но Фарръ упирался. Тогда мы начали толкать его впередъ и кончили, разумѣется, тѣмъ, что враги столкнулись. Произошло примиреніе, начались заздравные тосты, поднялся говоръ, смѣхъ—какъ будто никакихъ прискорбныхъ столкновеній и въ поминѣ не было. Среди этой суматохи я вдругъ вспомнилъ, что на нашемъ пирѣ науки нѣтъ японцевъ.

— Господа!—сказалъ я:—изъ газетъ достовѣрно извѣстно, что японцы уже прибыли. Поэтому странно, чтобъ не сказать болѣе, что этихъ иностранныхъ гостей нѣтъ между нами. Я положительно требую отвѣта: отчего нѣтъ японцевъ на роскошномъ пирѣ статистики?

Но увы! упущеніе было уже сдѣлано, а потому конгрессъ положилъ: «по поводу отсутствія господъ японцевъ выразить искреннее («искреннѣйшее! искреннѣйшее!»—вопили со всѣхъ сторонъ делегаты) сожалѣніе, поручивъ гг. Веретьеву и Кирсанову добыть японскихъ гостей и доставить ихъ къ слѣдующему засѣданію».

Затѣмъ пробилъ адмиральскій часъ, мы бросились къ накрытымъ столамъ, и—клянусь честью!—никогда калужское тѣсто не казалось мнѣ столь вкуснымъ, какъ въ этотъ достопамятный день!

Шестой день: осмотръ сфинксовъ, засѣданіе и обѣдъ въ Малоярославецкомъ трактирѣ (menu: стерляжья уха съ подовыми пирогами; солонина подъ хрѣномъ; гусь съ капустой; клюквенный кисель съ сытою). Послѣ обѣда—мытье въ Воронинскихъ баняхъ.

Осмотръ сфинксовъ прошелъ довольно холодно, быть-можетъ, потому, что предстоявшее засѣданіе слишкомъ живо затрогивало личные интересы конгрессистовъ. Въ этомъ засѣданіи предстояло окончательно рѣшить вопросъ объ учрежденіи постоянной комиссіи, то-есть опредѣлить, какія откроются по этому случаю новыя мѣста, и на кого падетъ жребій замѣстить ихъ. Но естественно, что коль скоро выступаютъ на сцену подобные жгучіе вопросы, то преній по поводу ихъ слѣдуетъ ожидать оживленныхъ и даже бурныхъ.

Но Прокопъ предусмотрѣлъ это, и потому еще не успѣли приступить къ преніямъ, какъ онъ уже распорядился поднести всѣмъ членамъ конгресса по большой рюмкѣ водки. Повидимому, одна, хоть и большая, рюмка едва ли могла бы достигнуть желаемыхъ результатовъ, но Прокопъ очень основательно разсчиталъ, что эта *одна* рюмка послужитъ только введеніемъ, за которымъ значительное число конгрессистовъ, уже motu proprio, потребуетъ по второй и по третьей. И разсчетъ его оказался вѣрнымъ. Едва засѣданіе было провозглашено открытымъ, какъ уже бо̀льшая часть бойцовъ очутилась внѣ боя. На аренѣ остались только самые упорные статистики или тѣ изъ конгрессистовъ, которые положили на водку зарокъ.

Засѣданіе открылось заявленіемъ Веретьева и Кирсанова, что принятыя ими мѣры къ отысканію японцевъ были безуспѣшны. Японцы дѣйствительно прибыли, и они даже напали на ихъ слѣдъ, но, какъ ни старались, ни разу не застали ихъ дома. Сколько могли они понять изъ объясненій прислуги, японскіе делегаты сами съ утра до вечера находятся въ тщетныхъ поискахъ за конгрессомъ; стало-быть, остается только констатировать эту безплодную игру въ жмурки, производимую во имя науки, и присовокупить, что она представляетъ одинъ изъ прискорбнѣйшихъ фактовъ нашей современности.

Опредѣлено: «Записать о семъ въ журналъ и еще разъ выразить искреннее сожалѣніе, что страна столь могущественная, дружественная и притомъ неуклонно стремящаяся къ возрожденію, не имѣла на конгрессѣ своего представителя».

Затѣмъ, не теряя времени, мы приступили къ голосованію параграфовъ «Положенія о постоянной статистической комиссіи», редактированнаго Прокопомъ по соглашенію съ Кеттлѐ.

— Mais il me semble, messieurs, que nous ne sommes pas en nombre!—замѣтилъ Левассёръ, указывая на простертыя по диванамъ тѣла нашихъ соконгрессистовъ.

— Ну, чего еще тутъ «en nombre»! Пожалуйста, Карлъ Иванычъ, не вмѣшивайся ты, ради Христа!

Откуда узналъ Прокопъ имя и отчество Левассёра? какимъ образомъ и когда сошелся онъ съ нимъ на «ты»? Изумительно!

— Господа! терять времени нечего! а то наши проспятся и загалдятъ! Параграфъ премѐь: «Для наблюденія за ра-

ботами гг. статистиковъ, въ отношеніи ихъ успѣшности и правильности, учреждается постоянная статистическая комиссія, съ тѣми же правами, которыя присвоены международному статистическому конгрессу на время его собраній...» Ладно, что ли?

— Прекрасно!—раздалось со всѣхъ сторонъ.

— Параграфъ сегонъ: «Постоянная сія комиссія имѣетъ мѣстопребываніе въ столичномъ городѣ С.-Петербургѣ, въ Малоярославецкомъ онаго трактирѣ...»

— Противъ этого параграфа я имѣю сдѣлать возраженіе,—заявилъ Кирсановъ.

— Покороче, сдѣлай милость!

— Я буду кратокъ: кушанье въ Малоярославецкомъ трактирѣ обходится такъ дорого...

— Да гдѣ же ты въ другомъ мѣстѣ такихъ поросятъ найдешь?

— Я не говорю, что поросята дурны, но я утверждаю, что въ случаѣ необходимости можно удовольствоваться и не столь жирными поросятами. Вспомните, господа, что членами комиссіи могутъ быть люди семейные, для которыхъ далеко не безразлично, платить ли за порцію восемь гривенъ или тридцать копеекъ. А между тѣмъ я знаю на углу Садовой и Вознесенскаго трактирчикъ г-жи Васильевой, гдѣ, во-первыхъ, помѣщеніе очень приличное, во-вторыхъ, кушанье подается не дорогое и вкусное, и въ-третьихъ, прислугѣ строго воспрещено произносить при гостяхъ ругательныя слова! Поэтому я и полагалъ бы...

— Ну, къ Васильевой, такъ къ Васильевой! не мнѣ придется дохлятину-то ѣсть! Я, братъ, завтра взялъ шапку, да и былъ таковъ! Параграфъ троазіемъ, господа: «Въ составъ комиссіи входятъ по одному представителю отъ каждой изъ пяти первостепенныхъ державъ, съ жалованьемъ по шести тысячъ рублей въ годъ; второстепенныя державы посылаютъ въ складчину по одному представителю отъ каждыхъ двухъ государствъ, съ жалованьемъ по мѣрѣ средствъ. На канцелярскіе расходы ассигнуется по десяти тысячъ рублей въ годъ, каковой расходъ относится на счетъ патентнаго сбора съ вольнопрактикующихъ статистиковъ».

Корренти всталъ и довольно нагло потребовалъ принять Италію въ число первостепенныхъ государствъ. «Съ тѣхъ поръ,—говорилъ онъ:—какъ Римъ сдѣлался нашей столицей, непростительно даже сомнѣваться, что Италія призвана

быть рѣшительницей судебъ міра». Но Прокопъ сразу осадилъ дерзкаго пришельца.

— Ну, братъ, это еще Улита ѣдетъ, когда-то будетъ!— сказалъ онъ ему и этимъ мѣткимъ замѣчаніемъ увлекъ за собой все собраніе. Параграфъ 3-й былъ принятъ огромнымъ большинствомъ.

— Параграѣфъ катріѐмъ е дерньѐ: «Постоянная комиссія имѣетъ главный надзоръ за статистикой во всѣхъ странахъ міра. Она поощряетъ прилежныхъ и исправныхъ статистиковъ, нерадивыхъ же подвергаетъ надлежащимъ взысканіямъ. Сверхъ того, высшимъ мѣстамъ и учрежденіямъ она пишетъ доношенія и рапорты; съ равными мѣстами сносится посредствомъ отношеній; статистикамъ, получающимъ отъ казны содержаніе, даетъ предложенія, статистикамъ вольнопрактикующимъ посылаетъ указы и предписанія».

Но не успѣли мы приступить къ голосованію послѣдняго параграфа, какъ случилось нѣчто поразительное. На лѣстницѣ послышался сильный шумъ, и въ залу засѣданій вбѣжалъ совершенно блѣдный и растерявшійся половой. Увидѣвъ его, Кеттлѐ съ быстротой молніи ухватилъ первую попавшуюся подъ руку шапку и улизнулъ. Его примѣру хотѣли послѣдовать и прочіе иностранные гости (какъ послѣ оказалось—притворно), но было уже поздно: въ комнатѣ засѣданій стоялъ господинъ въ полицейскомъ мундирѣ, а изъ-за дверей выглядывали головы городовыхъ. Левассёръ съ какою-то отчаянною рѣшимостью отвернулся къ окну и произнесъ:—Alea jacta est.

— Господинъ отставной корнетъ Шалапутовъ!—провозгласилъ между тѣмъ господинъ въ полицейскомъ мундирѣ.

— Здѣсь! — отозвался Левассёръ, отдаваясь въ руки правосудія.

Мы такъ и ахнули.

Глава IX.

Итакъ, этотъ статистическій конгрессъ, на который мы возлагали столько надеждъ, оказался лишь фальшивою декораціей, за которою скрывалась самая низкая подпольная интрига! Онъ былъ лишь средствомъ для занесенія нашихъ именъ въ списки сочувствующихъ, а оттуда—кто знаетъ?— быть-можетъ, и въ книгу живота!

Можно себѣ представить, каково было удивленіе мое и Прокопа, когда мы узнали, что чуть-чуть не сдѣлались членами интернаціоналки!

Вечеръ этого дня я провелъ у Менандра, и мы оба долго и горько плакали. Чтобъ утѣшить меня, онъ началъ читать корреспонденцію изъ Екатеринослава, въ которой чертами, можно сказать, огненными описывались производимыя сусликами опустошенія; но чтеніе это еще болѣе разстроило насъ.

— Неужели же нѣтъ никакихъ мѣръ противъ этихъ негодяевъ? — воскликнулъ я, самъ, впрочемъ, хорошенько не сознавая, о чемъ я говорю.

— Къ сожалѣнію, должно признаться, что такихъ мѣръ не существуетъ, хотя съ другой стороны нельзя не сознаться, что если бы земскія управы взялись за дѣло энергически, то суслики давно были бы уничтожены! Я намѣренъ посвятить этой мысли не менѣе десяти передовыхъ статей.

Сказавъ это, онъ такъ глубокомысленно взглянулъ на меня, что я поскорѣе взялъ шапку и побѣжалъ, куда глаза глядятъ.

Всю дорогу я бѣжалъ безъ всякой мысли. То-есть, коли хотите, и была мысль, которая неотступно стучала мнѣ въ голову, но мысль самая странная, а именно: «къ сожалѣнію, должно признаться, хотя съ другой стороны нельзя не сознаться»—и больше ничего. Это былъ своего рода дурацкій итальянскій мотивъ, который иногда по цѣлымъ часамъ преслѣдуетъ человѣка безъ всякаго участія со стороны его сознанія. Идетъ ли человѣкъ по тротуару, сидитъ ли въ обществѣ пѣнкоснимателей, читаетъ ли корреспонденцію изъ Пирятина—вдругъ гаркнетъ «odiar ti!»—и самъ не можетъ дать себѣ отчета, зачѣмъ и почему. Даже когда я легъ въ постель, то и тутъ послѣднею мыслью моею было: «къ сожалѣнію, должно признаться, хотя съ другой стороны нельзя не сознаться...»

Ночь я провелъ безпокойно, почти бурно. Во снѣ я припомнилъ, что программа этого дня осталась невыполненною, и что намъ слѣдовало еще ѣхать съ иностранными гостями въ Воронинскія бани. Поэтому я тотчасъ же перенесся фантазіей въ бани и, увидѣвъ себя и иностранныхъ гостей обнаженными, почему-то сконфузился. Но въ то самое время, какъ я обдумывалъ, какъ бы устроить, чтобы нагота моя была какъ можно меньше замѣтна, Левассёръ благимъ матомъ и на чистѣйшемъ россійскомъ діалектѣ завопилъ: «пару! ради Христа еще пару!» Тутъ только я понялъ гнусный обманъ, котораго были жертвою мы, простодушные провинціальные кадыки, и уже бросился съ вѣникомъ, чтобы наказать наглаго интригана, какъ вдругъ передо

мной, словно изъ-подъ земли, выросъ Менандръ. Онъ былъ тоже совершенно голый, но въ рукахъ его, вмѣсто вѣника, торчала кипа корреспонденцій, изъ которыхъ на каждой огненными буквами были начертаны слова: «къ сожалѣнію, должно признаться...» Меня бросило въ потъ, и что̀ было послѣ того—я ничего не помню...

Утромъ, едва успѣлъ я опомниться отъ страшнаго сна, какъ Прокопъ уже стоялъ передо мной.

— Ты пойми, — сказалъ онъ мнѣ: — вѣдь мы должны будемъ фигурировать въ этомъ дѣлѣ въ качествѣ дураковъ... то-бишь, свидѣтелей!

— Надѣюсь однако, что мы не виноваты,—рискнулъ я возразить, самъ, впрочемъ, не вполнѣ увѣренный, виноватъ я или не виноватъ.

— Дожидайся, будутъ тебя спрашивать, виноватъ ты или не виноватъ! Былъ съ ними—и дѣло съ концомъ!

Тутъ я вспомнилъ мой разговоръ съ Левассёромъ на Марсовомъ полѣ и чуть не посѣдѣлъ отъ ужаса. Припомнитъ онъ или не припомнитъ? Ахъ, дай-то, Господи, чтобъ не припомнилъ! Потому что ежели онъ припомнитъ... Господи! ежели онъ припомнитъ! Это нужды нѣтъ, что я ничего не говорилъ и даже убѣждалъ его оставить заблужденія, но вѣдь, пожалуй, онъ припомнитъ, что̀ *онъ* говорилъ, и тогда...

— Да ты не наболталъ ли чего-нибудь?—спросилъ Прокопъ, замѣтивъ мое смущеніе.

— Ей Богу, я ничего не говорилъ! Но я... но мнѣ...

— Ну, братъ, плохое твое дѣло, коли такъ. *Онъ* припомнитъ. Я, братъ, самъ однажды Энгеля пьянаго домой на извозчикѣ подвозилъ, такъ и то вчера цѣлый вечеръ въ законахъ рылся: какому за сіе наказанію подлежу! Потому, припомнитъ—это вѣрно.

— Но позволь, душа моя, вѣдь ты же всю эту исторію затѣялъ! Ты съ ними меня свелъ! Ты приглашеніе мнѣ принесъ! Ты засѣданія устраивалъ! За что же я долженъ терпѣть?

— Мало чего нѣтъ! А ты вспомни, что̀ ты еще прежде про статистику-то говорилъ! Вспомни, какъ ты перебиралъ: и того у насъ нельзя, и то невозможно, и за это въ кутузку... Нѣтъ, братъ, шалишь! Коли ужъ припоминать, такъ все припоминать! Пущай начальство видитъ!

— Позволь... но вѣдь не въ этомъ дѣло!

— Нѣтъ, братъ, ужъ припоминать, такъ припоминать!

Карту-то насчетъ трактирныхъ заведеній кто составлялъ? а? Анъ карта-то, братъ,—вотъ она! (Прокопъ хлопнулъ рукой по боковому карману сюртука).

— Но карта... что же она означаетъ?

— Тамъ, братъ, ужъ разберутъ. Тамъ всему мѣсто найдутъ. Нѣтъ, это ужъ не резонъ. Это, братъ, не по-товарищески!

— Но, пожалуйста, ты не думай, чтобъ я...

— Нечего тутъ «не думай»! Я и то не думаю. А по-моему: вмѣстѣ блудили, вмѣстѣ и отвѣчать слѣдуетъ, а не отлынивать! Я виноватъ! скажите на милость! А кто меня на эти дѣла натравливалъ! Кто меня на дорогу-то на эту поставилъ! Нѣтъ, братъ, я самъ съ усамъ! Карта-то—вотъ она.

Словомъ сказать, гонимые страхами, мы вдругъ уподобились тѣмъ рыцарямъ современной русской журналистики, которые, не имѣя возможности проникнуть въ «храмъ удовлетворенія», накидываются другъ на друга и начинаютъ грызться: «нѣтъ, ты!»—«анъ ты!»

Разъ вступивши на скользкій путь сплетенъ и припоминаній, Богъ знаетъ до чего бы мы могли дойти, но, къ счастью, мы не успѣли еще пустить другъ другу въ лицо ни «хамами», ни «клопами», ни однимъ изъ тѣхъ эпитетовъ, которыми такъ богата «многоуважаемая» редакція «Старѣйшей Русской Пѣнкоснимательницы», какъ въ мой номеръ влетѣлъ Веретьевъ.

— Берутъ!—ревѣлъ онъ, весело потирая руки.

Я поблѣднѣлъ; Прокопъ положительно упалъ духомъ.

— Кого?!

— Волохова, Рудина и Берсенева ужъ взяли... Кирсановъ—на волоскѣ!

— Но чему же вы радуетесь, Веретьевъ?

— Я чему радуюсь? Я? чему я радуюсь?... «Затишье»! Астаховъ! Маша! «Человѣкъ онъ былъ»!—а теперь что! Что я такое, спрашиваю я васъ! Утонула! Чорта съ два... вышла замужъ за Чертопханова! За Чертопханова — понимаете! «Башмаковъ еще не износила»!.. Зачѣмъ жить? Зачѣмъ мнѣ жить, спрашиваю я васъ! Сибирь... каторга... по холодку! Вотъ тутъ!—закончилъ онъ, ударяя себя въ грудь:—тутъ!

Я зналъ, что Веретьевъ получилъ воспитаніе въ Бѣлобородовскомъ полку, и потому паясничества его никогда не удивляли меня. Иногда, вслѣдствіе общаго неприхотливаго

уровня вкуса, они казались почти забавными, а въ глазахъ очень многихъ служили даже признакомъ несомнѣнной талантливости. Но въ эту минуту, признаюсь, мнѣ было досадно глядѣть на его кривлянья.

— Неужели вы хоть одинъ разъ въ жизни не можете быть серьезнымъ, Веретьевъ?—укорилъ я его.

— Тебѣ, Веретьевъ, когда ты въ компаніи — цѣны нѣтъ!—присовокупилъ съ своей стороны Прокопъ:—мухой ли прожужжать, сверчкомъ ли прокричать—на все ты молодецъ! Ну, а теперь, братъ, извини! теперь, братъ, слѣдовало бы и остепениться крошечку!

— Что-жъ! можно и остепениться! Ну, спрашивайте! глазомъ не моргну!

Сказавши это, Веретьевъ вдругъ зажужжалъ на манеръ пчелы, но зажужжалъ такъ натурально, что мы съ Прокопомъ инстинктивно начали отмахиваться.

— Ахъ, чортъ побери! Это все ты, шутъ гороховый!—обозлился Прокопъ:—и охота намъ съ отчаяннымъ связываться! Да говори толкомъ, оглашенный, что̀ такое случилось?

Быть-можетъ, Веретьевъ и еще откинулъ бы нѣсколько фарсовъ, прежде нежели объяснить, въ чемъ дѣло, но, къ счастью для насъ, въ эту минуту пришелъ Кирсановъ. Онъ былъ видимо разстроенъ; чистенькое и блѣдное лицо его приняло желтоватые тоны, тонкія губы сжались; новенькій вицмундирчикъ вздрагивалъ на его плечахъ.

— Господа! вы видите меня въ величайшемъ недоумѣніи,—началъ онъ раздраженнымъ голосомъ:—не говоря уже о томъ, что я цѣлую недѣлю, неизвѣстно по чьей милости, былъ дѣйствующимъ лицомъ въ какой-то странной комедіи, но—что̀ важнѣе всего—въ настоящую минуту заподозрѣна даже моя политическая благонадежность.

Аркаша остановился и окинулъ насъ взглядомъ, которому онъ, по мѣрѣ силъ своихъ, старался придать олимпическій характеръ. Но Прокопа этотъ взглядъ, повидимому, нимало не смутилъ, такъ какъ онъ отвѣтилъ въ упоръ:

— Твоя благонадежность! Велика штука—твоя благонадежность! И мы заподозрѣны, и всѣ заподозрѣны! Его благонадежность! Есть объ чемъ толковать!

— Да... но вѣдь я...—заикнулся Кирсановъ.

— И я... и ты... ну да! Ну̀, и ты! Ты вспомни-ка, что̀ ты съ Базаровымъ, лежа на травѣ, разговаривалъ!

Блѣдное лицо Кирсанова моментально вспыхнуло.

— Конечно, — сказалъ онъ: — и я былъ молодъ, и я

заблуждался; но кто же изъ насъ не былъ молодъ, кто не заблуждался! Мнѣ кажется, что въ смыслѣ политической благонадежности тѣ люди даже полезнѣе, которые когда-нибудь заблуждались, но потомъ оставили свои заблужденія! Эти люди, во-первыхъ, понимаютъ, въ чемъ заключаются такъ-называемыя заблужденія, и, во-вторыхъ, знаютъ сладость раскаянья. Поэтому мнѣ болѣе нежели странно, что меня упрекаютъ прошлымъ, отъ котораго я самъ отвернулся съ тѣхъ поръ, какъ произошла эта исторія съ Ѳеничкой!

Но Прокопъ былъ неумолимъ.

— Толкуй, братъ, по пятницамъ! — отрѣзалъ онъ: — ужъ коли въ комъ разъ эта проказа засѣла, такъ никакими раскаяньями оттолѣ ее не выкуришь! Ты на конгрессѣ-то нашемъ что̀ проповѣдывалъ?

— Я всего одинъ разъ говорилъ, и то лишь для того, чтобы указать на трактиръ г-жи Васильевой, какъ на самое удобное мѣсто для засѣданій постоянной комиссіи!

— Ну, хорошо! ну, положимъ! Дѣйствительно, на конгрессѣ ты велъ себя скромно. А какъ ты во время эмансипаціи себя велъ? Ты посредникомъ былъ—скажи, какъ ты себя велъ? а?

— Но мнѣ кажется, что въ видахъ общихъ интересовъ...

— Нѣтъ, ты не отлынивай, а отвѣчай прямо: какъ ты себя велъ! Вотъ они (Прокопъ указалъ на Веретьева и на меня)—никогда ничего объ нихъ не скажу! Вели себя какъ дворяне—а потому и благодарность имъ отъ всѣхъ! (Прокопъ прикоснулся рукою къ землѣ). Ну, а ты, братъ!.. Нѣтъ, ты съ душкомъ! Какъ ты къ дворянину-то выходилъ? въ какомъ видѣ? а? Какъ ты дворянъ-то на очныя ставки съ хамами ставилъ? а? «Вы, говоритъ, не имѣли права, на основаніи... а онъ, говоритъ, имѣетъ право, на основаніи...»—а? Анъ вотъ оно и отозвалось! вотъ оно когда отозвалось-то!

— Но позвольте! ежели я увлекался, то цѣли, которыя при этомъ одушевляли меня...

— Не говори ты мнѣ, ради Христа! Я вѣдь помню! я все помню! Помню я, какъ ты меня съ Прошкой-то кучеромъ судилъ! Вѣдь я со стыда за тебя сгорѣлъ! Вотъ ты какъ судилъ!

Кирсановъ слегка поникъ головой, какъ бы сознавая, что передъ трибуналомъ Прокопа для него нѣтъ оправданій. Тогда я выступилъ впередъ, въ качествѣ миротворца.

— Позвольте, господа! позволь, мой другъ!—сказалъ я, мягко устраняя рукой Прокопа, который начиналъ уже подпрыгивать по направленію къ Кирсанову:—дѣло не въ пререканіяхъ и не въ томъ, чтобы воскрешать прошлое. Аркадій Павлычъ увлекался—онъ самъ сознаетъ это. Но это сознаніе и соединенное съ нимъ раскаяніе онъ подтвердилъ цѣлымъ рядомъ дѣйствій, характеръ которыхъ не можетъ подлежать никакому сомнѣнію. Если-бъ не быстрота, съ которою онъ вызвалъ воинскую команду въ деревню Проплёванную, то Богъ знаетъ, имѣлъ ли бы я удовольствіе бесѣдовать теперь съ вами. Стало-быть, оставимъ рѣчь о прошломъ. Въ прошломъ, конечно, были грѣшки, но были и достославныя дѣйствія. Обратимтесь, господа, къ настоящему! Въ чемъ дѣло, Аркадій Павлычъ?

— А вотъ, не угодно ли посмотрѣть?

И Кирсановъ подалъ бумагу, въ которой мы прочли: «Комиссія по дѣлу объ эмиссарахъ: отставномъ корнетѣ Шалапутовѣ, пензенскомъ помѣщикѣ Капканчиковѣ съ товарищи, вызываетъ титулярнаго совѣтника Аркадія Павлова Кирсанова для дачи отвѣтовъ противъ показаній не служащаго дворянина Берсенева».

— Ну, попался!—воскликнулъ Прокопъ и какъ-то особенно при этомъ свиснулъ.

— Но что̀ же я сдѣлалъ? И что̀ могъ, наконецъ, Берсеневъ...

— Тамъ, братъ, разберутъ... а что попался, такъ это вѣрно!

— Но почему же вы такъ тревожитесь, Аркадій Павлычъ? Вѣдь вы сознаете себя невиннымъ?

— Клянусь, что я...

— Охотно вамъ вѣрю. Но, можетъ-быть, вы что-нибудь говорили? Можетъ-быть, вы говорили... ну, что̀ бы такое?.. ну, хоть бы, напримѣръ, что необходимо Семипалатинской области дать особенное, самостоятельное устройство?

Кирсановъ задумался на минуту, какъ бы припоминая.

— Да... объ этомъ, кажется, была рѣчь, — наконецъ произнесъ онъ тихо.

— Ну, и пропалъ! Пиши письма къ роднымъ!

— Но позвольте, господа! Положимъ, что я говорилъ глупости, но неужели же нельзя... даже въ частномъ разговорѣ... даже глупости...

Но оправданіе это было такъ слабо, что Прокопъ опровергъ его моментально.

— Говорить глупости ты можешь.—сказалъ онъ:—да не такія. Вы заберетесь куда-нибудь въ Фонарный переулокъ да будете отечество раздроблять, а на васъ смотри! Одинъ Семипалатинскую область оторветъ, другой въ Полтавскую губернію лапу засунетъ... Нельзя, сударь, нельзя!

Тогда Кирсановъ въ свою очередь озлился.

— Позвольте однако-жъ-съ!—сказалъ онъ:—если я не имѣю права говорить глупости, такъ и вы-съ... Помните ли, какъ вы однажды изволили говорить: «вотъ какъ бы вмѣсто Москвы да нашъ Амченскъ столицею сдѣлать»!..

— Ну, это ты врешь! Этого я не говорилъ! Ишь вѣдь что̀ вспомнилъ! ахъ ты, сдѣлай милость! Да не то что одна комиссія, а десять комиссій меня позови — передо всѣми одинъ отвѣтъ: знать не знаю, вѣдать не вѣдаю! Нѣтъ, братъ, я вѣдь травленный! Меня тоже нескоро на кривой-то объѣдешь!

— Но я не къ тому веду рѣчь...

— Понимаю, къ чему ты ведешь рѣчь, только напрасно. Ты, коли хочешь, винись, а я не повинюсь! Хоть сто комиссій меня къ отвѣту позови—не говорилъ, и баста!

Распря эта не успѣла однако-жъ разыграться, потому что въ комнату вошелъ совершенно растерянный Перепенко.

— Представьте себѣ, меня обвиняютъ въ намѣреніи отдѣлить Миргородскій уѣздъ отъ Полтавской губерніи!—сказалъ онъ упавшимъ голосомъ.

— Что̀ такое? какъ?

— Да-съ! вы видите передъ собой измѣнника-съ! сепаратиста-съ! Я, который всѣмъ сердцемъ-съ!—говорилъ онъ язвительно:—и добро бы еще рѣчь шла объ Золотоношѣ! Ну, тутъ дѣйствительно еще былъ бы резонъ, потому что Золотоноша отъ Канева—рукой подать! Но Миргородъ! но Хороль! но Пирятинъ! но Кобеляки!

— Откуда же такая напраслина, Иванъ Иванычъ? Ужели Довгочхунъ...

— Признаюсь, у меня у самого первое подозрѣніе пало на Довгочхуна, но, къ сожалѣнію, Довгочхуновъ много и здѣсь. Не Довгочхунъ, а не служащій дворянинъ Маркъ Волоховъ!

— Но развѣ вы имѣли неосторожность открыть ему ваши намѣренія?

— Нечего мнѣ было открывать-съ, потому что я, какъ родился безъ намѣреній, такъ и всю жизнь безъ намѣреній

надѣюсь прожить-съ. А просто, однажды господинъ Волоховъ попросилъ у меня взаймы три цѣлковыхъ, и я ему въ просьбѣ отказалъ. Онъ и тогда откровенно мнѣ высказалъ: «Вспомню я когда-нибудь объ васъ, Иванъ Иванычъ!» И вспомнилъ-съ.

— Донесъ, что ли?

— Нѣтъ, не донесъ-съ. Книжечка у него такая была, въ которую онъ все записывалъ, что̀ на умъ взбредетъ. Вотъ онъ и записалъ тамъ: «Перерепенко, Иванъ Иванычъ; имѣть въ виду, на случай отдѣленія Миргородскаго уѣзда»... Анъ книжечку-то эту у него нашли!

— Однако это, чортъ возьми, штука скверная!—всполошился Прокопъ:—третьяго-дня этотъ шутъ гороховый Левассёръ говорилъ мнѣ: «Votre pays, monsieur, est un fichu pays!»—а я, чтобы не обидѣть иностраннаго гостя: да, говорю, Карлъ Иванычъ! есть-таки того... попахиваетъ! А ну, какъ онъ это въ книжку записалъ?

— И записалъ-съ!—вздохнулъ Перерепенко.

Мы всѣ вдругъ сосредоточились, какъ отправляющіеся въ дальній путь. Даже Веретьевъ уныло свиснулъ, вспомнивъ, какъ онъ когда-то нагрубилъ Астахову, который занималъ въ настоящее время довольно видный постъ. Каждый старался перебрать въ умѣ всю жизнь свою... даже такую вполнѣ чистую и безупречную жизнь, какъ жизнь Перерепенки и Прокопа!

Я былъ скомпрометтированъ больше всѣхъ. Не говоря уже о признаніяхъ Шалапутова на Марсовомъ полѣ, о томъ, что я неоднократно подвозилъ его на извозчикѣ и ссудилъ въ разное время по мелочи суммою до десяти рублей, въ моемъ прошедшемъ былъ фактъ, относительно котораго я и самъ ничего возразить не могъ. Этотъ фактъ—«Маланья», повѣсть изъ крестьянскаго быта, которую я когда-то написалъ. Конечно, это было заблужденіе молодости, но нельзя себѣ представить, до какой степени живучи эти заблужденія! Вотъ, кажется, все забыто; прошедшее стерлось и какъ бы заплыло въ темной пучинѣ времени—анъ нѣтъ, оно не стерлось и не заплыло! Достаточно самаго ничтожнаго факта, случайнаго столкновенія, нечаянной встрѣчи—и опять все воскресло, задвигалось, засуетилось! забытые образы выступаютъ наружу, поблинявшія краски оживаютъ; одна подробность вызываетъ другую—и канувшій въ вѣчность моментъ преступленія становится передъ вами во всей ослѣпительной ясности!

— Эге! да вѣдь это тотъ самый, который «Маланью» написалъ?

— «Маланью»! Что̀ такое «Маланья»? Это не то ли, что̀ Вергина на театрѣ представляетъ: «Маланья, русская сирота»... такъ, кажется?

— Нѣтъ, «русская сирота»—это «Ольга». А «Маланья»—это... это... да это ужасъ что такое «Маланья»!

— И онъ написалъ «Маланью»?

— Онъ самый. И еще имѣетъ смѣлость оправдываться... excusez du peu!

Однимъ словомъ, «Маланья»—это родъ первороднаго моего грѣха...

Эти горькія размышленія были прерваны стукомъ въ дверь моего номера. Какъ ни были мы приготовлены ко всякимъ случайностямъ, но стукъ этотъ всѣхъ насъ заставилъ вздрогнуть. Въ комнату развязно вошелъ очень изящный молодой человѣкъ, въ сюртукѣ военнаго покроя, вручилъ мнѣ, Прокопу и Веретьеву по пакету и, сказавъ, что въ восемь часовъ, какъ только стемнѣетъ, за нами пріѣдетъ карета, удалился.

Это былъ не сонъ, но нѣчто фантастичнѣе самаго сна. Насъ было тутъ пять человѣкъ, не лишенныхъ Божьей искры,—и никому даже въ голову не пришло спросить, кто этотъ молодой человѣкъ, отъ кого онъ присланъ, въ силу чего призываютъ насъ къ отвѣту, почему наконецъ онъ не принимаетъ такъ-называемыхъ мѣръ къ пресѣченію способовъ уклоненія отъ суда и слѣдствія, а самымъ патріархальнымъ образомъ объявляетъ, что заѣдетъ за нами вечеромъ въ каретѣ, до тѣхъ же поръ мы обязываемся его ждать! Ни одинъ изъ этихъ вполнѣ естественныхъ вопросовъ не пришелъ намъ на мысль—до такой степени было сильно убѣжденіе, что мы виноваты, и что «тамъ разберутъ»!

Это была уже вторая руководящая мысль, которая привела насъ къ путаницѣ. Во время статистическаго конгресса насъ преслѣдовало гордое убѣжденіе, что мы не лыкомъ шиты; теперь оно смѣнилось другимъ, болѣе смиренномудреннымъ убѣжденіемъ: мы виноваты, а тамъ разберутъ. Въ обоихъ случаяхъ основу представляло то чувство неизвѣстности, которое всякіе сюрпризы дѣлаетъ возможными и удобоисполнимыми.

И мы ждали, ни разу даже не вспомнивъ о происшествіи, когда-то случившемся на Рогожскомъ кладбищѣ, гдѣ тоже пріѣхали неизвѣстные мужчины, взяли кассу и уѣхали... Мы терпѣливо просидѣли у меня въ номерѣ до вечера. Въ

восемь часовъ ровно, когда зажглись на улицѣ фонари, за нами явилась четверомѣстная карета, намъ завязали глаза и—повезли.

Мы ѣхали что-то очень долго (шутники, очевидно, колесили съ намѣреніемъ. Несмотря на то, что мы сидѣли въ каретѣ одни,—провожатый нашъ сѣлъ на козлы рядомъ съ извозчикомъ,—никто изъ насъ и не думалъ снять повязку съ глазъ. Только Прокопъ, однажды приподнявъ украдкой краешекъ, сказалъ: «кажется, черезъ Троицкій мостъ сейчасъ переѣзжать станемъ»—и опять привелъ все въ порядокъ. Наконецъ карета остановилась, насъ куда-то ввели и развязали глаза.

Клянусь честью, мнѣ сейчасъ же пришло на мысль, что мы въ трактирѣ (и дѣйствительно мы были въ Hôtel du Nord на Офицерской): до такой степени комната, въ которой мы очутились, всей обстановкой напоминала трактиръ средней руки—до того она была переполнена всевозможными трактирными испареніями! Я обонялъ запахъ жаренаго лука, смѣшанный съ запахомъ помоевъ; я видѣлъ лампу съ захватаннымъ пальцами шаромъ, лампу, которая, казалось, сама говорила: «нигдѣ, кромѣ трактира, я висѣть не могу»; я ощущалъ подъ собой стулъ съ порванною клеенкой, стулъ, на которомъ смѣнилось сколько поколѣній... но и за всѣмъ тѣмъ мысль, что я виноватъ и что «тамъ разберутъ», пересилила всѣ соображенія.

Мы были тутъ всѣ. Всѣ, участвовавшіе въ злосчастномъ статистическомъ конгрессѣ! Большинство было свободно, но «иностранные гости», а также и Рудинъ и Волоховъ, были въ кандалахъ. Но какъ легко и даже весело они переносили свое положеніе! Они смѣялись, шутили, а одну минуту мнѣ даже показалось, что они перемигиваются съ нашими судьями. Но, увы! тогда я приписалъ эту веселость гражданскому мужеству, и только когда Прокопъ, толкнувъ меня подъ бокъ, шепнулъ: «ну, братъ, ау! надѣются, подлецы,—стало-быть, важныя показанія дали!»—я нѣсколько дрогнулъ и измѣнился въ лицѣ.

Судьи сидѣли за столомъ, накрытымъ бѣлою скатертью. Ихъ было шесть человѣкъ, и всѣ шестеро—молодые люди; передъ каждымъ лежалъ листъ чистой бумаги. Опять-таки клянусь, что и молодость судей не осталась незамѣченною мной, и я сумѣлъ бы вывести изъ этого замѣчанія надлежащее заключеніе, если-бъ Прокопъ, по своему обыкновенію, вновь не спуталъ меня.

— Молодые!—шепнулъ онъ мнѣ:—гдѣ ѣдятъ, тамъ и судятъ! Ну, эти, братъ, не простятъ! эти засудятъ! Это не то что старики! Тѣ, бывало, оборвутъ—и отпустятъ; ну, а эти—шалишь! «Comment allez-vous?» «Садитесь, не хотите ли чаю?»—и сейчасъ тебя въ кутузку!

Намъ сдѣлали перекличку; всѣ оказались налицо. Затѣмъ кандальныхъ куда-то увели, а одинъ изъ судей (увы! онъ разыгрывалъ презуса!) всталъ и обратился къ намъ съ рѣчью:

— Господа! вы обвиняетесь въ весьма тяжкомъ преступленіи, и только вполнѣ чистосердечное раскаянье можетъ облегчить вашу участь. Наши обязанности относительно васъ очень непріятны, но насъ подкрѣпляетъ чувство долга—и мы останемся вѣрны ему. Вы, господа, не усомнившіеся вступить въ самый гнусный изъ всѣхъ заговоровъ, вы, конечно, не можете понять это святое чувство, но мы... понимаемъ его! Тѣмъ не менѣе мы очень хорошо сознаёмъ, что ваше положеніе не изъ пріятныхъ, и потому постараемся по возможности облегчить его. Покуда вы не осуждены закономъ—вы наши гости, messieurs! Объ одномъ только мы просимъ васъ: будьте чистосердечны. Будьте увѣрены, что мы уже *все* знаемъ, и ежели настоящее слѣдствіе имѣетъ мѣсто, то для того только, чтобы дать вамъ случай раскаяться и быть чистосердечными. Я сказалъ, господа. Теперь господинъ производитель дѣлъ отведетъ васъ, за исключеніемъ господина Кирсанова, въ особенную комнату и велитъ подать вамъ по стакану чаю. Прощайте, господа. Г. Кирсановъ! вы останетесь здѣсь для допроса!

Насъ заперли въ сосѣдней комнатѣ и подали чаю. Клянусь, что я гдѣ-то видѣлъ человѣка, который въ эту минуту разносилъ намъ чай (потомъ оказалось, что онъ служилъ недавно половымъ въ «Старомъ Пекинѣ»!).

Допрашивали до крайности быстро. Не прошло пятишести минутъ, какъ потребовали Веретьева, потомъ Лаврецкаго, Перерепенку, Прокопа и наконецъ меня. Признаюсь откровенно, я чувствовалъ себя очень неловко! ахъ, какъ неловко!

— Вы писали «Маланью»?—спросилъ меня лже-презусъ.

— Я-съ.

— И сознаете себя виновнымъ?

— То-есть... изволите видѣть... я не желалъ... въ строгомъ смыслѣ, я даже хотѣлъ воспрепятствовать...

— Безъ околичностей-съ. Отвѣчайте прямо и откровенно: виноваты?

— Виноватъ-съ.

— Ah! c'est grave!—произнесъ сбоку одинъ изъ лжесудей, рисовавшій на бѣломъ листѣ домикъ, изъ трубы котораго вьется дымокъ.

Я, въ полномъ смыслѣ этого слова, растерялся.

— Теперь извольте говорить откровенно: ѣздили ли вы 2-го августа на извозчикѣ съ шарманщикомъ Корподибакко, присвоившимъ себѣ фамилію почтеннаго члена международнаго статистическаго конгресса Корренти? не завозили ли вы его въ домъ № 30-й на Канонерской улицѣ?

— Не... не помню...

— Извольте говорить откровенно. Вспомните, что только полное чистосердечіе можетъ смягчить вашу участь.

— Кажется... нѣтъ... кажется... ѣздилъ-съ!

— Безъ «кажется-съ». Извольте говорить откровенно.

— Ѣздилъ-съ.

— Знали ли вы, что въ этомъ домѣ живетъ преступникъ Рудинъ? что Корренти ѣхалъ именно къ нему, чтобъ условиться насчетъ плана всесвѣтной революціи?

— Нѣтъ-съ, не зналъ.

— Говорите откровенно! не опасайтесь!

— Ей-Богу, ваше превосходительство, не зналъ.

— Пригласите сюда господина Корподибакко!

Загремѣли кандалы. Корподибакко, тяжело дыша, всталъ рядомъ со мною.

— Уличайте его.

— И ви можете минѐ сказаль, что ви не зналь?—обратился ко мнѣ Корподибакко:—oh maladetto russo! Я бѣдна, нешастна итальянецъ—и я такъ не скажу, ишто ви сичасъ говориль!

— Что̀ можете вы сказать противъ этой улики?

— Рѣшительно ничего. Я даже въ первый разъ слышу о всесвѣтной революціи!

— Хорошо-съ. Ваше упорство будетъ принято во вниманіе. Корподибакко, вы можете уйти. Прикажите дать стаканъ чаю господину Корподибакко!

Корподибакко вдругъ грохнулся на колѣна, воздѣлъ руки и воскликнулъ:—Pietà, signori!

— Вотъ, сударь, примѣръ раскаянья теплаго, невынужденнаго! Стыдитесь!—обратился ко мнѣ одинъ изъ лжесудей, указывая на Корподибакко.

— Ну-съ, теперь извольте говорить откровенно: какого рода разговоръ имѣли вы на Марсовомъ полѣ съ отставнымъ корнетомъ Шалапутовымъ?

Я окончательно смутился. «Вотъ оно!—мелькнуло у меня въ головѣ:—оно самое!»

— Мнѣ кажется,—пробормоталъ я:—онъ говорилъ, что не любитъ войны...

— Еще-съ!

— Еще-съ... нѣтъ... кажется... гм!.. да... именно, онъ, кажется, говорилъ, что у него была непріятность съ Тьеромъ.

— Еще-съ!

— Что господинъ Фарръ—переодѣтый агентъ-съ...

— Къ дѣлу-съ. Извольте приступить къ дѣлу-съ.

— Что онъ служилъ въ коммунѣ...

— Ah! c'est grave!—произнесъ опять лже-судья, рисовавшій домикъ.

— Ну-съ, а вы что̀ ему говорили?

— Я-съ... ничего-съ... онъ былъ такъ пьянъ...

— Ну, въ такомъ случаѣ я самъ припомню вамъ, что̀ вы говорили. Вы говорили, что вмѣсто того, чтобы разрушать домъ Тьера, слѣдовало бы разрушить домъ Вяземскаго на Сѣнной площади-съ! Вы говорили, что вмѣсто того, чтобы изгонять «этихъ дамъ» изъ Парижа, слѣдовало бы очистить отъ нихъ бель-этажъ Михайловскаго театра-съ! Еще что̀ вы говорили?

— Не... не... не помню...

— Вы говорили, что постараетесь скрыть его отъ преслѣдованій! Вы обѣщали ему покровительство и поддержку! Вы наконецъ объявили, что полагаете положить въ Россіи начало революціи введеніемъ обязательнаго оспопрививанія! Что̀ вы можете на это сказать?

— Рѣшительно... нѣтъ... то-есть... нѣтъ, рѣшительно не припомню!

— Позвать сюда Шалапутова!

Опять загремѣли кандалы; но Шалапутовъ не вошелъ, а вбѣжалъ, и съ такою яростью напустился на меня, что я даже изумился.

— Вы не говорили? вы?! — кричалъ онъ: — вы лжецъ, позвольте вамъ сказать! Когда я вамъ сказалъ, что моя жена петролейщица,—что̀ вы отвѣтили мнѣ? Вы отвѣтили: «вотъ къ намъ бы этакихъ штучекъ пятокъ-побольше!» Когда я изложилъ передъ вами мои планы—что̀ вы ска-

зали мнѣ? Вы сказали: «всѣ эти планы хороши за границей, а для насъ, русскихъ, совершенно достаточно, если мы добьемся обязательнаго оспопрививанія». Вотъ что̀ вы отвѣтили мнѣ!

— Но мнѣ кажется, что обязательное оспопрививаніе...— заикнулся я.

— Не о томъ рѣчь, что̀ вамъ «кажется», государь мой!— строго прервалъ меня лже-презусъ:—а о томъ, говорили ли вы или не говорили?

Говорилъ я или не говорилъ? Говорилъ ли я, что слѣдуетъ очистить бель-этажъ Михайловскаго театра отъ *этихъ дамъ?* Говорилъ ли я о пользѣ оспопрививанія? Кто-жъ это знаетъ? Можетъ-быть, и дѣйствительно говорилъ! Все это какъ-то странно перемѣшалось въ моей головѣ, такъ что я рѣшительно пересталъ различать ту грань, на которой кончается *простой* разговоръ и начинается разговоръ *опасный.* Поэтому я рѣшился на все махнуть рукой и сознаться.

— Говорилъ!—произнесъ я совершенно твердо.

— A la bonne heure! Можете идти, господинъ Шалапутовъ! Дайте стаканъ чаю господину Шалапутову!

Шалапутовъ, гремя, удалился.

— Ну-съ, допросъ конченъ, — обратился ко мнѣ лже-презусъ:—и если бы вы не запятнали себя запирательствомъ по показанію Корподибакко...

— Помилуйте, ваше превосходительство! но вѣдь онъ наконецъ свинья!—воскликнулъ я дрожащимъ отъ волненія голосомъ, въ которомъ звучала такая нота искренности, что даже лже-судьи—и тѣ были тронуты.

— Гм!... свинья... это конечно... это даже весьма можетъ быть!—сказалъ лже-презусъ: — но скажите, вы развѣ не употребляете свинины?

— Употребляю-съ.

— Ну, и мы употребляемъ. Къ сожалѣнію, свиньи покамѣсть еще необходимы. C'est triste, mais c'est vrai! Не знаете ли вы за собой еще какихъ-нибудь преступленій?

Услышавъ этотъ вопросъ, я вдругъ словно въ ражъ впалъ.

— Одинъ изъ моихъ товарищей,—сказалъ я:—предлагалъ Москву упразднить, а вмѣсто нея сдѣлать столицею Мценскъ. И я раздѣлялъ это заблужденіе!

— Дальше-съ!

— Другой мой товарищъ предлагалъ отдѣлить отъ Россіи Семипалатинскую область. И я одобрялъ это предложеніе.

— Дальше-съ!

— Еще-съ... болѣе, ваше превосходительство, ничего за собой не имѣю!

— Довольно для васъ.

Лже-презусъ всталъ, направился къ двери направо и спросилъ: — Готово? Изнутри послышался отвѣтъ: — Готово.

— Потрудитесь войти въ эту комнату!

. . . . . .

Я и до сихъ поръ не могу опомниться отъ стыда!

. . . . . .

Изъ *этой* комнаты я перешелъ въ слѣдующую, гдѣ нашелъ Прокопа, Кирсанова и прочихъ, уже прошедшихъ сквозь искусъ. Всѣ были унылы и какъ бы стыдились. Лаврецкій попробовалъ-было начать разговоръ о томъ, какъ дороги въ Петербургѣ ces petits colifichets, которые въ Парижѣ пріобрѣтаются почти задаромъ, но изъ этого ничего не вышло.

Дальнѣйшіе допросы пошли еще живѣе. Въ нашу комнату поминутно прибывали тетюшскіе, новооскольскіе и другіе депутаты, которыхъ, очевидно, спрашивали только для проформы. Повидимому, они даже черезъ комнату «искуса» проходили безостановочно, потому что являлись къ намъ совершенно бодрые и веселые. Мало-по-малу общество наше до того оживилось, что Прокопъ при всѣхъ обратился къ Кирсанову:

— А вѣдь ты, поросенокъ, не утерпѣлъ, чтобъ про Амченскъ-то не сказать!

Кирсановъ слегка покраснѣлъ, но отвѣтить не рѣшился.

Наконецъ, въ половинѣ одиннадцатаго, двери отворились, и насъ пригласили въ залу, гдѣ уже былъ накрытъ столъ на сорокъ кувертовъ, по числу судей и обвиненныхъ.

— Ну-съ, господа!—сказалъ лже-презусъ: — мы исполнили свой долгъ, вы—свой. Но мы не забываемъ, что вы такіе же люди, какъ и мы. Скажу болѣе: вы наши гости, и мы обязаны позаботиться, чтобъ вамъ было не совсѣмъ скучно. Теперь, за кускомъ сочнаго ростбифа и за стаканомъ добраго вина, мы можемъ вполнѣ беззаботно предаться бесѣдѣ о тѣхъ самыхъ проектахъ, за которые вы находитесь подъ судомъ. Человѣкъ! ужинать! и вдоволь шампанскаго!

И дѣйствительно, лже-судьи, разомъ сбросивши декорумъ, оказались добрѣйшими малыми. Они такъ блягировали, что даже Шалапутова — и того заткнули за поясъ. Въ довершеніе всего, дозволили снять съ кандальныхъ кандалы, что̀, разумѣется, произвело фуроръ и сразу пріобрѣло имъ съ нашей стороны популярность. Шампанское лилось рѣкою; Шалапутовъ разсказывалъ, какъ онъ ѣздилъ въ Ирландію и готовился, вмѣстѣ съ феніями, сдѣлать вылазку въ Англію; Корподибакко увѣрялъ, что онъ былъ другомъ Мадзини и разошелся съ нимъ только потому, что Мадзини до конца жизни оставался упорнымъ католикомъ. Тосты слѣдовали одинъ за другимъ.

— За Гарибальди! — провозгласилъ лже-судья, рисовавшій домики.

— За Гамбетту! — отвѣтилъ ему лже-презусъ.

— За нашего губернатора! — скромно поднялъ бокалъ Кирсановъ.

Словомъ сказать, всѣ одушевились и совершенно позабыли, что часъ тому назадъ... Но едва било двѣнадцать (впослѣдствіи оказалось, что Hôtel du Nord въ этотъ часъ запирается), какъ на кандальниковъ вновь надѣли кандалы и увезли. Съ насъ же, прочихъ подсудимыхъ, взыскали издержки судопроизводства (по пятнадцати рублей съ человѣка) и, завязавъ намъ глаза, развезли по домамъ.

— Господа! завтра опять допросъ въ тѣ же часы!—весело сказалъ намъ лже-презусъ:—мы не арестуемъ васъ и вполнѣ полагаемся на ваше честное слово, что вы не выйдете изъ вашихъ квартиръ!

— Позвольте мнѣ вотъ съ нимъ!—попросилъ Прокопъ, указывая на меня.

— Можете-съ.

Затѣмъ было дано еще нѣсколько разрѣшеній совмѣстнаго жительства, что̀ возбудило новый фуроръ и новую популярность.

На другой день опять допросъ и ужинъ — съ тою же обстановкой. На третій, на четвертый день и такъ далѣе— то же. Наконецъ на седьмой день мы такъ вклепались другъ въ друга и того сами на себя наболтали, что хоть всѣхъ на каторгу, такъ впору. Въ тотъ же день намъ было объявлено, что хотя мы попрежнему остаемся заарестованными на честномъ словѣ въ своихъ квартирахъ, но совмѣстное жительство уже не допускается.

Когда я брался за шляпу, производитель дѣлъ таин-

ственно отвелъ меня въ сторону и до крайности благожелательно сказалъ:

— Знаете, а вѣдь ваше дѣло очень плохо!

— Неужели?

— Такъ плохо, что самое малое, что̀ васъ ожидаетъ — это семь лѣтъ каторги. Развѣ ужъ очень искусный адвокатъ выхлопочетъ снисхожденья минутъ на пятнадцать!

— Это ужасно

— Что̀ дѣлать! Ужъ я старался—ничего не подѣлаешь! То-есть, коли хотите, оно можно...

— Ахъ, сдѣлайте милость!

— Можно-то можно, только вотъ видите ли... подмазочка тутъ нужна!

— Но сколько? скажите!

Производитель дѣлъ съ минуту подумалъ, пошевелилъ пальцами, какъ бы разсчитывая, сколько кому нужно, и наконецъ произнесъ:

— Вы стами тысячъ можете располагать?

Я даже затрясся весь.

— Сто тысячъ! да у меня и всего-то пять билетовъ 2-го внутренняго съ выигрышами займа... на всю жизнь, понимаете? Сто тысячъ! да ежели я въ сентябрѣ не выиграю, по малой мѣрѣ, сорокъ тысячъ—я пропалъ!

— Ну, въ такомъ случаѣ дайте хоть два билета!

— Два—съ удовольствіемъ! Съ величайшимъ удовольствіемъ! Два билета—и я буду совершенно чистъ?!

— Чисты какъ алмазъ—ручаюсь. Такъ завтра утромъ я буду у васъ.

— О! съ удовольствіемъ! съ величайшимъ удовольствіемъ!

Мы крѣпко пожали другъ другу руки и разстались.

Это была первая ночь, которую я спалъ спокойно. Я не видѣлъ никакихъ сновъ и ничего не чувствовалъ, кромѣ благодарности къ этому скромному молодому человѣку, который вмѣсто ста тысячъ удовольствовался двумя билетами и даже не отнялъ у меня всѣхъ пяти, хотя я самъ сознался въ обладаніи ими. На другой день утромъ все было кончено. Я отдалъ билеты и получилъ обѣщаніе, что еще два, три допроса—и меня не будутъ больше тревожить.

Но вотъ наступилъ вечеръ—кареты нѣтъ. Пришелъ и другой вечеръ — опять нѣтъ кареты. Я начинаю безпокоиться и даже скучать. На третій вечеръ — опять нѣтъ кареты. Это дѣлается уже невыносимымъ.

Бродя въ тоскѣ по комнатѣ, я припоминаю, что меня,

между прочимъ, обвиняли въ пропагандѣ идеи оспопрививанія,—и вдругъ обуреваюсь желаніемъ высказать гласно мои убѣжденія по этому предмету.

«Напишу статью,—думалъ я:—Менандръ тиснетъ, а при нынѣшней свободѣ книгопечатанія, чего добраго, она даже и пройдетъ. Тогда сейчасъ оттискъ въ карманъ—и въ судъ. Вы меня обвиняете въ пропагандѣ оспопрививанія—вотъ мои убѣжденія по этому предмету! они напечатаны! я не скрываю ихъ».

Задумано—сдѣлано. Посыльный летитъ къ Менандру съ письмомъ: «Любезный другъ! ты знаешь, какъ горячо я всегда принималъ къ сердцу интересы оспопрививанія, а потому не желаешь ли, чтобъ я написалъ для тебя объ этомъ предметѣ статью?» Черезъ часъ отвѣтъ: «Ты знаешь, мой другъ, что наша газета затѣмъ собственно и издается, чтобы распространять въ обществѣ здравыя понятія объ оспопрививаніи! Пиши! сдѣлай милость, пиши! Статья твоя будетъ украшеніемъ столбцовъ» и т. д.

Стало-быть, за перо. Но тутъ на первыхъ же порахъ—затрудненіе. Нѣкоторые полагаютъ, что оспопрививаніе было извѣстно задолго до Рождества Христова; другіе утверждаютъ, что незадолго; третьи наконецъ полагаютъ, что открытіе это сдѣлано лишь послѣ Рождества Христова. Кто правъ—до сихъ поръ неизвѣстно. Опять мчится посыльный къ Менандру: слѣдуетъ ли упоминать объ этомъ въ статьѣ? Черезъ часъ отвѣтъ: слѣдуетъ говорить обо всемъ. И о томъ, что̀ было до Рождества Христова, и о томъ, что̀ было по Рождествѣ Христовомъ, и о томъ, что̀ неизвѣстно. Потому что статья будетъ выглядѣть солиднѣе. «Да загляни, сдѣлай милость, въ Китай: мнѣ сказывалъ Нескладинъ, что тамошняя цивилизація—это прелесть что такое!» Ну, что-жъ! въ Китай—такъ въ Китай! Сейчасъ посыльнаго къ Мелье—и черезъ полчаса на столѣ лежитъ уже книжица, въ которой самымъ обстоятельнымъ образомъ доказывается, что въ Китаѣ и оспопрививаніе, и порохъ были извѣстны гораздо ранѣе, нежели въ Европѣ, но только они прививали оспу совсѣмъ не туда, куда слѣдуетъ. Припоминаю по этому случаю пословицу: заставь дурака Богу молиться—онъ лобъ расшибетъ, надписываю ее въ видѣ эпиграфа къ статьѣ, сажусь и съ Божьею помощью пишу.

Но для меня написать статью объ оспопрививаніи—все равно, что̀ плюнуть въ порожнее мѣсто. Къ тремъ часамъ

моя работа была ужъ готова и отослана къ Менандру съ запросомъ такого содержанія: «Не написать ли для тебя статью: кто была Тибуллова Делія? Кажется, теперь самое время для подобныхъ статей?» Черезъ часъ отвѣтъ: «Сдѣлай милость! Твое сотрудничество драгоцѣнно, потому что ты одинъ знаешь, когда, что̀ и ка̀къ сказать. Всѣ пѣнкосниматели въ эту минуту въ сборѣ въ моей квартирѣ и всѣ въ восторгѣ отъ твоей статьи. Завтра, рано утромъ, «Старѣйшая Русская Пѣнкоснимательница» будетъ у тебя на столѣ съ *привитою оспою*».

Опять въ руки перо—и къ вечеру статья готова. Рано утромъ на другой день она была уже у Менандра съ новымъ запросомъ: «Не написать ли еще статью: «Можетъ ли быть совмѣщенъ въ одномъ лицѣ промыселъ огородничества съ промысломъ разведенія козловъ?» Кажется, теперь самое время?» Къ полудню—отвѣтъ: «Сдѣлай милость! присылай скорѣе!»

Такимъ образомъ въ теченіе семи дней, кромѣ поименованныхъ выше статей, я сочинялъ еще четыре, а именно: «Геморрой—русская ли болѣзнь?», «Нравы и обычаи летучихъ мышей», «Единокровные и единоутробные предъ лицомъ римскаго законодательства» и «Нѣсколько словъ о значеніи и происхожденіи выраженія: гомерическій смѣхъ». На восьмой день я занялся собираніемъ матеріаловъ для двухъ другихъ обширныхъ статей, а именно: «Церемоніалъ при погребеніи великаго князя Трувора» и «Какъ слѣдуетъ понимать легенду о сожженіи великою княгинею Ольгою древлянскаго города Коростеня?» Статьи эти я полагалъ помѣстить въ «Вѣстникѣ Пѣнкоснимательства», снабдивъ ихъ нѣкоторыми намеками на текущую современность.

Во всѣхъ семи напечатанныхъ статьяхъ моихъ оказалось четыре тысячи строкъ, за которыя я получилъ, считая по пятиалтынному за строку, шестьсотъ рублей серебромъ-съ! Да ежели еще «Вѣстникъ Пѣнкоснимательства» рублей по двѣсти за листъ отвалитъ (въ обѣихъ статьяхъ будетъ не менѣе десяти листовъ)—анъ сколько денегъ-то у меня будетъ!

Я упивался моей новой дѣятельностью и до того всецѣло предался ей, что даже забылъ и о своемъ заключеніи, и о томъ, что вотъ уже десятый день, а никто меня никуда не требуетъ и никакой резолюціи по моему дѣлу не объявляетъ. Есть нѣчто опьяняющее въ положеніи публициста, изслѣдующаго вопросъ о происхожденіи Деліи. И хочется «пролить новый свѣтъ», и жутко. И хочется ска-

зать: нѣтъ, г. Сури (авторъ статьи «La Delia de Tibule», помѣщенной въ «Revue des deux Mondes» 1872 года), вы ошибаетесь!—и въ то же время боишься: а ну, ежели я самъ совралъ? А соврать немудрено, ибо что̀ такое, въ сущности, русскій публицистъ? — это не что̀ иное, какъ простодушный обыватель, которому попалась подъ руку «книжка» (всего лучше, если маленькая) и у котораго есть твердое намѣреніе получить по пятиалтынному за строчку. Нѣтъ ли на свѣтѣ другихъ такихъ же книжекъ—онъ этого не знаетъ, да и знать ему, собственно говоря, не нужно, потому что, попадись подъ руку «другія» книжки, онѣ только собьютъ его съ толку, загромоздятъ память матеріаломъ, съ которымъ онъ никогда не справится,—и статьи не выйдетъ никакой. То ли дѣло—«одна книжка»! Тутъ остается только прочесть, «смекнуть»—и ничего больше. И вотъ онъ смекаетъ, смекаетъ — и чѣмъ больше смекаетъ, тѣмъ шире становятся его горизонты. Наконецъ статья, съ Божьею помощью, готова, и въ ней оказывается двѣнадцать столбцовъ, по пятидесяти строчекъ въ каждомъ. Положите-ка по пятиалтынному-то за строчку—сколько тутъ денегъ выйдетъ!

Одно опасно: наврешь. Но и тутъ есть фортель. Не знаешь—ну, обойди, помолчи, проглоти, скажи скороговоркой: «нѣкоторые полагаютъ», «другіе утверждаютъ», «существуетъ мнѣніе, едва ли, впрочемъ, правильное»—или «повидимому, довольно правильное»—да мало ли еще какіе обороты рѣчи можно изыскать! Кому охота справляться, точно ли «существуетъ мнѣніе», что оспопрививаніе было извѣстно задолго до Рождества Христова? Ну, было извѣстно—и Христосъ съ нимъ!

Или еще фортель. Если сталъ втупикъ, если чувствуешь, что языкъ у тебя начинаетъ коснѣть — пиши смѣло: «объ этомъ поговоримъ въ другой разъ»—и затѣмъ молчокъ! Вѣдь читатель не злопамятенъ; не скажетъ же онъ: «а ну-ка, поговори! поговори-ка въ другой-то разъ—я тебя послушаю!» Такъ это дѣло изморомъ и кончится...

Итакъ, работа у меня кипѣла. Ложась на ночь, я представлялъ себѣ двухъ столоначальниковъ, встрѣчающихся на Невскомъ.

— А читали ли вы, батюшка, статью: «Можетъ ли быть совмѣщенъ въ одномъ лицѣ промыселъ огородничества съ промысломъ разведенія козловъ?» — спрашиваетъ одинъ столоначальникъ.

— Еще бы!—восклицаетъ другой.

— Вотъ это статья! какой свѣтъ-то проливаетъ! Директоръ у насъ отъ нея безъ ума. «Дочери, говоритъ, дочери прикажу прочитать!»

Сердце мое начинаетъ играть, животъ колышется, и все мое существо наполняется сладкимъ ликованіемъ...

Но на одиннадцатый день чувство дѣйствительности все-таки заявило о правахъ своихъ. Нельзя безнаказанно, въ теченіе семи дней сряду, не выходя изъ номера, предаваться изнурительнымъ изслѣдованіямъ о церемоніалѣ при погребеніи великаго князя Трувора. Поэтому вопросъ: отчего столько дней за мной нѣтъ кареты?—вдругъ всталъ передо мной со всею ясностью.

Я помнилъ, что я арестованъ, и нарушить даннаго слова отнюдь не хотѣлъ. Но вѣдь могу же я въ коридорѣ погулять? Могу или не могу?.. Борьба, которую возбудилъ этотъ вопросъ, была тяжела и продолжительна, но наконецъ инстинктъ свободы восторжествовалъ. Да, я могу выйти въ коридоръ, потому что мнѣ этого никто даже не воспрещалъ. Но едва я высунулъ носъ за дверь, какъ увидѣлъ Прокопа, несущагося по коридору на всѣхъ парусахъ.

— Вотъ такъ штука!—кричалъ онъ мнѣ издали:—вотъ это—штука!

— Что̀ такое случилось?

— А то и случилось, что никакой комиссіи нѣтъ и не бывало!

— Ты врешь, душа моя!

— Нѣтъ и не бывало. Ни конгресса, ни комиссіи—ничего!

— Да говори толкомъ, что̀ случилось?

— Случилось вотъ что̀. Сижу я сегодня у себя въ номерѣ и думаю: странное дѣло однако-жъ! одиннадцатый день кареты нѣтъ! Скука! Читать—привычки нѣтъ! ходить да думать—боюсь, съ ума сойдешь. Вотъ и пришло мнѣ въ голову: не сходить ли келейнымъ образомъ къ Доминику,—по крайности, около людей потрусь! Сказано—сдѣлано. Надвинулъ это фуражку на глаза, прихожу, иду въ дальнюю комнату—и что̀-жъ бы ты думалъ, вижу! Сидятъ это за столомъ: судья, который насъ судилъ, Шалапутовъ, Капканчиковъ и Волоховъ—и вчетверомъ въ домино играютъ. Ну, я сначала не понялъ, обрадовался.—Что̀, говорю, Карлъ Иванычъ, выпустили? Это Шалапутову-то. Молчитъ. Я его по плечу: выпустили, молъ, Карлъ

Иванычъ? Онъ этакъ взглянулъ на меня, да какъ прыснетъ: «Вы, говоритъ, за кого-нибудь другого меня принимаете!»—Чего, говорю, за другого! вотъ и они налицо! Дальше—больше. Я, говорю, изъ-за васъ восемнадцатый день изъ-подъ ареста не выхожу. — «Да это, говорятъ, сумасшедшій! Гарсонъ! пожалуйста, пошлите за городовымъ!» Собралась около насъ публика; кто въ бильярдъ игралъ, кто въ шахматы—все бросили. Гогочутъ. Пришелъ хозяинъ. «Позвольте попросить васъ оставить мое заведеніе». Это мнѣ-то!—Нѣтъ, говорю, шалишь! коли ты меня не уважаешь, такъ уважишь вотъ это! И показываю ему фуражку съ околышемъ! А кругомъ хохотъ, гвалтъ—хоть святыхъ вонъ понеси! «Сумасшедшій! Сумасшедшій!»—только и словъ.—Да объясни ты мнѣ, ради Христа,—говорю я судьѣ:—долженъ ли, по крайней мѣрѣ, я подъ арестомъ-то сидѣть?—«Сиди, говоритъ, сдѣлай милость!» Гогочутъ. И вѣдь какъ бы ты полагалъ? вывели-таки меня, раба Божія, изъ заведенія!

Обманъ былъ ясенъ. Тутъ только припомнились мнѣ всѣ аномаліи, которыми—къ сожалѣнію, лишь на мгновеніе—былъ пораженъ мой умъ во время процесса. И захватанная лампа, и дыравленные стулья, и запахъ жаренаго лука и помой...

— Слушай! вѣдь насъ съ тобой опять надули! и, главное, надула все та же компанія!—воскликнулъ я въ неописанномъ испугѣ:—вѣдь этакъ намъ, пожалуй, въ Сибирь подорожную дадутъ, и мы поѣдемъ!

— И поѣдемъ—ничего не подѣлаешь!

— Какъ хочешь, а надо бѣжать отсюда!

— И я говорю: бѣжать!

— Стало-быть, ѣдемъ!

Но Богу угодно было еще на неопредѣленное время продлить наше пребываніе въ Петербургѣ...

Глава X.

Нервы мои, возбужденные тревогой послѣднихъ дней, наконецъ не выдержали. Вынести сряду два такихъ испытанія, какъ статистическій конгрессъ и политическое судоговореніе—какъ хотите, а это сломитъ хоть кого! Чего я ни передумалъ въ это время! Къ чему ни приготовился! Перебирая въ умѣ кары, которымъ я подлежу за то, что подвозилъ Шалапутова на извозчикѣ домой, я съ ужасомъ помышлялъ: ужели жестокость скораго суда дойдетъ до

того, что меня засадятъ въ уединенную комнату и подъ наблюденіемъ квартальнаго надзирателя заставятъ читать передовыя статьи «Старѣйшей Русской Пѣнкоснимательницы»? Или, быть-можетъ, пойдутъ еще далѣе, то-есть заставятъ выучить наизусть «Бормотаніе вслухъ Честолюбивой Просвирни»? Какимъ образомъ я выполню это? Господи! укрѣпи меня! просвѣти мой умъ глупопониманіемъ! Сердце безчувственно и закоснѣло созижди во мнѣ! Очи мои порази невидѣніемъ, уши — неслышаніемъ, уста научи слагати несмысленная! Всевидяще! спаси мя! спаси мя! спаси мя!

Даже тогда, когда я вполнѣ убѣдился, что все происшедшее со мной не больше, какъ несносный и глупый фарсъ, когда я съ ожесточеніемъ затискивалъ мои вещи въ чемоданы, съ тѣмъ, чтобъ завтра же бѣжать изъ Петербурга,—даже и тогда мнѣ казалось, что сзади кто-то стоитъ съ нумеромъ «Честолюбивой Просвирни» въ рукахъ и иронически предлагаетъ: «а вотъ не угодно ли что-нибудь понять изъ моего «Бормотанія»? И я со страхомъ опять принимался за работу укладыванія, стараясь не поднимать головы и не оглядываться назадъ. Но вотъ наконецъ все уложено; я вздыхаю свободнѣе, зажмуриваясь бѣгу къ постели и ложусь спать, съ сладкой надеждой, что завтра, въ эту пору, Петербургъ, съ его шумомъ и навожденіями, останется далеко позади меня.

Надежда тщетная. Хотя я заснулъ довольно скоро, но этотъ сонъ былъ томителенъ и тревоженъ. Сначала передо мной проходитъ по-одиночкѣ цѣлая вереница вялыхъ, безцѣльно глядящихъ и изнемогающихъ подъ игомъ апатіи лицъ; постепенно эта вереница скучивается и образуетъ довольно плотную, темную массу, которая полубезумно мечется изъ стороны въ сторону, стараясь подражать движеніямъ настоящихъ, живыхъ людей; наконецъ я глубже и глубже погружаюсь въ область сновидѣній, и воображеніе мое, какъ бы утомившись призрачностью пережитыхъ мною ощущеній, останавливается на единственномъ связномъ эпизодѣ, которымъ ознаменовалось мое пребываніе въ Петербургѣ. Эпизодъ этотъ—тотъ самый сонъ, который я видѣлъ мѣсяцевъ шесть тому назадъ (см. выше: глава IV) и въ которомъ фантазія представила меня сначала милліонеромъ, потомъ умершимъ, наконецъ ограбленнымъ.

Молодой человѣкъ, взявшій на себя защиту интересовъ

сестрицъ, оказался правъ: роберъ не весь былъ сыгранъ; сыграна была только первая партія. Мѣсяца черезъ три приговоръ присяжныхъ былъ кассированъ, и безсмертная душа моя съ трепетомъ ожидала новыхъ волненій и тревогъ. Эти тревоги были тѣмъ естественнѣе, что дѣло мое совсѣмъ неожиданнымъ для меня образомъ вступило въ новый фазисъ, въ которомъ сестрицы, законныя наслѣдницы моихъ милліоновъ, были оттѣснены на задній планъ, а на мѣсто ихъ, въ качествѣ гражданскихъ истцовъ, явились лица, такъ сказать, абстрактныя и во всякомъ случаѣ для меня постороннія. Характеръ дѣла окончательно измѣнился: вмѣсто гражданскаго процесса, на сцену выступило простое, не гарантированное правительствомъ, предпріятіе, въ которомъ на первомъ планѣ стояло не то или другое рѣшеніе дѣла по существу, а биржевая игра на повышеніе или пониженіе. Основной капиталъ—милліонъ въ туманѣ; акцій выпущено десять тысячъ, по семидесяти рублей за сто; въ ожиданіи кассаціоннаго рѣшенія—биржа въ волненіи: «покупатели» $71^3/_4$, «продавцы» $72^1/_8$, «сдѣлано» $71^7/_8$. Затѣмъ: разносится слухъ, что кассаціонная жалоба уважена — покупатели» $78^7/_8$, «продавцы» $79^7/_8$, «сдѣлано» $79^1/_2$; разносится новый слухъ, что гражданскіе истцы нашли какихъ-то неслыханныхъ и притомъ совершенно достовѣрныхъ лжесвидѣтелей — «покупатели» $82^3/_4$ *безъ продавцовъ*; еще разносится слухъ: лжесвидѣтели, отъисканные гражданскими истцами, оказываются не достовѣрными — «продавцы» $62^3/_8$, «покупатели» $58^3/_4$, «сдѣлано» $59^1/_2$. И такъ далѣе. Можно себѣ представить, съ какимъ лихорадочнымъ любопытствомъ должна была слѣдить за этими измѣненіями безсмертная душа моя.

Я не помню подлинныхъ выраженій кассаціи, но приблизительно смыслъ ея былъ слѣдующій. Прежде всего постановка вопросовъ, сдѣланныхъ на первомъ судѣ, признана совершенно правильною. «Хотя невозможно не согласиться,—говорилось въ рѣшеніи:—что въ столь запутанномъ, имѣющемъ чисто-бытовой характеръ, дѣлѣ, каково настоящее, постановка вопроса о томъ, *согласно ли съ обстоятельствами дѣла похищены подсудимымъ деньги,* представляется не только умѣстною, но даже почти неизбѣжною, тѣмъ не менѣе въ судебной практикѣ подобное откровенное обращеніе къ присяжнымъ засѣдателямъ представляетъ нововведеніе довольно смѣлое и во всякомъ случаѣ не имѣющее прецедентовъ. То же самое слѣдуетъ ска-

зать и о другомъ вопросѣ, предложенномъ присяжнымъ засѣдателямъ: *не поступили ли бы точно такимъ же образомъ родственницы покойнаго, если-бъ были въ такихъ же обстоятельствахъ, въ какихъ находился подсудимый?* Онъ правиленъ, но черезчуръ уже новъ. Оба вопроса грѣшатъ не столько со стороны умѣстности, сколько со стороны необычности и несоотвѣтственности тѣмъ правиламъ, которыя предписываются издавна заведенными порядками канцелярскаго производства. Чтобы подобная постановка возымѣла надлежащую силу, необходимо, чтобы послѣдовательно нѣсколько составовъ присяжныхъ засѣдателей не усомнилось въ ея правильности и отвѣтило на предложенные вопросы съ тою же простосердечною ясностью, съ какою отвѣтилъ составъ присяжныхъ, рѣшавшихъ дѣло на первомъ судѣ. Только этимъ путемъ можетъ быть достигнуто убѣжденіе, что въ самомъ обществѣ существуетъ *вкусъ* къ подобнымъ вопросамъ, и что слѣдовательно встрѣчается настоятельная надобность и въ судебной практикѣ допустить нѣкоторыя полезныя, соотвѣтствующія этому вкусу, измѣненія. А потому и дабы избѣжать затрудненій, коими изобилуетъ разсматриваемое дѣло, представляется одинъ практическій выходъ: судить обвиняемаго Прокопа во всѣхъ городахъ Россійской Имперіи по очереди, начавъ таковую съ города Срединнаго, въ коемъ во всей непреклонности сохранилась истина древняго изреченія: «не надуешь—не наживешь». Если за симъ невинность подсудимаго восторжествуетъ (что, впрочемъ, представляется почти несомнѣннымъ), то признать вопросы поставленными правильно, самую же невинность счесть патентованною и навсегда огражденною отъ знака отличія бубноваго туза».

Итакъ, душѣ моей предстояло продолжительное путешествіе, послѣдствія котораго, впрочемъ, могли имѣть даже нѣкоторую назидательность. Увидѣть Белебей, Тетюши, Спасскъ Тамбовскій, Спасскъ Рязанскій, Спасскъ Казанскій—развѣ это не высокое наслажденіе? Быть свидѣтелемъ, какъ добродѣтель торжествуетъ въ Острогожскѣ, Конотопѣ, Наровчатѣ и т. д.—развѣ это не высшая награда для чувствительнаго сердца? Но, и помимо личныхъ соображеній, развѣ не существуютъ еще общія, которыя дѣлаютъ послѣдствія предстоящаго судебнаго странствія еще болѣе поучительными и безцѣнными? Во-первыхъ: какая грандіозная задача для нашихъ провинціальныхъ, проселочныхъ судовъ! Начните хоть съ бѣлозерскаго суда, ко-

торому до сихъ поръ были подсудны только снѣтки. Какія—спрашивается—преступленія могутъ быть совершены снѣтками? Ну, соберутся снѣтки, подымутъ дымъ коромысломъ, устроятъ противъ щуки стачку и даже бунтъ, потомъ та же щука стрѣлой налетитъ на нихъ изъ-за тростниковъ и проглотитъ всѣхъ бунтовщиковъ безъ остатка—на чемъ тутъ практиковаться суду! И вдругъ, вмѣсто снѣтковъ, на скамьѣ обвиненныхъ—*милліонъ!!* Милліонъ! Ваше сіятельство! Невинность непреоборимая! У насъ, въ Бѣлозерскѣ! Нѣтъ, какъ хотите, а при видѣ этого зрѣлища самые лѣнивые мозги—и тѣ невольно зашевелятся, а, разъ зашевелившись, уже не перестанутъ работать до тѣхъ поръ, пока добродѣтель окончательно не восторжествуетъ! Во-вторыхъ, какой единственный въ своемъ родѣ случай для общества, чтобы провѣрить свои нравственные идеалы и устами присяжныхъ засѣдателей разгадать загадку современности! И наконецъ, въ-третьихъ, какая будущность для самого подсудимаго милліона? Во всякомъ городѣ нѣчто оплодотворить, кого-нибудь осчастливить и въ заключеніе прибыть въ Ѳеодосію (послѣдній по алфавиту городъ) въ видѣ копейки серебромъ.

Но, признаюсь, меня всего больше интересовало, какъ выскажется въ этомъ дѣлѣ городъ Срединный. Хороши Тетюши, прекрасенъ Белебей, но Срединный—вѣдь это почти столица! Было время, когда Срединный чуть-чуть не сдѣлался русскими Аѳинами; хотя же впослѣдствіи аѳинство въ немъ мало-по-малу обратилось въ свинство, но и теперь это во всякомъ случаѣ первый въ Россіи городъ по числу трактировъ и кабаковъ. Въ Срединномъ я родился и воспитывался: здѣсь получилъ я первыя понятія о «ташкентствѣ»; здѣсь сдѣлалъ первые, робкіе шаги въ откупной карьерѣ и отъ откуповъ непосредственно къ либерализму. Подъ неумолкаемый, отовсюду несущійся звонъ колоколовъ какъ-то легко пишутся проекты, въ которыхъ реформаторскія затѣи счастливымъ образомъ сочетаются съ запахомъ сивухи и съ тѣмъ благосклоннымъ отношеніемъ къ жульничеству, которое доказываетъ, что жульничество—сила, и что съ этой силой необходимо считаться. Я помню счастливое дѣтство и первые годы ученія съ массой гувернеровъ и гувернантокъ, обучавшихъ лганью утонченному, и съ стадомъ домашней челяди, обучавшихъ лганью грубому и закоснѣлому. Я помню нашъ домъ, въ одномъ изъ безчисленныхъ переулковъ, съ палисадникомъ

впереди и съ обширнымъ дворомъ, застроеннымъ амбарами, кладовыми и погребами, ломившимися подъ тяжестью «даровыхъ» деревенскихъ запасовъ. Я помню мужиковъ въ рваныхъ пониткахъ, которые привозили эти запасы за двѣсти верстъ изъ Проплёванной. Я помню, какъ папенька враждовалъ съ дяденькой изъ-за того, что послѣдній умѣлъ «сыскать» въ слѣпенькой бабенькѣ, и какъ мы, дѣти, ложась на ночь въ свои кроватки, долго разсуждали: скоро ли умретъ слѣпенькая бабенька и успѣетъ ли она оставить духовную въ пользу дяденьки? Я помню мои путешествія съ папенькой по присутственнымъ мѣстамъ, гдѣ у насъ постоянно производились какія-то дѣла и гдѣ изъ-за рѣшетокъ выглядывали какія-то воспаленныя, изуродованныя оспой и фистулой физіономіи, которыя, казалось, говорили: ко мнѣ! сюда пожалуйте! здѣсь можно отца родного купить и обратно его съ барышомъ продать! Я помню путешествія съ маменькой по гостиному двору, гдѣ купцы съ замѣчательною искренностью говорили: «въ нашемъ дѣлѣ, сударыня, не обвѣсить или не обмѣрить—все одно, что по міру пойти!»

Ничего не забыла злопамятная душа моя...

Въ Срединномъ изстари существуетъ инстинктивное вожделѣніе ко всему, что носитъ на себѣ печать капитала или силы. Самый озлобленный на свою «незадачу» мѣщанинъ, такой мѣщанинъ, который съ утра до вечера колотится, чтобъ въ результатѣ получить грошъ,—и тотъ мгновенно расцвѣтаетъ, какъ только чувствуетъ, что къ нему или къ его платью прикоснулся «капиталъ». Физіономія его свѣтлѣетъ, сердце учащенно бьется, тѣло сладострастно вздрагиваетъ. Спросите у этого жалкаго, забитаго нуждой человѣка, что такъ внезапно преобразило его,—и онъ непремѣнно отвѣтитъ вамъ: «помилуйте-съ! да вѣдь они теперича первые по нашему городу люди!» И ежели для васъ собственно это объясненіе ничего не объясняетъ, то для него, забитаго мѣщанина, оно исчерпываетъ весь смыслъ его бытія и заключаетъ въ себѣ разгадку всѣхъ его поступковъ. Быть-можетъ, думаете вы, въ немъ колышится мысль: вотъ пойду, поклонюсь этому человѣку въ ноги, и онъ дастъ мнѣ рубль серебра! Но, увы! даже и этой мысли у него нѣтъ! Онъ расцвѣтаетъ вполнѣ безкорыстно, расцвѣтаетъ потому только, что мошна есть единственный идеалъ, до постиженія котораго онъ успѣлъ возвыситься въ продолженіе многотрудной своей жизни, по-

священной продажѣ и куплѣ. Продажѣ и куплѣ всего, начиная съ гнилыхъ яблоковъ и подержанныхъ штановъ и кончая подержанною и гнилою совѣстью...

Въ такомъ городѣ мой милліонъ долженъ произвести громадное, потрясающее впечатлѣніе. Нынче люди такъ слабы, что даже при видѣ сторублевой кредитки теряютъ нить своихъ поступковъ—что же будетъ, когда они увидятъ... цѣлый милліонъ въ туманѣ! Поэтому будущее процесса сразу выяснилось передо мной во всѣхъ его подробностяхъ, и я очень хорошо понялъ ту наглую радость, которую ощутилъ Прокопъ, когда ему объявили, что Срединному суждено положить начало торжеству его добродѣтели!

Прежде всего однако-жъ мнѣ хотѣлось выяснить себѣ взаимное положеніе враждующихъ сторонъ, и потому душа моя немедленно воспарила въ Проплёванную. Увы! мое старое дворянское гнѣздо какъ будто еще болѣе почернѣло и вросло въ землю. Садъ опустѣлъ и обнажился; на дорожкахъ лежала толстая стлань желтыхъ, мокрыхъ отъ дождя, листьевъ; плетневый частоколъ мѣстами совсѣмъ повалился, мѣстами еще держался кой-какъ на-вѣсу, какъ будто силился изобразить собой современное европейское равновѣсіе; за садомъ виднѣлась безконечная, безнадежная равнина; берега пруда были размыты и почернѣли; о-бокъ съ усадьбой темнѣли два ряда жалкихъ крестьянскихъ избъ, уныло глядѣвшихъ другъ на друга черезъ дорогу, по которой ни проѣхать, ни пройти невозможно. На дворѣ изморозь, вѣтеръ и грязь; всѣ лица красны и опухли отъ сиверки, всѣ одежды мокры отъ дождя. Надъ этой печальной картиной висѣло не менѣе печальное хмурое небо, какъ бы суля безнадежность, непріютность и тоску на безконечное время...

Сестрицы обѣ налицо и въ ожиданіи исхода кассаціонной жалобы дѣлятъ между собой мою движимость. На стульяхъ развѣшены мои дворянскіе мундиры, старые сюртуки, фраки, панталоны, совершенно такъ, какъ во время просушки лѣтомъ на солнцѣ отъ моли; на столѣ стоятъ банки съ вареньемъ и соленьемъ, бутылки съ наливкой и бутыль листовки, которую я охотнѣе другихъ водокъ пивалъ при жизни. Ключница Авдотья (старая! думала ли ты когда-нибудь, что будешь свидѣтельницей этого разоренія?), гремя ключами, безпрерывно приноситъ съ погреба новыя банки и, наслѣдивъ въ залѣ мокрыми сапогами, опять отправляется въ погребъ за ношей. Мой домъ

всегда смотрѣлъ полною чашей, но сестрицы, повидимому, изумлены той массой варенья, которую нашли у меня. Фофочка и Лелечка присутствуютъ при инвентарѣ моего имущества въ качествѣ депутатовъ: первая—со стороны сестрицы Дарьи Ивановны, вторая—со стороны сестрицы Марьи Ивановны.

Сестрицы находятся въ самомъ дружелюбномъ настроеніи духа. Мысль, что въ будущемъ имъ придется подѣлить милліонъ, навѣяла миръ въ сердца ихъ и сдѣлала ихъ сговорчивѣе относительно банокъ варенья и старыхъ панталонъ, дѣлежомъ которыхъ онѣ въ настоящую минуту заняты.

— Ужъ вы, сестрица, хоть одну банку съ клубникой мнѣ уступите!—говоритъ Марья Ивановна:—глядите-ка! мнѣ почти всѣ банки съ малиной достались.

— Извольте, сестрица!.. Фофочка! отставь отъ насъ банку съ клубникой, а банку съ малиной получи!

— Вотъ и мундирчикъ мнѣ тоже достался! Шитьецо-то только съ виду золотенькое, а посмотрѣть на него—все-то оно выгорѣло!

— За то на вашемъ суконце хорошее, сестрица! Мой-то вѣдь вывороченный! А я вотъ что̀, сестрица, думаю: куда это поленишевка у братца дѣвалась! Вѣдь какъ онъ ее, покойникъ, любилъ! Неужто Дунька-воровка все вылакала?

Но не успѣла сестрица Дарья Ивановна наклеветать на Авдотью, какъ послѣдняя является съ цѣлымъ грузомъ поленишевки. Бутылки торчатъ у нея и въ рукахъ, и подъ мышками, и за пазухой, и въ черномъ передникѣ, концы котораго она закусила зубами.

— Огурцы-то послѣ, что ли, дѣлить будете?—спрашиваетъ Авдотья.

— Завтра, Дуняша-голубушка! теперь у насъ другихъ дѣловъ много.

Сестрицы, чувствуя потребность отдыха, удаляются въ гостиную и усаживаются на софу.

— Ну-съ, сестрица, стало-быть, вся земля отъ Матрешкинова оврага до Кривой Ели—моя?—начинаетъ Дарья Ивановна.

— А отъ Кривой Ели до Софронова луга—моя,—отвѣчаетъ Марья Ивановна.

— Главное, сестрица, чтобъ разговору у насъ не было! чтобъ братца, голубчика, наши споры не потревожили! Пожилъ братецъ, царство небесное, не прожилъ, а нажилъ... надо и успокоить его, сестрица!

— Надо! ахъ, какъ надо; какъ ему молитва-то наша нужна! Вѣдь онъ, сестрица, царство ему небесное, какъ деньги-то наживалъ?! И съ живого, и съ мертваго... съ самаго, можно сказать, убогаго... все-то онъ дралъ! все-то дралъ! Бѣдный-то придетъ, бывало, а онъ вмѣсто того, чтобъ милостыньку сотворить, его же нагишомъ и отпуститъ!

— Что̀ говорить! не безъ грѣха! Ну, да наше дѣло сторона! Наше дѣло молиться, сестрица! Молиться да еще благодарить!

— И какъ еще, сестрица, благодарить! Вотъ я каждый день Лелечкѣ говорю: благодари, говорю, дура! Если-бъ не скончался братецъ, жила бы я теперь съ вами, оболтусихами, въ Ветлугѣ! А у насъ, сестрица, на Ветлугѣ и мужчинъ-то всего одинъ, да и тотъ землемѣръ!

Сестрицы на короткое время умолкаютъ, чтобъ перевести духъ.

— И какъ это, сестрица-сударыня, хорошо нынче заведено!—начинаетъ опять Дарья Ивановна:—сидимъ мы теперича здѣсь въ теплѣ да въ холѣ: ни-то на насъ вѣтромъ вѣнетъ, ни-то дождемъ спрыснетъ, а онъ-то, аблокатъ-то нашъ, то-то, чай, высуня языкъ по Петербургу рыскаетъ!

— Что-жъ, сестрица! взялъ денежки—и держись! Это ужъ званіе ихъ такое, чтобъ за другихъ задеря хвосты бѣгать! Иной человѣкъ ни за что по переднимъ нюхать не пойдетъ, а онъ, по своему званію, и это занятіе перенести долженъ!

— Слышала я, сестрица, что нынче надъ ними начальники въ судахъ поставлены. Прежде не было, а теперь есть. Нашъ-то такъ-таки прямо и объявилъ: «трудно, говоритъ, нынче, сударыня! ужъ на что, говоритъ, я безстрашенъ: и бурю, и слякоть, и холодъ, и жаръ—все стерплю! а начальства боюсь!»

— Долго ли до грѣха! Вотъ тоже, сказываютъ про одного: вралъ да вралъ, а начальникъ-то ему: «вы, говоритъ, забыли, въ какомъ государствѣ находитесь! въ такомъ, говоритъ, государствѣ, гдѣ врать не дозволено!» Такъ-таки прямо и выпалилъ!

Богъ знаетъ, куда бы завелъ сестрицъ этотъ простодушный разговоръ, если-бъ въ эту минуту не послышался звонъ колокольчика. Еще минута—и въ гостиной совершенно неожиданно появился тотъ самый молодой адвокатъ,

съ которымъ я уже познакомилъ читателя въ одной изъ предыдущихъ главъ моего «Дневника» (я забылъ тогда сказать, что фамилія его была Хлестаковъ, что онъ былъ сынъ того самаго Ивана Александровича Хлестакова,- съ которымъ я еще въ дѣтствѣ познакомился у Гоголя, и въ честь своего дѣдушки былъ названъ Александромъ). Но, увы! въ немъ уже не было и тѣни той заискивающей предупредительности, которая такъ очаровала меня въ то время, когда онъ велъ переговоры съ Прокопомъ!

Напротивъ, онъ былъ строгъ. Самъ приказалъ зажарить цыпленка, самъ выбралъ бутылку поленишевки и, распорядившись, чтобъ завтракъ былъ поданъ немедленно, разлегся на диванѣ и прямо приступилъ къ дѣлу. Сообщивъ сестрицамъ объ успѣхѣ кассаціи, онъ объяснилъ, что тѣмъ не менѣе торжество Прокопа въ будущемъ вполнѣ обезпечено. И нравы, и обычаи, и исторія, и статистика—все на его сторонѣ. И онъ, адвокатъ, конечно, не потащился бы въ эту «проклятую дыру» (такъ назвалъ онъ Проплёванную!), онъ даже плюнулъ бы на это поганое дѣло, если-бъ не было надежды, что Прокопъ со временемъ самъ изнеможетъ подъ бременемъ торжества своей добродѣтели. Торжествовать по два, по три раза ежегодно, и притомъ торжествовать до самой смерти—съ перваго взгляда это кажется легко, но въ сущности оно довольно обременительно. Что Прокопъ *долженъ* пойти на сдѣлку—это ясно; но вопросъ въ томъ, сколько потребуется времени для того, чтобы созрѣла въ немъ эта рѣшимость. Быть-можетъ, годъ, а быть-можетъ, и двадцать лѣтъ.

— Согласитесь сами, старушки, что двадцать лѣтъ сряду таскаться къ вамъ въ Проплёванную—совсѣмъ для меня не лестно,—заключилъ онъ, все непринужденнѣе и непринужденнѣе разваливаясь на диванѣ и укладываясь наконецъ на него съ ногами.

Сестрицы, словно ошпаренныя, молча стояли передъ нимъ, покуда онъ поигрывалъ съ pince-nez, насвистывалъ «l'amour ce n'est que ça» и смотрѣлъ въ потолокъ.

— Да-съ, не лестно-съ и не разсчетъ-съ!—началъ онъ вновь, закидывая руки подъ голову:—я въ Петербургѣ отъ ста до тысячи рублей въ день получаю—сколько это въ годъ-то составитъ?—да-съ! А вы тутъ со своею Проплёванною въ глаза лѣзете!.. Я за квартиру въ годъ пять тысячъ плачу! У меня мебель во всѣхъ комнатахъ золоченая—да-съ!

Сестрицы изъ учтивости раскрывали рты, какъ бы желая сказать нѣчто, но слова, очевидно, замирали у нихъ на устахъ. Я ждалъ одного изъ двухъ: или онъ ляжетъ брюхомъ внизъ, или встанетъ и начнетъ раздѣваться. Но онъ не сдѣлалъ ни того, ни другого. Напротивъ того, онъ зажмурилъ глаза и продолжалъ какъ бы въ бреду:

— У меня строго. Я двадцать помощниковъ нанимаю да тридцать человѣкъ разсыльныхъ на свой счетъ содержу. И всѣмъ съ утра до вечера работа. Свиснулъ—и разомъ во всѣ стороны прыснули, только пятки сверкаютъ! опять свиснулъ—и опять всѣ тутъ какъ тутъ! Мнѣ каждый день до тысячи справокъ нужно, и все по дѣламъ—да-съ! Я въ прошломъ году на два милліона дѣлъ выигралъ: по десяти процентовъ съ рубля—сколько это денегъ-то будетъ! А многіе даже половину отдаютъ, только, братецъ, выиграй—да-съ! А шельмецовъ сколько я защитилъ! Ну, то-есть, такого однажды мерзавца оправилъ, что даже прикоснуться къ нему скверно!—да-съ! Другіе всѣ отказались... а я—нѣтъ! Нѣтъ, говорю, господа! Это не такъ! Мерзавцу адвокатъ нуженъ! Коли, говорю, отъ мерзавцевъ отказываться, такъ намъ зубы, пожалуй, на полку придется положить!.. да-съ! У меня и сегодня въ судебной палатѣ разбирательство назначено... Милліонъ!! а я вотъ въ Проплёванной съ вами наливки распиваю... да-съ!

Сказавши это, онъ какъ-то усиленно засучилъ ногами, какъ дѣлаетъ человѣкъ, которому хочется одной ногой снять сапогъ съ другой ноги.

— У меня каждое утро съ одиннадцати до двухъ пріемъ и каждое утро не меньше ста каретъ у подъѣзда стоятъ—да-съ! Но какъ только пробило два часа—пріемъ кончился! Нѣтъ пріема—и дѣло съ концомъ. И тутъ мнѣ хоть сто тысячъ давай—дудки! ни одной минуты больше! Одинъ разъ князь Слабомысловъ—только минуту опоздалъ! одну только минуту! «Александръ Иванычъ, говоритъ, секундочку!»—Ни терціи! говорю.—«Но почему же такъ?»—А потому, говорю, что ежели вашего брата, кліента, баловать, такъ вы и совсѣмъ потомъ осѣдлаете! Да-съ! Можетъ-быть, и теперь, въ эту минуту, сто человѣкъ меня дожидается, а я... фью!.. гдѣ бы вы думали!.. въ Прррроплёванной!!

Сапогъ съ одной ноги летитъ на полъ.

— Меня однажды князь Серебряный (вотъ тотъ, что графъ Толстой еще цѣлый романъ о немъ написалъ!) къ

себѣ манивалъ... да-съ! «Если, говоритъ, сдѣлаютъ меня министромъ, пойдешь ты ко мнѣ?»—Нѣтъ, говорю, откровенно тебѣ скажу, князь, не пойду.—«Почему же такъ? Я, говоритъ, только для виду министромъ буду, а всѣмъ прочимъ будешь распоряжаться ты!»—И все-таки не пойду.—«Но почему же?»—А дашь ты мнѣ, говорю, въ годъ сто тысячъ?—«Но это, говоритъ, невозможно!»—А невозможно, говорю, такъ и разговаривать нечего!.. да-съ! А теперь онъ скажетъ: ко мнѣ идти не хотѣлъ, а въ Проплёванную, небось, есть разсчетъ ѣздить!

Другой сапогъ снятъ и летитъ на полъ. При этомъ видѣ сестрица Дарья Ивановна рѣшается наконецъ быть откровенною.

— Александръ Иванычъ! батюшка! да будьте вы съ нами по-родственному!—восклицаетъ она, простирая руки и какъ-то глупо оттопыривая губы.

Восклицаніе это, повидимому, возвращаетъ молодого человѣка къ дѣйствительности. Онъ, не торопясь, поднимается съ дивана, протираетъ глаза и позѣвываетъ.

— Гм!.. я, кажется, сапоги съ себя снялъ,—говоритъ онъ:—а вы ужъ и раскисли, старушки! По-родственному! Это значитъ: въ Проплёванной съ вами жить да наливки распивать... Недурно сказано!

И онъ такъ нагло захохоталъ имъ въ лицо, что я вдругъ совершенно ясно понялъ, какая подлая печать проклятія должна тяготѣть на всемъ этомъ паскудномъ родѣ Хлестаковыхъ, которые готовы вертѣться колесомъ передъ всѣмъ, что носитъ названіе капитала и силы, и въ то же время не прочь плюнуть въ глаза всякому, кто хоть на волосъ стоитъ ниже ихъ на общественной лѣстницѣ.

— Ну-съ,—продолжалъ онъ, вновь принимая строгій и дѣловой видъ: — разговаривать съ вами мнѣ некогда. Я пріѣхалъ затѣмъ, чтобъ предложить вамъ ультиматумъ. Примете его — прекрасно; не примете — только вы меня и видѣли.

Затѣмъ онъ вынулъ изъ бумажника пачку кредитокъ и поднесъ ее къ носу сестрицы Дарьи Ивановны...

. . . . . .

Дѣло кончилось въ какихъ-нибудь полчаса. Сестрицы продали и меня и мой милліонъ за десять тысячъ рублей, или, вѣрнѣе, за пять тысячъ, потому что только эта сумма была немедленно отсчитана, а остальныя пять тысячъ онѣ

имѣли право получить лишь тогда, когда ѳеодосійскіе присяжные окончательно произнесутъ: «да». Прокопъ устранилъ милліонъ изъ прежняго помѣщенія вполнѣ согласно съ обстоятельствами дѣла. Сверхъ того сестрицы обязывались: 1) являться на всѣхъ судахъ въ бѣдной и даже рваной одеждѣ, лгать, какъ будетъ указано, а въ случаѣ надобности и плакать; 2) дозволить магазину голландскихъ и билефельдскихъ полотенъ Гершки Зальцфиша (онъ же и антрепренеръ моего процесса, обязывавшійся дѣйствовать отъ имени сестрицъ) напечатать во всѣхъ газетахъ слѣдующее объявленіе:

«НЕДАВНО!!

въ нашемъ магазинѣ купили полдюжины голландскихъ носовыхъ платковъ несчастныя наслѣдницы автора «Дневника».

ОБѢЩАЯСЬ!!

въ случаѣ выигрыша процесса, купить цѣлый ассортиментъ рубашекъ, кальсоновъ, носовыхъ платковъ, скатертей, салфетокъ и другихъ полотняныхъ товаровъ, продающихся у насъ по баснословно-дешевымъ цѣнамъ, въ чемъ почтеннѣйшая публика удостовѣрится, посѣтивши нашъ магазинъ».

Alea jacta est... Гдѣ же принципъ собственности? гдѣ святость семейныхъ узъ? Если сестрицы сознавали свое право на обладаніе моимъ милліономъ, и если при этомъ имъ было присуще чувство собственности, то онѣ были обязаны идти до конца, влечься къ *своему* милліону инстинктивно, фаталистически, во что бы то ни стало и что бы изъ того ни произошло! Съ другой стороны, ежели онѣ чувствовали себя членами семьи, то точно такъ же фаталистически и до послѣдней крайности обязывались мстить моему обидчику. И въ чувствѣ собственности, и въ чувствѣ союза семейнаго не можетъ быть сдѣлокъ, ибо это даже не принципы, а естественное влеченіе человѣческой природы. Принципы можно сочинить, а слѣдовательно и отказаться отъ нихъ или видоизмѣнить; но какимъ образомъ устранить чувство, которое говоритъ само собой, независимо отъ какихъ-либо постороннихъ, искусственныхъ вліяній? Какъ заставить себя вожделѣть только десять тысячъ, когда предметъ вожделѣній совершенно конкретенъ и составляетъ милліонъ? Не все ли это равно, что сознавать себя сытымъ, когда все нутро вопіетъ о голодѣ?

Но въ наше развращенное время все возможно. Мы до того исковеркали себя, что даже самыя естественныя наши побужденія подчинили искусственнымъ примѣсямъ. Мы суживаемъ и расширяемъ ихъ по своему усмотрѣнію; мы отдаемъ ихъ въ жертву всевозможнымъ жизненнымъ компромиссамъ, забывъ совершенно, что самое свойство естественныхъ чувствъ таково, что они не подчиняются ни человѣческому произволу, ни тѣмъ менѣе какимъ-то компромиссамъ. Мать взыскиваетъ по векселю съ сына, подчиняясь естественному чувству собственности и въ то же время попирая естественное чувство семейственности. Та же мать, взыскавъ деньги съ одного сына, передаетъ ихъ другому, подчиняясь естественному чувству семейственности и отворачиваясь отъ естественнаго чувства собственности. Какой многознаменательный фактъ! Ужели это не повтореніе древняго миѳа о Харибдѣ и Сциллѣ? И какимъ образомъ усидѣть между этихъ двухъ стульевъ и не провалиться въ концѣ концовъ? Газета «Честолюбивая Просвирня», еженедѣльный органъ русскихъ праздношатающихся людей, давно уже, впрочемъ, замѣтила этотъ разладъ, и ежели до сихъ поръ не сумѣла ясно формулировать его, то единственно по незнанію русской грамматики. Знай она русскую грамматику, она доказала бы, какъ дважды-два — четыре, что вредный коммунизмъ, и подъ землей и по землѣ, и подъ водой и по водѣ, какъ червь или, лучше сказать, какъ голодный нѣмецъ, ползетъ, прокладывая себѣ дорогу въ сердца простодушныхъ обывателей россійскихъ весей и градовъ!

Я чувствовалъ этотъ разладъ вдвойнѣ: и какъ консерваторъ, и какъ бывшій откупщикъ. Не за себя мнѣ было обидно, а за тѣ святыни, которыя съ дѣтства составляли животворящее начало моей жизни! Какъ мелки и даже нравственно испорчены показались мнѣ сестрицы, и какъ былъ великъ, непосредственъ и цѣленъ, по сравненію съ ними, Прокопъ! Правда, и у него была минута слабости — минута, когда онъ предложилъ молодому Хлестакову десять тысячъ рублей срыву, но затѣмъ онъ уже, какъ говорится, осатанѣлъ и велъ себя какъ человѣкъ, въ которомъ естественное чувство собственности совершенно заглушило всѣ другія, наплывныя соображенія...

Даже молодой Хлестаковъ—и тотъ, съ точки зрѣнія философской, являлъ себя болѣе надежнымъ хранителемъ основныхъ человѣческихъ влеченій, нежели эти малодушныя

женщины, которыя имѣли наглость называть себя моими сестрами и наслѣдницами! Однажды завожделѣвъ, онъ тотчасъ же воплотилъ свое право и отдалъ себя ему весь до конца. И какъ блестяще онъ покончилъ съ сестрицами! Какъ ловко онъ поднесъ пачку ассигнацій къ самому носу сестрицы Дарьи Ивановны, въ такую минуту, когда она, ошеломленная кассаціоннымъ рѣшеніемъ, не могла даже понять, гдѣ кончается копейка и гдѣ начинается милліонъ! Бѣдная, она даже чихнула отъ наслажденія: до такой степени живо заговорило въ ней чувство собственности! Да, это было чувство собственности, хотя чувство не полное, чисто-женское чувство, не умѣющее отличить гривенникъ отъ рубля и, быть-можетъ, по этой причинѣ неспособное ни на какія самопожертвованія ради великихъ общихъ принциповъ!

Да; надо, ахъ какъ надо написать объ этомъ статью и послать ее къ Менандру! Вмѣсто того, чтобъ бормотать на тему, правильно или неправильно поступаетъ огородникъ, разводя при огородѣ козловъ (вѣдь это даже за насмѣшку принять можно! можно подумать, что и «огороды» и «козлы» тутъ только для прилику, настоящее же заглавіе статьи таково: «правильно ли поступаетъ администраторъ, разводя въ своемъ вѣдомствѣ либераловъ?») — не лучше ли прямо обсудить вопросъ: отчего стремленія, вполнѣ естественныя въ теоріи, на практикѣ оказываются далеко не столь естественными? Что̀ тутъ составляетъ миражъ: самыя ли стремленія, или та практика, которая извращаетъ ихъ?..

Но какая, однако-жъ, это странная штука! Теперь моими родственниками и наслѣдниками оказываются не сестрицы, а Хлестаковъ съ цѣлою шайкой совершенно неизвѣстныхъ жидовъ, производящихъ распродажу полотенъ! О, пархатые! какимъ чудомъ могло заползти въ ваши сердца чувство родственной любви къ человѣку вполнѣ для васъ неизвѣстному? Или я не человѣкъ, а только «рубль», на которомъ ничего не написано, кромѣ того, что это res nullius, которая, въ этомъ качествѣ, cedit primo occupanti, то-есть еврею Зальцфишу, продающему настоящіе голландскіе платки на углу Большой Мѣщанской и Гороховой!

Какъ бы то ни было, но симпатіи мои къ Прокопу возрастали все больше и больше. Не говоря уже объ его вѣрности принципамъ, меня подкупали еще воспоминанія. Онъ любилъ меня, онъ дѣлилъ со мной радость и горе. Вмѣстѣ съ нимъ я изучалъ петербургскія трактирныя заведенія,

наслаждался Шнейдершей, Кадуджей, засѣдалъ въ шухардинскомъ международномъ статистическомъ конгрессѣ и вытерпѣлъ въ «Отель дю-Нордъ» опаснѣйшій политическій процессъ. Наконецъ какія превосходныя устроилъ онъ мнѣ похороны! Въ виду всего этого могъ ли я винить его? Вѣдь деньги мои не были заперты! вѣдь онъ былъ одинъ въ моментъ моей смерти, или, по крайней мѣрѣ, мнилъ себя быть однимъ! Ну, могъ ли же онъ? Ради самого Бога, могъ ли онъ воздержаться, могъ ли не дать воли чувству стяжанія, которое дѣлается въ особенности жгучимъ, почти нестерпимымъ при видѣ того, что̀ плохо лежитъ! И не забудьте, что вѣдь плохо-то лежалъ... милліонъ!!!

Гдѣ были въ это время сестрицы? Бодрствовали ли онѣ? Слѣдили ли за тѣмъ, какъ я, постепенно спиваясь съ кругу, погружаюсь на самое дно петербургскихъ наслажденій! Нѣтъ, онѣ унывали въ Ветлугѣ! Онѣ роптали на судьбу, которая послала на Ветлугу *только* одного мужчину, да и то землемѣра... О, маловѣры!

Но, дойдя до этихъ заключеній, я самъ испугался. Оказывалось, что и во мнѣ естественное чувство семейственности настолько ослабло, что и я не усомнился узы случайной пріязни предпочесть узамъ кровнаго родства! Если-бъ я не былъ развращенъ современными вѣяніями, я долженъ былъ бы любить сестрицъ во что бы ни стало. Любить, хотя бы онѣ ненавидѣли меня и дѣлали мнѣ на каждомъ шагу всякія мерзости! Братцы! сестрицы! грабьте! — вы всегда будете милы мнѣ! Почему вы *должны* быть мнѣ милыми—это «тайна». Это неисповѣдимѣйшая изъ всѣхъ тайнъ современности, въ которыхъ ненависти и любви такъ хитро переплелись между собой, что самъ Менандръ, со всѣмъ соборомъ пѣнкоснимателей, конечно, не разрѣшилъ бы, любовь ли тутъ породила ненависть, или ненависть породила любовь!

Сгорая нетерпѣніемъ познакомиться съ моими новыми родственниками, душа моя воспарила въ Петербургъ. Но тутъ, я долженъ сознаться, воспоминанія мои уже теряютъ свою послѣдовательность и представляются въ формѣ отрывковъ, лишенныхъ строгой органической связи.

Сначала я перенесся какъ бы на сцену Большого театра. Давали «Жидовку»: всѣ пархатые были налицо и производили тайное жидовское моленіе. За большимъ столомъ, покрытымъ бѣлою скатертью, посрединѣ, лицомъ къ зрителямъ, сидѣлъ Гершка Зальцфишъ и разбитымъ теноромъ

произносилъ возгласы. Онъ былъ одѣтъ въ длинную одежду и препоясанъ, какъ бы собираясь въ длинный путь. На столѣ лежали опрѣсноки и зажаренная на собственномъ салѣ каширная овца, приправленная чеснокомъ. Мошка Гиршфельдъ, Іозель Зальцманъ, Іерухимъ Хайклъ, Ицко Праведный и множество другихъ жидовъ-акціонеровъ (въ числѣ ихъ я узналъ нѣкоторыхъ зубныхъ врачей) расположились кругомъ стола и подтягивали. Они молились за успѣхъ *моего* дѣла и взывали къ Іеговѣ объ отмщеніи. На одномъ концѣ стола пріютился Александръ Иванычъ Хлестаковъ и, умильно посматривая на Рифку Зальцфишъ, помѣстившуюся на другомъ концѣ, обдумывалъ, что̀ выгоднѣе: перейти ли въ жидовскую вѣру, или потурчиться? Затѣмъ, когда каширная овца была доѣдена, Хлестаковъ всталъ изъ-за стола и доложилъ общему собранію господъ акціонеровъ, что онъ успѣлъ отыскать двоихъ новыхъ и притомъ совершенно достовѣрныхъ лжесвидѣтелей. Одинъ изъ нихъ—извѣстный номерной Гаврюшка, который согласенъ за сто цѣлковыхъ и подтвердить, и перемѣнить свое прежнее показаніе—какъ угодно; другой—елабужскій мѣщанинъ Іуда Стрѣльниковъ, который, ѣхавши на пароходѣ отъ Казани до Елабуги, собственными ушами слышалъ, какъ бывшій камердинеръ Прокопа, Семенъ, хвастался, что получилъ однажды плюху за то, что назвалъ его воромъ. Показаніе это Стрѣльниковъ соглашается подтвердить и на судѣ, если ему будетъ дано двѣсти рублей.

— Но пусть лжесвидѣтели сами изложатъ передъ собраніемъ свои показанія! — восклицаетъ легкомысленный Хлестаковъ.

Входитъ Гаврюшка, съ заложенными, по привычкѣ, назадъ руками. Онъ въ оборванномъ сюртучишкѣ; лицо безобразно опухло; глаза устремлены въ полъ; ноги дрожатъ. Отъ всей этой фигуры разитъ водкой, распутствомъ и тѣмъ нестерпимымъ запахомъ, который можно обонять только въ отвратительныхъ конурахъ, гдѣ ютится на ночь трактирная прислуга. Онъ вздыхаетъ какъ бы подъ бременемъ раскаянія и въ то же время блуждаетъ по столу, разыскивая, нѣтъ ли гдѣ водки. Изъ-за него выглядываетъ маленькая, юркая фигура расторопнаго елабужскаго мѣщанина Стрѣльникова.

Оба по очереди излагаютъ свои показанія. Гаврюшка поетъ свою арію пьянымъ басомъ. Стрѣльниковъ—дребезжащимъ, слабосильнымъ теноромъ. По временамъ голоса ихъ сливаются и образуютъ дуэтъ.

Затѣмъ ихъ заставляютъ сѣсть на стулья и положить руки подъ стегно въ знакъ того, что они будутъ лжесвидѣтельствовать по самой сущей истинѣ и такъ точно, какъ научилъ ихъ господинъ Хлестаковъ.

Лжесвидѣтелей увели; Гершка всталъ съ своего мѣста и, какъ ошпаренный, забѣгалъ по сценѣ. Глаза его горѣли, пейсы тряслись, на губахъ сочилась пѣна.

— Сами зе видѣли! сами зе теперь видѣли!—кричалъ онъ въ изступленіи.

— Видѣли! Видѣли!—отвѣчалъ ему хоръ.

— Іерухимъ! теперь бѣзите! бѣзите теперь нахъ бирза... гешвиндъ! И всѣмъ сказите: насли лзесвидѣтелей! Герсту! не лозныхъ, а настояссихъ, самыхъ луццихъ лзесвидѣтелей! И продайте тысяцу акцій!

Іерухимъ убѣжалъ, а Гершка вдругъ закружился, началъ подпрыгивать, колотить себя въ грудь и выкрикивать какіе-то неистовые звуки. Примѣру его послѣдовали и прочіе, а между ними и Хлестаковъ. Такимъ образомъ продолжалось около получаса. Наконецъ всѣ повалились, кто куда попалъ, и Гершка потухшимъ голосомъ произнесъ:

— О, вей миръ! и какой зе ты великій мосенникъ, Іерухимъ! И сто зе онъ тамъ говоритъ! И мозно ли такъ говорить... и гдѣ зе?.. на бирза! И никакихъ зе лзесвидѣтелей совсѣмъ нѣтъ! О, Іосель! о, другъ мой Іосель! Бѣзите теперь ви! Бѣзите нахъ бирза и всѣмъ говорите! Всѣмъ сказите, сто Іерухимъ говоритъ... ахъ, пфуй! сто зе онъ говоритъ! И ницего зе этого нѣтъ! И никакой лзесвидѣтель не приходилъ! И купите тысяцу акцій!

Это было такъ любопытно, что душа моя сейчасъ же воспарила на биржу, чтобъ удостовѣриться, что̀ изъ этого выйдетъ.

Іерухима еще не было. Настроеніе биржи было *вялое.* Цѣна акцій представлялась въ слѣдующемъ видѣ: продавцы 71, покупатели $70^1/_2$ безъ сдѣлокъ. Вдругъ прибѣжалъ Іерухимъ и, воздѣвши руки, воскликнулъ:

— О, вей! насли двухъ самыхъ луццихъ, самыхъ настояссихъ лзесвидѣтелей!

Тогда произошло смятеніе. Всѣ бросились покупать, и Іерухимъ въ какіе-нибудь полчаса времени спустилъ тысячу акцій: покупатели $78^3/_4$, продавцы $80^1/_2$, сдѣлано $78^7/_8$. Но въ этотъ самый моментъ, когда Іерухимъ продалъ послѣднюю акцію, прибѣжалъ весь блѣдный Іосель и, растерзавъ на себѣ ризы, воскликнулъ:

— О, Іерухимъ, ты великій мосенникъ и воръ! Не вѣрьте зе ему! не вѣрьте! Никакихъ зе лзесвидѣтелей нѣтъ!

Цѣлая толпа бросилась на Іерухима и принялась бить его. Но Гершка достигъ своей цѣли: акціи упали немедленно и были скуплены Іоселемъ обратно: продавцы $62^1/_2$, покупатели 62, сдѣлано $62^1/_8$.

Итакъ, на моемъ дѣлѣ Гершка, такъ сказать, моментально выигралъ слишкомъ шестнадцать тысячъ рублей! Этого мало! едва появилось объявленіе, что мои наслѣдницы купили въ магазинѣ Зальцфиша полдюжины носовыхъ платковъ, какъ публика валомъ повалила на уголъ Гороховой и Большой Мѣщанской и съ десяти часовъ утра до десяти часовъ вечера держала въ осадѣ лавку, дотолѣ никѣмъ не посѣщаемую. Въ этотъ день было продано 100 дюжинъ рубашекъ, 1.000 паръ мужскихъ и женскихъ кальсоновъ, 500 дюжинъ носовыхъ платковъ и по соразмѣрности прочихъ товаровъ. Вечеромъ Гершка телеграфировалъ въ Ярославль съ требованіемъ скупить у тамошнихъ бабъ все билефельдское полотно, какое окажется въ наличности...

Однако фактъ существованія лжесвидѣтелей былъ налицо, и я бросился къ Прокопу, чтобы предупредить его насчетъ предательства Гаврюшки.

Но какъ же я былъ пріятно изумленъ!!

Оказалось, что все это не больше, какъ подпольная интрига, въ которой дѣятельными лицами являлись агенты Прокопа и жертвою которой долженъ былъ пасть молодой Хлестаковъ! Что и Гаврюшка, и Іуда Стрѣльниковъ—не только не лжесвидѣтели, но просто благонамѣреннѣйшіе люди, изъявившіе согласіе, за извѣстную плату, надуть моихъ новыхъ пархатыхъ родственниковъ!

Я отсюда представляю себѣ эту изумительную сцену. Хлестаковъ горячится и требуетъ призыва Гаврюшки и Стрѣльникова; напротивъ того, адвокатъ Прокопа съ чувствомъ и даже настойчиво отклоняетъ это требованіе. Но правда однако-жъ превозмогаетъ; свидѣтели вызваны: Хлестаковъ потираетъ руки... настораживаетъ уши, старается уловить каждое слово, каждый звукъ драгоцѣннаго свидѣтельства—и что̀ же слышитъ?!

— Ничего этого я не знаю,—говоритъ Гаврюшка:—человѣкъ я слабый, пьяный! Служилъ я у нихъ—это точно... Только ужъ оченно строги они были... ахъ, какъ были строги!

— Правда ли, что подсудимый неоднократно билъ васъ?— спрашиваетъ Гаврюшку защитникъ Прокопа.

— И бивали... страсть какъ бивали! Бывало, чуть что— сейчасъ въ ухо или по зубамъ!

— Прошу господъ присяжныхъ обратить на это показаніе особенное вниманіе!—обращается защитникъ Прокопа къ присяжнымъ:—оно уничтожаетъ въ прахъ всѣ эти гнусныя клеветы насчетъ подкуповъ и угрозъ, которыя злонамѣренно распускаются въ обществѣ. Вотъ свидѣтель, который прямо показываетъ, что подсудимый не только не подкупалъ, но и билъ его... и за всѣмъ тѣмъ въ благодарной своей памяти не находитъ ни единаго факта, который могъ бы очернить моего кліента! Еще разъ прошу васъ обратить на это вниманіе!

— Было у насъ это дѣло такимъ манеромъ,—показываетъ въ свою очередь Іуда Стрѣльниковъ:—призываютъ они меня, вотъ этотъ самый господинъ Хлестаковъ, и говорятъ: «вотъ тебѣ, говорятъ, къ примѣру два золотыхъ, покажи, значитъ, что Семенъ Петровъ при тебѣ на пароходѣ хвастался!» А я, ваше превосходительство, совѣсть имѣю.—Какъ же, молъ, говорю, Александръ Иванычъ, я теперича объ этомъ самомъ дѣлѣ показывать буду, коли ежели я ничего про него не знаю?—Однако они меня не послушали: «ничего, говорятъ, показывай! я тебя вызову».—Какъ угодно, говорю, а только мы противъ совѣсти показывать не согласны!—Только у насъ и разговору, ваше превосходительство, съ ними было!

Хлестаковъ краснѣетъ и блѣднѣетъ; онъ чувствуетъ, какъ сознаніе собственнаго легкомыслія начинаетъ угрызать его. Конечно, впослѣдствіи онъ пойметъ ту теорію «встрѣчнаго подкупа», которую всесторонне разработалъ Прокопъ, но когда онъ пойметъ ее—будетъ уже поздно...

Каковъ сюрпризъ!!...

Но я возвращаюсь къ разсказу.

Я засталъ Прокопа въ той самой гостиницѣ, въ которой онъ остановился по пріѣздѣ въ Петербургъ. Онъ, по обыкновенію своему, шагалъ изъ угла въ уголъ, но по времснамъ останавливался и меланхолически разсматривалъ щегольской сѣрый казакинъ съ бубновымъ тузомъ на спинѣ, который сгоряча заказалъ для себя и въ которомъ теперь не предстояло никакой надобности. Передъ нимъ, какъ бѣсъ передъ заутреней, вертѣлся маленькій человѣкъ, не то армянинъ, не то грекъ,—однимъ словомъ, существо, кото-

рое Прокопъ, подъ веселую руку, называлъ «православнымъ жидомъ». Это былъ секретный агентъ Прокопа, агентъ, на обязанности котораго лежало отыскиванье лжесвидѣтелей, устройство различныхъ судебныхъ сюрпризовъ и другая черная работа. У дверей, прислонясь къ притолкѣ, стояли: ополоумѣвшій отъ водки Гаврюшка и расторопный елабужскій мѣщанинъ Іуда Стрѣльниковъ.

— Боюсь, не повѣрили они! Не пойдутъ, братъ, они на эту штуку!—какъ-то лѣниво резонировалъ Прокопъ, выслушавъ докладъ своего агента.

Гаврюшка только хлопалъ въ отвѣтъ глазами. За него выступилъ впередъ съ отвѣтомъ Стрѣльниковъ.

— Ваше высокородіе! позвольте слово сказать-съ.

— Говори, братецъ!

— Возможное ли теперича дѣло, чтобы они не повѣрили, коли мы, значитъ, даже руки, съ позволенія сказать, подъ себя клали! По ихнему, теперича, какой это разговоръ? «Вѣрное слово»—и больше ничего!

Прокопъ вопросительно взглянулъ на «православнаго жида».

— Это такъ точно, ваше высокородіе! — засуетился послѣдній:—это у нихъ... это ежели кто руку подъ себя положилъ....

— Позвольте, Экономидъ Мурзаханычъ! — вступился Стрѣльниковъ:—я ихъ высокородію все объясню. Ваше высокородіе! возможно ли мнѣ этихъ дѣловъ не знать, коли я этого самаго жида... другой, значитъ, козла своего столько не знаетъ, сколько я этихъ жидовъ наскрозь проникъ!

— Ой ли? Очень ужъ, погляжу я, ты хвастаться ловокъ! А ты знаешь ли, что̀ значитъ елабужскій мѣщанинъ *)?

— И это знаю-съ! Я все знаю-съ. Потому я, ваше высокородіе, не токмà что въ Елабугѣ, а даже въ самомъ Парижѣ проживаніе имѣлъ-съ!

— Ври, дуракъ!

— Вѣрное слово, ваше высокородіе! Потому тятенька у меня человѣкъ строгій, можно сказать даже ровно истуканъ простой... Жили мы теперича въ этой самой Елабугѣ, и сдѣлалось мнѣ вдругъ ужасти какъ непросторно! Тоись, такъ не просторно! такъ не просторно! Ну, и сталъ я, значитъ, пропадать; день меня нѣтъ, два дня нѣтъ—

---

*) «Елабужскими мѣщанами» въ Вятской губерніи называютъ извѣстныхъ, особенно надоѣдливыхъ паразитовъ.

натурально, отъ родителевъ гнѣвъ. Вотъ и говорятъ мнѣ тятенька: «ступай, говоритъ, сукинъ сынъ, куда глаза глядятъ!»

— Да въ Парижъ-то тебя какъ нелегкая занесла?

— Постепенно-съ. Съ господами пріѣхалъ-съ. Я, ваше высокородіе, при каммунѣ сторожемъ состоялъ!

— Ну!?

— Точно такъ, ваше высокородіе. Только я, конечно, по чувствамъ своимъ больше до господина Тьера касательство имѣлъ... Утромъ, извѣстно, въ каммунѣ служишь, а вечеромъ—касательство въ Версали-съ...

Стрѣльниковъ смотрѣлъ такъ ясно и даже интеллигентно, что Прокопъ, нѣсколько разъ во время разговора подмигивавшій «православному жиду», окончательно повеселѣлъ.

— Выжига, значитъ!

— По нашему знанію, ваше высокородіе, никакъ безъ этого невозможно-съ! Теперича, напримѣръ, хоть бы вы-съ. Призываете вы меня: предоставь мнѣ, Стрѣльниковъ, то али, положимъ, хоть и другое! Долженъ ли я вашему высокородію удовольствіе сдѣлать?

— Только ты смотри у меня, держись въ струнѣ, не сбренди! Я, братъ, вѣдь золъ! Я тебя—если что—въ преисподней достану! Какъ только онъ тебя свидѣтелемъ вызоветъ—сейчасъ ты его удиви!

— Ваше высокородіе! Довольно вамъ сказать: какъ передъ Истиннымъ, такъ и передъ вами-съ! Наплюйте вы мнѣ въ лицо! Въ самые, тоись, глаза мнѣ плюньте, ежели я хоть на волосокъ сфальшу! Сами посудить извольте: они мнѣ теперича двѣсти рублей посулили, а отъ васъ я четыреста въ надеждѣ получить! Не низкій ли же я противъ васъ человѣкъ буду, ежели я этихъ пархатыхъ въ лучшемъ видѣ вашему высокородію не предоставлю! Тоись, такъ ихъ удивлю! такъ удивлю! Тоись... и Боже ты мой!

. . . . . .

Далѣе я не слушалъ: я понялъ.

Но тутъ нить моего сновидѣнія прерывается окончательно. Я чувствую, что лечу стрѣлой черезъ необозримое пространство, лечу, лечу... и наконецъ упадаю на самое дно пропасти.

Прошло двадцать пять лѣтъ; девятнадцатый вѣкъ на исходѣ, а Прокопъ все еще судится. Изъ похищеннаго милліона у него осталось всего-на-все двѣсти пятьдесятъ ты-

сячъ, а онъ въ теченіе двадцати пяти лѣтъ, несмотря на всю быстроту судопроизводства, едва-едва успѣлъ дотянуть до половины буквы *В*. Сто двадцать пять городовъ, мѣстечекъ, посадовъ и крѣпостей были свидѣтелями торжества его добродѣтели, но сколько еще тысячъ городовъ предстоитъ впереди—это невозможно даже приблизительно опредѣлить. Къ несчастью для Прокопа, благодаря чрезмѣрному развитію промышленности, каждый годъ, какъ на смѣхъ, возникаетъ множество новыхъ городовъ и мѣстечекъ, такъ что ему безпрестанно приходится возвращаться назадъ, къ буквѣ *А*. А тутъ еще и другое неудобство: порядокъ переѣзда изъ одного города въ другой, вслѣдствіе канцелярскаго недоразумѣнія, принятъ алфавитный, и Прокопъ по этой причинѣ обязывается переѣзжать изъ Бѣлева въ Бѣлозерскъ, изъ Бѣлозерска въ Бѣлополье и т. д.

Въ настоящую минуту онъ въ Верхотурьѣ (Пермской губерніи) и дѣятельно готовится къ переѣзду въ Верхоянскъ (Якутской области)...

Европа давно уже измѣнила лицо свое; одни мы, русскіе, остаемся попрежнему незыблемы, счастливы и непреоборимы. Въ Европѣ, вслѣдствіе безначалія, давно ѣсть нечего, а у насъ попрежнему всего въ изобиліи. Идя постепенно, мы дожили до того, что даже Верхотурье увидѣло гласный судъ въ стѣнахъ своихъ. Благо Уральскій хребетъ перейденъ, а тамъ до Восточнаго океана—ужъ рукой подать!

Благодаря этой постепенности, успѣхи, которые сдѣлала русская жизнь въ продолженіе послѣднихъ двадцати пяти лѣтъ, поистинѣ изумительны! Въ каждомъ городѣ существуетъ клубъ, въ которомъ за 75 копеекъ можно получить неприхотливый, но сытный обѣдъ, состоящій изъ трехъ блюдъ. Исправники не называются больше исправниками, а носятъ титулъ «излюбленныхъ губернаторами людей» и въ этомъ качествѣ занимаютъ въ клубахъ должности «главныхъ старшинъ». Вредный административный антагонизмъ исчезъ совершенно; земскія управы, изнемогши въ борьбѣ съ мостами и перевозами, оставили за собой лишь уѣздную и губернскую статистику, но зато довели эту науку до такого совершенства, что старикъ Кеттлѐ, пріѣхавъ однажды въ Балахну («Балахня—стоитъ ротъ распахня», говоритъ народная пословица), воскликнулъ: «nunc dimittis!»—и тутъ же испустилъ многомятежный духъ свой. Городскіе головы оставили за собой одну спеціальность:

угощать по воскресеньямъ «излюбленныхъ губернаторами людей» пирогами. Въ судахъ безначаліе устранено окончательно благодаря тому, что независимость судей была счастливымъ образомъ уравновѣшена перспективою повышеній и наградъ. Самые судьи собирались только по субботамъ единственно для того, чтобы закончить дѣла, начавшіяся еще въ «эпохи независимости», и затѣмъ, условившись, куда идти вечеромъ въ баню, и явивъ міру примѣръ судопроизводства гласнаго и невреднаго, расходились по домамъ. Хотя же рядомъ съ «новыми» существовали еще «новѣйшіе», но имъ дѣлать было нечего, за отсутствіемъ преступленій и процессовъ. Воровать и грабить было воспрещено строго-на-строго, а въ 1891 году, по иниціативѣ белебеевскаго «излюбленнаго губернаторомъ человѣка», всѣмъ ворамъ было поставлено въ обязанность подать о себѣ особыя ревизскія сказки, по исполненіи чего они немедленно были посажены на цѣпь, и тѣмъ сразу прекращены были способы для производства дальнѣйшихъ съ ихъ стороны беззаконій. Гражданскіе процессы тоже прекратились, такъ какъ общество убѣдилось, что оттягать, напримѣръ, домъ у сосѣда вовсе не значитъ получить этотъ домъ въ свою собственность, но значитъ отдать его адвокату въ вознагражденіе за ходатайство. Образованіе проникло всюду, такъ что даже пастухи, охраняя ввѣренныя имъ стада, очень удовлетворительно склоняютъ *mensa*. Паспортовъ нѣтъ; на мѣсто ихъ введены маленькія-маленькія карточки, которыя, занимая въ карманѣ втрое менѣе мѣста противъ прежнихъ неуклюжихъ листовъ, доставляютъ населенію удобства неисчислимыя. Раздѣленія на военныхъ и статскихъ не существуетъ; всѣ одновременно — и статскіе, и военные—сперва займутся статскими дѣлами, то-есть взысканіемъ недоимокъ; потомъ, сейчасъ же вслѣдъ затѣмъ, примутся за военныя дѣла, выйдутъ на площадь, зачнутъ шагать, кружиться, потомъ опять шагать:

Въ колонну
Соберись бѣгомъ!
Трезвону
Зададимъ штыкомъ!
Скорѣй! скорѣй! скорѣй!

Нѣтъ также и раздѣленія на платящихъ и не платящихъ. Податная комиссія, выдавъ 501-й томъ своихъ трудовъ, выработала наконецъ уставъ, которымъ всѣ остались довольны. Всѣ платятъ и притомъ съ удовольствіемъ, и при-

томъ противъ прежняго втрое. Затѣмъ, такъ какъ все необходимое уже выполнено и поводовъ для огорченій не существуетъ, то политическія и литературныя партіи, раздиравшія наше общество двадцать пять лѣтъ тому назадъ, исчезли сами собой. Ругательства, составлявшія красоту полемики семидесятыхъ годовъ, упразднены, хотя литература совершенно свободна. Совѣтъ книгопечатанія однако-жъ еще существуетъ, но лишь для проформы, какъ нелишняя архитектурная подробность. Одинъ Менандръ не измѣнилъ традиціямъ и дерзче нежели когда-нибудь выражаетъ свой восторгъ по поводу переименованія исправниковъ въ излюбленныхъ губернаторами людей. Внѣшняя политика тоже въ порядкѣ: по смерти Тьера мы успѣли усадить въ президентскомъ креслѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника Петра Толстолобова, который, еще въ бытность губернаторомъ, выказалъ замѣчательный тактъ въ борьбѣ съ губернскимъ предводителемъ дворянства. Австрію мы предоставили ея собственной судьбѣ; отъ Италіи получили вѣрное слово, что ежели Пій IX будетъ упорствовать въ своихъ заблужденіяхъ, то всѣ итальянцы, какъ одинъ человѣкъ, обратятся въ св. синодъ съ просьбой о возсоединеніи, и т. д. Остается одинъ только неясный пунктъ: Византія еще не покорена. Но такъ какъ въ газетахъ отъ времени до времени помѣщалась офиціозная замѣтка, извѣщавшая, что на-дняхъ послѣдовало въ законодательномъ порядкѣ утвержденіе штатовъ византійской контрольной палаты, то даже самъ И. С. Аксаковъ согласился до поры до времени молчать объ этомъ предметѣ, дабы съ одной стороны—не волновать безплоднымъ лиризмомъ общественнаго мнѣнія, а съ другой стороны—развязать правительству руки, буде оно въ самомъ дѣлѣ намѣрено распространить на весь юго-востокъ Европы дѣйствіе единства кассъ.

Вмѣстѣ со всѣмъ окружающимъ измѣнился и Прокопъ. Онъ одряхлѣлъ, обрюзгъ и ничего не можетъ ѣсть, кромѣ манной каши. Но духъ его все еще бодръ, такъ что теперь, прибывъ въ Верхотурье, онъ прежде всего спрашиваетъ, каковъ клубный поваръ въ Верхоянскѣ и чего больше въ тамошней гостиницѣ: блохъ или клоповъ. Однимъ словомъ, намѣренія остались прежнія, только средства къ ихъ выполненію ослабѣли.

Да и не мудрено было Прокопу сохранить бодрость духа. Въ теченіе прошедшихъ двадцати пяти лѣтъ онъ не только не понесъ никакого нравственнаго ущерба, но, благодаря

процессу, успѣлъ сдѣлаться однимъ изъ самыхъ популярныхъ людей въ цѣлой Россіи. Вездѣ, гдѣ онъ ни судился, остались благодѣтельные слѣды его пребыванія. Въ Арзамасѣ онъ пожертвовалъ сто рублей на соединеніе каналомъ рѣки Тещи и Сережи; въ Ардатовѣ Симбирскомъ на свой счетъ очистилъ отъ навоза базарную площадь; въ Богучарѣ устроилъ народный праздникъ и кинулъ на драку сто рублей; въ Алексинѣ выписалъ изъ Голландіи мастера, который научилъ обывателей мариновать знаменитыхъ алексинскихъ пискарей; въ Болховѣ подалъ мысль о проведеніи желѣзнодорожной вѣтви къ Мценску, въ видахъ успѣшнѣйшаго сбыта несравненныхъ болховскихъ котёлокъ, и т. д. Поэтому мѣстныя начальства принимали его съ почтительнымъ радушіемъ и съ твердой надеждой на болѣе свѣтлое для себя будущее. Во всякомъ городѣ существовали: или грязь по колѣна, или навозъ по уши, слѣдовательно всякому городу лестно было обратить вниманіе сильнаго человѣка на эти язвы, хотя бы и достовѣрно было извѣстно, что капиталы этого сильнаго человѣка пріобрѣтены не совсѣмъ чистымъ путемъ. Вездѣ Прокопа чествовали на славу: вездѣ сажали на первое мѣсто и угощали кашей на всевозможныхъ бульонахъ.

Столь почтительно-благосклонное отношеніе начальствующихъ не могло не оказать вліянія и на умы присяжныхъ засѣдателей. Сначала въ средѣ ихъ, конечно, случалось нѣчто похожее на разномысліе, такъ что твердые въ вѣрѣ не иначе какъ съ бою брали каждый свой шагъ. Но это, очевидно, было только недоразумѣніе, обязанное своимъ происхожденіемъ лишь новости дѣла. Я самъ было-испугался этому явленію и, сознаюсь, употребилъ даже военную хитрость, чтобъ побороть его. А именно: однажды, замѣтивъ, что силы «борцовъ за милліонъ» ослабѣваютъ, я незримо пролетѣлъ между присяжными и сразу убѣдился, что этого вполнѣ достаточно, чтобъ добродѣтель Прокопа восторжествовала. Какъ только появилась моя тѣнь, такъ тотчасъ же комната присяжныхъ наполнилась тѣмъ острымъ «запахомъ милліона», который въ наши дни рѣшаетъ судьбу не гарантированныхъ правительствомъ предпріятій. Но, начиная съ Ардатова, гдѣ Прокопъ въ одну ночь освободилъ базарную площадь отъ вѣками накопившагося на ней навоза, и къ этой уловкѣ прибѣгать не предстояло уже надобности. Присяжные словно осовѣли. Имъ, повидимому, казалось даже страннымъ, что на обсужденіе ихъ предла-

гается вопросъ о какихъ-то родственникахъ, тогда такъ всѣмъ извѣстно, что никакихъ заинтересованныхъ въ этомъ дѣлѣ родственниковъ нѣтъ, а есть просто шайка пархатыхъ жидовъ, которые, по старинной ненависти къ христіанству, нанимаютъ легкомысленнаго Хлестакова, чтобы терзать человѣка за то, что онъ не пропускаетъ ни одной обѣдни! Вѣдь жиды ужъ навѣрное ограбили бы! навѣрное не оставили бы даже той старинной копеечки, которою благословила дѣдушку Матвѣя Иваныча неизвѣстная нищенка и къ которой Прокопъ, изъ уваженія къ семейной святынѣ, даже не прикоснулся! А если бы *они* ограбили, то почему же... о чемъ же тутъ толковать, скажите на милость!?

По всѣмъ этимъ соображеніямъ, начиная съ Ардатова, даже судоговоренія по моему дѣлу почти никакого не было, Соберется судъ; Прокопа усадятъ между двумя жандармами на скамью обвиняемыхъ (постепенно онъ такъ обтерпѣлся, что безстрашно пробовалъ пальцами, тупые или острые у жандармскихъ сабель клинки), прочтутъ на почтовыхъ съ пятаго на десятое обвинительный актъ (Прокопъ во всеуслышаніе при этомъ восклицаетъ: «и зачѣмъ эти «часы» въ сотый разъ читаютъ!») и въ одну минуту окрутятъ лжесвидѣтелей. Потомъ выйдетъ на сцену прокуроръ, скажетъ для проформы: «ахъ, какое негодованіе возбуждаетъ въ душѣ моей этотъ ужасный преступникъ, который даже не понимаетъ, что, сознайся онъ—давно бы его сослали на поселеніе въ Сибирь, въ мѣста не столь отдаленныя!»—и сядетъ. Потомъ, на смѣну прокурору, выступитъ защитникъ Прокопа, скажетъ: «ахъ, какое негодованіе возбуждаетъ во мнѣ прокуроръ, который до сихъ поръ не можетъ понять, что въ Сибирь идти никому не хочется!»—и тоже сядетъ. Наконецъ встанетъ Хлестаковъ и только-что пригласитъ присяжныхъ засѣдателей перенестись вмѣстѣ съ нимъ мыслью въ древній Римъ, какъ предсѣдатель съ твердостью, не допускающею возраженій, замѣтитъ ему, что всякіе разговоры въ дѣлѣ столь ясномъ неумѣстны, и затѣмъ объявитъ пренія заключенными. Присяжные выйдутъ въ свою комнату, произнесутъ: «наплевать!»—и возвратятся въ залу засѣданій суда съ приговоромъ, признающимъ дѣйствія Прокопа не только удовлетворительными, но и должными.

При такомъ упрощеніи обрядовъ судопроизводства Прокопу нечего было страшиться. Не судъ былъ обременителенъ для него, а переѣзды. Сначала онъ довольно охотно знакомился съ городами Россійской имперіи, но когда, въ

одинъ и тотъ же годъ, ему пришлось посѣтить Баргузинъ Барнаулъ, Баръ, Баускъ и Бахмутъ, онъ почувствовалъ нѣкоторое утомленіе. Изумительное разнообразіе климатовъ, флоры, фауны и проч. подѣйствовало на него. Духъ остался бодръ, но тѣло... тѣло восчувствовало. Такъ что, при переѣздѣ изъ Архангельска въ Астрахань, онъ разомъ потерялъ всѣ зубы и сдѣлался неспособнымъ принимать какую-либо иную пищу, кромѣ каши.

Совсѣмъ въ другомъ видѣ представлялось положеніе противной стороны, то-есть гражданскихъ истцовъ. Гершка Зальцфишъ вышелъ изъ этого дѣла съ честью. Наживъ биржевою игрою значительный капиталъ, онъ предусмотрительно сбылъ свои акціи, когда онѣ были еще въ хорошемъ требованіи: продавцы $76^3/_4$, покупатели $76^1/_4$, сдѣлано $76^1/_2$. Но впослѣдствіи однако-жъ и Гершка возгордился, а слѣдовательно и проворовался. Занявъ во всѣхъ банкахъ (вся Россія въ то время была, какъ тенетами, покрыта банками, такъ что ни одному зайцу не было надежды проскочить, не попавъ головой въ одну изъ петель) болѣе милліона рублей, онъ бѣжалъ за границу, но въ Гамбургѣ былъ пойманъ въ ту самую минуту, какъ садился на отправлявшійся въ Америку пароходъ, и теперь томится въ острогѣ (присяжные засѣдатели видѣли въ этомъ происшествіи перстъ Божій). Затѣмъ всѣ акціи, по дешевой цѣнѣ, скупилъ расторопный Іерухимъ, въ надеждѣ поправить свои обстоятельства; но когда Азовъ, Аккерманъ, Акмолинскъ и Алапаевскъ послѣдовательно выразились въ пользу Прокопа, повязка вдругъ спала съ его глазъ. Онъ бросился на биржу съ предложеніями, но было уже поздно; акціи упали съ быстротою молніи и въ настоящее время стояли: продавцы $2^1/_4$ *безъ покупателей!* Къ довершенію всего, Іерухима поразилъ и еще одинъ ударъ: въ 1881 году обѣ мои сестрицы померли (и въ этомъ обстоятельствѣ для присяжныхъ засѣдателей былъ ясенъ перстъ Божій), а съ ихъ смертью сошли со сцены послѣдніе достовѣрные лжесвидѣтели, которые дотолѣ фигурировали въ процессѣ...

Если Прокопъ одряхлѣлъ тѣломъ, то Іерухимъ одряхлѣлъ духомъ. Онъ какъ-то безпокойно вертѣлъ головой, словно къ чему-то принюхивался и приглядывался. Но ни приглядываться, ни принюхиваться было уже не къ чему. На *моемъ* дѣлѣ іудейство всецѣло исчерпало самого себя и не возрождалось больше. На Іерухимѣ былъ замасленный, дырявый кафтанишка, а ермолка на головѣ до того ло-

снилась и побѣлѣла, что издали можно было принять ее за только-что навощенный паркетъ. Прокопъ изъ милости кормилъ и поилъ его и даже возилъ на свой счетъ за собою (разумѣется, въ третьемъ классѣ), но издержки на наемъ Хлестакова взять на себя не соглашался. А между тѣмъ эти-то издержки и составляли больное мѣсто бѣднаго Іерухима. Хлестаковъ всецѣло отдалъ себя моему дѣлу (ради принципа онъ отказался и отъ удобствъ золоченой мебели и отъ своей пятитысячной петербургской квартиры!) и потребовалъ отъ Іерухима не менѣе ста рублей въ мѣсяцъ жалованья. Сверхъ того, онъ былъ необыкновенно прожорливъ, да и переѣзды его стоили не мало (ниже II класса вагона онъ не соглашался ѣхать). Такъ что взятыя въ совокупности издержки на этотъ предметъ требовали не меньше двухъ тысячъ рублей съ половиною въ годъ.

— А тебѣ зе и вся цѣна—гросъ!—язвительно попрекалъ Іерухимъ своего защитника.

И сколько разъ Іерухимъ слезно молилъ Прокопа! Сколько разъ валялся у него въ ногахъ!

— Васе высокородіе,—вопіялъ онъ:—конците! Вамъ зе ницего не стòитъ дать бѣдному, цестному еврею тысяцу рублей! Нехай его, собака, подавится! А вамъ зе, ай-ай, какъ хоросо будетъ! И вамъ хоросо, и мине... ай-ай-ай, какъ уфсѣмъ будетъ спокойно!

Но Прокопъ оставался непреклоненъ.

— Нѣтъ, пархатый!—говорилъ онъ:—теперь я тебя не выпущу! Окрестись! обрѣжь кудри, оставь свою жидовскую вѣру—тогда кончу! Самъ воспріемникомъ буду, дамъ тебѣ тысячу рублей въ зубы—и ступай на всѣ четыре стороны!

И Прокопъ имѣлъ полное основаніе медлить. Независимо отъ почестей, съ которыми его всюду встрѣчали, онъ и въ домашнемъ быту былъ окруженъ самыми заботливыми попеченіями. «Православный жидъ» въ каждомъ городѣ отъискивалъ для него достовѣрныхъ лжесвидѣтелей; Гаврюшка служилъ у него въ лакеяхъ и, женившись на старой Прокоповой метрессѣ, остепенился и пересталъ пить; Іуда Стрѣльниковъ тоже всюду сопровождалъ его и оказывалъ существенныя услуги по части отысканія новыхъ метресокъ. Въ Ачинскѣ ли, въ Борзнѣ ли — гдѣ бы ни былъ Прокопъ—вездѣ Іуда Стрѣльниковъ отыщетъ именно то, что̀ по современному настроенію Прокоповой души требуется.

Одно только терзаетъ Прокопа—это чувствительная убыль

въ капиталѣ. Но въ этомъ онъ долженъ винить исключительно самого себя, потому что съ самаго начала сталъ дѣйствовать уже слишкомъ неосторожно, черезчуръ на широкую руку. Такъ, напримѣръ, въ Срединномъ выстроилъ разомъ сто кіосковъ для проходящихъ—но къ чему такая безполезная трата капитала въ городѣ, гдѣ изстари заведены совсѣмъ другіе по сему предмету обычаи! Сверхъ того, онъ условился платить своему офиціальному адвокату по десяти тысячъ рублей за каждую поѣздку (онъ совершенно свободно могъ ограничить этотъ размѣръ тысячью рублями) и долженъ былъ смотрѣть сквозь пальцы, какъ «православный жидъ», не довольствуясь присвоеннымъ ему содержаніемъ, совершенно открыто запускалъ руку въ его, Прокопа, шкатулку. Не будь этого мотовства, проценты съ капитала легко покрыли бы всѣ издержки по процессу; но, къ сожалѣнію, на первыхъ порахъ, сгоряча, Прокопу показалось, что украденному милліону не будетъ и конца. Поэтому, увлекшись однажды, онъ очень скоро началъ первую сотню тысячъ, потомъ вторую, третью и т. д.; когда же наконецъ спохватился,—было уже поздно: процентами съ оставшихся двухсотъ пятидесяти тысячъ ни подъ какимъ видомъ издержекъ процесса удовлетворить было невозможно... Напрасно старался онъ ввести благоразумную экономію въ обиходъ свой: и офиціальный защитникъ, и «православный жидъ» уже пріобрѣли извѣстныя привычки, отъ которыхъ отстать было довольно трудно. Первый отзывался, что ему нужны деньги, ибо онъ только-что приторговалъ домъ у своего сосѣда съ лѣвой стороны; а второй даже отзывовъ никакихъ не давалъ, а просто-на̀-просто продолжалъ лазить въ шкатулку. Да и Гаврюшка съ Стрѣльниковымъ (ужъ на что вѣрные люди!) не клали охулки на руку, особливо съ тѣхъ поръ, какъ Гаврюшка женился на Прокоповой мамзели, а Іуда Стрѣльниковъ вступилъ съ нею въ секретную любовную связь.

Видя эти расхищенія, Прокопъ, конечно, скорбѣлъ; но тѣмъ не менѣе мысль о томъ, что онъ рязанско-тамбовско-саратовско-воронежскій дворянинъ, ни на минуту не покидала его. Какъ дворянинъ четырехъ губерній, онъ обязывался отстаивать свою честь до послѣдней капли крови или, по крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока изъ похищеннаго милліона не останется только сто тысячъ. Эту послѣднюю сотню тысячъ онъ рѣшился сохранить для дѣтей, изъ которыхъ старшій сынъ, преодолѣвъ ненависть къ латин-

скому языку, занималъ въ настоящее время каѳедру римскихъ древностей въ пошехонскомъ университетѣ. Только тогда, когда мѣсячная расходная вѣдомость покажетъ, что налицо стоитъ лишь сто одна тысяча рублей,—только тогда онъ сочтетъ свою рязанско-тамбовско-саратовскую честь отомщенною. Вѣроятно, это случится лѣтъ черезъ пять, въ Гавриловскомъ посадѣ Владимірской губерніи. Тогда онъ призоветъ Іерухима, кинетъ ему въ лицо тысячу рублей и скажетъ: «жри, собака!» Потомъ онъ собственноручно изобьетъ «православнаго жида» и спуститъ его съ лѣстницы. Затѣмъ у него останется ровно сто тысячъ, на которыя онъ, за безцѣнокъ и въ память обо мнѣ, купитъ Проплёванную и учредитъ тамъ гласную кассу ссудъ... тобишь, ссудо-сберегательный банкъ для крестьянъ...

Но возвращаюсь къ разсказу.

Благодаря великому онего-устьсысольско-верхотурскому желѣзному пути, Прокопъ очень комфортабельно совершилъ свое путешествіе и теперь совершенно какъ дома расположился въ верхотурской гостиницѣ для пріѣзжающихъ подъ фирмою «Удовлетворенный обыватель», изъ которой стараніями мѣстнаго «излюбленнаго человѣка» навсегда были изгнаны блохи и клопы. Но не успѣлъ мой другъ умыться и причесаться съ дороги, какъ уже Гаврюшка доложилъ, что къ нему явилась депутація отъ верхотурскаго университета. Университетъ былъ основанъ въ недавнее время иждивеніемъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника (въ военное же время корнета) и всѣхъ желѣзнодорожныхъ жетоновъ кавалера Губошлепова съ спеціальною цѣлью образованія домашнихъ Невтоновъ и быстрыхъ разумомъ Платоновъ изъ сосѣднихъ вогульцевъ и остяковъ. Но, несмотря на недавнее учрежденіе университета, студенты уже жаловались. Во-первыхъ, съ самаго основанія университета ни одна изъ учрежденныхъ въ немъ каѳедръ до сихъ поръ не была замѣщена; во-вторыхъ, самое помѣщеніе университета въ бывшей швальнѣ инвалидной команды представляло очень значительныя неудобства. Хотя же они, студенты, неоднократно приносили на дѣйствія г. Губошлепова жалобы дѣйствительному статскому совѣтнику и всѣхъ жетоновъ кавалеру г. Мордухаю Проходимцеву, но получили отвѣтъ, въ которомъ г. Проходимцевъ, ссылаясь на недавнее свое дѣло съ ташкентскимъ земствомъ, выражалъ мысль, что въ настоящее непостоянное время вступать въ какія-либо обязательства по предмету распространенія въ

Россіи просвѣщенія—дѣло довольно щекотливое: пожалуй, не поймутъ шутки, да и взаправду деньги вытребуютъ!

— Ваше высокородіе! на васъ одна надежда! Вамъ шайтанъ поможетъ!—взывали бѣдные вогульцы и остяки къ Прокопу.

И надежда не тщетная, ибо Прокопъ тутъ же вынулъ изъ кармана десятирублевую ассигнацію, подалъ ее студентамъ и сказалъ:

— На первый разъ... вотъ вамъ! Только смотрите у меня: чуръ, не шумѣть! Вѣдь вы, студенты... тоже народецъ! А вы лучше вотъ что̀ сдѣлайте: наймите-ка латинскаго учителя подешевле, да и за книжку! Покуда зады-то твердите—анъ хмель-то изъ головы и вышибетъ. А Губошлепову я напишу: стыдно, братецъ! самъ людей въ соблазнъ ввелъ, да самъ же и бросилъ... на что̀ похоже!

Студенты ушли, благословляя имя своего благодѣтеля.

«Не такъ дороги намъ эти десять рублей,—разсуждали они между собой въ передней:—какъ дорогъ благой совѣтъ!»

Вслѣдъ за студентами явился градской голова съ выборными отъ общества и поднесъ Прокопу большой горшокъ каши на рябчиковомъ бульонѣ.

— Клянчить пришли?—развязно спросилъ пришедшихъ Прокопъ.

— Какъ намъ не клянчить! Въ нуждѣ рождаемся, въ нуждѣ въ возрастъ приходимъ, въ нуждѣ же и смертный часъ встрѣтить должны!—отвѣтилъ голова, понуривая голову, какъ бы подъ бременемъ благочестивыхъ размышленій, на которыя навело его упоминовеніе смертнаго часа.

— Говорите скорѣе! что̀ нужно? Чортъ съ вами! что̀ могу...

— Знаемъ, ваше высокородіе! знаемъ мы твою добродѣтель! Слышали мы, какъ ты въ Ардатовѣ въ одну ночь площадь отъ навоза ослобонилъ! Можетъ, не одну тысячу лѣтъ та площадь всякій калъ на себя принимала, а ты, гляди-ко-сь, прилетѣлъ да въ однѣ сутки ее, словно дѣвицу непорочную, подъ вѣнецъ убралъ!

— А развѣ и у васъ площадь... тово?

— Нѣтъ, у насъ площадь, слава те, Господи! Храни ее Царица Небесная! Съ тѣхъ поръ, какъ Губошлеповъ университетъ этотъ у насъ завелъ, каждый Божій день студентовъ съ метлами наряжаемъ. Метутъ да пометываютъ на гулянкахъ! Одно только: монумента на площади нѣтъ! А ужъ какъ гражданамъ это желательно! какъ желательно! Просто, то-есть, брюхомъ хочется, чтобъ на нашей площади *конный статуй* стоялъ!

И тутъ Прокопъ не сказалъ слова. Онъ даже не сталъ разспрашивать, кому намѣрены верхотурцы воздвигнуть монументъ, ему ли, Прокопу, Губошлепову ли, Проходимцеву ли, или наконецъ тому «неизвѣстному богу», которому нѣкогда воздвигали алтари древніе нѣжинскіе греки. Онъ вынулъ изъ кармана двадцатипятирублевый билетъ и такъ просто вручилъ его головѣ, что присутствующіе были растроганы до слезъ и тутъ же взяли съ Прокопа слово, что онъ не уѣдетъ въ Верхоянскъ, не отвѣдавъ у головы хлѣба-соли.

Послѣ представителей городского общества явились предсѣдатель и члены земской управы, изъ которыхъ первый поднесъ Прокопу богато-переплетенный «Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по Верхотурскому уѣзду». Прокопъ далъ ему пять рублей, сказавъ:

— Далъ бы, братъ, и больше, да ужъ очень много васъ нынче развелось! На каждомъ шагу словно западни разставлены! Одному десять, другому двадцать, третьему цѣлыхъ сто... Это и на здоровые зубы оскомину набьетъ!

Члены верхотурскаго суда, дабы не подать повода къ неосновательнымъ обвиненіямъ въ пристрастіи, не рѣшились представиться явно, но устроили секретную процессію, которая церемоніальнымъ маршемъ прошла мимо оконъ занимаемаго Прокопомъ номера. При чемъ подсудимый вышелъ на балконъ и одарялъ проходящихъ мелкою монетой.

Наконецъ пришелъ и самъ верхотурскій «излюбленный губернаторомъ человѣкъ» и поднесъ Прокопу дипломъ на званіе вѣчнаго члена верхотурскаго клуба. Узнавъ въ «излюбленномъ человѣкѣ» бывшаго сослуживца по Бѣлобородовскому полку (во снѣ мнѣ даже показалось, что онъ какъ двѣ капли воды похожъ на корнета Шалапутова), Прокопъ до того обрадовался, что разомъ отвалилъ ему полсотенную. Но «излюбленный человѣкъ» не сейчасъ положилъ ее въ карманъ, а посмотрѣлъ сначала на свѣтъ, не фальшивая ли.

— Ну, теперь айда въ судъ!—весело сказалъ Прокопъ, когда представленія кончились.

Но въ судѣ случилось нѣчто черезчуръ ужъ необыкновенное, нѣчто такое, что̀ даже и во снѣ не всегда допускается...

Едва вошелъ Прокопъ, въ сопровожденіи двоихъ жандармовъ, какъ присяжные повскакали съ своихъ мѣстъ и хоромъ возгласили:

— Согласно съ обстоятельствами дѣла! Согласно! Поступили бы! Хуже бы сдѣлали! Хуже!

Напрасно протестовалъ Хлестаковъ, напрасно поднималъ онъ свой голосъ, взывая къ присяжнымъ:

— Прежде, нежели приступлю къ изложенію обстоятельствъ настоящаго дѣла, милостивые государи, считаю долгомъ кратко изложить передъ вами, какіе взгляды имѣло древнее римское законодательство на воровство вообще...

— Знаемъ, знаемъ! что̀ ты намъ очки-то втирать хочешь!—кричали присяжные:—сами дошлые! ишь малолѣтковъ нашелъ!

Іерухима едва не разнесли на куски и только благодаря Прокопову заступничеству ограничились тѣмъ, что вырвали у него пейсы.

— Благодарю васъ, дѣти мои!—говорилъ Прокопъ, рыдая:—благодарю! Гаврюшка! Стрѣльниковъ! Вотъ четвертная! Четыре ведра... бѣгите... живо! Кушайте, голубчики! Веселитесь!

Увидѣвъ это, Хлестаковъ вдругъ измѣнилъ тактику и изъявилъ Прокопу готовность изъ обвинителя сдѣлаться его защитникомъ въ Верхоянскѣ. Но Прокопъ кратко и строго обезоружилъ его:

— Натко, выкуси!

Избитый и полумертвый, Іерухимъ наконецъ восчувствовалъ. Онъ понялъ, что до сихъ поръ блуждалъ во тьмѣ, и потому изъявилъ желаніе немедленно принять христіанство. Тогда Прокопъ простилъ его, выдалъ, по условію, тысячу рублей и даже пожелалъ быть его воспріемникомъ.

Процессъ кончился; у Прокопа осталось двѣсти пятьдесятъ тысячъ, изъ которыхъ онъ тутъ же роздалъ около десяти. Сознавая, что это уже послѣдняя раздача денегъ, онъ былъ щедръ. Затѣмъ, проживъ еще съ недѣлю въ Верхотурьѣ, среди цѣлаго вихря удовольствій, мы отправились уже не въ Верхоянскъ, а прямо подъ сѣнь рязанско-тамбовско-саратовскаго клуба...

Къ сожалѣнію однако-жъ все это было только во снѣ; въ дѣйствительности же мнѣ было суждено проснуться самымъ трагическимъ образомъ.

Глава XI.

Я проснулся въ больницѣ для умалишенныхъ. Какъ попалъ я въ это жилище скорби—я не помню. Быть-можетъ,

находясь въ припадкахъ лунатизма, я буйствовалъ, бросался изъ окна, угрожалъ жизни другихъ. Но можетъ быть также, что я обязанъ моимъ перемѣщеніемъ квартальному поручику Хватову, который, узнавъ о привлеченіи меня къ опаснѣйшему политическому процессу, вспомнилъ о взаимномъ нашемъ хлѣбосольствѣ и воспользовался моимъ забытьемъ, чтобъ выдать меня за сумасшедшаго и тѣмъ спасти отъ справедливой кары, ожидавшей меня за то, что я подвозилъ мнимаго Левассёра на извозчикѣ... Какъ бы то ни было, но печальная истина не сразу выяснилась въ моихъ глазахъ. Нѣкоторое время я все еще жилъ впечатлѣніями сна и даже возстановлялъ себѣ наяву нѣкоторые эпизоды, которые или совсѣмъ улетучились, или очень неясно промелькнули въ моемъ сновидѣніи.

Такъ, напримѣръ, въ сновидѣніи я совсѣмъ не встрѣчался съ личностью офиціальнаго Прокопова адвоката (Прокопъ имѣлъ двоихъ адвокатовъ: одного секретнаго, «православнаго жида», который, олицетворяя собой всегда омерзительный порокъ, долженъ былъ вносить смуту въ сердца свидѣтелей и присяжныхъ засѣдателей, и другого—открытаго, который, олицетворяя собою добродѣтель, долженъ былъ убѣдить, что послѣдняя даже въ томъ случаѣ привлекательна, когда устраняетъ капиталы изъ первоначальнаго ихъ помѣщенія)—теперь же эта личность представилась мнѣ съ такою ясностью, что я даже изумился, какъ могъ до сихъ поръ просмотрѣть ее. Припомнились мнѣ также нѣкоторыя подробности изъ дѣятельности «православнаго жида»: какъ онъ за сутки до судоговоренія залѣзъ въ секретное мѣсто, предназначенное исключительно для присяжныхъ засѣдателей (кажется, это было въ Ахалцихѣ Кутаисскомъ), какъ сначала пришелъ туда одинъ засѣдатель и черезъ минуту вышелъ вонъ, изумленный, утѣшенный и убѣжденный, забывъ даже, зачѣмъ отлучался изъ комнаты засѣдателей; какъ онъ вошелъ обратно въ эту комнату и мигнулъ, какъ вслѣдъ затѣмъ всѣ прочіе засѣдатели по очереди направлялись, подъ конвоемъ, въ секретную и всѣ выходили оттуда изумленные, утѣшенные и убѣжденные... Такова сила убѣжденія, которую умѣетъ усвоивать себѣ даже омерзительный порокъ въ тѣхъ случаяхъ, когда идетъ рѣчь о добродѣтели, занимающейся устраненіемъ чужихъ капиталовъ изъ первоначальныхъ помѣщеній!

Но все это уже прошло. Исчезли Ахалкалаки, Алешки,

Бендеры, Бѣльцы, Валуйки! Въ Буинскѣ судятъ уже не Прокопа, а мирового судью Травина (надоѣлъ онъ, должно-быть, мѣстнымъ Прокопамъ!) за то, что не по чину весело время проводилъ; въ Бѣлозерскѣ попрежнему позорятъ заблудшихъ снѣтковъ! Изъ всѣхъ лицъ, съ которыми мнѣ пришлось имѣть дѣло во время годичнаго пребыванія въ Петербургѣ, придется встрѣтиться, быть-можетъ, только съ тремя (развѣ еще кого-нибудь неожиданно притащатъ въ больницу!), а именно: съ обоими адвокатами Прокопа да еще съ Менандромъ. Увы! и они, подобно мнѣ, находятся въ больницѣ умалишенныхъ, и я въ эту самую минуту вижу изъ окна, какъ добродѣтельный адвокатъ прогуливается подъ руку съ Менандромъ въ саду больницы, а «православный жидъ» притаился гдѣ-то подъ кустомъ въ той самой позѣ, въ которой онъ въ Ахалцихѣ изумилъ присяжныхъ. Всѣ они помѣшались. «Православный жидъ» помѣшался на томъ, чтобъ устроить въ Петербургѣ такую же «comptoir de confiance», образчикъ которой онъ недавно видѣлъ въ водевилѣ «Tricoche et Cacolet». Добродѣтельный адвокатъ однажды какъ-то слышалъ анекдотъ о дѣвицѣ, которая и невинность сохранила, и капиталъ пріобрѣла—и помѣшался на томъ, что онъ столько лѣтъ прожилъ на свѣтѣ и не зналъ этого средства. Что же касается до Менандра, то онъ, какъ и слѣдовало ожидать, помѣшался на тушканчикахъ.

— Преслѣдуютъ, братецъ, меня эти мерзавцы!—открылся онъ мнѣ при первомъ же свиданіи:—забрались въ мою газету, и ничѣмъ ихъ оттуда не вытравишь! Зато, братъ, какъ я узналъ теперь этихъ тушканчиковъ! Клянусь, не хуже самого Перерепенки! Да что̀ пользы въ этомъ! Одного ухватишь—смотришь, анъ другой ужъ роется гдѣ-то и что-то грызетъ!

Обо всемъ этомъ однако же рѣчь впереди; теперь же я чувствую себя обязаннымъ подвести итоги тому, что̀ видѣлъ въ Петербургѣ въ теченіе годичнаго пребыванія въ этомъ городѣ.

Прежде всего я долженъ оговориться. Я заносилъ въ свой «Дневникъ» далеко не все, что̀ видѣлъ и что̀ происходило со мною и вокругъ меня. Во-первыхъ, меня стѣсняли самые предѣлы «Дневника», а во-вторыхъ, стѣсняло еще и то обстоятельство, что не только не обо всемъ можно, но не обо всемъ и удобно говорить, особенно въ той чисто-

беллетристической формѣ, которую, по издавна вкоренившейся привычкѣ, я усвоилъ своему труду.

Говорю прямо: я совершенно оставилъ безъ упоминовенія нѣкоторыя категоріи людей и явленій, воспроизведеніе которыхъ было бы далеко не лишнимъ для характеристики нашего времени. Не одними Прокопами, Менандрами, Толстолобовыми и «православными жидами» наполненъ міръ; есть въ этомъ мірѣ и иные люди, съ иными физіономіями и иному дѣлу посвящающіе свою жизнь. Составляя почти незамѣтное меньшинство, эти люди тѣмъ не менѣе слишкомъ часто служатъ темой для общественнаго говора, чтобы можно было ихъ игнорировать. Почему же я ни однимъ словомъ не упомянулъ объ нихъ?

Оправданіе мое однако же проще, нежели можно ожидать съ перваго взгляда. Прежде всего, не эти люди и не эти явленія сообщаютъ общій тонъ жизни; а потомъ—это не люди, а жертвы, правдивая оцѣнка которыхъ, вслѣдствіе извѣстныхъ условій, не принадлежитъ настоящему.

Существуютъ два вида подобныхъ людей и явленій: одинъ—къ которому можно относиться апологетически, но неудобно отнестись критически; другой—къ которому можно сколько угодно относиться критически, но неудобно отнестись апологетически. Какимъ образомъ и откуда произошло это сидѣніе между двухъ стульевъ, дѣлающее немыслимою спокойную оцѣнку явленій и фактовъ, совершающихся у всѣхъ на глазахъ,—я не знаю (то-есть, быть-можетъ, и знаю, но скромность такъ уже въѣлась въ мою природу, что я прямо пишу: не знаю), но что оно существуетъ—этого даже клейменый лжецъ не отвергнетъ. Зачѣмъ же я буду садиться между двухъ стульевъ? зачѣмъ я буду стремиться занять позицію, на которой—я знаю это навѣрное—рано или поздно, тѣмъ или другимъ способомъ, но провалюсь?

Чтобъ сдѣлать это болѣе яснымъ для читателя, я приведу здѣсь примѣръ, который, впрочемъ, въ строгомъ смыслѣ, очень мало относится къ настоящему дѣлу. (Я знаю, что «относится», и притомъ самымъ близкимъ образомъ, и все-таки пишу: *не* относится. О, читатель! если-бъ ты зналъ, какъ совѣстно иногда литератору сознавать, что онъ литераторъ!).

Возьмемъ такъ-называемыхъ «новыхъ людей». Я, разумѣется, знаю достовѣрно,—какъ знаетъ, впрочемъ, это и вся публика,—что существуютъ люди, которые называютъ

себя «новыми людьми», но не менѣе достовѣрно и то, что это не манекены съ наклеенными этикетами, а живые люди, которые въ этомъ качествѣ имѣютъ свои недостатки и свои достоинства, свои пороки и свои добродѣтели. Какъ долженъ былъ бы я поступать, если-бъ повелъ рѣчь объ этихъ людяхъ?

Начну съ пороковъ. Я могъ бы, конечно, не хуже любого изъ современныхъ беллетристовъ, лавреатовъ и нелавреатовъ, указать на темныя (я долженъ былъ бы сказать: «слабыя», но смѣло пишу: темныя) стороны, которыя встрѣчаются въ этой немноголюдной и во всякомъ случаѣ не пользующейся матеріальной силой корпораціи. Эти темныя стороны настолько уже изучены и распубликованы, что мнѣ ничего не стоило бы, съ помощью однихъ готовыхъ матеріаловъ, возбуждать въ читателѣ, по поводу «новыхъ людей», то смѣхъ, то ненависть, то спасительный страхъ. Но меня останавливаетъ одно обстоятельство: не будетъ ли это слишкомъ легкомысленно съ моей стороны? не докажу ли я своимъ безконечнымъ веселонравіемъ или своею безконечною пугливостью, что я не совсѣмъ уменъ, и ничего больше? Вѣдь ежели я стану смѣяться или пугать просто: какъ, дескать, оно смѣшно или омерзительно!— это, быть-можетъ, покажется нѣсколько глупымъ; а ежели я захочу смѣяться или пугать вплотную, то не найдусь ли я вынужденнымъ прежде всего подвергнуть осмѣянію самыя причины, породившія тѣ факты, которые возбуждаютъ во мнѣ смѣхъ или ужасъ? Вотъ эти-то причины и приводятъ меня въ смущеніе.

Кто знаетъ, быть-можетъ, извѣстныя порочныя явленія сдѣлались таковыми лишь благодаря порочной обстановкѣ, въ которой они находятся? Быть-можетъ, если дать человѣку возможность выговориться вполнѣ, то ультиматумъ, который вертится у него на языкѣ, окажется далеко не столь ужаснымъ, какъ это представляется съ перваго взгляда? Какъ знать, что̀ было бы, если бы,—и что̀ могло бы случиться, кабы?.. И хотя я отнюдь не утверждаю, что основанія для подобныхъ предположеній существуютъ въ дѣйствительности—я даже думаю, что на дѣлѣ никакихъ неблагопріятныхъ обстановокъ и въ поминѣ не имѣется— но вѣдь возможны же подобныя предположенія, а если они возможны, то, стало-быть, и самый искъ, направленный противъ порочныхъ явленій, становится до крайности рискованнымъ и шаткимъ. Для чего буду я ставить себя въ

ложное положеніе? Для чего, отыскивая меду, я добровольно буду направлять свои стопы къ такому мѣсту, которое, быть-можетъ, скрываетъ медъ, а быть-можетъ—деготь? Допустимъ, что при извѣстныхъ усиліяхъ я дѣйствительно найду наконецъ эти темныя стороны, сумѣю въ ясныхъ и художественныхъ образахъ воспроизвести ихъ и даже отыщу для нихъ лѣкарство въ формѣ афоризма, что преувеличенія опасны. Кому предложу я свое лѣкарство? Не такому ли больному, который, по самой своей обстановкѣ, никакимъ лѣкарствомъ пользоваться не можетъ? И не вправѣ ли будетъ этотъ больной, въ отвѣтъ на мою предупредительность, воскликнуть: «помилуйте! да прежде нежели остерегать меня отъ преувеличеній, устраните то положеніе, которое дѣлаетъ ихъ единственною основой моей жизни, дайте *возможность* того спокойнаго и естественнаго развитія, о которомъ вы такъ благонамѣренно хлопочете!»

Вотъ какая бѣда можетъ случиться при описаніи пороковъ «новыхъ людей». А съ добродѣтелями—и того хуже. Извѣстно, что «новый человѣкъ» принадлежитъ къ тому виду млекопитающихъ, у котораго по штату никакихъ добродѣтелей не полагается. Значитъ, самое упоминовеніе имени добродѣтелей становится въ этомъ случаѣ продерзостнымъ и можетъ быть прямо принято за апологію. Но писать апологію подобныхъ явленій,—развѣ это не значитъ прямо идти въ разрѣзъ мнѣніямъ большинства? И притомъ не просто въ разрѣзъ, а въ такую минуту, когда это большинство, совершенно довольное собой и полное воспоминаній о недавнихъ торжествахъ, готово всякаго апологиста разорвать на куски и самымъ вѣскимъ и убѣдительнымъ доказательствамъ противопоставить лишь голое fin de non recevoir?

Такимъ образомъ «новый человѣкъ», съ его протестомъ противъ настоящаго, съ его идеалами будущаго, самою силою обстоятельствъ устраняется изъ области художественнаго воспроизведенія или, говоря скромнѣе, изъ области беллетристики. Указывать на его пороки—легко, но жутко; указывать же на его добродѣтели не только неудобно, но если хорошенько взвѣсить всѣ условія современнаго русскаго быта, то и матеріально невозможно.

Точно такія же трудности представляются (только, разумѣется, въ обратномъ смыслѣ) и относительно другой категоріи людей —людей, почему-либо выдающихся изъ

тьмы темъ легіоновъ, составляющихъ противоположный лагерь, людей, мнящихъ себя руководителями, но въ сущности стоящихъ въ обществѣ столь же изолированно, какъ и «новые люди», и столь же мало, какъ и они, сообщающихъ общій тонъ жизни (въ дѣйствительности не они подчиняютъ себѣ толпу, а она подчиняетъ ихъ себѣ; они же извлекаютъ изъ этого подчиненія лишь нѣкоторыя личныя выгоды, въ награду за вѣрную службу безсознательности).

Существуетъ мнѣніе, что эти люди уже по тому одному порочны, что находятся въ лагерѣ духовной нищеты. Нечего и говорить, что я не раздѣляю этого мнѣнія. Напротивъ того, я убѣжденъ, что многіе изъ этихъ людей обладаютъ очень крупными достоинствами и даже оказывали несомнѣнныя услуги дѣлу человѣчества. Описаніе добродѣтелей ихъ не только было бы любопытно, но могло бы представить и весьма эффектную картину. Но скажите на милость, какимъ образомъ я приступлю къ воспроизведенію типовъ этихъ людей, когда въ моемъ распоряженіи находятся *только* добродѣтели ихъ, и когда я буквально не имѣю въ своемъ свободномъ распоряженіи ни одного матеріала, на основаніи котораго могъ бы хотя однимъ словомъ заикнуться объ ихъ слабостяхъ, а тѣмъ менѣе о порокахъ? Вѣдь въ художественномъ смыслѣ это будетъ уже не картина, а свѣтлое пятно, точно такъ же, какъ будетъ не картина, а темное пятно въ томъ случаѣ, когда я приступлю къ воспроизведенію типовъ «новыхъ людей», придерживаясь лишь безапелляціонныхъ сужденій, которыя сложились объ нихъ въ обществѣ!

Я знаю многихъ очень достойныхъ людей изъ разряда «торжествующихъ». Эти люди въ свое время были носителями очень почтенныхъ идеаловъ и стремились къ осуществленію ихъ со всѣмъ пыломъ самоотверженности, рискуя даже потерять столоначальническія мѣста, которыя они въ то время занимали. Само собой разумѣется, теперь, когда карьера ихъ уже сдѣлана, мнѣ ничего не стоило бы посвятить перо мое воспроизведенію ихъ добродѣтелей. Но вотъ, въ то самое время, какъ перо мое готово размахнуться и подписать одобрительный аттестатъ такому-то «орденовъ кавалеру»,—является, словно на смѣхъ, художественное чутье и подсказываетъ мнѣ: а вѣдь «кавалеръ-то» твой не безъ изъянцевъ! А слѣдомъ затѣмъ встревоженное воображеніе начинаетъ рисовать и цѣлый рядъ этихъ изъяновъ. Изъянъ первый: какъ ни самоотверженно

вели себя «кавалеры», но они всегда какъ-то ухитрялись, что пріурочивали свою самоотверженность къ «новымъ мѣстамъ», или, учтивѣе сказать, всегда случалось, что изъ ихъ самоотверженности вытекали новыя мѣста. Изъянъ второй: хотя періодъ самоотверженности для нихъ несомнѣнно миновался, но они настолько злопамятны, что и доселѣ не могутъ объ немъ позабыть. А потому не понимаютъ: 1) что почва, на которой они когда-то стояли, давно измѣнилась; 2) что рѣчи, которыми они призывали къ движенію, сдѣлались общимъ мѣстомъ; 3) что цѣли, осуществленіе которыхъ они считали завѣтной мечтой жизни, остались позади и замѣнены другими, хотя и составляющими естественное ихъ продолженіе, но все-таки имѣющими нѣкоторую отъ нихъ отличку. Изъянъ третій: постоянно находясь подъ игомъ воспоминаній о періодѣ самоотверженности, они чувствуютъ себя до того задавленными и оскорбленными при видѣ чего-либо новаго, не по ихъ иниціативѣ измышленнаго, что нѣтъ, кажется, во всемъ ихъ нравственномъ существѣ живого мѣста, которое не ныло бы отъ уязвленнаго самолюбія. Изъянъ четвертый: чувствуя себя уязвленными, они уже не могутъ спокойно смотрѣть на проходящія передъ ихъ глазами новыя явленія и нерѣдко руководствуются въ отношеніи къ послѣднимъ не совсѣмъ хорошимъ чувствомъ мести.

Конечно, я не гоню прочь всѣ эти непрошенныя подсказыванья встревоженной мысли, я призываю на помощь всю мою рѣшимость, чтобъ какъ-нибудь обойти ихъ, но что̀ же мнѣ дѣлать съ художественнымъ чутьемъ, которое не хочетъ знать ни сплошь добродѣтельныхъ, ни сплошь порочныхъ людей? Какъ заставить его замолчать, когда оно совершенно ясно доказываетъ, что всякая картина, чтобъ быть правдоподобною, должна допустить сочетаніе свѣта и тѣней? Что̀ буду я дѣлать съ этими «кавалерами», которыхъ фигуры производятъ на человѣческій умъ такое же удручающее впечатлѣніе, какое производитъ на зрѣніе ослѣпительный солнечный лучъ?

Такимъ образомъ оказывается, что все, стоящее до извѣстной степени выше ординарнаго уровня жизни, все, представляющее собой выраженіе идеала въ какомъ бы то ни было смыслѣ: въ смыслѣ ли будущаго, или въ смыслѣ прошедшаго—все это становится заповѣдною областью, недоступною ни для воздѣйствія публицистики, ни для художественнаго воспроизведенія.

Средній человѣкъ, человѣкъ стадный, вырванный изъ толпы—вотъ достояніе современной беллетристики. Взятый самъ по себѣ, со стороны своего внутренняго содержанія, этотъ типъ не весьма выразителенъ, а въ смыслѣ художественнаго произведенія даже грубъ и не интересенъ; но онъ представляетъ интересъ въ томъ отношеніи, что служитъ наивѣрнѣйшимъ олицетвореніемъ извѣстнаго положенія вещей. Онъ—представитель той безразличной, малочувствительной къ высшимъ общественнымъ интересамъ массы, которая во всякое время готова даромъ отдать свои права первородства, но которая ни за что не поступится ни одной ложкой чечевичной похлебки, составляющей ея насущный хлѣбъ. Кромѣ этой похлебки она ничего не знаетъ, и ужъ, конечно, тотъ потратилъ бы даромъ время, кто предпринялъ бы трудъ вразумить ее, что между правомъ первородства и чечевичной похлебкой существуетъ извѣстная связь, которая скорѣе послѣднюю ставитъ въ зависимость отъ перваго, нежели первое отъ послѣдней.

Какъ выразители общей физіономіи жизни, эти люди неоцѣненны, и человѣкъ, желающій уяснить себѣ эту физіономію, долженъ обращать взоры вовсе не на тѣхъ всуе трудящихся, которые идутъ напроломъ, и не на тѣхъ ловкихъ людей, которые изъ жизни дѣлаютъ сложную каверзу, съ тѣмъ, чтобы въ видахъ личныхъ интересовъ запутывать и распутывать ея узлы, а именно на тѣхъ «стадныхъ» людей, которые своими массами гнетутъ всякое самостоятельное проявленіе человѣческой мысли. Въ этомъ случаѣ самая «стадность» не производитъ ущерба художественному воспроизведенію; нѣтъ нужды, что эти люди черезчуръ похожи другъ на друга, что они руководятся одними и тѣми же побужденіями, а потому имѣютъ одну или почти одну и ту же складку, и что все это, вмѣстѣ взятое, устраняетъ всякую идею о разнообразіи типовъ: вѣдь здѣсь идетъ рѣчь собственно не о типахъ, а о положеніи минуты, которое выступаетъ тѣмъ ярче, чѣмъ единодушнѣе высказывается относительно его лагерь, видящій въ чечевичной похлебкѣ осуществленіе своихъ идеаловъ.

Я не думаю, чтобъ читатель могъ индифферентно относиться къ общему тону жизни, хотя бы уровень ея стоялъ и не весьма высоко. Я согласенъ, что дѣйствительность, которая содержаніемъ своимъ напоминаетъ сказку о бѣломъ и буромъ бычкѣ, способна возбуждать скорѣе скуку, нежели желаніе познакомиться съ нею; но знать ее все-

таки необходимо, потому что безъ этого знанія невозможна самая жизнь. Возьмите самаго самоотверженнаго человѣка, такого, идеалы котораго прямо идутъ въ разрѣзъ съ содержаніемъ настоящаго,—и объ немъ нельзя сказать, чтобъ онъ былъ *властенъ* расположить свою жизнь вполнѣ согласно съ своими идеалами. И его мы знаемъ не въ состояніи спокойнаго обладанія идеалами, а въ состояніи борьбы, въ которой начало возбуждающее, полемическое, очень часто принимаетъ преобладающую роль передъ началомъ положительнымъ, догматическимъ. Противъ кого предпринимается эта полемическая борьба въ ущербъ прозелитизму, имѣющему въ виду достиженіе положительныхъ результатовъ? Противъ того ли «ветхаго» человѣка, который, ради своихъ личныхъ интересовъ, стремится остановить развитіе жизни?—Да, съ перваго взгляда, конечно, кажется, что всѣ стрѣлы борьбы направлены исключительно въ эту сторону. Но борьба была бы слишкомъ легка и равнялась бы единоборству, если-бъ это было такъ въ дѣйствительности. На дѣлѣ, между двумя борющимися сторонами есть третій членъ, играющій роль проводника. Черезъ этотъ проводникъ проходятъ всѣ стрѣлы и смотря по его свойствамъ, а равно и смотря по умѣнію пользоваться этими свойствами, онѣ для одной борющейся стороны дѣлаются болѣе, а для другой менѣе удручающими. Прокопы, Нескладины и проч. именно и составляютъ этотъ проводникъ, и съ нимъ-то я и желалъ познакомить моего читателя. Не для того познакомить, чтобъ онъ любовался ихъ физіономіями, а для того, чтобы, познавъ ихъ, онъ получалъ возможность сдѣлать для себя болѣе яснымъ положеніе минуты.

Съ такой точки зрѣнія смотрѣлъ я на свою задачу и этотъ же самый взглядъ позволю себѣ рекомендовать и моему читателю. Я чуждъ былъ всякихъ претензій возводить въ типъ кого-либо изъ моихъ героевъ; я знаю, что въ каждомъ изъ нихъ найдется довольно много противорѣчій, которыя, быть-можетъ, дадутъ мѣсто нѣкоторымъ недоразумѣніямъ. Но я прошу читателя видѣть въ дѣйствующихъ въ моемъ «Дневникѣ» лицахъ нѣчто второстепенное, несущественное, около чего лѣпится главное и существенное: разсказы о положеніи минуты и общихъ тонахъ современной русской жизни.

Какого же рода итоги можно вывести изъ сдѣланнаго мною бѣглаго обзора положенія минуты? Не знаю, согла-

сится ли со мною читатель, но желалъ бы, чтобъ онъ вмѣстѣ со мной пришелъ къ нижеслѣдующему.

Первый итогъ—это живучесть идеаловъ недавно упраздненнаго прошлаго.

Уничтоженіе крѣпостного права, сдѣлавшись совершившимся фактомъ, открыло передъ нами новыя перспективы, и была одна минута, когда едва ли нашелся бы хоть одинъ членъ русской интеллигенціи, который не сознавалъ бы для себя ясными (или, по крайней мѣрѣ, не притворился бы ясно сознающимъ) всѣ логическія послѣдствія этого факта. Либерализмъ былъ въ ходу и давалъ тонъ жизни. Большинство выражало этотъ либерализмъ тѣмъ, что стыдилось и каялось, меньшинство—тѣмъ, что прощало и забывало прошлое (оставляя, впрочемъ, за собою право по временамъ поддразнивать покаявшихся). То было время образцовыхъ мировыхъ посредниковъ, которые прежде всего указывали на возвышенный характеръ лежащихъ на нихъ обязанностей и только вскользь упоминали о присвоенномъ этой должности содержаніи. То было время, когда и покаявшіеся, и простившіе слились въ однихъ общихъ объятіяхъ, при чемъ первые, въ знакъ возвращенія къ лучшимъ чувствамъ, сдѣлали на двугривенный уступокъ и, очистивъ себя этимъ путемъ отъ скверны прошлаго, получили даровые билеты на входъ въ святилище новаго дѣла. То было время, когда одиноко-раздававшіеся голоса Н. Безобразова и Г. Б. Бланка вызывали улыбку сожалѣнія, и когда сомнѣнія въ живучести русскаго либерализма встрѣчались съ ожесточеніемъ и ненавистью.

Но сомнѣнія прорывались ужъ и тогда. И тогда были люди, которые подозрѣвали, что столь порывистый переходъ отъ беззавѣтнаго людоѣдства къ не менѣе беззавѣтному либерализму представляется не совсѣмъ естественнымъ. «Посмотрите,—говорили эти сомнѣвающіеся:—Петръ Иванычъ Дракинъ-то! еще вчера стригъ дѣвкамъ косы и присутствовалъ на конюшнѣ при исправленіи людей на тѣлѣ, а сегодня, словно въ баню сходилъ,—всю старую шкуру съ себя смылъ! Только и словъ на языкѣ: «слава Богу, и мы наконецъ освободились отъ этого постыднаго, ненавистнаго права стричь дѣвкамъ косы и наказывать на конюшнѣ людей!» И точно: стоило только вглядѣться въ Дракина, чтобъ убѣдиться, что тутъ есть что-то неладное. Весь онъ вчерашній, и самъ вчерашній, и халатъ у него вчерашній, и вчерашняя у него невѣжественность,

соединенная съ вчерашнею же непредусмотрительностью,— только языкъ онъ себѣ новый привѣсилъ, и болтаетъ этотъ языкъ какую-то новую фразу, одну только фразу, изъ которой нельзя видѣть ни того, что̀ ей предшествовало, ни того, что̀ будетъ дальше. Самая изолированность этой фразы, ея чисто-буквальное, автоматическое повтореніе уже должны были навести на мысль, что либеральничать такъ отчетливо и притомъ такъ одноформенно можетъ только человѣкъ, который, несомнѣнно, находится подъ гнетомъ временнаго ошеломленія.

Но многіе примѣчали, сверхъ того, что Петра Иваныча по временамъ какъ будто передергиваетъ. Что онъ хотя и повторитъ разъ десятокъ кряду: «наконецъ мы освободились!»—но вдругъ, ни съ того ни съ сего, возьметъ да и завертится на одномъ мѣстѣ, словно ему душно сдѣлается. Что онъ подъ шумокъ что-то подстраиваетъ и округляетъ: тамъ переселеньице на вертячіе пески устроитъ, въ другомъ мѣстѣ коноплянничкн или капустнички оттянетъ, будто какъ испоконъ вѣку такъ владѣлъ. И затѣмъ, покружившись на мѣстѣ, устроивъ переселенье и оттягавъ коноплянничкн, опять начинаетъ: «наконецъ освободились и мы!»

Указывая на эти признаки, маловѣры говорили: смотрите! прошедшее этихъ людей слишкомъ свѣжо, чтобъ они могли разомъ отъ него отказаться! Настоящее пришло къ нимъ внезапно; они отмахивались отъ него, сколько могли, и ежели не въ силахъ были вполнѣ отмахаться, то потому только, что исторія не дала имъ устойчивости, а школа приготовила не къ серьезному воззрѣнію на жизнь, а къ дешевому пользованію ею. Эти люди не только не въ состояніи видѣть естественныя послѣдствія какого бы то ни было факта, но могутъ лишь скомкать самый конкретный фактъ и намѣренно или ненамѣренно довести его до безплодія...

Признаюсь однако-жъ, я не принадлежалъ къ числу этихъ маловѣровъ. Я помню, я все кричалъ: «шибче! накаливай! ну, миленькіе, еще! еще! еще чуточку!» Подобно большинству тогдашнихъ новоявленныхъ либераловъ, я простиралъ Петру Иванычу Дракину объятія и говорилъ: «Петръ Иванычъ! еще вчера ты былъ весь въ навозѣ, а нынче, смотри, какой ты сталъ чистенькій!» Да и мудрено было поступать иначе. Въ то время и жилось свѣтло, и дышалось легко. Сто̀ило сходить въ мировой съѣздъ, чтобы почувствовать, какъ въ груди начинаетъ саднить, и по жиламъ

катится какая-то горячая, совсѣмъ новая кровь. И я не только сердился на маловѣровъ, но даже съ полною откровенностью предлагалъ имъ вопросъ: «что̀ вамъ еще надобно?» Даже и теперь, вспоминая объ этомъ времени, я чувствую, какъ меня саднитъ и теплота разливается во всемъ моемъ существѣ, и мнѣ кажется, что если-бъ можно было—о, если-бъ было можно!—остановить часовую стрѣлку на той самой минутѣ, когда Петръ Иванычъ впервые сказалъ: «наконецъ и мы освободились!»—какъ было бы это хорошо!

Да; это было бы хорошо даже въ томъ случаѣ, если-бъ Петръ Иванычъ сказалъ эту фразу не своимъ, а чужимъ языкомъ. Что̀ намъ за дѣло до его внутренняго чувства, если онъ не можетъ примѣнить его на практикѣ! Пусть чувствуетъ себѣ, какъ хочетъ и что̀ хочетъ, а мы, несмотря на его чувства, будемъ идти далѣе полегоньку впередъ. Было, положимъ, безъ пяти минутъ восемь, когда онъ въ первый разъ произнесъ: «наконецъ-то освободились и мы!»—и пусть бы остались эти безъ пяти минутъ весемь неподвижно и навсегда. Пусть время шло бы себѣ, а Петръ Иванычъ пусть поглядывалъ бы на часы и все бы думалъ: «успѣю еще напакостить! вѣдь всего безъ пяти минутъ восемь!» Но въ томъ-то и дѣло, что мы впопыхахъ забыли остановить маятникъ, а онъ, покачиваясь да покачиваясь, и навелъ Петра Иваныча на мысль: « а вѣдь времени-то однако-жъ довольно ушло!»

Благодаря нашей оплошности, эта мысль была для него цѣлымъ откровеніемъ. И онъ ухватился за нее цѣпко и горячо, да пожалуй и не могъ не ухватиться, потому что, говоря по совѣсти, вѣдь въ крѣпостномъ правѣ Петръ Иванычъ потерялъ свою Эвридику. Онъ потерялъ ее въ ту самую пору, когда чувствовалъ себя въ полномъ соку, когда ни одинъ физикатъ въ цѣломъ мірѣ не нашелъ бы въ немъ ни малѣйшей погрѣшности, которая бы свидѣтельствовала о его несостоятельности. Могъ ли онъ позабыть это! И вотъ, какъ только онъ убѣдился, что время не остановило теченія своего, онъ тотчасъ же, подобно Орфею, бросился отыскивать свою Эвридику и въ преисподнюю и на Олимпъ. И долгое время пѣлъ онъ свои чарующія пѣсни, пѣлъ ихъ и посреди истопниковъ аида и въ переднихъ небожителей, покуда наконецъ допѣлся-таки своего...

Мы, новоявленные либералы того времени, вдвойнѣ виноваты въ успѣхѣ Петра Иваныча. Вмѣсто того, чтобъ

кричать: «шибче! наяривай!» и неистовымъ крикомъ своимъ приводить въ ужасъ вселенную, намъ надлежало: во-первыхъ, какъ сказано выше, остановить часы и, во-вторыхъ, припасти для Петра Иваныча новую Эвридику. Онъ малый покладистый, и художественныя его требованія въ этомъ смыслѣ очень умѣренны. Была бы Эвридика, а тамъ, вышла ли она рыломъ или не вышла—это для него несущественно. Надобно было, стало-быть, пріискавъ для него новую и не очень дорогую Эвридику, помѣстить ихъ обоихъ въ безопасномъ мѣстѣ, а затѣмъ, смотря по обстоятельствамъ, прикидывать кой-какія бездѣлушки, чтобъ не разогорчить старика въ конецъ. И зажилъ бы себѣ нашъ Петръ Иванычъ на славу, въ полномъ удовольствіи отъ новой Эвридики и позабывъ о старой, и жилъ бы такимъ образомъ до той минуты, когда, одряхлѣвъ и обезсилѣвъ, самъ пришелъ бы къ заключенію, что ему не объ Эвридикахъ думать надлежитъ, а о спасеніи души!

Но мы предоставили Дракина самому себѣ и потому не должны удивляться, что, отыскивая утраченную Эвридику, онъ пошелъ не новымъ путемъ (сами-то мы, либералы, знаемъ ли, какой этотъ новый путь?), а тѣмъ, который искони топтали его ноги. Нельзя отказать человѣку въ правѣ отстаивать себя, напротивъ того, должно всегда ожидать, что если онъ въ минуту внезапнаго нападенія и не сумѣлъ выдержать напоръ, то впослѣдствіи все-таки не упуститъ ни одного случая, чтобъ занять утраченныя позиціи. Нельзя внезапно оголить человѣка отъ всѣхъ утѣшеній жизни, не припасши взамѣнъ ихъ другихъ утѣшеній или, по крайней мѣрѣ, не разрѣшивъ обстоятельно вопроса о Дракиныхъ вообще и объ утѣшеніи ихъ въ особенности. А мы не только ничего этого не сдѣлали, но безсмысленно простирали Дракину объятія и въ то же время еще безсмысленнѣе подшучивали надъ его тогдашнимъ безсиліемъ. Самъ Петръ Иванычъ неоднократно жаловался мнѣ на непростительную опрометчивость тогдашнихъ либераловъ.

— Помилуйте,—говорилъ онъ:—смѣшно даже смотрѣть! Я къ нимъ съ полной моей откровенностью: пристройте, говорю, старика, господа! А они въ отвѣтъ: Богъ подастъ, Петръ Иванычъ! И вѣдь еще смѣются, молодые люди... ахъ, молодые люди! Обижаютъ молодые люди старика да еще языкъ высовываютъ! Только и я, знаете, не промахъ: зачѣмъ, говорю, мнѣ Христа-ради кусокъ себѣ выпрашивать! Я й самъ. коли захочу, свой кусокъ найду!

— Найдете ли, Петръ Иванычъ?!

— Найду сударь, это, какъ святъ Богъ, найду! Потому неестественное это дѣло. Если я чѣмъ ни на есть помѣшалъ, если, съ позволенья сказать, занятія мои такого рода, что другимъ смотрѣть на меня зазорно,—ну, развлеки меня, пристрой, дай другое занятіе. А нѣтъ у тебя другого занятія—ну, отстрани совсѣмъ. Въ прежнее время мы всегда такъ дѣлали: чуть видишь, который человѣкъ шатается—сейчасъ его въ солдаты или на поселеніе! По крайности, нѣтъ его на глазахъ! А то—натко! «Богъ подастъ!» Нѣтъ, молодые люди, просчитаетесь! Я не только у васъ, но и у Господа Бога моего объѣдкомъ быть не хочу!

И Петръ Ивановичъ былъ правъ. Теперь Дракинъ вездѣ: и на улицѣ, и въ театрахъ, и въ ресторанахъ, и въ столицѣ, и въ провинціи, и въ деревнѣ—и не только не ёжится, но вездѣ распоряжается какъ у себя дома. Чуть кто зашумаркаетъ—онъ сейчасъ: «въ солдаты! въ Сибирь!» Словомъ сказать, поступаетъ совсѣмъ-совсѣмъ такъ, какъ будто ничего новаго не произошло, а напротивъ того еще расширилась арена для его похожденій.

Я искренно желалъ бы, чтобъ кто-нибудь доказалъ мнѣ, что Дракины и Хлобыстовскіе переродились, и что не только содержаніе употребляемыхъ ими пріемовъ, но даже наружный видъ этихъ пріемовъ подверглись какому-нибудь измѣненію противъ того содержанія и вида, который знакомъ намъ съ дѣтскихъ лѣтъ. Но полагаю, что самъ Менандръ, этотъ твердѣйшій въ бѣдствіяхъ человѣкъ, который и до днесь съ неслыханною дерзостью вопрошаетъ: «чего еще нужно?»—и тотъ едва ли найдется возразить что-нибудь основательное противъ моего предположенія. А покуда этого возраженія не существуетъ, считаю себя въ правѣ утверждать, что хотя крѣпостное право фактически упразднено, но оно еще живо въ душахъ нашихъ, и Петръ Ивановичъ даже на волосокъ не утратилъ той энергіи, которою онъ отличался въ былыя времена. И въ прежнее время онъ завывалъ какъ вѣтеръ въ пустынѣ, и теперь завываетъ. Измѣненіе чувствуется только одно: пустыня утратила прежнія границы и сдѣлалась какъ бы безпредѣльною. Отъ этого звуки дракинскихъ голосовъ распредѣляются не съ прежнею равномѣрностью. Въ одномъ концѣ слышно, въ другомъ—нѣтъ. Но упаси Богъ очутиться въ томъ районѣ, куда Петръ Ивановичъ полюбопытствовалъ заглянуть...

Другой итогъ: неясность цѣлей, къ которымъ могли бы быть примѣнены сохранившіеся идеалы.

Правда, что Петръ Ивановичъ Дракинъ добился своего, но для чего добился—онъ и самъ этого объяснить не можетъ. Единственный ясный результатъ его скитаній по преисподнимъ и райскимъ обителямъ заключается въ томъ, что онъ поставилъ на своемъ и доказалъ «молодымъ людямъ» (увы! какъ обрюзгли и постарѣли съ тѣхъ поръ эти «молодые люди!»), что выраженіе «Богъ подастъ!»—въ примѣненіи къ нему—по малой мѣрѣ опрометчиво. Что онъ пристроится, ежели на то пошло, пристроится самъ своими средствами и у нихъ, «молодыхъ людей», не попроситъ помощи...

Но къ чему пристроится? вотъ тутъ-то именно и начинается для Петра Иваныча цѣлый рядъ запутанностей и колебаній.

— А вѣдь я, братъ, прогадалъ!—признавался онъ мнѣ надняхъ:—думалъ, что штука-то въ томъ только и состоитъ, чтобъ руками направо и налѣво тыкать, а выходитъ, что я тычу-то въ пусто!

— Какъ въ пусто! все же, чай, разорите кого-нибудь, Петръ Иванычъ,—скромно возразилъ я.

— Чудакъ! да ты пойми! Разорить-то я, разумѣется, разорю! Я, братецъ, нынче такое засиліе взялъ, что кого хочешь... вонъ онъ! вонъ онъ по улицѣ въ пальтишкѣ бѣжитъ... хочешь, разорю?! Да вѣдь не сумасшедшій я, братъ, чтобъ зря разорять! Вотъ ты что сообрази! Вѣдь оно хорошо руками-то впередъ тыкать, когда знаешь, что изъ этого толкъ выходитъ. Прежде, вотъ, я зналъ... Зналъ я, мой другъ, зачѣмъ я тыкаю... предметъ я передъ собой видѣлъ! Ну, а нынче предметъ-то этотъ... гдѣ онъ? Ты вотъ день-то-деньской бѣгаешь, изъ себя выходишь, тычешь и направо и налѣво, а предметъ-то онъ... фью!

— Да; безъ предмета... оно точно... тяжеленько какъ будто...

— И какъ еще тяжело-то! Цѣлый день кровь въ тебѣ такъ ходуномъ и ходитъ! Ату его! лови! догоняй!—только и словъ! А вечеромъ, какъ начнешь себя усчитывать... грошъ! Сколько крови себѣ испортилъ, сколько здоровья убавилъ, а кого удивилъ! Вонъ онъ! вонъ онъ! ишь улепетываетъ... каналья! Ну, и поймаю я его; ну, и посажу на одну ладонку, а другой—прихлопну; ну, и мокренько будетъ... Кого я этимъ удивлю, скажи ты мнѣ, сдѣлай милость!!!

Петръ Иванычъ умолкъ на минуту и затужилъ.

— Грошъ!—повторилъ онъ въ раздумьѣ:—одинъ только грошъ! Сколько разъ я объ этомъ и самъ съ собой загадывалъ, и съ Михайломъ Никифорычемъ совѣтовался: отчего, молъ, у насъ прежде благорастворенiе воздуховъ было, а нынче, какъ ни бьемся—грошъ! «Да и у меня, братъ, не густо!» говоритъ. Такъ-то вотъ!

— Но въ такомъ случаѣ не лучше ли, Петръ Иванычъ, это дѣло оставить?—почтительно доложилъ я.

— Какъ? мнѣ оставить!—Петръ Иванычъ вскочилъ съ мѣста и взвился во весь ростъ, словно получилъ электрическiй ударъ въ поясницу:—мнѣ оставить! Да я тысячу разъ на дню издохну, а ужъ *его* дойму! Я его доканаю! Я его усмирю! Я нынче вотъ каковъ: не мнѣ, такъ никому. Пусть лучше собаки съѣдятъ! Да ты знаешь ли, какъ онъ меня позорилъ! Самъ цѣловаться лѣзетъ, а исподтишка облавы устраиваетъ! Ужъ на что я... коренникъ!—а и тутъ думалъ, что конецъ мой пришелъ! Трубитъ это въ трубу, словно въ день судный! Всѣхъ, братецъ, зоветъ! Смотрите, говоритъ, какъ я съ Петра Иваныча Дракина маску снимать буду!.. Снялъ ты—чорта съ два!

— Да вѣдь сами же вы говорите, что пользы отъ этого *для васъ* никакой нѣтъ!

— И говорю, и буду говорить,—а руками тыкать все-таки буду. Потому я такъ ужъ нынче пристроился. Дѣваться мнѣ больше нѐкуда. Съ чего они на меня наскочили? Мѣшалъ я, что ли, имъ? Сидѣлъ я у себя въ усадьбѣ и ни въ какiя ихнiя политики не вмѣшивался. По мнѣ хоть дери, хоть милуй—мое дѣло сторона! Вотъ какъ я, сударь, тогда себя велъ! Даже изъ ихняго брата придетъ, бывало, который: несчастливъ?—нà, братецъ! Садись за столъ, ѣшь, пей, разговаривай по-французски съ женой, съ дѣтьми играй! Въ баню хочешь—въ баню иди, экипажъ занадобился—экипажъ бери! Я дворянинъ, сударь! Я знать не хочу, кому какая политика нравится, а кому не по нраву! Учись! критикуй! доходи! На то ты и дворянинъ, чтобъ до всего доходить! А они—натко! Про то забыли, какъ я ихъ, курицыныхъ дѣтей, за свой столъ сажалъ, а вспомнили, какъ я Кузьку да Ѳомку на конюшнѣ наказывалъ!

— Да вѣдь вы и теперь дворянинъ, Петръ Иванычъ! И вы дворянинъ, и они дворяне—ну, чтò бы вамъ стоило эти дрязги оставить!

— Нѣтъ, сударь, теперь я ужъ не дворянинъ, а мститель-съ! Мститель я-съ—и ничего больше. Только эта гордость во мнѣ и осталась-съ. А по прочему по всему я даже такъ тебѣ скажу: жрать иногда нечего! вотъ они меня на какую линію поставили!

Слушая эти разсужденія, я не могу не признать одного: что Петръ Иванычъ по крайней мѣрѣ настолько уменъ, что нимало не обольщаетъ себя насчетъ своей задачи. Онъ прямо говоритъ, что предметъ этой задачи... фью! Правъ онъ также и въ своихъ упрекахъ тѣмъ «молодымъ людямъ», которые когда-то обнимали его и въ то же время напутствовали словами: «Богъ подастъ!» Что онъ въ свое время относился къ «молодымъ людямъ» благосклонно, когда они попадали въ бѣду, что онъ не тиранилъ ихъ, а сажалъ за свой столъ и предоставлялъ разговаривать по-французски съ своей женой—это я испыталъ на себѣ, когда я написалъ «Маланью» и попался по этому случаю впросакъ. Тогда я впервые и познакомился съ Петромъ Ивановичемъ (съ тѣхъ-то поръ онъ и говоритъ мнѣ «ты», на которое я отвѣчаю почтительнымъ «вы»). Я помню, я явился къ нему сконфуженный и думалъ, что онъ вотъ-вотъ сейчасъ вцѣпится въ меня (увы! *теперь* онъ такъ бы и поступилъ; онъ не только бы вцѣпился въ меня, но заперъ бы меня въ вонючую конуру, лишилъ бы огня и воды и проч.); но онъ не только не вскинулся на меня, но даже погладилъ меня по головѣ.

— Ну-ну!—сказалъ онъ мнѣ:—сшалилъ! проштрафился! ничего! тамъ—свои счеты, а здѣсь—свои. Богъ милостивъ! Дворянину — безъ того невозможно. Я самъ, братъ, молодъ былъ! самъ при цѣломъ полку командиру нагрубилъ! Знаю!

И вслѣдъ затѣмъ, дѣйствительно, велѣлъ накрывать на столъ, представилъ меня женѣ и предоставилъ мнѣ разговаривать съ нею по-французски...

Зачѣмъ же я впослѣдствіи обругалъ его (каюсь, и я принадлежалъ къ числу тѣхъ «молодыхъ людей», которые, обнимая, травили Петра Ивановича, думая, что онъ никогда уже не очнется)? И обругалъ притомъ безплодно, безсмысленно, точь-въ-точь такъ, какъ онъ поступаетъ теперь самъ по отношенію къ бывшимъ своимъ ругателямъ. И какъ мы его въ то время допрашивали! Господи, какъ мы допрашивали! Я думаю, еще и теперь икры его сохранили слѣды зубовъ, которыми мы вцѣплялись въ нихъ! И ни-

когда вѣдь не говорили мы прямо: твое, дескать, время, Петръ Иванычъ, прошло—умирай, старикъ! но старались прежде всего въ чувство его привести, а потомъ и уязвить. И гдѣ уязвить? на собственной его почвѣ, на той почвѣ крѣпостного права, которую онъ и въ геологическомъ, и въ статистическомъ, и въ этнографическомъ отношеніяхъ зналъ какъ свои пять пальцевъ!

— Тогда-то ты дѣвкѣ Маришкѣ косу стригъ, а этого тебѣ *предоставлено не было*!—ласково обличалъ одинъ.

— Тогда-то ты у Кузьки жену себѣ въ любовницы взялъ, а этого тебѣ *предоставлено не было!* — еще ласковѣе донималъ другой.

— Тогда-то ты всѣ шесть дней сряду народъ на барщину гонялъ, а этого тебѣ *предоставлено не было!* — совсѣмъ уже по-родительски вразумлялъ третій.

— Помилуйте, господа!—оправдывался Дракинъ:—на всѣ ваши вразумленія могу отвѣтить четырьмя словами: *тогда существовало крѣпостное право!*

Но мы ничему не внимали, и я очень живо помню, какъ однажды мой другъ Кирсановъ самымъ учтивымъ образомъ закоченѣлъ, впившись зубами въ одну изъ икръ Петра Иваныча.

Въ одномъ только Петръ Иванычъ не правъ: онъ сознаётъ, что предмета для тыканья руками уже не существуетъ, и все-таки продолжаетъ тыкать (и притомъ тыкаетъ совсѣмъ не въ то мѣсто, куда слѣдуетъ тыкать, какъ это сейчасъ будетъ объяснено). Но и тутъ неправота его только кажущаяся. Если нѣтъ предмета, котораго благополучіе оправдывало бы совершеніе подвиговъ, то есть воспоминаніе о подвигахъ, есть привычка къ нимъ; есть наконецъ сознаніе, что ему, Дракину, ни при чемъ больше и состоять невозможно, кромѣ какъ при подвигахъ. Лишившись предмета, тыканье руками хотя и утрачиваетъ свою ясность, но съ точки зрѣнія энергіи и силы никакого ущерба не терпитъ. Безпредметное, абсолютное, трансцендентальное, оно питаетъ само себя такъ, какъ питалъ и питаетъ самъ себя тотъ распивочный и раскурочный либерализмъ, который можно на золотники получать изъ лавочекъ современныхъ пѣнкоснимателей. Худо, конечно, дѣлаетъ Петръ Иванычъ, что себя безпокоитъ, но куда же онъ дѣнется съ своимъ темпераментомъ? Какъ уничтожитъ свои воспоминанія? какъ вычеркнетъ изъ прошлаго кровную обиду свою?

Но всѣ эти оправданія Петра Иваныча для меня дѣло второстепенное. Пусть даже онъ будетъ въ тысячу разъ не правъ—для меня важно уже то, что онъ самъ сознаётъ свою дѣятельность безпредметною. Этимъ признаніемъ сказано все: и то, что у него уже нѣтъ ясной цѣли, и то, что единственное побужденіе, которое руководитъ имъ, есть побужденіе гнѣва, и то наконецъ, что онъ не можетъ продолжать своей дѣятельности иначе, какъ подъ условіемъ поддерживанія своей нервной системы въ постоянно напряженномъ состояніи. Какъ хотите, а онъ несчастливъ. Въ самыхъ разнообразныхъ формахъ и видахъ является онъ передъ нами всюду: и на улицѣ, и въ кафе-шантанахъ, и въ ресторанахъ, и даже въ безчисленныхъ канцеляріяхъ, и, повидимому, улыбка никогда не сходитъ съ лица его. Но не вѣрьте этой улыбкѣ, ибо я знаю навѣрное, что на сердцѣ у него скребутъ мыши. Онъ уже понимаетъ, что предметъ его раздраженій — фью! и что сколько бы онъ ни разорялъ, ни расточалъ, собственное его благополучіе не увеличится отъ того ни на волосъ!

Но, сверхъ того, не слѣдуетъ забывать, что и для того, чтобы разорять, надо все-таки еще случай имѣть, надо быть поставленнымъ въ такія условія, при которыхъ подлинно разорять можно. Но развѣ большинство Дракиныхъ находится въ такихъ условіяхъ?—Нѣтъ, громадная масса ихъ можетъ относиться къ разоренію лишь платонически. Она можетъ только облизываться, поощрять, кричать: браво!—но ничего болѣе...

Я представляю себѣ Дракина дѣятельнаго, который, ложась на ночь, сводитъ концы съ концами и вдругъ приходитъ къ убѣжденію, что въ результатѣ получилъ—грошъ. Какое горькое чувство должно овладѣть имъ! Какой стыдъ! какое раскаянье!

Но представьте же себѣ то множество Дракиныхъ, которымъ даже концы съ концами сводить не приходится, а приходится только ежечасно сознавать, что предметъ ихъ вожделѣній—фью! Что̀ должны ощущать *эти* Дракины? Къ какому должны они придти заключенію относительно своего настоящаго и будущаго?

По моему мнѣнію, они должны придти къ тому заключенію, которое я назову третьимъ итогомъ моего «Дневника»: къ сознанію жизненной пустоты и невозможности куда-нибудь приткнуться, гдѣ-нибудь сыграть дѣятельную роль.

Одинъ *можетъ* тыкать впередъ руками, но, по довольномъ упражненіи, приходитъ къ убѣжденію, что пользы отъ того не пріобрѣтается никакой. Другому и хотѣлось бы пристроиться къ этому ремеслу, но для него уже нѣтъ мѣста на жизненномъ пирѣ. Какъ ни велика разница въ положеніи обоихъ «ветхихъ людей», но и для того и для другого конецъ одинаковъ. Этотъ конецъ формулируется словами: сознавать, что Эвридика найдена только по наружности, въ дѣйствительности же она потеряна безвозвратно, — и затѣмъ тосковать, вздыхать и безнадежно всматриваться въ даль...

Я положительно утверждаю, что Петръ Иванычъ понимаетъ безплодность своего нынѣшняго ремесла, и что онъ потому только упорствуетъ въ немъ, что ему внѣ этого ремесла нечего дѣлать, некуда приткнуться. Несмотря на то, что мы, русскіе, никогда особенно дѣятельно не заявляли себя съ политической стороны, никто не способенъ съ такимъ упорствомъ оставаться на исключительно-политической почвѣ дѣятельности, какъ мы. Понятіе, сопряженное съ словомъ: «дѣлать», какъ бы не существуетъ для насъ; мы знаемъ только одно слово: распоряжаться. «Распоряжаться», то-есть смѣщать, увольнять, замѣщать, повышать, понижать и т. д. А это-то именно и есть «политика», въ томъ смыслѣ, какъ мы ее понимаемъ. Еще недавно Петръ Иванычъ жаловался мнѣ:

— Плохо, братецъ! Такой кавардакъ въ имѣніи идетъ, что просто хоть все бросай!

— Да вы бы распорядились, душа моя! (Иногда я позволяю себѣ называть его ласкательными именами, и онъ— вотъ какъ онъ простъ!—нисколько не обижается этимъ!).

— И то, братецъ, распоряжался! Въ одинъ годъ двоихъ управляющихъ смѣнилъ—чего еще!

— А вы бы сами съѣздили, посмотрѣли, указали бы что̀ слѣдуетъ!

Говоря это, я чувствовалъ, что лицо мое горитъ отъ стыда, ибо я самъ очень хорошо сознавалъ, что слова мои—кимвалъ бряцающій, а совѣты—не больше, какъ подборъ пустыхъ и праздныхъ словъ. Увы! я и самъ не дѣлатель, а только политикъ! Къ счастью однако-жъ Петръ Иванычъ не замѣтилъ моего смущенія: онъ самъ въ это время поникъ головой и горькую думу думалъ.

— Нѣтъ,—сказалъ онъ наконецъ:—нѐзачѣмъ! Разъ смѣнилъ управляющаго—не помогло, другой разъ смѣнилъ— не помогло, приходится смѣнять въ третій разъ!

И только. Въ этомъ вся наша панацея, въ этомъ перспектива нашего будущаго. Если мы не можемъ ясно формулировать, чего мы требуемъ, что же мы можемъ? Если у насъ нѣтъ даже рутины, а тѣмъ менѣе знанія, то какое занятіе можетъ приличествовать намъ, кромѣ «политики»? Если же «политика» ускользаетъ отъ нашихъ рукъ, то чѣмъ мы можемъ ее замѣнить, кромѣ слонянія изъ одного угла въ другой? Какія надежды могутъ насъ оживлять, кромѣ надеждъ на выигрышъ двухсотъ тысячъ?

Съ упраздненіемъ крѣпостного права, отъ насъ отошелъ трудъ. Не только тотъ даровой трудъ, который приносилъ съ собой это право, но трудъ вообще. Мы сдѣлались свободными отъ труда вообще и остались при одной такъ-называемой политической задачѣ. Но спрашивается: какая-такая политика, которую можетъ преслѣдовать Петръ Иванычъ, оголенный отъ крѣпостного права?

Поймите, читатель, весь ужасъ этого положенія! Быть осужденнымъ на жизнь и въ то же время никакого дѣла передъ собой не видѣть! Къ земству примкнуть? — но мы не знаемъ, какъ гать построить, и гдѣ канаву прорыть— не знаемъ, да и не хотимъ знать, ибо наше дѣло не указать, а приказать. Въ мировые судьи выбираться?—но мы не только законовъ не знаемъ, а просто двухъ фразъ толково связать не можемъ—только смѣхъ одинъ! Вотъ, кажется, и политическія занятія, такія, которыя всего болѣе намъ понутру,—а выходитъ, что и они къ рукамъ не идутъ! А тоска-то какая! Сидѣть и думать о томъ, какъ скорбные листы въ больницахъ въ исправности содержать, или какимъ образомъ такую канаву посреди дороги провести, чтобъ и пѣшій и конный—всякій бы въ ней шею себѣ сломалъ!

Тѣмъ не менѣе мы не сразу пришли въ уныніе, а тоже попробовали: и въ земскія собранія ѣздили, стараясь по возможности сообщить полемико-политическій оттѣнокъ вопросу о содержаніи лошадей для чиновъ земской полиціи, и въ качествѣ мировыхъ судей дѣйствовали, стараясь извлечь изъ кражи мотка нитокъ на фабрикѣ какой-нибудь политическій принципъ. Все мы испробовали, но нигдѣ не обрѣли «политики», а взамѣнъ того вездѣ наткнулись на слово: тоска! тоска! и тоска!

Вотъ почему мы, провинціальная интеллигенція, въ настоящее время валомъ валимъ въ Петербургъ. Все думается: не полегче ли будетъ? не совершится ли чудо какое-

нибудь? не удастся ли примазаться хоть къ краешку какой-нибудь концессіи, потомъ сбыть свое учредительское право— и въ сторону. А тамъ—за границу, на минеральныя воды...

Je m'en fiche, contrefiche...

Не спорю, если-бъ это удалось, оно было бы во многихъ отношеніяхъ недурно, но тутъ настигаетъ насъ другой вопросъ—финансовый. Откупа уничтожены, а концессію получить положительно трудно. Нынче это дѣло такъ округлено, въ такія границы поставлено, что не съ Прокоповымъ носомъ соваться туда. Это своего рода укрѣпленное мѣсто, въ которое даже самъ Петръ Иванычъ Дракинъ (онъ, по всей справедливости, считается коноводомъ кадыковъ и дѣйствительно держитъ высоко свое знамя) — и тотъ не могъ проникнуть, какъ ни старался. А жаль. Потому что, если-бъ предоставили Дракину вести на общественный счетъ желѣзные пути, — во-первыхъ, онъ, конечно, не оставилъ бы ни одного живого мѣста въ цѣлой Россіи, а во-вторыхъ, навѣрное онъ опять почувствовалъ бы себя въ обладаніи «предмета», и вслѣдствіе этого сердце его сдѣлалось бы доступнымъ милосердію и прощенію. По крайней мѣрѣ онъ самъ удостовѣрялъ меня въ этомъ.

— Если бы хоть одну дорогу дали, — открывался онъ мнѣ:—ужъ какъ бы, кажется, на душѣ легко было! Ну вотъ, ей-Богу... ну, ей-же-ей, простилъ бы! А то вѣдь какъ на смѣхъ: жидъ придетъ — бери! Бери! владай! что угодно дѣлай! А свой братъ, дворянинъ, явится — «да ты знаешь ли, изъ чего рельсы-то дѣлаются?» Каково это слушать-то!

— А вѣдь коли по правдѣ сказать, оно и точно. Вотъ я, напримѣръ, хоть и знаю, что рельсъ—онъ желѣзный, а какой онъ тамъ, кромѣ того, что онъ желѣзный—вотъ хоть убей меня, сказать не могу!

— И я, братецъ, не знаю, да кто же знаетъ нынче! Вотъ приступлю—и буду знать. И зачѣмъ мнѣ знать, коли мнѣ незачѣмъ. Жидъ-то пархатый—ты думаешь, онъ лучше меня знаетъ? Нѣтъ, онъ тоже, братъ, швахъ по этой части! Вотъ подходцы онъ знаетъ—это такъ! На это онъ мастеръ! Въ такую, братъ, помойную яму съ головой окунется, какая намъ съ тобой и во снѣ не приснится!

Не приснится!—Такъ говоритъ Петръ Иванычъ, но не слишкомъ ли самонадѣянно онъ утверждаетъ это? Не знаю почему, но мнѣ кажется, что не только приснилось бы, а

даже... Но мы даже въ этомъ смыслѣ получили такое поверхностное образованіе, что и сны-то у насъ недостаточные выходятъ...

Какъ бы то ни было, но финансовый вопросъ есть въ настоящую минуту самый жгучій вопросъ для нашей интеллигенціи. Умѣя только распоряжаться и не умѣя «дѣлать», мы оказываемся совершенно безсильными относительно созиданія новыхъ цѣнностей, и какія предпріятія мы ни затѣвали въ этомъ смыслѣ—всегда и вездѣ, за очень малыми исключеніями, оказывался, по выраженію Дракина, «кавардакъ». Но этого мало: мы не умѣемъ обращаться даже съ тѣми цѣнностями, которыя дошли до нашихъ рукъ независимо отъ нашихъ усилій...

— Въ ту пору, какъ застигла насъ эта катастрофа,— разсказывалъ мнѣ Петръ Иванычъ: — душно мнѣ стало! такъ душно!—Идите, говорю, съ моихъ глазъ долой! Всѣхъ на выкупъ! въ казну!—И зачалъ, братъ, я спѣшить! Горитъ у меня подъ ногами — да и только. Получу, думаю, выкупную ссуду, землю, которая получше, себѣ отрѣжу— и начну, благословясь, вольнымъ трудомъ работать. То-есть и сплю и вижу, какъ этотъ вольный трудъ начнетъ у меня дѣйствовать! Ну-съ, хорошо. Окружили меня живымъ манеромъ: опекунскому совѣту долгъ вычли (я, братецъ, на тридцать семь лѣтъ занималъ, а съ меня *вдругъ все* вычли), кой-какіе частные долги удовлетворили, остальное выдали на руки. Ну, слава Богу, думаю, хоть и не Богъ знаетъ, сколько суммы осталось, зато вольный трудъ теперь у меня самъ собой пойдетъ! Поѣхалъ къ Бутенопу, накупилъ машинъ—то-есть какая сѣноворошилка у меня была: ну просто конфетка!—нанялъ рабочихъ и сижу, жду у моря погоды. Мѣсяцъ у меня идетъ, другой идетъ—я все молчу, все деньги плачу. Иногда, знаешь, разберетъ меня зло, что все какъ будто не такъ; вспомнишь это, какъ прежде распоряжался, и выбѣжишь въ поле. Ни души, сударь! Тишина, братецъ, мертвая; ни голосу, ни шелесту; солнце сверху такъ и льетъ!—Гдѣ вы, черти?—ни звука. Словно всѣ умерли! А сердце такъ и кипитъ. Побѣгаешь, покружишься, наткнешься на борозду, упадешь—домой! Ахъ, какое это чувство, мой другъ! какое это ужасное чувство, когда въ тебѣ кипитъ, и вдругъ—никого! Натурально, сейчасъ за управляющимъ:—Разбойникъ, дармоѣдъ!—И что-жъ, первое слово въ отвѣтъ: «Не извольте ругаться!»—Не въ ругательствѣ дѣло, курицынъ ты сынъ! не ругаюсь я, а

чего ты, мерзавецъ, смотришь! отчего въ полѣ никого нѣтъ?—«Оттого, что рабочіе отдыхать пошли».—Отдыхаете, бестіи! все-то вы отдыхаете!—«Помилуйте, Петръ Иванычъ, вы вотъ только-что чай откушали, а мы еще гдѣ до свѣту встали!»... Ну, успокоишься, то-есть не успокоишься, а скажешь себѣ:—Ну васъ къ чертямъ! распинайте! Сядешь это за книжку, потомъ позавтракаешь, жена «варьяціи на русскія темы» сыграетъ, дѣти придутъ: «папа! пойдемъ въ паркъ, либо на прудъ рыбу ловить!» Такимъ манеромъ пройдетъ еще часа три-четыре—опять не утерпишь и побѣжишь въ поле. Ни души, сударь! «Да надо же отдохнуть народу!»—ужъ огрызается тебѣ въ лицо управляющій. Потомъ обѣдать, потомъ послѣобѣденный сонъ, потомъ чай, потомъ гулянье. Нагулявшись, опять въ поле... ни души! Всѣ ужъ пошабашили и собираются ужинать. Такъ я *его* и не видалъ, какъ онъ тамъ вольнымъ трудомъ работаетъ! Возьмешь съ собой въ сумерки управляющаго и пойдешь съ нимъ по полямъ.—Такъ, что ли, разбойникъ, пашутъ?—«А то какъ же еще!» —Такъ, что-ли, мошенникъ, жнутъ?—«Да вы, сударь, сами изволили бы показать, что̀ отъ насъ требуется!» Мерзавецъ! Знаетъ вѣдь, анаѳема, что я показать не могу! Бился я, бился такимъ манеромъ, наконецъ бросилъ. Жду. Осенью живо обмолотили, вывѣяли, ссыпали. Рожь уродилась самъ-четвертъ, овесъ—самъ-третѐй, гречиха—не собрали сѣмянъ.—Подлецы! развѣ такъ вольный трудъ долженъ давать! вѣдь онъ самъ-десятъ долженъ давать—да и тогда только концы съ концами свести можно!—Молчатъ. —Да что̀ вы молчите, анаѳемы! говорите по крайней мѣрѣ, отчего это?—«Съ землею у насъ, Петръ Ивановичъ, ничего не подѣлаешь! Холодная!»—Какъ холодная? все была теплая, а теперь холодная сдѣлалась!—«И прежде была холодная, только прежде потому теплѣе казалось, что мужички подневольные были!» Сѣлъ я тогда за хозяйственныя книги, сталъ приходъ и расходъ сводить—вижу, въ одно лѣто изъ кармана шесть тысячъ вылетѣло, кромѣ того, что̀ на машины да на усовершенствованія пошло. Нѣтъ, думаю, шалишь! Такимъ образомъ никакой выкупной ссуды не достанетъ! Надо это дѣло бросить. А тутъ кстати хорошій человѣкъ нашелся, надоумилъ меня. «Зачѣмъ, говоритъ, вамъ, Петръ Иванычъ, безпокоиться! сдали бы вы мнѣ землю по рублю серебромъ за десятинку на кругъ, а сами бы въ Москву или на теплыя воды!» Что-жъ,

думаю, чѣмъ по пяти тысячъ въ годъ убытку терпѣть, лучше хоть тысячу чистоганчикомъ получить! Взялъ да въ одну минуту и порѣшилъ дѣло! Подмахнулъ контрактъ на двѣнадцать лѣтъ; машины, скотъ, сѣмена и другое имущество сдалъ арендатору и велѣлъ укладываться въ Москву.— Лѣсъ чтобы не рубить, Иванъ Парамонычъ!—«Зачѣмъ, ваше превосходительство, лѣсъ рубить».—Вѣдь ты, Иванъ Парамонычъ, меня не обманешь? Аренду выстоишь?—«Зачѣмъ, ваше превосходительство, обманывать! креста, что ли, на мнѣ нѣтъ!»—Ну, то-то же! Теперь съ Богомъ! Трогай! Въ Москву.

— Ну-съ, дальше-съ!

— А дальше, братъ, даже вспомнить стыдно. Осталось у меня въ то время тысячъ шестьдесятъ выкупными свидѣтельствами (у меня, братъ, вѣдь полторы тысячи душъ было!). Деньги хорошія, и будь онѣ у меня теперь, я бы зналъ, какъ мнѣ поступить. Я понялъ бы, что мнѣ ничего другого не остается, какъ получать на мой капиталъ проценты, устроиться въ Москвѣ гдѣ-нибудь подъ Донскимъ, лишнюю прислугу распустить, самому ходить къ Калужскимъ воротамъ за провизіей и нанять учителя, чтобъ училъ дѣтей латинскому языку. По крайности, хоть изъ нихъ дѣятели бы вышли. Но тогда чадъ изъ головы-то еще не весь вышелъ. Пріѣхалъ въ Москву, а тамъ деньги страсть какъ нужны. Сталъ я, братъ, деньги подъ залогъ раздавать и роздалъ, нечего сказать, выгодно: процентовъ по двѣнадцати въ годъ. Думаю: какъ это я до сихъ поръ не догадался! а про то и забылъ, что для этой операціи нужно законы тоже знать, а зачѣмъ мнѣ ихъ было знать, коли мнѣ не зачѣмъ? Ничего, однако-жъ: осмотрѣлся, получилъ проценты впередъ и вижу: неминучее дѣло свой домъ купить. И домъ, по-нашему, по-дракински, чтобы такой: во-первыхъ, зало въ четыре окна; во-вторыхъ, гостиную въ три окна; въ-третьихъ, диванная, потомъ спальня, дѣтскія, кофишенная, столовая, для меня конурка, два флигеля: въ одномъ кухня, въ другомъ людскія. Словомъ сказать, комнатъ въ двадцать. Многонько это, а меньше, какъ ни гадали, никакъ невозможно. Потому въ Москвѣ—всѣ наши налицо. И Хлобыстовскіе, и Ноздревы, и Кирсановы, и Лаврецкіе, и Райскіе, все свои родные, всѣ въ Москву понаѣхали, всѣ живутъ и въ баклуши бьютъ. Купилъ, двадцать тысячъ отдалъ. Потомъ трехъ жеребцовъ купилъ: двухъ бурыхъ въ маслѣ въ

дышло—для жены, одного, сѣраго въ яблокахъ, одиночку—для себя. Денегъ-то сколько осталось? Прожилъ я такимъ манеромъ съ годъ—не могу пожаловаться: хоть бы вѣкъ такъ жить! Живу, братецъ, да и полно! И даже надежды имѣю. На что̀ надежды—вотъ хоть убей, объяснить не могу, а только чувствую, всѣмъ нутромъ чувствую, что придетъ что-то... Ну, сбудется *оно,* да и все тутъ! Только тогда меня осадило, когда̀ срокъ закладнымъ пришелъ. Всѣ до одной оказались незаконными. То-есть, не то чтобъ было какое-нибудь сомнѣніе, что я деньги взаймы далъ, а такъ какъ-то вышло, что денегъ-то этихъ возвращать мнѣ не слѣдуетъ. Иду, сударь, въ судъ, а въ судѣ вижу: сидятъ всѣ тѣ «молодые люди», которые, помнишь, мнѣ въ ту пору «Богъ подастъ» сказали. Не вытерпѣлъ:—Разбойники! говорю.—Сейчасъ это въ протоколъ, и зачали они меня судить. Про то-то, что кровныя мои денежки гулять пошли, и думать перестали, а все судятъ «поступокъ» мой.—Какой, говорю, это «поступокъ», молодые люди? ну, будемъ говорить безъ азартности,—ну, развѣ вы не разбойники!—Опять—въ протоколъ, и все, знаешь, тихимъ манеромъ: «Успокойтесь, Петръ Иванычъ! мы ужъ не тѣ! мы прежнія заблужденія-то ужъ оставили! а вы бы лучше адвоката себѣ хорошаго наняли!»—Адвоката! ни за что! говорю. Самъ отъ васъ отгрызусь! И можешь ты себѣ представить, мой другъ, вѣдь я по сю пору подъ судомъ состою! Вотъ я съ тобой теперь говорю, а *тамъ,* можетъ-быть, меня въ Сибирь на поселеніе ссылаютъ! Только нѣтъ, братъ, шалишь! Петръ Иванычъ Дракинъ докажетъ! Онъ докажетъ! Онъ сумѣетъ доказать!

Это воспоминаніе такъ взволновало Петра Иваныча, что онъ нѣкоторое время не говорилъ, а только испускалъ глухое рычаніе. Лицо у него сначала побагровѣло, потомъ посинѣло, такъ что я не на шутку началъ опасаться за окончаніе разсказа о его похожденіяхъ. Но, слава Богу, выпивъ стаканъ воды, онъ успокоился.

— Вотъ, мой другъ,—сказалъ онъ мнѣ:—ты мнѣ *въ то время* тоже разныя эти колкости говорилъ... помнишь?

— Виноватъ, Петръ Иванычъ, былъ тотъ грѣхъ!

— Ну, такъ помни мое слово: эти—пѣнкоснимателями, что ли, ты ихъ называешь!—они вдвое противъ насъ, стариковъ, язвительнѣе будутъ. Ума у него съ горошину, благородныхъ чувствъ никакихъ, вотъ и сидитъ онъ и ехидствуетъ, какъ бы ему эту горошину въ оборотъ пу-

стить. И пущаетъ. Тамъ, гдѣ мы руками зря впередъ тыкали, они на законномъ основаніи тебя изведутъ.—Мы—фюить!—и дѣло съ концомъ! а они зудомъ жизнь твою вызудятъ. Я, братъ, простить могу; онъ—не проститъ. Не человѣкъ, братъ, онъ, а шкапъ съ выдвижными ящиками. На всякомъ ящикѣ у него ярлыкъ наклеенъ, а потому ему сразу видно, который ящикъ выдвинуть слѣдуетъ. И ежели ты, напримѣръ, калачъ укралъ, я тебѣ скажу: ты это что̀, курицынъ сынъ, надѣлалъ?—а *онъ* тебя призоветъ! Вы, скажетъ, калачъ вамъ не принадлежащій себѣ присвоили, такъ за это вы подлежите, по такой-то статьѣ, такому-то истязанію. И не проси его! не разговаривай! Ничего, скажетъ, я не могу, потому что воровство, во-первыхъ, строго воспрещено закономъ, а во-вторыхъ, обществу можетъ угрожать гибель, если воровъ не преслѣдовать! И вѣдь достигнутъ они, превознесутся! произойдутъ! Ты вотъ шутишь, говоришь, что я разоряю, а кого разоряю-то я? Вонъ онъ... вонъ голоштанникъ-то по улицѣ фалдочками трясетъ!.. *его* я разоряю! вотъ кого! А того «молодого человѣка», пѣнкоснимателя-то... нѣтъ, братъ, его ужъ не разоришь! Мы какъ въ наше время достигали?—Мы достигали вразсыпную, вразбродъ! Стало-быть, если ты не матушкинъ сынокъ или не тетка тебѣ графиня Татьяна Борисовна—хоть ты за двадцать человѣкъ аппетитъ имѣй, а все ничего не подѣлаешь! Развѣ что изъ сотни одному счастье порутируетъ. А *эти*—переплелись! Они не разбираютъ промежъ себя, кто матушкинъ, кто курицынъ сынъ, а прутъ впередъ—и все тутъ. Ужъ и теперь они, не хуже любого попа, на насъ, стариковъ, засматриваются. Ты еще похолодѣть-то не успѣлъ, а онъ ужъ тутъ какъ тутъ. Шныритъ около кого ему слѣдуетъ, объясняетъ свои поступки, благородно распинается—и достигнетъ! Достигнетъ, потому что, по правдѣ сказать, вездѣ онъ одинъ кандидатъ. Сунь ты рукой въ щучій садокъ—все равно, какъ ни шарь, щуренка вытащишь! Такъ-то, душа моя. На чемъ бишь, я, однако, остановился, разсказывая о похожденіяхъ-то своихъ?

— На закладныхъ, Петръ Иванычъ. Закладныя ваши признаны были не подлежащими удовлетворенію.

— Ну, да. Поѣхалъ я тогда опять въ деревню, а женѣ велѣлъ московскій домъ продавать. Пріѣзжаю—и что̀ вижу? Машины мои проданы, скотъ—тоже, лѣсъ вырубленъ...—Иванъ Парамоновъ! мошенникъ! воръ ты! говорю.—«Ни-

какъ нѣтъ, ваше превосходительство», говоритъ.—Какъ же ты не мошенникъ! гдѣ лѣсъ-то? гдѣ машины? гдѣ скотъ?—«Лѣсъ, говоритъ, на топливо срубленъ, потому не околѣвать на морозѣ; машины со временемъ испортились; скотъ тоже со временемъ весь выпалъ!» Повѣришь ли, мой другъ, я даже глаза выпучилъ. Въ судъ, думаю, идти—такъ, вѣрно, я самъ въ контрактѣ что-нибудь напуталъ! Значитъ, придешь туда, только выругаешься—что̀ толку? Бросилъ все—и айда въ Петербургъ. Спасибо генералъ Мудровъ меня еще по полку зналъ—ну, пріютилъ. А сколько есть такихъ, о которыхъ генералъ Мудровъ даже по наслышкѣ понятія не имѣетъ!

Да, сколько такихъ?!! повторю вмѣстѣ съ Петромъ Иванычемъ и я.

А на нихъ-то именно и отразился преимущественно финансовый вопросъ. Пошли они сначала бойко, потомъ тише, тише и наконецъ сѣли. По временамъ фортуна какъ бы благопріятствовала имъ: тотъ въ земскую управу попалъ, тотъ, въ качествѣ мирового судьи, ребятишкамъ на молочишко доставалъ; но когда оказалось необходимымъ и тамъ дѣлиться жалованьемъ съ секретарями да письмоводителями, тогда... тогда въ перспективѣ осталось уныніе—и больше ничего. А вмѣстѣ съ уныніемъ появилось какое-то страстное, жгучее стремленіе въ Петербургъ, съ цѣлью попытать, не будетъ ли тутъ чего...

Но ничего уже не оказалось, потому что «молодые люди», о которыхъ Петръ Иванычъ говорилъ, что они переплелись между собой, всѣ пѣнки сняли. Кадыки, обезкураженные, полинявшіе, слоняются по стогнамъ столицы и до того оробѣли, что не могутъ даже объяснить, чего имъ хочется. Тѣ, которые еще *могутъ* тыкать руками впередъ, начинаютъ догадываться, что этимъ, кромѣ удовлетворенія чувству мести, все-таки ничего не достигнешь; а тѣ, которые *не могутъ* давать рукамъ волю, только взываютъ: «откуду мнѣ сіе?»—и въ тщетномъ ожиданіи отвѣта утрачиваютъ всякую бодрость.

На первыхъ порахъ эти люди и въ Петербургѣ начинаютъ бойко. Сознаніе, что въ карманѣ еще есть выкупное свидѣтельство, и что оно въ то же время послѣднее, заставляетъ ихъ рисковать. Либо панъ, либо пропалъ—и вотъ нашъ кадыкъ бѣжитъ къ Елисееву, кутитъ у Донона и Дюсо, платитъ 25 р. за кресло на Патти, бѣснуется въ театрѣ Буффъ и такъ далѣе. И вездѣ нюхаетъ, вездѣ

ищетъ, какъ бы нужнаго человѣка подцѣпить. Тамъ прослышитъ: дорогу новую придумываютъ, въ другомъ мѣстѣ—банкъ облюбовываютъ, въ третьемъ—такое предпріятіе, ну, такое предпріятіе... ахъ, прахъ побери да и совсѣмъ! Господи! да неужели же нельзя какъ-нибудь примазаться! Хоть чуточку! Я, ваше превосходительство, только за кончикъ подержусь—а тамъ и въ сторонку-съ! Но «нужный человѣкъ» охотно пьетъ съ кадыкомъ шампанское; когда же рѣчь заходитъ о предпріятіи,—смотритъ такъ ясно и даже строго, что просто душа въ пятки уходитъ! «Зайдите-съ», «навѣдайтесь-съ», «можетъ-быть, что-нибудь и окажется полезное»—вотъ отвѣты, которые получаетъ бѣдный кадыкъ и, весь полный надеждъ, начинаетъ изнурительную ходьбу по переднимъ и пріемнымъ, покуда наконецъ самымъ очевиднымъ образомъ не убѣдится, что даже швейцаръ «нужнаго человѣка»—и тотъ тяготится имъ.

Тогда кадыкъ вступаетъ во второй періодъ своего земного странствія: онъ выцвѣлъ, пересталъ гарцовать и ходитъ обѣдать не къ Дюсо, а къ Палкину и Доминику, а вечеромъ направляется въ «Орфеумъ». Но онъ еще не окончательно утратилъ надежду, ибо если настоящій, заправскій предприниматель уже ускользнулъ изъ его рукъ, то у него все-таки остался предприниматель второстепенный. И чѣмъ ниже спускается кадыкъ по лѣстницѣ предпріятій, тѣмъ фантастичнѣе и фантастичнѣе становятся эти послѣднія. Что̀ тутъ ни предполагается! о чемъ ни ведутся оживленные споры! А результатъ одинъ: конецъ выкупному свидѣтельству. И конецъ этотъ тѣмъ неизбѣжнѣе, что предприниматель второстепенный только къ тому и направляетъ свои усилія, чтобы устроить обращеніе капитала, который недаромъ же и названіе носилъ «оборотнаго»...

И вотъ наступаетъ третій періодъ: оборотный капиталъ съѣденъ и пропитъ. Ежели въ два предшествующихъ періода человѣкъ не имѣлъ никакихъ надеждъ, кромѣ: «вотъ кабы» да «ужъ тогда бы», если онъ и тогда, въ сущности, только слонялся, самъ не понимая, зачѣмъ ѣлъ и пилъ больше, чѣмъ надо, и восхищался Патти, въ душѣ припоминая дѣвку-Палашку, то теперь, когда все уже «совершилось», когда весь кругъ пройденъ и даже нѣтъ въ виду ни «кабы, ни «если бы»—какой удѣлъ можетъ предстоять, ему, кромѣ унынія?

Тогда онъ отправляется въ греческую кухмистерскую, заигрываетъ съ потомкомъ Перикла и Аспазіи, даже льститъ ему, съ тѣмъ, чтобы устроить себѣ кредитъ...

но въ первомъ ли, во второмъ ли, въ третьемъ ли періодѣ, шлющійся человѣкъ—все шлющійся человѣкъ. Одумается ли онъ наконецъ? Рѣшится ли покончить съ столицею и удалиться въ свою «Проплёванную»? Какъ-то встрѣтитъ его тамъ Иванъ Парамоновъ? Дозволитъ ли ему поселиться въ собственномъ его разваливающемся домѣ и жить смирно, пока не придетъ смерть и не смететъ съ лица земли этого «лишняго человѣка», котораго жизнь, со времени «катастрофы», сама сдѣлалась, постоянною неперемежающеюся катастрофой?

Таковъ этотъ «ветхій», отходящій въ вѣчность человѣкъ. Порою онъ еще огрызается и вскидывается, какъ озаренный, но въ сущности онъ уже понимаетъ, что время его прошло, и что даже огрызанія ни на волосъ не увеличатъ его благополучія.

На мѣсто его народился типъ новый, дѣятельный. Но не съ новыми идеалами, а съ старыми же, въ которые, взамѣнъ «нраву моему не препятствуй», пущена легкая струя бездѣльничества и хищности. Это люди, насквозь проникнутые убѣжденіемъ, что безсовѣстность и тупоуміе призваны обновить міръ. Они представляютъ собой четвертый итогъ, о которомъ я и поведу теперь рѣчь.

Среди потока противорѣчивыхъ вздоховъ, укоровъ и негодованія, которыми по временамъ обдаетъ меня Петръ Иванычъ, у него вырвалось одно очень правдивое и мѣткое замѣчаніе: онъ разорилъ не того, противъ кого устремлялъ свой натискъ, а совсѣмъ посторонняго человѣка, до котораго, собственно говоря, ему никакого дѣла не было.

Что̀ сдѣлалъ ему сей юноша, который такъ прилежно изслѣдуетъ, кто были прародители человѣка? Что̀ сдѣлала ему сія юница, которую волнуетъ женскій вопросъ и которая хочетъ во что бы ни стало доказать, что женщина въ умственной сферѣ *можетъ* все то, что̀ *можетъ* и мужчина? Разумѣется, Петръ Иванычъ отвѣтитъ на эти вопросы: «они, канальи, *утопіи* тамъ выдумываютъ!» — но отвѣтъ этотъ едва ли будетъ искрененъ. Кто въ двадцать лѣтъ не желалъ и не стремился къ общему возрожденію, про того трудно даже сказать, что у него было когда-нибудь сердце, способное сочувствовать и сострадать. Что истина эта не безызвѣстна и Петру Иванычу—это доказывается тѣмъ, что онъ самъ когда-то при цѣломъ полку командиру нагрубилъ. Онъ самъ неоднократно при мнѣ говаривалъ: «учись, критикуй, доходи — дворянину безъ

этого нельзя!» Почему же теперь, когда онъ видитъ, что дворянинъ доходитъ, учится, критикуетъ—сердце у него кипитъ, и онъ задыхается отъ негодованія? Какъ хотите, а это фактъ по малой мѣрѣ загадочный.

Да, тутъ есть какое-то горькое недоразумѣніе; я догадываюсь даже, что и доходящій молодой человѣкъ, и анализирующая дѣвица—все это не болѣе, какъ эффигія, которую Дракинъ разстрѣливаетъ, думая сразить *того другого* «молодого человѣка», который нѣкогда сказалъ ему: «Богъ подастъ!» Только этотъ другой-то «молодой человѣкъ» былъ настолько проницателенъ, что заблаговременно всталъ внѣ выстрѣла; когда же увидѣлъ, что Петръ Иванычъ и затѣмъ остается при своемъ намѣреніи «палить», то былъ настолько предупредителенъ, что сказалъ ему, гдѣ скрывается *истинный* мерзавецъ и либералъ. «Я дѣйствовалъ неблагоразумно, — сказалъ онъ: — но я находился подъ гнетомъ цѣлой арміи негодяевъ,—и въ этомъ заключается мое оправданіе. Я самъ всей душой ненавижу ихъ, и вы весьма меня одолжите, если выпалите по нимъ».

Я воображаю себѣ физіономію Петра Иваныча, когда онъ увидѣлъ, что дѣло приняло такой оборотъ. Его личный врагъ, его завѣдомый оскорбитель стоитъ передъ нимъ—а оказывается, что Петръ Иванычъ не только не можетъ достать его, но что этотъ же врагъ ему же указываетъ, въ кого въ настоящую минуту палить слѣдуетъ. Развѣ не трагическое это положеніе?!

— Теперь я ужъ привыкъ,—жаловался мнѣ Петръ Иванычъ:—а первое время, какъ сталъ онъ обходы-то эти кругомъ меня дѣлать—вѣришь ли, я чуть съ ума не сошелъ!—Какъ! говорю: развѣ не ты... помнишь?—«Точно такъ, говоритъ, я-съ. Только я совсѣмъ не противъ васъ дѣйствовалъ. Видѣлъ я тогда, что и *они* горячатся, да и вы горячитесь... Ну, вотъ, чтобъ отвести *имъ* глаза я и сдѣлалъ диверсію-съ...»

Я полагаю однако-жъ, что тутъ не было никакой «диверсіи». Сначала это было легкомысліе, соединенное съ надеждой, что Петръ Иванычъ не очнется; потомъ—страхъ при видѣ Петра Иваныча, показывающаго несомнѣнные признаки жизни, и наконецъ соображеніе, что не существуетъ такого положенія, въ которомъ не было бы возможно въ мутной водѣ рыбу ловить.

Какъ бы то ни было, новый типъ народился. Это типъ, продолжающій дѣло ветхаго человѣка, но старающійся ор-

ганизовать его, приводящій къ одному знаменателю яичницу, которую надѣлалъ его предшественникъ. Старый «ветхій человѣкъ» умираетъ или въ тоскѣ влачитъ свои дни, сознавая и въ теоріи, и въ особенности на практикѣ, что предметъ его жизни... фью! Новый «ветхій человѣкъ» выступаетъ на сцену и, сохраняя смыслъ традицій, набрасывается на подробности и выказываетъ неслыханную, лихорадочную дѣятельность...

Но жизнь не дѣлается краше вслѣдствіе этой усиленной дѣятельности. Никакая лихорадка, никакое кипѣніе не въ состояніи дать жизни содержанія, котораго у нея нѣтъ. Напротивъ того, чѣмъ кипучѣе безсодержательная дѣятельность, тѣмъ болѣе она утомляетъ и обезсиливаетъ. Старое содержаніе упразднилось, новое—не вырабатывается, и не вырабатывается, быть-можетъ, потому, что интеллигенція, повидимому, еще не вполнѣ увѣрена въ полномъ упраздненіи стараго содержанія. Отсюда—непріятное двоегласіе, неестественное сидѣнье между двумя стульями, которое разрѣшается скукой, апатіей, равнодушіемъ ко всѣмъ интересамъ, стоящимъ нѣсколько выше «куска»; отсюда—крики: «не расплывайтесь!» «не забудьте, что наше время—не время широкихъ задачъ!» и т. п.

«Хищникъ»—вотъ истинный представитель нашего времени, вотъ высшее выраженіе типа новаго ветхаго человѣка. «Хищникъ» проникаетъ всюду, захватываетъ всѣ мѣста, захватываетъ всѣ куски, интригуетъ, сгораетъ завистью, подставляетъ ногу, стремится, спотыкается, встаетъ и опять стремится... Но кромѣ того, что для общества, въ цѣломъ его составѣ, подобная неперемежающаяся тревога жизни немыслима,—даже тѣ отдѣльные индивидуумы, которые чувствуютъ себя затянутыми въ водоворотъ ея, не могутъ отнестись къ ней, какъ къ дѣйствительной цѣли жизни. «Хищникъ» несчастливъ, потому что если онъ, вслѣдствіе своей испорченности, и не можетъ отказаться отъ тревоги, то онъ все-таки не можетъ не понимать, что тревога—въ самомъ крайнемъ случаѣ—только средство, а никакъ не цѣль. Допустимъ, что онъ неразвитъ, что связь, существующая между его личнымъ интересомъ и интересомъ общимъ, ускользаетъ отъ него; но вѣдь объ этой связи напомнитъ ему сама жизнь, дѣлая тревогу и озлобленіе непремѣннымъ *условіемъ* его существованія. «Хищникъ»—это дикій въ *полномъ значеніи этого* слова; это человѣкъ, у котораго на *языкѣ нѣтъ другого* слова, кромѣ глагола: «отнять». Но

такъ какъ кусковъ разбросано много, и это заставляетъ глаза разбѣгаться; такъ какъ, съ другой стороны, и хищниковъ развелось не мало и строгаго распредѣленія занятій между ними не имѣется, то понятно, какая масса злобы должна накипѣть въ этихъ вѣчно алчущихъ сердцахъ. Самое «торжество хищника» является озлобеннымъ. Онъ достигъ, онъ удовлетворенъ, но у него, во-первыхъ, есть еще нѣчто впереди и, во-вторыхъ, есть счеты сзади...

Но масса тѣмъ не менѣе считаетъ «хищниковъ» счастливыми людьми и завидуетъ имъ! Завидуетъ, потому что это тотъ сортъ людей, который въ настоящую минуту пользуется наибольшею суммой внѣшнихъ признаковъ благополучія. Благополучіе это выражается въ извѣстной роскоши обстановки, въ обладаніи болѣе или менѣе значительными суммами денегъ, въ легкости удовлетворенія прихотямъ, въ кутежахъ, въ развратѣ... Массы видятъ это и сгораютъ завистью. Но стоитъ только пристальнѣе взглядѣться въ эти такъ-называемыя «удовольствія» хищниковъ, чтобъ убѣдиться, что они лишены всякаго увлеченія, всякой искренности. Эти тяжелыя и мрачныя оргіи, въ которыхъ распутство служитъ временнымъ заглушающимъ противовѣсомъ той грызущей тоскѣ, той гнетущей пустотѣ, которая необходимо окрашиваетъ жизнь, не видящую ни оправданія, ни конца для своихъ тревогъ.

За хищникомъ смиренно выступаетъ чистенькій, весь поддернутый «пѣнкосниматель». Это тоже «хищникъ», но въ болѣе скромныхъ размѣрахъ. Это почтительный пролазъ, въ которомъ «сладкая привычка жить» заслонила всѣ прочіе мотивы существованія. Это тихо курлыкающій панегиристъ хищничества, признающій въ немъ единственную законную форму жизни и трепетно простирающій руку для полученія подачки. Это безсовѣстный человѣкъ, не потому, чтобы онъ сознательно совершалъ безсовѣстныя дѣла, а потому, что не имѣетъ яснаго понятія о человѣческой совѣсти.

«Хищникъ» проводитъ принципъ хищничества въ жизни; пѣнкосниматель возводитъ его въ догматъ и сочиняетъ правила на предметъ наилучшаго производства хищничества.

«Хищникъ», оставаясь ограниченнымъ относительно пониманія общихъ интересовъ, очень часто является грандіознымъ, когда идетъ рѣчь о его личныхъ интересахъ. Пѣнкосниматель даже и въ этомъ смыслѣ представляетъ

лишь карикатуру «хищника»; онъ не любитъ «отнять», но любитъ «выпросить» и «выждать».

«Хищникъ» почти всегда дѣйствуетъ въ-одиночку; пѣнкосниматель, напротивъ того, всегда устраиваетъ скопъ, шайку, которая по временамъ принимаетъ размѣры разбойнической.

«Хищникъ», свѣжуя своего ближняго, дѣлаетъ это потому, что ужъ такая ему вышла линія; но онъ все-таки знаетъ, что ближнему его больно. Пѣнкосниматель свѣжуетъ своего ближняго и не задается даже мыслью, больно ли ему или не больно.

«Хищникъ» рискуетъ; пѣнкосниматель идетъ на вѣрное.

«Хищникъ» не дорожитъ пріобрѣтенными благами; пѣнкосниматель—любитъ спрятать и капитализировать.

«Хищникъ» говоритъ коротко, отрывисто: онъ чувствуетъ себя настолько сильнымъ, чтобъ пренебречь пустыми разговорами; пѣнкосниматель не говоритъ, а излагаетъ; онъ любитъ угнести своего слушателя и въ многоглаголаніи надѣется стяжать свою душу.

«Хищникъ» мстителенъ и золъ, но въ проявленіи этихъ качествъ не опирается ни на какіе законы; пѣнкосниматель мстителенъ и золъ, но при этомъ всегда оговаривается, что имѣетъ право быть мстительнымъ на основаніи такой-то статьи и злымъ—на основаніи такого-то параграфа.

Наконецъ «хищникъ», несмотря на весь разгулъ дѣятельности, скучаетъ; пѣнкосниматель—никогда не скучаетъ, но зато самъ представляетъ олицетвореніе скуки и тошноты.

Итакъ, скучаетъ старый ветхій человѣкъ, скучаетъ и новый ветхій человѣкъ. Что дѣлаетъ другой «новый человѣкъ»—пока неизвѣстно, да не онъ и даетъ тонъ жизни.

А тонъ этотъ—или уныніе, или миражъ, вслѣдствіе котораго мнимые интересы поневолѣ принимаются за интересы дѣйствительные...

Оглавленіе

VII ТОМА.

СТР.

Признаки времени.

(1866—1869 гг.).

I. Завѣщаніе моимъ дѣтямъ 5
II. Новый Нарцизъ или влюбленный въ себя 24
III. Легковѣсные 40
IV. Литературное положеніе 57
V. Сеничкинъ ядъ 76
VI. Русскіе «гулящіе люди» за границей 91
VII. Нашъ «savoir vivre» 105
VIII. Проектъ современнаго балета 121
IX. Хищники 138
X. Самостоятельная современность 157
XI. Сила событій 171

Дневникъ провинціала въ Петербургѣ 195

Stanford University Libraries
3 6105 013 383 414

891.7
S171
ed.5
v.7

Stanford University Library
Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.